

томская классика

*Николай
Наумов*

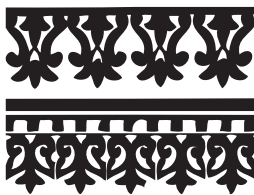
Николай Наумов

томская
классика

II



томская
классика





Николай Наумов

Избранное

Томск-2014

УДК 821.161.1-32 Автор
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
НЗ4

Николай Наумов. Избранное. Книжная серия «Томская классика» — Томск:, 2014. — 432 с. Составитель и автор послесловия А. Казаркин.

Книжная серия «Томская классика»
выходит при поддержке губернатора Томской области
Сергея Анатольевича Жвачкина

Томская писательская организация благодарит
руководителей ООО «Межениновская птицефабрика»
Андрея Андреевича Чуркина,
Леонида Викторовича Ющенко,
Владимира Николаевича Хорошилова,
Фёдора Николаевича Халецкого
за финансирование издательского проекта
«Томская классика»

ISBN 5-902350-01-8
ISBN 5-902350-10-7

© А. Казаркин: составление, 2014
© Томская писательская
организация: переиздание, 2014

Автобиография

Ты просишь биографических сведений обо мне. Сообщу тебе их по возможности кратко. Родился я 16 мая 1838 года в городе Тобольске, как пишут в романах, — от бедных, но благородных родителей. Отец мой был сын дьякона из села Самарово Берёзовского округа. Служил сначала в городе Омске прокурором, а потом в Томске советником губернаторского правления. Человек он был действительно честный, что особенно поразительно в те времена поголовного взяточничества и казнокрадства. Но это объясняется тем, что в молодости он попал в кружок декабристов, которые имели на развитие его благотворное влияние. Он до глубокой старости вспоминал об них с чувством глубокого благоговения к ним. Жили мы всегда в страшной бедности. Матери я лишился семи лет, и после смерти её жил одиноким заброшенным ребёнком, не имел ни товарищей, ни детских игр. Любимое моё времяпрепровождение было уходить вечером в какую-нибудь тёмную комнату и, забившись в угол, услышать вой зимней вьюги. Я всегда почти засыпал под эту заунывную сибирскую мелодию. Других колыбельных песен никто надо мной не пел. Одинокое детство и отрочество имело на меня влияние на всю жизнь. Я боюсь людей и дичусь их. И теперь, если я попадаю в общество, то теряюсь в нём, стесняюсь всех и каждого, чувствую себя неловко, не по себе, стесняюсь говорить и, только когда выпью, то уж необузданная сибирская натура размахивается во всю ширь, и непременно устроишь какой-нибудь скандал, от которого долго-долго ноет и болит душа...

Читать меня научила ещё мать с пяти лет. Вся моя библиотека в то время заключалась в баснях Крылова. Я любил эти басни, с утра до ночи читал их и выучил наизусть. Большинство их я и до настоящего времени помню. Первая книга после басен, которую я прочёл, был роман Загоскина «Юрий Милославский». Я до того увлёкся им, что сразу прочитал его пять раз и, благодаря блестящей памяти, знал многие страницы наизусть. Он имел на меня то благотворное влияние, что я пристрастился к чтению. Читал я с утра и до ночи, не сходя с места, забывая ради чтения и еду, и сон. Читал я всё, что попадало под руку. Скучность в те времена в книгах была вопиющая. Я читал и «Еруслана Лазаревича», и рыцарские романы, вроде «Гуак, или непреоборимая верность», «Четы-Минеи» и «Библию». Помню мою беспредельную радость, когда отец

достал для меня «Историю России» Карамзина. Я долго не расставался с этой историей. Мне было восемь лет, когда мне попал один том стихотворений Пушкина. Я, как водится, до того зачитывался им, что выучил наизусть «Полтаву», «Братьев-разбойников», «Бахчисарайский фонтан», «Кавказский пленник», все стихотворения, заключённые в этом томе, и, бегая по двору летом или зимой, под вой вьюги декламировал их. Я и теперь ещё знаю их и безошибочно декламирую целые страницы. Восьми лет от неподвижной жизни, сидения с утра до ночи у меня расстроилось пищеварение, разлилась желчь. Позван был врач, и запрещено было читать. Тогда я прибегнул к хитрости. Днём я не читал и, понятно, страшно скучал, но к вечеру, наворовав у старухи няньки огарков от сальных свеч, я уходил будто бы спать, и, когда в доме все засыпали, я при скудном мерцании огарков принимался за своё любимое занятие — чтение.

Судьбе угодно было, чтобы с самого раннего детства я видел одни только печальные картины человеческих страданий. Дом наш в Омске выходил окнами на площадь перед крепостным валом. Летом обыкновенно с четырёх утра на этой площади производили учение солдатам... и тут-то секли их и розгами, и палками, и шомполами от ружей. Далеко разносились крики истязаемых жертв. На этой же площади гоняли сквозь строй и солдат, и преступников. Я и теперь без содрогания не могу вспомнить этих сцен. Я плакал, забивался в подушки, чтоб не слышать боя барабана и раздирающих душу криков. Поначалу со мной часто делался жар и бред, и меня укладывали иногда на несколько дней в постель. Когда меня отдали в ученье к учителю Ксенофону Трифоновичу (фамилии не помню), он был унтер-офицер и учитель полубатальона кантонистов, то меня ежедневно с 9 утра увозили к нему в полубатальон кантонистов. Здесь я опять видел те же картины страданий этих несчастных детей кантонистов, которых секли бесчеловечно за самые ничтожные проступки, например, за оторвавшуюся у куртки пуговицу... морили голодом и т. п.

В эти ранние годы я, хотя бессознательно, но стал уже ненавидеть всякую власть. Много мне способствовал на развитие этой ненависти живший у нас в кучерах сосланный в Сибирь по воле помещика старик Памфил. Это был добрый, умный и честный крестьянин Тамбовской губернии. Он был крепостной человек Тютчева, был избран в своём селе в старосты. Мир уполномочил его идти к барину в Питер с жалобой на злоупотребления и притеснения управляющего, и за это он был наказан 500 ударами розог и сослан в Сибирь. Он жил у нас около 20 лет. Памфил был мастерской рассказчик.

Речь его была плавная, образная, пересыпанная пословицами, остротами, прибаутками. Я заслушивался его рассказами о жите-бытье крестьян, о произволе и наглости насилии, какое совершают над ними помещики, отбирая у крестьян последнее для того, чтобы прописать или проигрывать в карты. Сцены из его рассказов, как отрывали детей у отца и матери, продавая их другому помещику или проигрывая их в карты, производили на меня потрясающее впечатление. Помещик и злодей было для меня одно и то же. И вот помню следующий эпизод из моего детства. У меня был перочинный ножик, которым я вырезывал лодочки из сосновой коры. Памфил сидел на крыльце кухни и чинил сбрую, а я около него стоял и точил свой притупившийся ножик.

— Ты на что это, Коля, нож-то натачиваешь так? — спросил у меня Памфил.

— На помещиков, — ответил я.

Старик пристально посмотрел на меня своими умными серыми глазами и ответил: «Ну, точи, коли так, в этом тебе и Бог поможет!».

Мне шёл девятый год, когда отца моего перевели на службу в город Томск. По приезде в Томск меня отдали в гимназию. Это та самая гимназия, которая описана в романе Кушцевского «Николай Негорев». Я вошёл в гимназию весьма развитым ребёнком сравнительно со сверстниками. С первых же дней я приобрёл не только любовь товарищей, но почти неограниченную власть над ними. Они не слушали учителей и инспектора и повиновались одному моему слову. Я получил от них кличку «Нума Помпилий». Я увлекал их, рассказывая всё прочитанное мною. Когда какой-нибудь учитель не приходил в класс, то это был праздник для всех. Двери в классе запирались, ученики все садились на скамьи, меня торжественно садили в учительское кресло и просили рассказать что-нибудь. И вот в классе водворялась мёртвая тишина, и я принимался рассказывать или какой-нибудь эпизод из прочитанного мною романа, или из истории, и нужно было видеть, как эти шалуны, постоянно наказываемые за невнимание и шалости во время уроков, жадно слушали всё, что говорилось им. Мне уже тогда, ребёнку, приходило в голову, что значит живое устное слово, вместо той холодной мертвечины, какая царит в гимназии. Нас заставляли долбить грамматику Востокова, географию Ободовского, и требовалось только одно: отвечать урок без запинки, а понимаешь что или нет, об этом не спрашивали, да этого, кажется, и не требовалось... Что это были за преподаватели, смешно и грустно, когда вспомнишь об них. Являясь в гимназию часов в 9 утра, они вскладчину посылали сторожа за

водкой. Эконом гимназии приказывал принести из кухни хлеба и огурцов. Они собирались в сторожке и пили, приказывая ученикам караулить, чтобы не застал их за этим занятием инспектор гимназии или директор. И вот, если приходил инспектор, они являлись в класс, разгуливая по классу колеблющейся походкой и с трудом ворочая языком. И так шло преподавание изо дня в день, из года в год. А к концу года они торжественно объявляли: так как все учились худо, то к экзамену необходимо подготовиться, и тогда только можно перейти в следующий класс. Дети богатых родителей обыкновенно поступали к какому-нибудь из учителей для подготовки «зада», выплачивая солидный гонорар, и всегда выдерживали экзамен и переходили в следующий класс, а бедняки кидались на произвол судьбы.

Учился я худо, то есть совсем почти не учился. Со второго класса мне уже опротивела вся эта обстановка, весь этот пьяный цинизм, взяточничество и мёртвая долбёжка уроков без всякой цели и смысла того, что долбишь. Я ходил в гимназию только для отбывания печальной повинности. Учеником я слыл ленивым, малоспособным, злокозненным на всякие выдумки и шалости. С какой радостью я бежал из гимназии домой и садился за чтение тех книг, которые мне удавалось добывать! Я, может быть, и кончил бы курс, если бы не один эпизод, который никогда, никогда не исчезнет из моей памяти. Я и теперь готов плакать, когда вспоминаю об нём.

Я был в третьем классе, когда отец мой вышел в отставку с 20 рублями в кармане, оставшимися от последнего полученного им жалования. Он рассчитывал скоро получить пенсию, но между тем выдача пенсионера затянулась на три года. И вот три года мы терпели самую ужасающую нищету. Часто приходя из гимназии голодным, я не имел чего поесть, часто не бывало в доме даже сальной свечи и мы ложились засветло спать. По несколько дней зимой мы сидели в нетопленных комнатах. Я бегал зимой в одной холодной шинели, не имея на ногах ни калош, ни тёплых чулок. Я обыкновенно обматывал ноги писчей бумагой, вместо чулок, и надевал на неё сапоги, иногда с отпавшими подошвами. Раз, как теперь помню, у меня зазнобило ноги, и я почувствовал, что ознобил пальцы. Я преспокойно сел среди улицы на кучу снега, разулся и стал оттирать пальцы снегом. Брюки и форменный гимназический сюртук у меня действительно были невозможного вида, буквально это была заплатка на заплате, иногда заплаты были даже не из того сукна, из какого первоначально был сшит сюртук. Я видел, как глубоко страдал старик отец, видя мой нищенский костюм, но он не имел никакой возможности мне сшить нового. До костюма ли было нам, когда порой и

куска хлеба в доме не было, и я сплошь и рядом бежал в гимназию совершенно голодный!

И вот однажды инспектор Прядильщиков, человек жёлчный, злой, у которого единственное наслаждение было как бы кого посесть из учеников и кому бы сделать какую-нибудь пакость. Этот человек, не знаю уж почему, глубоко ненавидел меня. Едва он только входил, бывало, в класс, как уж сверкающие сквозь очки глаза его непременно останавливались на мне. «Ти, ти, о ти... в тебе много блох сидит!» — говорил он, глядя на меня. Может быть, до него доходили слухи, что я неподражаемо копировал всех наших наставников, инспектора и директора. Весь класс, бывало, замирал от хохота, когда я изображал кого-нибудь из них. А может быть, это была у него инстинктивная ненависть ко мне, как к человеку, который уже сознательно относился ко всей пошлости и ничтожеству их, презирал их и мстил им полным пренебрежением к ним и, к сожалению, к тем предметам, преподавателями которых были они. Грустная ошибка, но что же делать, она простибельна детям.

И вот однажды... Этот самый инспектор вбежал в класс почему-то особенно злым; по обыкновению обратил прежде всего внимание на меня. Я сидел на задней скамейке. Он подошёл ко мне, посмотрел на меня и вдруг закричал: «Ти, ти», — он всегда говорил вместо «ты» — «ти». «Ти, ти, что это на тебе за хламида! Поди-ка сюда! Разве это сюртук, а! А брюки-то, брюки-то!». Он вывел меня на середину класса и начал повёртывать во все стороны: «Полюбуйтесь, господа, это — гимназист, а?». Я молчал и горел от стыда. Молчал и класс. Даже дети поняли всю неуместность его поступка и насмешки над бедностью ребёнка. «Ти нищий... Так только нищие одеваются, тебе по подоконью ходить надо, милостыню собирать, а не в гимназии учиться!» — кричал он. И вот, взяв меня за рукав, он с позором повёл меня по всем классам, говоря: «Полюбуйтесь-ка, в каких сюртуках гимназисты ходят». И, заворачивая полу сюртука, показывал всем мои брюки, мало того, он приказал мне снять сюртук, под которым была так же починенная во многих местах рубашка, и кричал: «На нём и рубашки-то нет, смотрите-ка!». Я никогда, никогда не забуду тех минут, тех страданий, какие я пережил тогда не за себя, а за своего бедного старика отца. И надо мной хохотали по чужим классам, и хохотали кто же — дети отъявленных мошенников, казнокрадов, взяточников, кабатчиков и откупщиков.

Прядильщиков кончил эту позорную церемонию со мной тем, что прогнал меня из гимназии, приказав мне не являться в гимназию до тех пор, пока я не буду прилично одет. «А теперь ты пятнаешь своим присутствием гимназию», — выразился

он, провожая меня. Я ушёл и больше уже не возвращался в неё. Мне горько было сказать отцу о том, что проделали со мной в гимназии. Я знал, что это убьёт его, и без того убитого нуждой. Я скрывал от него два дня причину, почему я не иду в гимназию. Но когда он на третий день настоятельно потребовал, чтоб я шёл в гимназию, выразившись, что я, вероятно, что-нибудь нагрел и боюсь показать нос, тогда я рассказал ему всё... Старик горько, горько заплакал, выслушав меня. Он целый день ходил как потерянный и не спал всю ночь. Утром он молча сел к столу и написал просьбу о том, что я не желаю более продолжать курса наук и чтобы мне выдали аттестат и документ. И когда я переписал эту просьбу, он послал меня с нею в гимназию. Прядильщиков не ожидал подобного финала. Поданная мною просьба поразила его. Он вдруг стал меня уговаривать, чтоб я не выходил из гимназии, продолжал учиться, что я и сам не знаю, какими богатыми способностями одарён, что меня ожидает многое в жизни, и стал возвращать мне просьбу назад. Но я наотрез сказал ему, что отец не желает, чтоб я остался более в гимназии.

— Что же ты намерен делать? — спросил он меня.

— Ходить по подоконью и собирать милостыню, — ответил я.

Он весь побелел, прошипел что-то и приказал мне выдать документы и аттестат.

Тем и кончилось моё учёное поприще.

Что писать тебе дальше? Вскоре я вступил в военную службу юнкером. Жизнь вместе с солдатами много способствовала мне к изучению быта, быта того же народа. Солдаты любили меня. Я писал им письма к их родным, читал им получаемые ими письма. Во время моей службы я сошёлся с одним офицером, А. А. Зерчаниновым. Это был человек умный, развитый, много читавший. Это было уже время решения крепостного вопроса, время пробуждения от застоя, реформ и блестящих ожиданий. Мы читали с ним статьи Добролюбова, Чернышевского, «Губернские очерки» Щедрина. Белинский был нами изучен почти наизусть. Я почувствовал скудость своих знаний, тяготился этим и кончил тем, что вышел в отставку и поехал в Петербург, в университет. Это было в 1860 году. Я стал посещать лекции, надеясь постепенно подготовиться и сдать экзамен за гимназию, но университет был вскоре закрыт. Я, как и следовало ожидать, принял участие в демонстрациях... и скоро другая деятельность, кончившаяся арестом и тюремным заключением, навсегда уже отвлекла меня от первоначального намерения. Вот и вся моя скорбная повесть!

Первый рассказ мой из солдатского быта под названием «Случай из солдатской жизни» (под псевд. Корзунова) я напи-

сал ещё бывши юнкером, и послал его из Томска в «Военный сборник», где он был напечатан в июньской книге 1858 г.

Затем в журнале «Светоч» 1861 г. помещён ряд моих рассказов из военного быта под общим названием: «Мирные сцены из военного быта»: 1. «Ротный праздник» 2. «В остроге», 3. «В школе», 4. «На гулянье».

В 1862 году в журнале Погосского «Народная беседа» был помещён рассказ из солдатского быта «Письмо». В «Искре» драматические сцены: «Горе обличителю» и несколько мелких статей юмористического содержания, названий которых уже не помню, но все они подписаны моей фамилией...

Извини, что так растянул своё письмо...

Н. И. Наумов

Последнее прости

Рассказ

На площади около казарм и общественного городского сада стояла совсем готовая к походу партия рекрутов. Вокруг её толпились мужики и бабы, наехавшие из соседних деревень для последнего прощания с родичами, идущими на чужбину. Повсюду среди них слышался громкий говор. Изредка явственно раздавалось тоскливое всхлипывание какой-нибудь молодухи или нескладно затянутая песня не совсем ещё отрезвившимся от дикого разгула бобылём-наёмщиком.

Небо было хмурое, осеннее, неприветно озарявшее эту картину, порой накрапывал мелкий дождь. Порывистый ветер со свистом нагибал обнажённые деревья и назойливо сдёргивал покрывала с лотков калачниц, расположившихся тут же со своим заманчивым товаром и звонко зазывавших к себе наперебой друг у друга покупателей.

В стороне, у самой решётки сада, у телеги, запряжённой буланю, понурившю голову, клячонкою, сидела молодая женщина в синем байковом шушуне; голова её, уродливо обвитая красной шалью, склонилась на грудь сидевшего рядом с ней рекрута, на коленях которого копошился двухгодовой ребёнок, играя кожаной пуговицей его форменного пальто. Старуха мать укладывала в развязанный ранец разного вида и объёма узелки, и старший сын её, брат рекрута, мужчина с бледным болезненным лицом, помогал ей, то придерживая его, то уталкивая коленом неплотно уложившиеся вещи. Между тем высокий худощавый старик отец угощал водкой конвойного солдата и вместе с тем дядьку нового служаки.

— Так уж, почтенный, того... ослобоняйте по возможности: парень молодой, непривышный ещё к вашему делу! — говорил он с лёгким дрожанием в голосе, поднося ему доплна налитую чарку.

— Насчёт эфтого, одно слово, будьте без сумления! — отвечал тот, обтирая усы, запачканные соком съеденного им морковного пирога, — мы ведь тоже на эфтог счёт понятие имеем!

— Да пожалуйста, просим милости, откушайте!

— Нет, от эфтого уж ослобоните: и без того много доволен вашим усердствованием, убоготворился! — и служащий легонько отвёл рукой подносимую ему чарку:

— Ведь нам таперича поход ломать.

— Пожалуйста! — настаивал старик. — Да закусите, чем Бог послал, не поспесивьтесь!

Закусить оно точно следовало, путь дальний... можно-с! — и он взял из телеги, где лежали приготовленные в дорогу новобранцу припасы, давно уже замеченную им жирную тыквенную ватрушку.

— Митюха, подь сюда! — крикнул старик.

Рекрут, сидевший в том же положении, отдал ребёнка жене и подошёл к ним.

— Вот, Митюха, — начал старик, — господин служивый обещался коли и ослобонять тебя, чего делать-то! — и он, вздохнув, посмотрел бесцельно в сторону, как бы желая утаить наворачивающуюся на глазах его слезу... — да пожалуйста, кушайте, — и он снова поднёс служивому чарку.

— Насчёт каких ни на есть порядков или таперича чего прочего, одно слово, будьте без сумления: мы ведь тоже сами лекрутами были, — говорил дядька, — а касательно водки, так будто не могу отказаться... Желаем благополучности! — сказал он, принимая чарку.

— Просим милости! — отвечали, кланяясь, и старик, и рекрут. — Пожалуйста на доброе здоровье.

Дядька за один дух выпил её и, крикнув, принялся за ватрушку.

В это время раздался бой барабана... били сбор, тяжело отозвались звуки его в сердцах присутствовавших.

— Ну, скорее, маменька, укладывай, вон уж барабанят, — говорил, утряхивая ранец, брат Митюхи.

— Сейчас, Федя, постой, сейчас, — отвечала она, укладывая в него последний узелок, снятый ею с груди своей: в нём были завязаны заветные для неё трудовые копейки, которые, может, она пасла к своему смертному часу.

— Ну, пора, болезные, и попрощаться! — покончив расчёт с ватрушкой и заслышав барабан, сказал служивый, надевая на себя ранец.

— Вот, Митя, я всё поклала, чего надоть; коли починиться зануждаешься, так тамotka по два пасма и чёрных, и белых ниточек я припасла тебе... знала ли я, прявши их, что они пойдут с тобой на чужбинушку... О-ох! — и старуха заплакала. — Да вот, господин служивый, уж не забывайте его, попомните мою материнскую жалость, — говорила она, обратившись к солдату и подавая ему трубку холста... — примите, не побрезгуйте — это я вам на память!

— Вот уж эфто, доложу вам, совсем лишнее, и без того много доволен вашими милостями, — отвечал он, принимая трубку и опустив её в широкий карман своих шаровар.

— Ну, всё, што ль, готово? — спросил старик.

— Всё, родной мой, всё!.. ах!.. Не видать уж мне моего соколика, на то ли я вспоила, вскормила его, на такую ли бес-таланную горькую долю взрастила!.. — Старуха зарыдала; сидевшая у телеги жена новобранца, укачивавшая ребёнка, тоже не выдержала и заголосила; проснувшийся ребёнок, корчась от холода, покрыл наконец резким визгом своим и печальные слова матери, и скорбное рыдание жены.

— Ну, Митюха!.. — сказал старик, — прости с матерью, да благослови своо ребёнка... — и голос изменил ему.

Митюха, как сноп, повалился в ноги безутешно рыдавшей матери. «Прости, родимая!» — мог только сказать он.

— Эх! — проговорил дядька, смотря на раздирающую душу картину прощания, и отвернулся; ему тоже, может, припомнилась та минута, когда он сказал последнее прости родному селу и близким ему людям. И вот ждёт теперь старуха мать вести о сыне, ждёт неустанно день и ночь и не дождёт-ся!.. А может, и устала ждать; не бьётся уже более так чутко сердце её при виде приходящего в побывку солдата от сладкой надежды: не он ли?.. Чужие люди, может, давно свалили её в могилу. — Эх! — снова проговорил он, и предательская слеза скатилась на длинные усы его.

— Бабушка, прости с Митрием-то: идёт уж совсем, — подойдя к телеге и слегка толкая лежащую в ней слепую дрях-лую старуху, говорил Фёдор.

Дмитрий подошёл к ней; грустен был бесчувственный, убитый печалью вид его. Только изредка судорожное подёр-гивание мускулов в лице давало знать, что не совсем ещё притупилась боль в его сердце... она заснула только на время, чтобы проснуться потом с новой силою.

Старуха поднялась и, костлявыми пальцами ощутив лицо его, как-то детски захныкала.

А барабан давно уже бил генерал-марш.

— Эх, пора, почтенные, — чего поделаешь-то: авось Бог и вынесет — прости, да и пойдём, — настаивал дядька.

У перевоза

Рассказ

— Парома подай, эй! — кричали почти в голос, стоя на мостках, несколько человек, отделившихся от остальной группы телег, съехавшихся в ожидании перевоза, и толпившегося около них народа. Из них особенно обращал на себя внимание мужичок в синей крашенной чуйке, кричавший и суетившийся более других. Когда он убеждался, что перевозчики и не думают подавать парома, то всплёскивал только руками и с восклицанием «эхма!» отходил от мостков к своему возу, нагруженному сушёною рыбой; но вслед за тем опять собирался с духом и опять поднимал вопли. Другие, не так торопливые, или спали, или, лёжа на возах, равнодушно смотрели на пёструю панораму раскинувшегося за рекой города, на яркую зелень его роц, из-за которых чуть видными точками сверкали золотые куполы церквей. Иные ходили от воза к возу, применяясь к ценам находившихся на них продуктов, назначавшихся для продажи на рынке, или, столпившись в кучки, рассуждали о своих обыденных нуждах. В стороне от всех, у самой опушки леса, растрёпанный и оборванный цыган заставлял медведя на потеху почтенной публике показывать, «как старые попадьи блины пекут», и мишук с рёвом, трясая тяжёлою цепью, вдёрнутою в ноздри, выделявал неуклюжие па. На высоком возе с углями сидел солдат, починивая уже выслужившее срок пальто и напевая вполголоса какую-то заунывную песню; около него трое видных, здоровых парней, мещан, судя по длиннополым нанковым кафтанам, надетым сверх кумачных рубах, и плисовым шароварам, запущенным за длинные голенища, засаленными картами усердно отбивали друг другу носы. На косогоре, около спуска к берегу, на разошедшей и повернутой вверх днищем лодке сидела старушка странница с перекинутой через плечо котомкой; голова её, несмотря на лето, была плотно укутана большим платком, полушубок был весь в заплатках; синяя рядная рубаха едва прикрывала исхудалые ноги, обутые в грубые шерстяные чулки и лапти. Несколько молодиц, окруживших её, внимательно слушали рассказ о разных виденных ею чудесах, прерывая её время от времени глубокими вздохами да возгласами: «Согрешили мы, грешные, ох согрешили!». У самых ног странницы ползал ребёнок

лет двух или трёх, рылся в песке, выкапывая корни и пихая их в рот.

Лучи закатывающегося солнца, прорезываясь сквозь чащу густого леса, окаймлявшего берег не широкой, но быстрой реки С., озаряли эту картину и местами густыми пятнами света падали на воза и на песчаные, усеянные мелкой галькой прогалины. Дневной зной постепенно сменялся вечернею свежестью, рои комаров и мошек носились в воздухе. Порой пронзительное жужжание овода резко поражало ухо, заставляя вздрагивать и отмахиваться хвостами лошадей, пущенных пасть на ближнем лугу.

— Дёготь? — ткнув пальцем в лежащую на дне телеги бочку, спросил у мужика солдат в белой рубахе, превратившейся от времени в бурую, и форменном кепи, сдвинутом на затылок.

— Где-ка, в бочке-то?.. Дёготь... — отвечал мужик, осматривая снятый с ноги лапоть.

— На продажу?

— На продажу.

— А здешний или издалеча?

— Крутологовские!

— А-а!.. Ну, стало быть — здешний!.. — И солдат, посмотрев бессознательно вдаль, снял кепи и запустил всю пятерню в свои коротко обстриженные волосы. — А оводу-то, оводу-то... страсть сколько! — проговорил он после непродолжительного молчания.

— И!.. Совсем замучил скотину!.. — отвечал мужичок, успокоенный невредимым состоянием лаптя и вновь наматывая его на ногу. — Одно слово, гнус!

— Гнус! — подтвердил солдат.

— Митюха, мотри-ка, у тебя глаза-то попрытче: однако отваливают! — крикнула синяя чуйка, снова уже стоявшая на мостках.

Митюха, молодой, рослый парень с заспанною физиономиею, сидевший на облучке воза с рыбой и всё время скаливший зубы на медвежью «комедь», нехотя встал на колесо и, осенив глаза ладонью, посмотрел на тот берег, потом молча соскочил.

— Что?

— Жди, отвалят.. Нет, энто, брат, не то что чаво... отвалят.. скоро захотел!..

— Эх, ешь те мухи, а как бы надуть в город-то! — проговорила тоскливо чуйка.

— Небось к утру перевезут, да ещё по пятаку с рыла слупят!

— Моя ништо пятак, и алтына не даст! — сказал лежащий на возу с кожами татарин.

— Во какой... мотри, дашь и гривну!

— Перевоз казённа... вот что, вези дарма... моя ништо платить!

— Ишь, мухамед-то... а вот этого не хошь! — и Митюха показал ему конец азяма, сделав из него подобие свиного уха.

Татарин отплюнулся и повернулся к нему спиной, между тем как окружающие захохотали.

— Беда это татарам, свиное-то ухо, — отозвался сосед, — то ись как их эфтим способом таперича беспокоят... не любят они чушек-то!

— Нехристи!

— Должно, так!

В это время по дороге из-за леса показалась ещё телега, запряжённая худенькой чалой лошадёнкой; вся сбруя на ней была из верёвок; из хомута местами клочьями висела солома. Лошадью правил мальчик лет десяти, задом к нему сидела довольно пожилая женщина в байковом шушуне, держа на коленях узорный туесок. Съехав с крутого спуска к берегу, они остановились около телеги с дегтярной бочкой. Мальчик тотчас же начал выпрягать уставшую лошадь, поминутно отмахивая назад залеплявшие глаза его длинные светло-русые волосы, потом на поводу повёл её на луг. Женщина, поставив туесок, тоже слезла с телеги.

— Никак, Митревна? — взглянув на неё, сказал как бы про себя мужичок, осматривавший лапоть, — так и есть. Здорово, Митревна!.. в город?

— Левонтий Савич, и вы здесь?.. Вот где встретились!.. — говорила, подходя к нему и кланяясь, Дмитриевна, — вы-то здоровы ли, домашние-то каковы?

— Чего им делается? живут, хлеб жуют, да ещё припасать велят... С чем ты это?

— Да так кое-чего набрала: ленку маленько прошлогоднего осталось, ну, да грибков на недельке с дочкой-то набрали — вот и везу. Что делать, Левонтий Савич, надыть чем-нибудь кормиться!

— Надыть-то надыть, чего говорить, без кормёшки нельзя!

— А вы с чем-от-ка тут?

— Да с дёгтем всё вожусь, провались уж он!

— Степанида-то Яковлевна какова? Давно уж я её не видала.

— На печи всё кости парит... Не молодо дело-то. Ноне было поскудалась* маненько животом... да ничаво, рассольцу похлебала — отлегло... О хозяине-то твоём не слыхать?

* Скудать, скудовать — болеть, недомогать.

— Сидит, Левонтий Савич, всё-то сидит!
— Эко, а?.. Кое уж ведь время-то?
— Да с Покрова, почитай, другой годок, как сидит!
— Ишь! Ну, да знамо, в острог только дверь широка, а от-толь узка... лихо попасть... Хлопочешь?
— Как не хлопотать, из сил хлопочу, да всё пути нету... Вот и ноне ездила также. Научил меня один барин, добреющий такой барин: сходи, говорит, ты... уж я не скажу тебе, как он его назвал, только к набольшему ихнему чиновнику; попроси, говорит, что он скажет!
— Ну?..
— Ходила, рódный, и в ноги падала, да всё один сказ: не могу, говорит, ничего доспеть, ещё каторгой стращает.
— Эко жаль-то какая, а?
— Ну, что, как изаболь этакое-то попричится с ним, куды я без него тогда с малыми-то детищами, Левонтий Савич? — со слезами говорила уже Митревна, сморкаясь в кончик головного платка, — и так-то с ног совсем сбилась! Не поверишь, всё-то хозяйство в разруху идёт, а Ванюшка-то, где ему ещё заправлять, малый паренёк-то, хоша и помогает, да какая его помочь-то, всё не то, как сам-то бы!
— Это чего говорить, мужско дело, знамо. А ты бы к губернатору?
— Да уж всё начальство, как есть, исходила, инда в шею гонят, мужичье дело-то!
— Это точно, мужичье-то мужичье!.. — с раздумьем произнёс Левонтий Савич, почёсывая в затылке.
— Охо-хо-о! что уж и будет, только Господь ведаёт! Я так скажу тебе, Левонтий Савич, ровно одно к одному идёт уж. Не знаешь ты мово ещё горя-то: на днях ведь коровушка пала.
— Ой!..
— Ей-богу.
— Ишь ты: где тонко, там и рвётся-то!
— Подлинно напущенье божеское! Прибежала это с поля словно одурелая; я пока туда да в ино место металась, ах да ох, а она уж и ноги протянула... И Бог её знает, чего с ней доспелось такое... утром ещё была совсем здоровёхонькая... Поветрие, что ль, аль с вёху*!
— Должно, с вёху, это бывает; падка ведь скотина-то до вёху, ланись у Лапинских таким же манером!
— И я думаю, с вёху, а ещё сбиралась в город её свести продать — деньги-то уж вот как надуть. И он-то скудается: знамо, в неволе каждый шаг окупил, а где набратсья-то их, с каких достатков-то! И как это, Левонтий Савич, подумаешь,

* Вёх — растение семейства зонтичных.

жали-то в людях ничего нету. Ноне, скажу тебе, в самый Петров день, поехала я также в город повидаться с Ларивоном Прохорычем, ну да и разговеться везла ему. Вот приехала к острогу и пошла это по ихним порядкам к офицеру: «Допусти, говорю, батюшка, с хозяином свидеться?..». Есть, Левонтий Савич, скажу тебе, и там хорошие люди!

— Это чего говорить, хороший человек везде есть!

— Есть. Другой со слова пустит, а тут прилучился какой-то, Бог его знает, словно не совсем и в разуме, затоптал это на меня ногами да как вскричит: «Вон, говорит, разтакая-сякая, только, говорит, и знаете ходить, да по своим мошенникам канючите!». Так я, поверишь ли, не знала, куды мне и деться-то, так обробела! Кое-то как вышла от него... и таково-то мне потом горько стало! Господи, думаю, Царь небесный: людям праздник, а тут и повидаться-то не дают! И плачу, знаешь, горькими слезми плачу... а тут солдаты-то, которые вышли, смотрят на меня да и спрашивают: «Что ты, говорят, молодца, убиваешься?». Я и говорю им. «А ты, говорят, унтера попроси, може, и пустит!» Ну, послушалась я их, пошла это, знаешь, к унтеру; сидит он такой усатый из себя да только в трубку попыхивает. Я и говорю: пусти, батюшка, век твоей милости не забуду. «А офицера, говорит, просила?». Просила, говорю, родимый, просила, да осерчал уж больно, и обсказываю ему это самое дело. Выслушал он и говорит: «Нельзя!». Я в ноги: хоша для малых-то детищ, говорю, пожалейте! Вижу, разжалобился покорством моим. «Ну, говорит, так и быть, приму грех на свою душу, косушка-то идёт, што ли?» А у меня на ту пору и денег-то, Левонтий Савич, не случись, я и говорю ему: нетути, мол, денег-то, кормилец; обожди, ужо уполся привезу. «Ну, а коли нет, так и свиданья, говорит, нет!».

— Вишь как!

— Ей-богу... «Были, говорит, с вашего брата жданы-то, да все съедены». Нечего ведь делать, Левонтий Савич, пошла в кабак, заложила плат с головы, купила ему энтой прорвы-то, ну и пустили; по крайности, хоша разговелся голубчик мой!.. Так вот, Левонтий Савич, каково оно! Чаво ты без денег-то доспеешь?

— Это чего говорить — деньги, что капель: и камень долбит, а при таком случае всякий норовит, кабы с тебя же!

— Всю, почитай, Левонтий Савич, какая была лишняя одежонка-то, продала... Курочки это голанки были — чиновнику подарила, да тот хоша, спасибо, научил, куда сходить-то, да всё без толку! — И Дмитревна, подперши щёку рукой, пригорюнилась. — А думал ли, гадал ли он над собой этакое-то горе! — снова заговорила она, качая головой, — вот оно, болезный, воля-то каково пришлась!

— Ну, чего говорить, пришлась вплотную! — И, подойдя к телеге Дмитревны, Левонтий Савич приподнял заднее колесо и осмотрел шину, — о!.. новая!

— Новёхонькая; незадолго ведь до несчастья справлял её Прохорыч-то.

— Ковка ничаво! — произнёс знакомый уже нам солдат. — А как: в городе, аль свои мастера? — спросил он Дмитревну.

— В городе, служивый, где нам: у нас и заводов таких, чтобы ковать, нетути.

— Ничаво; ковка, одно слово!

— Ковка, чаво говорить!.. — произнёс Левонтий Савич.

— А вы как, здешние? Из каких, значит, местов-то? — вновь спросил Дмитревну служивый.

— Мы-то здешние, из Сосновых Боров.

— Это что тутотка, от Полесья недалеча?

— Эти самые... с семьей версты сворот ещё!

— Знаю!.. стало быть, здешние?

— Здешние!.. откелева нам быть-то!.. Допрежь были помещицьи, Александра Михайлыча Зорина, может, не знаете ли — он тоже в кавалерах был, ну, а ноне-то вольные стали!..

— Э!.. как не знать! Полесье — место доброе!..

— А вы как таперя, тоже здешние, из городских солдатов-то? — спросила его в свою очередь Дмитревна.

— Гарнизонные; в лесной команде были, уголь жгли, да приказ вышел такой, чтобы прибыть беспременно, вот и едем!..

— Тэ-эк... Что же, служивый, спрошу вас: вы и службу тоже отбываете?

— Маненько отдохнули было в команде-то, а таперича сызнава доведётся, верно... Тяжела служба-то наша: почесть с утра и до ночи вздохнуть не удастся!..

— И не говорите, насмотрелась я на солдатское-то житьё! А как вы, тоже и в караулы, в остроги или как тамотка ходите?

— Не токмо что в караулы, и в конвой таперича ходим... все порядки как следует сполняем!

— Тэ-эк... Ну, да что говорить: хоша и ваше-то дело — служба!

— Служба! — подтвердил солдат.

Разговор пресёкся. Левонтий Савич, ощутив заодно с шиной и гужи и попробовав их, туго ли они натянуты, отошёл и направился к лугу, где Ванюшка, сын Дмитревны, стоял с поводом в руке около чалки, отмахиваясь лопушником от комаров и мошек, облеплявших его открытую, загорелую шею... Дмитревна, глубоко вздохнув, сделала какой-то неопределённый жест рукой и пристально посмотрела на солдата.

— А что, господин служивый, попросить бы я вас хотела, да не осмелюсь! — робко начала она.

— Примерно насчёт чего эфто?

— Коли милость ваша будет, — и Дмитревна поклонилась ему, — вы вот в остроге-то бываете, так повидаться аль передать бы чего не сможете ли? Муженёк у меня под несчастьем, почитай, с Покрова другой годок пойдёт, как сидит тамотка!

— Отчего, с нашим удовольствием; это что!

— Сделайте божеску милость — век бы стала за вас Бога молить! — и Дмитревна снова поклонилась ему.

— Не сумневайтесь: нам всё единственно, потому мы того!.. — Служивый хотел ещё что-то сказать, но, как видно, в его и без того не богатом лексиконе не приискалось более подходящего слова, и потому он только крякнул и поправил кепи, постоянно слезавшее на затылок. — А он как, за душегубство? — спросил он.

— И, что вы, господь с вами, не такой он человек! Вот хоша на Левонтия Савича сошлюсь... Какое душегубство, болезный ты мой... совсем задарма! Уж коли бы за душегубство, так, на мой глупый разум, оно бы и легше было; по крайности, знал бы, за что в ответе, а то тёмный человек: чего скажут люди, тому и веришь. А кто его знает, как оно тамотка, хорошо иль нет... простота-то ведь наша, сердечный, хуже воровства!

— Это точно: вот и промеж нас тоже... писарь аль и так иной грамотный так вдругоредь обделаает... отлепортуют, примерно сказать, до новых веников не забудешь!

— Беда тёмному-то быть!

— Э... тёмный человек, что стена! — глубокомысленно заметил он.

— Стена, родимый, стена; кабы сам-от письменный он был аль читать-то бы по-грамотному умел, так неужели бы чего такое сделал! А то говорят тоже люди: поди, Прохорыч, да поди, наше дело правое. Оно-то бы сначала и отнекивался: чуюло, верно, сердечушко-то, ну, да мир приступил: ты, говорит, одна голова у нас, на тебя вся надежда; ступай уж, мы те, говорят, во как будем благодарны, только ступай! Послушал ихнего гомона, пошёл, да вот и находил на свою головушку!

— Должно, с челобитьем?

— Как же! Жалобиться ходили, и не он один: Аксентий Фомич, наш сотский, да десятский Кирило Кондратьич, да, може, не знаете ли Илью Афанасьича, Подпекой прозывается, такой это торговый мужик и степенный: сорок колодок пчёл одних имеет... Всех их заодно и порешили!

— Ну, коли жалобиться ходили, так знамо — дело пропащее! А примерно будучи сказать, насчёт какого резона-то жалобились?..

— Да по воле всё, милый сын... Как и сказать-то уж вам про это дело... мне и самой чтой-то невдомёк оно... Сначала-то, скажу тебе, как прослышали наши мужики про волю-то, так только и гомону промеж них было, что про неё... Всё это гадали, всё гадали, коли да как, да чтой-то будет... Многих и сумнение брало, а другие, которые исподтишка и продавать, почитай, всё стали: мы-то, говорят, на новые земли пойдём, а энто всё барам отберут... Всячины, скажу тебе, было в те поры. Смехоты, скажу вам, было! Памфил это есть у нас такой, ровно полоумный из себя мужик... Я, говорит, таперича, кроме барской бани, ничего себе не возьму... уж больно охоч париться!.. Ну, которые и смеялись над ним: «Мотри, говорят, Панфилушка, баню-то не прозевай. Как бы барин и в самом деле не задал тебе баню». Много толков-то ходило, говорили таперича тоже, что хранцуз всё окупить хочет. Ну, только вот, милый сын, вышла воля. Прислали это наперво в деревню к нам бумагу такую, где прописано было, чтобы всем, значит, беспременно читать свою волю; грамотных-то, чтоб читать, у нас, почитай, никого не было... Был один солдат, да уж запивал шибко, наши-то и не верили ему; брехать был охоч, всё войной пугал. Пошли в другую деревню к батюшке... Прочитал он это волю, слушали, слушали наши-то, только видят, что словно не по-ихнему выходит. «Да так ли ты, батюшка, прочитал?..» — спрашивают его. «Так, говорит, милые люди, слово в слово, как написано». Ну, ничаво!.. приехал погода того к нам и посредственник*; наши-то к нему, почитай, всем селом, спрашивают: как оно, что?.. будет ли всё это, как допрежь толковали? «А вы, — говорит посредственник, — присланное-то вам читали?» — «Читали!» — наши-то говорят. «А поняли?..» Ну, которые сказали, что поняли, а другие позаперлись маленько... Начал он это им толковать, долго толковал, и красно таково; слушали-то все; почитай, без шапок стояли, так это слушали. И поняли, кажись, а всё выходит как-то мудрено. Знамо, тёмные люди... как это там всё прописано, Бог весть! Ну, и он сызнава спрашивает: «Поняли ли?». Наши-то и говорят: «Да уж оно как не понять... поняли!..» — «Ну, так какую вам ещё волю надуть? Ступайте-ко, говорит, по домам, да грамоты суставные** бесперечь давайте!..» И пошёл это было, — только Панфил-то полоумный и спрашивает: «А баню-то, говорит, барскую отдадут?..» — «Какую, говорит, тебе баню?..» — «Барскую». — «Пошто?» — спрашивает

* Мировой посредник — официальное лицо, призванное быть посредником между помещиком и крестьянами при разделе земли и составлении уставной грамоты.

** Искаж. уставные грамоты.

посредственник, а наши-то Панфила пихать уж было назад... Знамо, с дурости-то наговорит ещё, всему миру достанется. А тот и приступил: «Какую, говорит, тебе баню? Что, говорит, это значит?» — «Париться!..» — Панфил-то говорит... и обскаживает это всё... Ну, сударь ты мой... тут посредственник, дознавши всё это, и почал нашим говорить, что всё это брехня. Выслушали наши и решили, что, должно, и в самом деле так. Вот только, погода того, не скажу уж теперь сколько время-то, и пройди весть, что воля эта — не та воля... Слушают наши мужики, а сумление их пуще берёт... потому дело вековое! Собрали, милый человек, крадучись, сход за селом, долго это толковали; только Илья-то Подпека и говорит: «Съездим, братцы, в Ипатово, поспрошаем, как оно... у них же и грамотный человек такой есть; уж тот в обиду не даст!». Поехали. А тем случаем, скажу тебе, управляющий наш, Карла Иваныч, и прознай это дело, да к ночи, слышим, и в город уехал... Ну, да ничаво; сход остался, почитай, до первых петухов, всё ждали из Ипатово-то. Которые не утерпели, сызнова верхами поехали, так задор-то брал их. И молодежи-то тут же ждали, и молоденцев-то спать не покладёшь... Право, так оно было в те поры!.. Ну, только и слышим, милый человек, едут. Ещё издали кричат: «Правда!». Ну, и сказали они, приехавши, что в Ипатове это доподлинно известно, что это таперича говорил ипатовцам какой-то чиновник, и просьбу сам брался написать, и выходить волю, как есть... Ну, и сказали ипатовцы нашим-то, что завтра они которых побойчее шлют к губернатору с челобитьем. Тут и наши, скажу тебе, поднялись и загомонили это, и загомонили, да, почитай, всю ночь, милый человек, проклажались насчёт эфтого дела, и решили тоже таперича не отставать от ипатовцев. Ну, и приступили к Илье-то Афанасьичу да к моему-то хозяину: поезжайте да поезжайте! Левонтий-то Прохорыч, хозяин-то мой, сначала было и призадумался, ну, да видит, что Илья Афанасьич да Аксен Фомич бесперечь берутся за эфто дело, и решил... И поехали они, милый человек, да так, скажу тебе, и по сей час застряли там. Пришли, сказывал уж он опосля, в город к начальству, а там уж всё знают. Ну, и забрали. Вот и всё дело, болезный мой! А наши-то, деревенские, скажу тебе, проводимши их, всё ждали: вот будут, вот будут! И в кабаке уж послали вина шесть вёдер купить, чтобы встретить... Только вместо их-то — к вечеру этак дело-то было — и прикатили становой да посредственник... Вот как оно, какое дело-то, скажу тебе!..

— Да, ишь, как оно вышло... ещё водки купили!

— Купили, милый человек; ну, да им-то что! всё равно ропсили... а вот моему-то каково голубчику в ответе быть! Вот что, сердешный, подумай-ко ты это?

— Это точно, всякому своё!..

— Как узнала я всё это, оказию-то ихнюю, так не пове-ришь, милый человек, почесть, лоском и пролежала цельные сутки. Царица небесная! думал ли, гадал ли он!.. Да и он-то уж говорит: «Кабы знал это всё, так Бог бы с ней, и с волей! Ни в жисть бы не поехал!» Ну, да што поделаешь — божие со-изволение!.. Охо-хо!

И Дмитревна снова принялась высказывать дрожащим от слёз голосом накипевшее в груди её горе. Солдат слушал мол-ча, изредка только качая головой в знак своего участия.

— Так уж не оставьте вашей милостью, — снова начала она упрашивать его.

— Будьте без сомнения... Одно слово, будьте благонадёжны!

— Уж век бы стала Бога молить за вас.

— Не сомневайтесь; сказано: спросите только ефлето-ра Кузьму Баландина. Мы ведь тоже... у нас таперича и по капральству... аль пред командёрами что... всё порядки как есть... а уж насчёт чего, только Баландина спросите!

— Дай Бог вам за это... не погнушались сиротскими слеза-ми... Уж и я вам, почтенный, буду благодарна, — не сомневай-тесь и вы!

— Не тревожьтесь... Вы-то в город? — спросил он, как бы желая переменить разговор.

— В город... продать вот кое-чего набрала. Ну, да и пови-даться охота, страсть ведь, как их там держат!

— Да оно... держут в смиренстве!..

— Как посмотришь, выведут-то их: худые-расхудые, инда сердце надрывается, со стороны глядя!

— Э, на то и острог; сказано: не разъешься!..

— Ох, не разъешься, правдива ваша речь!.. А что, служи-венький, как вот прозывать-то вас, не знаю!..

— Кузьмой!

— А по отчеству-то?

— Селифонтов был в старину, отца-то Селифонтом звали...

— Тэ-эк... Кузьма Селифонтьич, значит; буду знать... А что говорю, не хотите ли, может, попаужинать: я бы того...

— Благодарим покорно вашей милости: недалеча и до го-рода; придержим выть-то*!

— Молочка я везу маненько Левонтию-то Прохорычу, да ягодок... так похлебали бы, не поспесивились.

— Коли милость будет, так ништо: щи-то у нас больно сквозят, а молочка, признаться, уж я давно не хлёбывал, а охоч до него!..

* Выть — здесь: час еды, завтрак или время между приёмами пищи у крестьян.

— Похлебайте: молочко-то густенькое, и чашечка есть у меня, ноне купила ему, а то всё скудался по посудинке-то... только ложечки вот нетути, а может, через край?

— Э, насчёт эфтого того... мы ведь везде со своим хозяйством, — говорил он, доставая из-за голенища сначала кисет и трубку, потом уже деревянную, с обхлёбанными краями ложку.

Дмитревна, налив из туеса в чашку молока и насыпав ягоды, подала её Кузьме Селифонтьичу со словами:

— Кушайте на здоровье, не поспесивьтесь!

— Благодарим покорно!.. А насчёт того, что говорил вам, сказано: не сумневайтесь... Таперича я для вас всё сделаю, только Баландина спросите! — говорил он, принимаясь за предложенное ему угощение.

Солнце давно уже закатилось, и сумрак постепенно охватывал предметы, сливая их в одну непроницаемую массу. На противоположном берегу кое-где на плотках и барках засверкали огоньки, разведённые бурлаками для варения скудного ужина, и красные полосы света ложились от них по реке. Над лугами белой волнующейся пеленой носился туман. Воздух был сыр, но тёпел; в траве слышалось неумолчное трещание кузнечиков, в ближнем лесу порой раздавался тяжёлый взмах крыльев напуганной чем-нибудь птицы, или слышалось тревожное ржание лошади, зашедшей слишком далеко от места пастбища...

Парома всё не было, несмотря на усиленные крики ожидавших его. Синяя чуйка давно уже вышла из себя, и вместо «эхма!» — густая брань и проклятия сыпались от неё неумолкаемо на содержателя перевоза. Старушка-странница, удовлетворив вполне любопытство слушавших её, успела уже и соснуть и, вынув из котомки ломоть хлеба, ужинала, с трудом пережёвывая зачерствелую корку. Даже игроки утомились упражняться над своими носами и мирно беседовали между собой о том, «кому сколько трёпок тятка задаст?».

— Ах, чтоб те лешаки драли... Митюха! мотри-ка, нет ли?

— Чего мотреть-то, отвалят, так мимо не проедут; а нет, так мотри не мотри, всё одно! — сердито отозвался Митюха, которому нестерпимо хотелось спать.

— Ах ты, чёрт какой! а?

— Вот те и чёрт... знай!

— Кабы чиновник наехал, так пошевелились бы! — сказал мужичок с рысьими глазками, беспокойно прыгавшими от одного предмета к другому, точно высматривая, что поспособнее спрятать в карман.

— Э! колоколец они, анафемы, далече слышат! У тех ведь, брат, расправа коротка!

— Коротка!

— Коли что, так и нагайкой!

— Ну, нет, брат, не говори: иной кулак хлеще нагайки бьёт...

— А ты пробовал, што ль?

— Да чего на веку-то не испробуешь! — отвечали лаконически рысьи глазки, внимательно присматриваясь к возу с сушёной рыбой.

— Насмотрелся и я, — заметил Левонтий Савич, — этта, скажу тебе, барин какой-то также напустился на паромщика-то да мазать принялся; так уж он его и так-то, и этак-то, на все манеры, ей-богу. Так тот вырвался как ошалелый, так в воду и прыгнул вместо парома-то, аж народ-то все животики надорвал: вот как он его взбутил!

— Шустрый, верно?

— И... А чего бы, кажись: из себя-то жиденский, ну, да звезда во лбу была. А тоже, брат, посудить и ихнее-то дело, перевозчиков, — не красно же житьё! Иной, почитай, целый день гоняют назад да вперёд, а плата-то какая, и харчи тоже совсем не по работе... А осень-то настанет, да заморозы начнутся, так другой на всю жизнь без ног останется!

— Отвалили! — крикнул кто-то с мостков.

— Ну!

— Ей-богу!

— Врёшь?

— Во — мотри, чего врать-то... за враньё денег не платят!

Паром действительно отвалил, и в тишине по реке звучно раздавались мерные всплески вёсел. Всё всполошилось: кто бежал на луг к пасущимся лошадям, кто приноравливал телегу поближе к мосткам, чтобы занять на пароме лучшее место. Солдат, покровитель Дмитревны, тоже помогал Ванюхе подтащить телегу поближе, и даже поспорил по этому поводу с татаринном, не дававшим ему дороги, назвав его свиным ухом.

— Ишь, лешаки бы вас драли, кое время выпались! А? — ворчала неугомонная чуйка, — ведь сколько, милый человек, убытку из эфтого таперь понёс: ведь с вечера-то я бы всю рыбу запродал, а теперь вот жди, пока навернётся покупатель! — говорил он мужичку с рысьими глазками.

— А вы промышленники? — спросил тот.

— Промышляем, грешным делом!

Толкотня и говор по прибытии парома сделались ещё гуще. Все торопились, и все, как водится в подобных случаях, мешали друг другу. Чаше всего, впрочем, слышалось: «Эй, по-

наляг! ну, ещё! вот так!». — «Ух!» — раздавалось под конец, когда тяжело нагруженная телега с громом вкатывалась на паром.

— Лошадей-то, мотрите, привязывайте, вы, лапотники! — кричал рослый, стоявший у руля паромщик, раскуривая трубку.

— Ну, шитые лыком сапоги, молчи — аль в купцы выписался, спесь-то напустил! — слышалось в ответ ему с берега.

Наконец всё было готово; накинули барьер, и тяжело нагруженный паром тихо тронулся с места, благодаря дружным усилиям гребцов, отпихивавшихся от берега шестами.

— Господи благослови! — крестясь, говорили многие, когда паром отплыл на достаточную для гребли вёслами глубину.

Деревенский торгаш

(Предпраздничные сцены)

Накануне первого августа, спасова дня, называемого у пчеловодов медовым спасом, с раннего утра в нижнем этаже высокого деревянного дома, покосившегося от времени на сторону, раскрылось широкое окно со спускным ставнем, заменяющим прилавок в небольших лавочках, устраиваемых в домах. Лавочка, в которую хлынули тёплые лучи солнца, была необширна и, как все деревенские лавочки, не отличалась ни обилием товара, ни щегольством обстановки. На шесте, прикреплённом к потолку, развешены были полушёлковые ленты, бумажные опояски, женские платки, кожаные рукавицы, бродни, чарки, шапки и поярковые и войлочные шляпы. На полках, вколотенных в стены, в деревянных ящиках с надписью «Карамель» виднелись изюм, калёные кедровые орехи и различных форм пряники, до того высохшие от времени, что и зубы простолудина, не знающие порчи, с трудом разжёвывали их. Вдоль стен гирляндами висели связки подобного же достоинства баранок и крендельков рядом с нанизанными на верёвочках медными бляхами, кольцами и разную мелочь, начиная от увесистого замка и кончая ружейной отвёрткой и пучками щетины для дратвы. Против окна, на самом видном месте, для соблазна девиц и молодых женщин были выставлены в ящике под стеклом бронзовые серьги с стеклянными подвесками, выдаваемыми при продаже за самоцветные камни, посеребрённые массивные перстни и кольца с надписями внутри их: «Я твоя фартуна», «Са мной надеш любовь па грош», «Ни таскуй ни гарюй пака я с тобой» и т. п., какими обильно снабжает обширную Русь — вместе с самоварами, кремнёвыми винтовками и дробовиками — промышленная Тула. В этом же ящике лежали истёртые в порошок свинцовые белила, тонкие плиточки разноцветных мыл и банки с помадой фабрики г. Мусатова, утратившей за давностью всякий букет, кроме сального. Вот и всё, что привлекало внимание при взгляде во внутренность лавочки.

Но всего рельефнее бросилась бы в глаза любопытному выдающаяся из окна её, как из рамы, наружность владельца лавочки — человека пожилых лет, с пухлою белою физиономией, какими преимущественно отличаются люди, торгующие по купеческим свидетельствам. Узенькие заплывшие глаза его ярко светились из-за густых русых бровей, всегда

судорожно сжимавшихся у переносья, когда на толстых губах мелькала улыбка; в каждой черте этого лица, обрамлённого красивой окладистой бородой, проглядывали самоуверенная ирония и то мелочное и, если можно так выразиться, грошовое лукавство, составляющее особую типичную черту торгашей и барышников.

Прохор Игнатъич Белкин, по-уличному называемый «Петлѣй», лет за шесть или за семь до описываемого мною времени выселился из г. Кузнецка в село Локти и открыл в нём лавочку, с которой мы только что познакомились. Как человек сметливый, имевший некогда лабаз в городе, он скоро освоился с характером сельского населения и с чувствительными местами окружающих его экономических условий и в короткое время не только для Локтей, где купил дом и завёлся прочным оседлым хозяйством, но и для окрестных сёл и деревень сумел сделать самую насущную необходимость. Он скупал у крестьян, пользуясь постоянною нуждою их в деньгах, по мелочам мёд, воск, хлеб и другие продукты, какими богат Кузнецкий округ; брал и скот, задавал деньги инородцам под зимний улов зверя и ежегодно по первому зимнему пути отправлял купленный по мелочам и за бесценно товар значительными обозами в Томск, где продавал с тройной выгодой. Давал он и деньги в ссуду застигнутым какою-нибудь крайностью крестьянам: приезжали ли, например, волостные чины за сбором податей, — угрожаемые розгами в случае неуплаты денег неимущие шли к нему; падал ли у кого скот — он не отказывал просителю в деньгах на покупку нового, но только благодетельствованные им мужички долго потом не могли оправиться от его обязательной ссуды и немало дивились, почёсывая затылки, нарастающим процентам, хотя предусмотрительный Прохор Игнатъич всегда умалчивал о них при ссуде.

И в несколько лет небольшой вывезенный им капиталец благодаря подобному ведению дел возрос до значительного, а с расширением оптовых операций Прохор Игнатъич и не сидел уже в лавочке, предоставляя мелочную торговлю супруге своей. Но накануне Спаса, храмового съезжего праздника в Локтях, он, усердно перекрестившись на все четыре стороны, сам открыл окно, или прилавок, и сидел в ожидании не покупателей, а более продавцов своего товара из нужды в деньгах ради праздника; а что они будут, он знал по опыту предшествовавших лет.

Задолго ещё до рассвета и в богатых домах, и в бедных избах обитателей села Локти проснулась в этот день жизнь, но не обыденная с её незатейливыми требованиями, а полная предпраздничных приготовлений и хлопот. Везде мыли и высклабливали полы, лавки и подоконья, подбеливали печи и стены.

Из труб клубами валил дым, разнося по селу жирный запах варившихся щей или приготавливаемого студня. То на том, то на другом дворе раздавался жалобный предсмертный крик закальваемого поросёнка или курицы или тревожное га-а-га-а-га избегавшего поимки гуся. Около изб на шестах, продёрнутых между плетней и заборов, проветривались нарядные платья и шушуны, вынимаемые из кованных сундуков только в годовые праздники.

Пологий берег речки, протекавшей за селом, тихий и пустынный в другие дни, ожил от кипевшей на нём деятельности; ярко сияли медные самовары, иконы и кресты, вычищенные для праздника квасною гущей с песком; говор и смех чистивших их женщин и девушек, перемывавших вместе с ними и деревянную посуду или тут же на реке потрошивших свежую рыбу и только что заколотую птицу для праздничных пирогов, визг и плескание детей, бродивших в воде с засученными на груди рубахами, хлопанье вальков по намоченному белью, покрываемое порою резким стуком плотничных топоров, свистом пилы или криками плотников: «Ну-ну, наваливай, при-и, при... при-и, при!», устраивавших наскоро «иордан» по найму от церкви.

Местами по берегу высоко поднимавшиеся столбы чёрного дыма от костров, на которых опаливали только что освежёванных свиней, придавали всей этой картине оригинальный колорит, полный какого-то девственного юмора. Из узеньких, ничем не прикрытых окон бань, кучками разбросанных по берегу вдали от жилых строений, поминутно слышалось: «Тя-а-а-тя-тя... о-о-о... га-га-га... Пожги его, пожги!..» — и другие крики парильщиков, раздававшиеся под хвощ свежих берёзовых веников. Не стесняясь нескромных взглядов, и старушки, и молодые женщины, едва прикрывшись, перебежали из бань через улицу, а мужья их прямо из бань бросались в холодные речные струи, ныряя и перекидываясь острым словом с работавшими на берегу молодыми девушками.

На паперти старинной каменной церкви, стоявшей на окраине села среди зеленеющей площади, трапезник с засученными выше локтя рукавами у рубахи также чистил тряпичей с мелко натёртым кирпичом иконы в старинных серебряных ризах, подсвечники и кадила, сложенные в кучу около корыта с квасною гущей, какой он обливал их перед чисткой, а причетник, молодой ещё человек, в ситцевом халате, в сапожных опорках, надетых на босую ногу, выхлопывал от пыли рясы, епитрахили и покровы с аналоев. Неподалёку от церкви, в пустом амбаре, примыкавшем к дому дьякона, происходила спевка четырёх крестьянских мальчиков под наблюдением самого дьякона, отбивавшего такт книгой взамен

камертона о дно опрокинутого полубочья и басом вторившего им: «Бла-а-ажи-и-ити-итя-а, богго-о-рррро-дице-е-е!...».

Ни один человек не оставался в этот день в селе Локтях без занятия, и дети вместо игр то провеивали на задних дворах крупу для праздничной каши, то выхлопывали от пыли холщовые половики и настилали на вымытые полы свежую провеянную солому. По улице, по направлению от церкви к устраиваемому «иордану», взвилась густая пыль от сметаемого с неё навоза под наблюдением сельского сотского. Даже ветхий старик поскотник, сидя около своей землянки, ковырял заострённым гвоздём прорванный бродень, стягивал прореху в нём тонкой бечёвкой, желая показаться в годовой праздник не босиком, как в обычные дни.

Не напрасно сидел Прохор Игнатьич: к его прилавку, едва открылся он, подходили один за другим и покупатели, и продавцы; с неизменной улыбочкой он выхвалял одним свой товар и принимал от других под залог или вместо денег приносимую ими живность и вещи. С каждым он находил о чём поговорить, а если пришедший был проще других, то не отказывал себе в удовольствии и подшутить над простотою его.

— Отдавай мёд-то по три за пуд, а? — уговаривал он пожилого крестьянина в ситцевой, густо пропотевшей на спине рубахе, стоявшего у прилавка.

— Божий ты человек, ведь мёд-то в семь рублёв пуд, судико, — ответил он болезненно-ноющим голосом. — Проезжающий ноне сказывал: береги, говорит, в цене мёд-то!

— Ну, коли в цене, то мне не надоть!..

— Прохор Игнатьич... и ей-богу... мне бы всего три рублика, сделл... милость, по гроб-б!..

— Отдавай мёд — ссужу.

— Убытошно, родимый... положь хоша по шести-то?

— Убытошно-то убытошно — это чего говорить, да и деньги-то ноне на полу не валяются! — ответил Прохор Игнатьич тоном, в котором звучно задрезжала нота: «Убыточно, а всё-таки от нужды отдашь!».

Понял эту ноту и мужичок, и молча почесал затылок.

— А-ах, убыток! — произнёс он после минутного раздумья. — Положь хоша по пяти-то с полтиной, а? — робко спросил он, глядя на него заискивающим расположения взглядом, какой неволью свойствен бедняку, поставленному в безвыходную зависимость от богатого и сильного человека.

— Есть ли шляпы-то? — спросил в это время, подходя к прилавку и здороваясь с Прохором Игнатьичем, крестьянин средних лет, с добродушно-наивным выражением в плоском лице, обрамлённом рыжею бородою. — Купил нонись в городе, да прорвалась, братец, а праздник!..

Проخور Игнатъич молча сдёрнул с полки и подал ему три поярковых шляпы.

— Отдаёшь, што ли? — обратился он к первому, пока вновь пришедший примеривал шляпы, осматривая и тульи, и поля их к свету.

— Убыток!..

— А ты бы подороже хотел, ась? При нужде-то, брат, с лихвой не продашь; куды хошь поди!

— А што, к примеру, за эфтакую снасть? — улыбаясь и потряхивая на голове надетой шляпой, спросил покупатель.

— С другого бы полтину, а с тебя семь гривен! — ответил он, не глядя на него.

— Ох, ешь те мухи!.. За какие провины?

— На то шляпа! Таперича, коли ты в эфтакой шляпе, то знаешь, все девки засмотрятся...

— Оно бы... и-и... на руку, да баба-то у меня...

— С полымя рвёт?

— Ржа. Ну, полтину-то, кругля счёт, а? — спросил он, снимая её и снова осматривая к свету.

— Не по пути ездись — ободья сотрёшь... Меньше семи таперича эфтакой шляпы и в городе не купишь, потому, видишь, и фабрикант, если тебе растолковать, первеющий — одно слово, сорт-шляпа: гляди! — говорил он, указывая ему на приклеенный внутри шляпы ярлычок.

— Полтина-то с пятаком за глаза бы, а?..

— С тобой на полтину-то одного разговору израсходуешь!..

— Проخور Игнатч! сделл... милость... не держи; и ей-богу, мужа! — ноющим голосом прервал его первый.

— Нешто ты привязан? Отдавай мёд, и деньги в руки: чего нить-то?..

— Бог с тобой!..

— Вестимо, без Бога куда бы? — тварь и та его славословит. А гумашка-то так и просится к тебе: а-а-а-а!.. погляди-ка... — проговорил он, помахивая перед его глазами трёхрублёвой ассигнацией, незаметно вынутой им из ящика.

Вскользь посмотрев на неё, мужик отвёл глаза в сторону.

— Новенькая, а-ах! Куй её, Ваня... хруст-то один дороже денег... да ты погляди, небось... не укусит ведь!.. — смеясь, угваривал он мужичка, из груди которого вырвался вместо ответа глубокий вздох.

— Народ-то ноне, а?.. И от денег в отпор!.. — заметил, трянув головой, покупатель шляпы.

— Народ ноне за-а-ноза: спеси, што грибов весной!..

— Так сколько, бишь, тебе за шляпу-то, ась?..

— Сказано — семь!..

— Во-о!.. И шесть-то по соседству — харч добрый?.. — загибая полу армяка и доставая кожаный кисет с медными кольцами на длинных ремнях, спросил он.

— С которого ты боку сосед-то мне?

— Э!.. Нешто не в одной поскотине-то!..

— Ну, экого пригульного-то живота, как ты, в соседи-то много найдётся, только распахни карман!.. — ответил он, пересчитывая поданные тем деньги. — А гривна-то где?..

— Какая?.. — с удивлением спросил тот.

— Ты шесть только дал...

— Неуж... а-а?.. обчёлся...

— Знаем мы, как вы обсчитываетесь! Давай... давай!

— Будет, поди, шести-то, а?

— Ну, ну, нечего... молод фигуры-то подводить... допрежь у попадьи научись... как с чужих горшков сметану снимать... вываливай-ко!..

— Я бы того... ей-богу, слышь, донесу опосля...

— О-о, штоб тебе... купит на грош, да на рубль наломается... подавай шляпу... Рылом ишшо не вышел носить их.

— И жадный же... у-ух!.. — произнёс мужик, снова доставая кисет и отсчитывая ему недоданную гривну.

— Вот и учишь оболванивать-то!.. — начал Прохор Игнатъич, опуская деньги в ящик. — Шляпа-то всего сорок копеек стоит, а ты семь гривен дал: э-эх, назёмный дворянин!..

— Соро-ок? — удивлённо спросил мужик.

— И ей-богу, ха-ха-ха!..

— Врёшь? — с выражением мучительного беспокойства снова спросил тот.

Но Прохор Игнатъич залился уже звонким дребезжащим хохотом; даже на унылом лице крестьянина, продававшего мёд, мелькнуло что-то вроде улыбки.

— Дру-уг, неуж взаболь?.. — снова обратился он к Прохору Игнатъичу, когда взрыв хохота его стих и только по временам вылетали оторванные, однозвучные всхлипывания.

— Тут так и друг, а-а... спужалси... — снова ответил он, отирая с глаз слёзы, вызванные смехом.

— Спужался, и ей-богу!.. Наживная копейка-то, и то Фёдору Силычу корову запродавал. Оно шутка, што ль, ни за што отдать? три гривны... накла-адно!.. хе... де-еньги!.. — говорил он, отходя от прилавка с надетой на голове шляпой и видимо повеселев.

— Будь ты по-божески, Прохор Игнатъич! — приступил по уходе его мужичок, продававший мёд. — Дай хоша по пяти-то с полтиной... не зори для праздника.

— Не струна, болезный!.. — с жалостью в голосе ответил ему Прохор Игнатъич и пристально посмотрел на пожилого

крестьянина, подошедшего к прилавку и молча облокотившегося на него.

— Неуж ты по четыре пуд хошь?

— Нужа, так и по три отдашь!..

— Сдел... милость... надбавь хошь рублик-то... для ребятко-то малых...

— Не фартуна, товарищ!..

— А-ах, Бог с тобой!.. — ответил тот надорванным голосом, всплеснув руками по бёдрам, и через мгновение, как будто машинально приняв из руки Прохора Игнатъича новенькую трёхрублёвку, соблазнительно мелькавшую перед его глазами, долго и пристально всматривался в неё, как бы вникая в смысл скрытой в ней силы.

— Так и думал, што ты с деньгами придёшь: левая ладонь иззудилась... што, мол, за грех? Никак, Митрофан придёт!.. — прищурившись, обратился Прохор Игнатъич ко вновь пришедшему, пока продавший мёд мужичок, завернув в тряпицу бумажку, положил её за пазуху и, не поклонившись своему благодетелю, отошёл от прилавка.

— Нету, друг!.. — ответил Митрофан.

— А ты, помнится, к Спасу сулил отдать, а?..

— Прогорел... не сбился деньгами-то... обожди: ужо я тебе первому; сам, тоись, без рубахи буду, а тебе отдам! Не купишь ли нетель?

— Большая?

— Полуторник!..

— Што ж... коли ценой выйдет, можно!

— От хорошей коровы-то: другому бы и не продал; и баба-то на племя хотела оставить, да нужа, нужа, друг, совсем заела; рубля два дашь?

— Веди!..

— Добрая нетель-то!

— Веди, веди: пощупаем...

Митрофан ещё что-то хотел сказать, но только тряхнул головой и побежал вдоль улицы. По уходе его Прохор Игнатъич достал из простеночного шкафа толстую книгу в кожаном, истрепавшемся от времени переплёте, исписанную гвоздеобразными буквами и цифрами, выроставшими для крестьян в неоплатные долги. Надев круглые очки в медной оправе, он медленно перелистывал её. К прилавку подошла девушка в простой холщовой рубахе и юбке, с красным платком, повязанным на голове, концы которого, падая на полную грудь, прикрывали её.

— А-а, Марьюшка... не путём ли дорожкой? — встретил он, протягивая ей руку.

Она стыдливо потупилась.

— Спеси-ива... ну, ну, не стыдись... Я ведь расхожий мужик-то... — и он щипнул её около одного из концов платка.

Закрасневшись ещё сильнее, девушка отодвинулась от прилавка, прикрыв грудь руками.

— Хе-хе-хе!.. — и слезящиеся глаза Прохора Игнатъича впились в неё. — Перстенёк, што ль? — спросил он.

— Чайку бабушка просила!.. — тихо ответила она.

— Золотничок небось... да сахару на приглядку, а? А перстенёк-то... глянь-ко... а-ах, распори его вилами, ж-жа-ар!.. — вынув один из перстней и повертев им перед глазами, говорил он. — Купи!

— На какие деньги-то? — тихо спросила она.

— Эфтакой крале можно и в долг поверить: не пропадёт... — и он подмигнул ей: — подарить, а?

— Не надоть!.. — искоса взглянув на него, прошептала она.

— Того бы, а? А перстенёк-то, а-ах!.. Да ты не бойсь: поквитались бы!.. Што стар-то... да ты не брезгуй... бородой-то не колет... иной старый-то лучше молодого... а? — И он залился сиплым, грязным хохотом.

Окончательно сконфуженная, девушка закрыла лицо концами платка.

— И как ни взглянешь на Прохора, всё-то он с девками!.. — шуточно произнёс подошедший крестьянин с новой сырмятной сбруей на плече, украшенной кольцами и бляхами.

— Не с тобой ли язык точить? — жёлчно отозвался он, пряча перстень в ящик и снимая весы, подвешенные к потолку за одну из цепей. — Копейка-то в недоимку пойдёт, а? — спросил он у Марьи, принимая положенный ею на прилавок медный пятак.

— Я скажу ужо бабушке!..

— Скажи, штоб она напередки глаза-то гущей протирала... не впервой берёт, знает цену-то!.. А ты куда это со сбруей-то? — спросил он крестьянина, когда, подобрав свёрток с чаем, девушка ушла.

— К тебе... авось, думаю, рублик дашь!..

— Што мало? — спросил он, пристально осмотрев сбрую.

— Будет!..

— Проси боле, не робей!.. В Москве не бывал?

— Нет!

— Съезди!..

— Зачем?

— Науку произойдёшь... там, слышать, толсто куют, да тонко носится; тогды уж и приходи в долг под сбрую просить, оболванишь!..

— Ты ремни-то огляди: кто тебя болванит? Неуж не стоит рубля-то? — вытягивая перед ним длинные, упругие ремни

её, говорил он. — Одной мёди-то на рубль будет: чего боишься? отдам!..

— Я вашу-то отдачу давно уж на воде мылом записываю; ноне у меня другие порядки...

— О-о!..

— Так точно!..

— Никак, к мёду приговариваешься!..

— Неси: отведаем!..

— Меда у меня, то ись... язык проглотишь...

— Не бойсь... он у нас крепко привязан!..

— Так не берёшь сбруи-то, а?

— К зиме приноси; две гривны дам!..

— За экую-то сбрую две гривны, а? Фю-у-у!.. видать, тоже московский-то трахт топтал, — говорил он, отходя от прилавка, но, дойдя до середины улицы, остановился.

Крестьяне, выметавшие улицу, криками и хохотом встретили в это время Митрофана, который вёл тёлку; конец верёвки был обвязан узлом на шее. Упиравшаяся тёлка, с рёвом прыгая в стороны, мотала головой, стараясь высвободить голову и увлекая за собой своего вожатого. Едва он подтащил её к воротам, Прохор Игнатъич спустил ставень и вышел во двор.

— Ну и божья скотинка, упарила!.. — снимая тёплую шапку и отирая крупный пот со лба полой рубахи, говорил он, не выпуская всё-таки из рук конца верёвки, между тем как Прохор Игнатъич, подойдя к тёлке, осматривал её, щупая у неё конец хвоста и выпуклости на лбу.

— Веди в стайку!.. — сказал он, видимо оставшись доволен осмотром её, и, войдя в лавку, спустил прилавок, около которого стоял уже закладчик сбруи.

— Почём ты меда-то берёшь? — спросил он, едва Прохор Игнатъич укрепил на крючья спущенный прилавок.

— По мёду и цена, милый друг... разговор один... — с улыбкой ответил он.

— Слёзница мёд-то!..

— И слеза-то, друг, разная бывает: ино дело девичьи, ино — мужичьи; каков на кус?.. Скажи-ко...

— Отменный!.. Верь... для тебя только за восемь рублёв пуд отдам!..

— А-а!.. видать, што сладкой!.. — с иронией произнёс Прохор Игнатъич, пристально смотря на него.

— Сластёна! Говорю, язык проглотишь...

— Не носи, коли так...

— О-о!.. што ж?..

— Боюсь за язык... и в самом деле, этак съешь его и не услышишь, а наше дело торговое: куды пойдёшь без языка?.. Уж подожду какого ни на есть подешевле... этак рублика в три!..

— В три-и?.. Да где ты экого возьмёшь? — с удивлением спросил мужик.

— Деревня-то велика, и праздник-то завтра не малый: кто ни на есть и навернётся; а ты сбегай-ка к Захарке, спроси, за какую цену он мне мёд-то продал, а его меда лучше твоих, и мужик-то он на вид показистей тебя... — прищурившись, с насмешкой в голосе говорил Прохор Игнатъич.

— Это Захарка-то?.. — обидчиво спросил тот.

— Захарка!.. У него одного ума в беремья не обхватишь!..

— У Захарки-то?..

— У Захарки. С ним таперича и дела вольготно вести: не ломается, все порядки знает; таперича супротив Захаркиных медов во всём околотке не найдёшь!..

— А-а!.. — с обидчивой в свою очередь иронией протянул тот.

— Верное слово... и то он по три рубля пуд отдал, а твои-то меда я знаю!..

— Худые нешто? — с сарказмом спросил он.

— Окромья тьфу... и речи не найдёшь!.. Одногo сору не оберёшься!..

— О-о... Гляди ж!..

— Так точно... твой мёд супротив Захаркина — што дёготь супротив божьей росы, а тоже восемь рублёв за пуд ломишь, хе-хе-е... Смешной ты человек, с которого боку ни посмотри на тебя!

— Это я-то?.. — конфузливо взглянув на него, спросил мужик.

— Окромья тебя, кому ж за хвасню в побасёнку войти!..

— А ты знаешь, што мой мёд таперича настоящий липовый, а Захаркин со всякой травы, а? — вдруг весь вспыхнув и от внутреннего волнения вскинув шапку на затылок, спросил он, задетый за живую струну своего самолюбия. — Штобы это таперича мой мёд да хуже Захаркина!.. — с расстановкой повторил он. — Стоо-ой!.. Хошь об заклад? Я те такого мёду пуд принесу, што твоему Захарке от завиди лопнуть, а? — решительно спросил мужик, протягивая ему руку.

— Неси, отдаем!..

— Пропадай и цена, коли на то пошло... штобы таперича мои да хуже Захаркиных, а? Да ты с мово мёду-то пальцы оближешь, вот што-о!.. — говорил он, возвышая голос от экстаза, в который постепенно входил.

— Неси, неси: посмотрим, облизем аль нет!.. — насмешливо подстрекал его Прохор Игнатъич.

— Не-ет... Я те за три-то рубля мёд дам — язык проглотить!.. Захарка... хе... нашо-о-ол!.. Мой-то пасек исконный, а его — без году неделя, да штобы его меда лучше моих... погоди-и-и!

— Ты носи наперво, а потом уж кудахтай... што яичко снёс... Слышь?..

— Принесё-ом!.. Штобы Захарка... Сто-ой!..

Но Прохор Игнатъич вместо ответа залился своим дребезжащим хохотом, которого, впрочем, оскорблённый пчеловод, по-видимому, не слышал. Весь поглощённый мыслью об унижительном сравнении, он, бессознательно поправив шапку на голове, отошёл от прилавка, бормоча: «Подожди-и... я ужо!..».

— Видал дураков!.. — произнёс вслед ему Прохор Игнатъич, обратившись к Митрофану, который давно стоял поодаль от окна, терпеливо прижавшись к стенке.

— На миру-то чего не увидишь!.. — уклончиво ответил он, подходя к прилавку.

— Принесёт!.. даром отдаст, только похвали... за-а-дорный!.. — И Прохор Игнатъич снова заколыхался от смеха. — О-ох, горе с этими деньгами: только творение бессловесное не стяжает!.. — со вздохом произнёс он вдруг после непродолжительной паузы, облокотившись всем корпусом на прилавок, но в глазах его сверкнула совершенно противоположная его философскому настроению мысль. — И ты, поди, вот денег ждёшь, а по моему счёту, никак, с тебя доводится, а?

— Прохор Игнатъич!.. — испуганно проговорил Митрофан. — Обожди, сердешный!..

— Но докедова ждать-то, милый! Денежка — што корова, уход любит; раз не подой её вовремя, да другой, да в третий, так и с молоком простишь, — доставая знакомую уж нам книгу в кожаном переплёте, повторил он. — Ты к Святой пять рублёв брал — сулил к лету отдать, да в июле два рубля на подать с посулом к Спасу принести?..

— Не справился... верь!..

— Об этом разговор опосля пойдёт!.. — прервал его Прохор Игнатъич, проложив с книги на больших счётах цифру «семь» рублей.

Митрофан молча с любопытством следил за ним.

— Ржи-то восемь пудов принёс да льну два, почем кладёшь пуд-то?..

— Рожь-то о ту пору с лишним три гривны была!..

— А лён?..

— Восемь гривенок положи за пуд-то, и то уж по знакомству будто, а то всё бы с рублик надоть.

Прохор Игнатъич, быстро сделав расчёт на счётах, сбросил с цифры «семь» два рубля.

— С рубь-то останется ли за мной? — спросил Митрофан.

— Поболе, друг.

— Откедова это так? — с изумлением спросил он.

— На то счёт... Складывай по пальцам. Брал ты у меня семь рублей.

— Семь!..

— По пятнадцати копеек пуд ржи — сколь?.. Рубь двадцать?

— По пятнадцати-и-и... Што ты, што ты кладёшь это?.. — с удивлением произнёс он.

— Ну, сбросим, коль много!..

— И тридцать-то в убыток... Андели с тобой!

— Убыток, а-а!..

— Слёзный... и ей-богу... ведь и по тридцать-то уж я по знакомству тебе отдаю!..

— Значит, ты свою линию соблюдаешь?.. Подавай деньги начисто, и весь расчёт в эфтом!..

— Прохор Игнатъич... што ж это?.. А-ах ты господи!.. По пятнадцати копеек пудовка ржи... есть ли Бог-то у тебя?.. Слышали ли, добрые люди? — всплеснув руками, обратился он к улице; но улица была совершенно пуста, и из добрых людей, знакомых с порядками Прохора Игнатъича, никого не было на ней.

Прохор Игнатъич тем временем спокойно закрыл книгу и, неторопливо положив её в шкаф, возвратился к прилавку.

— Не напасть ли это?.. Уважь хоть для праздника-то, родимый!..

— Сущее безобразие! Таперича возьми нечисть — свинью, и у той есь анбиция... тьфу-у... — и он жёлчно плюнул. — Што ты жалобишься-то, а?.. Где болит?

— Как не болеть?.. За што ты зоришь?.. — и в надорванном голосе Митрофана послышались слёзы.

— Кто кланялся... когда деньги брал, ты аль я? Возьми-де: карманы трут, а?..

— Нужа — так не токма поклонисься, слезами всплакнёшь!..

— Э!.. А как ты таперича касательно то ись своего ума... твои это деньги аль чьи?..

— Твои, кто говорит!.. так я... тово...

— Мои-и-и... а-а?.. Значит, ты мне их в карман не клал?..

— Из каких достатков-то по чужим карманам своё добро совать? И своих бы дыр... досыта... добра-то нет, а прорех-то много!..

— Послушать, какую ты мне отповедь скажешь, к примеру, на эфтакую притчу: взял бы я, значит, у тебя семь рублёв да опосля бы того и заны-ыл: Митрофан Василич, так и так, мол... сердечный друг мой о пяти копытах, есь промеж нас счёт, сиречь недоимочка: сем-ко, принесу я те восемь пудов ржи, да два пуда ленку, да комолую тёлку без хвоста в придачу...

— К примеру, што ж?.. — прервал тот.

— К примеру-то мы притчу гоним: распахни уши-то... на то и вырослил с капустный лист, и трахтую бы: рожь-то, мол, ты бери по три гривны, потому, значит, мне такая линия, лён-то бы по знакомству без мало рубль, а уж тёлку-то, хошь и красная цена ей восемь гривен, ну да для тебя будто за два рубля отдаю, а остальное, значит, в отвилае месяце, што в одном году с Касьяном живёт, счёт сведём, а на том свете расплатимся. Нутко-сь, размахни умом-то разумом!.. а?

— Што ж? По душе, значит!..

— Чего?..

— К примеру, чего говорил-то!

— А што я говорил-то, оповести?..

— Ну, значит, што ж? Пошто не подождать, к примеру, если бы ты и того... не ровён час, все под Богом! — с расстановкой отвечал он.

— Фатюй ты, фатюй, вся то ись и цена-то тебе вытертый грош!.. Не обида ли таперича с вами, дураками, дело вести, а?.. Ну какое у вас есть понятие касательно уважения за добро, а?.. И ума в обиду Бог дал, а всё норовите под свой ноготь!.. И вот тебе моё последнее слово: или подавай деньги, или подь с Богом и не знай меня, слышал?.. — резко-визгливым тоном произнёс в заключение Прохор Игнатъич.

— Грабь, грабь, твоя воля!.. — со вздохом ответил Митрофан.

— Что-о?..

— Грабь, говорю, хватай на гроб, авось с грабежу-то горой раздует!.. Петля — так петля и есть: дави мир-то на свою душу, грабитель!..

— А-а!.. с-сто-ой... — И Прохор Игнатъич, весь позеленев, быстро спустил ставень и, выскочив из лавки, побежал к воротам; но, когда он отворил калитку, Митрофан, сорвавший своё горе бранью, поспешно шагал уже в конце улицы. «А-а... вор, при-дё-ш!..» — процедил он сквозь зубы вслед ему и, почесавши около пояса, с сердцем захлопнул калитку.

* * *

Прохору Игнатъичу не в первый раз приводилось слышать подобную оценку своей деятельности от бедняков, попавших в зависимость к нему. Но, сознавая своё превосходство над этим людом, стоявшим, по его понятиям, ниже всякой нечисти, он снисходительно относился и к брани их, зная, что нужда приведёт оскорбителя с повинной к нему и даст ему случай в возмездие за оскорбление нажать лишний рубль. Прохор Игнатъич был человек практический, с своеобразно выработанными принципами и взглядами на социальные отношения.

— Таперича энтот самый Митрошка, — говорил он спустя несколько времени после описанной нами сцены стоявшему у прилавка тщедушному и подслеповатому старику, выплакавшему у него рубль под будущий умолот хлеба, — придёт и накланяется, и ей-богу, в ноги накланяется!..

— Накланяется!.. — прожевал в ответ старик.

— Ну куда он пойдёт таперича, коли за податью приедут, а?..

— Накланяется!.. — снова повторил старик.

— Крут я сердцем, дядя Василий, да одно горе — жалослив: увижу, человек убивается — и изнимает меня этакая самая жалость, и прощу..

— Как не взять жалости, особливо когда дерут..

— Это точно!

— Беда энто, как станут драть: вчуже сердце изноет!.. Прости же; дай Бог тебе; я уж то ись беспременно.

— Не хвались до время; на посуле-то вы все — как на стуле!..

— Тоись, как смолочу, верное тебе слово. Я на отдачу лёгкой... Но-очей не сплю, убиваюсь.

— Ну, ну, когда принесёшь, тогда уж похвалим, а то не ровён час... изурочим тебя, — с иронией ответил он кланявшемуся старику.

Всем проходящим Прохор Игнатъич рассказывал, только с различными вариациями, о неблагоприятном поступке с ним Митрофана, назидательно добавляя в конце каждому просителю: «Вот и делай добро вашему брату!». Только когда мужичок, приносивший сбрую, принёс обещанный им мёд в небольшой бадейке, Прохор Игнатъич почему-то умолчал перед ним о сцене с Митрофаном.

— И взаболь с мёдом, а-а!.. Грешный человек... думал, ты только хваснёй мою душу тешил!.. — весело встретил его Прохор Игнатъич. — Ну-ко, ну-ко: пожуём, каков он у тебя.

— Отведай-ко!.. — ответил тот тоном человека, который чувствует, что и в нём имеют нужду, поставив на прилавок бадью и снимая с неё крышку. — Давай-ко ложку!

— И пальцами живёт..

— Давай; уж я знаю, на што!..

— Ну-ну, возьми, побалуй: куда тебя девать-то!.. — И, взяв из большой хлебной чашки одну из новых деревянных ложек, он подал ему.

Зачерпнув из бадьи мёду на ложку, тот поднял её к свету высоко над бадьёй, и чистый, прозрачный, как янтарь, мёд свис с ложки в виде сталактита.

— Што-о-о?.. — горделиво спросил он, любуясь им. — Сорный, ась?.. У Захарки, скажешь, такой же?..

— У всякого свой сорт, братец!..
— Такой же, што ль, ну-ко?..
— Энтот почище... чего говорить? И тебя похвалить надоть!..
— А-а!.. А ну-ко, поешь!
— Закусим... ужо хлебца бы!
— Ешь, не разорвёт; мёд-слеза!..
— Сжога живёт у меня со сладёны-то!
— Е-ешь!.. не ломайся!.. — И, зачерпнув мёду на ложку, он подал ему.
— Ин быть по-твоему!.. — И, перекрестившись, Прохор Игнатъич слизнул мёд с ложки и медленно засмаковал его.
— Што-о? Не липа, а?..
— Скус... того... точно!.. — медленно и, видимо, с наслаждением глотая его, ответил Прохор Игнатъич.
— У Захарки небось энтакой же, ну-ко?
— Што ты Захаркой-то мне в нос тычешь... Энто, братец, значит, по сорту, таперича хоша бы всякий товар возьми, оно выходит — и доброты одной, и цены одной, а потому только сорт!..
— Твоему Захарке... знаешь што, а?.. Вот штоб мне лопнуть, с места вот штоб мне не сойти... экого мёду в жисть не видать. Захарка, хе-е!.. Мой мёд таперича в Бейске аль в Томске, да куды хошь поди, на том стою!.. За-ахарка!.. У меня заведенье-то, слава те, господи, отцовское; наша-то пчела таперича, если тебе сказать, какая она..
— А какая?.. — с иронией прервал Прохор Игнатъич, всё время молча слушавший его.
— Какая?.. то... то... наша-то пчела, знашь таперича, што..
— Пчела как пчела!.. Известно, творение у всех одной масти..
— Одной!.. Нет, видать, не одно-ой... Наша-то пчела таперича, к примеру сказать, самая... п-палитурная!.. А то у Захарки!.. Захарке-то до энтаких медов ишшо расти и расти надоть!..
— Э-эх ты-ы... Мартын малопёрый! — качая головой, прервал его Прохор Игнатъич. — Слушаю это я твой разговор и в толк не пойму единственно по неразумению!.. Мёд как мёд, пчела как пчела — и весь разговор; и никакой то ись особенности нет, окромя, значит, той, что у всех избы в шапках, а на твоей зимой и летом плешь!..
— Изба!.. Ты на завод гляди!..
— Любопытно, где он!.. То ись, в каком у тебя царстве... Покажешь?.. Из-под ручки гляну!..
— А пасек-то!.. нешто не завод?..
— Богатей!.. чего!.. трём-то бабам унести ли в подолах завод-то энтот, а?..

— Смейся-а-а! — обидчиво ответил он, весь покраснев.

— Слушать-то тошно!.. смерть это моя... как ваш брат ломаться начнёт... то ись... вот тьфу!.. и весь ты тут, а тоже: я-ста да мы-сто!.. Говори-ко лучше, што за пуд-то хошь... сулил по три отдать!.. За ценой не гнаться!

— Ка-а-ак?? За экой-то мёд такая цена?..

— Бери его с глаз!..

— О-о... што круто больно!..

— Бери, бери и глаз моих без пути не мозоль, ступай и с ним вместе... только мух нагнал... товар опакостят!.. — жёлчно произнёс он.

— Ты говори!..

— Даром-то зубы языком обивать ста-а-ану?.. Жди!.. Берёшь три — и деньги возьми: нет — отваливай... разговор короткий!

— Всё ж поговорить надоть...

— Хвасню твою на уши мотать, што ль?..

— Как же оно так-то?.. Этак-то ты настоящую цену клади!

— Говорил я тебе аль нет?..

— Говорил... да эк-то, брат, накла-а-а-адно!..

— И поди с Богом. Иного разговору не будет.

— Поторгуюсь... не так же с ветру... зря, значит...

— Разговаривай... послушаем...

— Накла-а-а-адно... эк-то!.. и ей-богу!..

— Мы уж слышали это, а ты вот новое слово выдумай... по-потей!..

— Какое ишло слово?..

— Бери-ко бадью-то!.. Киш вы... о-о, штоб вас, тьфу-у! В самый рот... а-а-а, нечисть... тьфу!.. — говорил он, отплёвываясь от залетевшей в рот мухи и отмахивая их от усов, на которых налип мёд. — Ну, што стоишь?.. Где зудится?.. — насмешливо спросил он.

— Нет, брат, эк-то станешь продавать своё добро, так век из дерюжной обуви не вылезешь, — с раздумьем произнёс он, отводя свои глаза от насмешливого выражения Прохора Игнатъича в сторону.

— Иного и сукна не наткано ишло на кафтаны вашему брату... по той вере, што, поколь свет стоит, мужику шелков не потребуется... так точно!.. А вот бери-ко бадейку-то, да и наше с кисточкой... никто за ворот не держит...

— Што ты гонишь-то? Дай одуматься!

— А чего тебе торчать-то без пути... Ведь хмелю у меня не растёт, тычин не требуется, а на мой бы ум, коли цену дают, так и брал бы да брал, и меня бы в сердце не вводил, а то ведь... ой!.. смо-отри!.. и того не дам!.. — И он, прищутив глаза, с злою улыбкой посмотрел на него.

— Куды деться-то?.. — как бы про себя промолвил мужик, с раздумьем посмотрев в сторону и медленно почёсывая в затылке.

— Про то и говорю: придё-ошь!

— О-о-а-ах!.. горе одно!.. Ты подумай, каково оно!.. Ведь этот бы таперича мёд в городе... сколь бы я выбрал, если б по фунтам, а? Да и пудом меньше десяти ни в жисть!

— Кто ж те держит — и вези!.. Это от своей бы прибыли да я б душу заклал!..

— Вези... хе-е!.. Когды уедешь да когды приедешь, а што есть-то станешь?..

— Мёду — целый завод, а чего есть, говорит. Сме-ешной ты человек... на диво! и ей-богу!..

— Смейся-а!..

— И ей-богу, смешно... еда самая то ись... царю лучше не требуется, а ты неуж хлеба хошь?..

— А чего ж?..

— Хе!.. Забавный ты человек!.. Хлеба захотел, так и отдавай — будешь с хлебом, а не хошь — медком пробавляйся!.. На-ко, на-а... ведь тебе не покажи царского-то обличья, год на одной половице протопчешься!.. — шутливо произнёс он, вынув и помахивая перед ним, как и перед Захаром, трёхрублёвой ассигнацией.

— Ты с гривной говорил?.. — как-то вскользь заметил тот.

— Ах... чкни... тебя!.. А я думал, ты забыл про неё... ну, ну так и быть, возьми и гривну!..

— А-а... Прохор Игнатъич, и горько, брат... да... н-ну... его!.. — со вздохом махнув рукой, произнёс мужик, принимая деньги.

— Што?..

— Ничаво... ешь на здоровье!.. Беда это наша жисть — робишь, робишь за лето-то; на руках мозоли нарастут, не разогнёшь; три шкуры с рыла-то слезет, и ей-Богу!.. А всё без пути... так уж от Бога, што ль, оно!..

— Верно!.. Потому предел... и не моги промышлением!.. — назидательно ответил Прохор Игнатъич.

— И всё на чужой карман только и робишь, а сам, и ей-Богу... хоть умри, а робишь, а-ах!.. Слёзы говорить-то!.. — с жёстами пояснил он, пряча бумажку в карман.

В это время раздался звон колокола ко всеобщей и звучно прокатился по окрестности... Прохор Игнатъич молча набожно перекрестился три раза и спешно стал прибирать разбросанные гири, весы, счёты и мелкий товар, готовясь закрыть лавочку.

Продавец мёда также перекрестился при звуке колокола.

— День-то не выдаючи прошёл!.. — заметил суетившийся Прохор Игнатъич, тон которого из дерзко-насмешливого об-

ратился в мягкий и благодушный, точно звон колокола имел смягчающее влияние на его натуру.

— Ноне день-то... покороче... — отозвался тот.

— Особливо в разговорах-то!.. Кому чего, а языку всё работа! Струмент-то неломкий, а то бы за день-то, брат, на моём месте... сколь бы на починку вышло...

— Ты и языком робишь, да прибыльно!..

— Ну, прибыль-то как Бог даст, болезный: ноне торговля-то со всячинкой... того и гляди, подкуют... Около вашего-то брата ходи да оглядывайся!.. — ответил он, запирая ящик с вырубкой, и опустил ключ в карман.

Не прошло и получаса, как Прохор Игнатъич, одетый в зипун тонкого чёрного сукна, опоясанный алым шёлковым кушаком, степенно шёл в церковь, вежливо отвечая на поклоны встречавшихся с ним крестьян. Дневные хлопоты в селе давно уже стихли; одетый по-праздничному люд семьями выходил из домов и спешил в церковь; каждый нёс в руке свечу, отлитую из свежего воска. Изредка только из какой-нибудь избы ещё доносился скрип косаря о сосновые половицы или в низеньком, раскрытом настезь от духоты окошке мелькала стройная, с роскошными упругими формами фигура девушки, только что вышедшей из бани и спешно переодевавшей чистую сорочку или заплетавшей длинную русую косу, которой бы от души позавидовали тщедушные обитательницы салонов.

Церковная паперть пестрела яркими костюмами теснившихся на ней богомольцев; из раскрытых окон церкви нёсся ладан, далеко распространяя в свежем вечернем воздухе, напитанном ароматами скошенного на лугах сена, свой характерный запах, и среди общего безмолвия стройное церковное пение звонких детских голосов помимо воли порождало при этой обстановке какое-то тёплое безыскусственное чувство. Только горькая сиротливая бедность, как бы стыдясь своих заплатанных азамов и шушунов, стояла поодаль, у церковной ограды, и тихо мелькали тонкие зажжённые свечи в руках их.

С закатом солнца кончилась всенощная, и стихло село, чтобы проснуться до зари в светлый праздник. Но далеко за полночь виднелся свет в одном из окон дома Прохора Игнатъича, сводившего счёты дневной прибыли. По весёлому лицу его и по руке, бойко бегавшей по косточкам счёт, можно было догадаться, что день не обманул его ожиданий.

Юровая

Ярмарочные сцены

В декабрьский вечер в чисто прибранной крестьянской избе сидело трое собеседников. Двое из них, люди довольно пожилые, имели степенный, солидный вид; дышащая молодостью наружность третьего отличалась, напротив, неугомонною подвижностью, разлитой не только в лице его, но и во всей фигуре. Особенно не знали покоя руки, то свивавшие на палец концы пояска, надетого сверх рубахи-косоворотки, или крутившие в жгут полы её, выпущенные поперех тиковых шароваров.

На столе перед ними, среди чайной посуды и тарелок с пшеничными калачами, оладьями и блинами, ворчал, пуская густые клубы пара, объёмистый самовар, называемый в простонародье «купеческим», а вставленные в деревянные подсвечники сальные свечи, ярко освещая лица присутствующих, бросали на выбеленные стены массивные тени от сидящих и от самовара с стоявшим на конфорке его чайником.

— Ты, Сёмка, был у Ивана-то Николаича? — обратился один из пожилых собеседников к молодому парню, перетирая полотенцем выполосканные стаканы и блюда.

— Был! — порывисто ответил Сёмка, точно безотлагательно спешил куда-то, но его задерживали этим вопросом.

— Чего ж он, поговорил с тобой, а?

— Говорит, что ноне они сами набрались ума, — ответил он.

— Откедова ж это?

— Не сказывал!

— А тебе бы и спросить: давно ль, мол, это мужики с умом справляться стали; допрежь, мол, такого и слуху не было?

— Обчеством, говорит, положили!

— Умом-то жить? — прервал он.

— Ну, нас, говорит, ноне на кривой кобыле не объедешь, сами трахт знаем!

— А-а... Ну, сивого жеребца припасём; энтот порысистей будет! — с иронией заметил первый.

— Пётр Матвейч, ты слушай-ко, чего он показал-то мне! — прервал его Сёмка, быстро повертывая стоявший около него подсвечник, не замечая, что горячее сало каплет на скатерть.

— Как мужиков-то объезжать?

— Прут!

— Пру-у-ут? — удивлённо протянул в свою очередь Пётр Матвеич. — О-о! Мирон Игнатъич, слышь, мужики-то? — произнёс он после короткой паузы, слегка толкнув облокотившегося на стол и дремавшего под воркотню самовара Мирона Игнатъича.

— Взял пруток, — продолжал между тем Сёмка, — и кажет мне: вишь, говорит, один-то его я и пальцем сломаю, а коли, говорит, метлу возьму, то и топором не сразу разрубишь! Так и вы, говорит, порозь-то каждого из нас объедете, как кому требуется, а коли мы, говорит, таперя купно, обществом, так попоте-е-ешь уломать-то нас! А ноне мы, говорит, цену-то на рыбу будем класть, мы будем господа-то, а не вы! Тряхнул это шапкой, да и говорить боле не стал!

— Вон оно, времена-то, а?.. и мужики заговорили! — насмешливо сказал Пётр Матвеич, внимательно выслушав рассказ его. — Ну да поглядим, как оно по притче-то выйдет, кто кого объедет, — говорил он, снимая с конфорки чайник и разливая в стаканы настоявшийся наподобие пива чай. — Поглядим, — повторил он, — надолго ль хватит мужичьего-то ума; у мужика-то передний ум до первого горя, а прихватит оно — и пойдёт охать да ахать, да затылок чесать... успе-е-ем!

— Напустить бы наперво на них мелочь-то! — замолвил Мирон Игнатъевич, дробя пальцами сахар на мелкие куски.

— Зачем?

— Спесь-то сбивать!

— У мужика-то спесь что у пса шерсть: не стриги — сама вылезет! — заметил ему Пётр Матвеич.

— Проживаться б не довелось.

— Первее всех уедем! — авторитетно успокоил Пётр Матвеич.

Наступило молчание, прерываемое по временам мерным отдуванием горячего пара с блюда, аппетитным прихлёбыванием наливаемого на них чая да звонким раскусыванием сахара.

— Наша-то мелочь, — облокотившись на стол, начал Пётр Матвеич, когда первый аппетит его был удовлетворён, — и без травли ползет к ним, а ты только молчи, будто не за рыбой ехал; мелочь-то они и отобьют от себя своей спесью; она и пойдёт скупать по фунтам да полупудкам у наезжих и израсходуется; на гуртовой-то скуп рыбы у ней и капиталу не хватит, а ты зна-а-ай молчи, говорю, да складывай товар, буд-то в обратный собираешься... Понял? — внушительно спросил он.

Мирон Игнатъич, прищуриив и без того узенькие глаза, вместо ответа молча помял губами.

— Ну-ко, Сёмка, чего выйдет, тряхни-ко передней-то половицей, а! — весело обратился он к нему.

— Уедем!

— Затем и ехали... Да с чем уедем-то? Ответствуй.

— С товаром! — ответил он, так же понизив голос, как понижает его ученик, не знающий урока и произносящий на вопрос учителя первое попавшееся на ум слово. «А ну, дескать, не угадал ли?»

— А ты полагаал, я здесь его оставлю, а?

Сёмка замылся так же, как Мирон Игнатъич, и быстро закрутил в руках оконечности постланной на столе синей скатерти.

— С рыбой говори, копчѣный язык! — видимо наслаждаясь недогадливостью его, произнёс Пётр Матвеич. — С рыбой, да с самой хрушкой*, что даром отдадут, только Христа ради возьми-и!

— Шали-и-ишь! — отозвался внезапно оживившийся Мирон Игнатъич, придвигая к нему опорожнённый стакан. — Коль мужик на упор пойдѣт, и на деньги не купишь, не токмо Христа ради возъмѣшь. Не-е-ет, не таковские они!

— Не куплю? — И Пётр Матвеич, угрюмо насупив брови, в упор смотрел на него.

— И я не первой год с ними вожжаюсь, — продолжал Мирон Игнатъич, не отвечая прямо на вопрос собеседника, — энтот-то мужик сам без шила бродни шьѣт. Да-а, может и купишь, поставишь на своём, коли все деньги выгрузишь, а уж чтоб он пришѣл те кланяться, возьми-де Христа ради, — не-е-ет!

— Придѣт, слышал ты это слово моѣ?

— Давай Господи!

— И накланяется, в ноги накланяется! Что ты супротив этого можешь, а?..

— Подавай, говорю, Господи... мне-то что ж? — уклончиво ответил Мирон Игнатъич, хотя мелькающая улыбка осязательно говорила, что сомнение его нисколько не рассеялось от доводов Петра Матвеича.

— А я вот так таперича полагаю, — с расстановкой начал Пётр Матвеич, слегка покачав головой, — что с тѣмным человеком об эвонных делах слова терять, что в поле ветер имать — всё единственно. А чем бы, значит, бобы-то тебе разводить, пошѣл бы, на мой ум, доглядеть за Авдеем, правое слово!

— Доглядим, не уйдѣт! — обидчиво ответил Мирон Игнатъич.

* Крупной. — *Прим. автора.*

— Слышал я сызмальства, что у мужика раз водопольем плотину сорвало; снесёт, говорят ему, мельницу-то! Не снесё-ё-т! Подпорка, говорит, есть... О-ой, снесёт, кричат... А он одно твердит: не-ет! А опосля: а-а-а-ах да о-о-о-ох, стой, лови!.. а там уж одни щепы...

— Это в мой огород, а?..

— В чей попадёт, — сухо ответил Пётр Матвеич, — занарок не метил. А ты, Сёмка, налил брюхо-то аль нет? — обратился он к Семёну, когда Мирон Игнатъич, молча встав с лавки, надел полушубок, запрясался и, сняв с гвоздя шапку, вышел.

Сёмка вместо ответа стал спешно выхлѣбывать с блюда чай.

— Не жгись, пей путём!.. кипяток-то не куплен!.. Сбегай-ко ужо, говорю...

Порывисто опрокинув опорожненную чашку на блюде и положив на донышко её обгрызенный кусок сахара, Сёмка выскочил из-за стола и побежал к двери.

— С узды тебя спустили, а? — строго остановил его Пётр Матвеич. — Вот эк-то ты во всяком деле! Ты наперво выслушай, куда идти, зачем идти, да потом уж показывай, какими гвоздями у тебя закаблущья-то подбиты! — точил он озадаченного Семёна, остановившегося среди комнаты. — Сбегай-ко, говорю, к Ивану-то Николаеву да скажи ему: Пётр Матвеич сам, мол, ждёт тебя беспременно. Слышь? да что промеж нас в разговоре было — ни-и-ни чтобы.

— Я-то с чего? — оправдывался Семён, опустив глаза в пол и крутя в руках подол своей рубахи.

— То-то, смо-отри! Язык-то у тебя на живу нитку смѣтан. Скажи, что беспременно ждёт: всякие, мол, дела оставил, дожидается! — заключил Пётр Матвеич.

Но последние слова его долетели до ушей Семёна за порогом.

Оставшись один, Пётр Матвеич раскрыл подержанный дорожный погребок, надел на глаза очки в толстой серебряной оправе и, приблизив к себе свечи, стал медленно разбирать сложенные во внутреннем ящике его расписки. Всмотревшись в этот момент в наружность его, когда он весь изображал внимание и когда падавший прямо свет ярко обливал открытый лоб его, прорезанный морщинами, клювообразный нос и тонкие, сухие, с бледным отливом губы, — нельзя было не прийти к мысли о меткости народных выражений: «едок», «жила», «грабля», характеризующих подобные личности. На чёрством, холодном лице его не пролегалo ни одной мягкой черты: оно, казалось, застыло на одной первенствующей мысли, и никакое иное чувство, если бы и рождалось оно, не могло бы отразиться на нём, проникнуть сквозь эту нарощую

от времени кору. И наружность, и характер Петра Матвеича были хорошо знакомы крестьянам и инородцам Тобольского и Берёзовского округов. Каждую весну он оснащивал два павозка* и отправлял на них своего шурина Мирона Игнатьевича Ивергина, служившего у него в качестве доверенного, и племянника Семёна по деревням, лежавшим по Иртышу, и на обские рыбные промыслы. На дешёвенькие ситцы, платки, бродни и другой мелкий товар, необходимый в быту крестьян, они выменивали рыбу и «задавали» деньги вечно нуждающемуся люду под осенний и «юровой» улов её. Благодаря подобным задаткам вся лучшая, крупная рыба оставалась всегда за Петром Матвеичем, который, кроме продажи её в собственной лавке, в г. Т., где он имел свой дом, — отправлял её довольно значительными партиями ко времени ярмарки в Ирбит. По первому зимнему пути Пётр Матвеич сам объезжал все сёла и деревни, лежавшие вверх и вниз по Иртышу, для сбора рыбы от крестьян, забравших под улов её деньги. Должники всегда с трепетом ожидали его приезда. Каждый из них знал, что какое бы горе и нужда ни застигли его, — он не мог рассчитывать на снисхождение к нему Петра Матвеича. «Брал, и отдай!» — твердил Пётр Матвеич в ответ на мольбы, слёзы и поклоны крестьянина или инородца. А вопиющая нужда всё-таки вынуждала этот бедный люд прибегать к нему за деньгами и отдавать свою лучшую рыбу за цены, не вознаграждающие даже и труда. Так и теперь, только что приехав в село Юрьево, Пётр Матвеич первую же свободную минуту посвятил разбору выданных ему должниками расписок. И каких только расписок не мелькало в его руках! «Сиводне ваграфенин день, — читал он одну из них, написанную на клочке толстой синей бумаги гвоздеобразными буквами, — пусталобафский хрисанин и ивфинакен ирмалаифв у мешанина патата петравешина твацать руплёфф всял и абисуюсь ифинакен ирмалаив руку прилошил». Печать сельского старосты скрепляла подлинность расписки. Отметив в записной книжке цифру долга, Пётр Матвеич отложил прочитанную расписку в сторону и взялся за новую и, приблизив её к свету, хотел читать, но в это время дверь распахнулась, и в комнату вошёл пожилой крестьянин в новом казанском полушубке. Пётр Матвеич поднял голову и, пристально посмотрев на него, снял очки.

— Спеси-ив стал, и не зазовёшь: видать, денег много скопил? — с иронией спросил он, пока вошедший крестился на икону, висевшую в переднем углу.

— Мужуку ль деньги копить! — ответил он.

* Павозок — большая палубная одномачтовая лодка. — *Прим. автора.*

— А кому ж бы и копить, как не мужику, а?

— Торгующим! Не сеют, не жнут, а сама денежка копейку родит! Здравствуй-ко, Пётр Матвееч! — заключил гость, пожимая протянутую руку. — Чего по мне-то заскучал, а? — спросил он, садясь на лавку. — Прибежал это твой-то Семён Платоныч в попыхах таких: ждёт, говорят, безотменно. Ну, дай, думаю, пойду, чего стряслось! Побаловать приехал к нам, а?

— Потешу вас, куда вас деть-то!

— И себя-то, поди, не забудешь утешить-то, а?

— Завязал же узелок на память!

— А-а, короче стала?

— С вашим-то братом скоро и последнюю отшибёт; вишь, грехов-то, — промолвил хозяин, захватив пачку расписок и показав гостю, — запомни-ко всё-то!

— И всё на мужиках?

— Боле их некому в карман-то насолить... Слышал, и ты собираешься, и-и по-приятельски?

— Вестимо, лучше приятеля никто в карман не плюнет! Только я-то бы чем же это повинен, а?

— Слышал, что мужиков учишь рыбы нам дёшево не продавать?

— Эвона какой грамоте!

— И с притчами по Писанию!

— Это я-то будто учу-то их?

— Всё, ты, ты, говорят, Иван Николаев!

— А-а-ах он, этот Иван Николаев, а? — шутливо произнёс посетитель. — Ну-у, попадись он мне, старый хрен, я ему седые-то вихры завью-ю!

— Завей-ко, завей!

— И то ись в лучшем виде! — И на широком открытом лице гостя, обрамлённом седою бородой, выразилась неуловимая ирония. Трудно было определить, выражала ли она только насмешку или служила маской для прикрытия угаданной действительности. Пётр Матвееч, прищулив глаза, пристально смотрел на него, желая проникнуть в настоящий смысл его неопределённого выражения, но Иван Николаич, не изменяя себе, с спокойною самоуверенностью выдержал взгляд его.

— А я ишо сдуру-то и гостинец привёз! — произнёс Пётр Матвееч, всё так же пытливо продолжая смотреть на гостя и слегка барабаня пальцами по столу.

— Ивану-то Николаеву?

— Ну... ну... сычу-то этому!

— Я бы на твоём месте и ковша-то воды б пожалел ему, и ей-Богу!

— То-то я не в тебя... добрый!

— Уж помилуй господи: кабы все-то в тебя были, чего б и было, — ответил гость с тою же неопределённою иронией в лице и тоне.

— Не худо ли, скажешь?

— Пошто худо — хорошо-о... только заживо бы, говорю, хоронись!

— От добра-то?

— От добра! — утвердительно ответил Иван Николаич. — Ведь всякий добр-то на свой аршин, Пётр Матвееч; а не нами исшо сказано, что у мужика-то аршин супротив купеческого вдвое длинней: вот оно мужику-то добром-то за добро платить и убытошно!

— Не у всех купцов-то один аршин! Не обмерься!

— Обмер на свой счёт приму... Не купец — на чужой не прикину!

— Начистоту будем разговаривать-то, что ль? — спросил Пётр Матвееч после непродолжительного молчания, поправляя нагоревшие свечи.

— Вернее будет, а то сквозь мутную-то воду сколь ни смотри, всё дна не увидишь! Да ведь твои-то разговоры я знаю, — и Иван Николаич в свою очередь пристально посмотрел на хозяина. — К рыбке подбираешься, а? — с улыбкой спросил он, — почём ноне пуд-то думаешь брать?

— Глядя по улову!

— Уловы-то плохи, не рука-а!

— И юровые-то плохи же?

— Не похвалимся!

— А я слыхал, юробой-то супротив ланских годов не в пример избытошен, а-а... правда ль?

— Где ж слыхал-то?

— По дороге!

— Так зачем же к нам-то ехал? Там бы и купил, где сказывали, и, чать, дешёво бы отдали, и ей-Богу! — с иронией ответил Иван Николаич. — Аль по нас-то заскучал?

— О-о-ох, Иван Николаич, гре-е-шишь ты! — Пётр Матвееч засмеялся неестественным, натянутым смехом, желая прикрыть своё смущение. — Говори лучше по чистоте, — снова начал он, — и уловы хороши, и рыбы хрушкой много, а только хочю, мол, цену набить, поразорить тебя.

— Не греси и ты, Пётр Матвееч: разорять-то уж твоё дело, а не моё! — серьёзно заметил ему Иван Николаич.

Пётр Матвееч побагровел, брови его сдвинулись к переносью, нижняя губа слегка дрогнула, и, прищуриив глаза, он злобно посмотрел на гостя.

— Любопытно бы, кого это я разорил-то? — спросил он, оправившись.

— Счёт-то, Пётр Матвейч, длинен, что нить у пряжи! — ответил ему Иван Николаич, как бы не замечая его смущения. — Ведь энти все расписочки-то твои, — о-о-о!.. Много в них греха! Ты не серчай, я с простоты говорю это! Кого грех-то вот попутал связаться с тобой, тех ты и объегоривай, а наше дело, скажу тебе, особенное, всякому своё добро дорого: выходит, и вилить тебе нечего, что рыбе в сетях!

— Ай да приятель, удру-жи-ил... спасибо! Выходит, по твоему-то разговору, мне вашей рыбы не видать, а-а?

— За денежки сколько хошь смотри, на то и товар, прятать не будем.

— А что, Иван Николаич, к слову спрошу я: а ну как в наплёванный-то колодец испить придёшь, тогда как, а?

— Не пью я колодешной-то, Пётр Матвейч!

— Не пьё-ё-ёшь?

— Не-ет! Иртыш-батюшка и поит, и кормит досыта, были бы силы; а касательно рыбки-то, так надоть сказать тебе, Пётр Матвейч, что с осетринки-то ноне мы будем брать два с полтиной с пуда, с нелёмки-то осенней рубль сорок, а с юровой-то рубль восемь, а с мелочи...

— Круглые ж цены-то, — с иронией прервал его Пётр Матвейч. — Кто ж это ценил из вас-то, а?

— Сообча, а покруглей — счёт ровней.

— Послышу, и вы арихметику-то знаете ж.

— По суставам доходим-то до неё... да Бог милует, не обсчитываемся.

— А-а-а! Ну, на энтот раз по суставной-то арихметике и обсчитаетесь, не продать вам рыбу-то, Иван Николаич, по этим ценам; лучше в засол пустите! — И, слегка посвистав, он встал и, медленно пройдясь по горнице, остановился против Ивана Николаича, сидевшего не изменяя позы. — Брось-ка фальшивить, — продолжал он, дружески потрепав его по плечу. — Будем друзьями, а? Услужу я тебе... то ись во-о-от будешь доволен!

— Я и не ссорился с тобой. Что ты? Чего нам делить-то? А касательно фальшу, так ведь по коню и ездох; на миру-то, говорят, Пётр Матвейч...

— Много у тебя своей-то рыбы, а?

— Пудов с двадцать наберётся!

— Хочешь, я куплю её по энтим самым ценам на свал*, а?

— Одолжишь!

— И ты мне одолжи, сбей цену-то с рыбы, а? Скажи, что осетрину мне продал за семь гривен... а нельму за полтину.

* Торговый термин: и мелкая, и крупная рыба, не разбираемая даже по родам, покупается за одну и ту же цену — обыкновение, очень выгодное для торговцев. — *Прим. автора.*

— На обман, значит, идти?

— На то и торговля; свой бы карман был цел, а чужой-то что хоронить... у всякого свой хозяин — пушшай и бережёт его.

— На что ж это тебе-то убытчиться, у меня-то по энтим ценам покупать, а?

— На что? Гм... известно, для оборота. Не надоть было, так и не просил бы, а я бабе твоей и ситцу припас... на любованье...

— И бабу-то не забыл, а-а-а!

— А тебе зипун да шапку из смушки — весь завод заглядится на тебя, а?

— А-а-ах, шут тебя возьми! — с улыбкой произнёс Иван Николаич. — Ну-у-у, ахнут мужики-то?

— И-и как ахнут-то! Да не одни мужики, и у баб-то глаза загорят, глядя на тебя!

— Стар, друг!

— У старого-то козла и рог крепок!

— А-а-ах-ха-ха... и-и баловник же ты: видать, не на еловых углях выкован! Ну-у!.. и энти все милости за то, чтобы я тебе по своей же цене и рыбу продал, а?

— Чтоб ты не в убытке был!

— Всё это обо мне радеешь, а-а-а?.. Пошли те Господи за добро твоё! За что же бы это полюбился-то я тебе?

— За ум!

— О-о, да нешто у мужика есть ум-то?

— Эге-е! Этого-то добра у иного и лопатой не выгребешь!

— Ди-во! А мы-то в простоте полагали, что Бог и им мужика обошёл, так неуж ты и взаболь умных-то любишь, а? — наивно спросил гость.

— Не любил бы, и не говорил!

— А на мой глупый разум, тебе бы, Пётр Матвейч, дураков-то жаловать; право, объегоривать-то их способней, коли уж на то разговор пошёл. Ты вот умным-то меня похвалил, я и загордился; и хороши, в уме-то думаю, посулы твои, да совесть дорога; хоша и говоря-ят, что она у мужика-то через край лыком шита, а всё не продам её ни за какие дары, и выходит, ты обчёлся, на ветер похвалы-то кидал!

Нижняя губа Петра Матвейча снова дрогнула, и заметно было, как он стиснул зубы.

— А-а, вот... как ты ноне! — произнёс он после непродолжительной паузы, — и это последнее твоё слово!

— Последнее-то слово, Пётр Матвейч, в смертный час скажется; а вот чтоб ты по своей цене ноне у мужиков рыбу-то купил — вот этому, говорю, не быва-а-ть.

Пётр Матвейч забарабанил пальцами по столу.

— О-ой, Иван Николаич, слушай лучше меня, — со вздохом начал он, — смотри-и, придёшь её сам продавать втридешёво... и в ноги поклонисься, да опозда-а-аешь!

— И в ноги-то наклоняюсь, а-а-а? — с наивным удивлением спросил Иван Николаич.

— Поклонишься!..

— Ах, ешь те мухи! а? — развёл руками и хлопнул себя по бёдрам Иван Николаич.

— Рыба-то с рук не пойдёт, поклонисься! — тем же тоном повторил Пётр Матвеич.

— А не пойдёт, и не иди! Гнать не буду... своё брюхо есть...

— А-а, стало быть, сам съешь?

— И съем! для ча утробу не потешить?

— И разъешься же, поглядеть бы.

— Своё-то добро завсе впрок! Что ж, не всё купцам да барам брюхо растить, пора и мужику его вырастить, пора-а-а, Пётр Матвеич, и мужику умом жить, о-ох, пора! Ты вот по своей-то цене её берёшь, мир зоришь; попомни-ка ланские-то годы, когда мы по нашей-то глупости осетрину-то по шести да по пяти гривен пуд отдавали, почём ты в городе-то продавал её, ну-ко?

— На то и товар, чтоб продавать, — и убытков-то немало, Иван Николаич, немало! Энтот-то товар по спросу.

— А-а-а, по спросу, да каков бы ни был спрос-то, а ты всё менее трёх с полтиной да четырёх рублёв не продавал её! И считай-ко, сколько лихвы-то брал, а? А где ж они, убытки-то твои, какие такие? Кони у тебя свои, на харчи в деревнях не тратишься... и напоят, и накормят досыта за одну честь... Так где ж они, убытки-то, ну-ко? Нет, Пётр Матвеич, на мой ум, коли ты сам хочешь хлеб есть, так и другим давай; и другой, как ты, есть хочет. Твоё-то дело приехать, готовое взять, да ты и тут метишь уторговать у всякого и правдой, и неправдой, а мужичье-то дело — и дённой и ночной работой припасти-то её. У иного на ловле-то не токмо на обуви, а на теле на палец, на два льду нарастёт, о-о! Рыбка-то, она на еду вкусна, а полови-ка её попробуй, и узнаешь, как мужика-то на морозе пот с кровью прошибает! Так за что ж нам на чужие-то карманы иго нести, у нас и свои есть — глупы, глупы, а всё ума-то наберётся... У нас ига-то и без того много... Мужик-то всех поит да кормит, только его-то впроголодь держат! Мы тебе сколько лет, посчитай-ко, уважение-то делали, по семи, по восьми гривен пуд что ни есть лучшей рыбы отдавали. А теперь ты нам уважь — по два с полтиной купи её. Ты вон, вишь, на нашу-то простоту брюшко-то выправил, что у доброй бабы на сносе, а брюхо-то растёт, говорят, по карману, в кармане тонко, так и брюхо тощо; так теперь и нам дай его

выправить-то, и любовное дело будет. А не хошь, и Бог с тобой — другой купит, а деньги-то от кого ни брать — всё единственно, был бы карман, куда класть.

Сила убеждения, с каким говорил Иван Николаевич, сказывалась не в одном тоне голоса и словах, она отражалась и в блеске больших серых глаз и в ярком румянце, разлившемся от внутреннего волнения на лице говорившего.

— А уж кланяться, — продолжал он, — я не пойду к тебе: устарел, устаре-е-ел, Пётр Матвейч, и смолоду не кланялся, а уж под старость-то не буду навикать! — заключил он, взявшись за шапку.

— Ну, Иван Николаич, давай же тебе Бог богатеть да жиреть! — с злой иронией ответил Пётр Матвейч, упорно молчавший всё время, пока говорил он. — Не забывай, коли понадобится, не ровён час!

— Нас-то, грешных, прости, коли согрублили что с простоты-то!

— Ну, от простоты-то твоей, — произнёс Пётр Матвейч, провожая гостя к дверям и похлопывая себя по затылку, — в кровь расчешешь!

— О-о-о! Ну, и мужики-то сказывают, что на этом же месте от купеческой-то правды у них коросты растут! — ответил он, улыбаясь и взявшись за скобу двери. — Ну, прости же, коли чего, приходи, потолкуем! — говорил он, выходя за дверь.

Проводив гостя, Пётр Матвейч в раздумье поправил нагоревшие свечи и медленно прошёлся по комнате. «А-а-а!.. мужик... заелся... по-о-остой!» — дрожащим голосом процедил он сквозь зубы и, отворив дверь, крикнул: «Сёмка-а-а-а, Сёмка!».

Но утомившийся за день Сёмка спал на полатах глубоким сном.

Каждую зиму перед Николиным днём пустынная дорога в село Юрьево, или Юрьевский ям, лежащее на берегу Иртыша по Берёзовскому тракту, оживает от съезжающих в него на ярмарку торговцев и крестьян. Ярмарка эта, известная под названием «Юровой», существует в нём с незапамятных времён, постоянно привлекая к себе тобольских мещан, а иногда и купцов средней руки, ведущих обороты в кредит из вторых и третьих рук и скромно называющих себя «торгующими». Вереницами тянутся в эти дни фургоны их, запряжённые парю, иной раз и тройкою сильных, сытых лошадей, нагруженные теми незатейливыми товарами, какими довольствуется не изошрившее ещё своих вкусов сельское население. Одинаково съезжаются и крестьяне не только из ближних, но и далёких от Юрьева сёл и деревень, разбросившихся вверх и вниз по Иртышу, с своими произведениями и продуктами

окружающей их природы. Мешки сушёной морошки, малины, черёмухи, кедровый орех, мелкие засоленные в кадках грузди, берёзовики, связки сушёных белых грибов, бочки с брусникой и клюквой виднеются на каждом возу. Иной мужичок привезёт на неё штук сорок беличьих и заячьих шкур, не в редкость увидеть и волчьи, и чернобурые, медвежьи. Трудолюбивое женское население привозит на эту ярмарку тонкие льняные холсты, не много уступающие в чистоте и прочности лысковским, полотенца, узорно вышитые по краям разноцветною белью, грубоватые по отделке, но прочные настольные скатерти, пологи, половики и особенно рыболовные мерёжи для мелких сетей и крупных неводов, вязанье которых составляет один из главных женских промыслов Тобольского и Берёзовского округов. Из иного воза торчат и поднятые вверх ноги свиных туш, и объёмистые связки белых дородных гусей. Из деревень, расположенных в более лесистой местности, тянутся воза с дугами, раскрашенными баканом, охрой и ярью, и с различною деревянною посудой. И чего не встретит на этих возах любопытный наблюдатель, начиная с корыта и кадки и кончая узорно выточенной ложкой с резким запахом лака! Щеголевато выглядывают из них вместительные жбаны под квас, расписанные цветами и плодами, над классификацией которых призадумался бы и опытный ботаник. Выточенные в виде бочонка, барана или пузатого караса солонки и большие круглые чашки для щей развозятся скупающими их торговцами не только в соседние округа, но и в смежную Томскую губернию. И на каждой чашке грамотный покупатель прочтёт замысловатую надпись, сделанную сусальным золотом, вроде следующих: «Сядишь за миня не зевай, ложку языком дасуха абтирай», «Налёшь вминя густо, не будет в брюхе пусто!» или «Паефши изминя досыта, памой и меня дочиста» и тому подобные выражения народного юмора.

Но главный продукт Юровской ярмарки, привлекающий к себе городских торговцев, — рыба, богатое даяние пустынной Оби и Иртыша, щедро вознаграждающее местное население за недостаток других промыслов. Крупный осётр, чалбыш, жирные стерляди, нельма, муксун, не менее крупная щука, налимы, окуни, ерши. Весь летний и осенний уловы её всецело идут на эту ярмарку, и особенно прибыльный улов, начинающийся с первых дней рекостава ещё по неокрепшему синеватому льду, который трещит и гнётся под ногою ловца. Название этого улова «юровой» время и привычка присвоили и самой ярмарке. Производится он «самоловом», снарядом самого простого устройства: на длинной толстой бечеве с тяжёлым камнем, навязанным на конце её, прикрепляются на

коротеньких бечёвках, в близком расстоянии одна от другой, железные крючья в форме удочки. Обыкновенно с первыми заморозками рыба, и особенно крупная, ложится на дно глубоких ям, и слои её, называемые на языке рыболовов «юрами», бывают до того густы, что нередко наполняют ямы от самого дна до верхних окраин, и часто случается, что нижние слои рыбы задыхаются от давления верхних. В эти-то ямы, наперечёт известные рыбопромышленникам, в продолбленные над ними проруби и забрасываются самоловы: встревоженная камнем рыба начинает шевелиться и, задевая за острые крючья, попадает на них. По колебанию бечевы рыболов замечает о степени улова и, медленно вытягивая её из воды, ссаживает почти с каждого крючка добычу, зацепившуюся хвостом, плавниками или жабрами. Иногда в течение недели этот благодарный промысел окупает годовые потребности крестьянского семейства.

Дня за два до ярмарки по единственной проезжей улице села тянется ряд балаганных остовов, сколоченных из тонких жердей. Подобные остовы, я думаю, хорошо знакомы каждому, кому доводилось посещать сельские ярмарки, или «грошовые передряги», как насмешливо называет их более капитальное купечество, посещающее Нижний Новгород и Ирбит. Это высшее торговое сословие с презрением относится и к тому небогатому люду, который раскладывает свой товар под сенью балаганов, прикрываемых от непогод грязными холстинами или циновками. Первое место на узеньких полках всегда занимают ситцы, гарусные шали, ленты, полушёлковоголовые головные платки ярких рисунков и цветов, но крайне сомнительной доброты. Всё то, что идёт в брак в городских магазинах и лавках, скупается торговцами, разъезжающими по деревенским ярмаркам, за половинные цены и сбывается простодушным деревенским покупательницам за товар высшей доброты, за цену, вдвое превышающую его действительную стоимость. Мужские опояски, шапки, опушённые выхухолью, котиком и белым русским барашком, сапоги, известные под названием «кунгурских», войлочные валенки, замшевые рукавицы, расшитые разноцветною шерстью, и простые кожаные, красиво развешанные на шестиках в виде фестонов, привлекают к себе внимание и деревенских франтов, и людей солидного возраста, оценивающих товар более по достоинству, чем по внешности. За ними следуют сыромятные сбруи, чересседельники, украшенные медными кольцами и бляхами, какими любят щеголять сибирские крестьяне, плотничьи и кузнечные инструменты и рублёвые дробовики и винтовки с кремнёвыми замками. Парфюмерные изделия гг. Мусатова и Альфонса Ралле, вместе с ситцами, платками,

серебряными и медными перстнями и такими же серьгами заставляют сильно биться сердца деревенских красавиц, гуляющих в день ярмарки около балаганов, которые так же, как и женщины высших сословий, гонятся более за блёстками, нежели за насущной пригодностью вещи. Если включить ещё в этот перечень фаянсовую и медную посуду, самовары произведения гг. Тулиновых, с драконовой или львиной головой на конце крана, корковые и жестяные подносы с изобразёнными на них рыцарскими замками или ландшафтами с купающимися нимфами, бюсты которых превышают объёмом своим пропорциональность прочих частей тела, затем различные орехи, шепталу, всевозможных форм и вкусов пряники, то каждый составит себе полное понятие о стоимости товара, о средствах владельцев их и о потребностях и вкусах покупателей. Пока наехавшие торговцы устраивают балаганы, у крестьян идёт также деятельная работа: разгружаются возы с навезёнными продуктами, рыба сортируется по родам и величине и складывается в поленницы. В эти-то дни до открытия ярмарки, продолжающейся всего одни сутки, и свершаются торговые сделки между крестьянами и торговцами. Расхаживая по дворам, торговцы присматриваются к рыбе, опытным глазом отличая икряную от яловой, безошибочно определяя и количество икры, какое выйдет из каждой, и время улова рыбы. По обилию того или другого рода её устанавливаются и цены. Но какие цены! Побуждаемые нуждой и всегда действуя порознь друг от друга, крестьяне по необходимости продают её по ценам, произвольно назначаемым самими же покупателями. Только в описываемое мною время крестьянин села Юрьево Иван Николаевич Калинин убедил своих однодеревенцев не поддаваться на уловки скупщиков и установить свою цену на каждый род рыбы. Мы видели, какое впечатление произвело известие об этом на Петра Матвеевича Вежина, главного гуртового скупщика рыбы.

В простонародье нередко встречаются личности, подобные Ивану Николаевичу; они составляют то отрадное исключение, на котором отдыхает ум наблюдателя, утомлённый однообразием типов большинства. В них, как в фокусе, отражаются те могучие живые силы, какие таятся в народе и бесследно исчезают, не находя в окружающей их жизни благодетельного исхода.

Одарённый умом и неисчерпаемым юмором, проявлявшимся, несмотря на старость, в какой-то детской шутливости, Иван Николаевич честностью отношений к людям, доходившей до мелочности, умными дальновидными советами и энергичной стойкостью за интересы своего общества приобрёл себе уважение не только однодеревенцев, но всей во-

лости, несколько раз избивавшей его головой. Но он всегда отклонял от себя эту честь под различными предложениями. Как и многие другие выдающиеся из народа личности не минуя острога, так не миновал его и Иван Николаевич. Рано сказала в нём эта протестующая, присущая его натуре, сила: ещё в молодости он принял на себя ходатайство в деле искоренения злоупотреблений волостных и сельских начальников при сборе с народа податей и денежных и хлебных недоимок, и дорогою ценой заплатился за это. Более года он содержался в остроге, и ему угрожала ссылка на поселение в киргизскую степь, но общество поголовно взяло его на поруки, и его оставили. Но и вынесенный им урок не охладил его энергии, а, казалось, более закалил его. Человек бедный, Иван Николаевич стоял за бедность — всё забитое горькою долей находило отголосок в его честной, любящей душе и придавало ему сознательную силу в правоте своих действий. Он находил какое-то упоение в постоянной борьбе то с мироедами, подтачивающими в корне народное благосостояние, то с волостными головами, писарями и сельскими старостами. Ни одно действие их, если только, по убеждению его, оно шло наперекор общественным нуждам, не ускользало от его внимания, вызывая в нём громкий протест, и беспощадно осмеивалось им на волостных и сельских сходах. И боялись же они этого правдивого, безбоязненного голоса! «О-ох, Иван Николаевич, не минуешь ты сызнава острога!» — говорили ему более осторожные крестьяне, привыкшие только уклончиво, махая руками, говорить: «Не наше дело!». И всё-таки, увлекаемые его красноречием, они часто, забывая свою осторожность, возвышали вслед за ним и свой голос.

Эксплуатация наезжающих торговцев всегда возмущала Ивана Николаевича; не раз он поднимал против неё свой голос, и всё безуспешно, но наконец ему удалось склонить однодеревенцев к самостоятельной оценке своего труда, и перед началом ярмарки, после долгой борьбы с рождающимся сомнением у не привыкших к самостоятельности крестьян, он достиг своей цели. Общество, как мы видели, послушало его, установило свои цены и твёрдо стояло на своём до поры до времени.

На другой день Пётр Матвеевич ещё до рассвета послал Семёна дать знать о своём приезде всем должникам своим. Осмотрев после чая вынутые из фургона и разложенные во дворе тюки с товарами, он вернулся в горницу, где его дожидался пожилой крестьянин, одетый в ветхий зипун и в разнovidные бродни.

— А-а... Евсеич!.. Ну-ну, здравствуй, здравствуй, — покровительственным тоном приветствовал его Пётр Матвеевич,

снимая с себя лисью шубу и вешая её на гвоздь у двери. — Не плакал ли по мне, а?

— Слёз-то нету... плакать-то... баба-то выла, — ответил тот, кланаясь ему.

— Обо мне-то? — насмешливо спросил хозяин. — А-а! Ну, спасибо!..

— Поминала, шибко поминала! — продолжал Евсеич. — Дай, говорит, ему, господи, ехать да не доехать!

— О-го-о!.. И то поминала!..

— И в нос, и в рот тебе всячины насулила. Да тебе, поди, икалось? — наивно спросил он.

Пётр Матвеевич присел к столу и насмешливо смотрел на мужика.

— Нет, не икалось! — ответил он, по обыкновению барабанила пальцами по столу,

— И то ись, а-а-ах, как честила она тебя, понадул ты её крепко: понява-то, что из твоего ситцу сшита, вся то ись... во-о-о! — произнёс он, разведя руками.

— Расползлась?

— По ниточке... мало ль слёз-то было, да я уговорил: погоди, мол, придет ужо, может, на бедность и прикинет тебе чего ни на есть за ушшерб-то.

— За деньги сичас же, крепчай того!..

— За де-е-еньги же, а-а? — удивлённо спросил мужик.

— А ты полагал, даром?

— По душевному-то, оно бы даром надоть. Ведь тоже, а-а-ах, друг ты мой, и бабье-то дело: ночей ведь не спала, робыла. На трудовую копейку-то и купила его. «Теперя умру, говорит, похороните в ней...» А оно вон исшо при живности по ниточке, а? Взвоешь!

— На то и товар, чтоб носился... вековешной бы был, так чего б и было!.. И не торгуй!

— И не носила, ни разу не надёвывала. Так это, друг, что глина от воды, так он от иглы-то полз.

— А глаза-то где были, когда покупала?

— Вишь, бабье-то дело... На совесть полагалась...

— И наука!.. Вперёд гляди в оба!.. В торговом деле совести нет... И мы не сами делаем, а покупаем!..

— Нау-у-ука!.. Будет помнить! Так уж за ушшерб-то не будет снисхождения, а?.. Одели милость, не обидь, бедное дело-то: слезами баба-то обливалась, ей-богу!

— Гм... А рыба-то у тебя есть, а? — спросил его Пётр Матвеевич.

— Не поробишь — не поешь: наше дело такое, промышлял!..

— Много?

— Не соврать бы сказать-то! Пудов-то с семь наберётся!..
— Продаёшь?
— Хе... Чу-удной! Неуж самому есть?
— Другие так вон сами есть собираются, брюхо растить хотят.
— А-а-а, наши же мужики? — с удивлением спросил Евсеич.
— Мужики!..
— Не слыхивал, друг. Рази богатым-то, им, точно, брюхо-то не в тяготу, а наше-то дело бедное, нам с брюхом-то мука... пасешь, пасешь на него хлеба, всё мало... А-а-ах ты, напасть!.. Ну и прорва! Не купишь ли хошь рыбу-то, а?.. И хрушкая есть... Есть и осетрина, и нелемки, всякой рыбки сердешной дал Бог, промышляли с бабой-то!..
— А как ценой-то за пуд, а?
— За пуд-то?.. Да уж с тебя бы за труды-то, ну и за бабий-то ушшерб надоть бы подороже!..
— Подешевле не хошь, значит!
— Подешевле-то? на-а-кладно, друг, дешёво-то отдавать ноне. За подушную-то, гляди-ко, и-и-и дерут, дерут, дадут отдохнуть, да снова подерут!..
— И больно?
— Ничаво-о!.. Под хвост-то не смотрят. Вот оно подешевле-то отдавать и убытошно, говорю!
— Ну-ну, так и быть уж, будто за то, что дерут и бабу-то избидел — по шести гривен с пятаком за пуд-то осетрины дам...
— О-о-ой, милый ты человек! — вскрикнул Евсеич и всплеснул руками.
— И бабе ситцу отпуска!..
— Экую-то цену... да что ты... ай-яй-яй... ну-у... да Бог с тобой и с ситцем!... А-а-ах ты какой дешёвый, а?.. Нет, ноне...
Но в это время распахнулась дверь, и в горницу вошёл седой как лунь крестьянин. Реденькая борода его имела желтоватый отлив. Его костюм был так же убог, как и костюм Евсеича.
— О-о! и Кондратий Савельич к нашему шалашу со своей копейкой, — встретил его Пётр Матвеевич, пока вошедший крестился на передний угол. — Ну-ко, порадууй, порадууй! — произнёс он, когда тот молча поклонился ему.
— Не избытошно радостей-то! — ответил новопришедший дрожащим, разбитым старостью голосом. — Сами по них тужим. Иван Вялый да Трофим Кулёк к тебе идут, пожалуй, радуйся...
— Порожняком, аль с тем же, с чем и ты, а?..
— Да у меня, кажись, ничего в руках-то нет, — с удивлением отвечал, разведя руками, Кондратий Савельич.

— Я не про руки, а про карманы... Карманы-то есть, а?

— Есть... есть... у штанов, друг... Как карманов-то... что ты... к юровой-то исхо новые вшил, — дырваты были — и вшил...

— А-а... ну, подавай Господи!.. Стало быть, есть чего хоронить-то, коли новые понадобились, а? — насмешливо попытывал его Пётр Матвеевич.

— А-а-ах, хоронить-то вот рази одни грехи!.. — Кондратий Савельич с глубоким вздохом почесал затылок.

— Эх-хе-хе, так пошто ж новые-то вшивал, нитки-то тра-тил, а?.. Экое-то богатство и из дырявых бы не вывалилось, а и выпало б, так душе легче... Э-э-эх, старина!

Кондратий Савельич молча развёл руками и всплеснул ими по бёдрам, как бы говоря: «Толкуй вот-поди, и не надо-бились, а вшил!».

— Ху-у-до! — произнёс Пётр Матвеевич, с ироническим сожалением качая головой. — А я-то было и расписочку в сторону отложил: Кондратий-то Савельич, думаю, мужик обстоятельный, отдаст, а ты — а-а-а!.. и сфальшивил.

— Не держи-ко меня-то, — прервал его Евсеич. — Отпусти!

— Не привязан! А дверь-то, и сам не маленький, знаешь, как отворять! — с иронией ответил ему Пётр Матвеевич.

Евсеич замялся и конфузливо почесал в затылке.

— Я к тому боле, — начал он, — чего, то ись, бабе-то ска-зать, а?..

— Скажи, пушай денег прикопит и придёт покупать, без обмеру дам, и такого, что иглой не проткнёт.

— А уж помину-то по душе не будет, верно?

— Покамест жив — не будет, а умру — поминай, запрету не полагается!

Снова оконфуженный Евсеич повторил тот же жест.

— С тобой не сговоришь! — ответил наконец он, покачи-вая головой. — Всё бы за ушшерб-то, говорю, следовало... Сам же ты нахваливал его, как продавал-то...

— Своего добра никто не обхает, милый!..

— По совести-то, оно бы и того-о-о, по крайности... надул... так упомин бы... не за свою душу, за родителей!..

— Ах ты, чудной какой!.. Разве запрещаю? Поминай; ба-тюшку звали Матвеем, матушку Апросиньей...

— Так энто даром-то?

— А ты б исхо за деньги хотел, а? Рылом не вышел, друг мой, попово дело точно — им за это дают! А коли тебе по-требовалось поминать «усопших рабов», я супротив этого без запрета, дело твоё.

— И ндравный же ты, а-а-ах... нехорошо... за родителей бы... на нашу-то нужу прикинуть...

— За энтим в родительскую субботу приди, грошик дам, а теперь не проедайся-ко, иди-ко с Богом, неколи толковать.

— А-а-ах, какой ты... ну-у... жила... так жила и есть... и не приходиться уж, а?..

— Не приходи, побереги обутки: вишь, подошва-то хлябает, неравно исшо потеряешь — новое горе..

— Ну-у и ругатель! — ответил Евсеич и, нерешительно переминаясь с ноги на ногу, повернулся к двери и только что взялся за скобу, как она растворилась, и в комнату вошли один за другим два пожилых крестьянина; пропустив их, Евсеич ещё постоял в каком-то раздумье, наконец, вздохнув, произнёс: «Наду-у-ул, ну-у!» — и, почесав затылок, вышел.

Костюмы вошедших, как и костюмы Кондратия Савельича и вышедшего Евсеича, не доказывали зажиточности; из полушубков, висая, выглядывали куски оборванной кожи и цветом своим напоминали выжженную под посевом пашню. Видно было, что весь этот люд принадлежал к разряду «перекатной голи», то есть людей, живущих день за день без просвета в настоящем, без надежд на что-нибудь лучшее в будущем. Одного из вошедших в деревне называли «вялым» за болезненную апатичность, выражавшуюся и в миниатюрном лице, украшенном неправильно рассаженными клочьями волос взамен бороды, и в каждом его движении и слове. Карие глаза другого, с насмешливым, плутоватым выражением перебежавшие с предмета на предмет, доказывали, напротив, и ум, и лукавую сметливость. Когда-то, в молодости, укравши у проезжего купца кулёк с припасами и пойманный с поличным, он в насмешку получил название «кулька», с которым до того освоился, что даже позабывал порою своё настоящее имя; когда называли его Трофимом, он проходил мимо не оглядываясь, но при слове «кулёк» улыбался и приподнимал шапку. Насколько был вял и безжизнен Иван, настолько же был боек и нервно-раздражителен Трофим. Обоих их, на удивление всего села, соединяла тесная дружба, точно как будто они взаимно уравнивали недостатки друг друга; даже избы их стояли рядом, разделяемые одним низеньким плетнём. Куда бы ни шёл Трофим, Иван следовал за ним как тень. Задолжав Петру Матвеевичу, они оба дали ему одну общую расписку.

— Слышал, слышал, што вы оба належке! — насмешливо встретил их Пётр Матвеевич. — Об чём же, значит, теперь разговаривать-то будем, а?

— Ты хозяин, за тобой и почин! — ответил ему Кулёк.

— Я ж и начинай, а-а? Ну, деться некуда — начнём: деньгу принесли?..

— Провинились!.. Хошь, казни, хошь, милуй!..

— А божился отдать, как приеду, а?

— Не побожиться да не поклониться — и веры не добыть, такое дело наше, Пётр Матвеевич, — со вздохом ответил ему Кулёк.

Вялый молчал, прислонившись к стене, точно происходящий разговор и не касался его, а шёл о совершенно постороннем для него деле.

— А что Божье-то имя всеу, — это ничево, а? — покачав головой, ответил Пётр Матвеевич. — Как за это в Писании-то, что полагается, а?

Кулёк с плутоватой усмешкой почесал в затылке.

— Мало ль чего в Писании-то полагается, — произнёс он. — Вон в отчей молитве сказано: оставь, говорит, должников своих; да нешто ты их оставляешь, а?.. Каждый, поди, грош на счёт!

Пётр Матвеевич засмеялся тем покровительственным смехом, каким любят поощрять высокопоставленные лица удачные ответы лиц, стоящих на низких иерархических ступенях, но подающих надежды дойти до высших; хотя бы даже эти ответы и затрагивали какую-нибудь сторону их характера или деятельности.

— Ну и соба-ака на слово-то! — улыбнувшись широкой, самодовольною улыбкою, произнёс Кондратий Савельич. Даже в лице Вялого проскользнуло что-то тоже вроде улыбки.

Кулёк молча водил глазами по потолку, как будто не про его и речь шла.

— Так оставь, говорит, должников-то, а-а? — благодушным тоном повторил Пётр Матвеевич, когда смех его стих. — А когда ж отдачи-то ждать с них, аль об эфтом не сказано?..

— Справятся — сами принесут!

— А-а-а!.. Ну, этого жди-и-и! Однако ни в какой молитве не сказано, чтобы мужик справился да сам долг принёс. Ты вон и божился отдать, а Кондратий Савельич, то ись, и карманы, говорит, в штаны вшил, а денег всё нет да нет!

— Не сами деньги-то делам, и рад бы, друг, отдать-то, да где их возьмём, — с глубоким вздохом произнёс Кондратий Савельич.

— И у меня-то — вот горе! — завода-то нет, не куют их кузнецы! — заметил ему Пётр Матвеевич.

— Сравнил ты себя и нас! — прервал его Кулёк.

— Из одного месива-то, а по Христу все братья.

— Братья-то братья-я! И месиво-то одно, да, вишь, не одними рубахами прикрыто: на твоём-то вон ситец, а на нашем-то дерюга, ты и тыщами воротишь, да ох не молвишь, а мы за копейку-то спину гнём-гнём, — хоша жёрновом выправляй, а всё не в прибыль!

— Послушаю я, на разговор-то ты гладок, да на деле-то, никак, коряв; ты зачем ко мне пришёл-то а?.. Пукеты расписывать?..

— Сосчитаться!

— И считайся! А энти разводы-то к ярманке побереги, — длинна, потреплешь исшо язык-то; энти песни про нужду-то вашу я каждый день слышу, и наскучат. Ты вот скажи-ко, деньги-то принёс ли?

— Уж был ответ — нету!

— По крайности, коротко сблаговестил, и за то спасибо; а говоришь — сосчитаться; как же считаться-то будем, а?

— Рыба есть — бери, те ж деньги!

— И давно бы этак сказал... Неси!

— Почём пуд-то возьмёшь?

— Энто уж моё дело, тебя оно не касающе...

— А-а-а! — с удивлением произнёс Кулёк.

— И ахай, кулик, на гагу, что много пуху. Исшо чего скажешь, ну? Цену-то любопытно бы? — снова спросил он. — Коль знать охота пришла — шесть гривен на свал!

— Ще-е-едро ж! — насмешливо ответил Кулёк, искоса оглядев Петра Матвеича, с невозмутимым хладнокровием барабанившего пальцами по столу. — Боязно отдавать-то тебе по этой цене, — продолжал он, — облопаешься!

— Не пужайся за чужое-то брюхо — своё подвязывай...

— Наше-то завсе налегке: с трудового-то хлеба вширь не полезет, стало быть и подвязывать нечего; а уж за экую-то цену ты нашей рыбки не возьмёшь, Пётр Матвеич, не-е-ет! Ноне времена-то, пожалуй, что и гага на кулика поахает — и пуху мало, да нос востёр!

— Кто ж бы это с вострым-то носом нашёлся запрет-то положить — мне взять её, а? — весь вспыхнув, спросил Пётр Матвеевич, устремив на него свои прищуренные, сверкающие глаза, — не ты ль?

— Не знаю. Ровно мы ловили-то, никто не приезжал помогать, а обирать-то вот понаехали! — твёрдо выдержав взгляд Петра Матвеевича, ответил Кулёк.

— На эких-то востроносых хозяев я — тьфу! Видел? — спросил он, сплюнув в сторону.

— Видел.

— Энто что ж по-твоему, а?

— Плевок.

— А на кого плюют, стало быть, тот человек внимания не стоящий, понял? Выходит, и разговаривать мне с тобой не о чем!

— Не закажешь! Иной и на икону плюёт, да опосля ей же молится! — с иронией заметил Кулёк.

Но Пётр Матвеевич, не обратив внимания на последнее замечание Кулька, молча встал с лавки и, подойдя к полотенцу, висевшему на маленьком зеркальце, отёр им лоб и губы.

— Ты чьи деньги-то брал, а? — снова обратился он к Кульку.

— Твои...

— А помнишь, под чего брал-то?

— Под рыбу.

— Стало быть, обещал вместо денег рыбу отдать. Так оно аль нет? И расписку, кажись, в этом дал, а? «Абизуюсь отдать рыбой осеннего улова...»

— Дал.

— Кому ж ей надлежит теперь распорядок-то делать: тебе аль мне? Как ты это в толк-то возьмёшь, ну-ко?

— По моему толку-то, как ни верти, а всё выходит — хозяева-то мы, и цена должна быть наша, а не твоя... Ты кладёшь её в шесть гривен, а мы-то в два с полтиной, да в рупь сорок, да в рупь восемь...

— О твоей-то цене и не спрашивают, будь благонадёжен! — насмешливо прервал его Пётр Матвеевич. — Что ж ты мне её суёшь-то, этак и все бы вы, дай только повадку, забрали бы деньги, да опосля того и грошовую вешшь в сто рублёв клади... так бы вас и послушали, и спросили?..

— О-о-о! Что деньги-то твои взял, так и не спросят?

— Обнакновенно, не спросят.

— Без спроса, что ль, так и возьмут хоша бы ту же рыбу?

— И возьмут! А ты вот в разговорах-то не проклажался бы, а нёс бы её, слышишь?

— Слышу, да только ноне рыба-то у меня скусная да ядрёная — на диво рыба! — насмешливо начал Кулёк, — не по твоему брюху экая, право: найдутся и почишше охотники-то! — И, повернувшись боком, он отошёл к двери. — Бо-о-огат будешь, за экие-то деньги её отбирать, с надсады-то карманы разлезутся, боязно за тебя же! Пойдём, Вялый! — произнёс он, выходя за дверь и сердито хлопнув ею.

Пётр Матвеевич молча выслушал заключительный монолог Кулька, но заметно было, как губы его побелели, и звук от ударов пальцами в стол сделался резче и отрывистее.

— И поплачь вот с денежками-то, и ве-ерь! — обратился он к Кондратию Савельичу, убого поглядывавшему на него в ожидании своей очереди. — Ну-у, после эких уроков денежки-то вздорожают!

— С чего б вздорожать-то им, деньгам-то, говорю? Деньги-то не рыба, Пётр Матвейч, им завсе ход, особливо у торгующих; и самолова не закидывай, сами в руки плывут! — ответил Кондратий Савельич, пристально посмотрев на Петра

Матвеевича, как бы желая проникнуть в затаённый смысл его слов.

— Ну и в торговом-то деле, Савельич, тоже самоллов надоть: как они в руку-то задарма пойдут, милый, денежки-то! Иной как ни потрафляй, всё убыток, а иной и ни с чего фартит!

— У вашего-то самоллова уда повострей: попадётся — не сорвёшься!

— И фальшь бывает.

— Не сорвё-ёшься! — повторил старик, — эфто теперь, к слову говоря, ты хошь хрушкую-то рыбу взял по шести гривен пуд, сколь же ты наживёшь-то с неё? И выходит тебе, к примеру, фортуна, а нам убыль!

— Не надоть было деньги-то брать — вот какой я ответ тебе дам, слышал?

— Нужа, друг, э-эх! У мужика-то нужи — что пузыря на дождевой луже: один лопнет, а уж два выскочат; и рад бы ига-то этого не надевать, ярма-то!

— Когда ты деньги-то брал, так я, помнится, не спрашивал тебя, сколь ты с них наживёшь, а? — не отвечая ему, спросил Пётр Матвеевич.

— Мужики ль нажить, дру-у-уг!

— Я вот спрашиваю: говорил я об эфтом аль нет, как деньги-то давал тебе, а? — повторил он свой вопрос.

— Не говорил... и греха этого напрасно не возьму.

— А сулил ведь и ты рыбу отдать, а? Сулил?

— Су-ли-ил!

— И за язык я тебя не тянул, а? Отдай-де мне рыбу? А сам ты кланялся, просил под неё, а?

— Хе... ну-у-дной ты! Рот-то не ворота, язык не скоба, и потянул бы иной за него, да не достанешь.

— Зачем ты мне, к примеру, укору-то эфти всё разводишь, а? — допытывал его Пётр Матвеевич, не обратив внимания на его ответ.

— Обида!

— А-а — обида! И обиду спознали! Мне-то вот только не обида, что моё ж добро заберут да мне ж и укору, и грубости за энто, а? Словно я насильно навяливал вам: возьмите, мол, не обойдите милостью, а то, вишь, деньги-то карманы протёрли, тяжело вот им лежать-то в них было, — ведь вы просили-то, божились-то, кланялись, и посулы-то всякие сулили, а не я... Так о чём же исшо разговаривать-то? О-обида!.. Хе... Тебе, мужики, обида, а что меня втрое за благодеятельство-то моё избидите, так это ничего, или тебе, мол, за свои-то денежки и Бог велел муки-то нести, а? — говорил он, встав и надевая на себя лисью шубу. — Неси-ко лучше, благословясь, рыбу-то без ссоры, — заключил он, — и напредки

пригожусь! — И, надев шапку с бобровым околышем, вышел из избы.

Кондратий Савельич молча последовал за ним, не надевая из почтения своей оборванной бараньей шапки, и, постепенно умаляя шаг, незаметно отстал от него. Постояв с минуту на улице в какой-то нерешительности, он почесал затылок и, надев шапку, махнул рукой, как бы отгоняя от себя неотвязную думу, и завернул за угол.

До ярмарки оставался один день, и потому у балаганов, куда пошёл Пётр Матвеевич, кипела деятельная работа. Все спешили устроить их, разобраться с товарами и разложить их на определённые места. По дороге ему постоянно попадали под ноги деревянные ящики из-под посуды, вороха сена и соломы, которыми она обкладывалась во избежание лома. Говор и смех, с которыми спорилась работа, не утихали; порою среди них проносился резкий свист пилы или стук топора, которым вбивали в замёрзшую землю шесты или вгоняли в сделанные в них выдолбы узкие полки под товары. С любопытством заглядывал Пётр Матвеевич в каждый балаган, едва дотрагиваясь до шапки на приветствия торговцев или приказчиков их. Торговцев-мелочников он удостоивал ласковым разговором, с приказчиками подшучивал — с одного внезапно, среди работы, сорвал шапку и, быстро отвернувшись, глядел в сторону, стараясь показать вид, что это и не его дело; другого, тихо подкравшись, толкал в бок, желая испугать его; иного сдёргивал за ногу с козел и хохотал весело, радушно, когда сдёрнутый летел на пол, а за ним и высокие козлы. У одного он незаметно спрятал под подол шубы штуку ситца, и когда тот хватился её, он, выразив полное недоумение в лице, принялся искать её вместе с ним, но под конец не выдержал и, разразившись громким хохотом, возвратил её неосторожному: «О-а-ах-ха-ха-а, заходил винтом! Не отдай-ко бы я, и была бы от Сивотия вытряска», — со смехом говорил он, отходя от приказчика, обрадованного находкой вещи.

Встречаясь со знакомыми крестьянами, Пётр Матвеевич ласково здоровался с ними и останавливался поговорить с каждым, расспрашивая его о семейных делах, о сборе податей и об улове рыбы, и о цене на каждый род её, получая у всех в ответ, как и от Ивана Николаевича, что рыба ноне в цене — «осетрина — два с полтиной», и т. п. «Ну, ну, торгуйте, поправляйтесь! — с иронией отвечал он, — а я так вот зашабашить хочу, — говорил он на предложение иного из них купить. — Не хочу более торговать-то ей, и приехал так только, старые счёты свести!» Присматривался он и к рыбе, заходя во дворы крестьян, где происходил уже обычный ярмароч-

ный свал. Вся наезжая мелочь, как называл Пётр Матвеевич мелких городских скупщиков рыбы, торговалась до изнеможения, сбивая цены с неё. Но крестьяне стойко выдерживали напор их, соблазн от показываемых им денег, не уступали в цене, и рыба действительно не шла с рук. С иронией прислушивался Пётр Матвеевич к толкам и торговцев, и крестьян об интересующем его предмете, не высказывая своего мнения, и изредка только думал про себя: «Придётся ишшо, мужики, поклоняйтесь!».

Зайдя в свой балаган, где работы приходили к концу, он тщательно осмотрел симметрично разложенные на полках ситцы и фаянсовую и медную посуду, — осмотрел даже ящики из-под них, сложенные в кучу, и вынутые из ящиков при распаковке загнувшиеся гвозди, даже разрыл ногами выложенные при разборе посуды сено и солому, как бы сомневаясь, не скрылось ли что под ними от глаз Семёна и Мирона Игнатъевича, снявшего с себя полушубок и раскладывавшего товары на полки вместе с работником Авдеем, высоким, рослым мужиком, жившим у Петра Матвеевича с малолетства и исполнявшим самые многосложные обязанности. Летом Авдей ездил на павозках в качестве рулевого, зимою сопровождал Петра Матвеевича по деревням, заменяя ему и кучера, и приказчика, а главное — телохранителя на всякий случай, какие нередко случаются с торговцами на глухих сибирских выселках. Пётр Матвеевич приказал Семёну покончить с балаганом, прибрать под прилавок ящики и труху, говоря: «Годится на обратный, не покупать!», и выправить на топоре молотком гвозди, хотя многие из них были без концов и самые шляпки от давнего употребления помялись и поржавели. Он отобрал кусок недорогого ситцу, чайную чашку с надписью «В день ангела» и женский гарусный платок и, бережно завернув их в бумагу, перевязал верёвкою и вышел, не сказав своим помощникам ни слова. Вообще между Петром Матвеевичем и Мироном Игнатъевичем была заметна натянутость отношений после неосторожно высказанного последним сомнения в дипломатической способности Петра Матвеевича объегоривать крестьян. Пётр Матвеевич в обыденной жизни не любил баловать своих домашних и людей, поставленных от него в зависимость, ласковым обращением. «У меня в струне чтобы!» — говорил он каждому, поясняя свою систему правления. И вдруг человек, по его милости евший хлеб, выразил сомнение в уменье его вести свои дела. Как и все люди, Пётр Матвеевич не скоро забывал удары, наносимые самому чувствительному в сердце человека месту — самолюбию.

Волостной голова Роман Васильевич Ковригин собирался идти с работником провеивать привезённую с мельницы крупу. Надев старый полушубок, он подпоясывался, когда в избу неожиданно вошёл Пётр Матвеевич.

— И не собирайся, никуда не пуцу, на то и гостинцы принёс! — с усмешкой приветствовал он растерявшегося Романа Васильевича, который, вместо того чтобы заправить истрёпанные концы кушака за пояс, в смущении прятал их вместе с рукавицами за пазуху. — И не следовало бы давать-то, ну да куда ни шло! — говорил Пётр Матвеевич, подавая хозяину узел и садясь на лавку.

Через четверть часа после его прихода Роман Васильевич в новом суконном зипуне сидел за столом в своей чисто прибранной горнице вместе с дорогим кумом; на столе перед ними лежал на блюде разрезанный пирог из свежей осетрины; полуштоф очищенной и бутылка с этикетом «сладкая романея», окружённые блюдечками с белыми грибами, груздочками, брусникою, посыпанною сахаром, небольшими пряничками и кедровыми орехами, свидетельствовали о всём радушии хозяев в угощении дорогого гостя.

— Избаловала ты его, кума, о-о-ох! — слегка пощипывая из пирога осетрину, крикнул Пётр Матвеевич за перегородку, откуда доносился до них звон чайной посуды.

— Мои ли года баловать! — ответил торопливый старушечий голос. — Будет, побаловали!

— То ись будет?.. Нет, видать, ишо крепко гладишь его, вишь, выровнялся, какой кругленький стал.

— Не сглазь! Господь с ним, пушшай отъедается!..

— До отвалу-то не корми, в меру потрафляй, а то вдосталь-то зажиреет, что проку? Жирные-то петухи только без пути ощищаются! — говорил Пётр Матвеевич, посмеиваясь над своей остроотой.

Роман Васильевич, круглый, среднего роста человек с седою окладистой бородой, обрамлявшей его крепкие румяные щёки, во всё время разговора самодовольно улыбался, поглаживая бороду и усы. В лице его просвечивало самое тёплое, сердечное добродушие. Каждый бы, взглянув на него, внутренне сказал: «Этот человек не сделает никому зла». А между тем благодаря своему добродушию, всегда почти соединённому в людях с бесхарактерностью, он много делал зла, не ведая, что творит его. Когда же он серьёзно убеждался в этом, то грустил и жаловался на долю и на общество, избравшее его головой.

— Ишь, он вот заелся и мужиков-то своих распустил! — продолжал между тем Пётр Матвеевич. — Таких-то грубия-

нов, как у него, хоша бы к примеру взять Кулька, не найдёшь и по губернии!

— А-а, нешто сгрубил он тебе? — спросил Роман Васильевич.

— Послушал бы, как за моё-то добро напел. Э-хе? За то, что мои же деньги забрал, и платить не хочет!..

— Выправится, продаст рыбу, и возьмёшь, — ответил Роман Васильевич. — Он ничево мужик-то, хоша и бедный!

— Ну-ко, скажи наперво, кому они продадут-то её?

— Мало ль торговцев-то наехало..

— Ни пуда ни купят у них по ихним-то ценам, какие они наложили. Ты слышал ли, они вон таксию установили, а? А ты, голова, и ухом не ведёшь, как будто не твоё и дело, а так и должно?

— И чу-удной же ты какой, Пётр Матвеевич, право, чудной! — укоризненно качая головой, ответил Роман Васильевич. — Ведь всякий в своём добре волен!.. Это бы я полез к тебе в твоё дело с указом, чего б ты сказал мне?

— Моё дело — другая статья, а вот ты мне про своё-то скажи: голова ты аль нет?..

— Голова!

— Блюсти, чтоб казне-то не было ушшербу, твоё дело?

— Казну-то блюсти — энто моё дело, да нешто ей есть от энтого ущерб?

— Собрал ты подать-то аль нет, ну-ко?

— Туго она ноне идёт, кум, — а-а-ах как туго!.. Супротив ланских-то годов и трети не выходили. Сбился народ-то. На юровую вся надежда!

— И обманешься! Неуж ты думал, у них будут покупать, а?.. Сме-ешно! Это я бы, к примеру, ехал за триста вёрст, тратился, да и купил её по этим ценам, а сам её должен за половинную отдать, да и то слава Богу, если купят. Так из каких же прибытков мне покупать-то её, а? Не-ет, дураки-то ноне в городах повывелись: все, говорят, в деревни убегли, где их непочатый угол навален! А ты вот сиди да жди, соберёшь её много, подати-то: распахивай казённый-то сундук под сквозной ветер. А нешто начальство не спросит с тебя, что ты смотрел на порядки-то на энти, на бунт-то? а-а?

— Бунт? — с удивлением спросил Роман Васильевич. — Да где он, бунт-то, какой из себя, покажь-ка?

— А это, по-твоему, не бунт, если я таксию самовольно установлю казне в ущерб, а? Ты голова, а волостью-то Иван Николаев заправляет, таксии выдумывает, подговаривает мужиков на дело, от которого казне ушшерб.

— Ивана Николаева ты, Пётр Матвейч, зря не путай! Он ху-ду не научит, это мужик первый по волости.

— По плутовству-то?

— Не извышён он на энто ремесло-то, о-ошибся ты, кум.

— Острог прошёл, да не извышён, а? — И Пётр Матвеевич с усмешкой посмотрел на него.

— В остроге-то, говорят, более честных сидит, Пётр Матвеевич, чем на воле ходит. И дураков-то, сказывают, туда малость сажают, всё более умных, так-то...

— А-а-а! Ну, экую речь впервой и слышу, что ж это ты не в остроге? Кажись, с виду-то не дурак бы мужик!

— Не линия, значит!

— Обожди же, не скучай, с Иваном-то Николаевым скоро попадёшь на неё! Не-ет, кум, около энтих-то делов, что у огня, спустя рукава не стой, — обожжёшься, тогда и помянешь меня, о-ой, помянешь! — И Пётр Матвеевич, от-вернувшись в сторону, слегка забарабанил пальцами по столу и искоса наблюдал за Романом Васильевичем, в лице которого при последних словах его выразилось глубокое раздумье. Видно было, что гость затронул в хозяине ещё не рождавшийся вопрос. Как и большинство неграмотных волостных сельских начальников, Роман Васильевич был трус. Он всего боялся: боялся и писаря, и земских властей, от которых находился в полной зависимости, одинаково боялся и избравшего его общества. Общественные интересы он понимал, и, как члена той же общины, они одинаково касались и его, но, незнакомый с существующими законоположениями, он всегда терялся в сознании правоты их, тем более, зная по опыту, что земские власти не всегда одобрительно относились к интересам крестьян. Слова Петра Матвеевича и вызвали в нём подобное сомнение. «А что как этого не велено, и после в самом деле меня спросят, чего я глядел?» — всё мучительнее и мучительнее шевелилось в его уме.

— А-а-ах! — произнёс он, покачав головой и, заворотив полу зипуна, отёр ею крупный пот, выступивший на лбу.

— Не жарко, брат! — с иронией заметил ему Пётр Матвеевич.

— От думы, кум! От жары-то я не шибко на пот-то податлив! А-а-ах! Дай-то, Господи, говорю, дослужить поскорее. И-и-и, то ись обеими руками хрест положу. И ей-Богу, от одной думы-то энтой сколь сокрушения! — произнёс он, разведя руками.. — Один одно говорит, другой совсем инако, а моё-то дело — темь!..

— Чего ж ты надумал-то, а?..

— Надумал-то? Да надумал-то я таперича, кум, скажу тебе, большое дело!

— А-а! Подавай Господи, пора!

— И то ись так таперича в своём уме полагаю, — с глубоко серьёзным выражением в лице говорил хозяин, — твори, Господи, волю свою!

— То-о-олько-то?

— Возложись, и будешь паче всего невредителен!

Пётр Матвеевич снова забарабанил по столу и, сжав губы, слегка засвистал.

— Не-емного же ты выдумал! — с иронией произнёс он. — А я-то сдуру порадовался, думал, ты и невесть что, — а оно не-е-мно-о-го! А как же ты с Кульком-то рассчитаешь меня, а? — спросил он после продолжительного молчания. — Мне время-то не терпит, а задолжал-то он мне вместе с Вялым более тридцати рублей, по нынешним-то временам — де-еньги! А я под рыбу ему давал. Ты отбери-ко мне рыбу-то у него, а?

— Одумается и сам отдаст, обожди зорить-то!

Пётр Матвеевич посмотрел на него, угрюмо насупив брови, и, приподнявшись с лавки, молча взялся за шапку.

— Толковать-то язык устанет. Ай, голова-а! — отрывисто проговорил он. — И ищи суда!

— А-а-ах ты строптивый какой, ну-у!..

— Будешь строптив, как один вот так-то подкуёт, да другой, а карман-то один... Идёшь, что ль?

— Не каплет! Прикуси, испей хоша чайку, в кои-то веки заглянешь?..

— Идёшь, спрашиваю, аль нет? — настойчиво повторил Пётр Матвеевич.

— А-а-ах какой ты, ну-у! А я ишо хотел было сегодня крупу провеять, мужик тут покупает её у меня, а тут грехи одни, и ей-Богу, грехи! — говорил хозяин, неохотно охорашивая свою белую мерлуцатую шапку и выходя вслед за гостем.

По дороге Пётр Матвеевич завернул в балаган и взял с собою Семёна, Авдея же послал за лошадью с розвальнями. Дойдя до избы Кулька, стоявшей около гумен, окаймлявших берег Иртыша, они встретились с ним у калитки. Увидя их, Кулёк остановился.

— Распахивай-ко ворота для дорогих-то гостей, — с насмешкой сказал Пётр Матвеевич, когда они подошли к нему.

— А зачем бы это Бог в дешёвую-то избу дорогих-то гостей принёс? — спросил его в свою очередь Кулёк, загородив собою вход в калитку.

— Ты бы из учтивства-то в избу примолвил, не тати* к тебе пришли! — серьёзно заметил ему Роман Васильевич, видимо, входивший в роль от сознания своего достоинства.

* Многим может показаться неправдоподобным употребление в разговоре крестьян церковнославянских слов. Считаю нужным оговорить, что в

— Не заперта, милости просим. Добрая-то весть, сказывают, сама летит, худую-то только на ворота вешают. Не за добром, видать, в гости-то называетесь! — говорил Кулёк, входя во двор и отворяя дверь в избу, куда вслед за ним вошли голова и Пётр Матвеевич.

О горькой нужде в быту Кулька можно было заключить уже по обстановке в избе. Около покосившихся, но всё-таки чисто выбеленных стен стояли лавки, сходящиеся у стола в переднем углу. У печки висела люлька, в которой стонал обёрнутый в какие-то лохмотья больной ребёнок. У узенького оконца, с натянутым вместо стекла бычачьим пузырьём, едва пропускавшим дневной свет, сидела с прялкой в руках подросток-девочка, в одной грубой пестрядинной рубахе, прикрывавшей её тощее тело. Сидя у люльки, жена Кулька, пожилая женщина с болезненно истомлённым лицом, укачивала на руках другого больного ребёнка, то прижимая его к груди, то поднимая на воздух, чтобы унять его плач и удушливый кашель. И мука, нестерпимая мука выражалась в эти минуты на её лице. И грустная картина эта, и удушливый, спёртый воздух, и царивший в избе мрак охватили бы человека, незнакомого с жизнью нашего крестьянина, томительным чувством. Но не того закала были вошедшие.

При входе головы и Петра Матвеевича девушка испуганно встала, с недоумением глядя на них. Холодный воздух, охвативший люльку, возбудил в ребёнке, лежавшем в ней, кашель, кончившийся глухим, сиплым криком. Успокоившийся на руках матери ребёнок, разбуженный её торопливым движением, также разразился плачем.

— О-ох, Господи! — произнесла бедная женщина, прислонясь к печи и снова укачивая его.

— Ганька! — крикнул Кулёк девушке, стоявшей с прялкой в руках, — возьми робят-то да снеси их к Вялому в избу! — Чем же угощать-то тебя, Роман Васильич, что не обошёл честью, заглянул и в мою клеть? — спросил он, когда девушка, закутав плачущих детей в изорванный полушубок, унесла их и в избе воцарилась тишина.

— Обиду вот на тебя Пётр Матвеевич принёс, братец ты мой! — ответил он, присев на лавку.

наречии сибирского крестьянина они часто встречаются. Трудно решить, занесены ли они в него «начётчиками-раскольниками» или являются остатком первобытной формы языка, уцелевшей от позднейших его изменений. Особенно часты в употреблении слова: тать, татьба (воровство), выя, ланита, ложе, яко, паче, блуд, блудодей (развратник или вор, одно и то же) и т. п. — *Прим. автора.*

— Что за шесть гривен пуд рыбы не отдаю, а-а-а? Ёмок он на энти обиды-то!.. Так ты это судить нас пришёл, а?

— А-ах, братец, и всё то ись вы!.. Ты ведь брал деньги-то?

— В отпор не иду — брал.

— И отдай... по заповеди... путём отдай!

— И отдаю. Пушшай берёт рыбу. Вот он тут сидит, я при нём и говорить буду. Он вот обиду несёт, а что сам обижает, про эфто молчит!.. Я брал... Брал, и расписку выдал вместе с Вялым, под рыбу брал, рыбой и отдаю. Так зачем он грабить-то хочет, а? Вот он тут сидит... глаз на глаз... ты и спроси его, нешто по нынешним-то ценам за шесть гривен пуд-то осетрины взять не грабёж, а?..

— Экие-то слова мо-отри в препорцию, друг! — внушительно заметил ему Пётр Матвеевич, — а то за поношенье чести!..

— Нешто у тебя есть честь-то? — презрительно усмехнувшись, спросил его Кулёк.

— Смо-о-отри, говорю, о-ой!..

— Не пужай! Смотреть-то не на что! — раздражительно ответил он. — Ты о чести своей молчал бы! Честь-то твоя — что у худой бабы подол — обшмыгана!..

— И в самом деле, ты, Кулёк, поприглядней на слова-то будь! — строго заметил ему и Роман Васильевич. — Слово-то слову не инако: вылетит — не поймашь!

— Моё-то слово горе говорит, Роман Васильевич. Ты гляди, ртов сколь... пить, есть хотят, а работник-то на семью один я. Ты подушну-то спрашивашь, вздоху не даёшь... есть чего отдать аль нет, а разорвись да выдай! Пушшай уж казна берёт, ну-у, божье попущенье! За что ж ишо купцы-то наезжают грабить нас, а?.. А коли ты честный, говоришь, — обратился он к Петру Матвеевичу, — ты по чести и бери... не зори... не отнимай у нищего-то последнего куска изо рта! Ведь ты сы-ыт, избытошно Богом-то взыскан, а я нищ, ни-и-ищ! — И в голосе Кулька зазвучали слёзы.

— И болт... привяжи вместо языка-то, устанет в разговорах-то энтих! — сухо произнёс Пётр Матвейч, глядя куда-то в сторону. — Ты, голова, сказки пришёл слушать аль за делом? — с иронией спросил он.

Роман Васильевич вместо ответа глубоко вздохнул. Видно было, что в душе его происходила борьба.

— Ну-у, он те и прикинет две-то, три гривны от щедрости! — внезапно утешил он Кулька.

— С каких это резонов ты взял? — угрюмо насупившись, спросил его Пётр Матвеевич.

— На нужу-то его, что Богу бы свеча, кум, бедное и его дело-то! — с грустью в голосе заступился он.

— Из чужих-то карманов ты бы гривен-то на свечи Богу не высовывал, а свой широк: распахни, ставь, запрета нет!

Роман Васильевич почесал в затылке.

— А я вот спрашиваю, почём ты со сказки-то платишь? — снова спросил он.

— Нужа мужичье-то дело, друг, а-а-ах, нужа великая, — произнёс, не отвечая на вопрос его, Роман Васильевич.

— А мы сложа руки хлеб-то едим, а?

— Известно, купцу одна работа: деньги считай да брюхо расти! — язвительно вмешался Кулёк.

— А-а... и ты б, коли завид берёт на купеческое трудолюбие, нажил бы капитал и занялся бы этим делом, аль неможу? Ты вот лучше, чем энти присказки-то на уши мотать, без греха бы рассчитался со мной!

— Похвалился сам взять — и бери! — ответил ему Кулёк.

— Своих-то рук, стало быть, нет у тебя на отдачу-то, а на то выросли, чтоб только в заём брать.

— И свои есть, да не поднимутся у робят-то малых кус урвать... их энтот кус-то... и-их.

— Деньги-то, помнится, ты на себя брал — не на робят.

— И бери! Рыбу бери! Я не стою! Тебе боле надоть!

— Слышь, голова, отдаёт, так чего ж?

— Без препоны... бери! — решительно повторил Кулёк.

— Возьмём, не затрудним тебя, не сумняйся! — с иронией ответил ему Пётр Матвеевич, — а ты, коли добром отдаёшь, покажи её, где она!

— Не касающе меня энтю дело, — ты ж сказал, что не я хозяин, а ты!.. А хозяин сам должен знать, где его добро лежит. — И, отойдя от печи, он сел на скамью и, опустив голову обхватил её руками.

Все молчали.

— Энтю докедова ж будет, а? Голова!..

— А-а-ах, отступиться б! — произнёс Роман Васильевич, махнув рукой. — Кулёк, а-а Кулёк, ну те к Богу, ра-азвяжись за один конец, может, и тебе Бог на твою долю пошлёт!

— Я не хозяин своего добра, меня и не спрашивай: веди их в амбар, пусть грабит! — обратился он к жене, всё время молча стоявшей у печи, грустно подпёрши рукою щёку и время от времени утирая передником накатывающиеся на глаза слёзы.

Молча взяв из-за печки ключ, она вышла из избы, хлопнув дверью. Пётр Матвеевич поднялся с лавки и пошёл за ней, а за ним и Роман Васильевич. Выходя из избы, он взглянул на Кулька, сидевшего в том же положении, и остановился, но, покачав головой, вздохнул и молча вышел.

На дворе их ожидали Авдей и Семён. Отворив амбарушку, стоявшую у заборчика из плетня, жена Кулька прислонилась

к нему и, закрыв лицо передником, зарыдала. Роман Васильевич, стоя в стороне от неё, то качал головою, то под влиянием волнующей его мысли махал рукой и хотел сказать что-то, но произносил одно только: «А-а-ах!». Но что выражало это «ах» — раскаяние ли о своём вмешательстве, сожаление ли к нужде Кулька или сознание собственной беспомощности — трудно было определить. Вообще трудно угадать, что думает русский мужичок, произнося какое-нибудь любимое им междометие или почёсывая в затылке. А Пётр Матвеевич не уставал тем временем хозяйничать: опытной рукой выбирал он зарытых в снег, набросанный в амбарушке, осётриков, чалбышей, нельм. Попадал ли ему под руку крупный муксун, он брал и муксуна. Выйдя из избы и прислонясь к косяку двери, Кулёк молча глядел, как Семён и Авдей нагружали полы своих полушубков отборной рыбой и складывали её в розвальни. Лицо его горело, в глазах выражалась бессильная злоба, а судорожное подёргивание углов губ доказывало, что, несмотря на всю его сдержанность, нервы его усиленно работали.

— Не забыл ли чего оставить, оглянись! — с злою усмешкою спросил он, когда Авдей и Семён с грузом рыбы, сев в розвальни, отъехали от ворот и Пётр Матвеевич направился к калитке.

— Не ушаришь, — лаконически ответил он.

— Пошли тебе Господь грабленное-то впрок положить.

— Не брезгливы! Нам всё впрок, — тем же тоном ответил Пётр Матвеевич, выходя вслед за Романом Васильевичем в калитку. — Захаживай, коли пристегнёт напасть-то! — крикнул он, затворяя её за собою.

Кулёк присел на крылечко и, опустив голову, заплакал. Грустно видеть, когда плачет ребёнок, не сознающий серьёзных невзгод жизни, горе которого так же мимолётно, как тень от облака, набежавшего в ясный солнечный день. Прошла минута, исчезла тень — и он ещё с невысохшими слезами на глазах улыбается и резвится, забыв о горе. Но скорбно видеть, когда плачет взрослый человек тем тяжёлым грудным плачем, который сильнее недуга подтачивает силы и часто оставляет на всю жизнь неизгладимые следы в чертах лица и в характере. Вот этим-то надрывным плачем от шумной Волги до пустынных Оби и Енисея нередко оплакивает русский мужичок свою горькую долю, свою безысходную нужду!

Покончив со своими должниками, Пётр Матвеевич с наступлением сумерек, когда в селе стала стихать дневная деятельность и меньше встречалось на улицах народа, прошёл позади дворов в волостное правление, где жил волостной писарь Борис Фёдорович Мошкин, около пяти лет самовольно управлявший волостью. Человек он был угрюмый, молчали-

вый, и ходил постоянно с повязкою на щеке, снимаемой им только в дни приезда исправника и других властей. Зная его влияние на общественные дела, каждый торговец, приезжавший на Юровую, считал долгом приносить ему известную дань, с которою пришёл теперь и Пётр Матвеевич. Свидание их было весьма продолжительно и, должно быть, по своим результатам приятно для Петра Матвеевича, так что, возвратившись домой, он долго сидел и улыбался, барабаня всевозможные знакомые ему мотивы и насвистывая: «Я посею, сею, млада-молоденька!». Когда же хозяйская племянница, стройная краснощёкая девушка, внесла ему ужин, он, забыв свою степенную солидность, неожиданно щипнул её за один из концов шейного платка, падавшего на высокую грудь, заставив её от этой любезности вскрикнуть и присесть.

— А-а-а, испужалась? — со смехом произнёс он. — А-ах, ха-ха-а, а ты бы, молодка, того... около старика-то пообихаживала, у старика-то карман то-о-олст, э-эх-хе-хе-е, горячая жилка! — И он снова хотел повторить свою любезность, но горячая жилка, стыдливо закрывшись передником, убежала и более не возвращалась.

* * *

Вкравшееся в ум Романа Васильевича сомнение в законности установленной крестьянами таксы на рыбу не покидало его. Выбрав первую же свободную минуту, он пошёл к писарю с намерением выведать его мнение, но, не подавая вида о настоящей цели своего посещения, издав издали, стороной, между разговором, коснулся этого вопроса, намекнув и на то обстоятельство, «как-де, есть ли что в законе касательно таких бунтов, и точно казна потерпит от этого ущерб?». И Борис Фёдорович, заранее уже подготовленный дальновидным Петром Матвеевичем, с первых же слов сказал ему: «Есть!», и что «стачки, устанавливаемые скопом, воспрещены», и «если они не примут своевременных мер против неё, то дело может принять для них весьма неприятный оборот», и в подкрепление своих слов вычитал ему те статьи закона, где говорилось о стачках и о возмущениях, производимых скопом. Роман Васильевич, не доверявший Петру Матвеевичу, не ожидал подобного известия. Но перед таким авторитетным аргументом, какой привёл ему Борис Фёдорович, он растерялся, упал духом и, по обыкновению, посетовал и на свою долю, и на общество, избравшее его головой.

Результатом происшедшего между ними совещания о принятии предохранительных мер было то, что на другой же день в волости назначили сходку, на которую повестили всех крестьян-рыболовов. Самые бедные, вро-

де Кулька, Вялого и Кондратия Савельича, не оповещались: все знали, что они придут и без повестки — потолкаться в толпе, послушать, о чём говорят более зажиточные, и потом поднять вверх правую руку, утверждая этим принятием в быту их жестом то мнение, которое установит меньшинство их. В этой бедной, забитой жизни капитал играет ещё большую роль, чем где-либо, подавляя всякую правдивую мысль, если она родилась в уме бедняка, одетого в оборванный полушубок и такие же бродни.

Несвязно, запинаясь на каждом слове, произнёс вступительную речь Роман Васильевич, объясняя собравшемуся обществу незаконность составленной ими таксы. Все внимательно слушали его, теснясь за решёткой, отделявшей волостное присутствие от остального пространства, предназначенного для сходов. Внимательно слушал его и Борис Фёдорович, стоя, по обыкновению, с подвязанной щекой у стола, покрытого чёрным сукном и заваленного бумагами и пакетами. Никто в толпе во время его речи не шелохнулся, и каждое слово его отчётливо доносилось до ушей стоявших даже у порога. Скрестив на груди руки, слушал его и Иван Николаевич, выдвинувшийся вперёд всех при начале её.

— Ты о чём это говорил-то, не во гнев тебе спрошу я?.. — произнёс он, когда Роман Васильевич замолчал и отирал полою нового суконного зипуна вспотевший лоб и ладони у рук. — Я, признаться, слушал, да что-то в толк не взял!

— Народ-то вот не надоть мутить, Иван Николаич! — с сердцем ответил он. — Вот я к чему!

— Так тебе бы так и сказать, короче бы дело! А кто ж их мутит?

— На миру-то про тебя говорят!

— По-твоему выходит, у всего-то крещёного мира и разуму своего нет, а? — с иронией спросил он.

— Мир-то наш, Иван Николаич, что скворя*, всё боле с чужого голоса поёт. Уж не тебе бы и пытаться об этом, ты сам пытаный! Ты вот и теперь первый заговорил, а все молчат, стало быть, оно и касающе тебя!.. Ты, Иван Николаич, к слову сказать, помутил мирским-то разумом, да и в сторону, а мы в ответе!

— В чём же ответ-то твой будет, ну-ко?

— В попущении бунта!

— Бунта-а-а! — с удивлением произнёс он.

— В такции вашей да в казённом ушшербе.

— Гора-то какая выросла, и глазом не окинешь, а? Заварили же мы, братцы, кашу волостным на расхлёбу, — с иронией

* Скворец. — *Прим. автора.*

обратился он к обществу, всё время молча слушавшему их. — При каком же тут деле казна-то? — снова спросил он.

— Ушшербнет.

— Отчего бы это казне-то ушшербнуть, ответь-ко? Кажись, сама деньги-то делает.

— Иван Николаич, ты взялся говорить, так словами-то не играй, здесь волость, сход! — серьёзно заметил ему писарь. — Здесь слово-то говори с оглядкой.

— А тебе бы, Борис Фёдорович, на мой ум, подвязать язык надоть, а не ланиту. Ты меня-то не учи! Я сам порядок-то знаю! Ты не боле как наёмник наш, твоё вот дело писать, что голова тебе прикажет да общество. А своё-то слово в мирскую речь бросать не доводится. Аль язык-то тебе Пётр Матвейич наточил, а? Ну-тко, скажи нам, кому это он в волость, по задворьям-то хоронясь, узел вчера нёс, что доброй бабе и на коромысло не зацепить, а?

Борис Фёдорович покраснел и, отвернувшись в сторону, закашлялся и поправил повязку.

— А-а-а! Видишь, сладкие ж гостинцы-то, и перхоть взяла, — с юмором заметил Иван Николаевич.

В толпе послышался смех.

— Доехал... то ись... и мужик же... а-ах ты, братец! — раздались в ней одобрительные отзывы.

— Иван Николаич, ты уж был в науке? — вступился Роман Васильевич, покачивая головой.

— Был, Роман Васильич, был... осветился! — тем же тоном ответил он.

— Что птица, за решётчатыми окнами сидел?

— Сидел, Роман Васильич, сидел, да там и правду-то щебетать научился! А корить-то этим при обществе нечего, не за воровство сидел, а за правое дело, что свеча пред Богом... Помни, все мы под Богом... от тюрьмы да от сумы...

— Не корю я тебя, дру-у-уг, — прервал он, — а грех бы, говорю, других-то совать в энти палаты...

— Кого ж я сую-то, а?

— И общественников, и нас...

— О-о-о! А я уж испужался, думал, не Бориса ли Фёдоровича; так он, Роман Васильич, и без чужой помощи, своим умом до энтих-то палат доживёт. Гостинцы-то на еду вкусны, да отрыжка-то с них о-о-ой... худая живёт! А ест, ест, да и придёт час отрыгнуть! А ты бы, Роман Васильич, послушал моего старого ума, лучше б было, коли за общество стоял. С нами тебе жить-то доведётся, о-ой, с нами! Скажи-ко ты мне, чем я под иго-то подвожу, а?

— Не ты ль на такцию общество-то подбил, а?

— Я! я! Так энто и есть иго-то... бунт-то?

— Бунт!

— Если я, к примеру, слепому дорогу покажу — и бунтовщик, а? Да где же про это писано?

— В законе!

— Неуж в законе не велено, чтоб мужик по своей цене своё кровное добро продавал, а?

— По своей-то цене? — повторил Роман Васильевич и, задумавшись, почесал в затылке. — Не велено! — утвердительно наконец ответил он. — Не велено! — снова повторил он тем же тоном. — Положеньё такое: такциям запрет, а кольми того говорит, скопом!

— Ско-опом! энто что ж за слово?

— Слово... самое... в законе прописанное... законное слово! — пояснил он.

— А-а! Так по закону-то так надоть, значит: если рыба мне стоит два с полтиной пуд, то я должен отдать ему по его цене, а не по моей!

— Не то ты говоришь, Иван Николаич, — прервал писарь, всё время молчавший после происшедшей с ним сцены. — Поймите, — обратился он к обществу, избегая пронизательного взгляда Ивана Николаевича, — закон не воспрещает продавать своё добро по какой хошь цене, а воспрещает токмо такции... самовольные стачки скопом, к примеру будучи сказать, как вы установили обчеством, если от них предвидится казне ушшерб. Во-от что закон-то гласит, поняли ль?

— Ты растолкуй, какой казне-то ушшерб от наших цен? — спросил его Иван Николаевич.

— И как ты это в толк не возьмёшь спросить: «Собрали ль мы подать-то?» — укоризненно качая головой, вмешался Роман Васильевич,

— Не моё дело казённый сундук считать. Ты голова, ты и блюди!

— Ты бы спросил, много ль мы собрали-то её. Мы и первой-то половины не очистили, а второй-то и не начинали; так энто казне не ушшерб?

— Ушшерб!

— А собрать-то её когда же, а?

— Поторгует мир на Юровой, справится и очистит грехи... Подожди! Не вдруг!..

— То-то не поторгует!.. В ланские-то годы, помнишь, торговцы до ярманки грузили возы рыбой да отправляли. Мы до ярманки-то, бывало, сборные книги очищали, а ноне кто продал её, рыбу-то, окромя наезжих крестьян, а? Принёс ли из наших-то юрьевцев кто в подать-то хоша копейку, а? А ведь уж завтра ярманка... К вечеру, гляди, уж торговцы-то в обратный путь соберутся. Вы такцию-то установили, а не спросили

того, кто купит по ней. В самые что ни есть неуловные года хрушкая-то рыба свыше девяти гривен да рубля с пятаком не поднималась, а вы два с полтиной заломили, а? И думаешь, купят...

— Купят! — спокойно и твёрдо ответил ему Иван Николаевич.

— А кто купит-то... Смотри, ведь уж наезжие-то крестьяне всю рыбу продали, купцы-то уж наторговались! Так кто ж купит её у наших-то?

— Гуртовщик, тот же Пётр Матвейч; а для ча он, по-твоему, когда уж все мелошники-то скупил её у наезжих, наторговались досыта, а он не скупал... И доhone всё сидит да ждёт, а?

— Ну, а не купит, закапризится, поставит на своём, а? Тогда кому её продашь, а? Да он, слых есть, и торговать-то ей боле не хочет!

— Купит небось... — ответил Иван Николаевич, не изменяя тона, — ку-пи-и-ит! Теперя-то он с непривычки ломается, говорит, что торговать ей не хочет, мужичьих поклонов ждёт, а увидит, что не поддаётся, и купит, и пять рублей положь за пуд — и за пять купит! Неуж ты думаешь, он на ярманку ехал на грош продать, а на два в долг отпустить, а? Не-ет, ему рыба надоть, рыба-а!.. За рыбой он едет, а ярманки-то хоша бы и век для него не бывало. Где возьмёт её теперя, oprичь нас, а? С обских промыслов, что ль? Не-ет, там купцы-то тысячники плавают, почише его, да коли он и купил какие крохи, то уж израсходовал в пост-то, тут масляная над головой, да сызнова пост, расход на рыбу-то, успевай повёртываться, а ему не поторговать — и хлеба не видать, тоже есть хочет, а где, говорю, он возьмёт-то её теперя, oprичь нас, а? Ну-ко? Торговать ей не хочет боле... хе... слушай ты его, он и не то исшо скажет! Коли б он ей торговать не хотел, не надоть была ему рыба, так для чего бы он это меня-то к себе призывал да ульщал всякими дарами, чтобы я цену сбил, а не с его ли голоса и ты говоришь о бунте да казённом ушшербе, а-а-а? А это ты как полагаешь, не казённый ушшерб, что мы с дурности своей в ланские-то годы что ни есть хрушкую-то рыбу по семи да по восьми гривен пуд отдавали ему, а он торговал ей по три с полтиной да по четыре с гривнами пуд, а? Ну-ко, сколь лихвы-то, тряхни-ко ерихметикой-то? Казённый-то ушшерб теперя, на мой ум, будет, коли мы ему по старым-то ценам отдадим, да-а! Разведи-ко умом-то, ведь мы казённые люди-то. Казне-то избытошнее, коли мужики-то в прохладе живут, не жуют хлеба, слезой поливаючи. Вот как мы энтой-то цены попридержимся, так гляди-ко, чего будет?.. Бедность не будет голодать, казённая недоимка не станет расти на ней, как грибы от дождя, тысячами! И тебе-то без горя, ты не будешь

её за казённу-то подать в заработки отправлять, вконец-то зорить её. Бедность-то выправится да сама уплатит её без слёз! А коли мы поддадимся-то ему — и ушшерб казне, не соберёшь её, подати-то, и будет богатому-то разор, а бедности-то одни уж слёзы... только ему нажива! На-а-жива ему, Роман Васильич, на наши-то труды! На неё-то он и брюхо растит. Возьмё-ё-ёт... и последнее возьмёт, как у Кулька да у Вялого, и спасибо не скажет. Вот ты за что Кулька-то да Вялого в разоренье-то отдал, а? А голова-а! Нам бы должен защиту дать, а ты вон какой распорядок-то сделал. Гре-е-х тебе, Роман Васильич, гре-е-х!

Роман Васильевич покраснел и, с смущением разведя руками, хлопнул ими по бёдрам.

— А-а-ах! — произнёс он, качая головой, — не друг ты мне, не друг, Иван Николаич.

— Не та дружья рука, Роман Васильич, что только гладит, а та, что и бьёт подчас — на миру-то говорят! — ответил он. — А рыбу-то он всё-таки купит у нас без ушшерба казне, не сумняйся! — заключил он.

Из толпы во всё время речи его не возвысился ни один голос, изредка только среди невозмутимой тишины проносился лёгкий шёпот или вздох, и затем снова всё замирало. Роман Васильевич задумался, и наконец, покачав головой, с тревогой в голосе произнёс:

— А как не купит, заламается... Тогды-то как?

— А нешто в город-то самим везти пути заказаны, а?

— Это за триста-то вёрст... харчиться да убыточиться! — раздался вдруг голос. — Да исшо кому её продашь там? Тому же Петру Матвееву.

И Роман Васильевич, и Иван Николаевич оглянулись в ту сторону, откуда послышался возвысившийся голос, пробежавший в толпе электрической искрой. Толпа вышла из пассивного состояния, точно разбуженная им, и заколыхалась.

— Спросил бы, на чём исшо другой повезёт-то, — заговорил седой приземистый старик. — У меня вон одна лошадь, да и та исшо по осени копытом в колесо угодила да всё сорвала. И вези-зи-и.

— Сытым-то, Парфён Митрич, и в город путь!

— И-и... Тощему-то брюху только всякая дорога длинна.

— Ты дело говорил, Роман Васильевич, — среди общего беспорядочного говора крикнул высокий сутуловатый крестьянин в оленьей дохе, постепенно проталкиваясь из толпы к решётке. — Завтра ярманка, а спроси, есть ли у кого из крешшоного мира грош за душой... а ведь мы и живём только от ярманки, у нас один раз в год урожай-то на деньги. Гляди-ко, иные-то до нитки обносились, у другой обутки без

подошв, а на что их купить-то. А хоша б подушную таперя... Да что толковать! — заключил он, махнув рукой, — непутную кашу заварили... А в город-то везти — ну-ко, испробуй с пустым-то карманом триста вёрст отмерить, за один корм лошадам душу заложись... да у кого исшо кони-то есть. А там-то жди, когда её по фунтам-то продашь! А гуртом-то кому? Тому же Петру Матвееву, а уж коли он здесь на своём стоит, так уж там, гляди-ко, насолит-то!

— Э-э... семи бабам подолами не выгрести! — прервал его голос из задних рядов.

— А-а-ах-ха-ха-ха-а! — загомонила толпа. — И, ей-Богу, верно... Семи бабам... ну и сло-о-во!

— Верно... а-а-ах как верно. Ты, Иван Николаич, с фортуной мужик, — усиленно возвысив голос, крикнул ему тщедушный старик, барахтаясь в толпе. — И голова мужик!

— Мужик, да ума-то...

— Ума ло-о-хань!

— И за мир он, братцы, стоит, и ей-Богу.

— Сосёнка!.. Взыщи его, Господи!

— А-а-ах, Иван Николаевич, как ты нас объехал, ну-у-у, подъел, не прячь купца. Пошли те Господи фортуны, послушали тебя на свою шею, — чуть не в голос укоряла его расходившаяся толпа.

— Да дай тебе Господи, Роман Васильевич, веку, и тебе, Борис Фёдорович, — то ись пошли вам Господи за науку вашу — за мирское раденье. И продадим мы рыбу с вашего слова по благословению!

И слился этот говор в общий гул, в котором терялась всякая нить хотя какой-нибудь мысли. Иногда ещё ухо могло уловить резко произносившиеся отдельные слова: «харчи», «убытки», «пошли, Господи», «копыто» и т. п.

Роман Васильевич зарделся ярким румянцем от сыпавшихся на него похвал и благословений, и в самодовольном смущении растерялся, не зная, куда смотреть, что говорить. Но Иван Николаевич заметно побледнел. Среди посыпавшихся градом укоров он не проронил в своё оправдание ни одного слова, и только с грустною задумчивостью смотрел на волнующуюся толпу.

— И правду ты, Роман Васильевич, сказал, — произнёс наконец он, качая головой, — пра-авду, общество наше — что скворя! Прости, что пообидел тебя, хотел с дураками пиво варить, да сколь не вали в него хмелю, оно всё солодит, а в солоделом и проку нет!

И, повернувшись, он медленно стал пробираться в толпе к дверям и вышел незамеченным в разгаре бушевавших толков.

* * *

— Пошто же вы это не выдержали, в отпор-то пошли, а? — спросил Пётр Матвеевич пришедших к нему в тот же день крестьян с предложением купить у них рыбу. — А я-то было порадовался за вас: пушшай, думал, поторгуют, поправятся, своим умом поживут!

— Пожили своим-то умом, будет, на-агрелись! — ответил ему Парфён Митрич, тот самый седой старик, у которого ещё по осени лошадь попала копытом в колесо.

— Скоро же надоело вам, нечего сказать, — с иронией заметил ему Пётр Матвеевич.

— Умом-то жить — надоть, чтоб в кармане было, а карман пуст — так не поживё-ёшь! Брюхо-то заставит по чужой пилуле плясать.

— Нешто вы голодны, на брюхо-то жалитесь, а? — спросил он.

— Сыты бы были, не шли бы к тебе с поклоном! Плакать-то да кланяться, Пётр Матвеевич, никому не сладко, слёзы гонят; — говорил Парфён Митревич, стоя впереди всех.

— Рыба первеющая по губернии, а всё мало, всё голодны, всё плачетесь, наро-од же вы!

— Жирна рыбка-то, не по нашему рту!

— Приелась? Ну, оно точно, осетрина-то отбивает! — с иронией ответил он, барабаня пальцами по столу.

— И не пробовали!

— А-а!.. так вы испробуйте, и поглянется. Чем без пути на голод-то жалитесь. Вон Иван Николаев, и видать, мужик с умо-ом. «Я, говорит, сам съем», и, гляди, в тело войдёт! И вам бы, по-моему...

— А-а чтоб ему пусто! — пронеслось вместо ответа в толпе. — Ты и не поминай нам об нём, осерчаем!

— За что б это?

— Подъел он нас, а-а-ах! — всплеснув руками, ответил ему Парфён Митрич. — Не причь татя!

— Иван-то Николаев? — с притворным удивлением спросил Пётр Матвеевич. — Да чем же, мужик-то он ровно обстоятельный, а?

— Неуж ты не слыхал?

— Впервой! — не изменяя себе, ответил Пётр Матвеевич.

— Чудно, как это ты не слыхал? — с недоверием спросил Парфён Митрич, пристально посмотрев на него. — Наговорил-то он нам много, да без пути, — начал он, — не продавай, говорит, своей рыбы нипочём Петру Матвееву, установь свою цену, а на его улещения души не клади. Придёт, говорит, сам придёт и склонит выю!

— Я-то это? — прервал его Пётр Матвеевич.

— Ты... ты нам-то будто, мужикам!

— Гляди ж!.. Хе!.. А вы и послушали?

— Послушали! Опречь нас ему рыбы-то, говорит, негде взять, — продолжал он, — и придёт, придёт, говорит, и поклонится. И куды это девался у нас на ту пору ум-то, а-а-ах ты, братец мой, а? Не диво ли? Ну, и не продавали, стояли на своём. И торговали её у нас — упорствовали, и достояли, друг мой, что у иного таперь вместо прибыли-то слёзы! Вот он чего поделал с нами, провалиться бы ему!

— И не слыхивал! — прервал его Пётр Матвеевич. — Оно точно, я знал, что вы цены-то подняли и стоите на них, да полагаю, что вы сами энто в задор вошли, а чтобы Иван Николаев вас подбил, до меня и слуху не доходило! Так вы всё это время и ждали моих поклонов, а?

— И ждали!

— Не-е-е знал, други, а то зашёл бы, поклонился бы, и ей-Богу. Что ж, шея б не сломалась, — с иронией произнёс он. — Экое горе-то, а?

— Дождались бы не того исшо на свою голову, — снова прервал его Парфён Митрич, — да пошли Бог веку голове да писарю, в разум-то ввели, а то бы, голубь, сел нам Иван-то Николаевич на шею, о-о, сел бы! Твердит одно: беспрерменно купит, и пять рублёв, говорит, положь — и за пять купит.

— А что, други, вправду-то сказать, он, пожалуй, и верно говорил вам, — начал Пётр Матвеевич после непродолжительного раздумья. — Где бы мне, в самом-то деле, купить её, а? Если бы, как в ланские годы, рыба-то мне понадобилась?.. Ведь негде! Я вам и говорю-то это теперя на тот случай, что меня уж это дело не касается. Мне не покупать её, рыбы-то, я и торговать более не хочу ей, и заехал-то будто счёты свети!

Крестьяне, в свою очередь, с недоумением выслушали его, не понимая цели, к которой клонились его слова.

— Не в руку она мне что-то пошла, и-и Бог с ней! Бумажным товаром позаймусь, — продолжал между тем Пётр Матвеевич, с раздумьем барабанив пальцами по столу. — А вам бы, на мой ум, право, не торопиться продавать-то её, постоять бы исшо за свои-то цены. Придёт исшо — не я, так другой кто ни на есть, и поклонится, может, тогда и помянете Ивана-то Николаевича, а и ждать-то много ль? Завтра ярманка, к вечеру, гляди, и в обратный будут собираться.

— Обожди, легко это говорить-то, Пётр Матвейч! — вступился сутуловатый крестьянин, первый поднявший в волости голос против Ивана Николаевича. — Неуж мы, по-своему-то, не смекаем же, что Иван-то Николаевич и прав, пожалуй, да ведь нужна, друг! Ждать-то тогда ладно, когда в

кармане не свербит, а ведь завтра ярманка, а мы ей живём, в неё-то и подушную заплатишь, и обуешься, и оденешься, и всякого запасу прикупишь! Гляди-ко! — И, подняв ногу, он показал ему прорванный бродень. — А ведь их купить надоть, а на чего купишь-то? Спроси, есть ли у кого в миру-то хоша медный грош за душой, а? И продашь, продашь задёшево её, только купи-и, нужда-то не терпит! Иной уж слезми от неё обливается, а у иного, то ись, и хлеба-то нет, как у меня вот, а семья, семья, семья, сизый... Все пить, есть хотят! И у хлеба сидим, не погневим Бога, да хлеб-то энтот не по нас; неуж ты думаешь, и мы бы не поели рыбки-то? Поели б, и как бы ишло поели. От сладкого-то куса никто рот не отворотит, да вот ты съешь-ко её, испробуй, так чем подушную-то справишь? Чем по домашности дыры-то заткнёшь? А много дыр-то, о-ох, много! Успевай только конопатить! Иной бы и в город чего свёз, нашлось бы, по домашности-то, да куды повезёшь-то? Триста-то вёрст отмерить на одной-то животинке — нагреешь ноги, и без пути нагреешь-то их; что и выручишь, всё на прокорм тебе да лошадушке уйдёт, а домой-то сызнава приедешь ни с чем, и проездишь-то немало время, а кто робить без тебя дома-то будет? А ведь домашность тоже не ждёт, иное время час дорог. Вот и суди мужичье-то дело. А ты лучше помоги нам, купи-и, век за тебя богомольщики-то! — заключил он.

— И рад бы, Ермил Васильич, помочь, верю я вам, — ответил ему Пётр Матвеевич, — да, вишь, торговать-то рыбой не хочу боле; в ланские-то годы, сам знаешь, за мной дело не стояло, пе-е-ервой был покупатель-то!

— И, напасть! — прервал его Парфён Митрич, всхлопнув руками по бёдрам. — Да не-ет, это ты балуешь, пужаешь только нас, что не покупаешь рыбы-то, а? — И он посмотрел на него с выражением мучительного беспокойства в лице.

— Не маненькой я, Парфён Митрич, втёмную-то играть! — заметил ему Пётр Матвеевич. — Да что, рази опричь меня некому продать-то её, а-а? — спросил он.

— Было бы кому — и не докучали!

— Эвон сколь народу наехало, да некому, а-а-ах ты, седой статуй!

— Не ахтителный народ-то!

— О-о! Чем же? Народ всё с деньгой!

— В карманах-то не шарили, может, и с деньгой, да мелшники.

— На свал-то не берут?

— Про свою пропорцию купили, одно и поют.

— Ну, это горе! — ответил Пётр Матвеевич.

— Всплачешь!

— Помочь-то вам чем бы? Это, как на грех, ровно я и денег-то с собой не захватил, — говорил он, задумчиво глядя в угол, — право, грех, да у Силантия-то Макарыча вы были? — спросил он.

— Были, не обошли!

— А-а! Он-то чего же говорит?

— Накупился!

— Успел!.. Ну да кулак-мужик, своего не упустит. А вы к Терентию Силину сходите, может, он!..

— Сходи-ко поди! Вза-ашей посулил!

— А-а-ах-ха-ха-а! Да он, ровно, тихий мужик-то?

— Все они тихие... Ходи, говорит, около, а за порог ни-ни. Потому, говорит, ты ломался, так таперя я поломаюсь. Моя льгота!

— Э-эх-хе-хе! Ну-у! А вы к Прокопию Истомину сбегайте, он мужик денежный, и дела у него ноне с рыбой форсисто идут — купит.

Парфён Митрич вместо ответа махнул рукой и, отвернувшись в сторону, почесал в затылке.

— Неуж и у него были? — насмешливо спросил Пётр Матвеевич.

— И-и как, то ись, эких людей земля носит, а-ах ты, братец мой! — вместо ответа произнёс Парфён Митрич, всплеснув руками.

— И у него выходили?

— Выходили! — повторил он, мотнув головой, — в патрет мне плюнул, слышь, да поднял с полу ошмёток валящий. На, утрись, говорит... Слышал ты экое поруганье, а? — спросил он.

Пётр Матвеевич, даже не дослушав его, закатился весёлым, порывистым смехом.

— Ай-ай... дело-то ваше, а? — спросил он, когда смех его стих. — Пожалуй, что своим-то умом и худо жить, а? — спросил он.

— Убытошно, а-а-ах как убытошно! — ответил Парфён Митрич.

— К кому боле и натолкнуть-то вас, не знаю, подождите: ужо вечером-то завтра я в обратный поеду, так поговорю кому ни на есть в городе, может и взыщутся охотники и приедут скупать-то её.

— У-утешил!.. — И Парфён Митрич всхлопнул руками по бёдрам.

В толпе пробежал тяжёлый вздох.

— Поразорись ты, купи её, ведь ты балуешь, что денег-то у тебя нет, — вступился Ермил Васильич. — Не ломайся!

— О вас же радею, а ты мне экое слово выворотил, а? — произнёс Пётр Матвеевич тоном, внезапно изменившимся из шутливового в суровый, бесчувственный.

— С горя-то не услышишь, как и слово-то обронишь, прости, коли в обиду! — извинился он.

— А кто горя-то причинен, ну-ко?

— Не вспоминай, а-ах, будь оно...

— Невзлюбилось... ха-ха-а... Зато своим умом пожили, а?

— Пожили, чтоб его...

— И чать это вы ума-то понабрались, возмечтали о себе, а-а? — презрительно прервал его Пётр Матвеевич,

— Не смейся хошь ты-то, ну-у...

— Я-я, то ись, ни-ни... Я говорю только, любопытно бы, как это возмечтамши-то вышли? То ись таперя, к примеру, сидит бы это мужик, к слову говоря, в рваных броднях, на полушубке швы лыком строчены, и вдруг бы это торгующий, ну хоша бы я, недалеко ходить, в лисьей бы шубе, бобёр на шапке, денег в карманах — что омуля по весне, и мужику-то бы это в ноги. А-а-ах, ха-ха-ха-а!

И, отслонившись к стене, Пётр Матвеевич разразился неудержимым хохотом; взрывы его до того были сильны, что порою походили на истерическое рыдание.

Крестьяне стояли молча, понуриив головы.

— Ну что ж, пришёл я кланяться-то вам, а? — спросил он, отирая с глаз слёзы, набежавшие от нервного хохота.

— Мужичью-то работу кланяться никто на свою спину не возьмёт, Пётр Матвеевич, — тоскливо ответил ему Ермил Васильевич.

— А-а, таперя и смирения накиннули, на другой голос запели, да ведь вы же даве говорили, что поклонов моих ждали, а? Что ж, кто кому выю-то склонить пришёл, а-а? И мужики вы, мужики! — с расстановкой начал он, презрительно качая головой. — С чего вы энто ум-то показывать вздумали, а? Да нешто мужичье это дело — умом-то жить? И почише-то вас кто, так голова от энтакой фантазии прееет, а то мужики, а?.. Чьё дело в назьме рыться, робить без устани, чтобы кормить преизвышенных фортуной? Умом захотели жить, а-а-ах, ха-ха-ха-а! И перед кем же вы вздумали ум-то показывать, ломаться-то, а? Ты вот нищ, ни-ищ, чем ты и выглядишь, так истёртого гроша никто не даст, а я-то кто, а-а?.. Тыщцник... Пойми слово-то: ты-ыщцник! На твоей голове волос столько нет, сколь у меня капиталу, да пошёл бы я кланяться вам, а-а-ах, ха-ха-ха-а! О-о-ох, тошнёхонько! — проговорил он, схватившись за левый бок. — Ну, что ж вы таперя с рыбой-то вашей будете делать, а? — начал он, отдохнув от схватывавших его колик. — Самим есть — брюхо, говоришь, непривышно, неравно, тело нагуля-

ешь, а волостные лозьём сдерут... за подать. Продать некому, ну и что ж ты, а-а? Должен её обратно в воду кинуть?

И, подбоченившись, Пётр Матвеевич впился в них нахально-насмешливым взглядом.

— Гре-ех бы тебе над бедностью-то нашей глумить, Пётр Матвеевич! — со вздохом, покачав головой, ответил ему Ермил Васильевич.

— Над бедностью-то и глуми. Богатый-то завсе сам себе господин, его никто не тронет! Ты вот наживи-ко капиталу, так и тебе всякий за твой ум честь отдаст, и ты будешь вразумлять... Поколь кто беден, так его вводи в чувство-то, в покорность-то, в покорность-то в эту!

— Покорились уж, плачем! Чем ругать-то, ты б слёзы-то наши утё-ёр! — ответил ему Парфён Митрич, в голосе которого действительно слышались слёзы.

— Плакущим-то всем не утрёшь — много их на белом свете слоняется!

— Ну, горше-то мужика...

— И энто слыхивали! — прервал его Пётр Матвеевич. — А ты поновой чего ни на есть скажи, куда вот ты, к примеру, с рыбой-то?

— К тебе одно пристанище!

— А-а... стал быть, спесь-то повылезла, вспомнили, как и у Петра Матвеева дверь открывается, а раньше-то вы и плевать на неё не хотели: что ж я теперь должен с вами-то сделать, а?

— Облагодетельствуй!

— По Писанию, стало быть, добром за зло, а?.. Кланяйся вот в ноги, и облагодетельствую. Мне вот и не надоть вашу-то рыбу, а снизойду и куплю!

— А-а-а-ах, братец, снизойди... Сделл-милость!

— Я нешто с тобой из одной утробы-то? — строго спросил он обмолвившегося Парфёна Митрича.

— К слову, не погневись!

— Ты оглядывай своё-то слово. Я с тобой вот, то ись, и на одну-то половицу не стану! Ты кто есть?

— Хрестьянин!

— А я купец, гильдию ношу... почёт... так могу ль я с тобой равняться-то? Я вот и разговариваю единственно по доброте!

— Пошли тебе Господи!

— Погляжу, как вы укротились духом. Кланяйтесь-ко!

И он горделиво посмотрел на них, вытянув вперёд ноги.

— Поклонимся, братцы, что ж? — обратился Ермил Васильевич к остальным стоявшим за ним крестьянам. — Снисходит к нашей-то нужде, пошли ему Господи.

Все молча замялись с ноги на ногу, кое-кто почесал в затылке, а у иного непроизвольно вырывался тяжёлый вздох.

— А ты как рыбку-то у нас, по какой цене возьмёшь? — неожиданно спросил его Парфён Митрич.

— Ты допрежь себе снисхождение-то вымоли, а не об этом разговаривай: твоей-то рыбы мне и не надоть, я исшо об этом подумую, купить аль нет, слышал ли?

— Ты уж сделл-милость, не обидь.

— Энто уж моё дело, подумую!

— Будь по-божьи друг. Я и спросил-то боле, чтоб, значит, за один поклон обстоять!

— А-а, дважды-то не хошь?

— Прикажешь — и дважды поклонись, ничего не поделаешь. И низко тебе это кланяться-то?

— По щиколку!*

— Поклонись и по щиколку, ничего не поделаешь, — как бы про себя с раздумьем произнёс Парфён Митрич. — А-ах, Иван Николаич, уготовил иго, а всё бы о цене-то, друг! — промолвил он. — Ну да уж поклонимся, братцы, поклонимся! — произнёс он, обратившись к толпе так же, как и Ермил.

Ни один земной владыка так горделиво не принял бы отдаваемых ему почестей, как принял их Пётр Матвеевич от унижающихся бедняков.

— Поняли ль теперь мою-то науку, а? — строго спросил их Пётр Матвеевич после окончания поклонов.

Все замялись и молча робко посматривали друг на друга.

— Как же я теперь должен торговаться-то с вами, ведь вы таперя во-о где сидите у меня все! — произнёс он, показав им сжатый кулак. — Захочу я — и сыты будете, не захочу — и будете помнить, каково с Петром Матвейчем шутки шутить! Три гривны с пуда на свал, а-а? — И, весь избоченившись, он прищурил глаза и, медленно отбивая такт ногой, смотрел, какое впечатление произвела на них речь его.

— Не пужай хошь для Бога-то! — ответил ему Парфён Митрич, заискивающим взглядом смотря на него.

— А не пужаю если, и отдашь?

— Отдашь, а-ах, и разоришься, да отдашь! — согласился он.

— Почувствовали таперя, что я такое?

— Пожалуй, что почувствовали, а-ах, чтоб ему... эфтому Ивану Николаеву. Ну-у, будем помнить, почувствовали! — снова повторил он.

— И помни, я вот и разорить тебя могу, а не зорю... душа есть... я вот тебе полтину даю, снисхождение ли?

* Ступня ноги. — Прим. автора.

— Снисхождение, дай тебе Господи, а всё бы, души-то во спасенье, семь гривенок положить бы надоть, а?

— Рубь не хошь ли?

— Не дашь ведь рубля-то, так только язык точишь, а помолились бы а-ах как! И денно бы и ночью на молитве!

— Ну, молитвы-то энти до другого разу запаси, а ноне и за полтину благодарствуй.

— И за семь бы гривен помолились, и ей-богу. Мало полтины-то, сизый. Дыр-то много, попробуй-ко заткнуть-то их все из полтины, для Бога-то хоша положи семь гривенок...

— Каждому-то для Бога расточать — и кармана не напасём, а мало тебе — я и не навязываюсь. От щедрости Бог ослобонил, ешь её сам! — И, отвернувшись от них, Пётр Матвеевич монотонно забарабанил по столу.

— Не человек ты, однако! — всплеснув руками, произнёс Парфён Митрич.

— Обознался... Самый по образу и подобию...

— Не умолишь тебя никакой слезой...

— И не утруждайся... Не икона! Добр ли я вот, по вашему-то понятию? — спросил он после непродолжительного молчания, искоса поглядывая на них.

— Взыщи тебя, господи! Одно слово.

— Я вот не разоряю, я вот шесть с пятаком надкидываю, довольно ли?

— Не далеко уж до пятачка-то: надбавь, с добродетели-то сжался! — ответил ему Парфён Митрич.

— И всё вы в бесчувствии! Всё мало!

— Нужа, родной, а-ах, нужна! Нашему брату и копейка дорога, не токмо пятак!

— А ко мне, по-твоему, пятаки-то сами в карман плывут, а?

— Сравнял! Твоё дело и наше! Ты купец, куда ни шагнёшь — всё деньги, а наше-то дело: где постоишь, и тут протает!

Пётр Матвеевич снова отвернулся и задумчиво посмотрел в угол.

— Надо бы вас поучить исшо, да уж стих-то прошёл, укротился я! — вскользь заметил он.

— Поучил, чего исшо надоть? Понюхали, чем от сапог-то пахнет! — также заметил ему и Ермил Васильевич.

— То-то, мало, говорю, нюхали-то, надоть бы исшо, в обонянии чтоба было! Ну, дам я вам пятак, надкину, что ж вы-то мне, чем за это оплатите, а?

— В ноги... от мужика одна плата!

— А ты говоришь, пахнет? — с иронией спросил он.

— Понюхаешь и вторительно... Нужа-то заставит!

— И только что понюхаешь, будто боле и ничего, а?

— Господи, да чего ж тебе исшо надоть? Ругал, ругал, исшо мало, ты пожалей, ведь и мы люди! — вмешался Парфён Митрич. — И в нас ведь душа...

— А на будущий год вы сызнава за энти песни, а? Сызнава будете ум показывать? — спросил он.

— Живы ли исшо будем!

— Ну коли жив-то будешь?

— Ум-то показывать? — переспросил Парфён Митрич. — Нет, пожалуй, что не мужичье дело!

— И завсегда это памятуйте!

— Оборони Господи! И без ума мужику горе, а с умом вдвое, особливо учителя-то...

— Не потакают, а-ах-ха-ха-а!.. Ну, так вот за то, что будто я вас уму поучил, дайте-ко мне подписку, что обязуетесь на будущий год продать мне всю вашу рыбу по моим ценам, а?

— Подписку-то? — И, почесав в затылке, Парфён Митрич вопросительно посмотрел на остальных.

— А ты не обидишь? — спросил Ермил Васильевич.

— Какой стих найдёт!

— А-а-а! боязно... Эк-то?

— Ты только будь в покорстве, а от меня... окромя добра... поняли?

— О-ох... оно... что ж, как, други? — обратился он к остальным. — И задаточку дашь? — снова спросил он Петра Матвеевича.

— Снабжу!

— Пошли ему Господи, други, ей-Богу!.. добрый он! — говорил, обратившись к толпе, обрадованный Ермил Васильевич. — Дай тебе Господи! — откликнулись на слова его и остальные, и на истомлённых, за час до того убитых лицах засияла радость.

Щедрую рукою дал им Пётр Матвеевич задаток и часть денег, причитающихся за скупленную на свал рыбу до развеса её. И взяли они задаток, не думая о будущем; да им ли, жившим день за день, было думать о будущем?

В тот же вечер Роман Васильевич утвердил своею печатью составленное условие между Петром Матвеевичем и крестьянами, где были приписаны услужливым Борисом Фёдорычем непонятные для последних слова: «а в случае неустойки или упорства нас, нижепоименованных, волен он, Вежин, искать все свои убытки с нашего имущества, за смертью же или неустойкою кого-либо из нас, он волен искать свои убытки с нас, взаиморучателей».

Когда Мирон Игнатьевич и Семён пришли из балагана к вечернему чаю, Пётр Матвеевич молча подал Мирону Игнатьевичу составленное им условие.

— Учись, Сёмка, у дяди, поколь жив он! — с улыбкой обратился Мирон Игнатьевич к Семёну после прочтения условия. — С энтакрой наукой большие палаты наживёшь... большие!

Лицо Петра Матвеевича дышало горделивым довольством. Лучшей похвалы для него и не могло быть.

* * *

Наступил и день открытия ярмарки. После молебствия на площади и водосвятья раскрылись балаганы, показав сложенные в них богатства. На иных взвились флаги, и густые толпы народа, одетого по-праздничному, рассыпались по рядам. И каких только костюмов не мелькало в этих шумно волнующихся массах: и тёплая без разреза малица*, с такую же шапкой и сапогами — остроумное изобретение остяка, — и белые малки**, узорно вышитые цветною шерстью на спине и на полах, и овчинные тулупы, одетые вверх мехом, и суконные зипуны. Матерчатые, ярких цветов кацавеи на женщинах и шубки, опоясанные алыми кушаками, ещё более разнообразили эту и без того пестреющую всевозможными оттенками картину, обливаемую яркими солнечными лучами. Неумолкаемо нёсшийся говор и хохот, иногда покрываемый резким визгом скрипки или гармоники, звон колокольцев и бубенчиков на лихих тройках, заложенных в розвальни, с гиком носившихся по улицам, хоровые песни катавшихся в них девушек и парней, сливаясь в один общий нестройный гул, напоминали скорее прибой волн о прибрежные скалы, чем человеческую речь.

У балаганов, где шёл оживлённый торг, кипела разнообразная, полная наивного юмора жизнь, того юмора, которым так богата натура русского простолюдина, где вместе с детским мирозерцанием его и незлобивой шутивостью сливается и логический ум, и трезвый опыт, выносимый из многотрадальной жизни. Порою в воздухе быстро мелькал аршин с наматываемым на него ситцем, но расходилась за копейку цена, и торговец с ругательством складывал снова в кусок отмеренный ситец, а покупательница, прищёлкивая орехи, флегматично отговаривалась на укору его: «Поробько с моё, и на копейку оглянесья!». У одного из балаганов пожилой мужичок более часу вытягивал сыромятные ремни наборной сбруи, пробуя упругость их и на колене, и зубом, и, всё ещё не убеждаясь в крепости, на все уверения торговца приговаривал: «На жёрнове, брат, не выдержит!».

* Оленья шуба с двойным мехом — снаружи и внутри. — *Прим. автора.*

** Оленья шуба с одним мехом внутри. — *Прим. автора.*

Из каждого балагана слышался пробный звон колокольчиков, покупаемых под дуги, щёлканье ружейных замков, тупой звон кастрюль, происходящий от стука в днища их, или тонкое дребезжание чайников и чашек, кидаемых торговцами на прилавок в удостоверение прочности их перед покупателями, у которых разбегались глаза на сверкающие перед глазами их товары. Иной и ничего не покупал, а всё-таки теснился у прилавка, примеривая на свою голову различные шапки и шляпы, прицениваясь и к сапогам, и к рукавицам, и ко всему, на что глаза глядели, — и, махнув рукой с видом недовольства, отходил к соседнему балагану, где повторялись те же сцены.

Мирон Игнатьевич терпеливо уверял молодую, довольно красивую женщину в прочности торгуемого ею шерстяного платка.

— Ты, молодка, этот плат-то и в тыщи годов не выносишь! — говорил он, пока она с боязливой нерешительностью мяла его в руках; — нить-то у него во-о-лос, без сумления! Что те, молодчик? — обратился он к подошедшему крестьянину, облокотившемуся на прилавок. — Что, говорю, покупаешь? — снова повторил он.

— Я, брат, струмент выглядываю, да чтой-то нет, ровно, экаго! — ответил он, зорко оглядывая полки.

— Плотничный аль кузнечный струмент-то? — спросил он. — Не сумняйтесь, молодка, то ись за верное говорю... вещь... статья! — обратился он к молодежи. — Какой струмент-то, спрашиваю, званием-то?

— Имя-то его, подь оно к Богу, твердил, твердил... да провались оно...

— Мастерства-то ты какого?

— Столяр! Избы рублю по деревням-то!

— Рубанок?

— Сказал... хе... Этот струмент я ланского года у городского мастера видел, не здешний, он сказывал! Вертит, вертит, да ах ты, братец, ну и струмент!

— Напарье, коль вертит!

— О-о! Напарье! Этот струмент... слово... имя-то вот, подь оно, и твердил!

— Что ценой-то? — прервала его молодка, ощупавшая и тщательно осмотревшая платок со всех сторон к свету.

— Без лихвы, красавица, полтора рубля! Самую свою цену и, ей-Богу, себе дороже: уж так единственно за прелесть твою!

— О-отступись, за экой-то плат?

— Без износа, лебёдка, по-о гроб жизни, и деткам впридачу!

— Восемь гривен! — произнесла она.

Мирон Игнатьевич молча сложил платок и, не обращая внимания, отложил его в сторону.

— Видом-то, говорю, каков струмент-то? — снова обратился он к крестьянину.

— То ись как бы это тебе, братец, как шило, говорю, и с такими это фигурами, а-ах ты, чёрт возьми, и в кою сторону ты им не верни, всё фигура, — объяснил он.

— Продаёшь, что ль? — прервала его молодница, всё ещё продолжавшая стоять в раздумье.

— Дёшево покупаешь, только домой не носишь! — ответил он. — Хошь купить, вот те рубль тридцать — последнее слово!

— И-и, так шило, говоришь?

— Шило, шило, совсем шило!

— Нету этого!

— И вижу, что нет! Не видать, как ни приглядываю, а струмент, как ни изловчись им, — всё фигура!..

— А-а, фигура?

— Фигура, фигура, друг! И выдумали же, говорю, а? А что бы, к примеру, ты за экой самовар с меня спросил? — указав на среднего формата самовар, стоявший на окраине полки, спросил он.

— Десять рублёв!

— Цена же!

— А ты как полагал?

— Ну да, оно, известно, всякому своё! Струмент-то вот этот, братец, а? И твердил званье-то его, лопнуть... и... уж без уступочки за самовар-то?

— Гривну для почину!

— А-а! Ну, да что говорить, одно слово — вешшь. Дочку я замуж сооружаю, вот дело-то!

— За кого?

— Вдовый мужик-то, братец, и да вот, поди ты, не пьющий, нет энтого баловства-то за ним! Ну, так бабы-то говорят, вишь, самовар надоть да перину, а я-то, признаться, боле за струментом!

— У тебя деньги-то есть ли? — выслушав его, неожиданно спросил Мирон Игнатьевич.

— Деньги-то? А на что бы это тебе?

— Любопытно бы!

— Не полагай... Мы ноне с деньгой!

— То-то, коли ты для одного разговору, так отваливай, и без тебя много шляющих-то! И ты, молодка, тож не затеняла бы свету, не по нраву цена, ну и подь в другое место, вернее будет.

Мужичок, сооружающий замуж дочь, конфузливо почесал в затылке, бесцельно посмотрел в сторону.

— Сторони-ись! — крикнул, оттолкнув их от прилавка, крестьянин средних лет, в новом зипуне, с заломленной на затылок шапкой; в лице его сияло самое весёлое довольство. — Видал ты столько денег, а-а? — обратился он к Миرونу Игнатьевичу, развернув руку и показывая ему скомканный в ней пучок ассигнаций. — Много?

— Не считал, — отвечал он.

Вслед за ним из-за угла быстро вывернулась молодая красивая женщина и, подхватив его под руку, с силой оттащила от прилавка. Повернувшись к Миرونу Игнатьевичу, увлекаемый, среди общего хохота сидельцев и толпившихся у балаганов крестьян, только кивнул ему головою и крикнул: «Знай!».

— Ай, баба! А-ах-ха-ха-а! Как она его! — прыснул седой как лунь старик в поношенной малке и, всплеснув руками, даже присел от удовольствия. — Ну-у, а что, купец, у вас в городах-то есть экие бабы? — наивно обратился он к Миرونу Игнатьевичу.

— Худой-то посуды везде много! — ответил тот.

— И ей-Богу! А-ах, как ты верно это, ну и купец! Давай мне за энто обутики, утрафил ты мне энтим словом-то.

— По зубам дать, помягче, аль пофорсистей, кожаные, с подбором? — спросил он.

— Свистун у меня, люби его Бог, ноготь экой, в палец растёт! — пояснил он.

— И с ногтём ишо, а-ах ты, старый! Гляди-ко!

— С ногтём! А ты как бы думал? — говорил он, ощупывая поданные ему Мироном Игнатвичем кошомные валенки. — А жидковаты ровно? — спросил он.

— Внучаты доносят, — не ты!

— А робят-то, то ись, не было, вот, друг, болезнь какая! — пожаловался он.

— Что ж так обштрафился, а?

— И радел, сердцем радел, — не было! — с тоскою в голосе ответил он.

— Помочь бы сделал!

— А-а, на ложе-то это? — с удивлением спросил он.

— Худую-то полосу ведь завсегда помощью вспахивают, и был бы с урожаем без горя, не догадался, старый, а? — насмешливо спросил Мирон Игнатвич.

— Строго-ой я... о-о!

— А-а-а!

— На энти дела... у меня баба в струне.

— А старый, говоришь, а?

— Не диви... хе!.. старый... Ты, к примеру, что за обутки вот возьмишь, а? Мотри только, с меня дешевле бери, старенькой я, убогой!

— Со старенького-то и взять надо дороже! Старому человеку на что деньги; молодому, ну-у, будто девки блазнят, можно спуск дать, а тебе нешто в гроб нести! Ну, да бери уж за семь гривен, что тебя обидеть... И без того Бог убил!

— О-ох, убил! Верно! А всё гривенку сбрось за Божью-то обиду, а?

— Гривенку-то эту чья рука пообидела, та и пошлёт!

— Не пошлёт!

— Угневил, значит, свечу!

— На свечу-то и выторговываю, снизойди.

— На свечу ли, мотри, старый? Норовишь-то одному Богу, а не поставь другому, туда вон, под ельник, а? — спросил он. — Ну, да бери уж за шесть, что с тебя!

Старик, кряхтя, достал ситцевый кисет, истрёпанный временем, как и сам он, и, вынув из него пригоршню медных денег, долго пересчитывал их, внимательно осматривая подслеповатыми глазами каждую монету к свету.

— Все! — произнёс наконец он, кладя их на прилавок. — Надоть бы вот исшо пятачок с тебя уторговать... ну... будто на слово боек, владай им! — И, махнув рукой, он отошёл, бережно укладывая кисет за пазуху.

Крестьянин, торговавший самовар, всё время стоял за углом балагана, пережидая ухода старика, и едва тот отвернулся от прилавка, он снова подошёл и облокотился на него.

— Более гривенки уступочки с самовара-то не будет, а? — мягким, заискивающим голосом спросил он. — Я бы за восемь-то рублёв не постоял!

— И я не постою, коли деньги покажешь! — отвечал ему Мирон Игнатьевич.

— Рази первой разговору деньги-то кажут, а?

— Не иначе... потому с покойной совестью будем язык трепать,

— Покажу, не сумняйся!

— Ну... ну... покажи.

— Заведенья-то вот нет, чтобы наперво, значит, казать-то их. Може, мы и ценой не выговорим!

— Не отниму, твоё при тебе будет! Сойдёмся — ладно, не сойдёмся — прощенья просим, напредки порога не обивай!

— Нехорошо энто, купец, неуж я бы, к примеру, без денег пошёл, а?

— Секунд показать-то, долго ль?

— Обида!

— Никакой, похвала скорей, исшо мужик и на шапке запла-
ты, и полушубок дыра на дыре; а денежный, энто по-хвала-
а-а!

— Непорядок! — тем же обидчивым тоном ответил он, отодвигаясь от прилавка и избегая глазами насмешливого взгляда, каким провожал его Мирон Игнатъевич.

Пока Мирон Игнатъевич хозяйничал в балагане, на широком дворе занимаемой Петром Матвеевичем квартиры подряжённые для доставки рыбы возчики из ближних к Тобольску деревень складывали и упаковывали её под наблюдением Семёна в розвальни и пошевни. Более десяти возов были готовы к отправке. И сам Пётр Матвеевич, одетый по дорожному, хлопотал на дворе с Авдеем около повозки, приготавливаясь к дальнейшему объезду деревень по Иртышу и Оби. В то время как Авдей запрягал лошадей, он укладывал в повозку дорожные вещи, упаковывая их в сено.

В это время во двор вошли Кулёк и Вялый.

— Зачем бы пожаловали?.. — насмешливо спросил он, увидя их.

— К твоей милости! — ответил Кулёк, стоя перед ним без шапки. В наружности Кулька заметно было, что он похудел и как будто съёжился.

— Что ж бы это от моей милости требовалось?

— Снабди нас деньжонками, снизойди: у всех людей праздник, только у нас будни, будь ты по-душевному! Ты ж разорил-то нас, гляди, у всех взял рыбу-то по семи гривен, за что ж нас-то по шести рассчитал? Ведь рыба-то у всех одна, из одной реки-то!

— Ты старый-то долг весь мне отдал? — спросил его Пётр Матвеич.

— По твоему-то счёту исшо в недоимке!

— А по вашему-то как, а?

— По нашему-то весь бы!

— Так ты наперво донеси мне по моему счёту, а потом уж я погляжу, как вам добавить по вашему!.. — сухо ответил он.

— Ро-одной, сделл... ты милость!

— С которого боку я те родной-то, а? Ро-одной, а-ах-ха-а! Ты помнишь ли, как ругался-то надо мной, а? Аль это по родству-то? Зачем же таперя к человеку, у которого, по-твоему, честь хуже бабьего подола, кланяться-то пришёл, а?

Вместо ответа Кулёк только понурил голову.

— Отведал, каково-то, а? Теперь умоли-ко.

— Тебе ничаво, что мы плачем-то, не молитва.

— Поёшь ли ты, плачешь ли, мне это всё единственно... тьфу! — произнёс он, сплюнув на сторону. — Сёмка! — крикнул он, — неси-ко, подь, подушку да погребец!

Семён быстро побежал в горницу.

— От кого ж мы плачем-то, от тебя же! — угрюмо ответил ему Кулёк.

— Эвтакого тирана я б за версту обошёл, а ты ко мне же идёшь, а?

— И обошёл бы, коли б не мужа.

— А-а... мужа-то только гонит... ну, так поголодай, испробуй, а я те не кормилец!

В эту минуту мимо растворённых ворот неожиданно прошёл Иван Николаевич. Увидя на дворе Петра Матвеевича и Кулёка, стоявшего перед ним без шапки, он остановился.

— Ноне и вдосталь заспесивился, ну-у, и шапки не гнёшь? — насмешливо крикнул ему Пётр Матвеевич, загребая в сено, в изголовье повозки, принесённый Семёном погребец.

— Не видать никого именитых-то! — ответил он, входя во двор, — а то снял бы!

— А помнится, и мне снимал, а?

— За честь чесью всегда расплачиваются!

— Стало быть, я должен почин-то сделать, снять-то её, а?

— А для ча и не снять бы? Не свыше нашего брата; что в лисьей-то шубе — так ведь энтю, Пётр Матвейч, дело-то переходчивое: сегодня в шубе, а завтра в той же дерюге — не узнано!

— А ты, ровно, Иван Николаич, покруглей выглядишь: и ей-богу, чать, рыбку почал? — с насмешкой спросил Пётр Матвеевич, не обратив внимания на замечание своего противника.

— Пробую.

— И-и скусная, а?

— Отменная: ты б и язык сглонул!

— Ну, давай, давай Бог! Проглони-ко лучше свой по спопутью — востё-ёр больно!

— Пригодится ко времю: пошто глотать!.. я и прикусывать-то его исшо не учился! — совершенно спокойно ответил Иван Николаевич.

— А что, к слову спрошу, по чьим ценам я ноне рыбку-то купил — слышал, поди? — спросил Пётр Матвеевич, насмешливо посмотрев на него.

Иван Николаевич молча сложил на груди руки. Никакой тени неудовольствия не пробежало на открытом лице его от колкого замечания Петра Матвеевича.

— И около ног-то моих чем пахнет, тоже, чать, сказывали тебе, а? — снова спросил Пётр Матвеевич.

— Сказывали, а тебе и любо?

— А-ах-ха-ха-а! С дураков-то этаким манером я и сбиваю спесь-то, понял ли? — гордо осмотрев его, спросил он.

— Понял! — тем же спокойным тоном отвечал тот. — Только растолкуй ты мне, кто из вас дураком-то выглядывал: ты ли, как поклоны-то отбирал, аль мужики?

И Кулёк, и Авдей, и Семён, слышавшие ответ Ивана Николаевича, заметили, как кровь прилила к лицу Петра Матвеевича и сузившиеся глаза его сверкнули недобрым светом.

— Неуж тебе честь, что ты над нищими-то наломался? — продолжал между тем Иван Николаевич. — Молчал бы ты, купец, а не похвалялся! Дураками ты их зовёшь, да ведь их нужда дурачит-то, а ты бы спросил у добрых людей, умней ли ты?..

— Ужо дать рази гривну за дерюжный-то урок! — отмахнув полу лисьей шубы и запустив руку в карман, с иронией произнёс Пётр Матвеевич, но заметно было, что в иронии его скорее проглядывало смущение, чем насмешка.

— Побереги для себя: придёт неравно час, и сам за грошом руку протянешь — сгодится! А вот лучше не обидь Кулька-то с Вялым — ведь ты ж их разорил!

— Что за ходатель ты выискался, а? — крикнул не выдержавший наконец Пётр Матвеевич. — Ты зачем ко мне пришёл, кто тебя звал-то?

— Я без зову, поглядеть только, на сколько ты подрост от мужичьих-то поклонов.

— Уйди, говорю, слышь, не мозоль моих глаз!

— Опомнись: двор-то не твой!

— Уйди от греха! — И, плюнув с сердцем в сторону, Пётр Матвеевич выскочил из повозки, в которой стоял, и спешно ушёл в горницу, но до ушей его всё-таки долетел смех, каким проводил его Иван Николаевич.

После полудня ярмарка достигла своего крайнего развития. Всё чаще и чаще по улицам села встречались крестьяне с нетвёрдою поступью; иной успел потерять и купленную шапку, и рукавицы. Кое-кто прилаживался и на покой у брёвен, накатанных у заборов. С выставок, открытых на время ярмарки, давно слетели холщовые пологи, и самые шесты с прибитыми на них ёлками покачнулись от напора теснившегося народа. Шумней и разгульней становилось ярмарочное веселье, бойчее на слово громкая речь. Порой, как вихрь, неслась по рядам толпа гуляк, с музыкантом впереди, снимая и отбрасывая в сторону всё попадавшееся навстречу, и резкая, разноголосая песня их заглушала и хохот провожающих её крестьян, и визг смятых и сшибленных с ног женщин. И далеко за полночь бродил ещё по селу разгулявшийся люд, забыв своё горе и нужды, во всех избах виднелись огни, со всех перекрёстков неслись неумолкающие песни.

Но с закатом солнца один за другим стали закрываться балаганы, и при свете фонарей в них снова пошла деятельная упаковка товара. И в этот короткий промежуток времени наезжающие торговцы выручают довольно значительные суммы, которые дают им возможность открывать впоследствии обширные магазины в городах и считаться «первостатейными».

ЁЖ

Рассказ

Ненастный октябрьский день близился к вечеру. Ливший в продолжение нескольких дней дождь размыл глинистый грунт долины, пролегавшей в горах, заросших лесом. Безымянная речка, мелкая в другие времена года, на которой расположился с деревянными пристройками Г-ий прииск, бурливо вздулась от притока впадавших в неё с гор ручьёв и грозила вырваться из плоских берегов и затопить прилегающие к ней низменности. Ветер выл в горах, нанося в долину тучи поблёлых листьев; мгlistый туман спускался на высокие верхи гор, заволакивая вершины громоздящихся на них сосен и елей и словно цепляясь за сучья их, когда, прорывая на минуту густую сеть его, ветер разносил его в пространстве разорванными клочьями. Подобная картина осени, неразлучно соединённая с холодом и сыростью, невольно щемит душу и манит скорее вырваться из негостеприимной в это время года тайги*. Приисковая администрация и рабочие равно спешат покинуть её.

С утра в этот день работы были прекращены, и часть рабочих употреблена была на разборку золотопромывательной машины; другие сдавали инструменты, которые вместе с частями разобранной машины складывались в сараи. Хлебобёки несколько дней с утра и до ночи сушили сухари для продовольствия рабочих на обратный путь. Приказчики приисковой конторы и материальные, заведующие вещевыми и продовольственными цейхгаузами, занимались сведением счетов. Рабочие тоже, в свою очередь, высчитывали, сколько придётся получить им из заработной платы на руки. На изнурённых лицах их написано и сомнение в правильности ожидающего их расчёта, неизбежно возбуждаемое в них каждый раз многолетним опытом, и радость отдыха со всеми наслаждениями, предстоящими при выходе из тайги в населённые пункты. Радость эта понятна только людям, знакомым с бытом особо выработавшегося в Сибири класса «таёжников», как называет народ приисковых рабочих, на которых тяжёлый труд и полная лишений жизнь кладёт своеобразный отпечаток.

* Горы, заросшие лесом. Тайгой называют в Сибири и местности, в которых расположены золотые прииски. — *Прим. автора.*

Крестьянин, попавший рабочим на прииски, иногда в течение многих лет бывает поставлен в невозможность вырваться из этой среды и возвратиться к домашним занятиям благодаря тем условиям, какими обставлено его положение. Обыкновенно с ноября месяца и по апрель от золотопромышленников разъезжают по деревням и сёлам Томской и по округам смежных с ней губерний приказчики, заведующие наёмкою рабочих. По заключении контракта при найме и засвидетельствовании его в волостном правлении рабочий получает задаток от 50 до 60 р., который иногда всецело идёт на уплату причитающихся с него податей и недоимок, так как только эта необходимость, за неимением других заработков, и вынуждает большинство крестьян бросать своё хозяйство и идти на прииски. Получение билета рабочему благодаря притязаниям волостных писарей никогда не обходится дешевле 6 или 8 р., и затем из полученного задатка у него нередко не остаётся ни копейки. Он уходит, оставляя свою семью кормиться или милостыней, или ничтожною подённою работой. В контракт вносятся, со стороны рабочего, условия платы, всегда колеблющейся от 80 к. до 1 р. и иногда 1 р. 20 к. с кубической сажени земляной работы, за исключением «старательских» дней, то есть праздников. За праздничную работу каждый получает отдельный расчёт, смотря по количеству добытого золота. Со стороны нанимателя в контракт вносится обязательство продовольствовать рабочего во всё время пребывания его на прииске «доброкачественною» пищею и снабжать продовольствием на обратный путь с приисков по окончании работ.

В последних числах марта или в начале апреля, по наступлении оттепели, рабочие сходятся из мест своего жительства на крайние населённые пункты, из которых идёт дорога в тайгу. На этих пунктах их ожидают приказчики, которые по заключении контрактов отбирают у рабочих билеты. По мере сбора рабочих они группируются в партии и отправляются приказчиками на прииски. По прибытии на прииски рабочие по степени сил и навыка разбиваются на группы сообразно с характером приисковых работ. Одни из них снимают турф, то есть верхний слой земли, всегда почти покрывающий на 1 $\frac{1}{2}$ аршина золотоносный пласт, и отвозят снимаемую землю тачками в отвал. Другие в это время разрабатывают очищаемую золотоносную залежь, сваливая песок и кварц в телеги, поднимая их лошадьми по особо устроенным деревянным откосам на верх золотопромывательной машины, или «фабрики», как называют её рабочие. Иногда для успеха работ требуется отводить русла горных речек, и в этих случаях удваивается трудность работ. Часто самая промывка

золота производится в довольно глубоких, вырываемых в земле, шахтах, причём редко принимаются предохранительные меры, и благодаря этой скупости рабочие часто платятся жизнью, погибая в обвалах. Немногим счастливым выпадает на долю лёгкий труд конюхов, наблюдающих за приисковыми рабочими лошадьми и упряжью и занимающихся только отвозкой нагружаемых песком телег на машину. Конюхи отпращивают и обязанности ликторов относительно провинившихся рабочих, причём употребляют не одни розги, но и палки. Остальные обрекаются на труд, начинающийся с 3 часов утра, с коротким промежутком для обеда, и продолжающийся до 9 часов вечера.

Нигде так не развита система закабаления рабочего, как на приисках, где за весь свой летний тяжкий труд работник выносит в очистку лишь несколько рублей, а нередко и копеек. На прииски всегда идёт самый горький бедняк. Из заработка он не доносит до прииска и гроша, и почти всегда всю дорогу до прииска питается милостыней. На прииск он приходит оборванный, часто не имея рубахи на теле. А как много тут представляется ему соблазна! С какой предупредительностью предлагают ему взять из приискового вещевого цейхгауза и полушубок, и сапоги или бродни, и рубах, и чего только душа ни пожелает. Какой же человек откажется от удовольствия иметь тёплое новое платье, чистую рубаху, бродни или сапоги на ногах, из которых не сквозят пальцы и в которых ноги не чувствуют ни холода, ни сырости? И рабочий берёт, побуждаемый не прихотью, а необходимостью.

Вещевые приисковые цейхгаузы наполняются обыкновенно вещами, идущими в брак у городских торговцев, и скупаются гуртом золотопромышленниками за половинную цену. Эти-то вещи и сбываются рабочим по ценам до невероятности высоким. Например, хорошие бродни в городской лавке стоят 1 р. 20 к.; залежалые и непригодные по своей непрочности к употреблению, они обходятся золотоприискателю в гуртовой покупке от 50 до 60 к. пара. Подобная же пара бродней, взятая рабочим, ставится ему в счёт в 2 р. и 2 р. 50 к. Хороший полушубок рабочий мог бы приобрести в другом месте от 12 до 15 р., а взятый в приисковом магазине, весьма плохого качества, он обходится ему не менее 25 р. И так во всём остальном. При этом нужно сказать, что ввоз товаров на прииски посторонним торговцам, которые могли бы возбудить выгодную для рабочих конкуренцию, строго воспрещён, и потому волей-неволей рабочий должен брать из приискового магазина дорогие и непрочные вещи, которые он неизбежно сменит два-три раза в лето. Далее: рабочему полагается от хозяина по праздничным и воскресным

дням чарка водки, которую он всегда аккуратно и получает. Но кому же не понятно, что ежедневно изнуряемому 17-часовой непрерывной работой рабочему праздничной чарки недостаточно — и вот он пьёт чарку ежедневно, такую чарку, в которую вмещается вина не более двух обыкновенных рюмок. Каждая такая чарка ставится ему в счёт от 30 до 50 к., а иногда и просто по таким ценам, какие Бог на душу положит*. Возьмёт рабочий золотник чая из фунта стоимостью в 60 к. (то есть $\frac{5}{8}$ к. за золотник). Фунт сахару, стоящий в Сибири 50 к., обходится приисковому рабочему в 1 р. и более. Спрашивается, много ли вынесет он из своей заработной платы при окончательном расчёте? Прямой интерес каждого хозяина приисков, старающегося заручиться рабочими и на будущее время, заключается именно в закабалении их всевозможными путями. Следовательно, чем более будет всяких приписок, начётов и недоразумений, тем скорее достигается его цель. Благодаря подобной системе рабочий остаётся или ни при чём, или с такою цифрою рублей, с которой ему не дойти и до дома, если б не выручала милостыня. А дома его ждёт голодающая семья и совершенно павшее хозяйство, а на будущий год снова нужно платить подати. Что же остаётся делать, как не взять новый задаток и таким образом продолжать до тех пор, пока его не сломит на этих же приисках тиф.

Гигиенические условия, в которых находится приисковый рабочий, неминуемо приводят его к болезням. Пища, которую он получает во всё время пребывания на прииске от хозяина, заключается из одной солонины, вопреки тексту контракта доброкачественности весьма подозрительной. Достаточно ли может вознаграждать потери в организме, вызываемые 17-часовою работою, жиденький навар от солонины с кислой капустой и крупами, с ржаными сухарями, и только по праздникам со свежесдобытым хлебом? Прямым последствием подобного питания являются цинга, скорбут и тиф, особенно же последний, часто свирепствующий на приисках. К развитию тифа и ревматизмов много способствуют и условия работы среди постоянной сырости и холода. Сырость преследует рабочего и в тесных бараках, сколоченных из досок, где каждый из них спит на соломе, настланной на землю.

Немногие из приисков, принадлежащие крупно-зажиточным компаниям, отличаются большим удобством в помещении рабочих и даже содержат больницы и лекарей, остальные ограничиваются полуграмотными фельдшерами при самом скудном каталоге медикаментов; да и что может

* Бывают примеры, что рабочие платят и по 2 р. за чарку, если почему-нибудь приостанавливается отпуск им вина. — *Прим. автора.*

сделать даже знающий фельдшер и хорошие медикаменты при тех условиях, в каких находится больной? Заболевшие рабочие лежат в тех же бараках, как и здоровые, то есть в холоду и сырости, при той же заражённой атмосфере от преющей грязной одежды, от дыма махорки и при той же пище из солонины. На каждом прииске найдётся много могил, где обрели последний приют бесследно прожитые жизни. Вероятно, нелегка совокупность этих условий, к тому же соединённых с строгой дисциплиной (за каждый проступок назначается телесное наказание), что, несмотря на всю выносливость русского простолюдина, они вызывают в рабочих побег и сопряжённое с ними голодное скитальчество по лесам и острог после поимки.

От людей, служивших в приисковой администрации, много можно услышать рассказов о характерных облавах, которые устраиваются в лесах для поимки бежавших рабочих, о дикой, остервенённой охоте на людей, не вынесших гнёта приисковых порядков. И часто бывает, что рабочий, избежавший поимки, так и пропадает без вести, сделавшись жертвой голода или зверя.

Всмотревшись в оборванные толпы «таёжников», выходящих в начале сентября с работ, в их изнурённые, исхудалые лица, наблюдатель по внешнему виду их прочтёт горькую повесть страданий, выносимых этим людом. Он прочтёт и всю меру злобы, развиваемой в них жизнью и людьми, и понятен станет ему тип этого оборванного, наголодавшегося человека и тот дикий разгул, с каким он пропивает кровью добытые деньги, забывая о семье, о доме и о хозяйстве. Что ему семья, дом и хозяйство, когда всё его существо надломлено, когда для него нет просвета в будущем?

Точно блудящие огоньки, замелькали при наступлении сумерек фонари, при свете которых заканчивались дневные занятия. Тусклый отблеск огней мелькал и из окон длинного ряда бараков, сколоченных из сосновых досок, с конусообразными кровлями для стока дождевой воды. В них кипела самая разнообразная деятельность. Каждый рабочий, готовясь к длинному пути, чинил рваный полушубок или зипун; кто прикреплял отпавшую подошву сапога или отвалившееся голенище бродня; иной штопал давно провалившийся верх фуражки или приделывал ремни к мешку под свой не обильный вещами скарб. Были и такие, что, наносив в корыта воды, выстирывали, примешивая к ней берёзовой золы за неимением мыла, заношенные рубахи или онучи, чтобы по выходе в населённые пункты выглядеть почище. Все с утра успели запастись ржаными сухарями и вяленой говядиной для продовольствия во время пути, и бережно уложенная в

котомки провизия висела по стенам или на небольших протянутых жёрдочках.

Говор и смех не умолкали. Иные сводили между собой счёт проигранным деньгам в «юрдон» и «трынку»; кто рассказывал для общего удовольствия длинные истории походов, какими богата жизнь каждого таёжника. Иногда где-нибудь в углу затягивалась длинная, заунывная песня, в другое бы время подхваченная десятками сильных, звучных голосов, но теперь бесследно замиравшая в общей суматохе. Прикреплённые к стенам жировики лили тускло-багровый свет на чёрные, загорелые лица рабочих, копошившихся в этой душной атмосфере, наполненной миазмами и едким дымом махорки.

В одной из групп, расположившейся у жировика в переднем углу барака, на низком деревянном обрубке сидел, починивая бродни, человек средних лет, в засаленной ситцевой рубахе и в жилете. Протянутые на сбитый из глины пол босые ноги обращали на себя внимание уродливостью пальцев и мускулистой толщиной их. Такою же мускулистостью отличались и руки с засученными у плеч рукавами рубахи, то плотно сжимавшие бродень при прокалывании его шилом, то с силою стягивающие ремень, которым он прикреплял вместо дратвы отпавшее закаблучье. Время от времени он взбрасывал падавшие на глаза длинные волосы, открывая красивое овальное лицо, поражавшее правильностью линий. На углах сжатых губ, обрамлённых тёмно-русскими усами и клинообразной бородкой, мелькала улыбка; тонко очерченные широкие ноздри постоянно вздувались как бы от внутреннего подавленного смеха. Но особенную оригинальность придавало наружности его выражение больших чёрных глаз, которые то вспыхивали и светились и что-то резкое, вызывающее, дерзко-насмешливое дышало в эти минуты в каждой черте его, то вдруг потухали, точно уходили куда-то вовнутрь, и вместе с тем самое лицо принимало безжизненный отпечаток.

Данила Филиппыч Карпов, известный более в Т... тайге под названием «Ежа», появился на приисках юношей, и с тех пор не расставался с ними. Тяжесть работ и условий приисковой жизни преждевременно избородила лицо его морщинами и усыпала сединами тёмно-русые вьющиеся волосы; но преждевременно состарившая жизнь способствовала в то же время развитию природного ума, находчивости и не поддающейся препятствиям энергии. На каждом прииске он умел приобретать в среде рабочих любовь и доверие к себе, не порождавшие ни в ком зависти, как это часто бывает между людьми. Много таилось в натуре его кипучей страстности,

которая, помимо воли, обаятельно действует на людей и подчиняет влиянию подобных натур. Эта присущая ему сила сказывалась во всём, даже в мелочах.

На приисках, например, всегда немало найдётся песенников с сильными развитыми голосами, пользующихся обширной славой. Уступая им, Ёж всё-таки умел петь так, что каждая нота его хватала слушателя за сердце, и в её безыскусственных звуках выливался весь человек с душой страстной, любящей и детски доверчивой. Мастер он был и на бойкое слово, и на прибаутку. Иногда что-то наивное, детское проглядывало в этом сильном человеке, но в то же время он — ребёнок — не позволял никому наступать себе на ногу, и люди, физически вдвое более сильные, нередко робели перед ним. Простые, самобытные натуры тем сильны, что в них нет выдержанной хладнокровной рассчитанности, с какою большинство людей относится к своим ближним. Они всегда и во всём искренни, смело глядят в глаза каждому и не задумываются перед опасностями, руководимые сознанием своей правоты. Это своего рода фанатики, смешные и непонятные для людей, выросших в правилах, усвоенных образованными сословиями. Там, где другие смиряются, подчиняясь необходимости или падая духом, они вооружаются всею силою своей страстной души, находят цель жизни в борьбе, не радуясь при торжестве и выказывая геройскую стойкость, когда сами становятся жертвами её. Таков был и Ёж. Он не любил, как и большинство людей с сильным, сосредоточенным характером, вдаваться в рассказы о себе и о своих подвигах, но самое название «Ежа», данное ему таёжниками, метко характеризовало нравственный склад его и деятельность. Он не покинул ни одного прииска, не оставив по себе рассказа между рабочими, где бы энергичная фигура его не являлась протестующей против произвола и насилия.

Не обошлось у него без столкновения и с администрацией Г-о прииска. В числе рабочих был один старик, называемый «Рубцом» за шрам, рассекавший левую щёку и губы. Это было ветхое существо, доживавшее на приисках свою страдальческую жизнь и превращённое временем в идиота. Силы постоянно изменяли ему, и труд, лёгкий для других, для него становился тяжестью. Но, как покорное животное, привычное к работе, напрягая силы стащить грузный воз, наконец падает, так нередко падал и Рубец от непосильного для его лет напряжения. И как в тусклых глазах животного появляется в эти минуты выражение, молящее о помощи и пощаде, — такое же выражение принимали в подобных случаях и глаза всегда молчаливого Рубца. Он был жалок; молодёжь смеялась над ним, он покорно улыбался в ответ на насмешки

и шутки их. Однажды Рубца, работавшего в разрезе вместе с Ежом, надсмотрщик ударил по голове за какую-то сделанную им ошибку. Удар был так силён, что Рубец упал. Остальные рабочие, привыкшие к этим сценам, не обратили на неё внимания; но не то было с Ежом. Помогши Рубцу подняться на ноги, он тихо спросил надсмотрщика: «Кого ты бьёшь? Есть ли в тебе душа... одумайся!..». Немногих слов этих было достаточно, чтобы надсмотрщик накинулся и на непрошеного заступника. Но едва он ударил Ежа, как в виду всех рабочих покатился кубарем. С налитыми кровью глазами, с лицом, искажённым бешенством, Ёж убил бы надсмотрщика, если бы вовремя не отняли его рабочие. «Задеру, задеру насмерть!» — кричал управляющий, приказав привести к себе Ежа, когда ему доложили о поступке его. Но, вероятно, и по фигуре пришедшего к нему Ежа, и по тону, каким он произнёс: «Дери! я здесь!» — управляющий понял, с кем имеет дело, и молча ушёл в свой дом. В тот же день Ежа перевели в дальний разрез на тяжкую работу, куда обыкновенно посылали только опальных рабочих. «Ну-у, несдобровать Ежу!» — шёпотом говорили между собой рабочие, зная, что управляющий не из тех, которые прощают обиды...

Но возвращаясь к началу рассказа. Закрепив один бродень, Ёж продолжал ту же работу над другим, изредка поправляя светильню чадившего жировика и прислушиваясь к шедшему около него разговору.

— Жиру мужику нагуливать и свыше дозволения нет! — произнёс весьма пожилой рабочий, с большою лысиной на широкой голове и, высучив на голом колене толстую нитку вдвое, вдел её к свету в иглу и обвёл слушателей лукаво-насмешливым взглядом. — Жир мужику — баловство, на то об тебе и пекутся, чтоб ты не вырос свыше меры, а вырастешь — ну и обрывают с того конца, где у нашего брата ума боле. Ты вот погляди на скотину: поколь у ней рёбра напиказ — смирна, а нагуляла жиру за лето — отколь и прыть возьмётся! Так и мужичье дело. Дай-ко бы мужику завсе сытым быть... и-и неспособился бы! Что около сытого коня, то и около сытого мужика, други, ходи с оглядкой — бры-ы-ыкнёт! Сытого-то мужика в узкий хомут не впряжешь!

— Нешто, Фрол Иваныч, мужиков-то впрягают? — прервал его молодой парень с худой, впалой грудью, сидевший поодаль от всех.

— Мужик-то, почитай, чище другой лошади на вожже-то ходит!

— Впервой слышу!

— А тоже лезешь с людьми разговаривать! Э-эх, Анчут, Анчут! Голова-то с овин, да в овине-то клин! Знай же, что про-

меж тобой и скотиной та разница: на скотину хомут силой надевают, а ты в него сам лезешь да ещё потуже затягиваешься! И хомут этот — невидимка, простому человеку даже не в примету! А что, к слову спросить, Данила Филиппыч, — обратившись к Ежу, спросил он, — никак, у нас ноне с тобой до последней петли затянуто?

— Тугонько! — ответил Ёж, взбросив волосы и открыв лицо, с которого не сходило весёлое настроение.

— Много, по-твоему, денег-то придёт?

— Не выговоришь...

— О-о! Выходит кругло ж, а?

— И кошеля экого не знаю, где подобрать, куда б скла-а-асть!

Фрол Иваныч вместо ответа хихикнул как-то в себя и мотнул головой.

— Ноне, Фрол Иваныч, в плесе не защеголяем, — продолжал Ёж, — у всех тугонько!

— Не пораспустить ли, а?

— Боятся!

— Не натёрло ещё, выходит?

— У иного и перетёрло, да, вишь, трахтуют, кабы волдырь не сплыл: уж больно садко!

— Не раскачались, — погоди!

— Не-е-ет, Данилушка! Видал, чего былиночка-то боится? Не дождя, не грозы, не холодной росы, а острой косы!

— Фрол Иваныч! — вступился грубый голос, заглушивший собой и говор, и смех. — А ты слыхал ли, косы-то бояться, и билью б не расти! Да вот растёт же?

— Слыхал я это, Панфилушка, а вот ты-то слыхал ли: зёрнышко-то на мякине держится, да через мякину и кормится, а всё как нардеет, так мякину же к земле клонит, а не мякина его... отгани-ко вот...

— И прибауток же... ах ты, братец мой... и где это он наковырял их!

— Наковыряешь... как шестьдесят-то семь годков Богу и великому государю отслужишь. Много я видывал, други! Видывал, как и зерно мякину гнуло, а колоски с корешком вырывало! Не видал одного только, да и не увижу, чтоб мякина зерно пригнула. И всё, други, скажу: ровно прежний-то народ покрепче был, а нонешний что-то жидковат!

— На худой пашне, дядя, и хлеб неиздашен, — заметил кто-то из окружающих.

— Э-э-эх!.. одна бы пашня-то и уход-то один бы, да уж так... На крупный народ неурожай пошёл, куда ни погляди... Ах, да же говорить-то...

— Аль устал?..

— Устанешь. Язык-то мозолить надоело, и он, что брус, стирается.

— Стало быть, худой брус, коли стирается. Добрую-то брусьину не скоро сотрёшь.

— Сотрёшь и добрую!.. Ржавое железо всякий брус портит, верь!

— Памфил Карпыч, ты с ним не спорь! Загадки пойдёт метать, хошь тын городи! И кто это, дядя Фрол, тебя учил им?

— Учил-то меня один бы с вами учитель, да, вишь, не всем, погляжу, эта грамота далась...

— Я, дядюшка, первый неграмотный, ты меня в своё слово не путай!..

— Ты, Анчутушка, и сам в своём слове запутаешься.

Общий взрыв хохота прервал Фрола Иваныча, даже сам Анчутка захохотал и закашлялся, схватившись рукою за грудь. Между тем около Фрола Иваныча понемногу стали группироваться и остальные рабочие.

— Ох, горе да нужда, голод да стужа всему, други, научат,— продолжал Фрол Иваныч,— только не всякой смышлён из этой грамоты-то выходит!

— Обшлифовала тебя, Фрол Иваныч, наука-то! должно, с неё у тебя и голова, што пузырь, гола!.. — слышалось из среды столпившегося кружка.

Большинство рабочих давно уже покинуло свои занятия и стеснилось около словоохотливого Фрола Иваныча.

— А ты, Данилушка, штой-то плотно броденьки-то чинишь?.. Аль путь-то далёк, а? — с лукавой улыбкой спросил он Ежа.

— Моё, Фрол Иваныч, дело такое: не знаешь, где ляжешь, не чувствуешь, где встанешь! Хочу ноне своим неводом рыбу ловить.

— Закидывай, Данилушка, мутное озеро-то, — улов будет, а я на пята!..

— Становись, дядя Фрол, старый ум молодому заручка. Хошь пуху не добудем, да перья отстоим. Что ж, братцы, пойдёт кто в полавки к моему неводу, а? — взбросив волосы и весело посмотрев на окружающих, спросил он.

Фрол Иваныч, низко наклонившись над работой, чтоб скрыть выступившую на лице усмешку, быстро замотал в воздухе иглой.

— А глыбко ты будешь закидывать-то, Данила Филиппыч?..

— Рыба-то поверху не плавает, а по дну! — с улыбкой ответил он.

— С нашего брата пух щиплют — не спрашивают, больно аль нет; так и нам — закидывать, так уж во всю мерёжу!.. — произнёс из толпы пожилой старик.

Кто знаком с русским простолюдином, тот, вероятно, замечал, с какой иногда изумительной лёгкостью возбуждается он. Одного едкого намёка, острого слова бывает достаточно, чтоб пред ним выяснилась истина, до тех пор и не зарождавшаяся в уме его. Но благодаря этой лёгкости возбуждения он и действует без определённого плана. При всём запасе энергии, в которой нельзя ему отказать, у него недостаёт твёрдости выдержать до конца в предпринятом деле. Так и теперь, затаённая дума каждого нашла верный отголосок в общем ропоте неудовольствия, всё более и более возвышавшемся в среде рабочих.

— Не совсем же ржаво железо-то, Фрол Иваныч, а? — окликнул, подмигнув на гудевшую толпу, молодой парень с курчавыми светлыми, как лён, волосами. — Точил, точил да и на-точил-ил!

Вместо ответа Фрол Иваныч, также усмехнувшись как-то вовнутрь, молча наклонился над своею работой. Фрол Иваныч, как и Ёж, пользовался большим авторитетом в среде рабочих. В грубых, но крайне подвижных чертах его лица выражалось много ума и самого наивного добродушия. Небольшие серые глаза в старческих покрасневших веках, окружённые сложною сетью точно иглою проведённых морщин, казалось, не могли выражать иного чувства, кроме смеха, но смеха, никого не оскорбляющего. Это был человек того типа людей, жизнь которых всегда составляет противоречие с выводами, какие они способны делать благодаря своей наблюдательности. Они всегда бескорыстны вследствие своей безграничной доброты и, несмотря на весь свой опыт, на все уроки жизни, всегда доверчивы к людям. Никто не способен к такой самоотверженной дружбе, как они, и никто не способен в то же время сделать так много зла — при всей своей доброте и незлобivosti, — как они, под увлечением охватившего их чувства. Податливость их натуры способствует уживчивости во всякой среде, при всяких обстоятельствах. Они иногда пользуются значительным влиянием на окружающих, и в то же время никто более, как они, не нуждается в посторонней поддержке, в подчинении влиянию людей, часто стоящих далеко ниже их по своим нравственным качествам, но имеющих более устойчивый характер.

Между Фролом Иванычем и Ежом, несмотря на противоположность их характеров, существовали самые тёплые, дружеские отношения. Подобная дружба, не охлаждающаяся ни при каких обстоятельствах, часто встречается в быту народа. У простолюдина нет ничего заветного для любимого человека. Хозяйство их взаимно открыто для пользования друг у друга. Они без спросу берут лошадей, вещи, если встречается

в них надобность, берегут в случае отлучек оставляемое на их попечение хозяйство с большей заботливостью, чем собственное. Обмануть друга, выдать его в несчастии считается преступлением, для характеристики которого нет и слова.

— Раскачало, Данилушка, мякину-то, быть дождю с градом! — с иронией произнёс Фрол Иванович, обратившись к Ежу. — Устояла б только!

— Устоит!

На следующий день во флигеле, примыкавшем к главному зданию прииска и квартире управляющего, с вывеской на дверях «Контора», с утра густою массою теснились рабочие. Комната, занимаемая конторою, была обширна. В одном углу её, огороженном плотною решёткою, сидел главный конторщик, молодой человек с длинными белокурыми волосами. Двое помощников и человека три конюхов окружали его. Несмотря на бессонную ночь, проведённую за сведением расчётов, и конторщик, и помощники его были в весёлом расположении духа: для них, как и для рабочих, окончание утомительного приискового сезона и выезд на зиму в города — самое весёлое время. В среде рабочих шёл оживлённый говор и смех. Несмотря на то что дверь была раскрыта настежь и осеннее утро, наступившее после ненастной ночи, было морозно, в комнате царствовала невыносимая духота. У небольшой дверцы, около решётки, стоял конюх, отворяя её для пропуска за решётку вызываемых в алфавитном порядке рабочих. Расчёт их не представляет продолжительной процедуры. Рабочий получает на руки билет, хранящийся в конторе, и при нём счёт, в котором выписывается всё забранное им, с цифрой стоимости каждой вещи или продукта. Во избежание тесноты рассчитанного рабочего выпускали из конторы в противоположную дверь, также охраняемую конюхом. В то время как в задних рядах рабочих слышался смех и говор, в передних, жавшихся у решётки, наблюдалось молчание. Каждый из рабочих зорко следил за всеми действиями конторщика и особенно за одним из помощников его, сидевшим по правую сторону стола, около высоких стопок ассигнаций и медных и серебряных монет.

— Николая Митрича с зимним деньком, что с горячим блинком! — произнёс вдруг протеснившийся к решётке молодой парень с бойким, выразительным лицом, вытянувшись во фронт перед решёткой.

Выходка эта была встречена общим прокатившимся в толпе смехом; конторщик поднял голову и улыбнулся:

— Ты всё с шуточками, не унялся ещё!

— Мяли, Николай Митрич, да отстали; из неспорой глины, сказывают, горшка не обожжёшь! Не томите душ-то в

отпущении грехов! — заключил он, кивнув головой на рабочих.

— Абрамов! Егор Абрамов!.. — произнёс конторщик, глядя на толпу.

К решётке протеснился молодой, неуклюжий на вид парень.

— Иди, растопырявай карманы-то! — сострил конюх, заворачивая за ним решётку.

— Тридцать два рубля восемьдесят три копейки! — подавая ему билет, счёт и деньги, произнёс конторщик.

Молча приняв деньги, Абрамов медленно пересчитал их и, немного подумавши, с расстановкой повторил:

— Так энто тридцать-то два рубля всего? Ловко!

Гул смеха был ответом ему.

— Ловко... ай, ай! — снова повторил он, по-видимому, не придя ещё в себя от поразившей его цифры. — Энто за какие ж бы провины обшарпали-то?

— Тебе дан счёт, и считай, — ответил тот, не глядя на него.

— Считай! Ты мне словом скажи. Я вот ещё неграмотный!

— Акимов!.. — вместо ответа выкликнул конторщик.

Толпа снова заколыхалась, давая дорогу хромоногому старику с худым, морщинистым лицом, обросшим клочками волос вместо бороды. Войдя за решётку, он перекрестился два раза в передний угол и поклонился конторщику.

— Шестьдесят восемь рублей! — подавая деньги, также вместе с билетом и счётом, сказал конторщик.

— Что ж, ответь мне что ни на есть! — снова обратился к нему Абрамов.

— Что ж тебе ответить-то?..

— За что обшарпали-то меня! По моему-то счёту, боле ста рублёв надоть на руки бы!

— Сосчитал же! — с усмешкой обратился к конторщику сидевший около него помощник.

— А ты думал, что мужик, так и счёту не знаю, — прервал его Абрамов, весь вспыхнув и встряхнув волосами. — Нет, я, брат, ещё тебя научу!

В это время и старик, пересчитав деньги, засмеялся и робко произнёс:

— Маловато бы и мне-то, ровно!

— Чего ты ждёшь ещё? — нахмутив брови, спросил конторщик, обращаясь к Абрамову. — Тебя рассчитали!

— Нет!

— Как нет, ведь ты деньги получил?

— Додачи жду! Мне следует сто рублей, а кинул, что собаке кость, и рассчитал! Нет, ноне у нас у самих головы-то не в обручах, ты вот и языком шевельнуть не хошь, за што обшар-

пал, даёшь и спрашиваешь, чего мне надоть! Я знаю, чего мне надоть, мне мои деньги подай!

— Да ты пьян, верно? — с удивлением произнёс конторщик.

— Студёной воды два ковша выпил, точно! А ты, почтенный, не напоивши, не кори! Пьян! С обману-то вашего охмелеешь!

— Ты забылся? Где ты стоишь?

— Места не продавлю, не бойся!

— Выведите его! — весь покраснев, обратился конторщик к конюхам.

— Энто вместо расчёта-то! Нет, я ещё не пойду, ты мне наперво подай моё кровное, да тогда уж гони! Слышь, братцы, выводить хотят! — обратился Абрамов к толпе, среди которой царило глубокое молчание.

— Егорка! Подь лучше без греха! — вступился один из конюхов, неохотно придвигаясь к нему.

— Мне моё подай, тогда и сам уйду, а ты не подходи!.. И, ей-Богу, не подходи, коли скула цела!

Но не прошло и минуты, как с криком: «Братцы, что ж это, ограбили, да и гонят!» — он вылетел за дверь конторы и, присев на земляную завалину, заплакал, уткнув голову в руки, забыв и о шапке, выпавшей из рук его при борьбе с конюхом и выброшенной далеко от двери в грязь.

Что-то неясное пробежало в толпе, и вслед за тем снова наступила тишина.

— А ты чего ждёшь? — спросил конторщик не то усталым, не то взволнованным голосом рассчитанного старика. — Ведь деньги получил?

— Получил, получил, дай тебе Бог! Только, говорю, мало-вато бы, ровно... ну, да уж коли что... так чего говорить... гоняете! А-а-ах! — и, сжав счёт и деньги в руках, он направился к той двери, откуда был выпровожен Абрамов.

Вызванный вслед за ним по порядку высокий, сутуловатый рабочий молча всунул полученный билет за пазуху, пересчитал деньги и, размотав верёвку, прикреплявшую к ноге голенище бродня, заложил за него деньги и угрюмо спросил конторщика:

— Всё?

— Всё!.. — ответил тот, вопросительно посмотрев на него.

— Видать, густо месили, да хлебать нечего! — задумчиво произнёс он. — Неуж и всё тут? — снова спросил он. — В эфтакой-то препорции обсчитывать нашего брата, на мой мужицкий ум, — грабёж.

— Выражайся полегче, любезный! — предостерёг его конторщик, весь покраснев.

— В другом месте можешь говорить что угодно, а здесь будь вежлив!

— Слово-то не обух, не бьёт! И у берёзки слёзки текут, когда с неё лыко дерут, — не токмо наше дело! Заговоришь, как в три-то скребла огребают! А-а-ах, правда! Без пути пустырями по свету бродишь, только к людям не заглядываешь! Дай вам Господи чужие крохи есть, не давиться; людской слезой, что солёной водой, не напиться. Экая совесть-то у людей, братцы! — обратился он к толпе. — Почесть, третьей доли не дали того, что доводится, а-а!..

— Выведите его! — обратился к конюхам начинавший выходить из терпения конторщик.

— Доколь же это, братцы, глумиться-то над нами будут?

— Иди, иди, Вавило, нечего! — произнёс один из конюхов, беря его под руку.

Толпа заколыхалась, и к решётке выступил Ёж.

— Иди, Вавило! — произнёс он среди невозмутимого молчания. — А ты, ваше почтение, кликни нам управляющего! — обратился он к конторщику. — Мы с ним поговорить хотим!

— О чём это? — спросил его смутившийся конторщик. — Если что нужно, говорите, я передам.

— В чужую кашу, ваше почтение, свою ложку не суй... Мы её и своими расхлебаем!..

— Ты кто такой, чей прозываешься?..

— Карпов, а завсе-то Ежом зовусь.

Конторщик молча переглянулся с своими помощниками, лица которых, как и его собственное, выражали полное недоумение. Переглянулись между собой и конюхи, поняв, что затевается что-то недоброе и что роль их чуть ли не окончена. Подумав немного и снова посмотрев на толпу, в среде которой хранилось мёртвое молчание — признак твёрдо принятого решения, — конторщик встал и, собрав документы и деньги, сложил их в стол, запер его и вышел из конторы.

При редком расчёте приисковых рабочих не возникает между ними неудовольствия на неправильную оценку труда, на высокие цифры, проставляемые за забранные ими товары и продукты. Подобные натяжки при расчётах с рабочими встречаются не только у тех золотопромышленников, дела которых идут плохо и с году на год грозят падением, но и при хорошей организации хозяйства, при благодарном вознаграждении произведённых затрат. Гнёт этот всегда идёт через руки управляющих приисками, которым вверяется распорядление работами и вся административная деятельность на правах самостоятельных лиц. Чем больше управляющий соблюдает интересы своего хозяина, тем более гарантирует

прочность своего положения, всегда завидного благодаря хорошему содержанию и полному материальному обеспечению.

Василий Никитич Кудряшов, управляющий Г-м прииском, находившимся в ведении конкурса, учреждённого над делами одной из золотопромышленных компаний, не пользовался хорошей репутацией не только между рабочими, но и у других служащих. Человек он был пожилой, с значительной проседью в коротко остриженных волосах и окладистой бородке, пользовавшийся завидным здоровьем благодаря постоянной физической деятельности. Подобострастный и хитро вкрадчивый с высшими, он не знал границ произволу с людьми, зависящими от него.

Как все коренастые, полнокровные люди, он был вспыльчив до иступления, причём хриплый голос его сипел, глаза наливались кровью, и горе было не только рабочим, но и конторщикам и надсмотрщикам, подвергавшимся в эти минуты припадкам его гнева. Он рассыпал удары направо и налево, не разбирая ни правых, ни виновных, и считал не только ненужным, но неприличным для своего звания извиняться перед невинно пострадавшими, когда выяснялось дело. Рабочие, окрестив его названием «Крутолобый», боялись его. За Василием Никитичем было много дел, которые другому бы не прошли безнаказанно, но, находясь более чем в интимных отношениях с председателем конкурса и имея репутацию хорошего управляющего, он пользовался неограниченным доверием и заступничеством в случае возникающих жалоб.

Одна неопытность или необходимость отработать забранное гнала рабочих на Г-ий прииск. Василий Никитич никогда не присутствовал при расчётах, предоставляя выносить ропот неудовольствия и нареканий конторщику. Сидя теперь в комфортабельно убранной комнате, стены которой вместо обоев были увешаны коврами, он сверял приисковые шнуровые книги и черновой отчёт о приходе и расходе сумм за летний сезон. Переданное ему желание рабочих видеть его и говорить с ним неприятно подействовало на него. Откинувшись на высокую спинку кресла, он побагровел; глаза его сузились, и большой палец правой руки быстро завертелся около рта. Василий Никитич понял, зачем рабочие желают видеть его и о чём будут говорить с ним. Не сказав ни слова конторщику, он встал, надел вместо халата бешмет, опушённый беличьим мехом, и, опустив в карман небольшой шестиствольный револьвер, постоянно заряженный и всегда лежавший у его постели, вышел в сопровождении конторщика.

При входе в контору он зачерпнул из ушата, стоявшего у двери, воды в небольшой жестяной ковш и, выпив несколько

глотков, отёр рот и усы рукавом бешмета и взялся за дверную скобу. Но прежде чем отворил дверь, пасмурное лицо его, способное повиноваться воле своего хозяина, приняло совершенно иное выражение. Морщины на лбу разгладились, сжатый рот раздвинулся в улыбку; только глаза совершенно скрылись, чуть прорезываясь из сдвинувшихся век, да яркий румянец выдавал ещё следы недавнего волнения. Василий Никитич, как и все недаром прожившие на свете люди, умел владеть собой и подавлять свой гнев, прикрывая его улыбкой там, где требовали того обстоятельства.

— Здравствуйте, голуби, здравствуйте! — улыбаясь и потирая руки, приветствовал он молчавшую толпу. И, смутившись, не получая ответа от неё, быстро заговорил:

— Ну вот, слава Богу, и работы покончили, по домам теперь, на покой к бабам... то-то с голодухи-то, поди, а-а... ха-ха! — сострил он, подходя к решётке. — Ну что, голуби, обо мне соскучились, а? Спасибо за память!..

— Мы, ваше почтение, всё помним! — ответил ему Ёж, глаза которого заискрились и лицо приняло свойственное ему одушевлённое выражение. — Только вы-то нас забыли!

— Как же это, чем же я-то забыл вас? Ба-ба-ба... да ты, никак, знаком ещё мне! — вместо улыбки неприятно скривив рот, спросил он, пристально всматриваясь в него.

— Видались за лето-то!

— Помню, помню, как бишь тебя?..

— Ёж, ваше почтение! — подсказал он смело, в упор глядя на него.

— Да, да, да!.. Кто ж это тебя окрестил-то так, а?.. Ёж... этого имени и в святцах нет... ха, ха, ха!.. Не поп ведь, поди, а?..

— Никак нет-с... а уж так, по шерсти и кличку мир даёт!

— О-о! Да ты говорок!

— Таёжные дорожки всякую шину вгладь оботрут, ваше почтение!

— Говоро-ок!.. — протянул Василий Никитич, чувствуя своё неловкое положение и не зная, с чего начать своё щекотливое объяснение с рабочими. — Так что, бишь... зачем вам меня-то, а?.. — спросил вдруг он, обратившись к толпе.

— Обкроили уж больно, Василий Никитич, покровки-то у вашего суконца широки, нельзя ли поуже, слё-озно мир просят! — ответил ему Ёж.

— То есть что же это? Я не понимаю!

— Расчёты-то ваши-с на вид-то гладки-с, да на ощупь шаршавы, пожалуй, и карманы протрут!

— А-а... да, да! Понимаю! Значит, по вашим покровкам расчёт-то пригнать? — шутливо спросил он.

— Обоюдное бы дело! Мы для вас радели, а вы об нас!..

— Сколько кто хочет, столько и дать, а? Так, что ли? — снова спросил он.

— Обрадовали бы...

— Знаю, знаю!.. И сам знаю, молодцы, — обратился он к толпе, — что обрадовал бы вас, да не моя воля... Не я хозяин, вы наших дел не знаете! Я ведь и сам понимаю, что если ты... ну как бишь тебя, Ёж, что ли?

— Ёж... так точно-с!

— Ну, ты, например, взял бродни из цейхгауза... они стоят рубль...

— По ихним качествам, Василь Никитич, вся им цена — тьфу!

— А знаешь ли, что по справедливости-то я должен бы ставить их в счёт три рубля. Мне так и конкурс приказывает, а я ставлю их в два, — на свой счёт рубль принимаю, чтоб только вас не обидеть! Так сколько же таких-то рублей у меня из кармана выходит?

— Не наше дело хозяйский расчёт вести! — послышалось из толпы.

— У хозяев и карман-то, Василь Никитич, толще вековой сосны: есть из чего и к нашему брату снизить!.. — серьёзно произнёс Ёж.

— У них тыщи, — снова заговорили в толпе, — а у нас крохи; у них лишнюю тыщу потрясти — горе берёт, а у нас последнюю кроху отбирают!

— Сказано, что к ихней совести правда, что к сухой лопате песок, не пристанет! Вот ты бы, Василь Никитич, сам поробил, так проведал бы, каково оно! И ты бы заговорил, как у тебя стали бы твоё-то добро обкраивать!

— Это кто там говорит? Покажись-ка сюда!.. — произнёс, побагровев, Кудряшов.

— Кто бы ни говорил там, а ты знай слушай да мотай на ус!

Нижняя губа Василия Никитича дрогнула, рука, сжавшаяся в кулак, упёрлась в решётку, как бы ища опоры.

— Оно точно, Василь Никитич, — снова вступился Ёж, — по вашим словам, хозяевам расход большой, только, на мой бы ум, за плёвые вещи им бы и убытчиться не след, и мужиков бы не зорить. Ланского году торгующий завёз было сюда товары, так ваша же милость приказали его выпроводить, а он не в пример дешевле брал! Тогда бы, значит, и нам бы льгота, и хозяину без разоренья! — с иронией заключил он, смотря на смущённое неожиданным аргументом его лицо Василия Никитича. — Вот он, зипунчик-то, за лето-то, изволите видеть, окромя как на невод, никуда не пригож, а тоже пятнадцать рубликов поставили, а ему и вся-то цена с лихвой бы пять!

— Зачем же брал, если он дурен и дорог? Ведь не навяливали силой?

— Оно точно! Да ведь хоша народ мы и тёплый, а всё своя-то овчина не греет... Холодно — и плачешь, да берёшь.

— А согрелся, так и хозяйский зипун показался дорог и худ?

— Да от него согреву-то немного видали, Василь Никитич. Только слава, што на плечах зипун, а всё более из своей же каменки пару в кулаки поддавали. Так уж будьте по-божески, не обидьте сирот, спустите ценки-то! Лишняя сотенка хозяйского кармана не натрудит, а бедному человеку помога. Ноне же на золотце-то урожай Бог послал, а хозяевам-то заручка через наши же ручки плывёт!.. У путного хозяина, Василь Никитич, сказывают, и скотина хвораает, так уход видит; а ведь мы тоже божье творенье, уж снизойдите, не вычитайте хворых-то дней из платы! Навек ведь мы богомольцы за вас!

— Прежде чем говорить-то бы всё это, ребята, да бунт-то затевать, спросили бы, могу ли я ещё спустить цены-то? Разве моё добро, разве я хозяин ему? Кого спросят, какое я имел право самовольно распорядиться чужим добром, вас или меня, а?..

— Известно, вас, это точно-с!..

— А-а-а!.. А что же я должен буду ответить на это?..

— Не мне бы вашу милость учить, да уж коли приказываете, поперёк воли начальства не пойдём! Ответьте, ваше почтение, что я, мол, не скариотский Ирод, и у меня, мол, душа есть! Э-э-эх, ваше почтение, Василь Никитич! Привёл бы вам Бог на наших-то кормах денёчек побыть, так поосунулись бы, румянчик-то с личика — что девичья притирка — к ночи бы пооблез! От одного битья-то вашего не одна спинка погодку чует. Много православных за нонешнее лето вынесло на них зарубочек на память о вашем раденье и добродетели к нам! Вот Иван-то Малый совсем без ног, неси его теперь, как молоденца малого, в дом-то! Придёт, что к пустому срубу, ни поесть, ни погреться! А вы и тут вычли все дни! Господи, да неуж к человеку у вас и жалости-то нету! Что ж, значит, и последний час кого настигнет — и тут иди робь! За мужика, ваше почтение, некому стоять; у него нет защитников, всякий только и норовит из его же овчинки шубку сшить, — так уж вы, ваше почтение, в свою-то речь хозяев не путайте. Мы тоже люди бывалые. Родились-то хоша и дураками, а знаем, что вы тут хозяин, в вашей воле всё! Так уж рассчитайте вы нас по-божески, а без этого мы ноне и миром положили обратной дорожки в лесу не прокладывать!

— А-ай, Ё-ож, важно! И ей-Богу, правда!.. — пронеслось в колыхавшейся толпе всё время, когда говорил он.

Положение Кудряшова было более чем жалко: он то бледнел, то краснел, но всё-таки настолько владел собой, что сохранил весёлое выражение в лице.

— Молодец, Ёж! Молодец!.. Теперь вижу, что недаром тебя окрестили так, — шутливо ответил он наконец, фамильярно потрепав Ежа по плечу через разделяющую их решётку.

— Он у нас парень — голой рукой не хватай, ваше почтение! — со смехом откликнулись в толпе.

— А задали вы мне, ребята, задачу! Как и быть-то с вами? — задумчиво произнёс Кудряшов. — Ну, я спущу цену, облегчу вас, — а что же хозяева на это скажут? Да у меня ещё, молодцы, и денег-то не хватит!

— Неуж обнищали, ваше почтение?..

— В обрез, милые! Ведь нам хозяева-то присылают — не разгуляешься, а дай Бог у нитки с ниткой концы сплесть!

— Свои потревожьте; хозяева вашу милость не обочтут! — с иронией ответил Ёж.

— Свои!.. А ты считал в моём-то кармане?

— Мы, ваше почтение, и в своих-то отвыкли высчитывать, так уж нам ли чужой мерить, глубокаль мелок?

— И спроси прежде, ещё есть ли своё-то?

— Полагать бы надоть...

— Почему-ж... ну-ко?

— По приметам бы...

— Каким? Что на лбу написаны?

— По нашей, по мужичьей примете мы судим. На нашу сметку, ваше почтение, коли у человека денег нет, так он и ростом ровно пониже выглядит, и с лица будто темней! А человек с деньгой, не во гнев вашей милости, и белей, и румяней... И усмешка на алых устах, и живот, как у вашей же милости!

— Ну, так вот что, молодцы, слушайте, — обратился к толпе управляющий.

Толпа стихла и сдвинулась к решётке, надавив на передние ряды.

— Так и быть, исполню вашу просьбу, спущу вам по рублю... довольны ли?..

— Обрадовал, ха-ха-ха... ну-у! — прокатилось в толпе. — На помин по душе хватит!

— Ну, по сколько же, наконец?

— Самонастоящую хозяйскую ценку прикиньте, будьте милостивы! А рублик-то мы уж на расходы жертвуем, будто как хозяйские убытки прикрыть...

— Не мелко же ты забрёл, любезный!

— В глыбком месте более простору, ваше почтение, по крайности, есть где поплавать, ручки, ножки расправить.

— Не могу! — решительно ответил управляющий.

— Ва-аше почтение!

— И не просите, не могу! Что можно сделать, то сделаю по совести. А больше не просите!

— Ах, ваше почтение, на всё бы власть ваша, да уж коли вы не можете — что ж, и мы своё слово колышками подопрём!

— Слово... какое слово?

— Обратной дорожки в лесу не протаптывать!

— Силой хотите принудить, что ли?

— Силой-то и детёныш у матки молока не выпросит, а всё более лаской, ваше почтение! Мы с доброго слова просим!

— Вы одумайтесь, чего вы просите!.. — прервал его взволнованным голосом Василий Никитич.

— Одумайся-ко ты, ваше почтение! — выдвинувшись к решётке, произнёс Фрол Иваныч. — Наша-то дума надумана!

По лицу Василия Никитича внезапно пробежало весёлое настроение. Он широко улыбнулся, раскрыл глаза, в которых просвечивалась лукавая насмешка.

— Ну что ж... ребята, как же, а? Хозяйские цены взять, что ли, а?.. — весело спросил вдруг он. — А?.. обрадовать...

— Истинно, ваша милость! То ись ах как обрадуете!

— А надброс-то ваш братъ, а? — заигрывающим голосом продолжал он.

— Рублик-то-с?

— Ха... ха... ну, ну, что делать! — обратился он к конторщику. — Уважим им, Николай Дмитрич! На будущий год, может быть, и они нам за это горы разгребут! Так, молодцы, что ль?

— Озолотим!.. — почти в голос ответила толпа.

Более прозорливому наблюдателю невольно бы бросились в глаза и внезапная беспричинная весёлость, неподдельно выразившаяся в лице Василия Никитича, и уступчивость этого человека, за минуту ещё упорно стоявшего на своём. Всё это неминуемо породило бы сомнение в справедливости его слов. Но не таков был стоявший перед ним простодушный, доверчивый народ, принимавший всякое слово за чистую монету. Только конторщик догадался, что Василь Никитич задумал что-то, да в уме Ежа мелькнуло недоверие.

— Значит, ваше почтение, по хозяйским ценам рассчитаете нас? — спросил он.

— Ведь я сказал! Что ж ещё?

— И у больных не вычтете? — тем же тоном спросил он, пытливо и недоверчиво смотря в глаза его.

— Я, братец, не привык обманывать! Понимаешь?

— Пошли вам Господи!.. Простите, что пообидели...

— Вот это дело! Наговорить-то, ребята, вы много наговорили мне. Особенно вот ты, братец, напел! — обратился он

к Ежу. — Не злопамятен я, всегда готов для человека добро сделать!..

— Простите, коли лишнее что сгрубил, ваше почтение!..

— Я добрый, ребята!

— Ужо уж при получке похвалим, ваше почтение!..

— Ну, получку-то, молодцы, вам всё-таки подождать нужно. Ведь вас сто пятьдесят человек, переделать-то все расчёты не легко; дня три-четыре нужно. А теперь за то, что поладили делом, — так и быть, уж распорядись, Николай Дмитрич, выдать им по чарке водки!

И заликовал прииск после поднесённой чарки водки, зашумел в бараках говор, полились и весёлые песни, и не было счёта благословениям и похвалам из простодушных уст добродетельному Василию Никитичу, который через час после этой сцены послал донесение о бунте рабочих с надёжным верховым конюхом горному исправнику, резиденция которого находилась в 80 верстах от этого прииска.

Через двое суток на прииск прискакал исправник в сопровождении конвоя казаков. Следствие о беспорядках было непродолжительно. Главные зачинщики: Ёж, Фрол Иваныч и Памфил Карпыч были отправлены в Т... острог, остальные под конвоем препровождены обычным порядком.

Не прошло и полугода, как Фрол Иваныч и Памфил Карпыч, оставленные по приговору судебного места в подозрении, были выпущены из острога без всяких последствий. Старик Фрол не покинул Ежа до самого решения дела. Пропитываясь милостыней, он оделял его деньгами и утешал тёплым словом. Ежедневно, во всякую погоду, можно было встретить его идущим в острог или со связкой крендельков в руках, или с булкой и с туеском молока. С искренними слезами горя на глазах он проводил его по широкой дорожке, проторённой не колесом, не копытом, а людским горем.

Мирской учёт

Отечественные записки

Максим Арефьич Ознобин, собираясь возить из тайги лес, заготовленный с весны на сруб для амбара, сколачивал на дворе дровни, когда приехавший из волости сотник сообщил ему, что он избран обществом в учётчики и должен явиться в волость. При взгляде на Максима Арефьича ему никто не дал бы более пятидесяти лет: до того он был бодр и свеж на вид, хотя ему давно было за семьдесят. Тёмно-русые волосы на голове не имели ни одной седины и, подстриженные спереди в скобку, обрамляли прямой, широкий лоб, прорезанный крупной морщиной, нависавшей над бровями, когда он задумывался. Лицо его было одно из тех, какие не часто встречаются в жизни. Особенного в нём ничего не было, но, всмотревшись пристальнее, вы замечали под наружную грубость душевную теплоту и спокойную ясность, выражающие лучше слов и действий нравственную жизнь человека. В небольших серых глазах, смотревших несколько исподлобья, проглядывала ирония и вместе сосредоточенность мыслящего человека. Он был не словоохотлив, угрюм, но когда говорил, то речь его была тиха, обдуманна и выказывала опытный, наблюдательный ум, спокойно взвешивающий каждое явление прежде, чем произнести об нём решительное слово. Он был необщителен и точно сторонился от людей. Соберутся, бывало, однодеревенцы его в праздничный день около какой-нибудь избы, кликнут и Максима Арефьича примкнуть к беседе их, но молча махнёт он рукой вместо ответа и примется за работу. А работу он всегда находил себе и не верил, чтоб у человека не могло найтись дела. Только неутомимым трудом он и не допускал нужды в избе своей. Не любил он вмешиваться в дела и в жизнь соседей и давать советы прибегающим за ними, говоря, что «свой ум в голове — лучший советчик, а у кого нет его, тому чужой не поможет!». Не любил выслушивать толки и пересуды крестьян друг про друга, на которые так же падки обитатели утлых, убогих деревенок, как и шумных столиц и городов. По волости знали его за человека глубоко честного, доброго, хотя уклончивого. Но уклончивости в нём, собственно говоря, не было, и в тех случаях, когда дело касалось общественных интересов, он всегда приходил на сходы и молча выслушивал все толки,

особенно же толки крикунов, которыми одинаково изобилуют все слои общества. Он никогда не возвышал против них своего голоса, зная по опыту, что мнения подобных людей лопаются, как мыльные пузыри, от столкновения с действительностью. Иногда и он высказывал своё мнение, и многим приходилось оно по душе — по ясному пониманию дела, изощрённого опытным и наблюдательным умом.

Известие о выборе в учётчики было не совсем приятно для Максима Арефьича. Кроме того, что это отвлекало от хозяйства, он знал, с кем будет иметь дело, и заранее был уверен в неблагоприятном исходе его... Но всё-таки в тот же день, прибравшись по домашности, уехал вместе с сотником в село Бог....., где находилось волостное правление.

Учётчики избираются крестьянами при вступлении на службу вновь избранных волостных начальников и при смене выслуживших сроки. Учётчики, как и волостные начальники, приводятся к присяге прежде, чем приступить к своей обязанности учёта правильного сбора податей и денежных и хлебных недоимок с крестьян. В учётчики всегда избираются крестьянами люди испытанной честности, но не всегда грамотные, и, несмотря на это последнее обстоятельство, учёты производятся до мельчайших подробностей. Путём соображения при подушном раскладе они высчитывают с такою верностью не только восьмые, но и шестнадцатые доли копеек, какой позавидовал бы любой контрольный или интендантский чиновник. Ни один учёт не обходится без открытия крупных злоупотреблений и начётов на волостных начальников, но в большинстве случаев они проходят для них безнаказанно и падают всю свою тяжесть на тех же крестьян.

Задолго до смены выслуживших срок волостных начальников Бог...ой волости раздавался ропот на тяжесть поборов и злоупотребления собираемыми суммами. Волостной голова, Акинф Васильевич Сабынин, пользовался хорошей репутацией, но, будучи человеком болезненным и недалёким, он не понимал своего назначения, не вникал в дела и нередко по месяцу не показывался в волость, которою управлял заседатель по хозяйственной части, Николай Семёныч Харламов. Более всего смущало крестьян и наводило на мысль о злоупотреблениях, что Николай Семёнович, человек более чем бедный, со времени выбора его в хозяйственные заседатели стал быстро поправляться. Сначала он прикупил лошадей, потом под предлогом, что служба отнимает много времени и хозяйство приходит в упадок, нанял двух работников и увеличил запашку хлеба. Затем и изба его показалась ему мала, и через год наёмными рабочими он выстроил чистень-

кий домик с обширными амбарами. «Растёт Семёныч не по дням, а по часам!» — шептали, покачивая головами, крестьяне, но откуда брался рост у Семёновича, для многих всё ещё оставалось загадкой. Как человек, он был ласков и уступчив; собирая подать, не прибегал к насилиям и терпеливо ожидал, когда недоимщики справятся с деньгами и сами внесут её. А чаще всего за бедных и случайно подвергшихся несчастьям крестьян он вносил свои деньги. Подобные должники расплачивались с ним по частям хлебом, льном, лыком, кедровым орехом или отработывали ему свой долг. Вставши в более близкие отношения к нему, они хотя и замечали за ним кое-что, но из чувства благодарности и зависимости должны были молчать. Догадывались об источниках его обогащения и те из крестьян, которые были побогаче и не имели с ним обязательных отношений, но тоже молчали, зная, что он был нужный для них человек. Николай Семёнович умел жить с ними, потакая их произволу относительно бедняков. Он, впрочем, со всеми умел жить, зная людей и быстро подмечая слабые струны каждого и обходя всё, что могло раздражать и вызвать неудовольствие. Благодаря этому такту он так обставил себя, что и неодобрительные отзывы про его деятельность раздавались не иначе как шёпотом. Его боялись, несмотря на видимую уживчивость, тихий нрав и мягкую до приторности наружность. Живые карие глазки его всегда так лукаво ласкали, певучий голосок приятно щекотал слух, казалось, вкрадывался в душу; небольшое круглое лицо с острым вздёрнутым носом и пухлыми румяными губами, обрамлёнными чёрною бородкой и усами, привлекало своей миловидностью, а в особенности характерною улыбкой, выражавшей не то иронию, не то внутреннее довольство собой. От этой улыбки и певучего ласкающего голоса люди, знавшие его ближе, всегда чувствовали инстинктивную робость и стеснение. Убаюкав своею предупредительною услужливостью ум и волю волостного головы, он постепенно отстранил его от дел и, осторожно проследив все действия волостного писаря, поставил его в безвыходную зависимость от себя.

Игнатий Петрович Коробов, допущенный в волостные писаря из ссыльнопоселенцев, по первым приёмам его догадался, с кем имеет дело, и после непродолжительного объяснения, происшедшего между ними на первых же порах, они поняли друг друга и превратились в закадычных друзей. С этого времени и начались по волости небывалые прежде поборы, порождавшие даже в легковёрных умах сомнение в законности и необходимости их.

Быстро прошло трёхлетие, быстро оперился и Николай Семёнович, превратившийся из бедного человека в зажиточ-

ного. Он заметно пополнил, и солиднее обложился подбородок его пушистой окладистой бородкой. Голос, сохранив всё тот же певучий тон, приобрёл уверенность, свойственную людям, сознающим своё финансовое или бюрократическое превосходство. Знакомство он повёл с людьми зажиточными, принимая только их в своих чистых горницах. Бедняки же, обращавшиеся к нему с просьбами, нередко по часу, по два ожидали его на дворе или в чёрной жилой избе. Около дома его, с резными воротами и подоконниками, останавливались и повозки заезжавших к нему в гости купцов. Привык он и к незнакомым ему до того удобствам жизни: и к чаю, и к тележке с коваными окрашенными колёсами на длинных дрожинах. В разговорах он приобрёл привычку многозначительно задумываться, заложив пальцы рук за алый кумачный кушак, тянуть слова, и слова не простые, а всё более отборные, неслыханные: «резонт», «атшлифовка», «пальтурный человек», «фартубликация» и т. п. И дивились, слушая его, простодушные крестьяне — откуда у Семёновича столько ума вдруг взялось? Вырос за это время и у Игнатия Петровича на конце села домик с антресолями на выточенных колонках, и взял он на себя подряд от крестьян села Бог... содержать земскую квартиру для приезжающих властей. И полюбили его власти, потому что нигде так пышно не взбивались для них пуховики, нигде не пекли таких сочных и вкусных рыбных пирогов, не жарили так мастерски цыплят, как у Игнатия Петровича. И в какую бы пору ни приезжали исправник или заседатель, у Игнатия Петровича всегда находился для дорогих гостей и ямайский ром, и густые домашние наливки, а в частую и бутылочка-другая шампанского. Кроме хлебосольства, исправника привлекали к нему чёрные глазки и свежие пухленькие щёчки его дочери. Игнатий же Петрович был так предан начальству, что не имел от него ничего заветного. Не меньшим расположением властей пользовался и Николай Семёнович. Исправник объезжал волость не иначе как в сопровождении его и постоянно в одном тарантасе с ним, что ещё более сковывало возникавший против него ропот крестьян. На сельских сходах исправник постоянно высказывал крестьянам мысль об избрании Николая Семёновича головой. И действительно, перед выборами по деревням сильные своим влиянием богачи подстрекали крестьян на выбор Николая Семёновича, так что выборы долго колебались между ним и другим кандидатом, Антоном Аверьяновичем Бобовым. Но, сверх всякого ожидания, приниженная и задавленная бедность подняла на этом сходе громкий ропот о злоупотреблениях, и головой был избран Бобов.

Подобный оборот выборов застал Николая Семёновича и Игнатия Петровича врасплох, не подготовленными к смене и учёту. Неодобрительно взглянуло на исход выборов и земское начальство, но воспрепятствовать утверждению вновь избранных волостных начальников не могло без особенно уважительных причин, тем более что избранный голова слыл за человека умного и не замаравшего себя никакими предосудительными поступками.

Настали тяжёлые дни для Николая Семёновича и Игнатия Петровича, который дни и ночи проверял и перебеливал черновые денежные книги и тетради, составлял из них выписки и ведомости. Николай Семёнович безвыездно жил в волости, забыв о доме и хозяйстве. Нередко вдвоём, запершись наглухо, они советовались между собой, и Николай Семёнович замечал, что в присутствии новых волостных начальников Игнатий Петрович постепенно охладевал к нему и исподтишка наводил их на следы злоупотреблений. Через месяц после выборов из губернского правления был прислан указ об утверждении в должностях избранных волостных начальников и о приводе их к присяге. Но прежде чем вступить в должности и принять денежные документы и суммы, новый голова собрал сход для выбора учётчиков, и общий голос крестьян пал, как мы видели, на Максима Арефьича.

* * *

— И чего бы усчитывать-то! — раздражённо говорил Николай Семёнович, пришедший к Максиму Арефьичу, не успевшему ещё обогреться с дороги по приезде в Бог... — Дела светлей солнца, без хвастни сказать, так нет, усчитывать, кричать надоть! Что ж, и усчитывайте, говорю, коли веры нет, не сами вы волостными сели, вы ж, говорю, общественники, выбрали. Ах! да грехи одни обсказывать-то! — заключил он, махнув рукой и быстро, но пристально окинув взглядом Максима Арефьича, сидевшего напротив него у печи, как бы желая уловить впечатление, произведённое на него речью.

— Порядок-то один ведь, не тебя первого, всех усчитывают!.. — ответил Максим Арефьич, облокотившись руками на колени и глядя в пол.

— Считай! Да до времени, говорю, не порочь человека — вот что!

— А разве несут на тебя?

— Послушай-ко, чего поют-то! Плут из плутов стал. Вона до какой чести дожил за моё-то радение! Да пошли им господа за ихнее-то спасибо!..

— Диво, что беспричинно-то это?

— Кабы причина была, душа бы не болела, Арефьич! — знал бы, что за грех ответ несу!..

— И не убивайся до время, коли совесть чиста!.. Николай Семёнович пристально посмотрел на него, и на губах его мелькнула неуловимая улыбка.

— И в самом деле, ты вправду говоришь, — снова начал он после минутной паузы, — и то не с чего убиваться-то! Бёдко только, говорю, что за мою-то добродетель экая отплата! Спроси-ко теперь по волости, кто бедность-то в нуже выручал — я! У иного бы за подушную-то последнюю лошадь аль корову со двора свели, а свёл ли у кого я? Никто не скажет! Бывало, последние свои деньги внесёшь, только б не зорить! И теперича за кого кровь-то свою сочил — на тебя же орут, за добро-то моё! Разве это не бёдко, Орефьич?

— Бёдко-то бёдко... да чего ж делать, стерпи!..

— Не легко терпеть-то оно! Не мои бы годы, а инда слеза бьёт!

— Увидят — неправду несут, и образумятся, им же стыдней!..

— Рад вот я, что ты в учётчики-то попал. Ты не то что другие, ты обсудишь! Теперя, к слову сказать, и в самом деле, коли где недочёт — ведь грамотное дело-то, каждую-то копейку в памяти не удержишь! Посуди ты, чем я-то повинен! Я и сам человек подначальный был! Голова что прикажет, бывало, то и делал, ты и спрашивай с головы! А поют, вишь, что голова-то знал пролежни на боках растить, а волостью-то ты, говорят, заправляя, порядки-то всякие вёл!

— Оно и вправду ведь, Николай Семёныч, чего ж таиться-то? — спросил его Максим Арефьич после короткого раздумья.

— Не отопрусь! Да ведь я про то говорю, что если б и ты был вподначале у кого и сказали бы тебе: энто ты вот так сделай, а энто этак, кто ж должен, по-твоему, в ответе быть, рассуди!..

— По-моему-то? не прогневи, на мой бы ум тот, кто делал!..

— А с какого ж бы резонту?

— Коли неправду какую тебе наказывают — отшатнись, на мой ум, не прймай и греха на душу!

— А опосля б того за непокорство к суду иди?

— Иди!.. Коли ты с чистой совестью, нигде не пропадёшь, а всё твоя правда сыщется, свечой загорит!

— Вон оно как по-твоему-то! Ну, а как теперича ты вот это дело рассудишь? Скажу, не таясь, есть у нас недочёт. Ещё ланского году как-то исправник наказал справить дорогу в Со... но, Акинф-то Васильич сгоряча тогда и оповестил их: ваш,

говорит, участок *, правьте!.. Ну, Со...цы-то и приговорили в то время наймом выправить, и деньги собрали, и приговор на это есть! Ладно! Храню эти деньги, при общей поправке, думаю, приложу и их: заодно уж труситься-то! Только и придись нам вносить подать, а мы в те поры, на грех, много недобрали. Акинф-то Васильич и говорит: «Взропчет начальство, что мало собрали, прилож-ко, говорит, к ней и энти деньги, всё, говорит, повидней будет, опосля, говорит, как ни есть обернёмся!». Я и приложу по его-то слову, а он теперь в отпор: «Каки, говорит, таки деньги, я и не помню!». Ну, кто ж повинен-то, что такая совесть у человека, а?..

— Ты!..

— Всё я... Ах, путай те грех!

— Ты! — снова повторил Максим Арефьич, — и солнца бы чище у человека совесть была, а всё этих делов глаз на глаз не делай, неровен случай!

— Что ж, за всё свидетелев, что ль?

— Очищать себя греха нет, Николай Семёныч... особливо в крестьянской копейке! Крестьянская-то копейка — та же кровь!

— Ах! тогда бы вот экую-то науку, а теперь уж поздно!..

— Поздно, Николай Семёныч, поздно!.. Мал бы на што ты стал собирать с мира деньги, а голова бы тебе насказал — туды их приложь, да в ино место прикинь, а ты бы и клади да прикладывай! На что ж ты после этого хозяином-то по волости был выбран? Дело-то головы — порядок блюсти, а твоё — счёт охранять, что свою душу, мирскую-то копейку!

— А-а-ах! грех! накупаешься, никак, за чужие-то грехи... накупаешься!

— Глубокой колодец, мирская-то казна, Николай Семёныч; не ты один в нём выкупался, все дочиста моются, черпают да попивают из него — только не уставай мужик подливать!..

— Мне-то бы к чему этакие-то слова? — спросил весь вспыхнувший Николай Семёнович.

— Спроста... к слову подошло!

— Мир-то говорит, что твоё-то слово, как ни жуй, а всё не проглотишь! не из тех ты, что спроста-то звонят!..

* Исправление дорог в Сибири составляет одну из натуральных повинностей крестьян. По общему размежеванию, производимому крестьянскими обществами, дорога распределяется участками по деревням и потом посаженно распределяется на каждую душу в семье. Иногда крестьяне сами выезжают на поправку своих участков. Чаше же, по обоюдному согласию, исправляют их подрядом, собирая подрядженную на расплату сумму, по сколько причитается по раскладке с каждой души. — *Прим. автора.*

— Все мы одного куста ветки, под одним дождём и зноем живём!

Николай Семёнович замолчал и обвёл глазами вокруг чисто выбеленных стен, украшенных лубочными гравюрами.

— Так как ты мне посоветуешь? — снова обратился он к Максиму Арефьичу.

— Стар я, мне ли советы давать! — отрывисто ответил Максим голосом, в котором слышалось раздражение.

— У старого-то и спрашивать. Старый-то ум ядрёный, что вековая сосна! — заигрывающим голосом продолжал Николай Семёнович.

— А сосняк-то ноне... ска-азал бы я тебе...

— Что ж?

— Смолчу!

— По душе коли, говори. Я люблю, когда по-душевно-му-то!..

— Любишь, так таить не буду. Сосняк-то ноне, говорю, скороспелка пошёл! Стары-то сосны сперва в землю глубже корни пустят, да опосля уж вверх и тянутся — ну, и крепки были! А нонешний-то...

— И вправду сосняк ноне пошёл не старому чета, попроще ровно, и иглой-то помягше, зря не колет! Это вот ину пору пораздумаешься, ты к иному с добром, а тебе всё назло, всё-то назло! Есть вот... у меня, как бы сказать, конёк, мне-то бы совсем он не ко двору, а подари бы я тебе, ну, чего б ты подумал про меня! И-и невесть бы что, поди, — ей-богу!

Максим Арефьич с минуту сидел молча и наконец, улыбнувшись, покачал головой. Николай Семёнович наблюдал за ним с самым наивно-добродушным выражением в лице.

— Оно бы и подумал, — произнёс после короткого раздумья Максим Арефьич, — с какой бы это прибыли ты расходовать-ся стал на дары-то мне?

— Вижу, что бедное дело — для чё не помочь?.. Друг бы о друге, а Бог за всех!..

— Нешто я жаловался тебе, что беден?

— Слыхал от других!

— А-а-а!.. вот ты какой добрый, пошли тебе Господи... Ты чего ж это, Николай Семёныч, спрошу я, бедным-то на дары расходуешься?

Николай Семёнович смешался и незаметно отвёл глаза в сторону.

— Худая слава про меня, Максим Арефьич, идёт, — с грустью заговорил он, — только напрасливая, не таковский я! Я каждому бы готов... коли человек по душе мне... ты вот мне теперь... што отец сыну, завсегда вместе бы я тебе, ей-Богу...

— Скоро же ты облюбил меня!

— Человека-то сразу видать, каков он... душа-то какова!

— Правда твоя, Николай Семёныч! другой всё норовит, как бы людей одурачить, а того и не приметит, что сам себя дурачит. Не люби мне твои речи, не погневи! Молод ты ещё, не по весам гири-то выбрал...

— Што ж я-то по твоим-то речам, скажи, не таись!.. ба-ахвал, аль што?..

— Охота пришла знать — скажу, что неиздашные-то хлеба завсе мягки на вид!

— Не выпекли, стало быть! Ну допечёте, жару-то в вас не занимать!.. С чего ж бы мне пред тобой извороты-то эти делать? Аль што учётчик-то? Так я бы это, боюсь... а-а-ах-ха-а!..

— Боишься, Николай Семёныч! Ну зачем ты ко мне прибежал, а?.. Сроду мы друг друга не знали, а ты с ветру увидел человека — уж коня даришь! Опомнись, тёмная душа твоя, докуда кривыми-то путями ходить! Стучит в тебе совесть-то, что молот в кузне, — вот ты и не знаешь, куда кинуться от неё. Уйди-ко лучше.

— Не засижусь, не бойся... Уйду! Помни же, хвалёная честь! Помни, что скороспелые-то сосенки только гнутся от ветра, а ядрёные-то с корнем вылетают! — злобно произнёс он, выходя от него и хлопнув дверью.

Накануне дня, назначенного для учёта, село Бог... одушевилось. Учёты всегда производятся при полном составе общества или не менее двух третей его и продолжаются по несколько дней. Часто они бывают весьма бурны. Накипающее у крестьян неудовольствие на волостных начальников, на их произвол, несправедливость, взяточничество и воровство кровных мирских рублей выливается массою погрёков и насмешек над ними. Много происходит и трогających за душу сцен.

В день учёта волостное правление приняло праздничный вид. В нём с утра было накурено можжевельником. В передней половине присутственной комнаты, отделённой решёткой для помещения членов и канцелярии, стоял аналой, приготовленный для приведения к присяге новых волостных начальников и учётчиков. Около него стоял на скамье баул с замками и печатями, в котором хранились приготовленные к поверке и сдаче суммы. И присутственная комната, и две смежных с нею были полны народа, но в толпах не слышалось ни шумного говора, ни смеха.

Не меньшая торжественность проглядывала и в наружности и костюмах новых волостных начальников. Голова, плотный приземистый человек, с широкою, падавшею на грудь бородою, одет был в зипун тонкого чёрного сукна; от высоких сапог его припахивало дёгтем, смешанным с рыбьим

жиром; волоса на голове намазаны были коровьим маслом, от которого лоснился лоб. Прилично случаю, лицо его было серьёзно, хотя в обыденной жизни он был весьма весёлый человек. Сидя около широкого письменного стола, он вполголоса беседовал с Акинфом Васильевичем. Рядом с ним писарь с одним из своих помощников распечатывал пакеты и помечал вновь вступившие бумаги. У окна, за аналоем, стоял Максим Арефьевич с новыми заседателями по хозяйственной и полицейской части, которые, так же как и голова, были в новых зипунах и накануне вступления в должность сходили в баню. Николай Семёнович, с раннего утра пришедший в волость, сидел около баула поодаль от всех. Он также щеголевато оделся в бешмет, опушённый белой мерлушкой, и с любопытством наблюдал за тихо волнующейся толпой. После привода к присяге, по уходе священника, члены распечатали баул и приступили к проверке денег. Толпа заколыхалась и налегла на решётку. В задних рядах её становились на носки, упираясь в плечи и головы передних, наблюдая за толстыми пачками пересчитываемых ассигнаций. «У-у-ух денег-то!» — невольно вырывалось у иного.

— Побойчее, Трофим Митрич, считай, не мусли деньги-то: казённо добро смочишь, что проку! — с иронией произнёс стоявший у решётки опершись на неё всю грудью, старик, обращаясь к новому хозяйственному заседателю.

— Не навик ещё, — ответил он, — не просчитаться б, думаю!

— Приплатишь! не бедное дело!

— С первого-то дня, друг, платиться учнёшь — скажется...

— Ничего, Бог даст, поправишься, должность доходная! Кругом прокатился смех.

— Не обходился ещё! Сызнова-то все они, как молоденцы малые, ошупью около денег-то бродят! — пронеслось в толпе.

— И послужить-то не дали, а уж укорили! — обидчиво ответил новый заседатель, кладя на стол отсчитанную пачку, — не из тех я, штобы мир распоясывал свои карманы на мой обзавод!

— Оно давай бы Бог, Трофим Митрич! да вишь... мир-то из веры вышел, говорит, что сызнова-то вы все одну песенку поёте. Вот и за тебя опаска берёт, что ты казённые бумажки муслишь. По мирской молве, худая это примета...

— А что ж бы?

— К пальцам бы, говорят, не стали прилипать...

В толпе снова раздался смех.

— Не во гнев его милости, Николаю-то Семёнычу, сказать, — продолжал меж тем старик. — Спервоначалу-то,

помнится, и-и-и с какой оглядкой он к казённым-то бумажкам касался, а опосля так пообвык, что инде карманы перемешал: где бы надо в казённый опустить, а он всё в свой да в свой!

— Свой-то ближе! — крикнули из толпы, — а в казённый сколь ни вали, всё, как в худую плотину, прорывает да прорывает...

— Про то и говорю, а на бумажках-то не написано, которая своя, которая казённая, а долго ль смешаться, особливо неграмотному! Где бы на свою лошадок прикупить аль к дому чего пристроить, а он всё по ошибке на казённую да на казённую! ты уж, Трофим Митрич, Бог даст, пообслужишься, так коли в суматохе когда доведётся тебе в свой карман казённую бумажку опустить, так угольком пометь её — пра-аво!.. А то, храни Бог, и ты учнёшь смешивать, как Николай Семёныч!

— Увар Прокопъич, а ты видал, как я казённые бумажки с своими мешал? — угрюмо спросил его задетый за живое Николай Семёнович.

— Дела-то энти впотьмах деются, Николай Семёныч! как ты увидишь их? А что худые стряпки завсе о горячие горшки руки обжигают — это видывал, не потаю!..

Дружный взрыв хохота снова прервал речь Увара Прокопъича, на лице которого играла ирония и вместе наивное детское лукавство, придававшее и самой иронии его добродушный оттенок. Говорил он тихо, но всё-таки каждое слово его долетало в смежные комнаты, откуда виднелись вытягивающиеся головы, чтобы послушать. Заметно было, что каждое слово его было эхом затаённой думы всех. Увар Прокопъич в подобных случаях всегда играл роль запевалы и, завершив своё дело, мирно удалялся.

Вот Николай-то Семёныч, говорю, — продолжал старик, — нагрел ручки-то около мирского-то горшка, ну, ноне оне и побаиваются холодку-то! И заморозков нет, а он уже рукавички надел! А наш брат мужик и в мороз только в пальцы дует.. А-а-ах-ма! Беда простотой родиться! Ты где это, Николай Семёныч, рукавички-то покупал?.. — спросил он, указав на окно, где с краю лежала смушковая шапка бывшего заседателя и замшевые рукавички, расшитые цветною шерстью.

— А ты не купить ли хошь?.. — с злою улыбкой спросил его Николай Семёнович.

— Ужо... неравно заседателем мир-то выберет, так запастись бы! Теперя-то пока ещё мозоли руки греют, а на тёплом месте, гляди, и пропадут!

— К чему ты мне все эти речи загибаешь? — спросил побледневший Николай Семёнович, когда в толпе замер раздававшийся смех.

— Отгани-ко вот, с какой начинкой сноха про деверя пироги гнёт?

В толпе снова прокатился смех, заразивший даже и членов.

— Ой... не рано ли печь-то принялся их! Обождал бы!

— Поспели — так чего ждать! Режь да ешь на доброе здоровье!.. Аль не по зубам? Иду я, братцы, как-то ноне, да и глянь ненароком на дом-то Николая Семёныча, да с простоты-то и не остерёгся! Гляжу — ах ты, напасть! — Шапки-то на затылке как век не бывало! Ну и высь!.. ай и домина! Дай, думаю, спрошу Николая Семёныча, в какую тыщу он ему стал?..

— На мой бы ум, Увар Прокопъич, не лез бы ты на меня до время, что собака на кость! — дрожащим от волнения голосом произнёс, подходя к решётке, Николай Семёнович.

— Жирная кость-то, Николай Семёныч, есть чего погрызть! а ты не сердчай, ведь я с простоты! Мужик ведь — что малое дитя, на всё-то ему поглядеть надоть да пощупать, а засвербят зубы в дёсенках — и поточить их!..

Желая скрыть своё смущение, Николай Семёнович быстро отвернулся среди раздавшегося в толпе смеха и отошёл к столу.

— Какие, Николай Семёнович, в 186... году ты деньги в подать внёс 523 рубля? — неожиданно спросил его в это время Антон Аверьяныч.

При этом вопросе толпа стихла, и все стали слушать с напряжённым вниманием. Окончив перечёт сумм, бывших налицо, и проверив их при помощи писаря с ведомостями и квитанциями казначейства, волостные начальники и учётчики встретили крупное недоразумение. За один из годов было внесено на 523 рубля более противу действительного поступления. Между тем недоимка в последующие года собиралась без исключения этой суммы. Подать же вносилась в казну за исключением её.

— Бумажные, Антон Аверьяныч! — с иронией ответил Николай Семёныч, — все 523 рубля бумажками были!..

— И без тебя знаю, что злата-то, серебра немного по рукам ходит, я про то спрашиваю, отколь ты их взял?

— Из сундука!..

— Не время бы, Николай Семёныч, шутки шутить! — вмешался Максим Арефъич.

— Про шутки-то я, Максим Арефъич, то скажу: Увар Прокопъич вон подшучивал, так вы ничего, посмеиваетесь. Так и мне нечего плакать. Вот я на то и говорю: отганите-ка, отколь они в сундук попали, а я помолчу! Аль сказать, а? Или послушать, что Акинф Васильич скажет!

Акинф Васильевич Сабынин, стоявший у стола скрестив на груди руки, с недоумением посмотрел на него. Это был пожилой человек, лысый, с болезненно отёкшим лицом. Серые глаза его постоянно слезились, отчего он поминутно отирал их клетчатый платком, постоянно хранившимся за пазухой по неимению карманов.

— Не меня ведь спрашивают, а тебя! — ответил наконец он.

— Общественники-то на меня несут, а ты заступись! Аль кто в грехе, а я в ответе? Не по твоему ль наказу я деньги-то эти с Сор... на поправку дорожного участка собрал, а ты в те поры велел их к подушной приложить, а?

— Я... я велел, это точно, не отопрусь! — ответил Сабынин после минутного раздумья, — только ведь я тогда же тебе наказал засчитать их в пополнение недоимки на С..., а ты вон всё сбирал да сбирал. Куда ж ты эти деньги девал?

— А ты не помнишь?..

— Не запомню что-то...

Все с любопытством смотрели на них. Акинф Васильевич, вынув платок, отёр им глаза и лоб и, снова сложив, опустил за пазуху.

— Не разгулялся ещё! Пожалуй, и то заспал: когда на другой год собрали недоимку, а я хотел засчитать 523 рубля, ты что мне сказал на это?

— Чего ж?

— Не надоть, — забыл?

— Ты что-то того... ровно...

— А-а-а... тут и того... не вспомнишь!.. А когда я стал говорить тебе: да как же, мол, это оставлять-то их? и то, говорю, мир со слезами ропчет, что всё поборы да поборы. А ты что сказал? «Поропчут да такие же будут!»

— Я будто это тебе сказал?

— Мужик, говорит, что ворона: на дождь и на солнце каркает! а ты, говорит, дай-ка мне их для оборота, опосля справлюсь, внесу... да так и внёс их!..

Акинф Васильич стоял, как оглушённый громом; глаза его широко раскрылись и глядели тускло, бессознательно.

— Вот где, общественники, денежки-то ваши плавают, — обратившись к толпе, продолжал Николай Семёныч, — не всё руки виноваты, что собирают, руки-то голове повинны! Да ещё тогда же на мои слова смехом говорит мне: волостных-то на то, говорит, и сажает, чтобы дураков крестить!

— Кто ж бы дураки-то? — пронеслось в толпе.

— Мужики! И деньги эти тогда же своими руками отобрал от меня; как теперь помню, отколь-то одна бумажка фальшивая запуталась — и ту взял; уйдёт, говорит, заодно с путными.

В это время Акинф Васильевич, очнувшись от неожиданности, развёл внезапно руками и хлопнул себя по бёдрам.

— А-а-ах! проснулся-таки! — со смехом произнёс Николай Семёнович.

— Ну, братцы! — обратившись к окружающим членам, начал Акинф Васильевич, — пятый десяток на свете маюсь... видывал народу и худого, и доброго, но экого человека впервой. Да какая это тебя и мать-то выносила, Николай Семёныч, скажи ты нам?

— Чужая, Акинф Васильевич, своей-то не было, сироткой родился! А ты, чем материны-то косточки трясти, сними-ко лучше с души моей грех!

— О-опомнись... человек ли ты, есть ли у тебя Бог-то!

— Я-то завсе в памяти, ты проснись, да Бога-то в наши дела не путай, у него и своих много! Как мир-то на меня ропчет, что я его обворовывал, так вы все молчите. Вон учётчик ваш, правдивая-то душа, Максим-то Арефьич, и не поймал, да уж ошипал! И вор-то я, и скороспелая-то сосенка промеж ядрёных деревьев! За тебя стал ему своего коня дарить — и не подступайся! А как 25 рублёв дал, так взял! Коня-то, говорит, каждый увидит, а деньги-то не мечены!

Максим Арефьич побледнел и стоял неподвижно, только нависшая над бровями морщина нервно дрогнула.

— Что ж ты молчишь... — снова обратился к нему Николай Семёнович среди всеобщего изумлённого молчания, — и ты бы, как Акинф Васильич, по крайности, руками похлопал, да сказал бы: неправда! А?

— Правды-то, Николай Семёныч, никакими речами не утопишь — выплывет! — тихо ответил Максим Арефьич.

— По пути ли ты, Николай Семёныч, все эти выводы-то за тебя? — вступился наконец новый голова, — ой, не оступись!

— За чужую-то поступь, Антон Аверьяныч, не бойся, свою блюди!.. Не рано ли ты вот сапожки-то высветлил — не замарай! Узка наша тропка, и лужиц много! Припомни-ка, как, в головы-то садясь, ты хвалился ходить по ней? — спросил он покрасневшего и растерявшегося нового голову.

— Совесть-то где ж у тебя, а?.. на поклёпы-то эти?.. — спросил тот, оправившись от неожиданного упрёка.

— Потеряна!.. да ты чем спрашивать-то, по себе примерь, откуда ей быть у волостных! Вот, общественники, облаяли вы меня вором, да до поры до время! Воров-то у нас и напредки будет много, поколь темнота наша будет стоять, что дремуч бор! Вот ты, Увар Прокопъич, на дом мой засмотрелся, что инде шапка свалилась, а что ж ты не сказал, падала ли у тебя шапка аль нет, когда ты на дом нашего писаря глядел, а?.. А ты не белей, Игнатий Петрович! — насмешливо обратился

он к побледневшему при последних словах его писарю, — общественники с волостными накинулись на меня, что вороны на падаль, а ты застыдился, и от старого друга подале! Так допрежь чем расстаться, оглядимся, у кого боле клею на руках было! А-а-ах! — с злобным хохотом продолжал он, — бывало, как деньги делить, так Игнатий Петрович без зову бежал, а теперь и смотреть не хочет, так заспесивился! Ну-тко... не гляди-ко шибко в бумаги-то!.. скажи-ко лучше, как ты на деньги-то, собранные на новую икону, дом тёмом обшил — а? Вместо царского-то портрета полы выкрасил... а?.. А-а-ах! Максим Арефьич! ведь ты учётик — что ж молчишь-то! аль и тут тебе деньгами рот замазали? а?..

— Мы об этих делах спросим с хозяев, а не с работника, — спокойно отвечал Максим Арефьич, — деньги-то на царский облик и икону не писарь сбирал, а ты; ты же о ту пору и на поправку дорог сбирал. По мирскому приговору ты по два рубля тогда с души собрал; с 1713 душ, добры люди говорят, 3426 рублёв. На экие деньги дорогу на десять лет можно выправить, а как ты её выправил?

— Худо... что я наделал, всё худо!..

— Хвалят-то хорошее! не гневи! Отдал ты её по контракту в подряд Раймолову, из чужой волости — неуж бы по нашей-то не нашлось, кому взять его... а?..

— А-ах... и в том, значит, повинен, что не нашил шапок мирские плечи прикрывать! — с иронией ответил он.

— Повинен!.. Ты вот мир оголял да себе шапку сшил!.. Станем-ко без шуток говорить, а напрямки... Будет! за три-то года досыта нашутились!.. С нашими-то мужиками тебе бы нельзя плутовать: всё бы на виду было, вот ты и кинулся в сторону...

— Соловушка-то ваш, общественники! слышите, поёт — заливаются!

— Общественники слышат, Николай Семёныч, у кого какой голосок! Ты так же напел небылиц, только одно забыл, что у общественного, кроме уха, и глаз есть...

— Ну, а ещё что... поговори, Максим Арефьич, послушаем!

— Послушай, коли на то пошло, послушай. Ты ж хвалился, что ещё не последний вор, что много их и напредки будет! Так вот, глядя на тебя, хоть другие поучатся, как ответ миру давать! ты дорожный-то подряд отдал Раймолову, потому что с ним вместе торгуешь... Деньги-то эти ты с Раймоловым да с исправником между собой поделили... А на починку-то дороги и 300 не истратили.

— Это ты верно сосчитал?

— Считать нам все твои дела не приводится; мы считать будем только мирские слёзы! — всё более и более оживляясь, заговорил Максим Арефьич.

Напряжённое внимание в толпе выражалось не одним молчанием. Каждый жадно вытягивал голову, вслушиваясь в слова, отчётливо разносившиеся по комнате.

— Ты подряд-то отдал ему, общество не спросил, а только уж контракт заключивши, вычитал его обществу! В контракте-то было выговорено, чтобы мосты все были новые, перила выкрашены, вёрсты все были новые, гати перестланы заново, дорога вычищена и посыпана дресвой на все 120 вёрст. А как её выправили?.. Какой до поправки была, такой и теперь стоит. Вёрсты все старые, все-то скозились на стороны, словно от глазу хоронятся. У мостов кой-где только брёвнышко вколочено, а перила-то под мостами лежат. Каждый, допрежь чем на мост въехать, перекрестится да чудотворцев на помощь кликнет, чтобы бревно по затылку не ударило. Ни повозка, ни телега гатями-то не проедет, чтобы ось не хряснула. На 120 вёрст робыло ли 20 человек? И как робыли! Через сажень лопаткой поковыривали... Это за три-то тыщи! Не тягота это миру, Николай Семёныч, а? Кто должен теперь дорогу-то править, коли начальство сызнава потребует? А оно не сегодня-завтра потребует; гляди ведь, на дороге-то ни проходу, ни проезду нет! Сызнава три тыщи сбирай! Сызнава мужик веди корову или лошадь со двора, чтобы внести эти два рубля! да отколь же миру-то взять... на вашу-то наживу!..

Вместо ответа Николай Семёнович, заворотив полу бешмета, отёр им лоб и лицо.

— Холодку бы, други, нагнать! — внезапно произнёс Увар Прокопыч, — а то Николай Семёныч-то разогреваться начал, инда в пот кинуло!..

В толпе послышался смех.

— А кто дорогу-то принимал от подрядчика? Ты один! А нешто это одного тебя дело касалось?.. Ведь это мирское дело-то, общественное! Ты должен был всех сельских старост созвать да по крайности трёх, четырёх выборных от каждого сельского общества, чтоб они дорогу-то оглядели да приняли её от подрядчика. А кто был, ну-ко?

— Ты об этом, Максим Арефьич, помолчи, тебя это дело не касается!.. — остановил его Николай Семёныч, в голосе которого не слышалось уже игривой иронии.

— А-а... тут так не касается.

— Так точно! Не твоего оно ума!..

— А чьего ж бы?

— Вышнего начальства, коли знать охота пришла! Дорогу-то эту от подрядчика сам исправник принимал, с него и спрашивай, коли она тебе не по нраву... Слышал, а?

— Исправник принимал, а чьими деньгами за дорогу-то расплачивались: исправничьими аль мирскими? Исправник-

то небось своей копейки не приложил, а с мира все до единой вытянули... Так какое ж ему дело было принимать её на свою душу?.. Его дело приказать править, а примать на свой страх не доводится! А и люди! Да доколь же это бессудье будет над нами! Правду на миру говорят, что бессуднее Сибири земли на свете нет! Коли ты, наш же брат мужик, одной долей окрещён и взрощен, и ты на мирские слёзы обстроился, так уж отколе теперь миру защиты ждатель! Ты вон на икону для волости да на царский облик без мала 200 рублёв с мира собрал, да сам же ещё смехом похваляешься, что на место царского-то обличья писарь полы себе выкрасил... а заместо святителей-то дом тёмом обшил!.. Да нешто у путного волостного писарь бы смел сам деньги взять? Нешто у домовитого хозяина работник украдёт, а?.. Оба вы вместе воровали, оба и обстроились! А мир плати, натружайся, ходи наг и бос!

В толпе пронёсся неясный гул.

Ты сам был волостной, так тебе ли сказывать! сам видел: сыплет, сыплет мир подати, что зерно в бездонные закромы, а всё мало, всё подливай на каменку, чтобы другим было теплей! Только на подать да на поборы от рождения до смерти и мается мужик, робит, не покладывая рук, поколь Бог не пошлёт по душу. Гляди, мозоли-то на руках — что каменя! Поди, и червь-то в могиле не прогрызёт. И тут ты ещё последние нитки обрывал!.. наш же брат мужик, да смеешь ещё говорить, что мир тебя угнетает... Гляди-тко, у тебя не повёртывается сердце, как мир-то объедают, а? Ты вот по контракту за дорогу-то три тыщи отдал, а где у тебя остальные-то 426 рублёв... Ну-ко, скажи!.. Аль исправнику отдал, чтоб он у тебя с Раймоловым дорогу-то принял... Нут-ко, скажи нам, как ты за то, что в одном тарантасе с ним ездил да чай-то вместе попил, ссужал его мирскими деньгами по две да по три тыщи?

— Ты одумался ли, Максим Арефьич, чего насказал-то? — остановил его Николай Семёныч.

— Одумался, не сумневайся!

— Опомнись-ко... за этикие-то речи, бывает, и к ответу водят.

— Не стращай, Николай Семёныч. Тихой я человек, да не боязливой. Коли Бог велит к ответу пойти, пойду, дам ответ — на то и крест целовал! Не в мои годы кривыми путями ходить, мне и могила близка, так уж прятаться от доли не стану! Назудела вся эта неправда-то на мирской душе. Гляди-тко, мир-то, он весь тут! Спроси-ко, видывал ли кто радости-то на веку, так докуда же нам! Ты вот насказал, что и дары мне подарил, а теперь угрозил, что к ответу поведут, а я тебе скажу, что сам пойду к ответу! Сам! Пора и вышнему начальству правду знать. Вы как слышите, что набольший начальник

едет, так всякого мужика потолковой прячете, чтоб не выболтался. Всякой, кто поумнее, у вас ябедник, да каверзник, да бунтовщик. Всякого норовили в дело впутать да услать! На какие ты вот деньги с Раймоловым скота накупал для приисков, а?.. На мирские!.. Их в подать собирал, вздыху не давал, а сам пуцал в оборот, наживался на них... Ты волостной, а на чужое имя три кабака по волости держал, так какой у тебя мужику охраны было против кабатчика искать? Ты подать-то собирал в самое нужное время, когда знал, что у мужика ни копейки — засев на корню и продать нечего — да сам же и вносил, да за гривну-то на рубль хлеба брал!

— Правда! Правда, Арефьич! — пронеслось в толпе.

— Этакого разорителя поискать!..

— Ах, слёз-то наших много, други, на нём!..

— Ввёл он меня, общественники, пошли ему, Господи, боле... да и деткам его! — заговорил, выдвигаясь к решётке почти на плечах теснившихся крестьян, мужичок с белыми как лён волосами и бородкой. — Разорил ты меня, Николай Семёныч! Скажи-ко перед миром по совести: внёс ты за меня в подать 15 рублёв, а сколь ты выбрал с меня за них? Заступитесь, общественники, бедное моё дело, горькое, а он и тут последнее рвал!

— Чего с тебя рвать-то было, скажи-ка! — с злобою в голосе ответил, обратившись к нему, Николай Семёныч, — ты бы, прежде чем жаловаться, на себя-то бы поглядел: чего рвать-то с тебя? Ты, никак, и родился в этом бредне! Рва-а-ать! Было чего рвать!..

— Бреденёк он... да мой! А ты вот на наши-то слёзы суконный с выпушками надел?

— Не на твои ли?

— И моих тут есть!..

— Ты вспомни лучше, где твои слёзы-то у меня?.. Забыл, как кланялся да плакал, сапоги-то обмывал, обождать-то просил. Я из жалости свои внёс!

— А вспомни ты, сколько ты перебрал с меня за них?

— Не подарил... а-а-ах, беда!..

— На дарёно-то карманов у меня нет, Николай Семёныч, а твои пятнадцать рублёв мне добрых тридцать стали.

— Сосчитал же... умеешь?

— Своё всяк умеет считать!

— Учись и чужое, авось на зипун сойдётся!

— Хожу и в этом, зипуном-то не кори! трудовой он, не ворованный! Заступитесь, общественники! внёс он за меня в подушну пятнадцать рублёв, плачусь ему, плачусь, и всё ещё в долгу!.. Всё ещё каких-то пять рублёв считает. Ланской год какой был неурожай, хлеб-то по семи гривен за пуд на отбой

брали, а он своими руками у меня 12 пудов насыпал да со двора свёз, а цену положил по 25 копеек с пуда. Не обида ли? А то навозил я о ту пору лесу, 17 лесин, в ину пору ты за 4 рубля экой-то лесины не купишь, а он взял да по восьми гривен лесину-то поставил... Не бёдко ли это?

— На ядрёных же поставках у тебя, Николай Семёныч, дом-то срублен! — вступился Увар Прокопъич.

— То-то... отдавать, так горе, а брать, так горя нет! — ответил Николай Семёнович. — Всю-то вашу мирскую правду можно за грош купить!

— Ты в свою-то онучу мирскую совесть не обувай, Николай Семёныч! — сказал Увар Прокопъич, — аль не любо, как старинку-то перетряхивают?..

— И зачем это вы, братцы, старое поминаете, — слышался голос из толпы. — Без того мужику тошно: все глаза по углам отхлопал, а вы ещё в них песку сыплете. Когда татары с моего сенокоса сено скрали да увезли, он за то, чтобы рассудить нас, пять рублёв с меня взял, три овчинки, да были у меня весы медные ещё от родителей — и их подобрал, да я и то молчу.

— Грех вам, общественники, слушать все эти наветы на меня, не угнетатель я был вам! — произнёс наконец Николай Семёнович голосом, в котором слышалась боль.

— Хуже всякого угнетателя был ты, Николай Семёныч! — снова прервал его Максим Арефъич. — Оглянись на себя, а коли совесть в тебе заснула, побуди!.. Одумайся, каких только за тобой делов не было!.. Ты только богатым мирволил, они и стояли за тебя горой! Какая бы ни была неправда, ты всё им спускал, вместе с ними бедность-то зорил! А находил ли кто из бедных у тебя правду без денег? Гляди-ко, в волостные-то мы тебя садили — у дома-то твоего крыша падала... Лошадка-то была одна-одинёхонька... Окромья армяка на тебе мир ничего не видывал! Оглянись ты на себя — отколь у тебя дом-то взялся? Лошадей-то чуть не косяк*. За три года расторговался, что купцу впору! Отколь это всё? Вот ты по два раза собирал — один раз по 20 копеек с души, другой по 11. Люди считают 532 рубля. Хлебные мангазеи по волости нужно было править, а правил ли ты их? Где у тебя эти деньги?

Николай Семёнович молчал. Лицо его горело лихорадочным румянцем. Глаза щурились и точно налились влагой.

— Что ж, Николай Семёныч, скажи, где они у тебя, а? — снова повторил Максим Арефъич.

— Ты дай ему одуматься, Арефъич! — со смехом крикнули ему из толпы, — пущай вздохнёт!

* Двенадцать лошадей называются у сибирских крестьян косяком. — *Прим. автора.*

— А-а-ах, други, бе-е-да худой девке житьё, — начал Увар Прокопич, — спутает-спутает волосы-то на голове, подойдёт дело к свадьбе расчёсывать их — и пойдёт на гребень жаловаться, что больно дерёт!

— Ты не из магазинских ли денег-то Арефьичу двадцать-то пять рублёв дал, Николай Семёныч?.. Больно уж он тебя чего-то пытается об них?

— Помолчите, други, не путайте! видите, человек думу думывает, а вы мешаете! неровен грех, он ещё обмолвится, да на себя скажет..

— Не обмолвлюсь, общественники! — ответил Николай Семёнович, обратившись к смеющейся толпе, — что говорить больше, коли все мои речи неправдивы!

До глубокой ночи потешался мир над своим уничтоженным владыкой, высчитывая ему все его неправды.

Учёт продолжался более пяти дней. При помощи сельских старост и проверки книг много обнаружилось лишних переборов в податях и недоимках. Раскрылись и другие злоупотребления. Так, между прочим, за лечение приписанных к сельским обществам поселенцев и некоторых из крестьян в больницах приказа общественного призрения были взысканы с этих обществ, по общему подушному раскладу, деньги за употреблённые при лечении их медикаменты и содержание, и в то же время раскрылось, что эти деньги были взысканы и лично с некоторых поселенцев и крестьян, находившихся на излечении, а у одного из них даже продана была лошадь на пополнение этого долга.

По мере раскрытия этих злоупотреблений беспощаднее сыпались на Николая Семёновича укоры и насмешки, но он выносил их с полным равнодушием. Он был спокоен; не менее его спокоен был и писарь, имевший с ним в первый же день учёта, после того, как разошёлся сход, довольно продолжительное совещание. Общество не приняло на себя суммы, собранной на исправление дороги, и начёт, со включением её и всех поборов, пал на Николая Семёновича в размере 6 523 рублей.

Для человека постороннего сделалось бы невыносимо тяжёлым зрелище той скорби, какая отразилась в лице Акинфа Васильевича Сабынина, когда, по приговору общества, пополнение 523 рублей, выведенных на него Николаем Семёновичем, пало на его долю.

— Снизойдите, общество! Для Бога, старости-то моей! за что я в ответе... за что?

— На себя пеняй, Акинф Васильич, а не на общество, — ответили ему из толпы, — за науку всегда платят!.. Недаром на миру-то говорят: что ката бить, коли мясо скрал, бить того надо, кто его в амбар пустил!

— Общественники, будьте по правде! Не богатое моё дело!.. Сам я просился у вас — освободите меня от службы! Немочное дело моё, немочное! И рад бы служить, да нездоровье моё! Пошли тебе, Господи, Николай Семёныч!

Вокруг царило тяжёлое молчание.

— Тебе это ничего, Николай Семёныч, что из-за тебя этак убиваются? — спросил Максим Арефьич.

Точно не расслышав вопроса, Николай Семёныч молча отвёл глаза в сторону.

Составленный обществом приговор о начёте на другой же день при рапорте от волостного правления был представлен в окружное полицейское управление для проверки его и утверждения, и новый голова немедленно распорядился, чтобы со стороны общества были приняты меры наблюдения за имуществом Николая Семёновича. Но дело приняло неожиданый оборот. Вскоре после учёта в полицейское управление поступил донос от имени писаря и Николая Семёновича «о подстрекательстве крестьян во время учёта к неповиновению властям, о порицании действий высших властей и правительств крестьянином Ознобиным». Сначала, по доносу, было произведено тайное дознание, и спрошенные крестьяне подтвердили всё то, что говорил Максим Арефьич. Донос вместе с дознанием был представлен по начальству. Не прошло и месяца, как по этому делу в село Бог...е приехал особый чиновник для производства следствия; крестьяне снова подтвердили всё, что говорил Максим Арефьич, да и сам он, с тем же воодушевлением, как и на учёте, передал все тяготеющие над миром неправды. По окончании следствия дело было отослано на особое рассмотрение, и Максим Арефьич отправлен в острог, а по проверке учёта все выведенные на Николая Семёновича поборы, по бездоказательности, оставлены без последствий, так что Николай Семёнович внёс только 200 рублей, собранные на икону и портрет государя. Сумма, павшая на Сабынина, за исключением внесённых им 100 рублей, по безнадежности взыскания ввиду его бедности, была сложена с него по приговору самого общества. Тем и кончился мирской учёт.

Через год последовало и решение по делу Максима Арефьича о высылке его в дальнейшие места Сибири, если общество не возьмёт его на поруки. Но он не дождался решения и той же зимой помер в остроге от тифа, постоянно свирепствующего в сибирских тюрьмах. Николай Семёнович был прав, сказавши, «что скороспелые сосенки только гнутся от ветров, ядрёные же вылетают с корнем вон!».

Умалишённый

Рассказ

В декабре 187... года в г. Т. был доставлен при рапорте крутологовского волостного правления крестьянин села Крутые Лога Осип Дехтярёв для освидетельствования в губернском правлении и для помещения на излечение в дом умалишённых. На первое время Дехтярёва поместили в городской больнице, и, по наблюдению врача и прислуги, в поведении больного и в речах его не проявлялось признаков, доказывавших расстройство умственных способностей. Живой, весёлый характер, плавная, всегда остроумная речь привлекали в палату, в которой поместили Дехтярёва, слушателей из других палат. Все с любопытством и недоумением смотрели на странного умопомешанного, который заткнул бы за пояс любого умника, как выражались фельдшера и прислуги. Фельдшером смущало одно только обстоятельство: Дехтярёв ел необыкновенно много, ел почти поминутно, и всё-таки чувствовал голод, но ни разу не жаловался на расстройство желудка или на боли в нём; притом он спал крайне мало, иногда две, три ночи он не смыкал глаз и не чувствовал усталости и упадка сил.

В назначенный для освидетельствования день Дехтярёва привезли в губернское правление и ввели в присутственное зало, где были все члены комиссии, губернатор и между прочими два военных врача. Помолившись на икону в переднем углу, Дехтярёв почтительно поклонился присутствующим и молча подошёл к столу, за которым сидели члены. На вид ему было около сорока лет, роста он был среднего, худой. Лицо его было бледно. Тёмно-русые волосы на голове, остриженные в скобку, были тщательно причёсаны. Небольшая бородка и усы обрамляли красивые губы, на которых мелькала лукавая улыбка. Живые карие глаза его выражали острый, пронизательный ум; когда же он задумывался, то в них просвечивала грусть. Он с любопытством осмотрел всех членов и, ещё раз поклонившись им, улыбнулся.

— Как тебя зовут, братец? — спросил его губернатор.

— Осипом! — ответил он. — По сказке-то пишушь Осип Микитин Дехтярёв.

— Ты помнишь, сколько тебе лет?

— Не знаю, ваше почтение... или как тебя взвеличать-то? Благородием, што ли?.. — ответил он.

— Превосходительство! — подсказал сидевший к нему ближе всех военный врач.

— Ну, присходительство, будь не то... — произнёс Дехтярёв. — Вишь, мы неграмотные, живём-то в лесу; по нашей-то простоте што ни пень — то икона; встретишь чиновника-то, так не знаешь, как и величать-то его, думаешь, что все они благородные, ну, и крестишь всякого благородием! Не обесчуди Дехтярёв, поклонившись. — Это ты и есть самый-то наибольший генерал по губернии? — спросил он.

Губернатор засмеялся; засмеялись и члены.

— Я!.. — ответил губернатор.

— Вот ты какой! — наивно произнёс Дехтярёв, с любопытством осмотрев его. — Одобряют тебя мужики-то... шибко, слышь, они за тебя Бога молят!..

— За что же они одобряют меня?.. — спросил губернатор, слегка покраснев.

— Угодил ты им... уж так, брат, угодил, што чиновников-то своих на притужальнике держишь, не даёшь им чужое-то добро по карманам шарить, — што не знают, какому чудотворцу за тебя и свечу ставить!..

— Так теперь уж не шарят чужое добро по карманам, а? — шутиливо спросил у него губернатор.

— Утихли!.. Не слышать што-то, разве где по малости... ну, так малость-то наш брат и в счёт не кладёт!.. И они ведь тоже люди, слышь, пить, есть хотят, а иному государского-то жалованья, сказывают, и на обутки не хватает; надоть где-нибудь брать, ну, а коли у него под боком овечка пасётся... которую все стригут, так пошто и ему, глядя на других, не сорвать с неё клочок-другой.

Среди членов снова пробежал смех, и вместе с тем шёпот. Все они с любопытством и удивлением смотрели на Дехтярёва.

— Ты грамотный? — спросил его один из членов.

— Не-ет!.. Учили читать-то; родитель, покойная головушка, радел об этом, и читал я, да забыл... Ноне, пожалуй, и аза не найду в книге-то, не читаю!..

— Отчего же ты бросил читать?.. — спросил его один из врачей.

— Бросил-то пошто? — переспросил он. — Да как тебе, братец, оповестить; не к лицу ровно нашему брату грамота-то!

— Отчего же не к лицу? — спросил губернатор.

— Отчего?.. Хе!.. Да вот отчего, твоё присходительство, — улыбаясь отвечал он, — коли ты всякую-то книгу читать станешь, то, неровен грех, и умным сделаешься, почнёшь обо

всём судить да рядить, вот и бе-еда!.. Проку-то от пересудов твоих, пожалуй, не выйдет, а греха-то не оберёшься!..

— Какого же греха? — спросил врач.

— Какого греха-то?.. А вот какого, ваше почтение: я вот и не письменный человек, а за то, што поговорить по правде с обществом, стал перед ним волостного голову на свежую воду выводить, так и подвели, што я будто не в своём разуме, прислали лечить, ваших благородиев теперь утруждают свидетельством меня — в разуме я или нет.. вот и суди!.. А коли бы, на грех, да ещё письменный-то был, книги-то читал, так чего же бы было тогда, а?.. Тогда уж, брат, прямо бы на цепь посадили и лечить бы не стали!

Члены снова вопросительно переглянулись между собой.

— Что же ты выводил перед обществом на волостного голову? — спросил губернатор.

— Все его качества!..

— Говори яснее: какие качества — хорошие или худые..

— Хорошие или худые? — повторил он, усмехнувшись. — Хорошими-то разве кто попрекнёт человека, а? Ведь только, брат, на гнилой воде пузыри-то всплывают, а на проточной-то ты их не увидишь!..

— Плут он, что ли, а?

— Плу-у-т! — снова улыбнувшись, повторил Дехтярёв. — Нет, брат, твоё присходительство, экое-то слово для него милостиво; его надоть таким словцом окрестить, чтоб больней обуха било!..

— Почему же общество терпит его, если, по твоим словам, он такой негодай, а?

— Обчество! — презрительно произнёс Дехтярёв и сплюнул на сторону. — Добрые люди шапку-то по голове выбирают, а у нас, брат, голову-то по шапке выбрали, вот и понимай!.. Обчество-о! — снова протянул он после минутной паузы. — В нашем обчестве што ни вор, што ни плут, тот и первый человек, везде ему и честь и место, и сладкий кусок; вот каково наше обчество! — несколько раздражённо закончил Дехтярёв.

— Сердит же ты на своё общество, разве оно что-нибудь сделало тебе, а?.. — спросил губернатор.

— Насолило, брат, так насолило, что и умру, так не прокисну!..

— Чем?

— Неправдой своей. Продажной совестью! За што они меня стегали, — спроси-ко ты их?..

— Кто они?.. — прервал его губернатор.

— Обчественники!

— Когда?..

— Уж года два будет теперь, если не боле. Так, брат, стегали, так стегали, што, думал, с душой прощусь. А за што, што я им сделал? В угоду голове, голова науськал. Вишь, ему не любо стало, што я не такой дурак, как все мужики, што я все подходы и выходы его выследил, так ему надоть было бесчестье на меня положить, пред всем миром опозорить, а?.. А у общества совести хватило в угоду голове тиранствовать надо мной, а?.. Христопродавцы они! Всю свою совесть рады в ведре вина утопить!.. В угоду богатому хошь в могилу бедняка вгонят, вот оно, наше-то общество! — с дрожью в голосе закончил он, и на бледном лице его выступил яркий румянец.

— За что же голова гонит тебя?

— Нет, брат, твоё присходительство, как он ни гонит меня, а уж ему меня не догн-а-ать. У меня в пальце-то больше сметки, чем в голове его милости, вот што скажу я тебе! А известно, ему не любо, што нашёлся в миру человек с глазами и видит всё впотьмах, где другие ощупью ходят, да которому ещё к эфтому взять — ничем рта не заткнёшь. Ну, и стал он бесчестить меня, сначала общество напустил на меня, наговорил ему, што я и гультай, и бражник, што, кроме вредительности, от меня и ждать миру нечего, што меня-де поучить надоть; ну, и думал, што как шкуру-то снимут с меня, я и уймусь, новой-то, што нарастёт, уж жалко мне будет. А я, вишь, не унялся, всё своё пою. Постиг он, што дело неладно, што поёт-поёт парень, да чего-нибудь ведь и напоёт на него, и подвёл струну, што я-де не в своём разуме, ево-де лечить надоть. Вот и гляди, какие дела в мире-то творятся! А лечить-то, брат, надоть не меня, а нашего голову, да лечить-то его надоть базарной плетью. Вот пропиши-ка ему этакое средство, так мир-то за тебя не одну свечу пред Богом затеплит!

— Да что же он делает противузаконного, ты всё-таки не сказал мне. Ты Расскажи для примера хоть одно худое дело его.

— Заелся, брат, он, вот тебе, к примеру, чего скажу. Превыше себя и закона не знает! И как не заесться человеку — слава те Господи! Третье трёхлетие дослуживает, общество-то, што паук, тенётами опутал. Когда его в головы-то выбрали, всего две скотины имел, изба-то, словно стыдясь, боченилась от добрых людей, а теперь — и-и-и-и, с Фёдором Игнатъичем и купцу-то не всякому впору тягаться!.. Отчего же разбогател он: от взяточничества, от незаконных поборов... Фальшивые рубли обстроиться помогли!..

Между членами снова пронёсся шёпот. Председатель губернского правления, нагнувшись к губернатору, о чём-то горячо заговорил с ним.

— У тебя есть какие-нибудь улики в доказательство тех злоупотреблений, какие делает ваш голова? — спросил губернатор.

— Улики! — насмешливо произнёс Дехтярёв. — Разве хороший вор оставляет по себе следы? — спросил он в свою очередь. — А наш-то голова из самолучших воров первый, его, брат, в трёх огнях накачивали, да в трёх водах остуживали, так он теперь не токмо из кремня, из глины, то ись, огонь вырубит... да-а!

— Что же, ваш голова сам занимается деланием фальшивых денег или только переводит их, а? — спросил председатель.

— Зачем он сам будет делать, коли клеймёные мастера есть на то, — ответил Дехтярёв. — Слава Богу, из Расеи мастеров-то этих сотнями в Сибирь шлют. Нашему мужику об это рукомерло и мараться не доводится!..

— Кто же эти мастера?

— Беглые каторжники, кто же иной? Сторона у нас глухая, из лесов да болот не скоро на белый-то свет выглянешь, так летом фабриканты-то эти по заимкам* у головы да его прихлебников и мастеров билеты. Двойная, брат, им нажива от самодельных-то денег! Кругом татарва, какие деньги ни дай им, всё за путные идут! Ну и сбывают им за скот, шкуры да шерсть, и мужикам исподтиха подсовывают, а коли попадётся мужик с этакими деньгами, так голове сызнава нажива — так его острогом да следствием застрашают, што он последнюю рубаху снимет, только не заводи дела, не допускай до начальства, да ещё и за того же Фёдора Игнатъича и Бога молит, што душевный человек — не подвёл его под гибель. Таким-то, брат, образцом и разжился наш Фёдор Игнатъич, и не он один этим рукоблудством занимается. Много у него прихлебников, ими он и в головах-то держится, а бедность поневоле молчит, потому так они её опутали, што и пикнуть не смеет. Ты вот знаешь ли, што голова-то у нас, почитай, за половину волости из своего кармана подати вносит?

— Почему?

— Догадайся-ка... как они люд-то путают да заедают. Он вот за тебя подать-то внесёт, а ты на него круглый год, как на барина какого, и робь, а пикни ты супротив Фёдора Игнатъича — э-э... он за долг-то и избы, и скота решит, да ещё в кон-

* Большинство крестьян Сибири, у которых пашни и сенокосы лежат иногда в расстоянии десяти и пятнадцати вёрст от деревень и сёл, чтобы не терять в рабочую пору время на разъезды, строят около пашен жилые избы с печами, в которых пекут хлеб и готовят пищу. Избы эти называются заимками. — *Прим. автора.*

трахтную работу замурмолит. Вот, брат, как у нас мужики-то проживают... всласть слезой умоется, кулаком оботрётся, а от страху-то и словесный бы человек бессловесным сделался! Любо ли?.. Голова вот сказал обществу: «Выстегай Осипа Дехтярёва, потому што препятствует мне... петлю на вас забрасывать», — и чуть, брат, душу не выстегнули из меня! Коли кто голове не по взгляду пришёл, уж лучше беги из волости, а то загубит, и общество ничего... только за пазуху себе вздыхает да раболепствует перед ним, потому што опутано, ни силы, ни голосу у него нет. А вот нашёлся этакой мужик, как я, што ничем ты его в резон не введёшь, ни крестом, ни пестом, ну и сделали неразумным, прислали лечить. Лечи.

— Сколько тебе лет? — спросил его один из военных врачей, всё время внимательно наблюдавший за ним.

— Не считал... Да и тебе закажу о мужичьих годах не справляться! — не глядя на него ответил Дехтярёв.

— Отчего же не справляться, разве крестьяне не ведут счёта прожитым годам? — спросил инспектор врачебной управы.

— Ведут, да по-своему, не всякий в толк-то возьмёт. Мужик, брат, вот как свои года спознает: коли целы у него зубы, перекусывает лён да дерево, стало быть, молод, а коли у него зубы не выбили, а сами выпали, стало быть, стар, пора и из подушного в выключку. Вот, брат, какая у нас о годах примета!

Среди членов пробежал смех.

— Что же ещё голова делает противузаконного, а? — снова спросил его губернатор.

— А разве этого мало, чего я насказал? — с иронией спросил в свою очередь Дехтярёв.

— Может быть, ты ещё что-нибудь знаешь?

— Знаю!.. Я много про него знаю. Я, брат, знаю, где и деньги те лежат, которые морошкинский староста потерял! За што вот мужика разорили, а? Спроси-ка?

— Кого ж спросить?

— Меня... я тебе до слова всё выпишу, как дело было: прошлого года о масленой, скажу тебе, морошкинский сельский староста Тит Мироныч Березников привёз сдавать в волость деньги, девять сотен рублёв, што собрал с крестьянства подати. Ладно! Не надоть утаить пред тобой, што этот самый Тит мужик бы по всем статьям был праведный, коли бы не любил, грешным делом, со штофом лобызаться! Ну, приехал он и говорит голове: прими, Фёдор Игнатьич, деньги, так, говорит, они словно камнем на душе лежат, скорей бы сдать их; а голова и поёт в ответ ему: повремени, куда спешить, дело-то теперь праздничное, пойдём-ка лучше ко мне, говорит, в

блины около сковородок поиграем. И пошли это, голова, Тит, писарь да ещё человека два сподручных. Долго ль там они в блины играли, не скажу тебе, только Тит захмелел и свалился. А голова, как Тит-то очнулся наутро, и зовёт его в волость деньги сдавать. Пришли. Хватился Тит денег — в одном кармане нет, да и в другом — пусто, и заметался туда, сюда, денег и след простыл, да так, брат, и посе́йчас мечется, ищет их.

— А как же деньги — в казну внёс кто-нибудь?

— Тит и заплатил, до копеечки выложил. Продал скот, скарб*, какой был, в долги въехал на сажень выше росту, да... а теперь по миру ходит!

— Ты сказал, что знаешь, где лежат эти деньги?

— Знаю! У головы с писарем.

— Почему же ты думаешь, что у них именно, а?

— А где же боле-то?.. Ведь Тит-то у головы в доме спал. Неуж со стороны человек пошёл бы в дом головы мужика обворовывать, а? Он с писарем и обделал всё дело, на чего-нибудь ведь и писаря обстраиваются! Из нашей волости уж двое писарей в купцы вышли, да и третий, брат, не сегодня-завтра за прилавок сядет. У нас, брат, лафа тому жить, кто совесть потерял и объявки о розыске её не сделал. Верь! А про это што ты скажешь? — снова начал он. — Лет пять уж будет теперь, ездил по нашей волости купец с товаром и, сказывают, денежный, ездил, ездил, да куда-то туда Бог его занёс, што и не выехал! Только уж когда снега стаяли, так ноги его из-под ракитова куста на белый свет выглянули!..

— Замёрз или убили?

— Без головы оказался! Головы-то так и не нашли, а только по обуви да по платью признали его. Ну, следствие сейчас, суд пошёл! Мало ли тогда, милый, мир-то встряхивали! Искали, искали, никого повинных не нашли, так в воду дело и кануло. А уж потом, братец, года через три время, то у головы штука ситца проявится, то у писаря, и не простого ситчика, а такого, какой у купца того примечали, а у головы опосля ещё и уздечку спознали и хомут, какой на лошади у купца того был. Ну, чего ж, пошептались об этом на миру, пошептались, да и махнули рукой. Вот, брат, какие дела-то у нас делаются. Умные-то люди их видят, да молчат, а дураки-то, как я, благовестят! Ну, вот и нелюбо, за это вот и посылают лечить, чтоб лекаря ума подбавили, штоб знал мужик, про чего ему говорить и про чего молчать!..

— Ты всё это и выводил перед обществом? — спросил его председатель.

— Как на ладонке выкладывал!

* Скарб — имущество. — *Прим. автора.*

— За это тебя и секли?

— Не-ет!.. За это меня в неразумные произвели да лечить прислали! Снизойдите, господа честные, явите мне милость; курить я свычку имею, а меня, слышь, когда схватили да повезли на ваш суд, так што есть зипунишка-то не дали почище надеть, сапогов-то покрепче. В какой рвани был, в той и прислали, руки-то скрутили мне, посмотри, до синих рубцов (и, сбросив с правой руки рукав полушубка, он засучил рубаху и показал синевшие на руках следы от верёвок); дайте мне двадцать копеек — табачку купить, справлюсь, Бог даст, отдам.

Один из членов достал из бумажника три рубля и подал их Дехтярёву.

— Много этого, куда мне столько... мне бы двадцать копеек за глаза! — произнёс он.

— Возьми, возьми!..

— Ну, дай тебе Бог здоровья! — ответил он, поклонившись. — А это, слышь, никак, ещё впервой на свете, што чиновник мужику денег дал, а то всё боле мужики чиновников ими снабжали!.. — с иронией произнёс он, держа в руках ассигнацию.

Губернатор засмеялся в ответ на выходку Дехтярёва, среди членов тоже пробежал смех. Дехтярёва увели. Комиссия признала его совершенно здоровым, или, как сказано было в акте, «вполне владеющим умственными способностями»; только один из военных врачей, всё время наблюдавший за ним, утверждал, что он умопомешанный. По распоряжению губернатора была назначена особая следственная комиссия для производства дознания по выводам Дехтярёва, а также удостоверения о личности самого Дехтярёва и обстоятельствах, вызвавших зверское обращение с ним сельских властей и общества.

Дехтярёв был сильно обрадован известием, что он поедет домой вместе с членами следственной комиссии. Во всю дорогу не покидало его весёлое настроение, он потешал казаков, с которыми ехал, своими прибаутками, и часто пел. В памяти его был неисчерпаемый запас песен, и большинство их, по видимому, были его собственного творчества. Об этом можно было судить по их сатирическому складу и по тому, что в них воспевалась общественная бездеятельность и неурядицы сельской жизни; меткими чертами обрисовывались волостные начальники, судьи, писаря, иногда в них звучали меланхолические ноты, особенно когда воспевался какой-нибудь бедняк, задавленный горем и общественными нападками.

На пятый день по выезде из города комиссия въехала в пределы Крутологовской волости. На станциях, во время

перепряжки лошадей, к экипажам сбегалось почти всё население деревень, привлекаемое любопытством посмотреть на Дехтярёва. Народ с участием и состраданием относился к нему. На последней станции к селу Крутые Лога произошла довольно оригинальная сцена. Экипажи, по обыкновению, были окружены густой толпой. Дехтярёв, закутанный в шубу, сидел в пошевнях.

— Здоров ли ты, Осип Микитич? — спрашивали его окружающие.

— Здоров, братцы, вылечили! — с улыбкой ответил он. — Теперь Фёдору Игнатъичу черёд хворать пришёл; вишь, сколько лекарей-то везу его милость в разум вводить, а?

— Уж не введёшь его теперича в разум, Осип Микитич, — опоздал, вчерашнего дня он уж Богу душу отдал! — ответили ему в толпе.

— Врё-ё-шь! — протянул с изумлением Дехтярёв и побледнел.

— Скоропостижно, друг, пришибла его смерточка-то!

Дехтярёв сидел с минуту неподвижно, поражённый этим известием.

— А за неправды-то свои кому же завещал он ответ-то дать? — спросил вдруг он.

— Ну, брат, на экое-то наследье едва ли охотники найдутся! — со смехом ответили ему в толпе.

— А-а-а, Осип! — раздался в это время голос, и к пошевням подошёл пожилой крестьянин весьма степенной наружности, одетый в казанский полушубок. При его приближении толпа почтительно расступилась и дала ему дорогу. — Ну, как поживаешь, а? — спросил он, подойдя к Дехтярёву.

— Отменно хорошо, Моисей Сильвёрстыч! — ответил, приподнимая шапку, Осип.

— Ну, подавай Бог тебе... пора! — с иронией ответил ему Моисей Сильвёрстыч.

— Ручку-с!..

— На, на... — подавая ему руку, покровительственно сказал он. — Образумился ли ноне?..

— В точности! — ответил Дехтярёв. — Других вот в разум вводить еду, Моисей Сильвёрстыч!..

— О-о-о! Вот ты ноне чем занимаешься...

— Ноне и мы при занятиях, Моисей Сильвёрстыч, — насмешливо ответил Дехтярёв. — Хороводы с чиновниками вожу, прибауточками их благородия тешу, с ихнего чаю ополоски спиваю... дела много!.. Горе, што Фёдор-то Игнатъич помер, а то б и его милость похлёбкой из чиновников угостили!.. Вы-то как поживаете, Моисей Сильвёрстыч, всё ли подбру-поздорову? — спросил он.

— Живу, пока Бог по грехам терпит.

— Обтерпелся уж Бог от грехов-то ваших, Моисей Сильвёрстыч. Поминаете ль когда на молитвах Митьку-то Беспалова? — с улыбкой спросил Дехтярёв.

— А што мне его поминать-то, родня он мне был, што ли?

— Ближний бы, кажись, свойственник.

— С которой это руки-то?..

— С обеих ручек, кажись... Ведь вы, ровно, крёстным-то тятенькой были, когда его на морозе-то студёной водицей крестили, а кнутиками отогревали, аль запомнили, от кого он ума-то рехнулся да в землю-то ушёл?..

— Што ты мелешь-то, пустая голова твоя? — весь вспыхнув, крикнул Моисей Сильвёрстыч.

— Да вот грехи-то ваши и перемалываю, Моисей Сильвёрстыч, хочу из них крупки надрать, штоб господа чиновники кашку сварили да расхлёбывали!..

Моисей Сильвёрстыч сплюнул и, весь побледнев, отошёл от пошевней, сопровождаемый звонким смехом Дехтярёва.

— Э-э-х, Осип, Осип! — укоризненно пронеслось в толпе, — не всякое бы ты слово с языка-то спущал, в иную бы пору и помолчать тебе надоть!..

— Молчат-то пусть умные, братцы, а ведь я дурак, а ноне время такое, што за дурью речь хвалят, а за умную парят!.. — ответил Дехтярёв.

Скоропостижная смерть волостного головы, последовавшая за два дня до приезда в село Крутые Лога комиссии, оказалась весьма подозрительной членам её. Был вытребован доктор для определения её причин и, по вскрытии трупа, оказалось, что голова помер от аневризма. Прежде чем приступить к расследованию злоупотреблений по выводам Дехтярёва, было спрошено всё общество о личности самого Дехтярёва. Крестьяне отозвались о нём чрезвычайно хорошо и называли его «несчастливым» человеком, а один из них, старик Корнеев, приходившийся Дехтярёву дядей по матери, подробно рассказал жизнь его с самого детства.

— Балованное дитяtko был Осип... нечего греха таить! — так начал рассказ свой старик Корнеев. — Родитель-то его, покойная головушка, Микита Дмитрич, души в нём не чаял. Мужик-то был он денежный, скупенек. Дом-то был, как полная чаша, только на деток урожаю Бог не давал. Осип-то родился от сестры моей!.. Она и вышла-то за него за вдового... уж почесть под старость его... И то опять надо в рассудок взять, какой бы отец не радовался, глядя на умное детище, да не мироволил ему? Супротив Осипа и средь погодков его, да кто и постарше-то его был, так едва ли ровня-то нашёлся бы: он сызмальства, слышь, за словом-то в карман не лез. По

себе теперь глядя судишь: уж стар человек, какого народа не видывал на веку, какого горя на плечах не вынес, а всё в ину пору не скоро человека спознаешь, каков он есть, а ведь Оську, бывало, угораздит сразу смекнуть, кто чем прихрамывает... Диво! Ну и озорной уж был, упаси Господи... на баловство ли, на пакость ли какую, окромя Оськи, не было молодца, и бивали его не раз, и отец-то в эфтих случаях потачки не давал, да нет... не унимался! Когда уж в возраст-то стал входить, так мало ли греха с ним из-за девок бывало. Страсть!.. Раз это настиг девку в лесу да за то, слышь, что она где-то посмеялась над ним, отрезал ей косу; хотели мы тогда миром унять его... постегать, но так только, ради слёз отца, простили... присудили тогда отцу-то его бесчестье девки заплатить! Отец-то его брал подряды от купцов по доставке товаров из Ирбита и в Ирбит, ну, и сына-то, значит, радел к этому же делу приручить. И задумал старик-то отдавать его в грамоту, подговорил дьячка учить его; дьячок-то, покойник Антон Матвеич, мужик был простой, к чарочке более склонный, и нрава-то был непокойного, не раз даже на священника длань поднимал, опасались его в нетрезвом-то виде. Ну, вот и сошлись они, дьячок да Оська, и пошла у них грамота! Сколько смеху-то на деревне было! Одна эта дьячок-то шибко прибил Осипа, а Осип возьми да и высмоли ему сонному бороду и голову, так что дьячок-то обстричься должен был... Нечего было делать — отец-то заплатил дьячку бесчестье, да на том и порешили с грамотой.

Когда уж Осип в возраст вошёл, так не мало греха у него и с отцом пошло. Отцу-то бы надоть было в извоз его пустить, оно бы, может, лучше было, по крайности бы Осип при деле был, баловство-то бы лишнее на ум ему не шло. Парень-то был он вострый, проворный, смёткой-то в голове Господь за десятерых его наделил. Ознакомившись с работой-то, пристрастку бы к ней получил и человек бы вышел, и старики-то не раз отцу его говаривали: пусти сына, не держи его при себе, приспособь к работе. Ну, не хотел, покойная головушка, слушать, не спускал его с своих глаз, поджидал, пока совсем в рассудок войдёт, думал, что так-то лучше будет; да вышло-то не то. Десятидвух лет ищю Осипу-то не было, как его уж спутал грех с девушкой, жившей по соседству с ихним домом в работницах. Матрёной-сиротиной звали её, она и посейчас мыкается в работницах; девка-то она умная, што сказать, и работающая, да одна беда: на скоромную косточку падка, качествами-то этими не подходила ко двору Микиты Дмитрича. Старика-то все чтили, и обидно казалось ему этакой-то невесткой обзавестись; не допустил он Осипа жениться на ней, а оно бы, гляди, больше толку-то было. Женил его старик-то

почесть насильно на богатой невесте из соседней деревни, думал, остепенится сыночек, а сыночек-то совсем от рук отходить стал — попивать начал... и пошёл в их доме грех. Отец, бывало, слово скажет Осипу, а Осип ему два в ответ. Особливо много греха пошло между ними, когда проведал старик, што добро его тает, как снег по весне. Чего ведь бывало: придёт кто-нибудь к старику хлеба займы попросить, откажет он в ину пору, а Осип скрадёт у него ключи от амбаров, нагребёт хлеба да, как вор, крадучись по задворкам, и снесёт к тому.

— Тебе же, непутному, добра припасую! — говаривал, бывало, отец-то, укоряя его.

— Не топи за меня своей души! Не надоть мне твоего добра, всё пропью, всё прахом пойдёт, што останется! — огрызнулся Осип.

Горько плакивал старик-то от этаких слов сына, в котором души-то не чаял, и частенько стал жаловаться на непутность его. Помер он... Может быть, кручина-то эта и подкосила его на старости. Похоронил его Осип, и пошло у него в доме разливное море, не прогулять бы ему и за десятки годов добра, что припас отец. Одних лошадей более ста насчитывали, не говоря о деньгах и о том, что в доме было. Ну, добрые люди помогли. Кто бы с какой докукой ни пришёл к Осипу, отказа никому не было. О лошадке ли кто поплачется ему — поди, выбирай любую! Денег ли понадобилось на подушную или на иную потребу — бери, об отдаче и слова не было! «Ты што это, Осип, без пути отцовское-то добро расхищаешь?» — говаривали ему старики, останавливая его от непутной жизни, а он только посмеивался да один ответ давал, что по тятеньке поминки правит! Не прошло и шести годков, как всё хозяйство упало, а теперь и сам он нищий, ничего нет, окромя дома да двух лошадёнок. Всё разнесли и развезли! Много и богомольцев за него на миру, да немало и таких, что, вдосталь нажившись от него, над его же простотой теперь глумятся! Как бы ни пил Осип, как бы ни бражничал, это всё бы ничего, не он первый, не он последний. Мало ли теперь среди нас найдётся степенных людей, пособников миру, которые по молодости и-и-и в каких только качествах не грешили, да оглянулся же Бог — в разум да в лета вошли и жизнь свою остепенили, люди теперь! А Осип был с головой парень, пришёл бы ещё в себя и отрезвился б! И бедность-то была бы не лиха ему, нашлись бы люди, что, памятуя добро его, и ему бы в свой черёд помочь сделали... Ну, так язык его был люгый ему супостат и враг! Душа-то у него добрая, да язык его поперёк его жизни стал и до всех напастей довёл! Не жилось ему в ладу с людьми. За кем, бывало, только спознает какой грех, так и пугает его прямо в

глаза; языка его боялись, что шила, — ну, и не любили его, у всех он был как бельмо в глазу. И увещали его, кто доброто ему хотел, не раз увещали: «Брось-де, Осип, смешки свои, блюда, знай, себя, стереги свою совесть да душу, а других не тревожь, людей-де не переучишь, всякого на свою колодку не переделаешь!». Нет! Он всё, бывало, своё твердит: «Оттого, говорит, и неурядица в обчестве идёт, что всякий правду за пазуху прячет! Я, говорит, буду молчать, другой будет молчать, а мошеннику-то и на руку, что все языки прикусывают. А распяшь-ко, говорит, рот-то, не давай никому спуску, так, гляди-ко, чего будет: иной бы и смошенничал, да побоится: уличат, — так волей-неволей укоротит руки-то да будет по чести жить!». Ну, и договорился, зачем пошёл, то и нашёл! Взъелись на него все... все взъелись!.. Все-то ждали только подходящего часу, штобы отплатить ему свою обиду! Когда это выбирали в головы Фёдора Игнатьича, так чего-чего не пел про него Осип на сходе, и обчество-то ругал, што обходят добрых людей, а честят мошенников. С этой самой поры и пошла меж головой да Осипом усобица. Много лет подкапывался под него Фёдор Игнатьич. Мужик был — не тем будь помянут — хитрый, исподтиха, с усмешкой рыл свои подходы; ну, и Осип-то был не промах, не оставался в долгу и зорко стерёг за ним. С другим-то бы Фёдор не поцеремонился, скрутил бы его, што и не услышал, ну а Осипа-то побаивался, не другим он был чета: голой-то рукой не хватай, обожжёшься! Ну, и выпал такой случай. Был это раз сход в волости, был на нём и Осип, а около этого времени, сказать надо, в соседней деревне Овражках такой грех вышел: полюбилось тамошнему целовальнику, большому приятелю головы, да, однако, ещё и сродственнику, одно место, высокой такой пригорок посреде самой деревни, а сзади его озерко и рощица. В озерке-то этом бабы всё лён мочили. На этом самом пригорке стояла изба Мирона Сивкова, мужик-то он бедный, немощный. Целовальник-то и стань подбиваться к нему — отдай ему это место под дом, и голова-то почни намёки делать Мирону, а Мирон-то, как на грех, упёрся, не отдаёт места. Видя, значит, такую неустойку, целовальник, долго не думая, закупил это лесу, подрядил из той же деревни рабочих и давай рубить избу на пригорке, загородив Мирону и свет, и вход. Мирон — к голове, а голова нарочно уехал, штобы всё это без него сделалось, а он как, стало быть, ни при чём! Мирон к обчеству, плачет: «Защитите!». Собралось обчество, и взялось было наперво пришугнуть целовальника, и шугнуло б!.. А целовальник-то тоже, брат, знал, каким подпилком мужичью совесть подтачивать, возьми да и выкати бочонок вина; опосля того и пошёл уж суд да расправа, и решили ми-

рить Мирона с целовальником, избу целовальника, как новую, оставить на месте, а избу Мирона, как старую, снести и поставить на кошт целовальника на новое место! Поплакал, поплакал Мирон да и съехал с насиженного места. Опосля он было и в город ездил, жалобу подавал, да где-то о сю пору застряла! А Осип всё это проведаль... и всё молчал, да на сходе-то внезапно это... улучил минутку и говорит: «А вот бы, говорит, ваше почтение, Фёдор Игнатыч, чего бы порешить нам миром надо, шtbody в волости такцыю на стене вывесить! Оно бы и мошенникам-то было видней, и волостным-то с руки, а то без такцыи-то народ у нас без ума путается!..».

— Такцыю... какую такую такцыю? — спрашивает голова.

— А вот бы какую, к примеру тебе сказать: коли отберёт мошенник у кого-нибудь место под дом, то снеси голове, скажем, двадцать рублёв — и прав будешь; за лошадь, не по правде отобранную, положить бы можно пять рублёв, за корову — три, за свинью и полтины будет... потому, говорит, от этой животины у нас по волости проходу нет!.. Не дорога!

— Слышали, občественники, што Осип-то Микитич рассказывает? — спросил голова, без всякого это сердца, да и усмехнулся, а уж коли Фёдор Игнатыч усмехнулся, так уж, стало, не быть добру. — Это ты к чему же такие слова мне приводишь? — спросил он у Осипа.

— К чему, уж будто не знаешь, к чему! — спрашивает Осип, — уж будто, говорит, не на твоих глазах благоприятель-то твой, овражжинский целовальник, выжил Мирона-то с избой с насиженного места, а?.. Ну, вот я и говорю, чтоб ты повесил такцыю, за какую цену правду продаёшь! Может быть, и мне зандобится кого-нибудь с места сжить, так уж я и буду знать, что следует голове снести, шtbody правым быть!..

— Разве я судил Мирона-то с целовальником? — спросил его голова.

— Обчество, знамо!

— Так к чему же, говорит, ты меня чужим-то грехом попрекаешь?

— А-а, и ты, — говорит, — зовёшь это грехом, так пошто же, — говорит, — коли ты знаешь, што это грех, што у občества совесть-то давно уж с вина перегорела, так што и угодников от неё не осталось, — не присудил дела по-своему? Ведь ты голова... всему делу вершитель. На твоих бы глазах я человека убил, občество бы за вино меня оправило, а ты и гляди и молчи бы, а?..

— Осип Микитич, ты за што это občество-то поносишь? — спросили его.

— Поношу!.. Такое разве вам поношенье-то, — говорит, — надоть, а? Вы въяве, — говорит, — на себя энтот ярлык-то на-

весили, так уж запрета не положите говорить-то об нём, а то гляди... не смей ещё и поносить... Хвали... небось, вас, а-а-а?..

С эвтих самых слов Осипа и пошёл грех... А Фёдор Игнатьич, не будь прост, да под шумок и подведи Осипа... Натолкни občество, чтобы составили приговор посечь его — за поношенные головы и občества на сходе; и составили, и выстегали тогда Осипа, и крепко выстегали; тут уж каждый выместил на шкуре его всякое словцо... натешились досыта, нечего правды таить!.. И жалко его было, многие жалели, да ничего поделать-то не могли: волостной-то сход — сила, поспорь-ка поди с ней!.. Долго хворал после этой оказии Осип. С эфтой-то ровно поры понемногу и стали примечать, што с ним что-то неладное деется, не то штоб он в словах или в уме бы путался, не-е-ет, а чудные дела стал творить, какие бы человеку-то в своём разуме и не под стать бы были! Однова, это сколько смеху-то на деревне было, прибёг откуда-то Осип домой, лошадь вся в мыле, а сам весь в синяках и в крови. Спрашиваем: откуда ты, Осип Микитич, кто тебя так почествовал?.. Смеётся! «В Мокшеевой, говорит, нового старосту ставил, так благодарили!» На другой день, слышим, рассказывают, чего наш Осип натворил. В деревне Мокшеевой ходил о ту пору в старостах Гордей Савельич Плёнкин, человек старый и, сказать-то коли правду, неизвышенного ума. Осип-то всегда об него зубы обтачивал. И приди ж ему в голову, Осипу-то: поехал в лес, вырубил, это, осину, обтесал, привёз её в Мокшеево и давай вколачивать посередь деревни. Известное дело, народ, видя это, сбежался, спрашивают: чего ты делаешь? «Старосту, говорит, нового ставлю на смену Гордею Савельичу; оба, говорит, они одного пенька ветки, только Гордей-то, говорит, мохом оброс, пора б его и на отдых, а энтот посвежей выглядит, а вам-то, говорит, ведь всё равно, было бы только кому кланяться!..» Э-эх, как взъелись это мокшеевцы-то и приняли его кто во что попало, едва он утёк от них. Сколько после того смеху-то по волости пошло. Мокшеевцы беда не любят с тех пор, коли спросишь, ладно ли они с новым старостой живут. А то раз так же был сход в волости, приехал и Осип, и приди это в волость-то с горшком горячих углей, да давай это ходить по волости да курить ладаном. Спрашиваем: что ты это, Осип, делаешь? «Нечистую силу, говорит, из головы с писарем выкуриваю!» Хотели было его тогда сызнава поучить, да уж догадались, што тут другая наука требуется. Дня, слышь, не проходило, чтоб он чего-нибудь не накуролесил; стали его и побаиваться: долго ли до греха, ещё убьёт кого или деревню спалит, и поди суди его тогда! Порешили покрепче поглядывать за ним. Иную пору недели две живёт тихо, как следует быть человеку, и по дому ровно обихаживает, а там, гляди,

ни с чего задурит. Однова это лошадь свою утопил... спутал ей ноги да и загнал в реку. Хватились это, побежали за ним, чтоб отнять её, да уж поздно! Спрашиваем: за что ты животину загубил? Смеётся: «А пошто, говорит, она вперёд головой ходит, коли мы с вами и почище её разумом, да взадпятки от всего пятимся». Вот и вразумляй поди его! А то раз поймал, это, Осип цыплёнка и давай его живого ощипывать. «Что ты, Осип, делаешь, в уме ли ты, говорим ему, за что ты живую птицу тиранишь, бойся Бога!..»

— А вы-то в уме ли? — спрашивает он. — Вы-то, — говорит, — сплошь да рядом последнюю рубаху с человека сдираете и тиранствуете над ним, да Бога-то не боитесь, а на курочку глядя, так у вас, — говорит, — и совесть проснулась, и про Бога вспомнили!.. Так живую ощипал да на глазах у всех и съел её. Так со стороны-то стало тошно, глядя на него в те поры. Ну, да всё ещё полагали, что Господь пристанет за него, образумится он; что, может, это и с вина с ним деялось, а уж пить-то ему в те поры стало не на што! Приглядывали только за ним, на ночь всегда, бывало, кто-нибудь в дом к нему спать шёл. Опасались, чтоб не сделал чего-нибудь над женой да детищем. Грешным делом сказать, жена-то его по сторонке погуливала. Примечал это Осип, знал, да только смеясь приговаривал, бывало, што «чужой-то кус завсегда слаще своего!». Так вот и шло время до зимнего Миколы, пока не стряслась напасть... О Миколе-то в село к нам гости наезжают, потому как престол у нас... праздник. Ну, вот и ныне съехалось также много народу. Отошла это обедня, разошёлся народ по домам, у всякого гости... только слышим, около полудня ударили в церкви в набат. Всё село всполыхнулось, все полагали, что пожар в церкви. Батюшка отец Василий с гостями прибёг, волостные толкнулись в церковь, а церковь на запоре; глядим, и трапезник тут же в народе стоит да только охает да руками разводит; глянули на колокольню, а там Осип глядит на народ-то да смеётся. «Што это ты делаешь, дурья голова твоя? — закричал ему батюшка и народ-то, — што ты людей мутишь?»

— Мне, — говорит, — голова велел в колокол ударить да народ собрать! — крикнул он с колокольни, — просил, — говорит, — оповестить опчество, что он совесть где-то обронил, так в случае коли кто найдёт её, так объявки бы не делал в волость, а притаил бы её у себя, потому, говорит, как без совести Фёдору Игнатичу не в пример способнее в головах ходить! — Ну-у, и пошёл тут нести про него, а голова тут же в народе стоял, да всё это слушал и отпыхивался. Как ни было морозно, а пробил его в те поры пот! Вплоть до вечера маялись мы тогда с Осипом, едва-то едва сманили его

с колокольни. Подметил он это, что трапезник-то отлучился из церкви, вырвал кольца вместе с замком, вошёл в церковь, запер за собой дверь на засов да и наделал сполоху. В те поры уж и священник, и народ-то пристали к волостным, чтоб отправить его в город: всех опаска взяла держать его на селе, все греха стереглись. Не хотелось, признаться, голове-то отсылать его, боялся он языка его, чуял, что накличет на него Осип беды, да уж делать-то было нечего. С той поры, как свезли Осипа в город, Фёдор Игнатьич и заскучал, и заскучал, да и душу-то Богу отдал как-то внезапно, до самого смертного часу на ногах ведь был. Признаться, и нас-то сумление брало, не выпил ли он чего... ну, да, видно, уж так суждено ему было, предел, знать, таков, — закончил старик Корнеев рассказ свой и глубоко вздохнул.

Около трёх недель занималась комиссия расследованиями по выводам Дехтярёва. Большинство крестьян отозвалось об умершем голове весьма дурно. Не было никакого сомнения, что он действительно занимался переводом фальшивых денег и, по общему отзыву, эксплуатировал крестьян тем, что, уплачивая за них подати, скупал у них за долги хлеб по крайне дешёвым ценам, сбывая его в киргизскую степь в обмен на лошадей, овец и рогатый скот. Конечно, многие факты, которые послужили бы к разъяснению обнаруженных Дехтярёвым преступлений, так и остались недоказанными, благодаря давности времени и тщательно скрытым следам, но что преступления эти были совершены — едва ли можно было сомневаться.

С первого же дня по приезде в Крутые Лога Дехтярёв всё чаще и чаще впадал в раздражённое состояние. Встреча с антипатичными для него лицами, воспоминания пережитых страданий и нанесённых ему обид иначе и не могли действовать на восприимчивую и впечатлительную натуру его. Нередко под вечер, когда уже кончались допросы, он приходил к членам комиссии и выспрашивал, чего показали крестьяне. «Э-эх, ваше благородие, — часто говорил он после своих расспросов, — никогда вы не добьётесь у мужика правды, всё будет перед вами шито да крыто! Голова-то помер, да ведь прихлебники-то его живы; если кто правду-то покажет, так того ведь с белого света сживут, загрызут, што черви; вот мужики-то и молчат, и плачут, да молчат!» В этих словах Дехтярёва было много правды. При допросах крестьяне — заметно было — во многом заминались, отмалчивались или давали уклончивые ответы.

Однажды, когда уже следствие приходило к концу, Дехтярёв, по обыкновению, пришёл вечером в квартиру, в которой

помещались члены комиссии, и, поздоровавшись, сел на лавку. Ему дали чаю.

— Ну, што, Осип, не надумал ли ещё чего-нибудь нового, а? — шутя спросил его уездный стряпчий, пожилой уже человек, который от скуки почти ежедневно вёл с ним богословские споры.

— Надумал! — ответил Осип, схлёбывая с блюдца чай. — Ты вот письменный человек, стряпчий, скажи-ка ты мне, пошто это земля чёрная?.. — Стряпчий, образование которого не превышало программы уездного училища, заметно смутился при подобном вопросе Осипа, пытливого наблюдавшего за ним.

— Отчего чёрная? — покраснев, ответил он. — Оттого, братец, что уж так создано Богом!..

— Ан врёшь! — прервал его Осип. — Бог-то создал её чистенькой да беленькой... што пшенишное зёрнышко, а уж это она от человечьей крови почернела! Да-а-а! С той самой поры, как, значит, Каин убил брата своего Авеля, она обагрилась... и почернела. С той самой поры и непорядок на земле пошёл! Ты вот видал ли когда Бога-то? — неожиданно спросил Осип, всегда любивший озадачить какими-нибудь неожиданностями своего собеседника.

— Нет, братец, не видывал!.. — с иронией ответил стряпчий.

— А я видел!.. Чиновнику-то, брат, он не проявится, а мужика удостоил, сам ко мне пришёл!..

— Сам пришёл! О-го-о! За что ж он тебе такое предпочтение сделал, а?

— А за то, братец ты мой, што я, по мужичьему званию, за всегда под бедой, как под шапкой, ходил, а поэтому, значит, и завсе Бога помнил!..

— А чиновники-то, по-твоему, разве не помнят Бога?

— В редкость!..

— А-а-а! ну будь по-твоему! — смеясь ответил стряпчий. — А каков же он из себя, а? — спросил он.

— Бог-то? А так, братец, совсем как бы старичок, седенький весь... в азымчике... — ответил Осип.

— Вот как!.. Получше-то уж, верно, не нашлось чего надеть-то на себя... а? — спросил стряпчий.

— Нашлось бы, брат... добра-то у него, владыки небесного, много... да боязно, говорит, в хорошем-то наряде на миру ходить.

— Отчего?..

— Ограбят! Потому, говорит, ноне люди шибко волю рукам дали... неровен час да место, так и Богу-то от них достанется... и на его добро длань простирают!..

— Что же, он сам тебе это сказал или уж ты выдумал?

— Сам мне сказал!.. Пришёл это и говорит мне: потерпи, Осип... Стой за правду крепко! Много, говорит, греха и блуда на миру развелось... не соблазняйся... и скажи, говорит, голове и всем его прихлебникам, што забыли они меня и я до них доберусь...

— Ну, так и сказал?..

— Сказал!.. За то, брат, и стегали меня... как ведь, брат, стегали-то, а-а-ах... Другой бы на моём месте, может, и с душой бы расстался... ну, а за меня Бог пристал... ожил!.. Исщё бы вот мне надоть до одного мужичка добратся, брат! Зовут-то его Моисеем Сильвёрстовым, уж такой-то степенный на вид мужик, што без Бога да креста и слова не скажет, а по качествам, если разобрать его, то хуже идола... Вот возьмишь-ко его в резон ввести, а-а?.. И на тебя, может, Бог оглянется!..

— Кого же в резон-то ввести?

— Моисея Сильвёрстова Чулкова, так он пишется... в Панютиной деревне живёт! Ты вот знаешь ли, чего он сделал, а-а? Работника своего убил!..

— Ну-у!.. Ты опять, Осип, за своё принялся? — заметил ему стряпчий. — Ведь врёшь это всё, а?

— Я-то вру?.. Нет, брат, кабы все-то мужики так ввали, как я, так на белом-то свете царство бы небесное было, а не житьё, да-а-а! — раздражённо произнёс он. — Вру-у-у!.. Ты вот собери-ко мужиков и спроси их: как, мол, Чулков, Моисей Сильвёрстыч, работника своего, Митьку Беспалова, кнутами до полусмерти стегал да опосля того в мороз-то водой его из колодца окачивал, а?.. Он от этого и в землю ушёл... вот как я вру-то!..

— Давно это было?

— Года два уж будет теперь!.. Вру-у!.. Не-ет, ты спроси-ко у občества, как голова-то, покойник, да самый этот Мосейка уламывали стариков-то, отца и мать-то Беспалова, чтоб они не жалобились на него, не заводили дела?.. Мосейка старикам-то за это лошадь подарил, корову, да денег сто рублёв выдал, избу им новую срубил.

— И они взяли?

— Взяли!.. Да ещё Мосейку же теперь похваляют, благодетелем зовут, да-а-а!.. Вот ты говоришь: пошто Бог-то по земле в азамчике ходит, а? Надень-ко он хороший-то мундер, так чего будет? Середь улицы обдерут, и следов не отыщешь, милый.

— Ну, ладно, ладно... верю тебе! — прервал его стряпчий. — Ты вот скажи-ко лучше, за что же Чулков-то стегал Беспалова?

— Стегал-то за што? — повторил, по обыкновению, Дехтярёв. — А это, видишь, братец, вот как дело-то спервоначалу вышло, сказать тебе. Беспаловы-то, старики-то, шибко бедные; сам-то старик-то, братец ты мой, по приискам всё в работу ходил, пьющий такой, ни скотинки у них, ни ворошинки в доме-то не было; вот сын-то их, Митька-то, значит, подросток когда, так старики-то и отдали его в батраки к Мосейке-то, почесть из-за хлеба отдали-то. Паренёк он был смиренный такой, безответный; ему всего о ту пору девятнадцатый год шёл. Ну, ладно, а Чулков-то этот, скажу тебе, богатей, на языке у него всё Бог, а в душе — чёрт. Верь! Ну, жил это Митька-то, никак, с год у него, всё было ладно; только одна это и приедь к Мосейке-то купец в гости; ночь-то это он с Мосейкой прохоровадился, а наутро и домой собрался; вот Мосейка-то и подпряги ему в повозку што ни лучших коней тройку, особливо был жеребчик у него саврасенький, сам он его и выкормил, в цене был конь! Ну и посадил на козлы Митьку-то; Митьке-то и не впервой бы ямщичать-то, навывкиши был парень-то, да от греха-то ведь не убережешься, где подкатит. Грех-то человека, што ворон добычу, караулит — верь! Ну, то ли, слышь, саврасенький-то жеребчик заране уж испорчен был, то ли в самом деле Митька-то, угождая купцу, коней-то гнал очертя голову, только, слышь, саврасенький-то жеребчик и пал на дороге. С того и весь грех вышел! Как вернулся это Митька-то домой, услышал Мосейка-то, што саврасый его подох, и возьми его злость на Митьку, што загнал он его коня, и учни он его бить: би-и-ил, би-ил, окровянил всего... мало! Ногами, сказывают, топтал, и этого мало!.. Почесть уж полумёртвого, сказывают, привязал к столбу, да и прими его с сыном в кнутья жарить... Отвязали уж Митьку, говорили опосля, совсем мёртвого, — так и упал, не дышал уж. Увидел Мосейка-то, што дело неладно, и давай его ледяной-то водой из колодца отливать! Всего только с неделю опосля того Митька-то и выжил: так, как лежал без памяти, так и помер без памяти! Вот, брат, и послушай, да мотай на ус, как у нас, по буднишному-то, в деревнях живут, какие у нас, стало быть, по мужичьему званию ангелы водятся...

— А днём или ночью он бил-то его?

— Средь белого дня, на глазах всей деревни... Сказывают, как Митька-то кричал, так што из-за околицы слышно было! Вот, брат, каков у нас народец-то!.. Старики-то Беспаловы шибко спервоначалу-то убивались, особливо мать-то! Ну, да голова-то с Мосейкой урезонили их; так, брат, всё дело вместе с Митькой в землю и зарыли... Сказывали сначала, што батюшка-то ровно не хотел Митьку отпевать... да уж как там сделались — Бог их знает... Вот приголубь-ко, слышь,

Мосейку-то, штоб и другим наука была; вот и к тебе тогда Господь, может, зайдёт... обегать не будет!..

Рассказ Осипа был настолько важен, что члены комиссии признали неудобным оставить дело без расследования. Поэтому были вытребованы старики Беспаловы и крестьяне деревни Панютиной. Но на заданные вопросы отец и мать Дмитрия Беспалова отозвались, что ничего подобного не было с их сыном, что он помер от огневицы, и если Чулков поставил им новую избу, подарил лошадь, корову и дал денег, так единственно из снисхождения к их сиротству и преклонным летам. Показание их подтвердили и крестьяне деревни Панютиной. Когда уже допрос был окончен, в комнату неожиданно ворвался Дехтярёв и, протолкавшись через толпу, сел в переднем углу на лавке.

— Скучно мне, братцы, среди вас, — начал он, качая головой. — Уйду я от вас... убегу, в леса убегу... буду лучше жить с волками да медведями!..

— Полно, Осип Микитич, не спеши!.. Бог даст, очнёшься, ещё поживёшь и с нами, не гневи Бога, он ещё и на тебя оглянется! — кротко ответил ему какой-то старик среди всеобщего молчания, прерываемого глубокими вздохами.

— На меня-то он давно оглянулся, да вам-то это не в примету, — ответил Дехтярёв, — а вот от вас-то он отвернулся... потому вы и не люди!..

— А кто ж мы, по-твоему? — спросил старик.

— Идолы!..

— Полно, Осип Микитич, полно... за што ты ругаешь нас, чего мы тебе сделали, какое зло?

— Зло-о-о!.. Вы-то мне много зла сделали, а себе-то исцо боле...

— А коли мы сделали себе какое зло, так тебе-то что ж от эфтого? Пушай всякий за своё зло и купается, и идёт в ответ! — ответили ему в толпе. — За што ты мир-то маешь, следствия-то накликаешь на всех, — заговорили крестьяне.

— Я... я... я... вас маю?.. — вскочив со скамьи, раздражённо закричал Дехтярёв. — Худо ещё вас мают-то, ху-у-удо. Всякий за своё зло в ответ иди!.. То-то што в ответ-то за ваше зло другие ходят, а вы только в молчанку играете. Идолы, так идолы и есть... Неужто, кабы вы люди-то были, так не шевельнулись бы в вас души, глядя на то, чего деется кругом да около? Ты вот, Аким, старый человек, — обратился он к старику, который первый заговорил с ним. — Голова-то и борода у тебя белей мельничной притолоки, ты на Бога-то при каждом слове, как на костыль, упираешься, а вот совесть-то свою небось ничем не подпрёшь, штоб прямой держалась, а не виляла из стороны в сторону, как собачий хвост. На ваших глазах середь

бела дня Мосейка-то загубил Митьку, бил его, топтал ногами, полумёртвого стегал кнутьями; вся волость знает, што он от эфтого в землю ушёл, а вы молчите... никто ни слова не пикнет об этом душегубстве... потому што Мосейко бо-га-а-ат... всякий из вас думает к нему нос приткнуть, а будь-ка он бедный — и-и-и, ты бы первый его в острог усадил...

— Полно, полно, Осип Микитич, не грехи занапрасно!.. — уговаривали, желая успокоить его, крестьяне.

— Идолы!

— Не грехи... полно!..

— Пёсьи души!.. — кричал он, всё более и более разгораясь. — Окаянные, мало у вас своих-то грехов, так вы ещё и чужие-то на себя примаете... Глянь-ко, кто это... да скажите мне? — крикнул он, указав на икону, висевшую в переднем углу.

— Икона святая... Бог!.. — тихо ответил ему старик Аким, понурился и голову.

— Нешто такой Бог-то, а? Неужто Бог-то станет носить на себе ваш звериный облик! Не-е-ет, я уже покажу вам настоящего Бога... што не похож на вас...

И Осип с азартом бросился в передний угол; но его удержали. Он завязал с крестьянами борьбу... и только после долгих усилий его смяли и принуждены были связать ему руки и ноги.

После описанной сцены Осип притих, в течение нескольких дней он не выходил из дома, хотя ему предоставлена была полная свобода ходить везде и приставленные к нему казаки следовали за ним только издали. Всё это время он лежал на лавке, уткнувшись лицом в полушубок, заменявший ему подушку, но не спал, — сон совсем почти покинул его; иногда он что-то бормотал, но что именно — никто не мог понять. Стряпчий, которому доставляло удовольствие вести с ним различные диспуты, раза два посетил его; но Осип на все его вопросы не отвечал ему ни слова. Однажды, часу в одиннадцатом вечера, когда уж вся деревня покоилась глубоким сном, в квартиру, занимаемую членами комиссии, прибежал испуганный казак с известием, что Осип едва не зарезал свою малолетнюю дочь, но у него успели вырвать нож, и он нанёс только во время борьбы лёгкую рану в руку казака. Когда привели Осипа и спросили, за что он хотел зарезать дочь, он сел на лавку и обхватил голову руками.

— Добро я хотел ей сделать, — отвечал он. — Неужто у меня не болит сердце-то о моём детище? Ведь она кровь моя; ну какая ей услада в жизни-то будет!.. Отец не в своём разуме, мать потаскуха, неужели ей сладко будет на миру-то в

батрачках мыкаться? И всякий-то будет глумиться над ней!.. Э-эх, в могиле-то ей легче бы было... в могилке-то ти-ихо, не шелохнёт!.. Зимой-то её снежком укрыло б, а летом-то травкой, цветиками.

И Осип зарыдал... Грудь его тяжело колыхалась, и какие-то глухие, точно раздавленные звуки вырывались из неё...

С этого времени за ним усилили надзор.

Когда по окончании следствия Дехтярёва повезли из деревни, он не простился ни с женой, ни с ребёнком, ни с кем из крестьян, хотя всё село собралось и густою толпою окружило пошевни, на дне которых он лёг, закутавшись с головою в шубу. Многие из крестьян заплакали, провожая его. Плакала и жена Осипа, и более версты шла пешком за пошевнями, неся на руках пятилетнюю дочь, ожидая, что Осип, может быть, одумается и простится с ней. Весёлое настроение покинуло Осипа. Всю дорогу он молчал и на станциях редко выходил из пошевней; когда ему давали есть, он ел... но если о нём забывали, то он не напоминал о себе. По прибытии в город Осип поместили сначала на излечение в больницу, но, когда сумасшествие его приняло бешеный характер, его перевели в дом умалишённых, где он и помер.

Паутина

Рассказ из жизни приискового люда в Сибири

(Сцены)

Был жаркий июльский день, когда я в первый раз подъезжал к селу Т...ь. Усталые кони с трудом взбирались на гребни холмов, на которые взбегала порою узенькая просёлочная дорога. В воздухе было тихо и душно, и даже комары, стаями кружившиеся, преследуя нас во весь путь, попрятались от зноя. Ямщик дремал, лениво понукивая лошадей и помахивая на них кнутом. Когда же показалось село, внезапно выглянувшее из-за холма, он оживился и, обернувшись ко мне, спросил: «К Кузьме Терентьевичу завезти тебя, што ли?».

— Вези к кому хочешь! — ответил я.

— Поедем к нему: домовитый мужик-то, первый в селе. У него всякое начальство останавливается, по-купецки живёт! — пояснил он.

— Богатый, значит? — спросил я.

— И-и, страсть вымолвить! — протянул он, сидя на облучке, вполоборота ко мне. — Коней одних што-о, упаси господи! Всякий завод есть, касательно чего ни возьми. Одних самоваров, скажу тебе, никак с дюжину будет, во-от какой чинный мужик!

— Торгует разве чем? — спросил я, заинтересованный его пояснениями о домовитости Кузьмы Терентьевича.

— Торгующий! У них ведь там чуть не половина села все торгующие! — дополнил он, несколько помолчав. — Торговый народ, ловкий, маху, братец, не дадут, не-е-ет, и крещёного человека, и нехристя на одном сучке окрутят.

— Чем же они торгуют?

— Первое дело, братец ты мой, вином; второе тебе дело — харчами. У них, почеть, што ни дом, то и постоялый двор, и кабак. Лавок, брат, этих множество, ситцами теперича торгуют, обувью и всяким товаром, — ну, касательно и баб ихних скажу тебе, стра-а-асть сколько денег зашибают!

— Бабы-то чем же? — полюбопытствовал я.

— Чем? Хэ! — с иронией переспросил он и, приподняв картуз, почесал затылок, до того изъеденный комарами, что он представлял из себя сплошной нарыв. — Самородным талантом, — произнёс, наконец, он, растворив рот в широкую улыбку.

Дорога выбежала в это время на луг и взвилась вдали на высокий, расположенный террасами холм, снова скрывший от наших глаз село. По правую сторону дороги лежала глубокая лощина, так что вершины росших в ней деревьев не достигали крутого обрыва холма, обнесённого толстыми сплошными перилами. Настёганные ямщиком лошади пустились рысью, но, поднявшись только на первую террасу, остановились в изнеможении.

— Дай, братец, лошадам-то передохнуть, сделай милость! — обратился ко мне ямщик, приподнимая шапку и слезая с облучка.

Я вышел из телеги и, подойдя к обрыву, сел на высунувшийся из земли камень, густо обросший мхом. Ямщик тоже подошёл ко мне, и, достав из-за пазухи трубку, набил её табаком из кисета, сшитого из ситцевых лоскутков, и, вырубив огня, опустил на землю.

— Какие благодатные места у вас, — сказал я, любясь на снеговые горы Алтая с бледно-розовыми вершинами, клубившимися на горизонте, как облака. Вдали, за зеленеющей грядой холмов, сплошную стеною тянулись леса, окутанные лёгкою синеватою дымкой, — «чернь», как называет их народ. Внизу, у подошвы самого холма, на котором сидели мы, лежала долина, покрытая роскошно растительностью, какою отличаются долины предгорий Алтая.

— Места у нас — умирать, брат, не надо! — отозвался ямщик на моё замечание. — По этим местам только жить бы да жить нашему брату, а всё, друг мой сердешный, мается народто: и хлеба теперича урожай, не пожалуемся, и пчёлка водится, медку-то тебе за лето с избытком припасёт она, а маемся, диви вот! — заключил он.

— Отчего же вы маетесь?

— Отчего? — повторил он. — И хорошие, брат, места у нас, да глухие, суди сам: теперича в урожайный-то год хлеб-то хошь даром отдавай, так никто не берёт у тебя, вот оно дело-то! А подать-то не ждёт, по хозяйству тоже без гроша клина не вобьёшь, а где их, грошей-то брать прикажешь? И отдаёшь всё задаром, да ещё накланяешься, только возьми Христа ради! Ну, у кого лошадей много да во времени избыток, нагрузит воз да в Т...-город везёт, ему и выгода, и богатеет, а нашему-то брату несподручно это, потому и лошадушек намаешь, и время-то тебе терять не доводится. Ведь на ездугу-то в город, братец ты мой, по путному волоку месяца полтора клади; харчи тоже надоть тебе и коням, оно и выйдет, што коли ты и продашь хорошо, так на себя, на коней протравишь сколько, а домой-то всё с пустым карманом вернёшься. Да и в городу-то, коли много нашего брата наедет, так тоже напла-

чешься, цену-то тебе так ушибут, што хоть домой вези или за даром тому же прасолу отдавай. Сподручно ль оно, суди сам! Вот ты и у хлеба сидишь, а горя всё не минуешь. Одни вон круглый год на печи лежат, палец о палец не ударят, а другие на них робят да тыщами им несут! Струна, брат, им! — заключил он, сдёрнув с головы картуз и сердито почёсывая изъеденный затылок.

— Кто же это работает на них да тысячами к ним носит, а? — спросил я.

— Кто? Таёжники, приисковые рабочие, вот кто! — ответил он, искоса взглянув на меня. — Вишь, село-то их стоит первым на пути по выходе рабочих из тайги-то. Лето-то таёжники робят, свету не видят, никакой, значит, льготы им хозяева-то не дают, — ну, денег-то зарабатывают ничего себе; иной, коли в аккурате содержит себя, и помногу выносит их с приисков-то! Ну, как придут в Т...-то, а тут и не зевают, встречают их, братец ты мой, со всяким удовольствием, а те, известно, и распояшутся, да всё, чего ни заробят за лето, своими руками и покладут в карманы т...ских мужиков. Слышал? Ну, как не житьё а?

— Этим только и живут т...цы?

— Самым этим промыслом. И ловкачи же, брат, они — а-а-ах ты боже мой! Ну! как не скажешь, што всякому своя фортуна, а? — тоскливо воскликнул он.

— Завидно, поди, вам, глядя на такой промысел, а?

— Как, братец, в ину пору не позавидуешь! — уныло ответил он после непродолжительного раздумья. — Ты робишь, робишь всю жизнь не покладая рук, а всё у тебя прорехи одни, нигде цельного места не найдёшь, а тут вон под боком у тебя твой же брат, мужик, да ведь как к энтому-то делу приладился. И живёт-то всласть, ни горя-то у него, ни заботы, а всего-то у него вдоволь, и знаешь ты, што он такой же мужик, как ты, а робеешь перед ним, издали-то завидишь его, так сама рука к шапке тянется.

— Чего же робеть-то?..

— Как ты не оробеешь перед ним? — прервал он меня. — Ведь он купец, ведь у него карман-то от денег трещит да врозь лезет. Какая напасть тебя пристенет, куда ты без него денешься? Захочет он, из петли тебя вынет, а рассерди его — сам на тебя петлю накинёт. Ну и ублажаешь его на всякий манер!.. Так к Кузьме Терентьичу тебя завезти-то, што ли? — снова спросил он, выколотив докуренную трубку и завертывая её в кисет.

— Вези к нему!..

— Богатый мужик! — повторил он, взлезая на облучок, — и голова же, брат, о-о!..

— Умный?

— Ума этого у него в три беремя не облапишь. Да вот поглядишь сам, каков он есть, Кузьма-то Терентьич! — произнёс он, трогая лошадей.

Отдохнувшие кони пошли бодрее в гору, и через несколько минут мы были на вершине холма, у которого лежало село. Общий вид села, особенно с вершины холма, напоминал своею формою подкову, упиравшуюся обоими концами в обрывистый берег реки Т...ь, по имени которой называлось и самоё село. По середине села стояла высокая каменная церковь, и купол её, обшитый белой жостью, ярко горел теперь от солнечных лучей. Спустившись с холма, мы въехали в широкую прямую улицу, обнесённую по обеим сторонам низенькими, иногда покосившимися и вросшими в землю избушками, среди которых то по одну, то по другую сторону улицы неожиданно вырастал перед глазами высокий одноэтажный или в два этажа дом, с балконами, покоившимися на затейливо выточенных колоннах, с резными, ярко раскрашенными ставнями и плотными деревянными заборами. Странный контраст представляли подобные дома, высившиеся среди соседей своих, изнурённых летами и непогодами. Они походили как будто на новые, яркие заплаты, нашитые на ветхом рубище нищего, и своею вычурной красотой сильнее оттеняли убогий и невзрачный вид лепившихся возле них лачуг.

Ямщик остановил лошадей перед одним из таких выдающихся наружностью домов, и едва я слез с телеги, как плотные резные ворота раскрылись настежь и меня встретил крестьянин лет пятидесяти на вид, в тиковом халате, накинутом поверх чистой ситцевой рубахи. Седые, несколько вившиеся волосы на голове его были подстрижены в скобку и отчасти закрывали высокий лоб, изрезанный морщинами; маленькие карие глазки, светившиеся из морщинистых орбит, пристально остановились на мне.

— Добро пожаловать, милости просим! — произнёс он, кланяясь. — А мы, признаться, давно уж поджидаем вашу милость! — говорил он, ведя меня по лестнице, устланной чистым холщовым половиком, в верхний этаж своего нового, красиво и удобно расположенного дома.

Введя меня в обширную комнату, оклеенную пёстрыми обоями, с окрашенными под шахмат полами, Кузьма Терентьевич вышел, чтоб присмотреть за моими вещами. Комната была уставлена массивными креслами с мягкими подушками, обтянутыми светлым с бирюзовыми полосами ситцем. У передней стены между окнами стоял большой мягкий диван; около дивана круглый стол, накры-

тый белою скатертью, и на столе красовался массивный бронзовый подсвечник с тремя стеариновыми свечами. В простенке висело большое зеркало в резной орехового дерева раме. По стенам были развешаны в деревянных рамах гравированные портреты членов царской фамилии и портрет Ермака, писанный масляными красками. Завоеватель Сибири был изображён в рыцарском шлеме с огромным страусовым пером красного цвета, в кольчуге и с копьем в руке. Кисейные занавески на окнах, прикрепленные вместо розеток розовыми ленточками, дополняли убранство комнаты. Большая стеклянная дверь в углу вела на балкон, с которого открывался прелестный вид на окрестности села.

— Пожалуйте-ка, ваша милость, выкушайте, с дорожки-то оно способно! — раздался сзади меня голос Кузьмы Терентьевича, поднёсшего мне на небольшом корковом подносе рюмку с виноградным вином. — Обычай у нас такой, чтоб с дороги обогреть человека, — отвечал он на мой отказ, — входя в дом, от хлеба-соли грешно отказываться!

Нам подали чай. Усадив меня на диван к круглому столу, Кузьма Терентьич сел около порога и, закинув полы своего халата, ещё раз пристально оглядел меня. Не говоря об убранстве в доме, которое резко бросалось в глаза своею щеголеватостью, хотя отчасти и безвкусной, об обширном дворе, обнесённом громадными пристройками, каждая мелочь, на которую падал взгляд, доказывала не только крупную зажиточность Кузьмы Терентьича, но даже знакомство его с некоторым комфортом. Варенье к чаю подано в хрустальных вазах, которые бы сделали честь любому купеческому дому. Чайные ложки, щипчики для сахара, вилочки для лимона были из чистого серебра; даже поданы были салфетки под стаканы и сухари и печенье московского изделия, достигающие в Сибирь через ирбитскую ярмарку, — всё это как-то странно было встретить в доме крестьянина, в селе, заброшенном в такую глушь. Заметив, что я обратил на окружающую меня обстановку внимание, Кузьма Терентьич улыбнулся и окинул меня самодовольным взглядом, как бы говоря: «А что, брат, не ожидал, небось, этого встретить, так вот знай же теперь, каковы мы, т...ские мужики!».

— Пондравилось ли вашей милости село-то наше? — улыбаясь, спросил он, наливая чай на блюдце. — Многие его очень одобряют, особливо когда в первый заедут к нам.

— Красивая местность! — ответил я. — И самоё село по большинству своих зданий скорее походит на город. В первом ещё селе я встретил такое обилие лавок, только где же вы находите покупателей на свои товары? — спросил я.

— Не мы, сударь, покупателей ищем, а покупатель нас. В глухое время-то пожаловали вы к нам. По осени бы вам заехать сюда, любопытней бы для вас было.

— А осенью разве что-нибудь особенное происходит у вас?

— Много особенностей, мно-о-ого-с! — повторил он. К таёжникам бы пригляделись на всю ихнюю неосновательность. Безобразный народ! — заключил он, ставя на стол допитое блюдо.

— Чем?

— Как вам рассказать — чем, сразу-то всего не расскажешь. Это надобно, сударь, своим глазом видеть. Теперича, не утаивая правды скажу, про наше село худая слава идёт, чай и вы, поди, слышали? — с иронией посмотрев на меня, спросил он. — По людской-то молве хуже нашего мужика и на свете нет: и грабители-то мы, и народ спаиваем, штокб легче его под пьяную руку обирать, и чего-чего, каких только художеств и качеств не говорят про нас! Как послушать всех речей, так ровно у нас и не село, а разбойный притон.

— Поговаривают, что так... — прервал я.

— Знаем, сударь, што поговаривают, как не знать, — покачав головой и подувши слегка на чай, налитый на блюде, продолжал он. — А только всё это неправда, сударь, клевета одна да зависть. Кушайте ещё-с, пожалуйста, милости просим, чаёк у меня хороший, — говорил он, принимая от меня допитый стакан. — Ящиками покупаю, торгую им малым делом, в числе прочего. Худым уж вашу милость не попотчужем! Я ведь и на прииски, сударь, в ину пору чаи поставляю, а приискатели — народ тонкий, на эту материю разборчивый.

— Верю, и чай у вас, действительно, прекрасный, только я не хочу более...

— Жаль, што мало кушаете, а мы так, признаться, с утра и до ночи около самоварчика-то охлаждаемся, очень к чаю-то навькли. Может, закусить не прикажете ли чего, у нас и балычок астраханский есть, и икра, и сардиночки, и вина, каких только пожелаете...

— Домовито вы живёте, Кузьма Терентьич! — заметил я.

— Нельзя иначе, сударь. Коли с хорошими людьми компанию водить, так и про запас держи всё хорошее. У меня ведь, сударь, все золотоприискатели остановку имеют, народ — тысячники, худого им не подашь, коли спросят чего. А мы теперича, хоша и в крестьянском звании состоим, а тоже анбицию свою соблюдаем! — заключил он, многозначительно взглянув на меня.

— Вы здешний уроженец?

— Природные здешние! И батюшка покойник, и дедушка не выезжали никуда из здешних местов. Ведь наше, сударь, село и жить-то пошло с тех пор, как золото в тайге открыли, а допрежь того на этом месте посёлок стоял, в котором было ли и шесть дворов; ну, а когда золото открыли, то потребовалось для приисков и то, и другое, и третье; золота в те поры добывали много, деньги-то были дешёвы, так сказать, нипочём, приискатели-то зря их металы за всякую маломальскую послуку, ну народ-то и повалил сюда ради наживы, да из шести-то дворов теперь выросло без малости триста. А наш-то род — издавние здешние старожилы. Тятенька, покойник, и церковь-то самолично заложил, и своим коштом воздвиг оную. Две серебряные медали покойник носил — одну малую, другую большую на шее, а всё-таки остался, сударь, в крестьянском чине и мне благословения не дал из сермяги вылезать!

— Отчего же, по любви к своему сословию или по другим причинам?

— Покойник так говаривал, сударь: с твоим-де капиталом да властью по крестьянству ты всегда будешь первым человеком, и чего бы ты ни сделал, всё тебе с рук сойдёт, потому ты мужик, а с мужика какой взыск! А коли в купцы, говорит, выйдешь, то в ранговые-то не попадёшь, а на задворках путаться и сам не захочешь.

— В какие же это ранговые? — полюбопытствовал я.

— По вашему-то, сударь, сказать — первостатейные...

— Но вы всё-таки торгуете же?..

— По купеческому свидетельству, и в то же время все крестьянские тяготы несём, наравне с иными прочими. Торговля наша, сударь, не то чтобы обыденное занятие, а ближайшего на ярманку смахивает. Раз в году, не более месяца, мы эфтим делом занимаемся, когда, значит, по осени приисковые рабочие из тайги выходят, а в остальное время мы и лавок не растворяем, разве только за товаром приглядеть да лавку проветрить понадобится. Да и товары-то у нас, сударь, не ахтительные, по скусу рабочих закупаем их: готовые ситцевые рубахи, шаровары плисовые, шляпы поярковые, сапоги, бродни, полушубки, ну, опояски што поузорней, зипуны, а таких, штобы дорогих, нет. У меня, окромя этих товаров, бакалейные ещё имеются, пряники, орехи разные, конфеты, варенья, што касается, значит, до лакомств; ну, вина разные, и закуски. А главная теперича статья — это постоянные дворы, харчи и прочее содержание рабочих. Ведь мимо нашего села-то, сударь, не одна тыща этого народа проходит: ведь если бы теперича не мы, ваша милость, оберегали рабочих, так тут бы один Господь ведал, что бы делалось на свете...

— Вы оберегаете рабочих, — чем же это и от чего?

— Мы-с!.. Истинно говорю вам, што благодетельствуем им; если бы только не мы, о-о господи, и слова-то не найдёшь сказать, чего бы только не творилось меж ними! — произнёс он, махнув рукой и пытливо исподлобья посмотрев на меня, как бы желая уловить, какое впечатление производят на меня его слова. — Грабежу бы этого, убийства сколько было, — продолжал он, — да так скажу вам, сударь, што и третья бы часть их не возвращалась домой, все бы перерезали друг друга, ей-богу-с!.. Теперь вот в народе зовут нас плутами, грабителями, а всё это зависть одна людским языком ворочает, глядя на нашу избыточную жизнь, а если бы попытали на себе, сколько хлопот нам с этим народом да неприятностей, так не то бы заговорили...

— Какие же такие неприятности и хлопоты? Объясните мне, я всё-таки не понимаю, — спросил я.

— Хлопоты, сударь, такие, што и врагу их не пожелаешь. Ведь на приисках работать идёт всё такой народ, у которого ни Бога, ни совести нету; идут-то всё более варнаки-посельщики, што ни самые оголтелые. Денег-то они зарабатывают и выносят оттуда помногу. Придёт он к нам и почнёт ломаться, дорвётся до вина-то, так ведь облик человеческий потеряет, в эфтом-то вине так и норовит друг друга ограбить, а то и на нож посадит. Ну, не остереги его вовремя, так чего бы было?.. Вот и оберегаешь его, Бога памятуя, а чего стоит тебе оберечь-то его от худых-то дел, никто не видит, а што живём-то избыточно, так это вот всем глаза колет!

— Как же оберегаете их?

— А как несмышлёных младенцев няньки остерегают, сударь, так и мы. Пустишь их на постой к себе, да и смотришь за ними в оба, как опекун какой!

— Вот что! Но всё-таки опека-то эта приносит же вам какую-нибудь выгоду?

— Слова нет, не без выгоды! Какая же опека бывает без выгоды, хе, хе! Да ведь выгода-то выгоде разная, сударь. Рабочий-то приходит к нам голодный, оборванный, на ином такой гардероб болтается, што все родимые пятнышки сквозят: из хозяйских-то запасов на приисках они не очень-то любят заимствоваться, потому там с них за всякую малость вдсятеро берут. Ну, ты и оденешь его, как подобает человеческому званию, напоишь, накормишь, теплом его душу отведёшь, — в энтот, полагаю, сударь, ведь нет греха? — исподлобья, с усмешкой посмотрев на меня, спросил он.

— Конечно, нет, — согласился я.

— А ведь теперича всего этого тоже даром ему не дашь, — продолжал он. — Ведь всё, чего ни даёшь ему, ты и сам по-

купаешь, ведь рубахи, сапоги и зипуны не растут в лесу, как грибы, да если бы и возрастали даже, так мы судим, што и собрать-то их всё же бы и труд, и время требовалось, хе, хе! Если ты и оденешь его с ног до головы, то всё-таки супротив ихних-то хозяев, приискателей-то, берёшь с него самую божескую плату. Поить и кормить его даром нам тоже не доводится... потому уж очень убыточно бы было... — этак-то хлебосольствовать. Ведь его пустыми щами да кашей, сударь, не ублаготворишь, не-е-т. Мы, говорят, тухлой-то солонины под соусом из червей и на приисках досыта наполоскались, хе-хе! Очень, говорит, довольны эфтим явством, так уж ты, говорят, нам теперича еды-то отменной отворачивай. Первым делом щей со свежей свининой, каши, лапши всякой, и штоб всё это плавало в жиру и масле; вторительно поросёнка, гуся, да-а-а-с, хе, хе! Вот ведь они каковы, приисковые-то работнички! — с иронией заключил Кузьма Терентьич. — А ведь чуть теперича не уважил его, не по скусу его сделал, так ведь он, сударь, и посуду вдребезги об пол махнёт, и еду за окно выбросит, потому, говорит, поколь у меня деньги есть, так ты меня уважай, хе, хе!

— И уважаете?

— Уважаем-с! Даже в полном чувстве.

— А чем же вы выказываете подобное уважение к ним?

— Приноровкой к их скусу и ндраву: потребовал он, к примеру, поросёнка, ну, и жарить ему поросёнка; он гуся — подаёшь ему и гуся; ешь, не ешь, а уж цену, что стоит, плати, и уж насчёт платежу, правду сказать, содержат себя по чести, што ни спроси с него, отдаст без слова.

— Не торгуясь?

— Избави Господи! Завода энтого нет, даже за обиду считают торговаться. Иному, сударь, ради потехи скажешь, особливо если покупает што: «Не дорого ли будет, мол, для тебя, подумай!». Так куда тебе, сейчас в азарт войдёт. «Што, говорит, разве у меня денег нет, а?...» И какая у него сумма есть, всю налицо представит: знай-де меня! Вот каков народец-то! Платят без слова, чего ни спроси, за копеечную вещь десять рублёв без разговора выложит, только потрафляй ему!

— И подолгу живут они в вашем селе?

— А жительство их, сударь, длится смотря по деньгам: у кого денег побольше, тот и живёт подольше, и все, почесть, проживаются до последней копейки.

— Неужели до последней?

— По порядку-с, как исстари повелось. Покамест он не пропёт и не проест своего заработка, не уйдёт из села. А уж когда дойдёт до конца, выворотит карманы, тогда надевает на себя дерюгу, в какой пришёл или какую дашь ему из мило-

сти, соболезнуя об нём; взденет на плечи кошель, попросится степенно, по чести, и идёт домой, побираясь христовым именем, а боле всего опять на те же прииски ворочается в хозяйский контракт.

— Чем же в таком случае вы их благодетельствуете, Кузьма Терентьич, и от чего охраняете? — спросил я. — Я думал, что вы им не даёте заживаться в вашем селе, чтобы они не пьянствовали и не мотали заработанных денег, и тем охраняете и их, и семьи их от нищеты.

— Превратно поняли, сударь! — строго произнёс он. — Неужели вы полагаете, што мы не христиане, што ни души, ни совести в нас нет, штоб мы осмелились воспрещать человеку передохнуть недельку-другую с дороги, а стали бы гнать его домой и после этакой, теперича, каторжной жизни и работы, какую они несут на приисках, не дали бы им полакомить своей утробы! Напрасно вы, сударь, так полагаете об нас, — говорил он, укоризненно качая головой. — Избави Господи! Да неуж мы не люди? Ведь он там робит-то, сударь, передыху не знает: ещё солнышко не взойдёт, а его уж на работу гонят, да с последней зорькой спустят с неё. Тепло ли, холодно ли, здоров ли, немощен ли, его не спросят, знай одно — робь, подчас по колено в воде. От грязи да от всякой нечисти у него ведь кожа-то с тела лупится. Вот сколь сладко ему деньги-то достаются! Кормят-то его там таким добром, што собака рыло отворотит, а ведь он человек, сударь, ему, как и нам, грешным, и отдохнуть хочется, и сладким кусочком побаловаться, и чистую рубашку на обмытое тело вздеть, и хошь денёк-другой пожить всласть, по своей воле, господином своего достатка; так неуж у доброго человека, в ком христианская-то душа есть, повернётся язык сказать ему: а ты вот не пей, сладко не ешь, путной одежи себе не покупай, а подь от нас со Христом к своему двору. Нет, сударь, так поступать не гожо-о. А на мой ум, пуцай он балуется, Господь с ним, ему только и услады-то, может, в жизни, штобы хоть недельку-другую сладко попить и поесть, а если он и пропивает и проедает всё до копейки, так ведь не чужое, а своё кровное, сударь, и Господь с ним: всякий своему добру хозяин и волен ему распорядок иметь.

Голос Кузьмы Терентьича, когда он произносил эту тираду, дышал таким неподдельным сочувствием к безотрадной жизни приискового рабочего и в то же время таким сознанием высокого христианского подвига, какой совершают т...ские жители, предоставляя ему возможность сладко пить и есть у них за свои кровные деньги, что доказывать ему значение этих услуг в их настоящем свете было бы бесполезно.

— Прогнать! — раздражённо произнёс он после минутного молчания. — Да как вы его прогоните, сударь? Да не

што найдётся такая власть, которая удержала бы таёжника от разгула после той жизни, которую он влачит на приисках? Невозможное дело-с!.. Да не дайте вы ему вина, не потрафьте по его вкусу, скажите-ка ему: поди, мол, домой, а у нас зря не балуйся, так ведь знаете ли, чего будет-то?

— А что?

— Он по бревну разнесёт всю деревню, истинно, как перед Богом говорю вам! На ножи пойдёт! Допреж чем осуждать-то нас, сударь, надоть знать, с каким мы народом дело-то ведём. Ведь это оголтелый человек-то, он и свою-то жизнь ниже гроша ценит, а чужая-то ему и того дешевле. Порассказать если бы вам, что они друг с другом творят, так ужась возьмёт! С приисков-то они партиями, человек по пятидесяти, иной раз по сту и более. Уж каждый из них друг у дружки денежки хоронит или в онучу, или зашивает куда: до нашего-то места их ещё казаки* сопровождают, охрану им содержат, и то не помогает, и тут, кто половчей, высмотрит, где у благоприятеля деньги спрятаны, улучит минуту и ограбит его. Ведь как от лютого врага они друг от друга-то стерегутся. Не мало и убийств бывает среди них, ваша милость, за копейку задушат отца родного. Вот ведь это какой народец-то, сударь. Бо-ольшой навык требуется дело-то с ним вести. Годами надоть механику-то эту постигать. Около приискового рабочего, как около огня, ходи да поглядывай, шtbody и себя не сжёт, и тебя не спалил!

— А случается, и опаливает?

— Бог милует, сударь. Потому уж политично натягиваешь струну, чтоб играла, да не заигрывалась. Первое дело — уже характер каждого из них знаешь, каким ему словом или делом потрафить и чем унять в случае азарта.

Когда же вы успеваете характеры-то изучать, помилуйте, сами же говорите, что их проходит через ваше село по нескольку тысяч? Ведь это невозможно.

— Самое лёгкое дело, сударь! — ответил он, усмехнувшись. — Уж каждый рабочий знает теперича своего хозяина: уж если он сегодня пристал на фатеру ко мне, так и пойдёт уж на всю жизнь к моему дому приворачивать. Насчёт этого они народ ручной... ну, тут и примечаешь за ним, поколь не спознаешь его, што за птица, а спознать это — не ахти какая наука, все они народ очень натуральный!

— Как это — натуральный, что это значит?

* В Западной Сибири на золотые прииски постоянно командировается одна сотня линейных казаков как для охранения порядка, так и для сопровождения партий рабочих по окончании приисков до населённых пунктов. — *Прим. автора.*

— А так теперича доложу вашей милости, что по естеству своему неотёсанный, што у него на уме, то и на языке, уж если он лют ндравом, так уж с первого дня покажет весь этот свой норов. Ну, за таким человеком и уход у нас особый.

—Какой же?

— С исподтиха окручиваешь его — то ты, мол, лют, да и во мне, мол, этой лютости тоже очень достаточно, уже если что, благослови Господи, так и у меня расправа коротка. Потому-де на лютость и мы лютость питаем... Ну, этими резонами и введёшь в рассудок, укротишь его. Мук много с ними принимаем, ваша милость, недаром тоже от них хлеб едим, а истинно можно сказать, что в трепете сердца и в поте лица.

— Отчего же вы трепет-то сердечный ощущаете, Кузьма Терентьич? Если вы знаете характер каждого из них, умеете с каждым из них обойтись, так, мне кажется, вам и бояться их нечего.

— Много опаски, сударь, испытываем. Правду надо сказать, што половина сентября и октября самое доходное для нашего брата время, самая, можно сказать, жатва, потому в эти месяцы мы на весь год хлеб выручаем. Но иной раз, сударь, так дело выходит, што во весь год от страху-то не отдышишься, какого за энто время наберёшься! потому в чужую-то душу, как ты ни знай её, а всё не влезешь, только и ходишь да сторожишь, как бы тебя не подпалили, как бы кто кого не убил, аль в тебя бы не пустил железного козыря. Каторга энто время для нас, сущая каторга! Иной бы на нашем месте, если б с недельку понёс на себе энто иго да тревоги, так не стал бы говорить, што нам деньги зря плывут в руки, не стал бы нам завидовать, да поносную славу про нас по свету разносить, не-ет, не стал бы, а скорее пожалел бы нас!

— Если вы сознаёте, Кузьма Терентьич, что подобное ремесло, которым вы занимаетесь, и тяжело, и опасно, так отчего же не оставите его, чтоб не испытывать более таких трудов и опасностей, а?

— Это легко сказать только, сударь — брось!

— А что же?

— Хе! Это по-нашему всё единственно, што сказать голодному человеку: не ешь! Брось, а жить-то чем прикажете?

— Как чем? У вас у всех есть достаток, вы живёте на таких прекрасных хлебородных местах, займитесь хлебопашеством, скотоводством, пчеловодством, — в убытке наверно не будете.

— Отвыкли-с, — сухо ответил он.

— Разве у вас в селе никто не занимается хлебопашеством?

— Кое-кто и сеются, есть, а нам не к чему-с! Мало ли окрест нас сёл и деревень хлебопашество-то ведут, в хлебе-то по уши зарылись, а всё нищие, всё около нас же колотятся. Куда вы его сбывать-то будете? У иных вон есть хлеб-то, в скирдах по пяти, по по шести лет стоит, а у него бродней купить не на што, штобы от холоду оборониться. Вот и сейте его. Нет, не дело это, сударь. Сколь ни опасен наш промысел, какая худая слава ни идёт про него, а всё он прибыльней. За глаза-то нас все ругают, а чуть нужда — к нам же бегут: выручи!

— Кто же это к вам за выручкой-то идёт?

— Да все, почесть: и крестьяне из суседских сёл и деревень, да подчас и городское купечество, и господа чиновники, и золотоприискатели в ножки нам кланяюся: снабди капиталом.

— И снабжаете?

— Што же поделаешь, коли человек убивается пред тобой, стоит иной раз да плачет, готов тебе, мужику, в ноги поклониться!.. Ну, и сжалишься, дашь! Разве только иной раз зло заберёт, так вымолвишь: «Пошто, мол, это мы на твоём языке подлецы и воры, а ты честный человек да в ноги нам кланяешься, ссуды просишь, а-а? Это у подлеца-то?.. Если, мол, у меня деньги краденые, так пошто же это ты-то, честный человек, свои-то руки об них пачкать хочешь, а? Я бы, мол, на твоём месте, по честности своей, не коснулся бы до них».

— Ну, что же они говорят на это?

— Хе, хе, што говорят! Да коли честному человеку, сударь, деньги надо, так подлец-то ему хошь в глаза плюнь, он и тут слова не вымолвит, только ссуди его, выручи, будь ему отец-благодетель! Э-эх, сударь, насмотрелся я на честных-то! — усмехнувшись, произнёс Кузьма Терентьич и с презрением махнул рукой. — Он потоль и честен, коль ему украсть негде, так все вот эти честные-то люди, што завсегда об деньгах скучают, где бы только промыслить их, и ругают нашего брата вором и подлецом, а посидели бы они на на нашем месте, так хуже бы нас в тысячу крат были, как перед Богом говорю вам.

— Не лестного же вы мнения о честных людях, Кузьма Терентьич, — заметил я.

— Злобу питаю к ним, истинно скажу вам, сударь.

— За что?

— За самую энту ихнюю честность!

— Разве она вам глаза колет?

— В моих глазах, сударь, столько брёвен сидит, што уж не токма сучку, а игле-то места не найдётся в них, поистине скажу вам, таиться не буду, не к чему! Я теперича такое размышление имею о себе: я вор, грабитель — одно мне звание, ну, и

пущай будет так, и не я один теперича, а всё наше опчество воры и грабители; так уж, коли мы этикие худые люди выродились, так пущай весь честной люд и забудет об нас, презрит нас, забудет, в каком месте и дорога-то к нам идёт! Не-е-ет, отбою ведь нам от честных-то людей нет, сударь, о-о-отбою нет... Так какие же опосля этого они честные люди, коли к знакомому подлецу за всякой нуждой бегут... За глаза, поихнему, хуже меня человека нет, а в глаза мне таких сластей насказывают, што слюны текут, слушая их. Вот за энту-то неправду во всём я и злобствую на них. А уж коли ты честный человек, а я подлец, так ты и презри меня, ругай и за глаза, и в глаза; у тебя и чёрствая корка, да честным путём добыта, а у меня и сдобный пирог, да краденый, так уж ты на мой-то каравай рот-то не разевай, а плюй на него, попирай его ногами, тогда и я, может, совесть восчувствую и позавидую твоей скудной корке. А теперича оно так выходит, што я, может, для того ворую и граблю, штобы только над честным человеком издеваться, да за всякое время его же из беды выручать, — для того и сдобный пирог ем, штобы он с голоду-то зубы на него скалил да завидовал мне... хе... хе-е... Очень это тяжело, сударь, как порассудишь...

— Отчего же собственно тяжело-то вам?..

— От людской-то неправды, от зависти-то энтой да от ругани, а как посмотришь, говорю, поприщурившись, на людей-то, так честные-то мы самые и есть, потому никого не ругаем, никому не завидуем, ни на кого не клеветем... Знаем все свои грехи и не скрываем их, и пущай их судит Господь Бог, а не люди, — произнёс он, вздохнув и посмотрев в передний угол, где висела огромная икона Божией матери в золотой ризе и в богатом вызолоченном киоте. — А поистине скажу, ваша милость, как кто ни думай, а мы истинные благодетели для присковых рабочих, потому и жизнь их охраняем, и охраняем их от смертного греха.

Голос Кузьмы Терентьича снова зазвучал при этом сознанием высоких христианских добродетелей и подвигов, принимаемых на себя с таким самоотвержением для спасения заблудших и погрязших в пороках оголтелых рабочих.

Поездка моя в Т...ь последовала по поручению произвести официальное удостоверение по жалобе крестьян т...го сельского общества на злоупотребления волостного головы Клокачёва. В прошении, поданном крестьянами, в числе разных незначительных оговоров говорилось, между прочим, о насильственных денежных поборах, производимых с них Клокачёвым под предлогом взимания податей, превышавших по их расчёту существовавший оклад, о притязательных действиях его к лицам, содержащим питейные дома, и к сельско-

му старосте, которого Клокачёв, превысив власть, самовольно устранил от его обязанностей без объяснения причин. В прошение были включены «похвальные» слова Клокачёва, произнесённые им, говоря языком составителя просьбы, в неистовом азарте и с пеной у рта, при всём т...ском сельском обществе, что «он-де, Клокачёв, жив не будет, коли не разорит их всех и не пустит по миру, в поучение всем крестьянам, кои вздумают противиться власти волостного головы!». Прошение это, подписанное более чем сотней домохозяев, взывало к заступничеству властей за угнетаемое общество крестьян несправедливых и корыстных притеснений головы, питающего злобу к ним за то, что при выборе его в головы они не подавали за него голоса, как за человека, который ещё с юности неоднократно был замечен в воровстве, и избежал законного преследования только по неимению улик. Самый выбор Клокачёва в головы, как говорилось в просьбе, произведён был незаконно, за него не было подано голоса ни одним крестьянином, пользующимся уважением, а выбран он был исключительно злонамеренными людьми, которые в видах потворства Клокачёва к их преступным действиям выкрикивали его, как говорилось в прошении, «нахрапом»!

Волостного голову Клокачёва я знал как человека честного, пользовавшегося большим уважением и доверием среди крестьян. В течение трёхлетней службы его ни разу не слышал даже незначительной жалобы на его действия. Человек он был грамотный, что редко встречается в Сибири, трезвый, обладавший ясным практическим умом, который при всей своей видимой мелочности, на деле всегда оказывался глубоко дальновидным. Земские власти не симпатизировали ему и отзывались об нём как о человеке грубом и своеобразном. У Клокачёва было много неприятностей по службе вследствие постоянных доносов на него волостного писаря, боявшегося его зоркого глаза, и духовенства, подозревавшего его в принадлежности к какой-то секте, и вследствие частых неисполнений приказаний своего ближайшего начальства. Так, однажды ему предписали, ввиду проезда какой-то особы, выслать немедленно крестьян для исправления дорожных участков. Предписание это последовало в начале августа, в самую дорогую рабочую пору. Клокачёв оставил его без исполнения. Особа проехала, не обратив даже внимания, в каком состоянии дороги, а Клокачёва после проезда её вытребовали в город для объяснения, грозили предать суду, но ограничились тем, что посадили его на неделю под арест. «А всё-таки крестьянство-то и с сеном, и с хлебцем... слава тебе Господи... вовремя управилось!» — произнёс он, перекрестившись, когда его повели в кутузку.

Каждой жалобе на Клокачёва земские власти придавали особенное значение, а тем более было придано значение прошению т...кого сельского общества на притеснения его, унизанному в конце более сотни подписей. Желая узнать мнение Кузьмы Терентьича, как человека, по-видимому, влиятельного в среде своего общества, о причинах, вызвавших столкновение крестьян с головою, я спросил его, что за человек, по его мнению, Клокачёв.

— Флегонт Митрич, сударь, — ответил он, пристально посмотрев на меня, — человек, што сказать, хороший, правдивый, совестливый. Это и грешить нечего.

— А вам известно, что многие из крестьян вашего общества подали жалобу на его притеснения?

— Известно-с, как не известно-с! В деревне бы жить, да не знать, чего деется в ней, — с усмешкой ответил он. — В деревне-то, сударь, вы и шепотком слово скажете, а отголосок-то от него на всех концах откликнется, ка-а-ак же-с. Очень даже известны насчёт эфтого дела, — повторил он.

— Верно это, что он притесняет ваших однообщественников?

— Господь его знает, сударь, — уклончиво ответил он, — мы в стороне от энтых делов живём, по особице.

— Как по особице?

— Што не касается нас, так и не вмешиваемся.

— Но вы знаете же причины, вызвавшие эту жалобу?

— Поспорили они по малости между собой, ваша милость, — ответил он, несколько подумав, — ну, и вышла уособица: и Флегонт Митрич погорячился маненько, и общество в строптивость впало... Не хвалю...

— Кого?

— Обоих, коль сказать по правде, сударь. А впрочем, устраните меня от энтото разговора; потому как дело это до меня не касающе, то, по завету ещё тятеньки-покойника, имею навык в энтаких случаях язык за зубы прятать! — с иронией произнёс он. — В сторонке, сударь, лучше жить, безобидно: ни дождиком тебя не мочит, ни солнышком не печёт... хе, хе! — пояснил он, смеясь. — Не прикажете ли закусить подать, винца какого, а либо што? — спросил он, поднимаясь со стула, и, когда я отказался, он раскланялся со мною, отозвавшись необходимостью присмотреть за хозяйством.

По уходе его я вышел на балкон. Солнце закатилось за дальний лес, и яркие лучи его, прорезываясь порою сквозь ветви деревьев, пробегали тоненькими, искристыми струйками по вершинам холмов, застилавшихся снизу уже дымчатым паром. Отчётливо видневшиеся днём на горизонте контуры снежных гор теперь исчезли из глаз, задёрнутые

мглистую, синеватую дымкой, из которой выделялись, и то в каком-то полусумраке, только ближайšie к селу горы. Несмотря на то, что село было обширное, оно поразило меня своею пустынностью и безжизненностью: на улице не видно было ни души, изредка где-нибудь скрипнет калитка и из неё выйдет женщина с вёдрами на коромысле или какой-нибудь подросток, с прутиком в руках, выгонит со двора лошадей на водопой. Обширная базарная площадь, обнесённая рядом лавок, была также пуста, и в густой траве, какую заросла она, мирно паслись теперь огромные стада гусей, наполняя воздух своим немолчным гоготаньем.

— На село-то наше любуетесь? — раздался со двора голос Кузьмы Терентьевича, отворившего в это время ворота, пропуская мимо себя скот, который работник его погнал на водопой. — Теперича скучно у нас, сударь, пусто, а вот по осени милости просим, загляните-ко, тогда у нас от веселья-то и уши гложут, и рёбра трещат... хе, хе! — сострил он и, пожелав мне покойной ночи, вошёл в дом.

На другой день утром ко мне явился вытребованный мною в Т...ь волостной голова Клокачѳв. Ему было около сорока пяти лет, росту он был высокого, несколько сутуловатый. Достаточно было взглянуть на его широкое лицо, обросшее густою бородой, и на серые, добродушные глаза, чтобы убедиться, что подобный человек не способен сделать кому-либо зло. Прочитав ему поданное на него прошение, я спросил: «Справедливы ли эти оговоры на тебя?».

— Штобы превыше подати я стал, сударь, поборы с них брать, за этот извет на меня пуцай Бог им судит! — совершенно спокойно ответил он. — Во воровстве меня тоже никто не примечал, да Бог и не попустит меня до этого ремесла, по совести говорю, и за это пуцай они ответ Богу дадут. В головы я также не напрашивался, а кланялся, слѳзно кланялся миру обойти меня этой честью; ну, их власть-воля была почитать меня, а остальное прочее, чего пишут они, всё правда, сударь, — также спокойно ответил он. — И кабашников я стеснял, сударь, не потаю, и заколотил у них двери и окна, пуцай ищут с меня ответа судом!

— За что же ты так круто обошёлся с ними?

— За добродетели ихние, сударь! — с иронией ответил он.

— И сельского старосту отстранил от его обязанностей?

— Устранил. Уж не знаю, как оно по закону-то взыщется с меня за то, а по совести, коли бы власть да воля моя была, так я бы его со всем ихним обчеством в остроге сгноил. Нешто здешние обчествовники, сударь, имеют крестьянский облик, какой Богом-то заповедано мужику носить?

— А какой же облик-то Богом заповедано мужику носить, Флегонт Дмитрич? — прервал я.

— Жить по чести, в радении друг о друге, добывать себе хлеб в поте лица; — а какими способами здешние-то мужички себе хлеб промышляют, а? Вот как я взялся за них было, задумал их сократить по силе мочи, и не люб стал, и чернят меня. Свою-то кличку да на мою шею навесили, я вот вор-то вышел, а не они! Э-зх, кабы начальство-то все свои дела по совести делало, сударь, так ведь село-то это давно бы надоть тремя заборами огородить от приискового-то работника. Они вон и церковь Божью в два этажа вывели. Спросить бы только надоть, угодна ли она Богу? В ней, сударь, каждый кирпичик мужичьей слезой облит, а то так и кровью: не один, может, за своё-то добро кровное под фундамент-то её и свою головушку положил! — покачав головой, произнёс он.

— Что ты этим хочешь сказать, Флегонт Дмитрич? — спросил я.

— А то хочу, сударь, сказать, што в здешнем месте человечья-то жизнь дешевле репы. Вы бы вот поспрашивали хозяина-то вашего, какими ремеслами он деньги-то добывает и по какой родительской заповеди живёт! Не скажет, а любопытно б!

— А ты знаешь, Флегонт Дмитрич?

— В здешних местах, сударь, и родился, и вырос, и до седого волоса доживаю. Как не знать! Вам-то всё это, коли рассказать бы, в диковинку показалось, а нам-то уж примелькалось, и дивиться перестали. Воровство, грабёж, распутство — вот, сударь, какими путями они хлеб себе снискают. За што я кабаки закрывал? Не малоумный же я, штобы наехал да начал заколачивать в них и окна, и двери. Ведь это прошлогодней осенью дело-то было, когда у них партии таёжников гостили, ведь они нарочито спаивают их, сударь, да надоть знать, каким вином — травленным, с дурманом, штобы его в беспамятстве-то ошарпать было ловчей! Ведь до половины рабочих из этого села и домой не трогаются, а голодные да оборванные сызнава идут на прииски в наём на работу. У здешнего мужика нет того разума, што эфтог рабочий такой же, как и он, мужик, што он на то и робит без отдыху, штоб копейку залучить; дома-то его ждёт семья голодная, нагая и босая, што он этими-то деньгами семью бы свою осчастливил, хозяйство бы справил и казённые и мирские повинности с плеч свалил; они об этом не думают! — с жаром говорил он. — Не-е-ет, им было бы только кого обобратить, зато и живут господами: эвон какие дома-то вытягивают, шапка с головы валится, коли вверх-то взглянешь. Рабочий-то с приис-

ков придёт и нагой, и босой, — они свои мангазеи с товарами растворяют, — а товар-то, прости господи, гнильё одно, — зазывают его, навязывают — купи, да грабят: одно сказать, за грошовую вещь, бросовую — рубль берут; закупится он у них с пьяных-то глаз на десятки рублёв, может, да тут же у них пропётся, и всю одежду, што закупил, сызнова им же отдаст за какой-нибудь штоф, а они её почистят, попроветрят маломало, да на будущий год опять в продажу пуцают, опять десятки рублёв гребут за неё, — вот и торговля ихняя, сударь. Как при экой коммерции домов не вытягивать, диво ль! А если коснуться теперича иного прочего, — о-ох, господи! Язык-то не во всякую пору повернётся вымолвить, да-а! Жён и дочерей ведь въяве продают — бери, проклажайся, сколь хочешь, только деньги подавай... Тьфу ты! — с омерзением сплюнув на сторону и тряхнув головой, произнёс он. — От срамной болезни ведь заживо тут иные гниют у них, ведь путный-то мужик, сударь, из одной чашки с ними есть не станет, потому опаска берёт и хоронятся! Вот ведь здесь, сударь, какой народец-то гнёздышко себе свил.

— Неужели всё это правда, что ты говоришь, Флегонт Дмитрич?

— Э-эх, сударь, немного ещё я вам доложил, — с какой-то грустью в голосе произнёс он. — А лживую речь вести и язык не повернётся, да и не из чего.

— Всё село исключительно и живёт только на счёт приисковых рабочих, а?

— В редкость тут, сударь, с совестью человека найдёте, в редкость. Да и как среди этого гомона совесть соблюдёшь? Иной бы, может, и по совести жил, да видит, чего кругом и около деется, — люди не сеют, не жнут, а в избытке живут, и он, глядя на других, распояшет руки, а совесть-то за пояс заткнёт, да и примется, благословясь, за энто же рукомесло, благо оно прибыльно! В редкость, сударь, в редкость здесь степенного мужика встретите. Ведь прежние-то волостные начальники што, сударь, делали? — снова начал он после непродолжительного молчания. — Как только осень, они и съедутся сюда, будто за делом, да вместе со всеми и наживаются, бывало, около рабочих. Да што, сударь, греха-то таить, и господа-то чиновники не отставали от них, бывали такие!.. Э-э, сударь, не пришло ещё время всё рассказывать, што тут деяли они, господа-то чиновники! Ну, известно, при энтаких порядках, чего кто ни делал, всякому всё с рук сходило, всё было шито да крыто; ну и любы были экие-то начальники, а што меня вот грех попутал не потакать им, так и вор, и мошенник сделался. Из-за чего ведь содом-то вышел у нас, сударь? Пришла партия рабочих сюда, я и сделал распорядок:

перекуси-де здесь да сейчас же с богом и трогай из села, куды кому путь лежит, иди домой, да там и твори, чего хочешь, а тут-де не пропивайся, и без того уж у нас по волости делов-то не оберёшься, а тут, мол, у вас ещё следствие за следствием пойдёт, одним разгоном лошадей окольный-то люд смаялся от ваших непутств, говорю. Ну, и поднялся спор. Ведь они меня, сударь, в колья было приняли.

— Рабочие или здешние крестьяне?

— И крестьяне, а за ними и рабочие; едва убёг от них, из соседнего села уж народ сбил. Приехал с народом, да тогда уж заклепал кабаки-то, и старосту устранил за то, што он супротив этого распорядку пошёл заместо того, штоб мне помочь! Они сызнова кабаки растворили. Что ж, побился-побился я с ними да и махнул на всё рукой — што я один-то поделаю, сударь? Только жизнь свою под пагубу подведу. Ну, вот и подали просьбу: разоряю-де их, а што сами они не одну тыщу народа разоряют, — об этом и речи нет. И всё ведь это, сударь, на виду у начальства и деялось с искони, и деется, и могли бы этот разбой сократить, да не хотят, видать.

— Почему ты думаешь, что не хотят?

— Невыгодно, што ли, Бог их знает, не нам судить о вышней власти, сударь, — уклончиво ответил он.

— Ну а как же ты думаешь, Флегонт Дмитрич, почему бы невыгодно было и кому бы именно невыгодно от этого было, а? Ведь ты всё-таки предполагаешь же что-нибудь.

— Наше дело тёмное, мужичье, сударь, — также уклончиво сказал он. — Полагаем же про себя, што коли здешний мужик насчёт грабежу в благодати живёт, то, может, эта благодать-то и не в один его карман пльвёт, а вторительное дело — от энтого порядка и золотоискателям выгода.

— А тем какая же выгода?

— Э-э, им-то от этого, сударь, прямая выгода. Коли рабочий-то только вышел с приисков да тут же и пропился, так им и лучше того не требуется. Коли бы он заробленные деньги свои в цельности до дому унёс, приспособил бы их на оправу хозяйства, так они бы его и крупчатым кренделем вдругорядь-то на прииски не заманили, сударь: порядки-то там ведь не сладкие, только горькая нужда одна гонит мужика-то на энту золотую каторгу, а коли он вот тут-то пропъётся до последней нитки, так он сам к ним сызнова на работу придёт и закабалится на какие хошь контракты, а им это и надо... Э-эх, много, сударь, через ихнее-то золото мужичьих слёзок течёт, оттого оно, знать, и блестит так ярко, што не простой водицей промыто, — добавил он, усмехнувшись и покачав головой. — Да уж про них, сударь, энтих золотоискателей, и говорить нечего. Бог с ними! Мужик для них раз-

ве человек, разве они понимают, што в нём такая же душа, как и в них? Они скотину свою, сударь, более ценят и дорожат ею, чем рабочим. У иного из них скотина-то в большей доле живёт, слаще ест и пьёт, чем ихний рабочий; знаем мы тоже, были на приисках-то!.. Ну, да одно уж скажу: они купцы, у них совесть-то сквозная, только будто золотом обёрнутая. А што вот наш-то брат, мужик, эдак-то с рабочим обороты ведёт, уж тут, сударь, грех потакнуть, гре-е-ех! Уж это, кабы моя власть да воля была, сократил бы я их. Ну, да выше росту не прыгнешь, выше головы волосы не растут, — с горечью в голосе заключил он. — Чего мне теперича будет по ихней-то челобитной, судить станут меня, што ль?.. — с иронией спросил он.

— Не бойся, Флегонт Дмитрич, обойдётся дело, — успокоил я его.

— О-о-о?.. А они-то грозили меня тогда в острог запереть, особливо Кузьма-то Терентьич, хозяин-то ваш, очень даже из сердцов выходил в те поры, распинался за обчество!..

Разве и он принимал участие в этом деле?..

Он-то и главный заводчик всему делу!.. Си-и-ла он!.. По его-то слову, как по дудочке, все и пляшут здесь. Ну, да и в губернии-то за него ходаталев много найдётся, ведь иные и золотоискатели-то, сударь, по его ниточке ходят!..

— Объясни, как это по его ниточке ходят?..

— В долгу, стало быть, у него на большую половину сидят. Вы не взирайте, сударь, што он мужик, капиталу-то у него — о-о-о! Город купит, коли захочет, не сомняйтесь.

— И всё это таким путём нажито, как ты рассказывал?

— Много у них было путей-то, сударь, всего-то и в неделю время не обскажешь. Мно-о-ого! — повторил он. — Отец-то его, покойная головушка, Терентий Савич, поколь не объявилось золото по здешним местам, в бо-ольшой бедности жил, не раз за подушную подать его и дирали, и в контрактную работу отдавали, сударь, а помер-то ведь с какими тыщами. Храм Божий воздвиг, единственно, почеть, на свой достаток, две медали носил, усчастливился до всякого почёту, а на душе его немало грехов лежало, если порассказать-то всё, как он до фортуны своей доходил. Когда ведь золото-то объявилось, сударь, так народ-то валом повалил на прииски, всякого льстил прибыльный заработок, с порядками-то ихними не ознакомились тогда ещё, ну, и шли!.. У иного крестьянина ведь какое хозяйство-то было, век бы в довольстве прожил; польстился наживой, пошёл, а с ним и всё пошло прахом. От этих приисков, сударь, не одна тыща нашего брата, мужика, по миру пошла, разор от них народу, а не польза. Другой бы мужик, гляди, приспособился бы к хозяйству и жил бы,

если не лучше других, то и не хуже бы, а теперь он идёт на прииски, хозяйство-то бросает, жена-то с робятками мается по миру, дом и всё у него рушится, да и он-то не воскреснет! С начётами да перечётами на приисках коли и получит какие деньги за работу на руки, вырвется сюда, да тут их и положит в распахнутые карманы, а домой-то придёт с нищей сумой, вот и встречай жена радетеля о хозяйстве, его же обуй, одень да и прокорми зиму, вот какие порядки от приисков-то в народе идут, сударь.

— А как же нажился отец-то Кузьмы Терентьича? — спросил я, прервав его.

— А как нажился, сударь? В первый-то год по открытии приисков народ-то вывалил с них, известно, с деньгами, вырвался из энтой каторги-то и захотел загулу, а разгуляться-то было негде, на месте-то энтом стоял один починок всего о семь-восьми дворах, — какой тут загул, коли и кабака не было, да и обогреться, и передыхнуть-то негде? Терентий-то и смекни, што струна выпадает, што была бы лапа, а загребать есть чего. Перебейся как-никак, да и открой кабак. Ходила в народе молва тогда, што ему и денег-то на кабак золотоискатель какой-то дал, с тем, штобы он спаивал народ, штоб им, значит, легче было снова рабочих-то в контракт залучить. Ну, как открыл он кабак-то, тут уж и повали-ило ему, и полило-о-ось вино из посуды, а деньги в сундук. В первую же зиму он и дом вырубил новый, просторный — сгорел он, рабочие же, оказывается, и спалили; теперь на эфтом месте уж лавки стоят, и на-а тебе, из дому-то постоянный двор снарядил, и пошло тут у него народу всякое удовольствие: и девок на их прохладу держал, и мангазей с товарами снарядил, да один Господь только ведает, чего тут не было! Два раза, сударь, покойник-то под ножом был уж, как только Господь оборонил его, диво! А рубец на лбу так и проносил всю жисть, — топором, сказывают, махнули его, да увернулся, только краем кожу до кости просекло: не час, знать, был! Ну, и от него, как поговаривали старики, не одна головушка допрежь время в землю ушла, — всего бывало, денежки-то тоже недаром доставались ему! Увидал как народ-то, што Терентий своим заводом фортуна приманил к себе, повали-ил сюда на жительство, да теперича из посёлка-то вон какое село выровнялось, с иным городом поспорит! Где наперво-то один Терентий хозяйствовал, а теперь уж их десятками считать приводится. Ведь тут одних мангазеев с товарами, сударь, боле двадцати насчитываем! Чем не город?.. А кабаков — и-и-и, Господи, твоя воля!.. Да каждый дом — кабак и блудное место, — вот как по правде-то говорить надоть!

— Терентий-то давно помер?

— Годов уж двадцать будет теперь время. В последние годы он уж не хозяйствовал, сыну всё предоставил, а сам на покое жил. Как только выклат церковь, так и прилепился к ней, и пищи мясной не примал, одним благочестием заимствовался, завсе только Богу молился и денно и ночью, сказывают, на коленях перед иконами простаивал!.. Ну, и сынку-то, сударь, тоже много годков потребуется грехи-то молитвами отскребать. Тятеньку-то, пожалуй, на добрую версту перегна! — смеясь, закончил он.

На очной ставке лица, подписавшие прошение, не могли представить никаких доказательств в подтверждение своего вывода в насильственных поборах, производимых Клокачёвым под предлогом взимания с них податей, а также не привели ни одного факта, который бросил бы тень на репутацию его. Просьба эта была одним из тех явлений, какие, к несчастью, нередко практикуются в народе, и особенно среди зажиточных крестьян, когда им для достижения своих неблагоприятных целей необходимо отстранить какое-нибудь лицо, от которого они встречают или надеются встретить препятствие. Это донос, ни на чём не основанный, а если и основан на каком-нибудь факте, то самый факт всегда представляется в искажённом и преувеличенном виде. Крестьяне соседнего села, бывшие в качестве понятых при закрытии Клокачёвым кабаков, вполне подтвердили всё то, что говорил сам Клокачёв, и на повальном обыске в один голос доказывали неблагоприятность поведения своих соседей. Может быть, благодаря проискам такого влиятельного лица, как Кузьма Терентьич, Клокачёв, выбранный всею волостью на второе трёхлетие, не был утверждён в этой должности вследствие неодобрительного отзыва о нём его ближайшего начальства.

Не так уж приглядны показались мне красивые дома с узорными балконами на точёных колоннах, когда я проезжал мимо их на обратном пути из Т...я. «Если бы моя власть и воля была, — я загородил бы это село тремя заборами от рабочих!» — невольно припомнились мне при виде их слова Клокачёва. Не одна, может быть, сотня теперь бездомных крестьян коротает свой жалкий век на приисках, созидая своим тяжёлым многолетним трудом чужое благосостояние и благосостояние своих же братьев крестьян, сумевших соткать для них, на перепутье их в родные сёла и деревни, такую искусную паутину, в которой волей-неволей запутываются они и становятся жертвами их. И неужели нет никаких средств прорвать и смести эту паутину, подрывающую в корне благосостояние не одной тысячи рабочего люда? «Невыгодно! — снова припомнились мне слова Клокачёва. — Может быть, благодать-то эта и в других карманах прорехи затыкает!»

И передо мной с поразительной ясностью обрисовалось лицо его с той ядовитой улыбкой, игравшей на его губах, когда он произносил эти слова.

Покидая Т...ь, я не предполагал, что мне снова доведётся посетить это село в самый разгар своеобразной деятельности его обитателей и быть очевидцем глубоко потрясающих сцен. Несмотря на то, что я давно уже покинул Сибирь, эти сцены теперь ещё живо проносятся передо мной, порождая глубокую грусть и боль за положение рабочего люда, забитого и униженного, но достойного лучшей участи.

Помимо того, что я слышал от Кузьмы Терентьича и Клокачёва, в памяти моей ещё с детства сохранилось много рассказов, слышанных от людей, близко знакомых с бытом приисковых рабочих, — рассказов, в которых эти люди, под условием тяжёлых работ и не менее тяжёлой надорванной жизни, представляли из себя такой своеобразный тип, подобный которому едва ли встретится где-нибудь. Приисковый рабочий, или «таёжник», как называют их в Сибири, в большинстве случаев олицетворяет собою, выражаясь народным языком, человека «отпетого», которому нечего терять в жизни и для которого сама жизнь потеряла свою притягательную силу. Он всегда находчив и неустрашимо смел — и в минуты буйного разгула, и в минуты крайней опасности, с какими соединяется иногда его работа. Застигнутый каким-нибудь горем, он всё-таки продолжает беззаботно острить и смеяться, не потому, чтоб он неспособен был к душевной боли, причиняемой нравственными страданиями, а просто потому, что вся его бездомная, скитальческая жизнь есть одно только безвыходное горе, и никакое другое горе глубоко не поразит его; он сжился уже со всяким горем, привык к нему, как привыкает человек к смертельной болезни, подтачивающей организм его, и смотрит на всякое горе, как на неизменного спутника своего странствования в земной юдоли. Его не запугаешь никакими наказаниями, и это опять-таки потому, что с большинством их он знаком весьма основательно: «Белое тело и плети ело!» — это любимая поговорка таёжника. Не запугаешь его также и никакою властью, ибо большинство приисковых рабочих имело в своей жизни много столкновений с властями, и не только привыкло со всякой из них приличный разговор вести, но своим внушительным тоном даже отстранять её от себя на почтительное расстояние.

Таёжник живёт только настоящей минутой, не помышляя о будущем, не сожалея о прошлом. Сегодня у него сотня рублей в кармане, и он беззаботно щеголяет в плисе и шёлковых рубашках, поит всякого встречного и «ямацким ромом», и другими винами, что почудней и позабористей, оденет в

плис с ног до головы первого попавшегося ему на глаза человека, отдаст последнюю ассигнацию бедному крестьянину на взнос податей, на покупку коровы или лошади, нисколько не кичась при этом своею тароватостью, а завтра сам надевает на плечи какую-нибудь рвань, всласть грызёт поданную ему Христа ради корку и идёт на ту же золотую каторгу, с которой только что воротился, нисколько не соболезуя о брошенном на ветер заработке.

В деревнях и сёлах, находящихся вблизи золотых приисков, много можно услышать рассказов о подвигах этих отпетых людей. Обрисовывая картину их дикого разгула, вам расскажут, как рабочий, вынесший благодарный заработок, купил бочку водки и, выкупавшись в ней посреди улицы, пригласил честной люд распить эту горячую ванну; как честной люд, не брезгливый по натуре своей, распил её до дна, за здоровье выкупавшегося. Расскажут, как другой рабочий, накупив ситцу, устлал им всю улицу и, пройдясь по ней, одел прекраснейший пол кусками этой дорогой мостовой. Расскажут и про то, как рабочие по летнему пути ещё катаются по селу в санях, в которые за приличное вознаграждение впрягаются, вместо лошадей, девицы и замужние женщины; да тут же кстати расскажут не одну историю, как таёжник выручил из беды какого-нибудь нищего крестьянина, отдав ему на домообзаводство весь свой заработок, или заплатил за кого-нибудь всю недоимку и тем выкупил несчастного из контрактной работы. Немало расскажут вам случаев, как они, самоотверженно жертвуя своею жизнью, спасли других от неминуемой смерти; и особенно много расскажут таких историй: как эти люди, про которых установилось мнение, что у них нет ни Бога, ни совести, пропив до последней копейки свой собственный заработок, питаясь милостыней, свято сохраняли зашитыми где-нибудь в ворота рубахи или полушубка иногда одну сотню рублей, вручённую им на хранение товарищами, и, придя домой, отдавали эти деньги их жёнам, отцам и матерям. Когда у таёжника украдут его собственные деньги, он много-много если вздохнёт о них раз-другой, но деньги, вручённые ему на хранение товарищем, у него можно взять только вместе с жизнью.

Раз мне довелось слышать от лица, служившего на приисках, рассказ про таёжника, который два раза в своей жизни судился за убийство, не раз был нещадно бит плетью и кнутом, вынес на своих плечах двадцать лет каторжной работы, — как этот нищий, всеми отвергаемый за позорные клейма на лице, разъезжая с ним один на один по глухим лесам и дёбрям, свято сохранял вручённую ему на сбережение сумку с десятками тысяч рублей; как, оставаясь один в каком-нибудь

селе без всякого постороннего надзора, когда доверителю его необходимо было отлучиться по делам в соседние сёла и деревни, иногда на расстояние сотни вёрст, этот каторжник-нищий не спал ночей, сохраняя драгоценную сумку, и не принял потом никакой награды за свою услугу, кроме рюмки водки. Мне до сих пор ещё памятен рассказ одного молодого человека, открыть фамилию которого я не имею права. В 1863 г., по окончании курса наук в иркутской семинарии, он отправился из Иркутска пешком в петербургский университет. По дороге, неподалёку от г. Ачинска, его настигла небольшая партия бегло-каторжных, и он волей-неволей должен был присоединиться к ним и идти вместе с ними. «В первый день пути с ними, — как рассказывал он, — я был сам не свой от страха и считал себя неминуемо погибшим, если не спасёт какой-нибудь случай». Они отвлекли его от дороги в лес, из опасения какой-нибудь неблагоприятной для них встречи, и, по всей вероятности, опасаясь также отпустить его от себя, чтобы по приходе в первую деревню на пути он не выдал их. Наконец они понемногу разговорились с ним, узнали, кто он, куда и зачем идёт.

Вечером, когда они расположились на ночлег в поле, под стогом сена, и он разулся, то один из каторжных, увидя его изъязвлённые от ходьбы ноги, снял с себя единственные бывшие у него бродни и отдал ему, говоря: «Путь-то твой, парень, длинный, сапоги-то свои ты побереги, сгодятся ещё тебе, а теперь иди в броднях; в них, брат, ноге в пример легче, не трёт!». Свои же ноги он обмотал онучами и, за неимением обуви, подвязал к подошвам бывшие у него в запасе деревянные дощечки, вроде сандалий. Когда они приметили также, что у него всего одна рубаха, и та пропотела и загрязнилась, то тот же каторжный, обратившись к одному из своих сотоварищей помоложе, сказал ему: «Митрий, у тебя в запасе есть рубаха, отдай-ка её пареньку-то!.. Всё же, брат, на смену ему сгодится; а его рубаху, Бог даст, подойдём уж у речке, — постираем, высушим, она у него и пойдёт про запас чистенькой!».

Он несколько дней шёл вместе с ними; они отдавали ему лучшие куски хлеба и, как заметил он, обделяли себя. Когда однажды вечером от утомления с ним сделался лихорадочный припадок, то они, рискуя быть открытыми, развели небольшой огонь, сварили в котелке бывший у кого-то из них маленький кусочек кирпичного чаю, напоили его, укутали своими сермягами. «Родные братья так не заботились бы обо мне, — рассказывал он, — как эти клеймённые, отверженные обществом люди. Всё время пути с ними мне было стыдно за себя, — говорил он, — за свою боязнь их при первой встре-

че с ними, за свою гадливость к их сообществу. Расставаясь с ними, я не мог удержаться от слёз, — и что же? — эти несчастные отверженники почти силой навязали мне на расставанье бывшие у них гроши и копейки, говоря одно: «Бери, путинка-то твоя дальняя; каждая копеечка ещё сгодится тебе!». Он хранил, как святыню, эти гроши и копейки. Вот как отнеслись несчастные отверженники из невежественного класса людей к человеку, шедшему учиться, тогда как многие почтенные купцы-миллионеры и чиновники г. Иркутска, к которым он рискнул обратиться за денежной помощью на проезд, не только отказали ему в ней, но даже насмешливо отнеслись и к самому предприятию его. Кто в этом случае выше по своей нравственности, кто более достоин названия человека — предоставляю судить читателю...

В указанных мною местностях много можно услышать крайне оригинальных рассказов о приисковых рабочих, ярко характеризующих их нравственный уровень. Так, например, один рабочий, которому при расчёте на приисках довелось получить на руки всего только несколько рублей, воспользовался оплошностью своего приятеля, получившего на руки около сотни, и украл у него все деньги. Тот и не подозревал настоящего вора. Вместе пришли они в село, вместе с вором он кутил, не подозревая, что кутит на свои же деньги, и вместе с ним попал снова на работу на те же прииски. Получив на другой год прибыльный расчёт, вор вдруг обращается к своему приятелю: «А ведь я, Семён, в должку у тебя; надоть бы нам, брат, сосчитаться!..» — и, рассказав ему про свою поделку с ним, возвратил ему сполна украденную у него сумму.

Ещё характернее рассказ, как приисковый рабочий относится к деньгам, получаемым за свой каторжный труд. Я слышал его от человека, долго служившего на приисках и заведывавшего наймом рабочих. Двое совершенно трезвых крестьян, задавшись целью обставить своё хозяйство, несколько лет работали на приисках, пока не скопили по полторы тысячи рублей каждый. Получив на руки все свои деньги, они расстались с приисками, сказав на прощанье лицу, нанявшему их: «Ну, ваше почтение, теперь уж наши ножки не потопчут таёжной дорожки; теперь уж мы сами хозяевами поживём; будет, помыкались!». Они бережно донесли до дому все деньги и принялись за домоустройство, но деньги эти скоро были украдены у них у обоих. На следующий год, когда наниматель заехал в это село, они снова явились к нему с просьбой принять их на службу. «О-ох, ваше почтение, видать, что ваши деньги Богом заклые; только ворами они и идут впрок!» — с иронией ответили они на вопрос его, что понуждает их снова идти на прииски.

Конечно, от золотопромышленников и большинства лиц, составляющих приисковую администрацию, редко можно услышать доброе слово о таёжниках, которые, по их мнению, уподобляются зверям, готовым погубить за копейку и лучшего друга, и родного отца. С иронической улыбкой они скажут каждому, кто бы вступился за этот обездоленный народ: «Да что вы распинаетесь за них? Да разве это люди? Вы прежде присмотритесь к ним, поживите с ними, да потом уж и ратуйте за их человеческое достоинство!..». И в подтверждение этого мнения приведут вам тысячи фактов, как таёжники, несмотря на все благодеяния, оказываемые им хозяевами, впав в неоплатные долги, бегут с приисков и причиняют тем много хлопот приисковой администрации и земской власти. Любой управляющий прииском, иногда даже весьма развитой человек, не без достоинства скажет вам, что применить к рабочему гуманное обращение так же немислимо, как немислимо урезонить словами волка не трогать беззащитной овцы, — что если работы на приисках и идут успешно, то благодаря лишь строгим дисциплинарным мерам, в которых розга и палка играют не последнюю роль, что только благодаря присутствию на приисках казаков можно удержать в повиновении этот люд, не имеющий ни чести, ни совести, и готовый всегда пустить в дело и хитрость, и нож. А в заключение приведёт, как веский аргумент, существующие в некоторых больших городах Сибири распоряжения — не впускать в город приисковых рабочих, возвращающихся осенью по домам, во избежание грабежей, поджогов, убийств иногда целых семейств и других преступлений, какие совершаются исключительно будто бы таёжниками.

Нельзя не сознаться, что в этих упрёках нравственным качествам приисковых рабочих есть доля и правды, что третья часть их, если не половина, состоит из ссыльнопоселенцев, нравственность которых глубоко расшатана и влиянием острога, и привычкой к бродячей жизни; но ведь подобные порицания падают на всех вообще рабочих, не исключая и крестьян, идущих на этот промысел для поправления своих стеснённых обстоятельств, а между тем нравственность этой части таёжников не подточена ни развращающим влиянием острога, ни привычкой к бродячей жизни. Не все же, наконец, и ссыльнопоселенцы непременно люди с испорченной нравственностью. Между ними весьма и весьма часто встречаются лица, достойные глубокого уважения и за свою честность, и за свою трезвую и трудолюбивую жизнь. Порицая безнравственность рабочих, ни один золотопромышленник, и ни один управляющий прииском не оглянется на свои, устано-

вившиеся годами, отношения к рабочим и не потрудится проверить, насколько сами хозяева нравственны по отношению к таёжникам. Ни один из них не скажет, почему рабочие впадают в неоплатные долги и бегут с приисков. Ни один не скажет, почему он, несмотря на свой, по-видимому, благодарный заработок, едва ли получает на руки и половину его и остаётся вечным нищим. Любопытного оказалось бы много, если бы только эти мешки с золотом хоть раз в жизни задумались над этими вопросами и отнеслись к ним по совести. Спросите любого из этих благодетелей: почему за всякую ничтожную вещь, стоящую копейки, он берёт с таёжника рубли? Почему он за каждые бродни, которые не пронашиваются во время работ более месяца и стоят в продаже не более 1 р. 70 к., не стесняясь, берёт четыре рубля? Почему за готовую рубашку, сшитую из гнилого ситца, которой красная цена 15, много 20 копеек, он берёт 1 рубль, и рубль 50 копеек и не краснеет, когда через неделю рабочий принесёт ему от этой рубахи одни лохмотья?

Народ беден, и особенно в Сибири; он всюду ищет для пополнения своего непрехотливого бюджета постороннего заработка, который спасал бы его от нищеты и горькой необходимости быть законтрактованным волостью в работу для уплаты казённых недоимок. Неужели в самом деле в народе нет настолько здравого смысла, что, находясь в безвыходном положении, он стал бы избегать труда, который так благодарно оплачивается, стал бы избегать людей, которые относились бы добросовестно к его труду и по-человечески — к нему самому? Нет, народ наш настолько трудолюбив, честен и добр, что он никогда не оплатит неблагодарностью за добросовестное отношение к нему; в этом, вероятно, убедился всякий, имевший дело с крестьянином, не развращённым посторонними влияниями. И этот самый народ, при всей своей безвыходной бедности, сплошь и рядом говорит, что его и калачом не заманят на прииски, толпами бежит с них, проклиная попечительных об нём хозяев, предпочитает законтрактовываться в какую угодно работу, только не на прииски. Почему же это? Повторяю опять, что любопытного раскрылось бы много, если бы представилась возможность разоблачить во всей наготе существовавшие и существующие даже в настоящее время отношения нанимателей к своим рабочим.

Меня тянуло неодолимое любопытство присмотреться хотя мельком к положению приискового рабочего и к буйному разгулу его по выходе с приисков, о котором носится по Сибири так много легенд. Спустя два года после того, как я был в Т...е, мне снова довелось заехать в эту местность в

конце сентября. Стоявшая всё время ненастная погода прояснилась, настали те ясные осенние дни, когда днём ещё бывает тепло, сменяемое по вечерам и особенно ночью резким холодом, так что по берегам речек и озёр появляются иногда забереги. Село, в котором я жил по делам службы, лежало от Т...я в сорока двух верстах, выбрав свободный день, я поехал в Т...ь с целью прожить в нём несколько дней в качестве частного человека. Ямщик, на все мои расспросы отвечающий одними точно заученными фразами: «Бог его ведаёт!» или «Господь его знает, как оно», привёз меня на квартиру к какому-то Даниле Анфимычу, объяснив, что у Кузьмы Терентьича теперь самый развал и, чай, иголке в дому негде упасть. Мы въехали в Т...ь вечером. Несмотря на глубокую темноту, всюду было заметно оживление: окна домов были ярко освещены, по улицам сновал народ, слышались говор, песни, ругань. В темноте, на изгибе улицы, лошадей неожиданно схватили под уздцы и посадили их; послышался оклик: «Кто едет?».

— Чиновник! — ответил ямщик.

— Заворачивай оглобли, вези его к лешему, откуда привёз! На што нам чиновников; мы и без них всласть проживём! — ответил под самым моим ухом пьяный голос, сопровождаемый смехом толпы, обступившей экипаж.

— Не трожь его, пусти! Поезжай, говорим, по плакату! — закричали в толпе ямщику. — Здравия желаем, ваше благородие! — насмешливо пробасил чей-то зычный голос, заглушаемый дружным раскатистым хохотом толпы.

— Ну и наро-одец! — произнёс ямщик, когда приударенные им кони помчались по улице. — Никакой у них, братец ты мой, политуры нет! — произнёс он, обратившись ко мне.

— Какой это политуры, объясни мне? — спросил я.

— А это, стало быть, обращенья, по-нашему-то как бы значит — обходительности с человеком! — заикаясь, пояснил ямщик.

Проехав мимо гостиного ряда, в котором лавки уже были закрыты, мы без особенных приключений завернули в узенький переулок, тянувшийся на другом конце села, и остановились у ворот небольшого домика, наружность которого трудно было рассмотреть в темноте. Почтенный на вид старик, как оказалось, сам Данило Анфимыч, выйдя с фонарём в руке, приветливо встретил меня и ввёл в небольшую низенькую горенку, уставленную крашеными деревянными стульями, и при этом заранее извинился предо мною за беспокойство, какое, может быть, будут причинять мне остановившиеся у него на квартире рабочие. Он сам принялся и услуживать мне,

объяснив, что все его домочадцы прислуживают рабочим и вместе с тем присматривают за ними. Подав самовар, Данило Анфимыч сообщил мне, как новость дня, что у них на селе была сегодня крупная драка, что таёжники прибили одного из крестьян.

— За что? — спросил я.

— Да подал он им в обед щей, — начал он, — ну, они и не покажись им чего-то: нескусные были, што ль, мяса в них мало было, аль жиру, — Бог их ведаёт!.. Ну, они и загалдели, што коли-де деньги берёшь за постой, так уж не жалея варева, подавай его вдоволь, штоб не токмо хлебать, а, коль охота придёт, и купаться можно бы было! Ему бы смолчать надоть, а он не стерпи, и скажи им, что кабы они допрежь куражу платили, а не опосля, как заживутся, так можно бы потакать им было, а то-де вы и за прошлый год в долгу остались, да и ноне-то захлебались никак свыше достатка. Слово за слово, и пошёл меж ними расчёт. А в энту пору кто-то из них не оробей, да и махни в мужика-то горячими щами, да как исшо Господь помиловал, што в лицо не угодил, а в грудь да в плечо... ошпарил... С эвтого и пошёл свал; едва уняли их...

— Чем же уняли?

— Которых поучили слегка да досыта, а иных повязали да в суд.

— В какой суд?

— К волостным, благо все теперь здесь. Ну, те и присудили, штоб рабочие, значит, расплатились и за еду, и за посуду, что похряскали об пол, и за окна, што повыбивали, за весь ущерб, выходит. А за то, што помяли кое-кого из наших, особливую плату в вышнем размере обсудили...

— А те заплатили?

— Заплатили!.. Ведь они в эфтих случаях все друг за друга платят... Аккуратно покончили, даже лобызались и крест целовали...

— А крест-то зачем же целовали?

— Стояли на том, штоб им быть, значит, с нашими мужиками в самой што ни есть приязни и ныне, и завсегда. Вина этого и ратафии никак вёдер пять обсушили; а волостным за снисхождение рому теперича и шенпанского ставили.

— Шампанского? — спросил я, поражённый этим открытием.

— Сулацкое оно, што ли, зовётся-то. Здесь-то более все шенпанским его кличут, — объяснил он. — У нас, ведь, сударь, теперича кажинный день суд да расправа, не то, так другое стрясётся; далее часу, можно сказать, в спокойствии не пробудешь, пьяный народ-то — огульник, чуть не доглядел за ним, и по-шло-о!..

В это время дверь растворилась, и молодая женщина, просунув своё миловидное лицо в дверь, полушёпотом произнесла: «Тятенька, подь-ка сюда!». Данило Анфимыч спешно вскочил, вышел, и я более не видел его в тот вечер.

На другой день, часу в девятом утра, я пошёл гулять по Т...ю. Ворота во всех почти домах были раскрыты настежь: в некоторых домах, где, по-видимому, более скопилось приставших на квартиру рабочих, настежь раскрыты были и окна, несмотря на то, что утро было холодное. Около домов, во дворах и по улице, всюду виднелся народ. По оживлению, какое встречал я на каждом шагу, село представляло своим видом что-то праздничное или, вернее, ярмарочное. Попадавшиеся мне рабочие были щеголевато одеты: иные в новых белых зипунах, грудь, рукава и конечности пол у которых были узорно расшиты разноцветными щелками, в новых котиковых шапках на голове, в картузах, сшитых из треугольников синего и чёрного сукна. Попадались и щёголи, одетые в красные и синие шёлковые рубахи, в синие или чёрные с золотыми разводами и пуговицами жилетки и в плисовые безрукавки. Вертелись среди них и люди, резко бросающиеся в глаза своими убогими сермягами и зипунами, но такие субъекты сравнительно были редки.

Весь попадавшийся мне люд был уже заметно навеселе; в руках у большинства были гармоники, балалайки, встречались гитары, а иногда и скрипки. Разряженные молодые женщины и девушки в голубых и алых косынках на головах сновали среди рабочих и по улице, суетливо перебежали из дома в дом, провожаемые шуточками и смехом молодцеватых щёголей. Порою по улице проносилась, как вихрь, лихая тройка, вся убранная лентами, неистово звеня колокольцами и бубенчиками, и в телеге, среди расфранчённых рабочих, в обнимку с ними сидели не менее разряженные женщины, заливаясь звонкой, хотя и нескладной песней. Встречные провожали подобные тройки хохотом, свистом и криками. Песни звенели на каждом перекрёстке. Иногда по улице шла с песней густая, пёстрая толпа рабочих, и среди них опять виднелись разодетые во все радужные цвета женщины, звонкие голоса которых резко отличались от сильных мужских басовых нот.

Впереди толпы шёл непременно какой-нибудь фронт весь в плисе, окутанный крест-накрест шальями, в поярковой шляпе, перевязанной широкою алой или пёстрой лентой: это «князь» со своей свитой. Князьями называются на языке таёжников те из рабочих, которые вынесли слишком крупный заработок или которым посчастливилось найти золотую самородку и получить плату по весу найденного в ней

золота*. В руках князя бутылка с вином; бутылки с вином в руках и безотлучно сопровождающих его ассистентов, или, вернее, адъютантов, беспрекословно исполняющих все его приказания. Каждая песня оканчивается, например, «славой честному князю Маркелу Савичу» и его спутникам, и после каждого славословия князь и его адъютанты угощают толпу вином, пряниками, орехами и конфетами. Иногда они одевают не только сопутствующих князю, но и всех встречных алыми и пёстрыми платками, кусками ситца, шальями. Чаще всего князь гуляет впереди толпы, обнявшись с избранною им подругой, которая покидает его только с последним рублиём. В этих случаях вместе с князем славословят и «честную княгиню» его.

Около кабаков, встречающихся чуть не на каждом шагу, стоял гул, скорее похожий на вой приближающейся бури, чем на человеческую речь. Народ толпами, с песнями, свистом переходил из кабака в кабак. Порою впереди толпы, заливающейся хохотом и рёвом, мчались танцоры, то растилаясь по земле, то выбивая носками и каблуками своих глянцовитых сапог самые замысловатые коленца. Поводя в воздухе руками с платочками, плыли среди них женщины; иногда навстречу им шла такая же толпа с танцорами впереди, и тогда образовывался плотный круг, в середине которого танцоры стремились затмить друг друга своим искусством. Попадались около кабаков и такие группы, которые готовы были ежеминутно вступить в драку из-за самого ничтожного повода.

В этом бушующем хаосе, среди пёстро-нарядного люда, нередко скользили совершенно нагие субъекты; это были уже пропившиеся рабочие, гулявшие на счёт своих более счастливых товарищей. Они не поражали своею наготою никого, ни даже женщин, как видно, привыкших ко всевозможным картинам. Разбитый нос или рассечённая губа, из которых лилась кровь на плисовую поддёвку или шёлковую рубаху,

* Нахождение золотых самородков во время работ — не редкость. Если самородок найдена рабочим в обыкновенный рабочий день, тогда он не получает никакого вознаграждения за неё. В подобных случаях рабочие, чтобы не потерять своей выгоды, прибегают к хитрости: они зарывают самородку, найденную в будни, в землю, и вырывают её в воскресенье или в другой какой-либо праздник, в который не полагается работать, но в которые они, как и в будни, выгоняются на работы, с той только разницей, что за работу в праздничные дни, называемую «старательской», они получают не обычную, условную плату, а плату за количество добытого ими золота. Предъявив самородку, найденную будто бы в праздничный день, рабочий получает вознаграждение по количеству оказавшегося в ней золота. — *Прим. автора.*

заплывший в синей опухоли глаз — также проходили незамеченными, как самые обыденные и даже неминуемые явления. Иногда, среди хохота, песен и несмолкаемого гула от говора, резко проносился тонко дребезжащий звук выбитого стекла или вылетевшей из окна рамы, слышался хриплый стон или удушливый крик «кара-у-у-ул!», заглушаемый и гоготаньем, и глухим шлёпаньем ударов, щедро сыпавшихся кругом на друга и недруга. Яркое осеннее солнце обливало своими ещё греющими лучами эту шумную картину, поражавшую пестротой своих красок и ещё более пестротой содержания, где в каждом углу этого широкого полотна, обрамлённого роскошною природою чистым лазурным небом, безучастно глядевшим на всё, совершались оригинальные сцены, обрисовывающие нравы этих людей, одичавших от нищеты и горя, — а теперь и необузданного разгула.

На площади, по правую сторону которой тянулись лавки или, правильнее, магазины, — так как устройство их несколько не отличалось от тех магазинов, с «панскими» и «бакалейными» товарами, какие встречаются в уездных городах, — происходила самая оживлённая деятельность. Здесь также пестрели толпы рабочих и женщин, всюду сопровождавших тароватых гостей своих. Бойкие на руки, расторопные на язык владельцы магазинов кипели в этой сутолоке, как в котле, успевая отмеривать куски ситца и то же время нахваливать опояски, шали, поддёвки и шаровары, развешанные на жёрдочках около стен. В одном из таких магазинов тщедушный мужичок низенького роста, с всклокоченной бородой и с совершенно заплывшими в опухших веках глазами, примеривал на себя азам, тщательно ощупывая заскоружлыми пальцами полы его, широкие рукава и грудь. От мозолей, похожих на те трутные наросты, какие встречаются на берёзах, пальцы его едва сгибались, по всему было видно, что он никак не может определить плотности материи и ощупывает более для успокоения совести, чем для достижения практических результатов.

— Ты пальцами-то отдушины во лбу протри лучше, а не азам, то-орговец, — смеясь, крикнул ему хозяин магазина, плотный, средних лет человек, подвижности глаз которого позавидовал бы любой из тех турок, каких рисуют на циферблатах стенных часов. — Вишь, как их плотно бутылошным-то туманом заволочло у тебя. Давно из тайги-то? — спросил он.

— Вчера только свет увидали, милый! — пожаловался мужичок.

— А-а, то и очи-то затянуло... Сразу видать, хлебнул белого-то свету до сумерек, да и бродишь теперь во тьме, голова!..

Заместо того, штоб глазом зреть, ты пальцем скоблишь; а вот кабы ты на шелки-то глянул, узор-то бы зрел, так какую бы ты мне цену-то дал, а?.. А теперича вот гляди на тебя, да и соболезнуй!

— Не болей! За ценой я, милый, не постою.

— Ну коли не постоишь, так чего же щупать-то, хе-хе-хе!.. — со смехом протянул хозяин магазина, пристально осмотрев вошедших в это время трёх рабочих, одетых заново в белые расшитые шёлком азямы и в шалях, крест-накрест повязанных на груди. — Молодцам наше што ни есть нижайшее!.. — произнёс он, приподнимая картуз.

— А ты нагнись-то пониже, крестца-то не жалей! — ответил один из них, гордо окинув его своими чёрными смеющимися глазами. — Эких-то, как мы, покупателей чествуй!

— По кое же место честь-то воздать, а?

— По крайности по пуп.

— Не низко ли, молодцы, будет? С экого-то поклона неравно и косточку свихнёшь, хе-хе-хе! Ты честь-то примешь, а я калечество лечи, траться: у-убытошно! А картузом мы хоть до полу махнём и денег не спросим, — смеясь, произнёс он, снимая картуз и кивнув головой.

— О-ох, Иван... как тебя по отцу-то крестить? Псовичем, што ль? Уж требуется донять тебя, вот как! — потряся в воздухе сжатым кулаком, произнёс рабочий; присев на скамейку, стоявшую у прилавка, он подбодрился и, смотря в упор на смеющегося хозяина, спросил: — Понял?

— Внятно сказано, как не понять!.. За што же ты меня эким-то гостинцем уластить хошь?

— Ответь мне: душа в тебе есть?

— Батюшко отец Василий рассказывает, што имеется...

— Попу-то ты не шибко верь; это он тебе за целковый говорит, што в тебе душа есть, а души в тебе на-астолько вот нет!.. — ответил рабочий, показав на конец мизинца левой руки.

— Што же ты с азямом мешкаешь, друг? — Обещался не стоять, а сам всё топчешься? — крикнул хозяин магазина мужичку, продолжавшему оглядывать со всех сторон азям, полы которого волочились по земле. — И слава богу, милый, што нет души-то, — обратился он к сидевшему рабочему, поглядывая в то же время на двух его сотоварищей, которые, сидя на приступке у лавки, проворно лущили кедровые орехи. — И слава богу, говорю, што нет; потому живётся-то не в пример легче, без муки будто... Так ты с этой объявкой только и зашёл ко мне, а? — спросил он.

— А это што? Как, по-твоему, называется? — спросил рабочий, встав со скамьи, и подняв при этом полу зипуна, он

показал ему на плисовые шаровары, широко треснувшие по середине колена.

— Дыра!

— Не у тебя я вчера купил, а? Похвал-то твоих товару на трёх возах не увёз бы: говорил, што износу им не будет, а это што? — хлопнув рукой по прорванному колону, спросил он.

— Ведь ты с меня за всё-то про всё тридцать рублей огрёб, а-а?..

— Бывает!.. Случается, говорю, и не с тобой одним, — хладнокровно ответил торговец. — Обзавёлся сударкой, аль ишо не успел? — неожиданно спросил он.

— Зачем тебе это знать понадобилось?

— Понадобилось, значит, коли спрашиваю.

— Ну, а если скажу — обзавёлся?

— И не горюй, коли обзавёлся: всякая тварь парами живёт... И подь теперича к ней, штаны-то сними, она те их в единый момент зашьёт... Я тебе, пожалуй, и ниточек дам, снеси... Моточек-то не Бог знает чего стоит, — всего пятиалтынный; найдётся, чай, у тебя... Ниточки-то и опосля тебе пригодятся. К вечеру ведь дыр-то, поди, накопится, што звёзд на небе.

— А-ах... шут тебя возьми!.. Уж так, слышь, кулаки чешутся без нитки язык-то тебе пристегнуть...

— Мо-олод! Допреж свой обточай!.. Ведь я тебе сколько шальвар на выбор-то накидал вчера, припомни-ка. Говорил тебе, возьми веницейского плису шальвары, скажешь спасибо, переплатил-то всего бы три рубля... Сам за дешевизной погнался, ну и знай теперь, што дешёвое-то гнило, а дорогое-то мило! Веницейский-то плис во всякой драке устоит, а знтот русский плис — самая пропащая материя. Вот лупанул тебя кто ни на есть, он и треснул!

— Меня-то бы это лупанули, а? — заносчиво спросил рабочий.

— Известно, прищемили!.. В жизнь не поверю, штоб сама собой материя лопнула. У меня, брат, товар стоящий, не то што у других. Ты помнишь ли, вчера чего с тобой-то было, а? Кто тебя по скуле-то погладил, што вздулась от огорчения, а?

— А кто, брат, погладил, так тот теперича по дворам шарится, зубы свои собирает на посев к будущему урожаю, знай!.. — хвастливо ответил рабочий, проводя рукой по опухшей щеке.

— А ты на меня взъелся, товар-де гнилой дал тебе, души-де нет. Э-эх, и в поре ты человек, а всё ещё разума на настоящую точку не поставил. А вот я бы на твоём месте теперича, особливо если при деньгах ещё, заместо укора-то пришёл бы

да чинно сказал: Иван Матвейч, за то, што не послушал вчера я тебя, дыру на шальварах приобрёл, и, искупаючи грех свой, хочу купить у тебя новые, венецейского плиса. Вот я бы и знал, с кем имею дело, што ты голова-а, и уважил бы тебя, в такие бы шальвары облёк, што хоть в три дубины крести тебя, устояли б.

Иван Матвейч засмеялся, засмеялись и все остальные.

— Вон молодец-то, как не похвалишь за обычай, — снова начал Иван Матвейч, указав на мужика, который всё ещё продолжал вертеть в руках азам, — целый час вон щелки-то тарасит, азам оглядывает. Вот уж у него дыры не заполучится, не-е-ет; разве, благослови господи, полы не досчитается; а штоб дыры — ни-и-ни. Што ж, молодец, покупаешь, што ль? — крикнул он.

— Вещь-то ровно того бы. Ценой-то только ладно ли будет? — спросил тот.

— Иди, присядь, поточим язык-то! — пригласил его Иван Матвейч. — Орехи-то грызёшь, а? — спросил он, когда мужичок переступил порог лавки и, держа в руках азам, присел на скамеечку рядом с рабочим, получившим в наказание за предпочтение отечественного плиса венецейскому дыру на шальвары.

— Ну их к богу, — ответил тот, — не охоч!

— Бери, бери! — произнёс Иван Матвейч, всыпав ему в колени горсточку калёных орехов. — Ну, побалуешь когонибудь, коли сам не грызёшь... Жена-то есть? — с участием спросил он.

— Э-э, путного-то чего нету, а энтим... добром ране разума в голове... запасся...

— Гостинцы, чай, понесёшь ей, а?

— Жи-ивёт и без них; не та пора ноне.

— Што ж так? А ты бы и её польстил!.. Э-ко, братец, а? Сам-то придёшь вон в каком азаме, тринадцать рублёв ценой, а ей ничего... не похвалю! — покачав головой, заметил Иван Матвейч. — Ведь она скучает, чай, по тебе, с радости-то так, поди, облапит тебя, што хошь бревном будь, и тут сучки разыграют, а ты с пустыми руками выйдешь. Нехорошо! Вон у меня есть ситчик голубой с малиновыми цветочками, — кра-а-аса! Вот бы ей-то в самую бы пору...

— И себе-то уж покупаю не от избытка, друг: в эком-то решете далеко не уйдёшь, — тоскливо ответил ему мужик, показывая на ветхий, серого сукна армяк. — Холодно; а ноне не та пора, штобы деньгами-то баловать, гостинцы-то разносить;

— Мало вынес разве?

— Налегке.

— А-а; ну, энто другой разговор, — согласился Иван Матвейч. — Уж тут, известно, до гостинцев ли: пособи Бог дойти-то! Я, ведь, если и пытаю тебя, сердешный, так боле о бабе-то твоей пекусь, потому и она ведь живой человек, обновки-то всякому хочется. Рублёв-то двадцать всё же вынес, поди, а?.. — спросил он.

— Два-а-адцать, хе!.. Я ноне, брат, за всяким расходом, полагаю про себя-то, што рублёв сто чистыми до дому донесу. А то двадцать, хе-е-е! Двадцать рублёв по нашему хозяйству всё одно што тьфу! С меня вот одной подушной более сорока рублёв в год сходит; а то два-а-цать... хе!

— Многосемейный, што ль?

— Есть кому жевать-то, только припасай!

— Своедельщинка? — спросил Иван Матвейч, подмигнув рабочему, молча слушавшему их разговор.

— Хе, надоть бы полагать, што своего завода. Баба у меня, друг, к слову сказать, тихая и на энто обиход, если взять, степенная. Стоящая баба. Рази одно вот: язык, почитай што, длиннее волоса, а касательно иного прочего, избави Господи!

— Экую бабу ценить, брат, надо, особливо при энтих качествах! — внушительно заметил Иван Матвейч.

— Ценю, ценю, сердешный! Как ты не станешь ценить её? Теперича возьми одно: весь дом на её руках, всё хозяйство. Я руки-то за лето вон как мозолями окутал! — произнёс он, показывая ему свои мозолистые пальцы. — Заместо рукавиц теперича пойдут на зиму, да и она, ведь, милый, не цвела.

— Уж где, поди, цвела, до цветов ли!

— Не цвела, не-е-ет! Тоже горб-то, поди, так нагнула, што и за зиму не выправишь, да-а-а!

— Ну, ты-то сразу выправишь: мужик, чего! Ещё, в по-ре, особливо, как ситчику-то прихватишь ей. Ведь бабий-то горб — особливая статья, горем его нагнёт, а лаской выправит... Так чего же, мерить, што ль, ситец-то? К экой-то бабе и ты с пустыми руками придёшь. А ценю, говоришь; рази это оценка? Да я бы на твоём месте экую-то бабу озолотил; я бы ей не токма ситцу, а прихватил бы и плат на голову, и шаль, да не одну бы: на вот, мол, красуйся! Вон, вишь, сидит человек да скучает, што ему дыру на штанах навертели, и надумывает новые поплотней покупать; вот и ты бы заодно с ним, а уж я бы обоих уважил. Э-эх, вот закусить-то будто нечего, а то б попотчевал вас, — говорил Иван Матвейч, шаря рукой в ящике прилавка. — Петюшка! — крикнул он, приоткрыв заднюю дверь в чуланчик. — Подь-ко, принеси ужо студня с хреном, да хлебца прихвати, соли, да проворней бегай: одна

нога штоб здесь, а другая там, слышь, — говорил он мальчику лет десяти, с белокурыми вьющимися волосами на голове. Большие серые глаза ребёнка, лукаво оглядывавшие посетителей, заранее предрекали, что этот молодой отпрыск Ивана Матвеича далеко пойдёт по стопам родителей и в уменьи очаровывать, и в уменьи обирать.

— А то пока, до закуски-то, ополоснитесь-ко, — произнёс Иван Матвеич, вынимая из-за прилавка штоф и большой гранёный стакан. — Ну-ко, обиженный, задуй-ко, благословясь, неугасающую-то свечу! — произнёс он, протянув налитый вином стакан рабочему с изъясном на шальварах.

— Это за обман ты, что ль, угощаешь-то? — спросил тот, принимая стакан.

— За што почтёшь, опосля уж сосчитаемся, а теперича пей, посудину-то зря не задерживай.

— Ну, будь здоров, дай тебе Господи! — ответил рабочий и, перекрестясь и подув на стакан крест-накрест, смаху опорожнил его. — А-а... ну и водка! — крикнув и поморщившись, произнёс он, возвращая стакан.

— Промой глаза-то, авось сызнава свет увидишь, хе-хе... как, бишь, тебя по имени-то и отчеству? — спросил Иван Матвеич, поднося налитый стакан покупателю азяма.

— Евсей, — ответил он. — Макарычем буду: Макаром отца-то звали.

— О-о... Евсей, да ещё и Макарыч! Ну, будь здоров! — произнёс Иван Матвеич на его пожелания. — А бабы своей не забывай, гре-е-ех; подругу жизни, так сказать, и не ценить... Я тебе вот ужо ситчик-то покажу. А вы, молодцы, што ж? Эй, разлюбезные, промочите в горлышках-то; чай с молчанки-то у вас закуржавело! — крикнул он рабочим, сидевшим на приступке лавки.

Те сначала оглянулись на его зов, потом встали и, медленно, раскачиваясь, вошли в лавку.

— Угощенье? — почти в голос спросили они. В это время Петюшка, запыхавшись, вбежал в лавку, неся большую хлебную чашку с крошёным студнем, облитым хреном и красным хлебным уксусом. Несколько деревянных ложек лежало поверх каравая хлеба, которым была покрыта чашка. Иван Матвеич и гости его, выпившие уже по другому стакану, обступили чашку и, вооружившись ложками, быстро опорожнили её.

— Я, милый, што ж... я бы всей душой! — говорил заметно охмелевший Евсей Макарыч. — Неуж я своей бабе цены не знаю, а?.. Да я то ись всё её качество постиг, вот ведь как распинаюсь; да вишь, достатки-то мои... суди!.. Сорок целковых ведь одной подушной, а-а, шутка ли... На чего ведь и робить-то ходишь. Неуж, кабы што...

— Спра-а-авишься, никто как Бог; а бабу польсти!.. Любобовниц люди честят, а ты законное естество обойдёшь... не хвалю! — строго ответил Иван Матвейч.

— Кто похвалит! — произнёс один из рабочих, свивая из картузной бумаги папиросу.

— Я вон Матрёшке — а што она мне, припёка, — и тут, брат, шаль-то без мала в сажень выворотил; а уж она ли не шкура! — похвалился рабочий с изъязном на шальварах. — А кажи-ко венецейские-то, — вдруг спохватился он.

— Мерять, што ль? Заодно бы уж? — настойчиво спросил Иван Матвейч, обратившись к Евсею Макарычу.

— Мерь! — крикнули в голос рабочие. — Сам после спасибо скажет. Ведь нашего брата на путное-то дело взашей толкай, на худое-то только без спросу лезем.

— Верно, молодцы, люблю за правду! — крякнув, одобрил их Иван Матвейч.

— А-а-ах, други вы мои! — всплеснув руками, произнёс Евсей Макарыч, как бы оправдываясь перед ними. — Достатки-то мои, а-а-а?.. — И, махнув рукой, он отвернулся в сторону, но через минуту решительными шагами подошёл к прилавку и крикнул:

— Ме-ерь, штоб тебя раздуло, заодно уж! — На глазах его сверкали слёзы.

— Не горюй; баба-то тебя сторицей усладит за принос, — утешил его Иван Матвейч, с непостижимым для лет его проворством сдёрнув с полки штуку ситца и связку шаровар венецейского плиса. У Евсея Макарыча и остальных присутствующих даже зарябило в глазах от быстрого мелькания аршина при отмеривании ситца. — Ситчик, милый, ножом не взрежешь, — говорил он, положив на прилавок совсем уже свёрнутый кусок его. — С другого бы за этот ситец я и полтину-то за аршин взять подумал бы да и подумал, а с тебя, по-божьи говоря, единственно снисходя к твоим недостаткам, сорок копеек кладу, верь... А шаль-то возьмёшь?

— Ни-и в жисть, провались ты.

— Ну-у... Экой скупающий ведь ты; а-а-ах, братец, да рази можно этак-то?..

— Убей, говорю.

— Пригодишься исшо. А-ах ты какой; да ты погляди, ведь в глазах-то, чай, с двух стаканчиков посветлей стало...

— Не блазни; о-ой, не блазни.

— Огляди! — быстро развернув перед глазами его шаль, пестревшую ярким узором и цветами, говорил Иван Матвейч. — Узор-то чего стоит! Ведь баба-то тебя за экую-то шаль, а-ах, как уконтентует, — с искрившимися от смеха глазами говорил он. — В пот вдарит от ласки-то её, — помяни!

— Не анафема ль? — с болью в голосе произнёс Евсей Макарыч, обратившись к остальным рабочим, поглощённым рассматриванием шаровар. — Говори уж, сколько с меня денег-то?

— Давно бы вот так-то, — ответил Иван Матвейч, берясь за счёты и проворно побрякивая косточками. — А то убей, да провались — только и разговору; а всё и дело-то с азиям вместе — двадцать шесть рублей сорок копеек стоит. Из чего только бились... э-эх!..

— Бились!.. Хе... как побьёшься, брат, за лето-то, так над каждым грошом вздохнёшь, да дважды на него оглянешься, допрежь чем из рук-то выпустить... Побьёшься!. А ты побожь ли считал-то?

— Саваофа в свидетели позову. Лучше своё передам, чем твоей трудовой копеечкой обременюсь.

— Трудовая, брат, она, о-о-ох, — это ты верно...

— Ещё б. Нам ли не знать!

— О-ох!.. Медный вот он грош-то. Кому их зря бог-то даёт, чего он ему стоит, и званья ему нет... А для тебя энтот грош — о-о-о... жи-изть одно слово, да-а-а! — ударив пальцем о прилавок, говорил оживившийся Евсей Макарыч. — Што божий свет в окне, то и энтот грош в твоём глазу, да-а!..

— Пособляет, точно.

— Да уж как исшо пособляет-то! Слезу утрёт!

— Утрёт; а особливо коли глаз ненароком подобьют, только потри им, грошом-то, сейчас кровь планирует, чего говорить, — согласился Иван Матвейч. — Ну, так пока што вынимай-ко, полюбуемся, какими тебя грамотами-то снабдили!

— Уж так-то, брат, тошно мне казну-то починять, а-а-ах! — произнёс, вздохнув и качая головой, Евсей Макарыч, и, сняв с себя старый азиям свой, воротник которого был обшит кожей, до того засаленной, что он лоснился, — ощупал его, затем поковырял его своим заскорузлым пальцем и, снова покачав головой, вздохнул.

— Дай-ко, друг, ножика, — обратился он к Ивану Матвейчу, — дратву-то зубом не возьмёшь! — Распоров поданным ему ножом пространство в вершок на внутренней стороне воротника, вынул из-под кожи тщательно завёрнутые в бумагу деньги.

— Бережливый ты! — заметил Иван Матвейч, пристально наблюдавший за ним.

— Учён, брат! Раз у меня свистнули их, так мало горя-то было!.. Сколько же тебе отсчитывать, а?..

— Давай все, сколько есть.

— О-о-о, все хе-е... Эк-то, брат, разопрё-ёт..

— Сохраню.

— Место им и мы найдём; ничего, учёны...

— Учёны да не выучены... Давай, у меня, по крайности, в сохранности лежать будут, а то ведь пойдёшь путаться по селу, то долго ль до греха: сызнава свистнут.

— Свистеть-то и мы ноне умеем.

— Ой, просвистишься; давай лучше...

— У сердца, во, складу...

— Ну, как знаешь, твоё дело. Считай двадцать шесть рублёв сорок копеек.

— Многонько чего-то, паренёк, сдаётся, а?

— Ну, ну, подавай; мне время-то не терпит на пустом точиле язык вертеть; сторговано — и подавай! — сурово ответил ему Иван Матвеич.

Евсей Макарыч, махнув рукой, молча отсчитал двадцать семь рублей и, получив сдачу, медные деньги положил в карман, а ассигнации, снова завернув в бумажку, затолкал за кожу воротника. Распростившись любезно со всеми, заявив при этом, что он вечером пойдёт в дальнейший путь, ибо заскучал о семье, Евсей Макарыч вышел из магазина. Но, по злой иронии судьбы, его в тот же вечер видели гулявшим в толпе рабочих в обнимку с какою-то миловидною женщиной, на плечах которой красовалась шаль, купленная им для жены. Плохо владевший ногами Евсей Макарыч одет был в новый зипун, сползавший с плеч его, так что полы его тащились по земле, покрытые густым слоем грязи.

В то время, как в магазине Ивана Матвеича происходила описанная выше сцена, в небольшой лавочке, сколоченной из досок и обставленной весьма скудно, толпились несколько человек рабочих. Хозяин лавки, низенький, но коренастый и плотный человек, стоял за прилавком, то и дело снимая с головы картуз и обтирая ситцевым платком потное лицо, слегка попорченное оспой. Пухлые губы его постоянно складывались в приветливую улыбку, с какою он встречал входивших к нему покупателей. А покупателей у него было много. С раннего утра и до позднего вечера лавка Семёна Петровича Костылёва стонала от говора стекавшегося к нему народа. Двое сыновей его, молодых людей с цветущими физиономиями, и работник, превращённый на это время в приказчика, едва успевали справляться с аршином, удовлетворяя разнообразные запросы. Предпочтение, оказываемое на этот раз богатой лавочке Семёна Петровича перед прочими лавками, объяснялось тем, что он объявил неслыханную ещё в Т...е «дешёвую распродажу товаров». Новость эта произвела сильное впечатление на его сотоварищей по ремеслу и вызвала со стороны их громкие порицания его нововведению.

— Мошенники, — объяснял теперь Семён Петрович теснившимся в лавке покупателям, обтирая платком лицо и наблюдая за действиями сыновей и приказчика, — право, мошенники; им бы только теперича обобрать бедного человека, навязать ему за тройную цену всякого гнилья, а нет того соображения, как бы помочь ему! Нешто у них дрогнет душа, видя теперича, што люди робили, робили за лето, нет-нет вынесли какие-то копейки, вышли и наги, и босы, — так взять с него божескую... цену, если, к примеру, он и захотел бы приодеться.

— Уж где дрогнет! — отозвался на слова его пожилой крестьянин, убого одетый и толкавшийся в лавке чуть не с утра. — А как божеская-то цена за рукавички-то энти? — спросил он, указав на ряд кожаных рукавиц с шерстяными вязаными варежками, висевших на шесте, протянутом через всю лавку.

— Рубь восемь гривен, милый!..

Тэ-эк, — протянул крестьянин. — Уж где дрогнет, што ты, — снова повторил он, продолжая начатый разговор. — Я так теперича полагаю, сердешный, што если обойти с конца-краю всю вашу деревню, так душой-то нигде и не попахнет!..

— Не говори этак-то! — обидчиво ответил Семён Петрович.

— О-о!.. Ну, статья может, и есть где заблудшая!

— Не говори; не у всякого совесть с решетом спорит, — у кого дыр боле, — не-ет! Есть, што и Бога помнят: вот первый скажу тебе, да и не тебе одному, а на весь свет возвещу: ежели теперича, в случае по ошибке, я допущу какой фальш, — ночи не усну, изведусь!.. А ты, Митрий Савич, не рядись! — обратился он к рабочему, торговавшемуся с одним из его сыновей. — Мы без запроса товар отпускаем, по-божески, не как другие... Нешто не слышал, меня чествят за то, што радею о вас?..

— Радетелю!.. — громко произнёс, подхватив после слово Семёна Петровича, молодцевато вошедший в лавку высокий, плечистый рабочий, с красивыми чертами лица, одетый в поношенный полушубок и бродни. — И ты ноне на купецкую ногу живёшь? — фамильярно спросил он. — Говорят мне, лавку снарядил, торгуешь... А-ах ты, думаю, дуй его горой, дай пойду погляжу, каков он в купецком-то чине... Узнаёшь ли? — спросил он, остановившись против Семёна Петровича, отделённого от него только прилавком.

— Признаться... што-то... — произнёс заметно ему смутившийся Семён Петрович, — ровно впервой!..

— Говори уж: знать не знаешь, ведать не ведаешь!..

— Похоже, милый, на то, не погневи; а ты объявись наперво, кто ты?..

— О-объявись!.. Не признаёшь, купецкая душа твоя? впервой, небось, видишь! Ну-ка, не знаешь ли ты, пощупам, кто это в ланском году более трёхсот рублёв у меня из кармана вытянул? — спросил рабочий, вперив в Семёна Петровича свои серые, несколько навывкате глаза...

— А ты болезный, коли с вечера угорел, так очнись, ведь день. Ты кто такой есть? — возвышая голос, спросил его побледневший Семён Петрович.

— А ты не знаешь?..

— Вижу по лапам, што гусь, да у каждого ведь гуся своя кличка.

— Так-таки Финогена Зарубаева ты и не видал никогда-а? — говорил рабочий, стоя уже в кругу любопытных, привлечённых их разговором. — А не ты ли в прошлом-то году зазвал меня к себе в дом, угощал меня, сулил мне ещё племянницу свою сватать, всячески улещал, сам и постель стлал. Только наутро-то я очнулся под забором, без копейки денег, а тебя и след простыл, из села убёг... Не ты?..

— Иди-ко, милый, без греха отселева, слышь... послушай моего доброго слова... Лексей, — насмешливо обратился Семён Петрович к одному из сыновей, — подай-ко ему гривеник на похмелье, авось в память войдёт... Хе-хе, из того, верно, и бьёшься, милый. Триста рублёв я скрал у него, а-а? — обратился он к окружающим. — О-образумься, нечисть ты экая, — возвышая голос, заговорил он, — у тебя-то ни кола ни двора, поди, нет, наг и бос, а я пятьдесят три года непорочен живу на свете и стал бы это около тебя пачкаться...

— Взашей бы его, тятенька, а ты разговариваешь! — крикнул Алексей, щёки которого горели от волнения.

— За што взашей, а?.. Што ты купец, так уж с тобой и не разговаривай? — вступились окружающие.

— А может, ты и точно скрал: за вами, брат, непорочными-то людьми, энта добродетель водится! — сверкая глазами, заговорил один из окружающих таёжников.

— Стой-ка, други, разберём дело! — обратился он к остальным. — Ты, может, на его-то деньги лавку соорудил, да его же теперь и нищим ругаешь, нечистью... Да ты-то кто, а?..

— С тобой разве я разговариваю? — спросил значительно понизившимся тоном Семён Петрович. — Ты што лезешь в чужой-то горшок со своей ложкой?.. Брат ты ему али сват?..

— Брат, по Христу вот брат... и по матери — горькой доле! Ну, можешь ты поносить его, а? — наступая на него, горячился неожиданный защитник. — Ты вот на наши-то деньги в купцы выполз, да мы же и нечисть, а-а?..

— Ми-и-илые, ми-и-илые!.. Да што вы, одумайтесь, да нешто можно к слову-то вязаться, што впопыхах обронено?.. —

унизительно ласковым тоном заговорил Семён Петрович, успокаивая их. — Ну, погорячился, што ж; ведь я в летах человек; легко ль мне в ворах-то быть, посудите?

— Вор ты и есть! — произнёс Зарубаев.

— Сами вот слышите, милые, а?.. Должон я вступаться за такое поношение, аль нет, — решайте...

— Стой, братцы! — произнёс таёжник, назвавшийся братом Зарубаева по общей матери их горькой доле. — Говори по совести, смотри, без фальшу, — обратился он к Зарубаеву, — как дело было?

— А было оно, други, сказать теперича, не утаивая, очень даже просто, совсем как бы невзначай... На фатере-то стоял я в прошлом году у Нефёда Перетолчина... Ладно... И не шибко штобы пьяный был, только это однова и зашли мы, братцы, сказать так, под вечер время, вместе с иными прочими, вот к эфтому самому Лазарю, — произнёс Зарубаев, указав на Семёна Петровича, который усмехнулся при этом и, отойдя несколько от прилавка, шепнул что-то работнику своему, быстро скрывшемуся из лавки. — Хорошо... Народ-то, опосля того-сего, разошёлся, — продолжал Зарубаев, — и я хотел по их теперича следам идти; а денег у меня, братцы, было триста рублёв, да мелкими бумажками рублёв, может, двадцать. Он и заприметь, што я из денежных...

— Из денежных, хе!.. — насмешливо подхватил Семён Петрович, отирая платком потное лицо.

— Смейся... Я те выведу на свежую-то воду...

— Сам-то не захлебнись оной!

— Всплывё-ём: чиста-то совесть не тонет, — огрызнулся Зарубаев. — Заприметь он это, говорю, — продолжал он; — и поведи речь со мной, што в молодых-де летах оченно бы было приятно экому молодцу да при хорошей семье быть не из последних; лучше, говорит, чем в каторге-то убиваться!.. Водочки это подавать мне зачал, рюмочку за рюмочкой... пью... Хорошо... И говорит он мне: племянница, говорит, у меня есть сирая, девица, в пример бы прочим чистотой; вот бы экому молодцу клад... Што ж, мол, отвечаю, у нас на всякий клад руки цепки; а тем временем всё домой порываюсь... А он и говорит: ложись у меня, полюбился ты мне, а за утро, коли што, ещё потолкуем... И постель, как теперича, братцы, помню, стал мне стлать... и свалился я у него, как перед Богом говорю, лопнуть; а очнулся наутро-то, глядь — под забором лежу, на другой стороне улицы... Хватился денег — пусто... Кинулся в дом к нему, — сказывают, вечорось из села уехал... Я в волость с объявкой, а там меня на смех подняли... Вот оно как дело всё было, — с дрожью в голосе закончил Зарубаев. — Не ты, скажешь, а-а? — обратился он к Семёну Петровичу. — Не ты-ы?

— Сказка складная; ма-астер, хе... хе!..

— А-а, сказка, расхожая душа твоя, ска-а-азка, — повторил он. — У меня родитель без ног лежит, миром кормится, мать по людям в работе мыкается; мы на энти-то деньги век бы свой участливили, кабы ты их не сгрёб. Вот чего мне энта сказка-то стоит, гра-а-абитель!..

— Придержи язык, милый; о-ой, мотри...

— Ну-у... моли ты Бога, купец, што ускользнул от меня в прошлом году, мо-о-оли!..

— Сблаговести, авось и перекрестимся, хе-хе! — отвечал всё более и более ободрявшийся Семён Петрович, с нетерпением выглядывая из-за прилавка на улицу, как бы поджидая кого.

— Ты Бога-то хоть маненечко памятуешь?

— Во всю даже меру... хе...

— Не ссорься ты с нами, купец, ой-ой, не ссорься, слышь: нам терять нечего... а тебе мо-отри... Понимаешь ли это слово-то? — сверкнув глазами, спросил названный брат Зарубаева.

— А ты уже до волостных бы поберёг энти слова-то.

— Не пужай; мы и не таких соколов за хвост имали, да обрывали им крылья, а у экой-то вороны пуху-то надёргать нам в полугорья... Ты купец, а он нищий, — указывая на Зарубаева, говорил он. — Чего на нём, то и при нём... Мирись...

— А вот посмотрим, как волостные присудят; мы тоже поношения своей чести даром не спускаем, да и за похвальные слова у нас, брат, платятся: здесь ведь не тайга...

— Мирись!..

— Семён Петрович, — вступился и мужичок, торговавший рукавицы, — не ты ль хвалился, што у тебя совесть спорей решета? Ведь если он теперича и поношение твоей чести оказал, так ведь суди, милый, слёзы его говорят, слёзы... утри их!..

— Рукотёрников-то нет, не торгуем ими. Антону Антипычу наше нижайшее, — произнёс Семён Петрович, приветствуя сельского старосту, вошедшего в это время в лавку в сопровождении сотских, за которыми и бегал работник Семёна Петровича. — А у нас тут бесчинство; заступись...

— За кого?.. — спросил староста, оглянувшись кругом себя, причём некоторые из рабочих, бывших свидетелями всей этой сцены, поспешили потихоньку выйти из лавки.

— Вором, Антон Антипыч, сделался на склоне своих лет, да-а! Спроси-ка вот молодцов-то... — указав на Зарубаева, названного брата и старика, торговавшего рукавицы, пожаловался он. — Вишь вот, триста рублёв будто скрал, а, слышал?..

— А теперича... с процентами их требуют, што ль?..

— С лихвой, да ещё похваляются, иди-ко. Ты этих, Антон Антипыч, прихвати, — произнёс Семён Петрович, указывая на остальных, — одного поля ягодки-то... Вот ужю посидишь денька четыре в тёмной, да за каждое словечко ответишь рублём, и нау-ука будет: вдругорядь сказки-то не станешь сказывать, хе-хе! — говорил, улыбаясь, Семён Петрович, когда рабочие в сопровождении старосты и сотских пошли из лавки. — А я ужю следом за вами, Антон Антипыч; вот только поуправлюсь! — крикнул он старосте, отирая платком своё смеющееся и покрытое потом лицо.

— Князь! А-а, князь! светлеющий! — кричал, стоя в дверях лавки, высокий, худой старик, одетый в мерлушковый бешмет и сафьяновые татарские ичиги, проходившему мимо лавки рабочему, украшенному шальями поверх халата из тонкого чёрного сукна, опоясанного алым шёлковым кушаком. — Осчастливь, загляни; косяк-то у двери моей высокий; спесью-то об него не треснешься!..

— Зачем я тебе?.. — спросил тот, остановившись.

— Угощу..

— О-о?.. А чем же?

— Чего душа твоя потребует, изволь; достатку-то про экого дорогого гостя хватит. Ведь год, поди, не виделись. За это время ты, вишь, в какую сажень вырос, сызнова в князья произошёл... Любопытно!..

— Вороти, братцы, — смеясь, обратился к своей свите князь, или, вернее, рабочий Василий Долгополов, называемый более в своей артели «Васькой Дергачём». Дергач был старинный рабочий, чуть ли не попавший на прииски в ранней молодости. Он перебивал почти на всех приисках Т..ой тайги; его ценили везде как опытного работника, особенно незаменимого во время пробных работ при разведках новых золотоносных площадей; но в то же время и недолгоблюдали за невыносимо заносчивый характер, тем более что Дергач, сознавая своё значение как незаменимого в известных случаях человека, любил показать всякой приисковой власти, что ему, в сущности, наплевать на всё, что за такого человека, как он, руки всегда будут. Дергач всякий раз выносил с прииска хороший заработок. Он не любил забирать у хозяина вещи в долг; всё время работ на приисках отказывал себе в самой ничтожной прихоти, но зато уже при выходе с приисков любил щегольнуть средствами.

Конечно при том разгуле, какому обыкновенно предавался Дергач, средств его хватало всего на несколько дней, но довольный и тем, что он пожил «хоть на час, да вскачь», Дергач, пропив последнюю копейку, снова отправлялся на прииски и работал до упаду, поддерживая ослабевшие силы мыслью о будущем отдыхе и разгуле. Одевшись щеголеватее всех, хотя

и припрятав свою старую рвань — ибо знал, по опыту многих годов, что через несколько дней она снова понадобится ему, — Дергач, вынесший по обыкновению хороший заработок, гулял в Т...е уже третий день, не без удовольствия выслушавшая славословия, какие усердно расточала ему подобранная им свита.

— Зазвал, так угощай! — говорил Дергач, войдя в лавку в сопровождении своей свиты и, приветливо поздоровавшись с хозяином, важно сел на поданный ему стул, тогда как свита его, из почтения к нему, разместились вне лавки, по ступенькам высокой панели, обносившей весь гостинный ряд. — А ты, Микита Онуфрич, всё такой же сыч, как и был: не стареешь и не молодеешь! — сказал он, снимая с головы бобровую шапку и кладя её на прилавок.

— Чего пьёшь-то ноне, скажи ты мне, чем угощать-то тебя? — спросил вместо ответа Никита Онуфрич. — Ведь простой-то, чай, не потребяешь, сан не допускает...

— Подавай чего покрепче, штоб шипело на каменке-то...

— Рому?

— Наилучшего, мотри...

— Известно, при такой бы персоне... да конфузиться. Степан! — обратился Никита Онуфрич к парню лет двадцати, служившему у него, по-видимому, в качестве приказчика. — Подь-ка к Кузьме Терентьичу, возьми у него бутылочки три рому, наилучшего, мотри; лимончиков с пяток захвати, пряничков с фунтик, а деньги, скажи, опосля сам я занесу. Да проворней; скажи, мол, светлеющий ждёт! — с иронией заключил он. — Ну, как же ты ноне, ваше сиятельство, поживаешь, а?.. — спросил он, когда Степан пустился бегом из лавки по направлению к погребку Кузьмы Терентьича.

— Живу — не тужу, чего пропью — вновь заслужу. Жизнь у меня одна!

— Много ноне денег-то вынес, а?

— В силе!..

— Талантливый ты... Это, братец ты мой, в ину пору подумаешь: при твоём-то уме да при твоей-то сноровке ко всякому делу как бы то ись можно усчастливиться, а? А у тебя всё прахом идёт. Вот тебя теперича князем величают; оно, известно, льстит, чего говорить: прирождённый мужик, да вдруг теперича в этакий сан затесался, — хошь у кого разыграет дух. Да только, милый, величают-то поколь у тебя деньги есть...

— А ты как же бы полагал?

— То и говорю, што поколь ты при деньгах, ну, и князь, а без денег всё та же грязь!..

— Э-эх, Микита, да ведь всякая грязь при деньгах-то — князь... Нешто я один на белом свете эким-то князем выгля-

ну? Неуж ты думаешь, што я и в самом деле так полагаю про себя, а?... Ведь я мужик, как есть вот мужик, с пят до рыла, а бренчат деньги у меня в кармане, ну, меня славословят, а я и слушаю, и люблю. Угощу за энто... Я вот мужик; ну, што ты скажешь на это?

— Мужик, чего ж боле сказать-то?

— Мужик!.. А теперича вот князем меня величают. Хе... Э-ей, вы, сиди да не дремли, содержи себя в струне, потому над вами ноне око есть! — крикнул Дергач, обратившись к своей свите и грозя ей кулаком. — А за што меня славословят? Какие во мне таланы, а? За деньги... вот талант, о коем все люди скучают и все честят, паче всякой заслуги...

— Верно; чего супротив энтого скажешь...

— А как это понимать, ежели теперича в разуме человек, а?

— Глядя по разуму, Василь Петрович... у всякого ведь свой разум-то. Это глядя по точке, на какой фундаме выкладен...

— А ты узорных-то слов не плети, говори по естеству. Я вот так полагаю: я мужик, да если вот при деньгах, тако и я в почёте, и я князь, и ты вот меня в гости зазвал, и другой зазовёт, и властен я всё делать, и всё мне с рук сойдёт.

— Ну, уж и всё!..

— Всё!.. Потому — заплачу... И разговор я могу держать теперь, какой на душе моей зудит... Я вот, может, друг ты мой, креплюсь-креплюсь за год-то, чего только на душе-то моей не насаднеет, какой, говорю, мозоли жизнь-то не натрёт на ней, — колотя себя кулаком в грудь, с ожесточением говорил Дергач, — креплюсь!.. Потому власти во мне энтой нет в те поры разговаривать-то; а деньги, Микита, сила... это в ину пору, я, братец, тоже сумнением-то задаюсь: коли бы всякой мужик да богат бы был, а-а... чего бы было?

— Взыграли б?..

— И-и!.. Как бы исшо взыграли-то!.. И у птицы бы, што в поднебесье летает, пух-то пообщипали бы!.. Да-а!.. Мужик... Ты не почитай, што мужик-то дурак, а по себе суди теперича: ведь и ты не вышнего чина человек, и я не прирождённый князь... Все мы, братец, свет-то божий сквозь бычачий пузырь узрели, а ведь тоже помышляем и всякий разговор держать можем, и всё через деньги... Смелость они, милый, придают.

— Чего говорить; без денег человек... и не в цепях бы, кажись, а всё путается; всё равно скован даже и в помышлениях...

— Скован; а раскуй-ко, ободри!..

— Возмечтали б!..

— Аа-ах, ма-а!.. Где вот Степан о-то твой с угощением-то запропал? Молодцы, ну-ко сбегай кто-нибудь, понудьте-ко

парня-то пошире шагать! — произнёс Дергач, обратившись к свите своей. — Да-а, раскуй-то нашего брата золотым-то молотом... а? — снова произнёс он после минутного раздумья, обратившись к Никите Онуфричу. — Э-эх, Микита, Микита!.. Вот ты даве укорил меня, што всё у меня прахом идёт, што при моём бы уме да талане я бы очень мог устатливиться... И мог бы, вот бы как мог... Я, брат, фортуна-то не раз за подол имал и то ись как бы мог приголубить её, да душа не лежит..

— К фортуна-то?

— Да-а!.. Вот ты и гляди на меня!.. Иной всю жизнь за ней гонится, как собака за тенью; так она к тому, брат, не лнёт, потому у неё весь бабий норав; а кто вот от неё воротит рыло, так тот ей и люб. А мне на неё плевать, истинно, как перед Богом, говорю тебе! Нешто, ты думаешь, деньги-то счастливят? Дороги они мне, а-а? Тьфу! — сплюнув, произнёс он и отвернулся. — На, вот, гляди на них,— говорил он, — достав из кармана плисовых шароваров толстый пук скомканных ассигнаций и показав их ему. — Ну, землю бы я купил, лошадей, дом бы выклат, хозяйство установил бы, бабой бы обзавёлся, а дале-то чего ж бы было? Нешто, ты думаешь, усидел бы я на месте, а? Ни в жизнь! Назавтра же всё бы опаскудело мне, верь! Во-оля, мне, милый, дорога, во-о-олюшка, и нет, то ись, милей её красоты на свете!.. Да где ж это твой Стёпка-то с угощеньем запропал? — крикнул он.

— Пёс его знает, где его там уколачивает! — произнёс засуетившийся Никита Онуфрич, на которого показанный ему пук ассигнаций произвёл, по-видимому, сильное впечатление. Выскочив из-за прилавка, он выбежал на панель и, приставив к глазам ладонь руки, торопливо посматривал по сторонам. — Ч-чёрт, право чёрт! — сердито рычал он когда, немного погодя, Степан, держа в шапке бутылки, вбежал, запыхавшись, в лавку. — По-о смерть только посылать тебя, — ворчал на него Никита Онуфрич. — Я те вот, лешему, вкочу гвоздей в сапоги-то, так будешь напредки пошевеливаться.

— Не протолкаться, ей-богу, столько народу набилось! — оправдывался Степан, проворно раскупоривая бутылку и смаху обтирая рукавом крупные капли пота с лица.

— Ну-ка, Василь Петрович, пригубь! — пригласил Никита Онуфрич, поднося Дергачу объёмистый гранёный стакан с ромом.

Дергач молча принял из рук его стакан и, пристально посмотрев на налитую в нём жидкость тёмно-красного цвета, сильно распространяющую запах клопов, покачал головой.

— Отрава энто питьё, Никита; одним только и берёт — лютостью! — произнёс он. — Ты уж и молодцов-то моих почествуй, — обнеси.

— Беленьким, разве...

— Ни-ни, ромом. Все мы, братец, люди, все человеки, помни. Вознагражу, а молодцов моих не обидь..

— Эх, милый, да разве я в обиду? Ведь если я теперича тебя чествую, так ведь я знаю — кого я чествую. Ведь ты умный; понимаешь, што чего стоит, а они-то што?

— Люди; и у них, братец, понятие есть!

— Все мы люди, — точно, и все по одному покрою, да не из одной матерьи, друг; овый из холста, овый из ситца, а овый из шелков соткан; поэтому, друг, каждому и цена своя. Кушай-ка во здравие!

Дергач перекрестился и медленно без отдышки опорожнив стакан, крикнул и произнёс: «Ну и пали-и-ит!».

— Плесни-ко ещё шаечку на каменку-то, хе-хе! — смеясь, говорил Никита Онуфрич, наливая второй стакан, который Дергач опорожнял уже смаху и, выкатив свои большие серые глаза, с минуту бессознательно смотрел на Никиту Онуфрича.

— И огонь же питьё, а-а-а! — произнёс наконец он. — Уж я, брат, лют, а энта стихия никак исшо лютее будет! — говорил он, прожёвывая откушенную им половину лимона.

— Нешто ты лют? — спросил его Никита Онуфрич, передав одну бутылку и небольшую рюмку спутникам Дергача и оделив каждого из них по прянику.

— У-у, зверь!

— Гляди ж, а мне всё казалось, што ты добрый.

— Я-то? Э-э, лютости энтной во мне, Никита, а-а-ах...

— По-олно; с чего б?

Захлёбываюсь ею, как бешеная собака пеной, верь! Не таюсь. Времем я тих, не таю, ну, энто, милый, тоже забава! Я ведь умный!

— Чего умней!

— И ехидства энтного во мне — боже ты, господи! Ты думаешь, я так вот ни за што, ни про што и мыкаюсь по белу свету? О-о!.. Хе... я всё, брат, выглядываю, во всё проникаю, я... я... дойду до точки.

— О-о? До какой же?

— Энта точка, друг, н-ну! Кто её скovyрнёт, тому в царство небесное дорога широ-о-окая, будет, да-а! Васька Дергач... Хе... и имечко-то ведь подобрали, хе, хе...

— Окрестил-то тебя кто этим-то именем, скажи-ко?

— Ишь, вот в метрику-то не пишут, кто первый взвелишет. Известно кто: наша же братья — перекасти поле — не дадут ли боле. Кто?.. А ну-ка, плесни исшо мне. Ведь это вот пагуба, — говорил он, взяв в руки вновь налитый стакан, — а ведь нашему брату жить без неё не можно, верь! Ты не зри так на меня, я вправду говорю: сколь она энтной горести в тебе тушит,

а? Теперича взять меня к примеру: кто я? Бобыль, ни кола, ни двора; ну, какая моя жизнь? Год каторги, да день просвета; ты робишь, робишь, жизнь кладёшь, и всё ты нищий, а другой за твоё здоровье, сложа руки, в прохладе живёт. Нешто так должен жить человек, а? В каком законе писано, что я вот, Васька Дергач, стой под одной планидой с бессловесным творением, а? Ну, ответствуй!

— Предел, милый, уж это кому как.

— Кто его городил, предел-то энтот? Объяви?

— А уж это, Василь Петрович, кем оно огорожено, — поумней кого спроси, потому мы грамотой-то, признаться, не задались, — уклончиво ответил Никита Онуфрич.

— Точка, а? Точка ведь, хе-хе! Постиг теперь её? Ну, — и, выпив стакан, Дергач стукнул им о прилавок и, посмотрев пристально в глаза Никиты Онуфрича своими значительно посоловевшими глазами, засмеялся, обнаружив ряд белых, как перламутр, и крепких зубов. — Ну, постиг теперь, а? — снова начал он. — Э-эх, Микита, Микита, да што тут слова-то терять! А энтих таланов твоих мне не надо, ни... ни! Во-о-оля, — вот, милый, красота-а-а, и не продам её ни за какие тыщи, озолоти! Завсегда я сам себе барин: сегодня я князь, назавтра грязь, а всё барин. Ну, можешь ли понять теперича, што я за человек, а-а? За деньги меня чествят теперь, и чести, — за што ни чести, да чести, а придёт точка, ты и за ум меня почтишь!

— Не в цене он, милый. С умом-то по нонешним временам плохое житьё. При деньгах оно исшо в полугория, а уж без денег, милый, одно только званье, неособливая статья. А што ж, Василий Петрович, похвалялся ты ноне, што тебе плевать на деньги-то, а? Вправду это? — смеясь каким-то принижено-заискивающим смехом, спросил Никита Онуфрич, ласково заглядывая в осоловевшие глаза своего гостя.

— Плевать.

— Плюнь-ко, слышь, и в мою сторону... от щедрини-то, а?

— Изволь! — и, харкнув, Дергач плюнул ему прямо в лицо.

— Ну, это уж, Василь Петрович, не гожо-о-о! — растерявшись от неожиданности и обтирая полою бешмета лицо, произнёс побагровевший Никита Онуфрич. — Нет, это уж то-го... уволь, за это вашего брата учат.

— Нашего брата, Микита, за всё про всё учат, и сколь ты, милый, ни живи, никак, то ись, из энтотй науки не выйдешь... А што если теперича я супротив тебя бесчинство сделал, так ты не серчай; с твоего ж слова, ты ж просил — плюнь, и я за-всегда с полным даже удовольствием.

— Я не сержусь, — успокоил его Никита Онуфрич, — только вдругорядь, говорю, Василь Петрович, энтих-то шуток остерегись: неровен час да время.

— О-о, чего ж ты грозишь-то? Ну, што?

— Не грожу, а предворяю только: стерегись.

— Микита, ты нашто меня в гости-то зазвал, а?

— Угощать.

— За что ты меня чувствуешь так, а? Вишь сколь закусок-то накупил, а? А ведь ты скупой, ты Ирод; ты стакана водки даром не дашь, а меня, вишь, ромом уснащиваешь. Ну, за што же экая милость ко мне, а?

— Стоишь, стало быть и понимай!

— Стою! — с иронией повторил Дергач. — Если б я и в тыщи раз стоящий был, да коли бы денег не было, так ты бы мне корки хлеба не кинул. Пра-ахвост ты, Микита, одно тебе званье.

— Спасибо и за-энтю. Хорошо. Ай да князь!

— А-ах, Микита, Микита, насквозь ведь я тебя вижу! Я вот тебе какую хошь пакость сделаю и вторительно в лицо плюну, — сойдёт, только другой полой оботрёшься. Вот от он, магнит-то, вишь, хе-хе-хе, — вынув из кармана тот же комок ассигнай и перекатывая его на ладони левой руки, говорил Дергач, любуясь им. — Си-ила они! За энтю самое я и люблю их, окаянных, хе-хе... Сколь ты ни кощунствуй над человеком, какового бы чина он ни был, да только покажи ему энтю пшеничку, сичас как воробушек носик протянет к ней, и всё тебе сойдёт, как с гуся вода. Правда? Ответствуй.

— Статься может, кому ведь што! Тебе деньги-то зря валят, а нам они, Василь Петрович, до-орого даются,

— Зря-а!.. хе... Кровью добываем их, кровью, слышь ты это? — ударив себя кулаком в грудь, ответил Дергач.

— Кровью бы добыл, так не расточал бы.

— Расточаю?.. Я низменный человек и не хочу быть выше энтюго званья, а мог бы; у меня талант, мне во как фартит, а не хочу, знай! Я в энтюй доле родился, в энтюй доле и умру, наравне с иными прочими, и не хочу превыше их быть, не хочу, совесть не попускает. Не гляди, што я нищий, а во мне вот совесть есть, да-а. Понял? Я вот их, окаянных, кровью добываю, а они мне — тьфу. А мне жизнь-то, Микита, так же дорога, как и тебе... Почему?

— Бог тебя знает, за што ты от своего талану отрекаешься.

— Бог-то, брат, всё знает, и всё он это зрит, чего меж людьми деется; ну, до поры до времени, милый, не угневили, знать, вдосталь владыку небесного, а уж, э-э-эх сказал бы я тебе ишо одно словечко.

— За чем же дело-то стало? Говори,

— Уж такое словцо... дрогнешь!

— Не зябкий я, а особливо от слов-то, — смеясь заметил Никита Онуфрич.

— Дро-огнешь...

— О-о, сказывай, што ж, послушаем.

— Не по твоим ушам оно, пра-ахвост ты.

— О-о, это и есть словцо-то?

— Это самое!.. На!.. — неожиданно закончил он, бросив на прилавок десятирублёвую ассигнацию.

— За што это?

— За угощенье... А энту, брат, бутылку-то я с собой прихва-чу; ну, и лимончики-то тоже сгодятся, — говорил он, опуская в карман остальные деньги и заткнув за пазуху халата нераскупоренную бутылку и лимоны.

— Сиди, куда ж ты?

— Пойду горе, брат, размыкать со своими молодцами... Эй, вы, трогай! — крикнул он свите, выходя из лавки колеблющимися шагами, и через минуту улица огласилась звонкою хоровою песней удаляющейся компании.

Подобрав пряники, Никита Онуфрич засмеялся и, разгладив скомканную ассигнацию, посмотрел на неё к свету и молча опустил в выручку. Выйдя к дверям лавки, он стал, опершись о косяк, в ожидании покупателей, которые заметно редели, так как день клонился уже к вечеру. Но зато шумнее и безобразнее становился разгул на улицах села, пока рано сгустившиеся осенние сумерки не скрыли из глаз всю неприглядную наготу его.

Утро было холодное, ясное. Иней, как прозрачная пелена, разостланная невидимою рукой, прикрывал и кровли домов, и видневшиеся луга, и горы, искрившиеся под лучами ярко взошедшего солнца мириадами светлых точек. Жизнь давно уже проснулась в селе, проявляясь в своих обыденных нуждах. По улицам всюду слышалось мычанье коров и бляенье овец, выгоняемых из дворов в поля. К скрытому спуску у реки, запертой в высоких, почти отвесных берегах, сгоняли на водопой лошадей. Женщины и девушки, вчера такие нарядные, гулявшие в цветных шёлковых платках на голове и ярких лентах, вплетённых в косы, сновали теперь по улицам босые, в одних рубахах да синих рядных юбках, сгибаясь всем корпусом под тяжёлыми вёдрами с водой, висевшими на коромыслах. Из труб валил густой дым, столбами поднимавшийся в воздухе. В раскрытые окна домов можно было видеть с улицы яркое пламя в печах и суетливые хлопоты хозяев, месивших хлебы или булки или приставлявших горшки с горячим к обеду. Просыпавшиеся рабочие сплошь и рядом совершали на улице до крайности незатейливый утренний туалет свой. Поплескав воды из берестяного или железного

ковша на руки и лицо, они утирались запросто подолом рубахи, и, напившись воды из того же ковша, усердно крестились на восток и, поклонившись по обычаю на все четыре стороны, входили в дом или присаживались, в ожидании завтрака, на завалины.

Как близкий предвестник вновь наступающего разгула, прерванного только на несколько часов ночью, порою долетала откуда-то нескладная песня какого-нибудь ещё не смыкавшего глаз гуляки, или слышался звон колокольцев запрягаемой тройки. Проснулся и гостинный ряд, распахнув настежь двери своих гостеприимных магазинов; проснулись и кабаки, и проснулись чуть ли не ранее всех. По крайней мере степенный Кузьма Терентьич, одетый в чёрный суконный халат, опоясанный пёстрым кушаком, и в тёплый картуз, плотно надвинутый на его широкий, изрезанный морщинами лоб, давно сидел в своём «ренском погребе и фруктовом магазине», как гласила вывеска, прибитая над входной дверью небольшого флигелька, пристроенного к дому его. Ренсковый погреб и фруктовый магазин Кузьмы Терентьича по обстановке своей далеко превосходил все подобные заведения в селе. Каждая мелочь в нём была до того искусно расположена, что глаз посетителя невольно останавливался на ней, и у человека, совершенно сытого, пробуждалось желание познакомиться со вкусом соблазнительно разложенных перед ним предметов. Деревянные пирамиды, симметрично расположенные за прилавком, были заставлены разноцветными и, если можно так выразиться, разнофасонными бутылками с этикетом на каждой из них. Этикетки не отличались особенным изяществом. Они были из простой писчей бумаги и, видимо, домашнего изделия, не выдавались они и красотой надписей на них, но текст этих надписей, вызывавший улыбку в прихотливом читателе, в грамотном простоянине возбуждал эффект и страстное желание испробовать водки с таким заманчивым, особенно для приискового рабочего, названием, как, например: «Пей с горя и радости для большей сладости!» и т. п. Бутылки с иностранными винами стояли рядом на полках, расположенных в четыре яруса по стенам магазина.

Несмотря на ранний час утра, деятельность в заведении Кузьмы Терентьича была в полном разгаре. Четыре молодца, исполнявшие в летнее время и зимой домашние работы в доме своего хозяина, а теперь превращённые в приказчиков, суетливо ныряли между пирамидами, полками и длинными лавками, на которых, как на столах, были разложены в деревянных ящиках различные лакомства и закуски. Молодцы проворно отвешивали требуемые предметы и ещё

проворнее завёртывали их в бумагу или ссыпали в полы азамов и рубак покупателей. В манере обращения молодцов с покупателями проглядывала изысканная, хотя несколько оригинальная вежливость. «Что вам прикажете, чернобровый?», «Чем угодно потешить, соколик?» — обыкновенно приветствовали они вошедших и с любезною улыбкою на губах терпеливо ожидали, пока «чернобровый» или «соколик», не совсем ещё очнувшиеся от вечернего разгула, опухшими, налившимися кровью глазами высматривали, что бы пришлось им по душе из разложенных перед ними сокровищ. Впрочем, каждый почти посетитель, войдя в магазин и поздоровавшись с Кузьмой Терентьичем и молодцами, с минуту стоял неподвижно, оглядывая пирамиды и лавки с разложенными на них лакомствами и закусками. Многие, не ограничиваясь обзорением, брали в руки какую-нибудь ягоду, засахаренную апельсиновую корку или что-нибудь подобное и, широко улыбнувшись, обводили присутствующих добродушно-весёлым взглядом. «Эко, брат, сколь тут услады-то для брюха, а-а?..» — невольно восклицали при этом иные из них.

А што это, к примеру спросить, за вещь такая, Кузьма Терентьич? — спросил один из таких посетителей, взяв в руку плитку красной пастилы и показав ему, осторожно придерживая её двумя пальцами.

— Пастила! — ответил тот, искоса взглянув на неё.

— Фрухта, аль так баловство какое, а?..

— Фрухтой зовётся, братец, такая вещь, што растёт; к примеру взять, ягода аль плод, лимон теперича если взять иль померанец; а энто, нешто не видишь, произведение рук... Пастила! — с достоинством пояснил Кузьма Терентьич покупателю, плохо знакомому с подобными предметами.

— Э! Чай, поди, аглецкая вещь-то, а?.. — снова спросил тот, оглядывая плитку пастилы к свету.

— Загранишная. Мы иного товара не держим, окромя как высших сортов из-за границы, — горделиво заметил Кузьма Терентьич.

— Шту-у-ука!.. Хе!.. Глянь-ко, Дмитрий Егорыч, — произнёс рабочий, повёртывая пастилу перед носом седенького, сгорбленного старичка, который тоже, улыбнувшись, осмотрел её своими подслеповатыми глазами и, чмокнув губами, покачал головой.

— Хе... скусная поди, а-а? — спросил тот, снова обратившись к Кузьме Терентьичу.

— Отведай.

— А што энтог брусок-то стоит, ежели на деньги класть?

— Энтог товар, друг, по фунтам отпускаем, не иначе.

— А-а-а!.. Ну, оно известно, аглецкая вещь, — согласился рабочий. — Сколько же полешков в фунт-то пойдёт, а-а?

— Ужо свесим! Варсоноф! — крикнул Кузьма Терентьич одному из молодцов. — Отвесь-ко пастилы фунт молодцу-то.

— Сто-ой!.. — крикнул покупатель. — Ты наперво скажи мне, сколько слупишь-то?

— Рупь двадцать копеек за фунт продаём..

— Цена-а-а!.. Гляди-ко, смотреть не на што, а рубль двадцать копеек, а? Ну, энто, брат, цена-а-а! Слышь, Митрий Егорыч, рубль двадцать копеек, а? Вот она, загранишная-то вещь, а-а? Не-ет, брат, наше брюхо аглецкой закуской баловать на-а-акладно; а ты вот, Кузьма, отпусти-ко нам «бабьей жёлчи» бутылочку; вот энто статья будет! Ну и водка; уж точно, что бабья жёлчь. И где ты экое зелье травишь на нашего брата, а? Тоже от аглича?..

— Энто русская... Ты нешто не знаешь, што если взять крепостью, то супротив русского вина во всём свете напитокка нет?.. — спросил Кузьма Терентьич.

— А-а! Вишь мы чем взяли!.. — удивлённо протянул рабочий. — Ну, и точно, экой водкой, как бабья жёлчь, хоть кого доведёшь, — зе-е-елье!

— А то, может, другого сорта испробуешь, а?.. Есть, пожалуй, и крепче, отведай, может, и по вкусу придёт, — произнёс Кузьма Терентьич. — Варсоноф, дай-ко ужо бутылочку «мужичьей слезы»!

— А-ах-ха-х-а-а-!.. Это вину-то такое прозвание, а? Мужичья слеза, а! Слышь, Митрий Егорыч? Ну, это, брат, должно, покрепчай. Мужичья слеза, хе!.. Давай-ко плеснём ужо ваше добро да в наше нутро, не всё его другим через край ковшами хлебать...

Варсонофий, крайне подвижный человек небольшого роста, с миниатюрным лицом, густо усеянным веснушками, и с мутно-серыми и подобострастными глазами, проворно сдёрнув с пирамиды бутылку с жидкостью неопределённого цвета, быстро отбил краем штопора тёмный сургуч, которым была залита пробка, и, раскупорив, подал покупателю.

— Мутна же, брат, наша-то слезница!.. — произнёс покупатель, посмотрев на бутылку к свету. — Ну, да и то сказать надоть, што чистой-то ей и быть не с чего!.. А што ж, молодец, ты б и стаканчиков...

— Один или пару потребуется? — спросил Варсонофий.

— Изотыч!.. — крикнул вместо ответа покупатель, обратившись к вошедшему в магазин рабочему, одетому в красную кумачовую рубаху, поверх которой был накинута смурый азам с расшитыми белью полами. На голове вошедшего была надета поярковая шляпа, из-под которой выбивались чёрные,

вьющиеся в кольца волосы. Смуглое, худощавое лицо, обрамлённое небольшой чёрной бородкой, было весьма красиво, и особенную красотой отличались в нём большие чёрные глаза, загоравшиеся каким-то лихорадочным блеском всякий раз, когда он говорил. Улыбка не сходила с полных, красивых губ вошедшего. Иногда она казалась какою-то бесцельною; в другое же время в ней проглядывала глубоко затаённая злость, и что-то мрачное, отталкивающее появлялось в эти минуты на симпатичном лице его.

Услышав своё имя, Изотыч быстро подошёл к рабочему, державшему в руках бутылку с «мужичьими слезами»*, и, тряхнув головой, причём надетая на ней шляпа слегка колыхнулась, молча взял из рук его бутылку, прочитал надпись на этикетке и усмехнулся, выказав два ряда крепких и белых зубов.

— По каким это святцам ты крестишь, Кузьма Терентьич, нашу-то пагубу, а-а? — спросил Изот. — «Мужичьи слёзы!» — смеясь, произнёс он. — Ты возьми-ко меня в кумовья-то; я те почище накрестил бы. А то — мужичьи слёзы! Кому их пить-то ноне, скажи-ко, а? Дворянину пора отошла; другой, поди, сызмальства так хлебнул их, што и теперь ходит как одурелый, да с горя своими опохмеляется, а мужику и покупать незачем: с утра до ночи от своей муки пошатывает, а ты исхо бутылошной хошь подбавить ему. И остаётся только самому себе потреблять их на здоровье, а разве это по коммерции не убыток, а?.. — насмешливо сверкнув глазами, спросил он.

Облокотившись левой рукой на приделанную к прилавку конторку, на которой лежала книга для записывания товара, выходящего в расход, Кузьма Терентьич молча, с добродушной улыбкой на губах выслушал Изотыча.

— А што тебя давно не видно было по нашим местам? Где ноне на фатере-то стоишь? — спросил его Кузьма Терентьич.

— У Поршнякова Матвея.

— Што же меня-то обошёл, а?

— Уж подстать ли вороне вить гнездо в хороме, Кузьма Терентьич... Для нашего брата и овин — палата! — ответил Изот. — Всё ли по добру, по здорову поживаете? — спросил он.

— Живё-ё-ём! — благодушно ответил ему Кузьма Терентьич, подавая руку.

* Чтоб для читателя не казались утрированными подобные названия водок, долгом считаю оговориться, что в Сибири и в Перми в сельских питейных домах часто встречаются курьёзные названия водок, например: «Услада души», «Мужичье сердце», «Утренняя заря», «Полночная роса», «Девичьи слёзы» и т. п. — *Прим. автора.*

— Эй, Флегонт не из тутошных, угощай слезьми-то! — шутливо крикнул Изот рабочему, купившему бутылку «мужичьих слёз» и громко теперь рассуждавшему в кучке покупателей на другом конце магазина. — Свои-то за лето выплакали, так хоть твоих, Кузьма Терентьич, отведаем; чай, скусны, а? — с иронией спросил он.

При имени «Флегонт не из тутошных» среди рабочих прокатился смех: даже «молодцы», забыв свою вежливость, захохотали, а сам Флегонт, называвшийся в действительности Еремеем Косяковым, шутливо погрозил Изоту рукой, в которой держал бутылку, и, раскачиваясь, подошёл к нему.

— Ну, другому бы я... выдолбил на затылке, из коих местов пришёл, а уж тебе, так и быть, спущу! — фамильярно хлопая Изота по спине, сказал Косяков. — Голова, брат, он у нас, Кузьма; знаешь ли ты, што это за человек, а-а? — спросил он, ставя бутылку на прилавок. — Ду-у-ша, — одно, брат, ему званьё... Изот, верный ты человек аль нет, сказывай!

— Язык-то ссохся, а то пошто бы не сказать, какой мы веры...

— Сказал бы, это верно, Кузьма; он сказал бы!.. — убедительно говорил Косяков, точно Кузьма Терентьич сомневался в способности Изота, с лица которого не сходила улыбка, объяснить, какой он веры. — Давай-ко уж посуды-то, ополоснёмся...

— Варсоноф, дай-ко стаканчиков!.. — произнёс Кузьма Терентьич. — Да раскупорь коробочку сардинок для гостей-то! — добавил он, когда Варсоноф бойко стукнул о прилавок донышками гранёных стаканчиков.

Как только Варсоноф подал стаканы, Косяков проворно наполнил их водкой и пригласил Изота промочить ссохшийся язык, пожелав по пути всякого благополучия и Кузьме Терентьичу.

— Горька же, брат, мужичья-то слеза... а-а!.. — произнёс Косяков, опорожнив стакан и с гримасой сплюнув на сторону.

— Как и следует быть... Только девичья пред венцом, сказывают, сладка-то бывает!.. — ответил Кузьма Терентьич, придвигая к ним раскупоренную коробку сардинок, из которой Косяков вынул пальцем рыбку и, показав её Изоту, произнёс: — Вот так рыба, глянь-ко, Изот! Тоже, поди, аглецкая, а? — спросил он у Кузьмы Терентьича.

— Загранишная.

— Ди-и-ивья! У нас, брат, эких-то рыб бабы подолами имеют, во-о!.. А коли настоящий невод запустить, так осетра-то пуда в три выхватят, вот так ры-ы-ыба! А то... хе... и на пальце-то не видать, а загранишная... Чай, коробка-то дороже рыбы

обходится, — заключил он, проглотив сардинку и облизывая с пальца масло...

В это время двери с шумом распахнулись, и в магазин вошёл Дергач в сопровождении своей многочисленной свиты. Шляпа его, обвитая лентами, была уже сильно помята, новый суконный халат был облит салом и ещё чем-то, а один рукав его висел только на ниточке. Измятая и засаленная физиономия Дергача носила следы самого буйного разгула.

— Стой! — крикнул он, размахивая руками. — Кто тут есть — ни с места!.. Угощаю! Ну, Кузьма, подавай пару..

— Вот, молодец, люблю за обычай.. Сейчас видать, што князь! — заискивающим голосом ответил Кузьма Терентьич.

— Молодец? — спросил Дергач, хвастливо избоченившись.

— Поиска-ать! С одного слова видать, што князь.

— Изотка, да, никак, это ты? — неожиданно крикнул Дергач, увидя Изота и подходя к нему. — А-ах ты, кусай тебя мухи!.. да ты это откелева взялся здесь, а-а? — спросил он, ударив его с размаху своей широкой ладонью по плечу и тряся его. — Н-ну, нахо-о-одка!..

— Нешто знакомы? — спросил Кузьма Терентьич.

— С Изоткой-то это?.. Да ты спрости, што — мы, а? а? Ну-ко, Изот, отруби ему словечко, што мы есть такое, а?

— И сам он сдогадается, Василь Петрович, какого мы поля ягодки, — смеясь ответил Изот.

— А-ах, ты... дуй тебя в колья. Ну, нахо-о-одка! Изот!..

— О-о?

— Ежели мы теперича вдвоём-то с тобой, а?.. Што мы есть?.. Сила!

— При каком случае взять, Василь Петрович; в одном, может, и точно компания, а в другом чём — и два дела розь.

— Угощаю!.. Кузьма!.. Теперича для Изота, как, стало быть, самого закадышного моего... Ставь!..

— Чего ж ставить-то?

— Ставь!.. Чего только есть на полках, всё ставь.

— Добра-то на полках, Василь Петрович, на тыщи... Сообразись...

— На тыщи! — повторил Дергач и, приподняв шляпу, почесал в затылке. — Много ли тут, считай! — сказал он, вынув из кармана плисовых шаровар комок ассигнаций, значительно уменьшившийся в своём объёме, и бросив его на прилавок.

Кузьма Терентьич, расправив ассигнации, подложил их по порядку и неторопливо пересчитал, послунивая время от времени пальцы.

— Ну, на энтог капитал пирамидку-то можно очистить, Василь Петрович, — с улыбкой произнёс он. — Хватит.

— Исшо считай! — сказал Дергач, выхватив из другого кармана комок ассигнаций далеко полнее первого и так же хвастливо бросив его на прилавок.

— Во-от князь так кня-язь! — произнёс Кузьма Терентьич, причмокнув губами и обведя столпившихся около прилавка рабочих каким-то торжествующим взглядом. — Запасливый же ты, Василь Петрович. Ну, кабы все-то содержали себя в таком аккурате, житьё б около вас было!.. Варсоноф! — крикнул он, не досчитав ещё кучки, — достань-ко бутылочку ромку, с задней полки, што с беленьким ошейничком; для эких-то гостей и расходоваться любо! — говорил он, продолжая считать.

— Деньги-то увидал, так и бутылочкой разманить хошь. О-ох, Кузьма, Кузьма! — заметил Дергач.

— Ноне честь-то воздают не по роду, а по карману, Василь Петрович, — ответил Кузьма Терентьич, не смутившись укоризненным замечанием Дергача. — На-ко, всего твоего капитала, стало быть, триста сорок два рубля. Помни!

— Обчёлся... не всего ещё...

— А-а, исшо есть в запасе?

— Есть!

— Фа-артит! Ну, как же, скажешь, не фартит тебе, а-а? Да, чай, ведь ещё прокурил-то уже немало?.. Што ж ты ране-то не объявился нам, а?

— Объявимся, обожди! — усмехнувшись ответил Дергач, весь избоченившись на сторону и пряча деньги в карман. — О-объявимся... Только покажь нам беленький-то ошейник... Знаешь ты этого парня, а-а? — спросил он, указав на Изота.

— Видывали!

— Ты из-под ручки глянь: это, брат, парень-то... да што тут говорить... Изот! — крикнул он, снова хлопнув его по плечу.

— Чего, Василь Петрович? — обведя его искоса лукавым взглядом, спросил тот.

— Много мы на веку воды мутили, а?

— Мутили, Василь Петрович, чтоб чище отстаивалась.

— Хе... и перья не подмачивали, а?

— Случалось, и подмачивали, аль забыл? И с гуся-то не вся ведь вода стекает, ина капелька и пристаёт...

— Пристаёт, это верно!.. Н-ну, Кузьма, чист я душой, чи-ист! — начал Дергач, колотя себя в грудь, — а скажи ты мне теперича: «Дергач, подь за Изоткой в острог» — по-о-ой-ду, верное слово, и не оглянись, пойду... Слышал, вот это какой парень, а? Што ж ты беленьким-то ошейничком поманил, да и нет тебя, а?.. Подавай его, будь верен своему слову! — назидательно заключил он.

— Варсоноф, што ж ты застрял там? — крикнул Кузьма Терентьич, и когда Варсоноф поспешно подал ему бутылку,

Кузьма Терентьич собственоручно раскупорил её, обтёр чистым полотенцем стаканы, налил их и любезно откланялся на пожелания Дергача и Изота.

— Молодцов-то обнести, — спросил Кузьма Терентьич, — аль нет? Ровно ведь ты всех обещал угощать а?

— Угощаю!.. Обнеси!.. ведь это теперича если я, Изот да вся наша артель, так знашь ли, чем это пахнет, а?

— Сотенной, чем боле-то! — с иронией ответил Кузьма Терентьич.

— Сотенной! — повторил Дергач. — Ты только около сотенных белками-то ворочаешь; а не хошь, мы разнесём всю твою погребницу, а?

— Ну.. уж на эфтом благодарим покорно.. ослобони-и..

— Ослобонить! Эх, Кузьма, Кузьма! Стар ты, сед человек, а всё только сотенные в помысле держишь, а нет чтобы о божьем потрудиться! — нравоучительным и отчасти меланхолическим тоном произнёс Дергач, когда они выпили по одному стаканчику рому и закусили сёмгой с тёплыми пшеничными калачами, принесёнными для них из дому Кузьмы Терентьича одним из молодцов его.

— А што, Кузьма Терентьич, позвольте как бы к слову спросить, — начал Изот, прерывая Дергача, — акшауловские служащие не выезжали ещё с промыслов —управляющий Максим Петрович Шустов и становой* ихний Иван Артёмович?

— Наниматься к ним хошь, што ль? — спросил Кузьма Терентьич.

— Нет, я так про всякий случай осведомился; потому как с Иваном-то Артёмычем мы в большой приязни живём, так думал, коли здесь они, понаведаться о их здоровье,— с лукавой улыбкой ответил Изот. — О-отменный человек, и житьё мне ноне было у них — не давай лучше!

— У акшауловских-то это? — удивлённо спросил Дергач. — А пошто ж народ-то это плачется на ихние порядки, а?

Оно што сказать, и мы спервоначалу-то не мало слёз сквозь подол цедили, но опосля того, по некотором удалстве, на отменных харчах состояли. Вот и хочу понаведаться у его милости, Ивана Артёмыча, поблагодарить за расположение.

— Изо-о-отка.. пё-ёс!.. Што на уме, сказывай!

Про што, Василь Петрович?

Смошенничал, што ни есть, говори!..

* Становыми на золотых приисках называют служащих, на обязанности которых лежит распределение рабочих по роду работ и наблюдение за правильным выполнением их. Становые в сущности — помощники управляющих приисками. — Прим. автора.

Зачем мошенничать! Дело по чести велось, Василь Петрович, не полагай! А што на бешеный ндрав Ивана Артёмыча имели в охрану своего интереса недоуздок, не потаю!.. Позвольте за ваше здоровье ещё стаканчик.

Пей... шут тебя!.. Кузьма, ну, разве это не парень, а? — спросил Дергач с какою-то восторженностью, показывая на Изота. — И што это за мать родила тебя, Изотка? Поглядеть бы, а?..

— Мачеха, Василь Петрович, потому как тятенька иа второй был женат, так мы от вторительного брака пошли по свету-то гулять, а те, кто от первой-то произошли, и по сю пору в родном гнезде лаптями пустые щи хлебают, — с иронией и не переводя почти духу, ответил Изот. — За ваше здоровье, Кузьма Терентьич, и вашей милости, Василь Петрович, желаю всякого благополучия, — произнёс он, медленно выпивая стакан. — А винцо-то даже очень порядочное,—заметил он, почмокивая губами, — хотя и не то, штоб из первых сортов, а ближай всего из бочешных ополосков, но по здешним местам за большую честь итти может.

— Ах ты, рыло!.. — не то шуточно, не то обидчиво ответил Кузьма Терентьич. — Почище тебя пьют, да одобряют, а то бочешные ополоски... знаешь ты толк-то?

— Не погневите, Кузьма Терентьич, а оно точно самого энтото достоинства; потому как мы сызмальства в Москве при ренковом погребу состояли, так настоящее понятие имеем о винах, вкусу подобных. Энто вино, если теперича разобрать его по качествам, домашнего фабрикут будет.

— Што-о, Кузьма? — торжествующим голосом крикнул Дергач. — Вот энто челове-е-ек, видал?

— Сокровище, как не видать! — Ты посельщик, што ль? — спросил он Изота.

— Поселенец!

— За што в Сибирь-то прислан?

— За рукоблудство. Потому как проживая около благородных людей, што не сеют, не жнут, а на чужое живут, прельстились энтим мастерством и единственно только по неосторожности споткнулись через Урал-порог...

— К-у-узьма, да рази энто не парень, а? Изотка, дуй тебя в каменку... целуй!..

— Извольте! — и, обтерев губы полою азяма, Изот сдёрнул со своей курчавой головы шляпу и быстро, крест-накрест, трижды поцеловал Дергача, оторопевшего от такой неожиданной поспешности. — А теперича за ваше здоровье, Василь Петрович, дозвольте стаканчик? — спросил он, надевая шляпу.

— Пей... угощай!.. А-ах ты, братец мой, а? Ку-узьма, да ведь с эким парнем, што ж... сквозь огонь и воду... Ведь одним языком тебе мост соорудит, а?

— Неопалимый даже можем поставить, Василь Петрович! — ответил Изот, наливая стаканы. — А вы, Кузьма Терентьич, — начал он, обратившись к нему, — не полагайте об нас дурного мнения: мы хоша и ссыльнопоселенцы и только ступенькой до варнака* не дошли, а тоже честь свою строго соблюдаем! К примеру, вот энта бутылочка што у вас ценой, позвольте узнать?

— Али платить охота пришла, што справляешься?

— На случай для соображения.

— Два с полтиной...

— Я б вам и рубь-то с великим азартом за неё выдал, н-да-ас! Конечно, при вашем ремесле морочить почтенную публику на всякий образец очень выгодно; а если на знающего человека, так он вас за энтот фальш очень может скрутить. А теперича за ваше здоровье! — с иронией произнёс он, так же медленно выпивая стакан, как и предыдущий.

— Што-о-о, Кузьма, наскочил? Энто ли не парень, а? — восхищённо воскликнул Дергач, держа в руках стакан и расплёскивая его.

— Тьфу ты, прости господи! — с презрением сплюнув на сторону, ответил побагровевший Кузьма Терентьич. — Скрутить за фа-альшь! — повторил он. — Не ты ли это, расейский высевок, скрутишь-то меня, а? Видать, што Иван-то Артёмыч не всю ещё тлю из шкуры-то твоей выхлопал; на племя, верно, до новых веников гнёзда оставил. Зна-а-ающий, гляди-ко! Ба-ахвал — и всё тебе званье!..

— Ну уж, Кузьма Терентьич, кому другому и веник в руки парить нашего брата, только не Ивану Артёмычу! Вы любопытствуйте-ко наперво, опросите их, как приедут: по какой струнке они хаживали предо мной.

— Это Иван бы Артёмыч стал перед тобой по струнке ходить, а? — насмешливо-презрительным тоном спросил Кузьма Терентьич.

— На цыпочках.

— Иван Артёмыч?!

— Так точно-с, они самые, даже сапожки снимали, што-бы скрипу по тайге не было, — с такою осторожностью прогуливались перед нами...

— Тьфу ты, идол! — так же презрительно сплюнув на сторону, ответил Кузьма Терентьич, пожимая плечами.

— Оно статья может, што и с идолом сходство имеем, а только вы без сумления в эфтом деле положитесь на моё сло-

* «Варнак» — так называют сибирские крестьяне беглокаторжных и каторжных вообще. Это — самая позорная и обидная ругань среди тамошнего населения. — *Прим. автора.*

во. С большим они почтением относились к нам, да-ас! И если бы теперича нам настоящего рому бутылочку, так мы не хвастовства ради потешили бы вас, рассказали, каким манером расейские высевки с немолотой ржи шелуху сдирают.

— А-ах ты, пёс, н-ну... Ставь ему, Кузьма! — крикнул Дергач. — И на каком ты это точиле, братец мой, язык навострил, а?

— На острожном, Василь Петрович, на энтом бруске, бывалые люди сказывают, и дерево вострей железа в ину пору натачивается...

— Ну-тко-с, знающий человек, — с иронией прервал его Кузьма Петрович, раскупоривая новую бутылку, которую сам достал с одной из полок и горлышко у которой было опечатано жёлтым свинцом, — о-одобри-ко, какой энто фабрики?..

Изот взял в руки стаканчик, вытер его тщательно поллой азяма и, когда Кузьма Терентьич налил в него рому из новой бутылки, медленно, с видом действительного знатока, отпил вино, почмокал губами и, прищурившись, пристально, с злою улыбкою на губах, посмотрел на Кузьму Терентьича, который тоже в свою очередь не сводил с него глаз.

— По расейским ценам если класть, энта бутылка в рубль двадцать копеек... Сорт, оно точно, почище, а всё мешаный...

— Ах ты анафема!.. Да ты и взаболь разбираешь, што чем пахнет!.. с удивлением произнёс Кузьма Терентьич.

— Што-о-о, Кузьма, наехал, а?.. Это ведь креме-е-ень парень, не твоим огнивом из него огонь вырубать... Изот, целуй! — И не успел Изот сдёрнуть с головы шляпы, как могучие руки Дергача стиснули его в объятях, и в погребке раздались поцелуи, звуки которых издали можно было бы принять за пощёчины. — Угощаю!.. — крикнул Дергач, высвободив Изота из своих объятий. — Што, Кузьма, ты думаешь, мы, мужики, в загранишних настойках толку не знаем, а?.. Нет, врѣ-ѣ-ёшь, мы всё понимаем... Вот она бутылка-то, рубль двадцать ценой, а мы пьём её за свои деньги... Пей, Изот, угощаю!.. — снова крикнул он, хлопнув его по плечу так, что тот покачнулся.

— Ну, так как бишь, тебя звать-то, Езоп, што ль? — умышленно коверкая имя его, насмешливо спросил Кузьма Терентьич.

— Обмолвились, сударь: Изот.

— Ишь ведь какими кличками по Расеи-то крестят вас!.. С утра-то, не обмоловши ещё языка, не сразу и вывернешь его... Изот! Ну и имя!.. Так как же это, Изот, Иван-то Артёмич по струнке перед тобой ходил, обсказывай... Ужо свижусь с ним, так всё ж хоть посмеяться будет чему.

— Уж ради вашего удовольствия, извольте.

— Ну, ну, ври, да поскладней, смотри.

— Ври-и-и?.. Нет, уж вы, Кузьма Терентьич, насчёт нашего слова будьте благонадёжны... Зря-то мы не любим его с колка спущать! — сверкнув глазами, произнёс Изот. — А про Ивана Артёмыча мы так речь поведём, што по нашей тайге на каждого туза свой козырь найдётся. Верно ли-с?

— Пожалуй што, — согласился Кузьма Терентьич.

— Очень Иван Артёмыч лют ндравом, в ину пору цепную собаку превосходит свирепством, а перед нами, не похваляючись скажу, сробели, и не токмо штоб на рожне, а на простом сучке мы окрутили их, да-а-а-с!..

— Ну... ну, поверим на сей день, хошь и сумнительно што-то, штоб Иван Артёмыча кто-нибудь окрутил! — покачав головой, ответил Кузьма Терентьич.

— И не верёвкой, а ниточкой!.. — улыбаясь, прервал его Изот. — Дело это, точно, было большой смелости... Вы любопытствуйте ужо, спросите, как приедут они: «Каково, мол, здоровье Палагеи Мироновны?..».

— Какой Палагеи Мироновны?

— Крали, для коей сыр-бор рубили, а в карман к нам щепки прилетели! И если бы теперича только воздержность наша, то мы даже при больших бы средствах могли быть от харчей Ивана Артёмыча. Ну, не умели прифортунить судьбы, — разведя руками, произнёс Изот. — А очень бы могли оправиться на ихнем иждивении, не похваляючись скажу вам.

— Не плети околесицы-то, а скажи наперво толком мне: кто энта Палагея-то?.. — прервал его Кузьма Терентьич.

— Мироновна-с, а по фамилии Одерина.

— При чём она в эфтом твоём разговоре?..

— Наживкой для фортуны... их супруга была, вот при чём-с! Двое зайчиков, извольте видеть, на одной зацепке сидели, а третий стойки рубил... хе-е!.. Ка-амедь эго была, если посказать! В половине мая прибыл, извольте видеть, на энтот промысел, где мы маялись грешным делом, рабочий Максим Одерин; звали-то его боле Фып*, потому как, бывало, подопьёт он, а это случалось с ним вчастую, так первым делом уткнёт голову в колени и ну песню выть, и столь-то жалостную, што ни дать ни взять фып в кочку дует. Хорошо-с!.. На прииск-то он пришёл с энтой самой Палагеей Мироновной... Баба была... а-ах ты, провал её возьми!.. Белая, румяная... по всем статьям разобрать если... фи-и-гура!.. Н-ну, глядим, не прошло и не-

* Выпь («Фып») — птица из породы цапель. Она кричит по ночам, уткнув обыкновенно свой длинный клюв в землю или в болотную кочку. В глубокою ночь крик её, похожий на тяжкий удушливый стон, наводит невольный ужас. — *Прим. автора.*

дели времени, управляющий Матвей Петрович, как человек, стало быть, одинокого характера, присуседил её в стряпухи к себе. Ладно!.. Немного опосля того соображаем — и Фып в гору пошёл, зафортунило. Што, мол, за притча?.. Спервоначалу-то он на обчей работе был, а тут его в конюха произвели, а там, и месяцу нет, подряд ему представили, стойки для орт рубить.

— Это Максимке-то? — прервал Дергач, сидевший на прилавке, сдвинув шляпу на затылок и распустив по полу полы своего тонкого халата.

— Максимке-то!.. — ответил Изот, не глядя на него. — По любопытству своего ндрава, — продолжал он, — я тем временем и порасспроси кое-кого: кто, мол, касательно Фыпа делом орудует? Сообча, говорят: и Иван Артёмыч, и управляющий... Э-э, думаю. По нашему соображению выходит, што два гуся в одной луже полощутся... Ну, говорю себе, не моргай, Изот, по сторонам, а гляди прямо... Рабочие и то, и сё городят промеж себя; кто из них над Фыпом смеётся, а кто и прислуживаться стал, под начал к нему в артель полез, а я молчу..

— Ха-а, молчишь-таки!.. — прервал Дергач.

— Молчу!.. Сметану-то, думаю, с краёв горшка починают снимать, а не посерёдке. Мо-о-олчу!.. — протянул он, тряхнув головой. — Хорошо!.. Скоро теперича сказка сказывается, да не скоро ведь только дело делается, и стал я в оно время примечать, што пока управляющий Матвей Петрович на промысле, так Иван Артёмыч и глазом не ведёт на Палагею Мироновну, и даже кажет вид, што она ему очень супротивна; а только управляющий отвернулся куды в отъезд, так и пошло у него с Палагеей Мироновной хи-хи-хи да хи-хи-хи!.. И платочки это аленькие ихнего подарка завелись у неё, и колечки, и серёжечки, и на-а поди, — совсем расфуфырь-павой баба глядеть начала. А-а! думаю... Стой же, Иван Артёмыч!.. Лакома наживка, да востёр крючок, заце-е-еписься!..

— А сам всё молчишь, а? — спросил Дергач.

— Гляжу: примают без слова и управляющий, и Иван Артёмыч, а стойки ниже положенья: не токмо штоб восьми вершков, а в иной и на пятом просчитаешься. Ну, и накатали они, сердешные, эких-то стоек не одну тысячу.. Перекрестись, говорю, Изот, и за дело. Теперича и твой черёд подошёл на фортуна самоллов* закидывать. Стал и я с исподтиха сначала промеж рабочих словечки ронять, што так и

* Самоллов — рыболовный снаряд, состоящий из длинной бичевы, усаженной тесно крючками. Самолловы бывают до пятидесяти сажен длины и закидываются на ночь в глубокие места рек на крупную рыбу, преимущественно на стерлядь. — *Прим. автора.*

так, мол, с этими стойками кто-нибудь из нас, мол, жизни решится: быть, мол, обвалу в орте* неминуемо. Не эким стойкам сотни тысяч пудов турфу сдержать, коли иная, говорю, и на корню-то уж подгнила. Слово за словом, што капелька за капелькой — и камень подточит, не токмо што разум у мужика. Сначала-то, как водится, стали затылки почёсывать, а опосля того и разговоры повели, и надумали обчим разумом, штоб шёл я к управляющему доложить, — убирал бы он эти стойки, коль добра себе хочет; а то, мол, и до горного исправника дойдём, и работу зашабашим! А мне только энтого и надоть было!.. Не медля нимало, пошёл я это наперво водицы испил, помылся да, благословясь на восток, и шагни к Ивану Артёмычу. Встретились честь честью, обхождение знаем, не впервой с благородными людьми речь вести... Так и так, говорю, ваше степенство, явите божескую милость, не прикажите гинуть, прикажите жить. Стойки-то, мол, што супруг Палагеи Мироновны, Максим Фёдорыч, поставлять изволят, неблагонадёжны... «В чём, говорит, оная их неблагонадёжность?» — А сам это так и палит, так и палит меня глазами-то. Вижу, гроза собирается, — бо-о-одрюсь!.. Ну и обсказываю, как то ись по нашему бы разуму надлежащей меры и крепости следовало быть. «Ты кто, говорит, есть?»

— Это он-то спрашивает, Артёмыч-то? — прервал Дергач.

— Он!.. Чернорабочий, говорю, Изот, по пашпорту Неплюев... «Твоё ли, говорит, это дело ходить да указывать нам. Да как ты насмелился, а?» Смелости, говорю, этой, Иван Артёмыч, в нас весьма достаточно!.. — отвечаю ему... Ка-а-ак я ему, значит, это слово выворотил, — думал, и земля встрепенётся. И-и-и пошёл мой Иван Артёмыч заливаться, што соловушко по весне! П-е-ел, пел, а я стою перед ним, што свеча теплюсь... Дал ему, это, время с сердца-то своего пену снять, да и говорю: на всё, мол, власть-воля ваша, Иван Артёмыч, вы, мол, теперича господа, а мы подисподки; только во всяком случае, говорю, невзирая на это, извольте доложить их

* На золотых приисках не всегда бывает поверхностное золото. Чаще всего золотиносные пески лежат в земле на глубине пяти, шести, даже десяти и более сажен. Случается, что золотиносный пласт находится на глубине даже двухсот сажен. В этих случаях, для избежания излишнего труда при съёмке такого громадного количества турфа, роют шахты и «орты». Ортою называется длинный подземный коридор, который ведёт косвенно в глубь земли из разреза, т. е. с местности, с которой снят турф или верхний слой земли. Во избежание обвалов внутри этих коридоров, или орт, по бокам и сверху ставятся деревянные стойки, нормальная ширина которых должна быть не менее восьми вершков в диаметре. — *Прим. автора.*

милости управляющему, штоб супруг Палагеи Мироновны энти стойки убрал, а поставил бы мерные, по положению, а то, говорю, ради прохлады их супруги мы своей жисти покладать не намерены... А коли, говорю, вы не доложите, так мы и самолично объясним, по каким кустикам голубки в их отсутствии гнёздышки вьют!..

— А-ах-ха-ха?! — залился Дергач, стукнув пустым стаканом о прилавок. — Н-ну, Изо-о-отка! А-ах, ты, братец мой, а?.. Так и сказал?!

— Вымолвил, как сейчас вот перед вами...

— Ку-у-узьма, это ли не парень, а?

— Чего ж он тебе на энто слово твоё ответил?.. — спросил Кузьма Терентьич, видимо заинтересованный рассказом Изота.

— Опешил... А потом уж, спустя того время, и спрашивает: «Какие, говорит, голубки?».

— Сузопёрые, говорю, Иван Артёмыч! — Да недолго думая, вижу, што оробел он, и махни: э-эх, мол, млад ты, паренёк, жиру-то на вольных хлебах боле ума нагулял! Да ведь я, говорю, теперича, коли тебе тысяжное место твоё дорого, какую хошь из тебя верёвку совью; знаешь это, а? Коли ты послушаешь моего путного совета, усчастливишь, говорю, меня, — смолчу, а нет, так сейчас пойду к управляющему да обскажу, как ты без него с Палагеей-то по кустам порхаешь и за энто не гляючи примаешь стойки, от коих рабочий человек может жисти решиться, а? Хошь, говорю?..

— Л-ло-о-овко! — протянул Дергач.

— Л-ло-о-вко!.. — таким же тоном, как и он, заметил Изот. — Даже сам опосля того сдвинулся отчаянности энтой в себе. Н-ну, вывезло! — сверкнув глазами, произнёс он. — Оробел-то он крепко. Словно ведь обухом его по лбу-то шаркнуло, то ись не пикнул, рот-то это разеват, а духу-то нет!.. И-и... пошла мне с энтой поры жизнь самая разлюбезная, — — неожиданно заключил он самым певучим голосом. — Не одна даже с Палагеей Мироновной чай у Ивана Артёмыча вместе кушали, да-а! Мало того, што он мне сто рублёв без слова выкатил, — молчи только, — а в матерьяльные допущал, да не пожелал я, — скромно заметил Изот.

— О-о, што ж так? — спросил Кузьма Терентьич. — Матерьяльным-то жи-изть: и работы почесть нет, и доходы кругом...

— Прохлада бы, чего говорить, да ндраву нашему не соответствует. Рабочие-то это диву дались, глядя на моё житьё, и всё пытали: каким это словом я сократил Ивана Артёмыча? Ну как им обскажешь истинную суть? Ответствовал одно, што у меня-де корешок этакой имеется от неболтай-травы,

при коем змей не жалит, бешена собака не кусает и злой человек стережётся. Верили! Ей-богу!.. — Вот ведь сиволапы какие, и всё допрашивали: покажь да покажь его.

— Однако ты паренё-ё-ёк, погляжу, коли не зря языком-то мелешь! — произнёс Кузьма Терентьич, измерив его своим пронизывающим взглядом. — Тебя, поди, чай, на каждом промысле в три полуды лудят, а? — с иронией спросил он. — Должно, тебе и острог-то не в диковинку.

— Острог-то? — потрянув головой, спросил Изот, и по лицу его пробежала при этом слове одна из тех улыбок, которые невольно заставляли сторониться каждого от этой надломленной печальной жизнью природы. — Острог-то! — снова повторил он. — А на мой глупый разум, Кузьма Терентьич, по Расеи милей энтого заведения и места нет. Слышал ли?..

— Впе-ервой, брат, слышу..

— Нет! — повторил Изот. — Даром што стены у него высоки, а выходные двери узки. — Нет!.. Если теперича разобрать, так энти заведения на то и строят, штоб наш брат мужик шлифовался в них да всякую изнанку постигал. Я вот на родимой-то грядке с одного только боку подрумянился, а в остроге-то меня и с другого подпекли, — с иронией произнёс он. — Кто меня теперича раскусит, так тот дважды облизнётся да почмокает, да-а-а-с! — сверкая глазами, насмешливо говорил он. — Нет, если б начальство-то знало, какие по острогам ягодки-то спеют да по Сибири семечки разносят, так давно бы ужаснулось..

— Чего ж бы, к примеру? — спросил Кузьма Терентьич.

— Чего? — прищурился глаза и насмешливо посмотрев на него, переспросил Изот. — А это вот когда я в Нижнем содержался по дороге в Сибирь, — навигации, стало быть, выжидали, — начал он после непродолжительной паузы, — так в остроге-то промеж нас сидел один молодец с Дону. И штой-то за голова была! — На ладони воду кипятил да не шпарился, ей-богу! Так он это не однова говаривал: «Ну, говорит, братцы, у Расеи голова за Уралом горой, у Терека ноги, грудь с подоплёкой по Волге легли, по Дону да по Днепру ручки протянулись; а посередь, говорит, одно только пузо лежит, и коли быть, говорит, непогоде когды, так жди её с востока... и постигай, к чему вот эти слова старыми людьми сказаны...».

— Изотка!.. — восторженно крикнул Дергач, вскакивая с прилавка. — А-ах ты, братец мой, а-а! Кузьма, ну не гуся ли это? Пей, штоб тебя закачало! — кричал он, наливая нетвёрдую рукою стаканы и расплёскивая вино по прилавку.

— А ты повоздержней лей... Што даром-то плещешь его? — заметил ему Кузьма Терентьич.

— Заплачу; не то денег нет, а?

— Знаю, што заплатишь, — не дарено; да всё ж подтирать, поди, надоть! — сухо ответил Кузьма Терентьич. — Варсоноф, подь-ко сюда, оботри чем ни на есть! — крикнул он.

Варсоноф, заворотив полу тикового халата, поверх которого повязан был белый фартук весьма сомнительной чистоты, проворно вытер прилавок и, выжав её в углу, заткнул для просушки за пояс.

— Острог, Кузьма Терентьич, вот какой статьи заведение, — снова начал Изот, выпив налитый ему Дергачом стакан, — входишь-то в него, так ровно и самого себя боишься, перед всем-то тебя оторопь берёт... Только хнычешь да кланяешься. А как понатрёшься там среди умных-то людей, понаслушаешься их речей да присказок, спознаешь все законы, почему и как всё на свете деется... и... боже мой, отколь этой смелости в тебе взыметса! Только в те поры и спознаешь, што и ты такой же человек, как и иные прочие, и требухой, и норовом нисколь не ниже самых произвышенных; и возьмёт тебя злость!

— А-а! — протянул Кузьма Терентьич. — Озлобишься же!

— Лютость не плошь зверя почуешь в себе, — процедил сквозь зубы Изот, — и уж в те поры не подходи-и-и..

— Укусишь?

— Изгрызть рад, верь слову!

— Гляди ж... Ну, да чего говорить, и собаку запрёшь, так мечется... Это што ж, стало быть, острожна-то болезнь заместо родимчика встряхивает, а? — насмешливо спросил он.

— Не подходи!.. Одно тебе слово. И каков же ты должен быть человек опосля того, а-а? — сверкая воспалёнными глазами, спросил Изот. — Если, стало быть, пребывав всё в слепоте и прозрел, а?

— Это с энтой болезни, што ль, зрячим-то становятся там, а?

— Ну, когда бельма-то с глаз снимут и спознаешь ты, к примеру, естество... как оно всё и почему... По-о-очему, к примеру, всякому иному жизнь — мать, одному только мужику — мачеха, а?... По-о-очему изабольшие воры во всяком благополучии живут, и нет на них ни суда, ни управы, а коли мужик украл... может, с горести передышку хотел только зубам дать на пшеничном калаче... и за энто самое должен всю жисть страждать... По-о-очему?

— Оно, чего говорить, известно, надоть бы по головке гладить: воруй-де, сердешный, воруй!.. Потому и зуб-то, вестимо, устаёт всё сухую корку жевать; да не вникают ведь в эфто ни обчество, ни начальство!.. — с иронией ответил Кузьма Терентьич.

Заметив насмешливый тон Кузьмы Терентьича, Изот сдвинул брови и пристально посмотрел на него. Затем по лицу его неожиданно промелькнула улыбка, в которой отразилась и злость, и в то же время лукавство. Оглянувшись кругом и увидя, что Дергач и вся пьяная свита его, распахнув двери погребка, угощались, и в говоре или, вернее, в общем крике и хохоте, наполнявшем погребок каким-то стоном, тонула всякая отдельная речь, он медленно налил себе стакан вина и неторопливо выпил его.

— Ты давно уж по Сибири сапоги-то треплешь? — спросил его Кузьма Терентьич.

— Двенадцатый годок с Покрова пойдёт, как мыкаемся в оных местах! — ответил Изот. — Умней бы надоть быть-то, учить, да в меру, теперича и очень бы даже благоденствовал!.. — как бы вскользь заметил он.

— Ты это кого поучил да промахнулся? Аль тебя учили да не выучили?.. — насмешливо спросил Кузьма Терентьич.

— Я!.. В купце одном совесть будил, да сколь его ни тыкали в бока-то, до совести не достучались. У купцов-то, в народе говорят, она потом выходит, — заметил он. — Уж и шельма же была, о-ох!.. Это он в селе у нас торговал... Запольем селото зовётся; около рабочих всё колотился... Я-то у него состоял как бы вот при вас теперича Варсоноф, только куда-а-а бойчей был...

— Вида-а-ать! — протянул Кузьма Терентьич.

— Не в пример бойчей! — с неуловимой иронией похвалился Изот. — Теперича чего он бывало выделявал, похвалить вам! Погребок у него был так же, как у вас бы, к слову. А ведь по нашим местам, на Волге, судорабочий народ всё бьётся, загульный народ, как и здешний, грешным делом... Расчёт получит и пойдё-ё-ет курить, а Артамону Савичу Ожорину это и на руку, как бы вам теперя, к слову говоря... И гра-бил! Упаси господи! Меня-то он содержал при себе за то, собственно, што мы сызмальства в Москве при ренсковом погребу по питейной части образовывались, так он это при нашей-то помощи и орудовал... Мы ведь фабрикацию вин, Кузьма Терентьич, в точности постигаем, — сверкнув глазами, заметил он, — дреймадеру ли, лисабонское, всё это первого, можно сказать, качества произвести можем. Или ром теперича выделать, — нас возьми... Припусти это в полугар пережжёного сахарку с перчиком, сандаличку с настоем чернослива для окраски, белены подбавь, штоб потребитель особливый хмель чувствовал, да экстракту для запаху подбавь, — и получится самый ямайский напиток, нисколько не плоше вот энтого, — говорил он, указывая на бутылку. — Вот за бутылку-то эких иностранных напитков

Артамон Савич и жарил по два да по три рубля... Не грабёж ли, а?

Насупив брови, Кузьма Терентьич молча слушал Изота, измерявая его время от времени своими пронизывающими глазами.

— Какого вы мнения об энтаких делах, а? — снова повторил Изот свой вопрос.

— Досказывай; поглядим, чего дале-то!..

— А дале-то вышла такая канитель, сударь. Глядел я энто, глядел на такой денной разбой, и возьми меня муть... Однава это не вытерпел да и говорю: «Артамон Савич! Ежели бы, говорю, теперича и доброго вора к эфтому мастерству приставить, и у того бы совесть, што вода после дождя, замутилась, а у вашего степенства, говорю, при всей вашей чести, и лик, и подошва одной матери, сыромятной шкуры детки: ни от каких делов не краснеют».

— О-о!.. Ну он чего ж, взашей, поди тебя?

— Так точно-с, в самый почесть лён ковырнул.

— И по пути.

— Пожалуй што по пути, не зазнавайся! — согласился Изот. — Только мы энтого дела положа рук не спустили... Улучил я этак минутку да все-то его качества перед рабочим людом и выписал: какими, стало быть, образцами он опаивает их... и наусти-и-и!.. Что ж ведь, сударь! По бревну разнесли весь его погреб, и ему, штоб червонные кудри расчёсывать, не привелось уж опосля того гребня покупать.

— Ты за это и судился?..

— В соприкасательстве только к эфтому обвинялся; а боле-то за то, што во время свалки понаведался, плотны ли замки у его выручки.

— Эвон за што!.. Ну, по нашим местам такого молодца и до суда бы не допустили, а камень бы на шею да и подь с богом в реку, промышляй рыбкой! — холодно, с какою-то нервной дрожью в голосе ответил Кузьма Терентьич. — Ты допил, што ль? — спросил он, взяв бутылку и поболтав её.

— Окончили, благодарим покорно!.. — ответил Изот, приподнимая шляпу.

— На здоровье! — сказал Кузьма Терентьич, отодвигая от него бутылку и стакан. — А теперича я тебе, добрый молодец, вот чего спою, — начал он, погладив ладонью усы и бороду. — Энта твоя сказка хороша, а моя, никак, лучше будет... На досуге ужо свесь, чья перетянет. Похаживал в нашем селе годов с десяток назад удал-молодец, так же вот языком-то невесть какие кружева плёл и вознамеривался было кой-кого опутать ими, да уж так-то хитро выткат их, што допрежь других сам в них запутался и ножки потерял, Видали его опосля

в тележке, по деревням ездил, милостыней побирался!.. Понял?.. Дерга-а-ач! Василь Петрович! Подь-ко сюда! — крикнул Кузьма Терентьич, искоса взглянув на Изота, который, плутовато улыбнувшись после рассказа его, почесал затылок, приподняв шляпу.

— А-а, меня, што ль?.. Иду-у... — отозвался Дергач, пролезая в дверь, около которой, с наружной стороны погребка, на плотно утоптанной площадке, в кружке сомкнувшихся рабочих кипела орлянка.

— Ты за угощение-то платишь?.. — спросил Кузьма Терентьич, когда он подошёл к прилавку.

— Я, я...

— То-то!.. Молодец-то тут, вишь, заболтался, так провертится бы надоть сходить ему!.. Подь-ко, слышь, за добра ума, как, бишь, тебя звать-то... Изот, што ль? Тебе здесь совсем не место... — произнёс, обратившись к Изоту, Кузьма Терентьич.

— Покорнейше благодарим! — ответил Изот. — Это, стало быть, слова ваши так понимать надоть — поди вон?.. — спросил он.

— Убирайся, попросту сказать; заместо кочерги-то торчать здесь нечего.

— Извольте, уйдём, с полным даже удовольствием. Только позвольте напредь полюбопытствовать несколько: где у вас патент на право торговли, промысловое и приказчиьи свидетельства, а равно примите труд, не откажите предьявить нам дохтурское свидетельство, што в ваших питеях не имеется зловредных примесей... Опосля того мы с полным удовольствием выйдем, поблагодарив вас за ласку!..

— Чего, чего тебе надоть-то... повторь-ко!.. — удивлённо спросил Кузьма Терентьич, широко раскрыв свои глаза.

— Патент на право торговли, говорю, желаем мы видеть, промысловое и приказчиьи свидетельства и дохтурское о безвредности питей, кои по закону должны быть повешены в вашем заведении на самом видном месте; а окромя этого ничего иного не желаем от вас... — насмешливо ответил Изот.

— А-ах, ты, идол, идол, а-а? — произнёс, неестественно захохотав, Кузьма Терентьич. — Глянь-ко, левизор какой нашёлся, а-а? — говорил он, обращаясь к Дергачу.

— Изотка, пё-ёс! Да ты и взаболь одурел никак? — спросил Дергач.

— А вы помалчивайте, Василь Петрович, потому энто совсем не вашего ума дело!.. — строго взглянув на него, ответил Изот.

— За-а-абавник же ты, погляжу, ха-а-а? — говорил Кузьма Терентьич. — Ну, а исшо чего выдумаешь, а-а? — спросил он.

-
- Окромя энтого ничего-с...
- Хошь рубь заробить на голодные зубы, а?
- Отчего ж, не прочь.
- Три дам, куда ни шло, не оскудею, будто на комедь глядел. Скажи только, не моргая глазом: покажу я тебе патент и свидетельства, а дале-то чего ж из энтого выйдет?
- Тронемся в ту же минуту, ослобонив вас от себя.
- Только и было всего?
- Только-с!..
- А коли не предъявлю, так, стало быть, ты засудишь меня, што ль? — кичливо глядя на него, спросил он.
- Судить не властны, а неприятностей навлечём, не скрою.
- Ну-ко сблаговести, каких же, к примеру..
- Не потаимся, объясним, извольте-с! Пондравится ли вам, если мы теперича самолично примем труд предоставить ваши ликёры во врачебную управу, а? И, по рассмотрению оных, окажутся в них сандал, белена и свинцовый сахар, который мы очень тонко различили в вашем роме? — с язвительной улыбкой глядя на него, ответил Изот.
- И в эфтом вся твоя наука мне? А?
- Достаточно, кажется. Рассудите, одобрят ли вас за энто?
- А што ты скажешь мне, сердешный друг, послушать бы, ежели я теперича, допрежь чем ты собираешься в управу-то итти, измелю тебя в два жёрнова, а-а? — стиснув зубы и злобно глядя на него, спросил Кузьма Терентьич.
- Мелите! Мы и от энтого не прочь, потому хорошо понимаем, што за помол уплатите.
- И платить не буду, знай.
- За чем же дело стало? Насмельтесь!..
- Ишо раз, молодец, скажу я тебе на память, так и быть... заруби в своей курчавой башке. Видали мы не таких, как ты, соколиков, да и те, сердешный, с подстриженными крыльшками ухаживали от нас. А экой-то саранчи, как ты, мы и ногой топтать не станем, сама с голоду сдохнет. Понял?.. Меня ты энто вздумал управой устраивать, а-а? — приподняв картуз на лбу и с презрением глядя на Изота, произнёс Кузьма Терентьич. — Ну не дурак ли ты, а? Да ведь у меня рука-то через всю губернию хватает!.. Ценишь ли ты энто моё слово, а?..
- Ценим-с!..
- А-а, ценишь! Почувствовал? А энто ты в какую цену поставишь, што мне только свистнуть теперича, языком пошевелить, так тебя по косточкам разнесут, а?

— Статься может, и энто случится...

— Сво-о-олочь, тьфу! — с сердцем сплюнув, протянул Кузьма Терентьич. — Ты думал, и здесь Расея?.. Не-е-ет, здесь ведь, брат, Сиби-ирь. Здесь экого-то, как ты, не токмо за ребро, за язык на первой осине повесить можно, и виноватого не сыщешь. Слышал?..

— Слышал-с!..

— Теперича чего исшо предъявить тебе прикажешь? Говори!..

— Три рублика, што обещал, потому как мы и единожды не моргнувши слушали ваши увещания...

— А-ах ты, шут гороховый, а? И только всего?

— Только-с!..

— Ай да Изо-о-от! Вот так креме-е-ень! С трёх рублёв осечку даёт!.. — презрительно покачав головой, говорил Кузьма Терентьич. — Ну, нечего делать, — продолжал он, щёлкнув ключом в выручке, и, достав трёхрублёвую ассигнацию, подал ему. — Ну... прими, будто Христа ради... Так это ты из-за энтого только и колотился тут битый час и трепал свой язык, а?

— Единственно из-за этого, Кузьма Терентьич; потому нам очень желательно было показать, как расейский высевок у такой паршивой собаки, как ваша милость, хоша клочок шерсти да урвёт, — сжав ассигнацию в ладони и злобно захохотав, ответил Изот. — А теперича прощенья просим за беспокойство! — вежливо приподнимая шляпу, говорил он. — Ужо когда по косточкам-то разносить меня станете, так и свои-то не забывайте пощупывать. До свидания-с!

И, пронзительно свистнув, он неторопливо вышел из погребка.

Весь бледный, Кузьма Терентьич по уходе его с минуту стоял неподвижно, сжимая в руке штопор. Потом, сняв картуз, он провёл ладонью по лбу и по голове и, бросив штопор на прилавок, так, что тот зазвенел, забарабанил пальцами правой руки по книге, в которую вписывался расход товара; и только по движению его бровей и морщин на лбу Варсонофий, притаившийся в углу магазина, следил за бурей, какая кипела в душе хозяина.

На окраине Т...я, около глубокого и длинного оврага, через который перекинут был небольшой мостик, далеко в стороне от других строений стоял одноэтажный дом, заново обшитый тёсом. Окна его выходили в поле; обширный двор был обнесён досчатым забором. Правая половина двора была закрыта навесом из тонких тесниц и соломы, придавленной жердями. Под навесом хранились красивые тележки, дубовые колёса

которых были окованы железом, повозки с рогожными кузовами, глухие зимние кибитки, обтянутые рогожей и кошмой. Столбы, на которых держался навес, были сплошь увешаны конскими сбруями. За двором, примыкая одной стороной к оврагу, тянулся обширный скотный двор, или «стаяка», как говорят крестьяне, в которую загонялось на ночь около десятка лошадей, на случай требования земских подвод. Дом этот принадлежал содержателю земской гоньбы Юрию Петровичу Плешкову.

На рундуке крылечка, пристроенного к дому со двора и обнесённого точёными перилами, над которыми на четырёх резных столбиках держался досчатый навес, по ступенькам и на завалине, обносившей дом, сидело несколько человек рабочих, только что кончивших обед. Одни из них курили из небольших трубок с гибкими волосяными чубуками, поплёвывая на стороны, другие, поднимая с полу соломинку или прутик, ковыряли ими в зубах; кто потягивался, растянувшись на завалине во весь свой богатырский рост. В это время на крыльцо вышла из дома высокая, красивая женщина со жбаном в руках. При появлении её рабочие, сидевшие на рундуке и по ступенькам, теснее сдвинулись между собой, уступая ей дорогу. По возвращении её из погребицы жбан, наполненный густым пенистым квасом, стал медленно переходить от рабочего к рабочему.

— Квасо-о-ок! — говорил почти каждый из них, отирая ладонью густую пену с усов. — И штой-то за мастерица ты, Дарьюшка, на все руки!..

— Не ахти какая мудрость сварить-то, было б из чего! — отзывалась каждый раз Дарьюшка на похвалы её искусству варить квас.

— Уж надоть бы, братцы, бабе-то женишка подыскать, пра-аво... Чай, наскучалась во вдовьем-то житье, а?

— Чего и говорить!.. Не замужем ли веселье-то? — спросила она.

— Всё ж какой ни есть, да муж; о-охрана, дому глава...

— Дивья-я, чего и говорить!.. За иной головой-то из вашего брата только и работы, што с зари до зари ходи да доглядывай, где бы не ткнулся глазом на сук... О-охрана!..

— Дарьюшка! — крикнул Изот, сидевший на верхней ступеньке, подложив одну ногу под себя, а другую спустив за перила.

— Чего, касатик? — отозвалась та.

— Экой молодец, как я, люб тебе аль нет?

— Испей-ка квасу лучше, свеженькой! — вскинув на него своими большими синими глазами, насмешливо ответила Дарья.

— А-ах, ха-ха-а! Што, Изотка, съел? — крикнул, закатываясь весёлым смехом, Дергач. — Не крута гора, видать, да ёмка, а? Смаху-то не взлезешь...

— Не замайте-ко, молодцы, бабу-то! — крикнул, выглянув в окно, старик Плешков, доводившийся свёкром Дарье, бывшей за умершим сыном его. — Неси-ко исшо квасу-то, ведь здесь ждуть! — строго сказал он ей. — Чем бы вот месить по двору-то взад да вперёд со жбаном, взяла бы налила в ведро квасу-то да поставила в сенцы... а то толчётся, прости господи, как ступа! — ворчал он, запирая окно.

— Старик-то! — произнёс Изот, мигнув рабочим, когда Дарья, по лицу которой разлился яркий румянец, поспешно пошла в дом. — Юрий Петрович, а Юрий Петрович? — крикнул Изот.

— О-о! — отозвался тот, отворяя оконце.

— Чего кости-то в избе паришь? Выходи, сказку скажу.

— Слы-ыхивали! — ответил старик, захлопнув окно.

— Ту-угой же старик, э-э! — говорил Изот, потрянув головой. — Покойный сын-то, сказывают, от него более и загуливал, и в землю ушёл. Как ржа, говорят, ел он покойника-то с утра и до ночи. У него ведь, гляди, братцы, все по одной половине в доме-то ходят, пра-аво. Вторительный Кузьма Терентьич, только будто в кармане-то пожиже.

— На-абьёт исшо! — отозвались слушатели.

— Набьё-ё-ёт! — протянул один из рабочих, пожилой человек с кроткими, добродушными чертами лица. — Теперича ведь гляди, какой он ирод, братцы... Афоньку-то, слышь, и обедавать не садит, из избы-то в баню выжил... То ись кошмы-то не дал ему подостлать под себя: духом-то своим, говорит, провоняешь её. Так на соломе и валяется теперь, а спервоначалу-то, поколь деньги у того были, уха-а-аживал...

— Какой это Афонька? — спросил Дергач.

— Рабочий один тут, с компанейских промыслов, сказывают. С промыслов-то исшо кое-как он вышел, а теперича вот уж другая неделя идёт, совсем, почесть, обезножел, — вот какое дело-то.

— Здесь он, говоришь? У эфтого хозяина? — спросил Изот.

— Здесь; в бане уж который день лежит.

— Сходим, братцы, к мужику-то, — отозвался Изот. — Веди-ко, — сказал он, обратившись к рабочему и вставая с крыльца. — Ну-ну, на-ародец! — произнёс он, идя к бане, низенькой покосившейся избёнке, стоявшей в поле, у самого оврага, сажнях в десяти от скотного двора.

Рабочие, лениво поднимаясь с крылечка и завалины, гуськом, один за одним шли неторопливыми шагами за Изотом. Отворив низенькую покосившуюся дверь, Изот с трудом про-

лез в баню, в которую едва проникал свет через узенькое оконце. В углу бани, на низеньком, узком полке, настланном на камень, на потнике, разостланном поверх соломы, лежал человек, лет сорока на вид, покрывшись худеньким полушубком. Ноги его были обуты в кошомные валенки, в головах вместо подушки лежал холщовый мешок. Всклоченные, слипшиеся от поту волосы прядями падали на исхудалое лицо его, обросшее длинной бородой. Услышав скрип двери, он открыл глаза и, увидев Изота, с трудом приподнялся на локтях и сел.

— Помогай Бог! — произнёс Изот, пристально вглядываясь в больного в полумраке, наполнявшем баню, который казался ещё более сильным от чёрных, закоптевших стен её. — Болен, сказывают? — спросил он, присаживаясь на лавочку.

— Вот уж с неделю, никак, время изняли ноженьки, што и приступить не могу! — кряхтя, сказал Афанасий расслабленным, прерываемым одышкою голосом.

— Ты кто будешь, милостивец? — спросил он.

— Рабочий.

— Рабочий же, — повторил он. — С чьих же промыслов?

— С акшауловских.

— А-а... Давно вышедши-то?

— Уж третий день, никак, крутимся здесь.

— А-а... Я-то уж боле двух недель зажился. Немочь-то настигла, што ты будешь делать-то с ней, — пожаловался он.

Дверь в баню снова отворилась, и рабочие один за другим пролезли в неё. Одни из них крестились, более по привычке осенять себя крестом при входе в каждое жилое место, и приветствовали больного словами: «помогай Бог», «будь здоров» и т. п. Скоро в бане стало тесно от набравшихся в неё гостей, со смехом и шутками размещавшихся на узенькой лавочке, шедшей вдоль стены, покрытой на палец сажей, на кадучке, опрокинутой вверх дном, стоявшей в углу бани, и на кривом полу с разошедшимися и местами провалившимися половицами. Несколько человек уселись даже на камнях, кучей наваленных на небольшой печке в углу.

— Навещаем! — отозвался Дергач, садясь около больного. — Сказывают, тебя старик Юрий обидел, а? — спросил он, пристально осматривая его.

— Чем это обидел-то? Пошто? — спросил Афанасий.

— В баню из избы-то выкурил!

— А-а... Ну, оно точно, сердешный, холодно ровно здесь-то, зябнешь в ину пору; обещался он даве протопить её... дух ведь от меня тяжёлый идёт, милый. И его-то дело взять если, посуды. У него ведь вишь сколь народу-то стоит; не всякому, поди, любо в эком-то духе будет...

— Дух-то пошто от тебя? — спросили рабочие.

— От ног, сердешные, валит! Скорбью* маюсь уже с год никак время. На промыслах фершал лечил, мазь было давал мне, да способья-то ровно не видал я от неё. Как потрёшься, так спевоначалу-то и полегчает будто, а на работу-то выйдешь, так сызнава изнимает. Ломить это почнёт, не попусти Господи, ровно молотом по костям-то дробит тебя! Инде свет из глаз выкатывается, — слабым голосом говорил он.

— Эх ты, парень, убился-то как, а? — с участием говорили рабочие.

— У-убился, сердешные!.. Теперича ноги-то самому оглянуть, так муть берёт. Почернели, словно у мертвеца, и ду-у-ух, дух это от них... а-а!..

— Эко ты дело-то, а! Покажь-ко! — сказал Дергач.

— Муторно, други, глядеть-то! — отозвался Афанасий.

— Што ж, все мы под Богом ходим, чего брезговать-то! Не ты, так я; не сегодня, так завтра Господь за грехи каждого найдёт, — говорил Дергач. — Уж наше, брат, дело такое, за-всегда на волосок от беды да от смерти ходи!

При помощи одного из рабочих Афанасий снял с ног валежные, кошомные сапоги, обшитые снизу кожей, кряхтя и охая, размотал на ногах длинные двойные онучи серого солдатского сукна, прикреплённые к ногам бечёвками. Едва он снял онучи, как в бане распространился смрадный трупный запах. Сняв синие холщовые тряпицы, он обнажил свои чёрнобагровые, опухшие ноги, покрытые ранами, из которых сочилась кровь. Опухоль и язвы поднимались уже выше колен. Рабочие молча глядели на это тяжёлое зрелище. Иные из них сумрачно покачивали головами и перешёптывались; другие, сплёвывая на сторону от невыносимого запаха, потихоньку выбирались из бани.

— Теперь надоть бы вот домой идти, — начал Афанасий, старательно окутывая ноги, и из глаз его покатались при этом крупные слёзы, — а куды пойдёшь? Мне вот с полка-то тяжело спустить их, да ведь до дому-то идти, почесть, двести вёрст надоть... Отмеряй-ко их на эких-то ногах. Кабы заработку вынес, доехал бы; всё же бы горя-то меньше было: дома-то бы, может, отдых. А куды я теперь? — надрывающимся голосом говорил он, и из груди его вырвался вздох, скорее похожий на стон.

— Ты у кого на промысле робил-то? — с участием спросил Дергач.

— На Г...ом!.. Так-то они компанейскими все кличутся!

* Скорбут рабочие называют «скорба» или «скорбь», а цингу — «дресновицей». *Прим. автора.*

— Э-эва где! Ну, оттедова, брат, заработку много не вынесешь.

— Обида только одна, сердешный, была. И всё бы горе в полгоря, говорю, кабы здоровья-то Бог не отнял, а то куды я теперь? Ни ног, ни денег. Суди!

— Всё исшо Пётр Кузьмич хозяйствует там, а?

— Он!..

— Знаем его; как не знать Петра Кузьмича! Экого аспида поиска-а-ать!.. — протянул Дергач.

— А-аспид!.. А-ах ты, боже мой! А-аспид!.. Столько-то, сердешный, утеснения от него вынесли за год, што сказывать — слеза прошибёт!.. Я ведь впервой исшо на эту каторгу попал. Нужда, милостивец, идти-то заставила. Слыхивал от бывалых людей, што несладкая жисть на промыслах-то, да куды от беды-то денешься? Три года кяду, почесть, неурожай стоял. Пудовка-то муки до полуторых рублёв доходила. Покормись-ко и подушну за четверых справь. Суди, какая неволя погнала.

— О-о!.. Чего и говорить, сказка-то энта везде одна!.. — произнёс кто-то из рабочих, глубоко вздохнув.

— Я-то исшо из исправных был, — продолжал Афанасий, — у меня и скотинка водилась, пять лошадок держал. Слава те, Господи, што ни што, а всё достаток; а каково маломочным-то переживать экую напасть, а?.. Как туго-то подошло, оно всё, бывало, одну скотинку продашь да перебежьешься, да другую... оно и свет ровно увидишь, А тут уж чем Господа угневил — и ума не приложу: две скотины кяду по весне-то пали, — не беда ли это?..

— Какой исшо надо!

— Словно под гору, милые, скатился, вот как скосило!..

— Споткнись только, так и лба не успеешь окрестить, как покатишься... чего говорить!.. — пронеслось среди слушателей. — Не нами сказано: одна беда не идёт, а всегда за собой две других ведёт.

— Ведёт, ведёт... Словно вот в поводу ведёт! — повторил Афанасий. — И пошёл на прииски, — чего оставалось? Думал оправиться, да вот и оправил Господь, — видали ноги-то? Ну, куды я теперь? — произнёс он, покачав головой и разведя руками. — Одно осталось — по куски ходить.

— О-ох, не дай те Господи! — пронеслось среди слушателей.

— И всё бы сердце не болело! — начал он после непродолжительной паузы. — Ну, наказал Господь, стало быть, угневил его, многомилостивого, — с грустною покорностью в голосе говорил он, — а то и здоровье-то, сердешные, потерял, и заработок-то, почесть, из рук вырвали, — не бёдко ли, а? Да

пошли им, господи, — произнёс он, крестясь, — досыта напиться моей-то слезой!..

— Кто ж это тебя объегоривал, Пётр Кузьмич? — сумрачно спросил Дергач, сидевший понурился голову.

— Он, и всё понапрасну, насердка одна была, — ответил Афанасий. — Подписался-то я в обчий контрахт, и работа за мной, милостивец, не стояла, одобряли. Пришли как мы на промысел-то, меня сразу в забой* поставили, потому человек-то я, вишь, могучий из себя. Робил, и всё бы, может, ладно пошло, кабы сызнава беда не настигла. Снимали мы однова турфа, и съёмка-то, почесть, к концу подходила, всего день, ну, может, два оставалось робить нам. Пётр Кузьмич и надумал сразу порешить с этой работой, взял да уроки-то** и отмерял нам свыше положения. Мы было чеством просить его стали: ослобони-де, не отнимай у иного из нас счастье! Стоит на одном: робь! Я, говорит, здесь наибольший, моя власть-воля, чего велю, то и делай. Дале да боле, и пошло слово за слово! Мы и попутайся, сцепись с ним. Он одного-то из наших и за ворот было ухватил, а тот и говорит ему: «Сто-ой! энтого, говорит, в контрахте не писано, штоб ты мне воротники обрывал!». Не оробей, слышь, это, да и ковырни его по затылку...

— А-ах-ха-а! — прокатилось среди слушателей. — Ло-овко! Молодец, видно, был! Ну, Кузьмич-то чего же?

— Отстал!.. Да сичас же и пошли за горным исправником. Ну, и пошло... суд да дело. И всё бы, братцы, может, оно ничего, обошлось бы, да выискался один из нашей братии... Штоб подольститься к Петру-то Кузьмичу, возьми да и докажи, што всему делу причина — мы будто бы четверо.

* При ведении шахт или орт особенно сильные и ловкие рабочие назначаются исключительно для того, чтобы первыми откайливать камни и грунт. Рабочие эти называются забойщиками и получают по пятьдесят копеек в сутки, а в праздничные дни рубль пятьдесят копеек. — *Прим. автора.*

** Работы между рабочими на приисках распределяются по урокам станновыми или управляющими приисками. Рабочего, отработавшего свой урок, не имеют права назначить на какую-нибудь другую работу, а потому свободное от урочных работ время они хотя и работают, но работы эти называются «старательскими», и за них идёт отдельная плата. Обыкновенно рабочие, отработавшие свои уроки, просят на промывку золота, где они получают за каждый промытый ими золотник золота по два рубля. Вот почему назначение урока, превышающего обычную меру, всегда возмущает рабочих, так как лишает их возможности идти на старательскую работу, где они могут иногда промыть два-три золотника золота и получить за них четыре или шесть рублей. — *Прим. автора.*

— Ну экие прохвосты водятся середь нашего брата, — произнёс Дергач. — Помнишь, Изот, Данилку-то, што Кукушкой все звали, а? — спросил он.

— Памятен, — ответил тот.

— Ну, чего ж опосля доказательства-то было? — спросил Дергач.

— Было-то чего? — переспросил Афанасий. — А чего оно было-то, — повторил он. — Деревсины-то стра-а-ась сколько обломали об нас, вот чего и было!.. Да што-ож, и энто бы ишо не беда, кабы насердкой-то Кузьмич не обидел. Всё ему, вишь, казалось, што мало нас поучил, так он чего с нами выделывал. Я-то всю зиму, почесть, в забой ходил, а он всё меня в лепортичках-то писал в отвале* да в отвале... это, посчитай-ко, по двадцать копеек в сутки с костей-то моих снимали, а?.. Не обида ль?.. Я урок-то, бывало, отработаю да на старательскую работу прошусь, на промывку, а он не пускает. Отдохни, говорит, тебе силы надоть набрать. Энто, говорю, моё уж дело, Пётр Кузьмич, когда мне силы набирать. Допусти меня, дозвошь помыть, может, господь меня и усчастливит. Ну, не пускает, хошь убейся. А как заболел я, так, господи, чего только выделывал он со мной! Как праздник, бывало, я на старательскую работу иду, а он меня, аспид, в лазарет шлёт. А то иной день и роблю, а он в лазарет меня выпишет; а в будни, где бы мне в ину пору и точно отдохнуть надоть, он на работу выгонит... Не злодей ли, а?.. Меня ведь, други, не раз замертво из орты-то вытаскивали. Там я и ноженьки свои погубил, та-а-ам! Расчёт-то подошёл как, так чего ж... кругом да около... и вышли одни недочётки. Спорь поди с ним!.. Одних энтих штрафов наклали на меня, так и Господи Боже мой!.. Двадцать семь рублёв пришлось на руки-то; не обида ли, други, а?.. Усчастливили, пошли им, Господи, всякого счастья, мыться до бела тела в слезе-то моей... — закончил он, всхлипывая.

Среди рабочих царствовало глубокое молчание, прерываемое порою только вздохом кого-нибудь из них.

— А докащика-то энтого поучили вы опосля, аль нет? — спросил Дергач.

— Господь с ним; пущай на его душе энто грех лежит...

— О-о, нет, брат!.. Энтих делов спущать не доводится, — произнёс Дергач, качая головой. — Не-ет, энто, стало быть, только плодить ихнего брата. У нас одна, когда мы с Изотом в енисейской тайге робили, у Р...ых на промысле, выис-

* Отвалом называется местность, куда отвозят промытые пески, потому и рабочие, наряжаемые на своз песков, называются отвальными. Они получают тридцать копеек в сутки. — *Прим. автора.*

кался было экой-то шалун. Ну, так не долголетен оказался! — с иронией заключил он.

— Помяли, должно? — спросило несколько голосов.

— И пальцем не тронули!.. Так же вот мы одна шумели с управляющим, ну и зашабашили работать. Изотке памятно это дело: никак, всё лето на шкуре-то рубцы зашивал! — с иронией произнёс Дергач. — Хорошо-о-о!.. Как водится, так же до исправника это дело дошло. Наехал, не говоря, братцы, ни слова, и стал выкликать одного за одним, меня это в первую голову, Изотку, да ещё троих сподручных нам. Словно кто шепнул ему, што в нас-то и сидят ключики от этого замочка.

— Чего ж досталось, поди, вам, а? — прервали его.

— Об этом што и разговаривать, налудили-таки кастрюли-то. Ладно, смирились!.. Што ни што, думаю, а кто ни есть из нас назвался Иуде братом. Хорошо-о-о. И начни я примечать, кто бы, мол, за это ремесло взялся? А был промеж нас, сказать вам, братцы, мужичонка Данилка Мережников, — звали-то его боле Кукушкой, — ю-юркий такой паренёк, а уж в случае чего, бывало, первый это почин держал: запевало.

Никому бы и в ум не впало, што в нём все энти блохи сидят, за коих чужие спины чешут!.. И как я наметил-то его?.. Спали мы в одной с ним казарме. Только однажды это ночью проснулся я и выдь на улицу, а казарма-то наша, почесть, наискось фатеры управляющего была. Гляжу, а мой Данилка шасть вдруг с заднего крыльца сторонкой и выдь к казарме-то совсем с другой стороны. Э-э, думаю, сто-ой, парень! Што, мол, ты это за бескозырную игру по ночам с управляющим ведёшь? Ну, только сам это и виду никому не даю, што подметил, а понемножечку дослеживаю себе. Раз это ночью я укараулил его, в другой... О-о, думаю, молодец! За этой-то водицей коли ходить, так кувшину-то надоть о двух головах быть, — при одной-то опасно. Как-никак, братцы, а вошёл я с ним наперво в приязнь...

— Для какой же надобности? — спросил один из слушателей.

— Для какой? — переспросил Дергач. — А вот, к примеру, для какой. Грехом-то человека поклепать недолго, да боязно: обмолвишься ты, а как занапрасно, тогда што, а?.. Не лиха беда, брат, комок грязи в парня бросить, а лиха беда его смыть!.. Вот для чего я и побратался с Данилкой, штоб уж в точности дознать это дело. Ну, и дозна-а-ал. Сколь он не был сторожек, а одна это под хмельком промолвился, што ему де фа-артит здесь, и работа, мол, самая лёгкая, только вовремя, говорит, на ушко шепни... Хорошо-о-о... Нам, говорю, ми-

лый, только это и требовалось!.. И сыграл же я с ним шутку. Суди меня только Бог по вторичительном пришествии. Каюсь!.. Подошёл это к промыслу как-то спиртонос*, купил я у него бутылочку пять спирту, пронёс их на прииск, да ночью-то и угости мою Кукушечку до бесчувствия. Когда уж он потерял, это, память-то, облил я его спиртом и зажги-и-и... Пока это там спохватились да затушили, а уж дело-то было сделано...

— Помер? — почти в голос спросили слушатели.

— Нет. Никак с месяц исшо жил! Перед смертью-то, когда уж, значит, худо ему стало, и изними меня, други, тоска... Такая-то, говорю, болезнь засосала, што жизни стал не рад. Пошёл это однова в лазарет, где лежал он, и говорю: «Ну, Данило, хошь — выдавай меня головой, не хошь — как хошь, твоя власть-воля, а только нету моей силы терпеть, видя твою муку... Каюсь, прости меня, окаянного, што загубил тебя: моё энто дело!..». Што ж ведь, братцы, горючими облился мой Данилушка, да и говорит: «Вы-то, говорит, други, простите меня, окаянного, што, видя, говорит, ваше утягчение, ради алчности принял на душу грех и продал вас, как Иуда...». Так меня, други, слеза прошибла в те поры, не таюсь, а отроду, слышь, не плакал...

— И не доказал?

— Так и унёс, сердешный, моё слово в могилу! — вздохнув, закончил Дергач. — И жалко мне, братцы, было его, судите!.. Уж лучше б ему бока встряхнуть, право... Энто и ноне в ину пору вспомню, так даже ужась заберёт. Уж это я завсегда свечу Миколу-угоднику ставлю по помин души его... Ну, никто, как сам он, причина. Украдь, — нет тебе греха, ей-богу. И нашего ведь брата не балуют, дочиста обирают на каждом, почесть, шагу; но продать своего брата, надеть на него вот такую участь — энто, милые, последнее дело. Энтакой человек хуже душегубца, хуже невесть чего.

— Ху-уже!.. Энтаких учить надоть и жалеть нечего! — пронеслось среди слушателей.

— Учи-ить!.. И другому штоб неповадно было, — произнёс Дергач. — Ну, я б вот вашего докащика, — обратился он к Афанасию, — тоже на спирту бы поджа-а-арил, уж так бы он не ушёл от меня. Уж, может, я и каялся бы опосля, а уж его бы

* Спиртоносами называются люди, которые тайным образом открывают поблизости золотых приисков торговлю вином и спиртом, рискуя ежеминутно быть пойманными приисковою администрациею и преданными суду, так как торговля спиртными напитками на приисках и поблизости приисков строго воспрещается. Иногда спиртоносы группируются в артели и охватывают прииски, как сетью, и тогда уследить за ними трудно. — *Прим. автора.*

поучил. Что ж ты, скорбная голова твоя... как о себе-то полагаешь теперь? — спросил он Афанасия после минутного молчания. — Деньги-то есть у тебя, а?

— Деньги! Да што, милый, рубля-то три никак осталось, — ответил он, шаря рукою за рубахой. — С прииска-то исшо кое-как вышел, а дале-то не мог уж идти, подводу взял. Здесь теперича прохарчился. Велики ли деньги двадцать семь рублёв, — посуды, — сказал он.

— Горе, парень! — вздохнув, произнёс Дергач.

— Как не горе... С полка ног-то спустить не могу, во как убился!.. Полагаю исшо, что Господь пристанет, может, и отлежусь, дойду как ни на есть.

— Ну-ка, братцы, — заворотив полу своей рубахи вроде кисета, произнёс Изот, поднявшись с кадушки, на которой всё время сидел в какой-то грустной задумчивости, — сгребай Христову копну... Клади рубль, клади денежку, у Бога всё зачтётся! — говорил он, обходя рабочих.

Молча вынимали рабочие из карманов деньги и клали их в этот импровизированный кисет. Иные снимали сапоги и, разматывая онучи, доставали из них ассигнации, другой вынимал кредитки из заглашника у портов.

Всё время, пока шёл сбор, Афанасий, неподвижно сидя на полке, крестился и плакал. «Дай вам, Господи, братцы, да пошли вам, Творец небесный!» — шептал он. Молча подал ему Изот довольно толстую пачку денег и, глубоко вздохнув, сел около Дергача, обхватив свою голову руками. Рабочие также молчали, понуриив глаза в землю...

Утром, чуть свет, старик Плешков заложил в телегу пару лошадей и, набросав в неё сена, разостлал на нём потник. Двое рабочих под руки вывели из избы Афанасия, на котором надета была новая шуба, и усадили его в телегу. Когда всё было готово, Афанасий снял шапку, перекрестился и поклонился на все стороны провожавшим его рабочим.

— Пошли вам, Господи, здоровья, братцы, и всякого талану... да подай вам, Господи, за ваше неоставленье! — говорил он, утирая катившиеся по щекам слёзы.

Ну, прощай... подь с Богом... Трогай! — крикнул Дергач и махнул рукой. Телега тронулась, и рабочие, кучей выйдя за ворота, долго глядели ей вслед и долго видели они, как Афанасий осенял свою наболевшую грудь широкими крестами.

В тесной избе, вдоль тесовых стен которой шли широкие лавки, в переднем углу, около стола, сидело человек пять рабочих, по-видимому, только что кончивших обед. На столе, накрытом грубою синею скатертью, стоял деревянный засаленный лоток с остатками мелко искрошенного мяса,

и валялись куски хлеба и крошки. Пожилая женщина, одетая в светлое ситцевое платье, в тёмной шёлковой косынке на голове, хлопотливо собирала со стола деревянные ложки и тарелки, сгребала в большую селеницу, наполненную засохшими кусками и корками хлеба, оставшиеся на столе хлебные крошки и, сняв со стола скатерть, отряхнула её и повесила у притолоки печи для просушки. Несмотря на то, что окна в избе, выходящие в огород, обнесённый плетнём, были раскрыты настежь, в избе было нестерпимо душно от жары натопленной печи. Стены и потолок были густо усеяны мухами, рой которых с жужжанием носился по избе, облепляя висевшую в переднем углу икону и лубочные портреты генералов, которыми были увешаны стены. Разобрать черты этих почтенных воинов было очень трудно — до того они были засижены мухами, и, судя по скопившимся на них остаткам от мух, можно было заключить, что портреты были давно приобретены хозяином этой избы, Марком Антоновичем Лубновым.

Марк Антоныч, одетый в пёструю ситцевую рубаху, ворот которой был расстёгнут, стоял у печи, опершись левой рукой о притолоку. Он только что возвратился домой и выпряг тройку из кованой тележки, на которой катались по селу рабочие из партии, недавно вышедшей с приисков. По наблюдению жены его, Степаниды Ивановны, он был не в духе: ноздри его широко раздувались, что обыкновенно делалось с ним тогда только, когда он находился в раздражённом состоянии, а углы губ судорожно подёргивались, особенно во время разговора. Марк Антоныч уже несколько дней ходил, как говорится, сам не свой. Оно и было отчего: приставшие к нему на квартиру рабочие, как он заметил, давно прожились. Это легко было заключить из того, что они по целым дням просиживали в избе или спали, или выходили и усаживались на завалинку около дома, забавляясь невинною игрою в чёт и нечет. В другое время Марк Антоныч не только не сокрушался бы от того, что судьба послала ему скромных жителей, а, пожалуй, даже радовался бы. Но, видя, что рабочие из вновь прибывающих партий далеко богаче и тароватее на подарки и расплату, видя, что соседи его, пользуясь широким разгулом их, загребали деньги, как говорится, обеими руками, Марк Антоныч проникся завистью к этим счастливицам и злобою на своих скромных жильцов, которые, занимая у него квартиру, лишали его возможности иметь других, более выгодных квартирантов. Он несколько раз уже намекал своим жильцам, что им пора бы и по домам идти. Не дале, как вчера ещё, он не выдержал и резко заявил им, что от этакой шушеры, как они, хозяевам не доход, а убыток. Но каждый раз недо-

гадливые жильцы или отмалчивались, или отшучивались от его выходок в не менее резкой форме.

Степанида Ивановна вполне разделяла мнение своего супруга, что коли они будут держать таких жильцов, от которых никогда ничем не поживёшься, так они и век свой изживут в этой избе, тогда как другие на их глазах будут обстраиваться, набивать карманы да посмеиваться над их простотой. С женской находчивостью она прибегла к иной системе выживания «неразгульной шушеры». Ещё несколько дней тому назад ухаживавшая за гостями с любезною предупредительностью, она вдруг, как говорится, «надула губы»: по целым дням не говорила с ними ни слова, и жильцы, имевшие до этого за обедом и ужином свежую свинину, жареных гусей и сычуги, начинённые салом и гречневою кашей, другой или третий день уже кушали пустые щи, чуть-чуть подбелённые сметаной, остатки говядины от старого варева да снятое молоко.

Убрав со стола, Степанида Ивановна присела на лавку против печки и, подперши щёку левой рукой, тоскливо посматривала в окно на гряды из-под выкопанного картофеля и на поблѣкшую мякину гороха, забыв по рассеянности принести квасу, хотя жильцы уже несколько раз напоминали ей о нём.

— Што ж разгуляться не идёте, господа? — спросил Марк Антоныч, придавая своему голосу по возможности мягкое выражение. — Погодка хорошая; поглядели бы, по крайности, как добрые люди прохлаждаются, коли самим-то уж не на што, — язвительно заметил он. — Вот сорок семьей год на свете живу, а экой гульбы, как нынешние рабочие развернулись, не вида-ал!.. И щедры же...

— Щедры? — переспросил, сплюнув на сторону, один из рабочих, пожилой человек с широким шрамом, пересекавшим правую щёку.

— Ще-е-едры!.. Много ли катал их? Поди, часу не будет, а десять рублёв, братец, выдали, а вином так хошь захлебнись, ей-богу! Гляди-ко, какой мне кушак подарили да рукавицы! — говорил он, снимая с полатей и показывая слушателям алый шёлковый кушак и чёрные замшевые перчатки.

— Вон как добрые-то люди жертвуют! — произнесла как бы про себя Степанида Ивановна, продолжая осматривать огородные гряды.

— Эким и служить-то, говорю, сердце лежит! — произнёс и Марк Антоныч, принимая обратно кушак и перчатки, когда рабочие осмотрели их, а иные даже примеряли перчатки на свои руки.

— Уж эким жильцам не плеснул бы, брат, пустых щей в чашку, не-е-ет! — с иронией протянул пожилой рабочий, длинная волнистая борода которого могла бы служить образцом для

художника при воспроизведении какого-нибудь библейского патриарха. — Экие жильцы — не то што мы, грешные: чего ни дай, всё жуём, хотя те же денежки платим.

— Немного мы ещё видели, Матвей Фёдорович, какими деньгами карманы-то твои удручены! — ответил ему Марк Антоныч.

— До время-то и глядеть на них не приводится, а то ещё, не ровён час, так на них зазришься, што и волос вспыхнет, а он у тебя и то уж чуть не полымем горит! — с иронией ответил Матвей Фёдорыч, намекая на рыжий цвет волос на голове и бороде Марка Антоныча.

— Э-эх, Марк, дал ты маху! — прервал Матвея Фёдоровича сравнительно ещё молодой, красивый рабочий, плутоватые серые глаза которого никак не могли сосредоточиться на одном предмете, а поминутно бегали по сторонам, точно на проволоке.

— Дал, милый, и сам теперь вижу!..

— Промахнулся, и я скажу. Это коли бы ежели я фатеру держал да не приголубил бы к себе жильца, у коего не токмо карманы, душу хоть вывороти, так он не услышит, так не я бы, — лопнул! Это жить в эком притоманном месте, как ваше село, около нашего брата — всесветных работников, да жаться в избе, как твоя, где коли ноги протянешь, так голова увязнет, а голову выкрутишь, так ноге места не найдёшь... провалился б! На людей-то бы со стыда не глядел, ей-богу! — заключил он, махнув рукой.

— Немало смеются над простотой-то нашей, Иван Пармёныч! — отозвалась Степанида Ивановна, по-прежнему оглядывая поблэкшую мякину гороха на грядках. — День-то деньской настанет — голова кругом пойдёт: того напеки да другого нажарь, а благодарности, видно, не жди!

— Захотела ты, Степанида Ивановна, от оголтелых, как мы, доброе слово услышать! — смеясь, ответил ей Иван Пармёныч. — Да я бы на вашем месте давно эких жильцов без богородской травы из избы выкурил*.

— Доводится, милый!.. Спасибо, што указал, — заметил Марк Антоныч.

— А штоб не срамиться, я и рассчитыватьсь бы с ними не стал, ей-богу.

— А-а! Гляди-ко, богач какой. На сколько бы у тебя ни напили, ни заели, а ты бы только поклонился им вслед;

* В некоторых деревнях в Сибири крестьяне имеют обыкновение в крещенский сочельник курить в домах так называемую «богородской травой» для изгнания в жилых местах нечистой силы. Этою же травой окуривают и отелившихся коров. — *Прим. автора.*

благодарим-де покорно, што не обошли моей избы, а? — со злою улыбкой спросил Марк Антоныч.

— И кланяться бы не стал, а напросто дверь бы запер за ними, и всё тут... Это штоб с шушерой мараться, расчёту от неё ждать, когда я, может, сотенного жильца из рук упущаю, а-а? И ни в жисть! Анбицией бы одной не попустился, ей-богу! — с серьёзным воодушевлением говорил Иван Пармёныч, хотя насмешливые глаза его так и ныряли от одного собеседника к другому. — Ты вот спроси хошь у дяди Матвея, как мы в за-прошлом году на фатере у Максима Болдырева стояли и так же вот зажились, как и у тебя теперь: поджидали доверенного с Б...х промыслов... Избёночка-то у него тесная, сам знаешь, какая. А к нему и навернись в ту пору жилец-то во-от какой туз, карман-то в три обхвата, да и то исшо надставка требовалась. Ну, Максимка-то и говорит нам: подьте-ко, говорит, с богом, молодцы, не тесните избы-то; чего, говорит, и взять-то с вас! Во-от так хозяин!.. Мы так и ушли по его слову без расчёту, а его опосля как господь усчастливил-то, а? Молодца-то он этого, никак, сотен на пять нагрел... Слышал?

— Слышу!

Вот как Господь платит тому, кто за малым-то не гонится, а норовит где побольше сорвать. А то што мы! Какие жильцы! Велики ли наши недостатки? Ни мы разгулять, ни мы гостей привести, от коих бы на харчи хозяевам сошлось. Самое прощнее дело вязаться с голью.

— Слушаю я тебя, Иван Пармёныч, да ума набираюсь, — произнёс побледневший Марк Антоныч, губы которого судорожно кривились при последних насмешливых словах Ивана Пармёныча. — И то, говорю, за добра-ума уходите-ко вы от меня с богом... только напредь разочтитесь.

— Ма-арк Антоныч! — укоризненно ответил Иван. — Неуж ты срамоту экую на себя примешь, — станешь расчитываться с нами, а?

— Приму, сизый! Не из тех, што даром поят, кормят вашего брата.

— Примали уж срамоты-то! — вступилась и Степанида Ивановна. — Чего срамней как, опомнясь, Матвей-то Фёдорыч ввалил в избу весь-то в добре... тьфу ты, прости господи, и вымолвить-то тошно! — произнесла она, сплюнув. — Почесть, до полночи ходила за ним, подтирала да подмывала.

— Отблагодарствовали, кажись бы, немало за энто случай, Степанида Ивановна, — конфузливо отозвался Матвей Фёдорыч, тряхнув своей волнистой бородой.

— Чем это отблагодарствовал, ну-ка? — спросила она, вскочив со скамьи, как ужаленная.

— Плат-то, помнится, што подарил тебе, рубль семь гривен заплачен: де-е-еньги...

— Пла-а-ат! — презрительно протянула она. — Да знатьё бы, так я и близко-то вас к воротам дома не подпустила, не токмо на фатеру принять! — взвизгнула она. — Гляди-ко, какой подарок сделал, — плат: заместо половика-то постлатъ, так совесть возъмёт! Пла-а-ат... тьфу ты, бесстыжие твои глаза! — с сердцем сплюнув, говорила она. — Мне в прошлом году Кудряшов, Сила Макарыч, за то, што я подмывала да подтирала за ним, на платье подарил, пятнадцать рублёв за кусок-то дал, да серьги рублёв десять, да косынку шёлковую. Вот как добрые люди за беспокойство-то жертвуют, бессовестный! А то плат, — сплюнув, крикнула она. — Ты, Марко, пушал их на фатеру, ты и ходи за ними, и стряпай на них, а я им не послуга боле! — крикнула она мужу, выходя из избы и с сердцем хлопнув дверями.

— Э-эх, дядя Матвей, дядя Матвей! — укоризненно качая головой, произнёс Иван Пармёныч по уходе Степаниды Ивановны. — Борода-то у тебя, как и волос у бабы, длинней ума, пра-а-аво! Экую персону да обидеть подарком в рубль семь гривен, а-а?.. Ну статочное ли это дело! И жильцы же подобрались, ай-ай!..

— Вот чего, господа честные, скажу я вам, — прервал его Марк Антоныч, приперев отошедшую дверь и садясь на лавку. — Любя мы сошлись, любя и разойдёмся.

— Известное дело, Марк Антоныч, я даже хоть сичас скажу так с радостью, потому от этих пустых щей твоих чувствую большую для себя истому.

— Хорошая-то еда, милый, за хорошие деньги варится!

— Известно, это чего говорить, мы и не ропчем! Нам ведь ноне, Марк Антоныч, сказать ли тебе, какими ассигнациями плату-то отпустили?..

— Разочтётесь, так увидим.

— Глядеть-то будет не на што, вот ведь какая беда.

— А-а... рваные нешто?

— И то бы не лихое дело. Невидимки!.. Посторонний глаз ни за што их не приметит, точно будто и нет их в кармане-то, ей-богу... верь!

— А-а-ах ты, точёная баляса! — произнёс, разразившись громким смехом, рабочий со шрамом на щеке, коему и вторил и дядя Матвей, и все остальные. — Ну, Марк, протури ты его поскорее отселева, а то и без того живот-то с твоей еды надорвал, да ещё со смеху-то растрясёшь, так чего же будет? Одно утруждение Степаниде Ивановне.

— Вы не глумитесь, молодцы, слышите! — остановил их Марк Антоныч, сверкнув своими серыми глазами. —

Поглумиться-то я захочу, так покрепче словом-то ушибу... знай! Пустые щи живот, вишь, тебе надорвали, а ты спросил бы, стоишь ли ты ещё пустых-то щей?

— Стоим! Мы ль не молодцы, а? Одной бородой дяди Матвея всю твою избу заместо кровли застелем! — отозвался Иван Пармёныч при дружном хохоте своих сотоварищей.

— Стоишь, хе! Бородой-то одной и взяли, а боле-то нечем, видать... В чём энта твоя-то стоимость, из чего видна?

— Из кармана.

— Покажь, рассея сумление, и я тебе сейчас целую свинью сварю.

— Э-эх, Степаниды-то Ивановны нет, а то бы показал ей в утешение! — произнёс Иван Пармёныч, слова которого снова были покрыты раскатистым хохотом его сотоварищей. — Уж поели бы щец со свининкой.

— Иван! — строго остановил его Марк Антоныч. — Ты мне эких слов не мечи! Смотри... я крепок, смолчу до время... знай!

— Скрепись, милый; не по сердцу слово — што дымок из трубы: вылетел и нет его, ведь ты же крепился, видя худые-то дела: ничего, Бог миловал!

— Какие такие худые дела я видел, укажи.

— Эх, Марк Антоныч! Не я бы говорил, не ты бы слушал. Неуж ты молоденец, — полагаешь, што наша братья платья-то да серьги дарит за подтирку? Э-эх! Да и это тоже не шибко, брат, хорошее дело — обижать нас. Уж кто мы? И людьми-то обойдены, и Богом забыты... одно слово — слезопромыватели... И нас-то это пустыми щами да съёмным молочком продовать! Гре-е-ех, право, грех! Ну, какой же мы расчёт опосля этакого обращенья с нами дадим тебе, а? По гривне за день разве — одно.

— Пустые-то щи ты когда ел, скажи-ко?

— Сегодня утруждались ими, и вчера, не в укор Господу, с тех же яств голодали.

— А раньше-то чего ты ел?

— Раньше-то, благодаренье Богу и хозяевам, сыты были, клепать занапрасно не буду.

— Сыт был?..

— Доволен! Одной энтой отрыжкой, как гуслей, публику утешал... забавлялись.

— И за энто довольство по гривне взять с тебя, а?..

— Избави Господи обидеть! За хорошую еду мы в день по рублику с поклоном с человека кладём и сдачи не спросим!

— А мы считаем по три рубля, Иван Пармёныч, не по-гневи.

— А-а-а!.. Ну, уж это будет, никак, жирнее тех щей, какими ты кормил нас, Марк Антоныч! Эшто што же ты хочешь взять с нас, а? Пришли-то мы к тебе в понедельник, на другой день Покрова, а сегодня у нас галка на шесте выкрикивала тринадцатое число. Пяток поперёк субботы лёг, как добры-то люди говорят. Так стало быть, тринадцать дней... Эшто... Эшто... Што ж, по твоему счёту, какую сумму тебе из кармана-то положить?

— Сто девяносто пять рубликов!

— Это с пятерых-то? Ничего-о-о!.. Оно хошь бы и не слышать, так в ту же пору, — отозвался старик Матвей. — Недаром же ты похвалился, што своим-то словом крепче нашего уши-бёшь. Уши-и-иб! Сто девяносто пять рубликов, а? Неуж это каждый из нас наел и напил у тебя на три рубля в день, а?

— Да я первый, как пришёл к тебе, так ел ли у тебя хошь с неделю, а? — спросил, насупив брови, рабочий со шрамом на щеке.

— А хошь бы ты и однова не ел у меня, по мне, это всё равно, — спокойно отозвался Марк Антоныч, снова поднявшись со скамьи и оперевшись левой рукой о притолоку печи. — Мне только денежки подай, невидимки-то свои покажи.

— За што же казать-то их тебе? Объяви наперво.

— За беспокойство! Ел ты, аль не ел, — это особ статья, а мы тратились, пекли, варили, жарили, а для кого, а?

— А чего ты пёк, варил да жарил? Ты более других сам-то ел.

— Ел, што ж из эфтого... не собакам же выкидывать.

— А мы плати за твоё удовольствие?

— Плати!

— За то, што ты за наше здоровье скусно ел.

— Хоша бы и за это, а всё плати!.. Ты ешь не ешь, а мы на всякий раз будь наготове, запасай для тебя... Понимаешь ты этот расчёт, умная голова, аль нет?.. Ты вот, может, о полночь ввалишь в избу-то, да исшо с гостями вдобавок, и закричишь: подавай всем нам есть... Должон я угодить своему жильцу, аль нет — угостить его званных, а-а?

— Должон!..

— А-а!.. Тут так должон!.. Стало быть, у меня завсегда должно быть всё наготове. Вы вот как пристали на фатеру-то, ели не ели, а я за это время две свиньи освежевал... Они бы и теперь ходили, сердешные, да похрюкивали, а я их в жертву вашему мамону принёс... А в теперешнюю пору ты свиньи-то на селе и за пятьдесят рублёв не купишь, потому всякий бережёт её про свой обиход, — знаешь ты это, аль нет? А што мне за дело, ел ли ты их, аль не ел?.. Трoих гусей заклал, и всё это для вашего чрева; сычугов одних сколь перекупил. А масла-

то разве мало извели на блины да оладьи вам, а?.. Тебе вот пустых-то щей дашь, так ты до дыр язык-то свой источишь, глумясь над нами. Подавай тебе всё жирное да скусное, а платить пора придёт, так вместо рублей-то одни прибауточкн мечете!.. Н-ет... Любишь есть, так люби и платить... Мы вот избу-то нажаривали для вас — дохнуть невмочь, а што за дело, спишь ты в ней, аль нет?.. Я тепло-то для тебя припасаю... Вот и плати за весь энтот расход да беспокойство. Кто-то вас, вон, мису фаянсовую хряснул, а я мису-то в городе покупал, два рубля дал за неё, и заплати!.. А энто вы во что почтёте, в какую цену: ты вот спишь и ног под собой не слышишь, а я всю ночь, как шальной, стерегу вас...

— От какой же напасти? — спросил старик Матвей.

— От всякой!.. Мало ли какой грех может быть... Народ вы тоже со всячинкой, мастера на все руки... У тебя вот, может, деньги пропадут, свой же брат тебя обчистит, а поклёп-то на хозяина положишь... Вот и стерёг...

— А-а!.. вишь ты какой добрый! — с иронией заметил Иван Пармёныч. — Ну, и счёт — длинней семисотой версты*. А за сапоги-то, што трепал, ходивши на карауле, тоже платить тебе? — спросил он.

— За што не след, за то не спрашиваю!.. А-а-а энто вот заплати по особице, што ты ономясь непотребство в избе завёл... Срамоты-то тоже немало было для нашего чувства. Мы с женой-то в законе живём, взирать-то на экое озорство даром не приходится...

— За отвод-то глаз, стало быть, сколь же заплатить тебе?

— Три рубля!..

— А за поношенье чувства?..

— Поношенье-то уж мы на себя примаем; наше дело такое, — около сажи ходить да пачкаться, — язвительно заметил Марк Антоныч. — Так вот теперича покажите-ко свои-то невидимки, да и подите с богом на другую фатеру, где посытней кормят... На том и разговор покончим...

— Кваску бы вот, Марк, дал бы ты нам испить наперво, — сказал Иван Пармёныч.

— Не варили ещё, голубь... Вот подайте-ко расчёт, так сбегая, куплю ведёрко, куда ни шло, потрачусь, угощу с радости...

— Ну и мужи-и-ик же ты, Марк! — протянул старик Матвей, потряхивая своей волнистой бородой. — Это по нашим

* В некоторых местностях Сибири до настоящего времени ещё сохранились старые вёрсты в 700 сажень, и ямщики нередко обманывают неопытных путников, рассчитывая дорогу по старой версте. — *Прим. автора.*

бы местам если бы экой выискался, как ты, так знаешь, чего бы ему было от общества, а-а?

— Скажи, так узнаю...

— Поедом бы съели, со свету бы сжили тебя за энто скопидомство.

— А-а... гляди ж, какой обиход в ваших местах заведён! — с иронией ответил ему Марк Антоныч. — У нас энтого нет; у нас-то, милый, народ-то попросту живёт, энтаких порядков не заводит!.. То-то из ваших местов и валят всё больше на промысла-то: видать, с добродетели-то брюхо не пучит, а?

— Совесть, зато, милый, не зазрит... знай...

— А-а-а...

— Чиста!.. — ударив себя в грудь кулаком, воскликнул дядя Матвей.

— Гляди ж!.. Ну, известное дело, што с чистой совестью куда вольготней на свете жить; уж где же в эфтих делах нашему мужику равняться с вами. А чего ж у вас и в карманах-то так же чисто, как на совести, а-а-а? — улыбаясь спросил он.

— Чисто... не грузно... таить правды не буду! — покраснев и замаявшись, ответил ему Матвей. — Зато мы, Марк, завсегда можем перед Богом ответ держать!

— Житьё-ё-ё!.. как не позавидуешь вам, право! — насмешливо качая головой, заговорил Марк Антоныч. — Нет, милый, у нас народ проще живёт, куды как проще супротив вашего... У нас о совести-то энтой и попеченья не кладут, потому, сказывают, што хлеб-то на деньги продают, а на совесть-то его не вешают... Ну, и точно, чего сказать, по нашим местам все грешны перед Богом, уж праведного не сыщешь... По энтому самому у нас и щи-то приправляют не молитвой, как у вас, а мясом... Так и живём вот все во грехе, полегоньку, не мотая слёз на кулак, а праведных — и-и-и... не ищи лучче, в заводе нет... Так чего ж, распоясывайтесь, кажите невидимки-то ваши, и кваском угощу! — с иронией закончил он.

В избе на минуту воцарилась глубокая тишина, прерываемая только жужжанием летающих мух. Рабочий со шрамом на щеке молча переминал пальцами правой руки табак, насыпанный на ладонь левой, и, набив им коротенькую трубочку, взял чубук в зубы и стал выбивать огонь, Иван Пармёныч пристально наблюдал за вылетающими из кремня искрами, точно будто подобная процедура в первый раз происходила перед его глазами.

Один только дядя Матвей, глубоко вздыхая, порою поглаживал свою волнистую бороду да пытливо поглядывал на двух своих молчаливых сотоварищей, молодых ещё парней, по-видимому, сильно робевших перед такими авторитетами,

как Иван Пармёныч, рабочий со шрамом на щеке и дядя Матвей.

— Што ж вы, молодцы, примолкли, а? — насмешливо спросил Марк Антоныч. — Надевать сапоги-то, бежать за квасом, аль нет? — улыбаясь, спросил он.

— Уж коли сапоги надевать, так лучше по водочку! — ответил Иван Пармёныч.

— Обжечь штобы глоточку... Што ж, можно и за энтой причиной сходить, — недалеко; только уж допрежь расчёт подайте, а потом с вами и не сообразишь, добры молодцы... Мы уж в энтих переделках-то бывали, стережёмся оных!..

— Бывали-таки?.. — пустив струю табачного дыма, спросил рабочий со шрамом.

— Около вас-то потрёшься — всего испробуешь! — ответил Марк Антоныч. — А вот подайте-ко мне теперича честным манером двести рубликов.

— Двести? — прервал его рабочий со шрамом.

— Двести! — повторил Марк Антонович. — Потом, благословясь, мы выпьем по стаканчику, да по доброму слову и на расставь пойдём.

— А ежели мы не хотим идти, ежели нам не время, — тогда как? — спросил Иван Пармёныч.

— Выволочем...

— Выволочешь? — переспросил он, в упор глядя на него.

— Так точно... У нас это коротко делается: позовём старосту, кликнем народ, да коли путём со двора не пойдёшь, так и за вихры полегонечку из избы выволочем! А только, молодцы, я одно скажу вам: надоело мне и бабе волочиться с вами; любя сходились, любя и разойдёмся; подавайте мне деньги да и подите со Христом, — решительно заключил Марк Антоныч. — Ко мне жильцы-то почище вас просятся; от них мы настоящий доход увидим, а от эких-то, как вы, у коих и на совести, и в карманах чисто, ослобони Бог всякого.

Иван Пармёныч и рабочий со шрамом на щеке, утопавший в густых облаках табачного дыма, молча переглянулись между собой, и по лицу Иван Пармёныча пробежала при этом лукаво-злая улыбка.

— Вот, Карп Сидорыч, и учи-и-ись, как добры-то люди наживаются, — начал Иван Пармёныч. — Гляди, и году не пройдёт, как у Марка новый дом вырастет, а мы-то... э-эх!.. хошь бы раз сплутовать, говорю, Бог привёл, штобы добрые люди совестью не корили! А што, Марк Антоныч, коли мы тебе не дадим энтих денег, а?.. Чего будет? — спросил он, обратившись к нему.

— Отда-а-ашь! — самоуверенно протянул тот.

— Поглядеть вот хочу, как ты выволакивать будешь, а?

— Смотри, парень, не скусно покажется.

— Испробую... И пустые щи не шибко-то вкусны, да ели, грабёж-то энтот, брат, тоже мы видывали. Коли бы ты грабил ишо, да в меру... ну, куда бы ни шло, а ты уж, милый, сверх оной забрался. Потакать вашему брату тоже не доводится. Выволакивай-ко! — произнёс Иван Пармёныч, поднимаясь с лавки и расправляя свои могучие члены.

— Оставь, Иван! — строго остановил его Карп Сидорыч, поднимаясь с лавки.

— С хозяевами так расставаться не гоже: любя сошлись, любя и разойдёмся. Берёт он двести рублёв — и бери, пей наш пот... Вынимай-ко, братцы, деньги, с кого сколь след.

— Позвольте, Карп Сидорыч! — начал было дядя Матвей.

— Вынимай! — почти крикнул ему Карп. — Вы, названные сынки, распоясывай-ко кушаки да клади чего доводится, — повелительно обратился он к молодым парням, молча сидевшим на лавке и ухмылявшимся время от времени на выходки своих старших собратий.

— Так-то вот лучше, милые! — ласково заговорил Марк Антоныч, когда рабочие, достав деньги, стали сводить между собой счёт. — Ведь вы теперича все полагаете, што вас грабят. И... и... Боже мой, сохрани, говорю, владыко небесный каждого от энтото ремесла, — говорил он, присев на лавку и жадно оглядывая ассигнации, переходящие из рук в руки между считавшимися рабочими. — Грабитель! — продолжал он. — Теперича ведь в энто время тебе за пятьдесят рублёв никто свинки не продаст, потому всякий энту живность про свой обиход пасёт... Ведь я, милые, по рублю за сычуг платил, — де-е-еньги... а в другое-то время их тебе на гривну пять дадут; и судите сами, где он, грабёж-то, в чём, а-а?.. Единственно убыток, если разобрать по суставам-то, убыток, одно слово...

— Примай нашу жертву! — прервал его Карп Сидорыч, подавая ему деньги.

— Покорнейше благодарим, што без спору, без слова, по чести отдали. И всякому теперича закажу, што вы люди... то ись... вот как перед Богом... без сомнения, — говорил совершенно растаявший Марк Антоныч.

— Чисто? — спросил его Карп, когда он пересчитал деньги.

— Завсегда бы подавай Бог так получать.

— Доволен?

— Ах, милые!.. Если бы, говорю, только не попутал меня грех дать слово Матюшке Парвову с Щ...х промыслов, што принимаю его к себе на фатеру, и не потревожил бы вас, и сомнения бы не питал. Ну, грех попутал, не гневите уж, молодцы, — говорил он, кланяясь им. — Чего ж, водочки выпьем, а-а? — спросил он заискивающим тоном.

— Неси!.. По чести разочлись, по чести и расстанемся! — ответил ему Карп Сидорыч.

Не прошло и полчаса времени, как на столе появилась четвертная бутылка с водкой и плотный гранёный стакан уже два раза обошёл собеседников. Настроение пирующих было, по видимому, самое благодушное.

— Ну, Марк, — начал Карп Сидорыч, когда стакан ещё раз обошёл круговую, — квит мы теперь, а?

— А слава тебе Господи, други!.. — ответил заметно охмелевший Марк Антоныч.

— Владей нашим добром. Пущай оно тебе впрок идёт. Я тебе, Марк, вот чего скажу: будешь ты богат, и пошли тебе, Господи, боле... Грабь!

— Милый, зачем энти слова, — укоризненно остановил его Марк Антоныч.

— Молчи! — крикнул Карп Сидорыч.

— Ну... ну... смолчу, изволь, потешу тебя, смолчу.

— Грабь!.. Мы, Марк, какие люди по твоему соображению, а? — спросил, подсаживаясь к нему, Карп Сидорыч.

— Какие мы люди, Марк Антоныч, по-озвольте попытать вас, ну будто на прощанье, на последях-то, по сущей правде? — спросил и Иван Пармёныч, также подсаживаясь к нему с другой стороны.

— Хорошие люди... Одно скажу всем и каждому, чистые люди, степенные, и в расчёте теперича примерные люди, без спору, без свары, не токмо как другие.

— За што же ты ограбил нас?.. Нешто мы наели у тебя на двести рублёв в тринадцать-то дней, а?

— За што вы, Марк Антоныч, иго-то это на нас наложили? — спросил и старик Матвей, также подсаживаясь к нему.

— А-ах, други... други!.. Умные вы люди, всем и каждому скажу — умные, а нет в вас энтот точки, штоб расчитать, как оно чего всё стоит... не-ет!.. Неуж мало тревоги и беспокойства с вами-то, а-а? Да жизнь ведь в ину пору проклянёшь, а вы говорите — обобрал...

— Обобрал!..

— Милые, перекрещуся — не грешен... Вот святитель Микола, угодник божий... да пусть он разразит меня на месте, коли я грешен в эфтом.

— Вор ты, Марк, это тебе и Микола угодник скажет.

— Ну... молчу, пущай будет по-вашему — вор так вор.

— Грабитель!..

— Снесу... всё снесу; говорите, чего хотите. Пущай вот разразит меня Владычица небесная, коли я вот хоть одну копейку с вас лишку взял. Пущай.

— И копейки лишку не брал?

-
- Не грешен.
 - Перекрестись!
 - Изволь, икону сниму, коли на то пошло.
 - Снимай.
 - Сниму, изволь!

И Марк Антоныч, поднявшись на лавку, сиял висевшую на гвозде икону Николая чудотворца и, перекрестившись, приложился к ней.

— Видали? — спросил он. — Пусть он разразит меня, многомилостивый, коли я по неправде...

Но не успел Марк Антоныч окончить, как в избе раздался звук от веской пощёчины, нанесённой ему Карпом Сидорычем. Марк Антоныч пошатнулся и упал на стол, с которого полетели на пол недопитая четвертная и стакан. В избе завязалась борьба, среди которой слышались только отрывистые, удушливые слова: «сто-о-ой», «врё-ё-ёшь» и т. п. Не прошло и часу после описанной сцены, как окна Марка Антоныча были выбиты вместе с рамами, двери сорваны с петель, а на улице и в самой избе кипела одна из тех ожесточённых драк, какие надолго остаются в памяти рабочих и жителей Т...я. Одного крика: «Наших бьют!» было достаточно, чтобы разъярить и крестьян, вступившихся за своих однообщественников, и разгульную толпу рабочих. Начавшись в одной избе, драка охватывала чуть не всю улицу. Среди рёва и стопа клочьями летели волосы, полы от рубах, полушубков и азамов. Сбежавшиеся волостные чины бросились в самый разгар свалки, разнимая разъярённую толпу. Драка затихла только к ночи, и сами же дравшиеся, за отсутствием медицинского персонала, подавали первоначальную помощь изувеченным и избитым собратьям, в числе которых оказались и Марк Антоныч, и старик Матвей Фёдорыч, от пышной бороды которого уцелели одни жалкие клочки.

К концу сентября всё чаще и чаще повторялись подобные сцены; всё чаще и чаще в стенах двухэтажного здания Т...го волостного правления с криком и бранью толпятся призываемые для разбирательства крестьяне и рабочие в рваных рубахах и зипунах, с окровавленными головами и лицами. Задняя часть здания волостного правления, разделённая толстыми деревянными решётками на несколько камер, редкий день не наполняется арестованными за буйство и воровство рабочими и крестьянами, заключёнными впредь до разбирательства дела или до производства следствия чиновником земской полиции. Но до формального следствия редко когда доходит дело.

Только об уголовных преступлениях, которых нельзя скрыть, волость доносит по принадлежности, а все остальные

дела решаются мировую. Да и трудно поступать иначе при совершенно особенных условиях жизни крестьян этого села и временно наполняющих его приисковых рабочих. Четвёртая часть последних, отдохнув день, два, идёт далее, домой; большинство же, пропив весь свой заработок, живёт в селе до приезда лиц, уполномоченных золотопромышленниками для найма рабочих на прииски. Дождавшись их, рабочие снова нанимаются на прииски, подписывают контракт, которым отдают свою личность в безотчётное распоряжение приисковой администрации, берут в задаток от двадцати пяти до пятидесяти рублей и получают рубаху, зипун или полушубок, чтобы прикрыть свою телесную наготу, так как многие из них буквально спускают с себя всё до рубахи. Из задатка рабочий расплачивается с хозяином квартиры, если оставался ему должен, оставшуюся от расчёта сумму снова пропивает и, чуть не нагой, иногда в страшный, трескучий мороз, идёт в партии своих злосчастных сотоварищей на прииски.

Нередко рабочие, пропив два, три полушубка, покупаемые ими по дороге к прииску нанявшим их доверенным, идут уже под конец пути, окутав себя с головы до ног снопами соломы, прикреплёнными к телу бечёвками... Оригинальная картина, которая встретится наблюдателю только в Сибири и только в быту приисковых рабочих. Узкая просёлочная дорога покрыта девственным снегом, ярко сверкающим от солнечных лучей. Вверху беспредельная лазурь неба, холодная и строгая синева которого становится ещё резче от белого яркого покрова, окутавшего тополя, пригорки и леса. Дорога, как змея, вьётся иногда среди хмурых сосен, пихт и елей, стелющихся по земле свои длинные лапообразные ветви, опушённые снегом, и по этой дороге вереницами бегут и прыгают, грея себя всевозможными телодвижениями, соломенные снопы, из которых выглядывают головы с закуржавевшими от мороза волосами и бородами и в редких случаях окутанные каким-нибудь платком или тряпкой.

Не думайте встретить уныния и отчаяния среди этих оригинальных путешественников. Нет, уныние и отчаяние несвойственны этому народу; напротив, среди них чаще всего слышатся шуточки друг над другом, остроты над своею жизнью и положением, остроты над своими хозяевами и нанявшими их на работу доверенными. Кто-нибудь выкинет при этом курьёзную шутку, — пройдётся, например, колесом на руках, не хуже, если не лучше любого клоуна в цирке, и выходка его, покрытая дружным хохотом, возбуждает неудержимое веселье и вызывает залп шуток и острот.

На пути виднеется вдали деревня, станция, где ожидает прибытия рабочих сопровождающий их до прииска дове-

ренный, обыкновенно уезжающий вперёд. При виде деревни соломенные снопы ускоряют бег; некоторые из них мчатся к околице деревни взапуски друг перед другом, и горе, если в деревне или селе есть кабаки... а в каком селе или деревне по дороге к приискам нет кабака и лавок? Снопы с шумом и гамом врываются прежде всего в кабаки, и тогда всё забыто: снова начинается пир, ликованье, и никакая сила не остановит их... Иногда рабочие по два, по три дня пьянствуют в селе, и сколько курьёзных сцен проходит в это время между рабочими, сопровождающим их доверенным и чинами земской полиции!

Однажды подобная партия рабочих заперла в пустую холодную избу земского заседателя, вздумавшего попугать их розгами. Несчастный чуть не замёрз, и только слезами и клятвами выставить своим мучителям несколько вёдер вина спас себя от гибели. Обыкновенно в этих случаях и доверенные, и полиция действуют на рабочих лаской, поят их вином, покупают им шубы, сапоги, шапки, — конечно, в счёт будущего заработка, — подряжают для них лошадей и везут их на тройках, минуя по дороге те сёла и деревни, в которых есть питейные заведения. Бывают случаи, что подобные партии рабочих положительно раскатывают по бревну дома у крестьян, чем-нибудь выведших их из терпения.

Однажды, в обширном селе Салтоне, Кузнецкого округа, Томской губернии, партия рабочих, озлобившись на крестьян за то, что они, по просьбе сопровождающего партию доверенного, перевязали несколько человек более буйных рабочих, выбили окна, разнесли заборы, оборвали с петель двери и ворота в домах тех крестьян, которые вязали рабочих. В подобных случаях строгие действия не ведут ни к чему хорошему, потому что рабочие, привыкшие почти на каждом шагу рисковать своею жизнью, не особенно дорожат ею и пойдут на что угодно. Одно только ласковое слово да обещание купить им вина всегда водворяют среди них порядок.

Волостные чиновники и чины земской полиции хорошо понимают, с каким народом они имеют дело, и никогда не прибегают ни к брани, ни к каким-либо крутым мерам. На брань рабочие всегда отвечают такою же бранью, а крутая мера поведёт только к уголовному преступлению. Мирная — единственный исход, тем более верный, что рабочий незлобив по своей натуре. Он воспламеняется, как фосфор, но и в то же время, когда с налившимися кровью глазами он готов броситься на обидчика и убить его, не думая о последствиях, — какое-нибудь острое словцо, шуточка парализуют его гнев и заставляют разразиться хохотом, сглаживающим

из памяти всякую обиду. Как-то странно даже видеть, что люди, за час ещё с остервенением дравшиеся, вдруг, обливаясь слезами, целуются, испрашивая друг у друга прощения за удары, от которых распухли лица, затекли глаза и долго к ненастной погоде ломит грудь и бока... И не только целуются, но в порыве чувства обмениваются крестами, в знак неразрывного братства.

— Ну, Митька, и саданул же ты меня, ч-ёрт экой... а-а-ах-ха-ха-а-а!.. — раздаётся раскатистый голос и хохот какого-нибудь Голиафа, черты лица которого трудно разобрать среди сплошной опухольи, слившей их в бесформенную лепёшку. — Думаю, издохну... О-а-ах, как саданул!..

— У меня, брат Евсей, кулак-то што молот!

— Мо-о-олот! — соглашается Евсей. — Ну и я, Митюха, коли под сердцевину-то подъеду — де-е-ержись!..

— О-о-о... бьёшь?..

— Бью!.. Здо-о-оров я на энту подхватку! — дружелюбно беседуют, вспоминая полученные друг от друга удары, друзья, бывшие за час врагами, готовыми растерзать один другого!..

Немало происходит в это время разбирательств в волости и по другим недоразумениям, возникающим между крестьянами и рабочими, хотя в случаях начётов со стороны домохозяев на своих жильцов рабочие чаще всего поплачутся только перед своей братьёй да и махнут на всё рукой — дескать, «где наше не пропадало!».

Но иногда они обращаются с жалобой в волость, впрочем, более для успокоения совести, чем в надежде достигнуть каких-нибудь результатов. С жалобой в волость идут рабочие и в случае покражи у них денег, а случаи эти повторяются постоянно и бывают крайне разнообразны. Нередко рабочий, имевший в кармане сто или полтора ста рублей, опьянев до беспомысленности или в порыве откровенности шепнёт хозяину, где хранит свои деньги, — и наутро просыпается нищим. Бывает и так, что рабочий в пьяном виде сам отдаст их на хранение хозяину квартиры, и тот потом нагло, в глаза, отпирается от них, говорит, что никогда не брал от него никаких денег...

— Опомнись, промой глаза-то! — говорит какой-нибудь Сидор Степанович, имеющий дом в два этажа, до тридцати лошадей и коров, и слывающий за степенного ни в чём не замеченного мужичка, усовещивая на разбирательстве какого-нибудь рабочего, стоящего перед волостными чинами в рваном полушубке и броднях. — Опомнись, говорю, Семён... О, да господи боже мой! — восклицает, разводя руками, Сидор Степаныч. — Это штоб я покусился на твою копейку, да точное ли это дело, а?

— Покусился! — угрюмо утверждает Семён. — Нечего руками-то разводиться... вор...

— Очнись, што ты поносные-то клички мечешь на меня!.. Опамятуйся... не топи души-то своей в грехе! Ради какой надобности я бы стал утаивать твои деньги, коли б ты в самом-то деле отдал их мне, а?

— Известно, тебе больше надоть, вот и вся надобность...

— Оскудел я, што ль? Аль меня мало господь усчастливил, што я на твоё-то позарился?..

— Видать, што мало.

— О господи!.. Да я бы одной этой страмоты на себя не принял, — стоять вот здесь с тобой да судиться... Меня, слава те господи, и начальники-то все знают... Сидору Макунину от всех поклон да доброе слово, а ты-то кто? Оглянись-ка на себя; заплатами, што бисером, унизан... И это я стал бы около тебя руки свои пачкать, а-а?

— Што ты мне заплатами-то в глаза тычешь! — весь вспыхнув, прерывает его Семён. — Моя-то заплата, может, во сто крат чище твоего кафтана, да-а!.. Я вот и званья не возьму променять её на твоё добро: она — вот заплата, да она моя, а у тебя всё крадено... вор!.. Ишь, ты белками-то ворочаешь да Бога-то изо всех углов на помощь кличешь, штоб оправдать паскудство. Я тебе деньги, как честному мужику, своими руками на хранение отдал; отопрись-ка вот, скажи — не брал.

— Не брал...

— Ишь, совесть-то у тебя сколь легка на взёме...

— Не брал, истинно скажу. Пусть вот Лаврентий Митрич, почтенный человек, голова, старшой меж нами, судит нас... Не брал, и не видал, какие у тебя деньги были, — горячо говорит, воодушевляясь, и Сидор Степаныч.

— Ты докажи, што ты отдал ему свои деньги, — вступается волостной голова, Лаврентий Дмитрич, в глубине души у которого всё-таки смутно шевелится подозрение, что злосчастный Семён, стоящий перед ним в рваном полушубке, совершенно прав. — А то ты так-то придёшь да скажешь, что и мне деньги отдал, а я притаил!..

— Да нешто я собака, ваше почтение, што зря-то буду лаять на всякого?.. Ну, рассуди ты сам, пошто бы я пошёл жаловаться на него напрасно, а?.. Пьян я был, не потаюсь, пьян.

— Свет-то ты видел ли в те поры, объяви?..

— Видел... Как ни был пьян, да всё ещё в разуме был, не кори... Известно, мне бёдко было, ваше почтение, што робил, робил я, и потеряю своё добро; а как не потеряешь его?.. Народу-то у него много на фатере стоит и знакомого, и незнакомого... Иной, может, только и стережёт, как бы кого ошарить из нашего брата да уйти не с пустыми руками... Прихожу

к нему: так и так, говорю, Сидор Степаныч, ты дому хозяин, всегда в трезвом виде, остереги меня, яви божескую милость. Вот, говорю, семьдесят три рубля, — припрячь их... И сам ему своими руками отдал. И деньги-то были бумажками все, в стареньком платочке завёрнуты... Он исшо и сказал мне тогда: спасибо, говорит, по крайности, от греха стережешься... Не говорил ты мне этого, а, когда деньги-то брал мои? — спросил Семён, сдвинув свои густые брови.

— Пошто ж бы я стал запираяться-то в твоих деньгах... для чего? Скажи ты мне, разумный человек, а? Семьдесят три рубля! Экое, подумаешь, богатство... а? Ну и капита-а-ал! Есть на чего глазам гореть, хе-хе!.. Ай да Сидор Макунин!.. Вот так мужи-и-ик! На старости лет до чего опустился, а! Ну, чего будешь делать, Лаврентий Митрич, суди меня, — с иронией говорит Сидор Степаныч. — Только полегче суди-то, побереги мои старые кости до другого случая: того и гляди, придёт кто ни на есть да скажет, што я у него гривну затаил, затаил, взявши на хранение... Ну, и народец же вы, приискатели! Ни Богато у вас, ни совести... Это штоб я отныне кого-нибудь из вас на фатеру пустил... да лопни мои глаза!

— Пу-устишь!.. Ты ведь энтих случаев только и ждёшь, живёшь ими.

— Молю тебя богом, Семён, — скажи ты мне при его милости голове, на што мне твои деньги: на смертную рубаху, што ль, покрыться мне нечем, как умру, а-а?

— Уж это ты лучше скажи; тебе энто дело ближай знать!

— Я тебе вот чего, срамная душа твоя, скажу; у меня капиталу-то, может, боле пяти тыщ, знай! Одной скотинки пасётся на поле — што тебе век изжить да не нажить. Да это я бы принял во внимание свою душу топить за семьдесят три рубля?

— Твоя-то душа, брат, што пузырь, поверх всякого греха всплывает. Ишь, сколь ты правдивый человек, а? Сам же хвалишься тыщами, а на рубли позарился. Ну, не вор и ты? Э-эх, мужик, мужик! Потуда в тебе и совесть-то была, покуда карман был пуст, а деньгой-то, што волной, всякую совесть захлестывает.

— Сидор Степаныч, — вмешивается голова, — не паскудься ты на старости лет, выбрось ты ему евоные деньги, не убудет тебя... плюнь, говорю.

— На чего это, Лаврентий Митрич, плевать-то прикажешь?

— Плюнь, говорю, брось ему энти семьдесят три рубля. Послушай моего ума-разума... брось.

— Нет уж, ваше почтение, избавь.

— Неуж срамиться-то лучше?

— Не по плану дело ведёшь. Это опосля того, кто ни придёт с жалобой на меня, што я притаил деньги, и раскидывай их... Покорнейше благодарю за милость, Лаврентий Митрич... Этак-то проплюёшься, милый, што опосля и сам испить захочешь, да уж негде будет. А ты веди дело до суда — ответим!

— Захотел, штоб он отдал!.. Ему легче с душой-то расстаться, чем с рублём. А аспид, вот што... вор! Так и знай!.. Подавись ты энтими деньгами, кривая душа... Не разбогатеешь, брат, на них, не-е-ет, а на нас исшо, может, оглянется Господь, — жёлчно говорит Семён, оканчивая этими отрывистыми, льющимися из оскорблённой души словами свою жалобу.

В тот же день вечерком, по дороге из Т..я, с холщовой котомкой за плечами, привязанной крест-накрест какою-нибудь старой опояской, идёт несчастный Семён к семье своей, немало наголодавшейся во время его отсутствия. С часу на час ожидает семья возвращения его с заработком, надеясь хоть день, два отдохнуть от тяжёлой нужды, безуданно стучавшейся с зари и до зари в их избу. Но мало радости принесёт семье возвратившийся с заработка хозяин. Поплачет жена его горькими слезами, услышав незатейливую повесть похищения денег. С улыбкой недоверия покачает головой сельский староста, пришедший к Семёну с требованием уплатить подать и недоимку, услышав эту же повесть. В уме его невольно мелькнёт: «Врё-ё -ёшь, парень, видать, што пропил!». И не далее, как на следующее лето, волость законтрактует Семёна в работу, засчитав полученные за него деньги в подать и недоимку, предоставляя семье его питаться и поддерживать падающее хозяйство, чем она знает.

У опытных домохозяев, хорошо изучивших характер и наклонности рабочих, расчёты с ними не порождают никаких жалоб и недоразумений.

— Ну, што, соколики, чай, и по домам пора, или доверенного ждать будете, а? — спросит иных рабочих, как будто невзначай, Кузьма Терентьич, от опытного глаза которого никогда не ускользнёт, что средства его жильцов плохи, и если вовремя не рассчитаться с ними, то, значит, наверное потерять свою выгоду.

— Аль уж наскучили тебе, Кузьма? — спросит иной из них.

— И не думал скучать... Это с экими-то молодцами да скучать!.. Да вы одной прибауткой меня на год натешили, право. Ведь экие грузочки, как вы, чай, по нашей тайге только и растут.

— Пожалуй што в другом месте не сыщешь, — хвастливо соглашается с ним рабочий.

— Особливую бы плату положили из-под рук-то на вас поглядеть, ей-богу, — не без иронии говорит Кузьма Терентьич.

— Э-эх, Кузьма Терентьич, уж экого хозяина, как ты, не наживёшь! — восклицает кто-нибудь из них.

— О-о! люб, што ли, вам?

— Утешение!..

— Ну, слава те, господи, што потрафил.

— Утешение!.. Вот тебе верное слово!.. И напоишь, и накормишь, и теплом обогреешь, да в ту же такцию ещё и похвалишь!.. Ну где же ты сыщешь экого хозяина, а-а?

— По жильцам, сказывают, и хозяин, други! — серьёзно замечает Кузьма Терентьич.

— И это верно! Ежели теперича я вот, взядши, Ферапонт Вахрушев, живу теперича чинно, как, значит, пречестным манером, никаких от меня, стало быть, качеств хозяевам, ни другим жильцам не имеется, потому как я, если и в загуле ино время состою, то всегда тихими стопами, любовно... то должен почитать экого жильца, хозяин, а?

— Экому жильцу первое место теперича, под божничкой.

— Точно, уважь его.

— И, господи!.. Да ведь экого-то человека и уважать любо.

— Справедливо. А што я теперь, Ферапонт Вахрушев, должен полагать в своём уме про эфтого, к примеру, хозяина, как ты, Кузьма, а? Ведь ты, Кузьма, карманом-то зашибить меня можешь.

— За што же это зашибать-то я тебя буду?..

— Это я к слову говорю, пойми! К слову, стало быть, как бы к примеру взять.

— Ну, слышу, слышу, понимаю.

— Понимаешь, ну и помни! У тебя теперича и хозяйство всякое в отличку, по-купецки, и сам ты степенный человек, торгующий. Стало быть, как бы в почёте. И завсегда ты теперича с нами, чинно, с добрым словом да лаской, обогреешь, напоишь, накормишь. Должен я уважать такого хозяина, а?

— Это уж как почтёшь... твоё дело.

— Нешто мы бесчувственные, а? Без понятияев люди, а? Нет, мы, Кузьма, понимаем, кто чем пахнет... Мы тоже, брат, хоша и из сыромятной кожи шиты, а насчёт обхождения-то благодарим покорно, не взыщи, очень даже свободно понимаем... Другой тебе хозяин-то и весь вот он — наплевать... Он вот мне в ноги будет кланяться: иди к нему на фатеру... Он вот с меня рубь за день возьмёт. Чего бы лучше, а?

— Известно, чего же лучше...

— А я не пойду. Я вот два рубля за день-то отдам, да знаю, кому отдам: Кузьме. Потому Кузьма людей понимает... Кузь-

ма знает, как кого обойти, — мне и любо это. У Кузьмы вот тыщи, а у меня гроши, а всё же Кузьма меня чтит, потому я Кузьме хлеб даю...

— Известно, как бы не вы, други, мы бы и голодом насиделись.

— И насиделся б! А мы кормим вот вашего брата, и ты вот это понимаешь, и не зазнаёшься, и я вот тебя за это всегда награжу. Изволь... Ну, скажи вот, сколь мы у тебя напили и наели...

— Ужо поглядим.

— Погляди! Чинно всё это обследуй!— говорит рабочий, идя вместе с своими товарищами за Кузьмой Терентьичем по высокой лестнице в верхний этаж, где в небольшой комнате, уставленной образами, в столе хранилась особая книга, в которую Кузьма Терентьич тщательно записывал каждый день имена и фамилии остановившихся у него на квартире рабочих и, на основании отчётов, отдаваемых ему домашними, вносил в эту книгу посуточно всё, что требовали жильцы: стоимость отпускаемого им в долг вина, разбитой кем-нибудь из них посуды и т. п. Вынув из футляра свои большие, совершенно круглые очки в серебряной оправе, Кузьма Терентьич неторопливо отыскивал в книге ту или иную фамилию, высчитывал, при помощи небольших костяных счётов, причитающуюся в уплату с каждого из них сумму и мягким, дружелюбным тоном объявлял её жильцу.

— Без обману уж, милый: мне твоей копейки не надо, меня уж, слава Богу, наградил Господь, — набожно крестясь, говорит Кузьма Терентьич. — Есть деньги — отдай, «благодарю покорно» скажу, нет — обождём...

— Кузьма!.. Да неуж теперича, штоб мы, пивши, евши, да не отдали б денег? Да я вот, если б и не было их, душу заложу...

— И-и-и, полно! Есть из чего в заклад её нести, побереги, пригодится ишо. Ты вот экие-то слова стерегись-ко ронять, милый; враг-то силён, в какой час его вымолвишь.

— Заложу!.. В своей душе я волен.

— Ну, ну, закладывай. Всяк своему добру хозяин.

— Э-эх, Кузьма, Кузьма! Не деньги нам дороги, — почёт. Почти ты меня, и я к тебе всей душой. Вот ты напой меня чаем, мне и любо, это-де Кузьма меня уважил, да-а! Мы тоже, милый, с норовцом люди: обласкай, облюбви, и будь хошь ты из воров вор, мы за тебя лоском ляжем... Так сколь, говоришь, тебе денег-то?

— Восемнадцать рубликов доводится по счёту-то...

— Изволь, сейчас, ужо получай.

— Ты проверь меня, просчитай наперво. Я, может, со слепа-то и накинул на тебя, — любезно оговаривается Кузьма Терентьич.

— И-и, копейка ль перейдёт, рубль ли, — владай; за уважение кладу...

Подолгу длятся иногда подобные объяснения между расчувствовавшимися рабочими и практичным Кузьмой Терентьичем, и нужно видеть, с какими поклонами и пожеланиями добра расстаются с ним эти люди и из года в год приворачивают не иначе, как к дому облюбованного ими хозяина.

— А што, Кузьма Терентьич! Ведь ноне, миляга, я как будто в вине перед тобой! — говорит иной из рабочих, когда наступает время рассчитаться за хлеб и соль. — Не обессудь уж меня; маненечко я перехвастнул! — говорит он, почёсывая затылок.

— О-о, в чём бы это? — отвечает Кузьма Терентьич, как будто не догадываясь, к чему клонит речь перехвастнувший квартирант.

— Грех попутал меня, братец: о-обчёлся!..

— О-о?

— И как это перемахнул за препорцию, ума и посеичас не приложу. Нету ведь денег-то у меня, нечем, слышь, расплатиться-то... Верь, и берёгся ведь, пуще глазу берёгся. Ну, вошёл в мечтание и перемахнул.

— Экий грех-то, а-а? — качая головой, соболезнует Кузьма Терентьич.

— Какого исшо греха тебе надо! — сокрушаясь, подтверждает рабочий. — Обождёшь ли, а?

— До коих пор уплату-то отложить тебе?

— Уж доверенного буду ждать... Чего боле делать-то? Нечего...

— К кому ты ноне наниматься-то хочешь? — спрашивает Кузьма Терентьич, поглаживая свою бороду.

— Кто первый подъедет, тот и мой... Чего их разбирать-то?

— Обождать, оно што, не в труд. Обождать можно, — с расстановкой говорит Кузьма Терентьич. — Я вот ужо, на досуге, опосля подсчитаю, сколь доводится с тебя получить-то... Только помнится мне, што ты ровно и у меня-то зарвался. Подождать я подожду, отчего не подождать, не каплет, только уж ты, говорю, сердешный, более-то не зарывайся, покрепче себя содержи, а то и тебе будет невмоготу, и мне-то накладно...

— Уж сдержимся, не сумлевайся...

— То-то... Я и доверенного попрошу накинуть задатку-то тебе, штоб хвостов-то за тобой не оставалось; а всё же сдержись, загул-то этот брось, до добра-то он не доводит; в Писании сказано, што враг-то человеческий душу-то вином уловляет! Гулять тоже надо с толком. Погулял, отвёл душу — и

очнись, проверься, сообразишься с силой!.. Видишь, коли достатку мало у тебя, и скрепись. Жить во всём надо по чести. Сам ты будешь честно жить, и к тебе будет доверие. Понял?

— Понял, милый, как не понять!.. Экое слово, как твоё, ровно, слышь, в душу каплет.

— И пущай каплет, умягчит душу-то.

— Облегчил ты меня, Кузьма Терентьич, пошли тебе Господи...

— Ну, и слава тебе Господи! А тем временем ведь голодом тебя тоже не оставишь: живой человек-то, могутный; зубам-то отдыху не привык, поди, давать. Ну, и поробь за кормёж-то, подсоби мне по хозяйству.

— По-одсобнм!..

— Дровец поруби мне. Сенца вот надоть с покосу свозить... да мало ль чего по хозяйству-то набежит. Господь-то ведь заповедал нам хлеб-то в поте лица есть, и труды он, многомилостивый, любит. Так и заповедал: ешь, говорит, хлеб твой в поте лица своего. Поэтому уж я того... Коли и подсобишь мне, скидки-то со счёту не буду тебе делать. Уж это будто за снисхождение пойдёт, работа-то твоя...

— Уж ты только обожди, а энто што-о! Чего сробим, денег не спросим, — отвечает обрадованный рабочий.

— Ну, и оставайся с богом, живи! Я уж сегодня скажу Степану, пущай он тебя снарядит, к делу-то приставит, — заключает Кузьма Терентьич свою поучительную речь.

У рабочего, тяготившегося сознанием, что ему нечем расплатиться за съеденную хлеб-соль, после подобной беседы становится легко на душе. Не менее хорошо чувствует себя и Кузьма Терентьич. Деньги он всё-таки получит с рабочего все до копейки; получит даже за прокорм его в то время, когда он будет у него проживать в ожидании приезда доверенного не в качестве уже квартиранта, а в качестве работника-пособника по хозяйству. Зарвавшийся и замотавшийся приисковый люд, остающийся на квартире в ожидании приезда доверенных, свозит ему сено с покосов, нарубит дров на зиму и строевого леса для построек и поделок. Все флигеля и хозяйственные пристройки Кузьмы Терентьича воздвигались их руками. Они наделают ему пошевной и дровней, обтянут колёса шинами... да чего не сделает приисковый рабочий хозяину за то, что он благодушно относится к нему, ждёт за ним долг, кормит его до приезда первого доверенного.

Унылую картину представляет Т...ь, когда пройдёт период шумного разгула, придававшего ему такой празднично ликующий вид. Его можно сравнить в это время с залой, в которой только что кончился шумный пир, — гости разъехались, и усталые официанты не успели ещё привести в порядок ме-

бель, прибрать посуду, подмести в комнатах и проветрить их. Правда, на улицах села ещё заметно оживление, но это уже не прежнее праздничное оживление, не слышится разгульной песни, звонкого смеха и говора. Теперь уже не попадают на глаза щёголи, разодетые в плисовые безрукавки или поддёвки, в суконные халаты, с шёлковыми шальями на груди, в поярковых шляпах или в смушковых шапках на головах, — нет: и плисовые безрукавки, и поддёвки, и халаты, и шляпы, и все те костюмы, за которые так дорого было заплачено, снова возвращены в те же магазины с панскими товарами, в которых они были куплены, и возвращены за какие-нибудь два, три рубля.

Я знаю, многим покажется невероятным тот факт, что все почти магазины с панскими товарами, находящиеся на золотых приисках и в сёлах, стоящих на пути к приискам, редко когда пополняются новыми товарами, за исключением разве ситцев, холста, рукавиц, сапогов и т. п., а все предметы щегольства рабочих большею частью остаются по несколько лет одни и те же, переходя из магазина в руки рабочего, а от рабочего снова в тот же магазин. Делается это очень просто. Покупает рабочий шёлковую рубаху и весь франтовский костюм, платя за него неимоверно высокие цены, тем более, что иногда его нарочно подпоят в самом магазине. Ему в это время не до того, чтоб торговаться и тщательно осматривать, прочны ли и достаточно ли свежи продаваемые ему вещи: ему поскорее хочется освободиться от рвани, болтающейся на плечах, показать всему крещёному люду, что он богат, что он может, коли захочет, и в трёх поддёвках зараз ходить. Проходит несколько дней в самом буйном разгуле; деньги тают не по дням, а по часам. У более злополучного они исчезают в первую же ночь по приходе в село, скраденные или своим же братом рабочим, или ловким хозяином, или голубкой, опьянившей его своими ласками. День-два рабочий пьёт ещё, пристроившись к какой-нибудь компании; но когда уже не на что пить, он снимает с себя шёлк и плис, надевает прежнюю рвань, если сохранил её, как делал это дальновидный Дергач, и идёт в магазин с панскими товарами, в котором ещё за несколько дней, сознавая своё значение, как богатого покупателя, позволял себе фамильярничать с хозяином его, а иногда и ругать его каким-нибудь крепким словом!

Т...ие торговцы хорошо знают, что купленные у них вещи снова возвратятся к ним, так что в сущности они и не продают их рабочим, а только дают их во временное пользование, получая с рабочих за право пощеголять в шелку, плисе и тонком сукне слишком высокую арендную плату. Период разгула миновал, а между тем магазины открываются по-прежнему, и

Иваны Матвеевичи, Кузьмы Терентьевичи и Никиты Онуфриевичи терпеливо сидят в них, ожидая возврата арендованных у них вещей.

— Здравствуйте-ка, Иван Матвеевич... Всё ли по здорову Бог несёт тебя! — говорит, входя в магазин, подобный арендатор, почтительно снимая шапку, если только на голове есть какая-нибудь шапка, и не осмеливаясь уже протянуть так фамильярно руку, как протягивал её несколько дней тому назад.

— А-а! Да никак Пётр, как, бишь, тебя по отцу-то? — говорит, прищурившись, Иван Матвеевич, показывая вид, что забыл вошедшего и только теперь припоминает его, хотя в сущности хорошо помнит не только как величают его по отцу, но даже всю его подноготную: где он остановился на квартире, сколько прокутил денег и что и где покупал.

— Максимыч! — с улыбкой подсказывает рабочий.

— Ну, ну, вспомнил, вспомнил теперь! Максимыч, так есть. Вишь, ведь сколько вас тут перебивает за это время, што памяти-то хоть шире полубочья будь, и то всё-то не сохранишь в ней. Так ты неуж ещё здесь? — с заметной иронией спрашивает Иван Матвеевич.

— Здесь, сам видишь, — конфузливо отвечает рабочий.

— Да ты, ровно, уезжать собирался... Помнится, как бы говорил, што и тройку порядил до дому-то везти тебя.

— Рядил... да вишь вот, не вырядил...

— О-о, што ж так?

— Стих, знать, такой подкатил.

— А-а, вишь, грех-то какой вышел, хе... Так чего ж ты теперя, как тут, на каком, говорю, основании проживаешь?

— А уж так, должно полагать, без основания.

— Гляди ж, какая притча-то, а-а... Ну, да оно, чего говорить, не с тобой первым это случается, В экой сутолоке жить, как здесь, не всегда от блазни-то остережётся, — с участием говорит Иван Матвеевич, покачивая головою. — Чего же, доверенного, поди, ждёшь, а?

— Поджидаю,

— Хозяин-то кормит ли тебя?

— Кормит пока.

— И то слава Богу. Как не скажешь, што свет не без добрых людей. Ты ведь, ровно, у Харитона стоишь на фатере-то? Ну, Харитон — мужик исправный, совестливый, и до вашего брата теперича жалостливый... Вот она, гулянка-то, до чего, говорю, доводит, а?.. Где бы теперича, на мой ум, коли заробил деньгу, послал господь экое счастье, и пошёл бы себе степенным образом домой, зажмурив бы очи от всякого соблазна, а вы, вишь, какой народец!.. До вина-то допахаетесь, прости

господи, так душу, энто, рады утопить в нём... О-ох, горе, коли ума-то в голове нет, горе! Чего это у тебя в руках-то? — как бы только теперь увидев висевшие у него на руке вещи, спрашивает Иван Матвеич.

— Наряды-то свои принёс к твоей милости, купи!.. Тебе-то они сгодятся, а уж нам, брат, видать, не струна форсить-то в них, — со вздохом отвечает рабочий.

— А на что же их мне-то... посуди...ну, на што?

— Всё ж куда ни на есть ткнёшь, поди.

— Ох, ты господи, господи! И што вы за народ! Серце-то изболит ведь, глядя на вас, ей-богу... Это, теперича кабы при уме-то как бы жить-то надоть нашему брату, а-а? Красоваться! А мы всё гневим Господа... Господь о нас печётся, счастье нам шлёт, а мы оное, как блудные дети, зарываем в землю... А-а-ах, не глядел бы из вас! — отвернувшись в сторону, заключает Иван Матвеич. — Кажи, не то, чего тут у тебя, посмотрю...

Рабочий молча кладёт на прилавок алую или синюю шёлковую рубаху, обшитую позументом, плисовую безрукавку или поддёвку, шаровары, иногда шёлковую шаль или шляпу. Молча качая головой, осматривает Иван Матвеич все эти вещи к свету, по несколько раз выворачивая и переворачивая их. Зоркий глаз его видит каждое пятно, да трудно, впрочем, и не заметить этих пятен от свиного и гусяного жира, этих дыр и висящих клочков, вырванных во время дружеских объятий или в какой-нибудь свалке.

— Какие ведь вещи были, а! — соболезна, говорит как бы про себя Иван Матвеич. — Што на подбор одна к другой... Мне за безрукавку в позапрошлом году Хрисанфий Яковлич, Шушляевский доверенный, двадцать рублёв давал, да наступал, что с ножом к горлу: продай! Не взял, на трёх рублях разошлись, и дурак! Теперя што получилось, хе... плис-то ведь какой! Чище иного бархата, а-а-ах а-а-ах! — вздыхая и точно оплакивая безрукавку, протягивает Иван Матвеич. — Ну и люди же вы! Вам и носить экие вещи! Другому бы человеку коли экая-то вещь бы попала, так износу бы ей не было... Кабы с бережью-то да в аккурат, так рази бы сын али внучек доносил бы... А ты... Хе... хе... гляди-ка, двух недель нет, а как устряпал её, а? Собирай своё добро да неси его со Христом домой! — сурово-соболезнующим тоном заключил Иван Матвеич.

— Милый, куда ж мне теперя с ним, посуди!..

— А мне-то куды ж их девать... ну, научи!

— Всё ж куда ни на есть ткнёшь, говорю.

— Чудной! Да куды ж ты ткнёшь рвань-то экую? На половик разве; да и то путная баба не постелет, потому зазор возь-

мёт от одних этих пятен. Возьми, говорит; а спроси, куда мне с ними деться — и сам не знает. Возьми!.. Ну, ладно, говорю, хорошо; снисходя будто к твоей нищей доле, возьму я всю эту рвань... Што ж, ты даром отдаёшь её мне а-а?

— Эх, Иван Матвейч, горе-то моё...

— Горе... хе... хе... а кто причинен в эфтом горе-то, а? скажн-ка?

— Оно, чего говорить...

— И молчи, и рта касательно этого не разевай!.. Горе!.. У меня всегда душа повернётся, коли и увижу горе, какое Господь на человека, испытуя его, послал: или пожаром его сокрушил, скотинка выпала, на работе убился, а либо што... А разве ты можешь на творца многомилостивого хулу слать! Не давал тебе Господь счастья, а?.. Ты сам его втуне презирал, по кабакам расточил с блудницами, а?.. И ты можешь теперича говорить, что горе убило тебя. Срамник ты, вот что... Неси... я вот и глядеть-то не могу на экую мерзость... Ты, может, об эту безрукавку всякую нечисть обтирал, а тут исшо руки об неё пачкай, тьфу-у...

— О-ох, господи... господи... — со вздохом говорит рабочий, уныло поводя глазами по сторонам.

— Ведь вот ты принёс вещи ко мне, — снова начинает после минутной паузы Иван Матвейч, — дескать, Иван Матвейч купит, выручит из нужды... А спроси тебя — на што тебе деньги, а-а?..

— На што... — с грустной улыбкой повторяет рабочий.

— Ну... на што?

— Петровки теперь, што ль... аль, думаешь, я не зябну в энтот-то решете? — указав на дырявый зипун, отвечает он.

— А ты, ровно, помнится, и тулуп покупал...

— Покупал...

— Где ж он у тебя, тулуп-то?

— Где... Уж чего об энтот теперя вспоминать, чего покупал, аль не покупал, — с досадой отвечает рабочий.

— А-а, и вспоминать, хе!.. В те поры, стало быть, полагал, что день близенек... хе... хе-е-е!.. Ведь уж, чай, поди, у тебя и робята где ни на есть водятся, а ведь сколько ты лёгко умом-то, погляжу... Ну, какой бы теперича завет мог ты своему детищу положить, а-а?.. О-ох, люди, люди! — со вздохом качая головой, произнёс Иван Матвейч. — Неуж ты полагаешь в самом деле, што я те за экую рвань такую плату положу, што ты тулуп купишь, а-а?..

— Хошь бы из милости-то, говорю, ты мне десять рублёв дал, а там бы што ни што...

— Де-е-е-сять?.. Не мало ль запросил, — одумайся-ко... Десять, хе-хе-е... Ну-ко, того уж, Пётр Максимыч, возьми-к, время-

то тебе досужее теперь, походи-ко с ним... вон хоть к Миките Онуфричу сходи, аль Кузьме Терентьичу покажь... Может, они и подороже у тебя купят, кто их знает!.. Обижать тебя не хочу, не доводится... Я-то так полагаю, што рубль, два на нищету твою ещё можно пожертвовать. Ну, а они, кто ж их знает, может, и пятнадцать рублёв дадут тебе: ведь в какой час придёшь — не узнано, — насмешливо заключает Иван Матвеич.

Пётр Максимыч хорошо знает, что ни Кузьма Терентьич, ни Никита Онуфрич не только не дадут ему двух рублей, которые предлагает в порыве великодушия Иван Матвеич, но едва взглянут на принесённые вещи, как отошлют его без слова назад к тому, у кого он купил их... Помнётся Пётр Максимыч перед прилавком, не раз почешет в затылке, раздумывая о своём безвыходном положении, да и отдаст дорого купленные вещи за предложенные ему два рубля... Иной из этих продавцов или, вернее, арендаторов, и попробует поторговаться и поплакать, и если выплачет какой-нибудь четвертак, то почитает себя счастливым. Зимой все эти вещи распарываются, пятна из них выводятся и закрашиваются, насколько это возможно сделать, подшивается новая подкладка, и на будущий год в освежённом виде они снова поступают в продажу и сбываются под вечерок какому-нибудь пьяному рабочему, как самолучший товар, за ту же цену, а иногда и выше той, за какую были проданы в прошлом году. Подобные операции производятся над вещами до тех пор, пока они окончательно не превратятся в лоскутья, но и лоскутья у этих находчивых людей не пропадают даром: из лоскутьев они шьют картузы, пояса, украшая их медными безделушками; кисеты под табак, обшивая последние бисером, золотыми и серебряными блёстками, и снова продают их по дорогой цене щеголеватым рабочим.

Однажды под вечер в магазин Ивана Матвеича вошёл знакомый нам Евсей Макарыч, тот самый мужик, который с такой осмотрительностью оглядывал покупаемый им белый азам и ни за что не хотел покупать в гостинцы жене шали и платка. Иван Матвеич собирался уже запирать магазин и, сидя в углу его, дочитывал только житие св. Феодоры. Он до того был углублён в назидательное чтение странствий её по аду, что в первое время и не заметил вошедшего Евсея Макарыча, державшего в руках белый азам с расшитыми шёлком полами...

— Што скажешь, добрый молодец? — спросил он, когда тень Евсея заслонила ему свет, проникавший только через дверь лавки, и, закрыв книгу и сняв очки, он пристально посмотрел на вошедшего. — А-а, да, никак, старый знакомый? — радостно произнёс он. — Евсей Макарыч, так што ли, а-а? — спросил он.

— Доброго здоровья, Иван Матвейч, здравствуй-ко, твоя милость! — ответил тот, кланяясь.

— Спасибо, спасибо... Садись-ко, посиди, — приветливо пригласил его Иван Матвейч, видимо обрадовавшийся случаю побеседовать.

— Постоим...

— Присядь, присядь, чего стоять-то?.. Уж время-то вверх расти пошло, теперь уж книзу пришла пора клониться, к земле; сади-ись!.. Ты чего, уж из дома это вернулся, а?..

— Вернулся... захотел! — грустно ответил ему, махнув рукой, Евсей Макарыч.

— Неуж здесь всё болтался?

— Молчи уж, не надрывай! — ответил Евсей Макарыч, в каком-то изнеможении опускаясь на скамью. — Пенять к тебе, брат, пришёл, благодарствовать! — грустно произнёс он.

— За што же бы это?

— За смущенье твоё...

— О-о!..

— Э-эх, Иван Матвейч! Надел ты на меня долю... н-ну, милый... Коли снесу, слава тебе Господи, а коли нет, пущай на твоей душе энтот грех лежит... Пущай! — отрывисто говорил Евсей Макарыч, махая руками и качая головой в такт произносимых им слов. В голосе его слышались слёзы, накопившие от тяжёлой душевной истомы.

С иронической усмешкой на губах смотрел на него Иван Матвейч и слушал.

— С твоей, милый, чарочки словно кол проглотил, словно, говорю, ума рехнулся, — продолжал Евсей Макарыч. — Молил я тебя тогда: пусти ты меня, не трожь, не вводи в расход... Ну, не слушал ты меня. Силком мне товару своего навалил. На, на, вот теперь погляди-ко на меня..

— Гляжу...

— Видишь ли теперя, каков я есть?

— Вижу: каков был остолоп, таков и остался.

— Ругай, ругай меня, милый. Стою я энтото, стою! Ну только одно помни: не одна, может, слеза моя на твою душу канет. Терпи её... Энта слеза, сердешный, словно в котле выкипела, горю-ю-ючая...

— Ты, помнится, и в те-то поры пришёл, свету белого не выдавши; неуж и досель исшо полугар-то из тебя слёзы гонит? — насмешливо спросил Иван Макарыч.

— Горе их гонит...

— О-о! бутылочное...

— Мученское... сердешное... сгинул я. Н-ну... Божья, знать, на то воля, — произнёс Евсей. — Иван Матвейч, скажи мне, вымолви по душе, есть у тебя Бог? — неожиданно спросил он.

— На што это тебе понадобилось?

— Скажи, не натрудит ведь одно-то слово языка.

— Глупый! Всякая тварь и та Бога признаёт, так неуж я бы насмелился, а-а?

— Верись в Бога — выручи! — И Евсей Макарыч при последнем слове повалился, как сноп, в ноги Ивана Матвеича и заплакал. — Выручи, сердешный! — всхлипывая и колотясь лбом о грязный пол лавки, шептал он. — Сгинул я, сгинул!..

Сурово нахмурив брови, Иван Матвеич с минуту стоял в какой-то нерешительности, молча глядя на Евсея Макарыча, неподвижно лежавшего на полу у ног его. Наконец, покачав головой, он вздохнул.

— Встань! — произнёс он и, нагнувшись, приподнял Евсея, лицо которого было омочено слезами.

— О-ох, Господи, Господи! — произнёс Иван Матвеич. — Ну, не мука ли, говорю, глядеть-то на вас, а? — тихо заговорил он, обратившись к Евсею, снова опустившемуся в изнеможении на скамью. — Неуж, ты думаешь, не надрывается сердце, глядя, как томит вас бутылошное-то горе, а?.. «Выручи»... Ну, из какой напасти выручать-то тебя, обскажи хоть толком.

— Решился ведь я всего, чего ни заработил.

— Решился-таки, а? А кому я говорил: «Отдай мне деньги, сохраню», а? Так не-ет, куда тебе, — бахвалиться-то стал в те поры, што и не слушал бы... Вот те и учён, да вышло — не выучен. И просвистался, беспутная голова.

— Стянули, милый; не кори напрасно-то!

— Кто ж?

— И сумненья не знаю, на кого класть, как перед Богом скажу тебе, и не приму греха на душу, кого бы клепать.

— Свет-то божий не в овчинку ли казался тебе в энти дни, скажи-ко наперво.

— Не в овчинку; видит Бог, всю меру его видел... Стянули, милый, не судачь. Как ты обронишь, а либо што, коли бумажки-то в воротник азяма были зашиты у меня? Как, стало быть, рассчитался тогда я с тобой-то, домой пришедши сейчас же, милый, зашил их, своими руками зашил, остальные-то бумажки. Оно, точно, грешен... Суди меня, творец небесный, судом своим праведным... Суди! Погулял два денька... Ну, очнулся... Изболело, милый, сердце о доме... Пойду, думаю... Хватился за воротник-то азяма, — цел, зашит, как был мной зашит, так и есть...

— Зашит?

— Стёжка в стёжку, словно вот сам иглой ковырял. Так бы и ушёл, слышь, полагая, што все деньги в целости домой несу.

— А-а-а!

— Стеречся надо было, опять и скажу тебе... Где вот утебя шаль-то, што бабе-то своей купил, а?

— О-ох, не вспоминай, слышь, — с болью в голосе ответил Евсей Макарыч, не глядя на него.

— Не вспоминать!.. Вот, может, Господь-то за это и карает вашего брата, што бабу, с которой тебя Бог обсоюзил, котоя, может, и дённо, и ношно о твоём добре радеет, да о детищах, спину-то, говорю, без устали гнёт... так ты не хошь почитать... Куды-ы-де, на што ей шаль да плат!.. Таковская, штоб горб-то гнуть без просвета да в дерьме ходить, из-под коего, может, все родимые пятна сквозят! А шкуре какой-нибудь, прости господи, так шаль пожертвовал, кою бабе своей уготовал, и то с моих слов... Чинно это, а? — строго спросил его Иван Матвейч.

— Бей меня... бей... легче, говорю, будет.

— Бей!.. Эко утешенье какое, — бей!.. А теперя вот плачешь, в ногах ползаешь... выручай вот тебя... Я вот посторонний человек, всего другой раз тебя и вижу, да иди вот к тебе на выручку, а за што, а? За то, што он вот тут проклажался с какой-то шкурой да шары свои вином наливал, а? Чудно, право чудно... Нет, милый, чего говорят, сеют, то и жнут... Не судачь.

— Иван Матвейч...

— Ну, я Иван Матвейч. Чего ж тебе надо от меня? Нешто не слыхал, чего я сказал тебе, а? Для чего ты в тот же день не ушёл отселева, коли бы ежели у тебя сердце-то о доме болело? А ещё попрощался со всеми, как и путный какой... Для чего не отдал деньги мне на сохрану, коли я тебя остерегал тогда единственно по доброте своего сердца, а-а?

— А-а-ах ты боже мой... Господи... Да кабы знатьё, говорю...

— А... а... тут так и «кабы знатьё, говорю», а? Ну, вот и учись, вот и наука, штоб слушать добрых людей, и свисти теперь, коли хвалился, што умешь свистать-то... хе-хе... Чу-у-удак, право, чудак!.. А гляди, тоже я ж вот и виноват перед ним стал. Он вот ещё и с песнями ко мне ввалился, посулил свою слезу на мою душу пролить, што я ему в те поры единственно по добротству рюмочку, другую поднёс. Остолоп ты, остолоп, одно тебе и званьё от меня!.. Помогай им... выручай их... хе!.. Гляди, какие крёстные детки нашлись!.. Да где вы и родитесь-то экие? Поглядеть бы хошь на те места да подивиться, право... Картину бы хошь списать, в каком это урочище экие болваны на свет происходят, право... Четыре рубля дам, бери... и то уже по снисхожденью... ну, будто сердце изныло...

— Четыре! — тоскливо повторил Евсей Макарыч.

— И то уж по доброте своего сердца, говорю, понимай!

— Сердешный... куда ж я с ними... Чего они мне?

— Уж это твоё дело, куда хошь, туда и девай их.

— О-ох, господи, господи!..

— На-ко, получай! — произнёс Иван Матвейч, подавая ему четыре рублёвые ассигнации. — И чувствуй... моли, говорю, Бога, што на меня напал, што я не в других, што душа-то, говорю, у меня, как воск... А другой бы те за одно твоё похвальство да пени энти взашей бы наклат заместо помочи... Помни!..

Евсей Макарыча как будто пошатывало, когда он вышел из магазина Ивана Матвейча и пошёл вдоль улицы. В воздухе было холодно, Он шёл в одном своём ветхом азяме, в воротнике которого прежде хранился скраденный у него заработок. На село надвинулись уже густые сумерки, в окнах домов мелькали огни и тени, которых нельзя было различить. Сумерки не позволяли видеть выражения лица Евсея Макарыча. Пройдя улицу, он свернул направо в переулок, и, подойдя к дому, в котором стоял на квартире, присел, обхватив голову руками, на бревно, лежавшее у забора. Сумерки давно сменились тёмною, непроглядною осеннею ночью. На дворе дома давно всё стихло, как стихло всё и на селе, только изредка долетал откуда-нибудь лай собак или слышался скрип калитки, растворённой возвратившимся домой запоздавшим гулякой, а Евсей Макарыч продолжал сидеть на бревне, не чувствуя, по-видимому, ни усталости, ни резкого ночного холода.

Наутро хозяин дома, у которого квартировал он, нисколько не беспокоясь о том, что жилец его не пришёл ужинать и ночевать, вошёл в стайку, чтобы выгнать коров и лошадей на водопой, и, случайно заглянув за угол её, вздрогнул и отшатнулся... И было от чего отшатнуться: на опояске, прикреплённой одним концом к верхнему бревну угла, висел труп злосчастного Евсея Макарыча.

При осмотре тела его волостными чинами в кармане его шаровар нашли четыре рубля и бумажку, в которой был завёрнут скраденный у него заработок; дошли ли хоть эти четыре рубля до семьи его, я не знаю.

С первых чисел октября в Т...ь начинают наезжать доверенные от золотоприискателей лица для наёмки рабочих. С приездом доверенных и по мере найма ими рабочих Т...ь быстро начинает пустеть, так как прямой интерес доверенных вынуждает их формировать поскорее партии из нанятых ими рабочих и отправлять эти партии на прииски. Каждый доверенный, кроме определённого ему дарованья, получает ещё от золотоприискателя по рублю за каждого нанятого и доставленного им на прииск рабочего, и платит за каждого бежавшего из партии рабочего пять рублей штрафа; кроме того, вся сумма, какую он выдал в задаток бежавшему, ста-

вится на счёт доверенного. В доверенные для найма рабочих приисковая администрация выбирает людей опытных, хорошо знакомых с условиями крестьянской жизни. Подобные люди среди приисковых служащих вырабатываются годами, и ими так же дорожат, как опытным управляющим прииска, от распорядительности которого и знания дела зависит всё благосостояние золотоприискателя. Большинство рабочих состоит из людей, которые, раз попав на прииски и втянувшись в эту безотрадную жизнь, в силу большею частью постоянных неоплатных долгов своим хозяевам, влачат эту жизнь уже до гробовой доски или пока не останутся ни на что не пригодными калеками, и тогда из милости проживают уже на приисках или пропитываются подаянием, скитаясь по городам и сёлам. Иногда рабочему удаётся выпутаться из долгов одному хозяину, и тогда уже по выбору они нанимаются к другому, у которого рассчитывают на более лучшее житьё или заработок. Большинство этих рабочих состоит из ссыльнопоселенцев, людей бездомных, у которых нет связующей нити с крестьянскими общинами, к которым они приписаны. Много подобных рабочих и из крестьян, разорившихся от каких-нибудь несчастных случайностей. Годами скитаясь по приискам, они утрачивают всякую возможность восстановить своё хозяйство, и наконец теряют всякую охоту к оседлой жизни. Она становится для них даже невыносимой. Среди сибирских крестьян человека, ушедшего на приисковые работы, не без основания считают погибшим человеком. Самая среда рабочих, в которую он попадает, действует на него в большинстве случаев растлевающим образом. Подобных крестьян, так же как и поселенцев, можно смело сравнить с отрезанными от их общества ломтями. Они по несколько лет не показываются в свою родную деревню или село, предоставляя приисковой администрации высылать в волость деньги, следуемые с них в подать и мирские повинности, и получать паспорта. Жёны подобных рабочих, если у них есть жёны, иногда вместе с ними скитаются по приискам, вступая в артели рабочих для исполнения женских работ или в прислугу к членам администрации. Говорить ли, как разрушительно действует на этих несчастных обстановка приисковой, или, как говорят в Сибири, «таёжной» жизни. Они впадают в самый крайний разврат, пропивая вместе с мужьями иногда весьма крупные средства, приобретаемые подобным путём, и чаще всего кончают свою жизнь самым трагическим образом от рук своих же бесчисленных поклонников. Не менее печальна жизнь и тех женщин, мужья которых скитаются по приискам иногда по несколько лет, не давая о себе никакой вести. Они мыкаются в работницах, вынося всю безотрад-

ность вдовьего житья, пропитывая детей единственно своим трудом. Иногда в волюсть вместе с просроченным паспортом придёт письмо и на её имя от дражайшего супруга со вложением десяти, много пятнадцати рублей на нужды семьи и с вестью, что он жив и здоров. И снова пройдёт после того год, два томительной неизвестности о судьбе ушедшего. Иногда, возвратившись после долгой разлуки, супруг встречает в семье своей прирост, и, махнув на всё окружающее его рукой, снова уходит на прииски, и весть о нём получается уже из какого-нибудь острога, а иногда он так и пропадает без вести, падая или жертвой убийства, или погибая от обвала в шахте, или от тифа. Много подобных безотрадных рассказов об участии крестьян, ушедших в заработок на прииски, можно услышать в каждом сибирском селении и деревне. «Да так и замотался!» — заканчивают обыкновенно крестьяне, повествуя о каком-нибудь Иване или Сидоре, изба которого стоит с заколоченными наглухо окнами, накренившись набок, точно с тоски о своём владельце. Если путнику, объезжающему сибирские деревни и сёла, попадутся подобные дома, то это непременно дома крестьян, заматавшихся на приисках, С этим-то заматавшимся бездомным людом и приводится иметь дело лицам, доверенным от золотоприискателей для наёмки рабочих. Понятно, что опытный доверенный, занимающийся десятки лет наёмкой рабочих, встречаясь чуть не каждый год всё с одними и теми же лицами, отлично знает все нравственные достоинства их и недостатки. Несмотря на самые дурные условия жизни для рабочих, существующие на каком-нибудь прииске, ловкий и умный доверенный всё-таки сумеет залучить рабочих к себе, залучить даже из тех людей, которые налагали заклятья на себя — не заглядывать иа этот прииск.

— Эх, Иван, или как, бишь, тебя поп-то впервые в купели обругал? — говорит добродушно заигрывающим голосом подобный доверенный какому-нибудь рабочему, физическая сила которого и смышлённость, развитая долговременным пребыванием на приисках, вынуждает его дорожить приобретением подобного человека. — Ну, чего ты к нам-то не идёшь, чего ты кобенишься, у других-то разве лучше порядки-то, а?

— По сказкам-то выходит кабы не в пример наглядней, ваше почтение, Пётр Фёдорыч!

— По сказкам... по сказкам, — говорит доверенный, слегка передразнивая манеру выражений рабочего, — кто это сказки-то тебе сказывает, скажи-ка!

— Вестимо, кому же их сказывать, как не нашей же братье, рабочим.

— И ты веришь этому?

— А для ча бы и веры не дать, Пётр Фёдорыч? Ворон ворону глаз не выклюнет. Рабочий своего брата зря на пустом слове не станет проводить. Уж на ваших-то порядках, не во гнев твоей милости сказать, благодарим покорно!.. Ешь-то солоно, только запить окромя слезы нечем. Уж хуже-то, чай, нигде не будет, так полагаем, а уж к вашей милости при всём бы нашем радении никак не можем, увольте!..

— Слушай, Иван, так, што ли, я зову-то тебя, — ты Иван?

— Оно будто бы, ваша милость, и не совсем Иван, вить, за-памятовали... Митрием кличемся боле-то, ну, да то ж, коли угодно, так для вашей милости и Иваном побудем: для нас это всё единственно! — с лукавой иронией отзывается рабочий.

— Так уж не пойдёшь ко мне, а-а?

— Не утруждайтесь, Пётр Фёдорыч, не можем!

— Гм... жаль, брат, жаль! Таких работников, как ты, из тысячи один выдаётся, — жаль, откровенно говорю тебе! Ну, не идёшь, так как знаешь, дело это твоё — ты вольный казак, насильно мил никому не будешь. А жаль, жаль — я тебя метил ещё и старостой в партию назначить. Ну, ничего не поделаешь! — с грустью говорил Пётр Фёдорыч, похаживая по комнате. — Водку-то пьёшь?

— Потребляем-с! Хе... От чего иного, а от этой прорвы-то никуды не убежишь.

— Ну, по крайности, выпей напоследок-то, недаром будто разговаривали, — хоть язык смочи!

— Выпить — оно што ж? Выпить мы от вашей милости за-всегда готовы! — самодовольно улыбаясь, отвечает рабочий, заранее обтирая от удовольствия усы и бороду.

Пётр Фёдорыч с самым радушным видом выносит неговорчивому рабочему стакан вина и какой-нибудь крендель. Осенив грудь крестным знаменем, Дмитрий, готовый для удовольствия доверенного побыть Иваном, принимает из рук его стакан и, пожелав ему всякого благополучия, неторопливо опоражнивает его и закусывает кренделем.

— Оно што сказать, ваше почтенье, Пётр Фёдорыч, — начинает Дмитрий, проглотив последний кусок кренделя и заметно впадая в более уступчивый тон: житьё-то нашему брату везде не сласть! Энтаких порядков никак исшо и в заводе нет, штобы касательно нашего брата попечение иметь. Ну, уж только супротив вашего хозяина не взыщется иного — избави, говорю, Господи! Для вашей бы милости, Пётр Фёдорыч, рубаху бы снять готов, потому как вы завсегда к нам наипаче, говорю, милостивы, и то ись вот разорваться бы готов! Ну, только увольте, как перед Господом Богом говорю, не можем к вашему хозяину идти — потому свыше сил!..

— Ну, не можешь, так чего же и разговаривать — как знаешь, дело-то это твоё!.. — соглашается с ним доверенный.

— То-ись вот... а-ах, Господи! Душу бы, говорю, выложил для вашей милости, ну, взявши хозяина вашего в пример, не могу... увольте!..

— Иди, иди с богом, делать нечего!

— С радостью бы и в огонь бы, и в воду. — Н-ну, не струна! — с глубоким вздохом, всхлопывая себя руками по бёдрам, говорит рабочий. Жизнь-то ведь на вашем промысле, ах ты Боже мой, как подумаешь, а? Н-ну, пошли Господи вашему хозяину! А што, Пётр Фёдорыч, не во гнев спрошу, не пожалуете ли исхо из милости стаканчик, потому как мы отоцали маненько напоследках-то, стосковался будто по прорве-то энтой! — с заискивающей улыбкой заканчивает он. — Уж ну напоследках-то будто снизойдите!

— Изволь, отчего же, выпей!

— Так-то уж мне горько, што для экого-то барина, как ваша милость, одолжения-то сделать не можем! — оговаривается Дмитрий всё более и более уступчивым тоном, принимая вновь налитый водкою стакан. — Н-ну, чего доспешь, пошли вам Господи, Пётр Фёдорович, за ваше добро! — говорит он, так же неторопливо опоражнивая стакан и возвращая его. — Уж так-то, говорю, сердце-то моё радеет к вам. А-ах ты, напасть, разорвался бы.

— Не разрывайся-ко, не от чего, а иди лучше ко мне, будешь доволен, о-ой, иди! И... не забуду..

— Знаем, што уж ваша милость не забудете!

— Ну, так за чем же дело-то стало, по рукам, а?

— За чем... хе... иди... энто, стало быть, Пётр Фёдорыч, сызнава цельный год слезой прорехи в кармане зашивать, а?

— В другом-то месте, думаешь, покрепче ниток дадут тебе, а-а?

— Оно што сказать! Известно, у приискателей других ниток про нашего брата в запасе не держат, да всё ж... — говорит он, с нерешительностью почёсывая в затылке, — а-ах ты, злочьсть какая... Н-ну! Давай, не то, исхо стаканчик, Пётр Фёдорыч! — решительным тоном говорит он.

— А пойдёшь ко мне в наём, а?

— Попотчуй, а-ах ты, напасть, а? Ведь уж как заклинался я, скажу тебе, Пётр Фёдорыч! — говорит Дмитрий, опорожнив третий стакан и впадая окончательно уже в добродушно-откровенный тон, — как заклинался, страсть тебе вымолвить, штобы это к твоему хозяину итти? Разрази... Ну, подбил ты меня этой прорвой-то! Э-эх, Пётр Фёдорыч, да что тут, — говорит он, махая рукой, — сколь ни говори, одно только путное слово и молвишь: давай задаток!

— Давно бы вот так-то, Митрий! — говорит видимо обрадованный Пётр Фёдорыч.

— Тебе, конечно, Пётр Фёдорыч, один антирес— нанять бы человека! А мне-то какво, а? Ведь я жизнь продаю а? Ты што-о? Ты — барин добрый, завсегда скажу, радетельный, для тебя я теперича рубаху сниму, верь, сниму, только уж и ты меня не гневи... семьдесят рублёв мне без слова!..

— Изволь, — дам!

— И штобы шубу мне, это ты первым делом купи!

— Купим и шубу!

— И в контракт я тебе впишусь— што я вот, Митрий Петров Докучаев, о-отдаюсь тебе в работу, без отдыху, ну, милый, только блюди...

— Чего блюсти-то?

— Соблюдай, говорю, што коли ежели Митрий Петров наипаче чего заленится, альбо што — дери, и дышать ему не давай, как, стало быть, пробному мошеннику, но штобы насчитывать, штрафы класть — избави тебя Господи! Блюди! Ведь с меня, милый, одних энтих штрафных у вас более сотни рублёв из расчёта выдернули! Нешто это порядок, штобы за каждое слово пять рублёв брать, а? Я, может, слово с сердцов скажу, а ты и пиши его в лепорт, обижай человека пятирублёвкой, а? Не-е-ет! Ты рабочего человека блюди, ты к его копейке не касайся ни под каким видом. За леность дери, хошь спи, говорю, на шкуре-то, толста — сдюжит. Но к копейке — избави тебя Господи касаться! Понял этот мой завет?..

— Понял.

— Так и пиши, а теперь, стало быть, ты мне господин, я те слуга, а допрежь только задаток, брат, выложь! Э-эх, Пётр Фёдорыч, — продолжает Дмитрий, пересчитывая данные ему деньги. — Уж надоть бы с тобой ишо стаканчик, будто для почину, а? Дашь, што ль?

— Вот ты и напьёшься, Дмитрий, и пойдёшь курить, и задаток весь спустишь с рук, — оговаривается доверенный.

— Спать уйду, не трожь ты меня энтим словом.

— Ну, смотри же.

— И только ты крикни: «Митрий, в дорогу!» — сейчас, как встрёпанный, выскочу, ей-богу! Э-эх, Пётр Фёдорыч, уж ты, миляга, ведь знаешь меня... ра-а-аботник я, у-у, ух! Разнесу, де-е-ержись только!..

— Работник-то, работник — чего говорить!

— Ну, и всё тут слово, а теперь я, братец, на воле, теперь ты меня не обижай! Стаканчик-то, милый, ишо впору мне будет — налей.

Дмитрий ещё выпивает стакан и, окончательно расчувствовавшийся, доверяет по безграмотности подписать за

себя контракт, который ему даже и не читается. Деньги, полученные в задаток, исчезают из его рук в первые же дни, и, сумрачный, как туча, он идёт в партии на прииски, где, конечно, выговоренный им завет не касаться к заработанной копейке остаётся без исполнения.

На обширном дворе Кузьмы Терентьича, на улице, около дома его и флигеля, в котором помещался ренсковый погреб, теснилась партия рабочих, готовых к отправке; за плечами их на опоясках, перекинутых крест-накрест, болтались холщовые мешки; у иных весь походный багаж заключался в каком-нибудь узелке с караваем хлеба да десятком-двумя варёных яиц. Из окон соседних домов с любопытством выглядывали женские и детские головы; у ворот стояли Т...ие мужички, вышедшие проводить своих тароватых гостей. Партия рабочих теснилась около дома Кузьмы Терентьича в ожидании поверки доверенного, все ли нанятые им люди налицо.

На одной из ступенек крылечка дома Кузьмы Терентьича сидели Дергач, Изот и ещё несколько человек рабочих; кто бы взглянул теперь на Дергача, тот не поверил бы, что это тот самый щеголеватый князь, хвастливо кидавший несколько дней тому назад пригоршни денег. Он был в старом зипуне, в войлочной шляпе, и только бродни на ногах его отличались свежестью.

— Энто што-о!.. — говорил он, надвинув шляпу на глаза и почёсывая правую рукою затылок. — Энто исшо в меру куражится, энто исшо што за кураж: час, другой подождать его? Нет, брат, другой из ихнего брата дрыхнет себе до полсуток, почесть, а ты стой на ногах ни свет ни заря, да выжидай его. А энтот што-о!.. энтот смиренный...

— Нешто ты знаешь его?.. — прервал его один из молодых рабочих, стоявший у крылечка, опершись на лавку.

— Ты спросил бы лучше, кого и чего я не знаю, обстоятельней бы было!.. — продолжал он, — я знаю с коих ещё пор, когда его впервые в контору-то привезли, почесть, ещё мальчиком: на моих глазах он все должности происходил. Ну, теперь, вишь, из посконного-то ряду в доверенные вылез... чин тоже не малый...

— И доходный?

— И... и... доходу им от нашего брата... знай загребай... на то и должность эта, штобы рука длинней меры росла... уж коли ты увидишь человека, у коего, к примеру, рука как грабля, так уж и знай: што али он управляющим на промыслах был, али доверенным, — заключил Дергач, сдвигая шапку на затылок. — Эх-ма-а! — протянул он. — Вот уж на пятый десяток перекатил, братцы... Тридцать годков без удержу таёжные-то

тропы топчу... Ну, не видывал ещё среди служащих подходящего человека, шtbody чтобы теперича сказать можно было: дай ему Господи добро здоровье. Не видывал!.. Баклан!.. — неожиданно крикнул он. — Э! Баклуха! — повторил он.

— О-о-о!.. — отозвался стоявший у ворот пожилой уже рабочий с мясистым наростом на шее, отчего голова его казалась несколько склонённой на сторону.

— Подь сюда, присядь, чего у Кузьмы ворота-то заместо столба подпирать? Вот, братцы, ровесник, почесть, вместе мы с ним впервые на работу эту пошли, да вот сызнава вместе угодили, видать, уж в последний!

— Не зарекайся!.. — отозвались слушатели.

— В жисть свою на себя зарок не клал и класть не буду, знай!.. Как ты можешь, немощный человек, зарокотом утруждать свою совесть, што вот-де этого, аль того не сделаю?.. Коли я не знаю, чего со мной завтра будет аль што, а? А только уж годы, други, идут!.. И тот же Дергач, да не тот уж становлюсь, чую!.. Э-эх, не тот!.. Энтот кто бы на меня посмотрел годков двадцать назад, а-а?.. И.. и был конь, ну, изъезжен!.. — с какою-то грустью в голосе произнёс он. — Изъезжен! — повторил он, тряхнув головой, отчего шапка снова подалась на затылок. — Энтот теперь в ину пору подумаешь: што есть человек?.. брение, истинно!.. Это в Писании сказано. Спервоначалу-то это, с молодых-то годов, прибыток льстил, рвался бывало ведь из кожи, шtbody чтобы тебе теперича лишний рубль в карман залучить; а не было во мне энтотй струны, други, шtbody чтобы к хозяйству приручиться.

— Да ты откелева, Дергач, родом-то будешь? — спросил его один из слушателей.

— Отсюда, брат, не видать, далёко!..

— Дом где есть, што ль?

— Был бы, как бы захотел, может, почище, чем у Кузьмы.., да-а, был бы... Н-ну, не тянет. И шtbody той-то я за человек, други, в понятие взять не могу. Верь... Сколь этих денег, што воды, между пальцев просочилось, страсть!.. В ину пору даже тоска изнимет, особливо разнеможешься когды, што зря их побросал. И мог бы я жить, милые, припеваючи, в полном коште, не натруждая спины, Ну... попадут только, проклятые, в руки, так словно, слышь, пальцы жгут, словно уголья, говорю... диво ж вот! Нет уж, други, видать, энтот дело такое, што раз ты пошёл по какой дороге, так уж тебя, што упрямого мерина, ничем с неё не своротишь.

— Василь Петрович! — неожиданно прервал его Изот, по лицу которого при последних словах его пробежала злобнолукавая улыбка, — ты што это в меланхолию-то вдарился, а-а, поддержи характер-то, а то, эко, гляди, о доме заскучал!..

да нешто про нашего брата домов нет, а-а? коли об отдыхе взгрустнётся?

— Где ж экие строения?

— Где?.. Хе!.. не ты бы говорил, не я бы слушал! Где? В любом городе хоромы-то эти высятся, и не простые, а каменные. Отдыхай, сколь знаешь, и харчей тебе нанесут, ешь не хочу, знай жирей; а то есть о чём говорить, а?.. о доме из-за готового строения.

— Изотка, и шельма же ты, погляжу!

— А ты впервой приметил исшо!.. Э-эх, Василь Петрович, а тоже умом хвалишься в ину пору. Да нешто мы с тобой пригодные к хозяйству люди?.. Нешто перелётная птица усидит тебе на одном месте, а?.. Ни в жисть!.. Вот голову прозакладу — дай тебе дом, хозяйство, золоти, чем хошь, но скажи: сиди только дома, — не усидишь!

— Верно!

— Не усидишь, сама нога пойдёт!.. Да возьми ты меня, неуж я променяю эту жизнь на хозяйство?.. да убей меня Господи! Уж одно тебе, вольный казак: ходи себе по белому свету да выглядывай, где на какой манер народ мыкается. Отдохнуть захотел, так нешто в остроги-то двери заперты для нашего брата, а-а? Милости просим, завсегда нам рады там, радёхоньки, а отдохнул, успокоился, сделай одолжение, была бы голова на плечах, уж скважину, в какую вылезть, найдёшь.

— А-а, ах-ах-ха-а!.. — раздалось среди слушателей, — найдёшь!

— Изыщешь, плёвое это дело!.. Теперича вот так скажу: и очень мне даже не по нутру это в работу идти; ну, задаток взял, стало быть, волей-неволей, а иди, робь. А всё не горюю, и меланхолии этой близ себя не подпущу. Взгрустнётся коли — в бег ударился, отдохнуть захотел — объявись только Иваном Непомнющим из небывалой губернии, незаписанного уезда, неоплатной волости, из деревни ни кола ни двора — и отдыхай себе в каменной хороме сколь хошь. Ну, это ли не жизнь, а?..

— О-о-ох, и жи-изть, шут её дери! — пронеслось среди слушателей.

— Деньги коли занадобились, и тут истомы не подпущу к себе, сичас сколь угодно найду их! — хвастливо дополнил Изот.

— Не заврался ли, Изотка, ой, пощупай-ко язык-то! — насмешливо прервал его Дергач.

— Не свычное для нас это дело, Василь Петрович! — обидчиво отозвался на замечание его Изот. — Уж кто другой, а вы-то нашу персону достаточно, кажись, спознали; што вы теперича скажете на это моё слово, если я в самом што ни есть

ближайшем времени, коли захочу, то в тыщи-то, как в орехи, буду играть, а-а? — подбоченившись и ухарски сбивши свою скомканную шляпу набекрень, спросил Изот.

— Ты... это?! — пристально глядя на него, спросил Дергач.

— Я, ссыльнопоселенец, Изот, по пачпорту Неплюев.

— О-о! Ну, и диво же будет! Аль и тут тебя корешок от неболтай-травы выручит, а? — насмешливо произнёс Дергач.

— У нас на всякий случай особенный корешок имеется, Василь Петрович! Знайте да помалчивайте, да-а-а! А штобы теперича Изот Неплюев, пройдя огонь и воду и медные трубы, да коли захотел бы найти свою фортуна, так не нашёл бы её, а-а? Со дна моря её за хвост вытяну, знай! Это штобы теперича экий молодец, как я, коли бы захотел, так в такой забвенной сторонушке, как Сибирь немшёная, да в чин бы не вошёл, медали бы не надел, да разрази меня горой, и жить бы не хочу!

— Тьфу ты, болото! — произнёс Дергач, сплюнув при общем хохоте слушателей, — ме-е-е-едальи — презрительно протянул он; рази на железной цепи на ноги? Ну, это, пожалуй, самый по тебе наряд будет.

— На выю-с!

— Ты энто на выю медаль получишь?!

— Я-с, и даже первым человеком могу по губернии стать, коли захочу. Да-а-ас. Што очи-то тарашите, аль сумнением задались, Василь Петрович? Василь Петрович! — произнёс он, насмешливо качая головой, — аль вы не знаете, как люди деньги наживают, а? Вы вот старый человек, и тоже задались мнением об уме своём, а в меланхолию вдарились, а? Да нешто умный человек вдарится в меланхолию оттого, што у него нет ни кола, ни двора, ни топора, где бы почин себе вырубить, а? Ни-и в жизнь, потому умный человек завсегда твёрдо помнит, што деньги-то около него лежат, только умей их выгладеть, а так как Изот Неплюев не обижен от Господа умом да сноровкой, так коли захочет, и году время не пройдёт, как тыщами будет баловаться, да-а-ас!

— А-а-ах ты, шут гороховый, тыщами баловаться, право, шут!.. — отозвался Дергач при дружном хохоте слушателей, — да сумеешь ли ты сосчитать-то их, скажи-ка наперво.

— Понаучимся!

— И ты это, Изот, будешь тыщами ворочать, коли захочешь, а?

— Даже ране году! Не хотите ли в компанию, меланхолию развезть?

— Ну и идол. Хошь идти на заклад потехи ради?

— Извольте, Василь Петрович, иду!

— Ну, помни, гуся, коли ты будешь тыщами ворочать, то я те на всю твою жизнь слуга, и твори ты со мной, чего хочешь, всё в твоей власти. Слышите, братцы, а? — обращаясь к окружающим, произнёс Дергач.

— Слышим! — со смехом пронеслось в сгустившейся около них кучке любопытных.

— Баклуха, бери полу в руки, разнимай! Ну, только, Изотка, помни, коли ты пробахвалишься, то ты должен будешь поставить ведро самолучшего рому и быть тебе битым в те поры неминуючи.

— Разнимай!.. — произнёс Изот, обратившись к Баклану.

В толпе прокатился хохот, когда Баклан разнял через полу своего армяка руки Дергача и Изота.

— И году не пройдёт, братцы, как Изот, по паспорту Неплюев, станет орешки щелкать, а вам шкорлупку побрасывать. Ну, тогда де-е-ержись, милые! Это штобы в этом омуте, как Сибирь немшёная, с умом человек не нашёл бы своей фортуны, а-а? Жи-ив быть не хочу, — произнёс он, разводя руками, и пронзительным свистом своим заглушил раздавшийся около него смех, вызванный в слушателях его похвальбою.

Мне не довелось уже боле быть в Т...е, но село это продолжает и доныне процветать и разрастаться, и, вероятно, недалеко то время, когда оно превратится в уездный город и будет славиться благолепием храмов своих, благоустроенным видом и крупною зажиточностью обывателей. Впрочем, с упадком золотопромышленности в Западной Сибири пошатнулся несколько и способ быстрого приобретения богатств т...ми обывателями, но всё-таки способ этого приобретения настолько ещё прочен, что «жить можно!», как говорят т...цы, «хотя супротив прежнего оно не в пример будто убытошней стало».

Кузьма Терентьич давно уже сошёл в могилу, надломленный разразившимся над ним несчастьем: вскоре после описанного мною времени ночью одновременно загорелся у него и дом, и флигель; пожар быстро распространился по всей улице, так что ничего почти не успели спасти. Жертвою пламени сделалась, как говорили впоследствии, и заветная шкатулка Кузьмы Терентьича, в которой хранилось всё его достояние. Следствие, произведённое по поводу пожара, не раскрыло причины его, хотя никто не сомневался в поджоге. Правда, среди приисковых рабочих, ежегодно наводняющих Т...ь, носилась в первое время тёмная, ни на чём не основанная догадка, что пожар в доме Кузьмы Терентьича совпадал со временем исчезновения с приисков ссыльнопоселенца Изота, писавшегося по пачпорту Неплюевым, но насколько

была справедлива подобная догадка, не знаю. Среди тех же рабочих носилась и другая молва, что появившийся в уездном городе Мар...е енисейский мещанин Антон Петрович Б..., довольно удачно торгующий скотом, имеет сильное сходство с Изотом Неплюевым, но точно ли Изот Неплюев и Антон Петрович Б... есть одно и то же лицо, я также не могу удостоверить, хотя и должен сказать, что в Сибири подобное явление не редкость.

Дергача также не встречали с тех пор в Т...е; он пропал без вести и, вернее всего, возвращаясь с благодарным заработком, был убит или своим же братом рабочим, или кем-либо из крестьян, живущих в деревнях и сёлах, лежавших поблизости приисков, у которых охота с ружьём за приисковыми рабочими, в одиночку возвращавшимися с приисков, превратилась в промысел, известный под названием «ходить на белку». Когда-нибудь, при более лучших условиях, мы воротимся ещё к этому предмету и познакомим читателя с подобным промыслом, возможным только в Сибири.

Святое озеро

(Рассказ)

Спросите в настоящее время у крестьян Х-ой волости, каково поживает доброжелатель их, Пётр Никитич Болдырев, и вы услышите, как при одном его имени из уст каждого посыплется потоки брани, проклятий и поздних сетований на опрометчивую доверчивость. А между тем было время, когда, говоря о Петре Никитиче, выражались не иначе, как «наш Пётр Никитич», причём слово «наш» выражало любовь к этому человеку. Нужно сказать правду: безупречная честность Петра Никитича при исполнении обязанности волостного писаря, доброта и внимание к нуждам крестьян вполне оправдывали привязанность их к нему. Получая от общества ограниченное содержание, он с утра и до ночи работал в волости, не зная ни отдыха, ни праздников. В течение всей его службы не было примера, чтоб он отказал кому-нибудь в деловом совете, затянул бы выдачу паспорта, замедлил бы с корыстной целью исполнением формальностей, с какими сопряжена выдача хлеба из запасных сельских магазинов, подстрекал бы когда-нибудь волостных начальников к крутым мерам при сборе податей и тому подобное. Напротив, со времени определения его в писари он значительно сократил общественные расходы на содержание волости и при этом не заикнулся об увеличении своего жалованья, хотя бы для того, чтобы иметь возможность нанять себе помощника. Волость считалась богатейшею в Т...ом округе. Бывшие до Петра Никитича писари, сменяясь с должности, вывозили десятками возов благоприобретённое, покупали дома, иные заводили торговлю, а Пётр Никитич, приехав на должность в нагольном бараньем тулупе и нанковом сюртуке, за всё время службы не завёл себе даже новой шубы, а только покрыл старую дешёвым сукном, известным в продаже под именем гвардейского.

Впрочем, и в то время люди, знавшие прошлое Петра Никитича, скептически покачивали головами. Пётр Никитич был ссыльнопоселенец, и в первое время по прибытии в Сибирь выдавал себя за «политического», но когда из статейного списка обнаружилось, что, служа в России в одном из почтовых учреждений, он был предан суду за растрату денежной корреспонденции и подделку фальшивых документов, то он

скромно переименовался в несчастного, гонимого людьми и судьбою человека. Несмотря на изворотливый ум, Петру Никитичу в первые годы нелегко жилось в Сибири: по крайней мере, про первоначальную жизнь его в стране изгнания ходило много легенд. Говорили, что, служа на золотых приисках в качестве материального, он уличён был в крупном воровстве и при смене с этой должности лишился прекрасных каштановых волос на голове и пышных бакенбард, придававших его наружности сановитый вид. Рассказывали даже, что до поступления его в волостные писари он, ради насущного пропитания, занимался сочинением акростихов, которые подносил в дни именин богатым купцам и мещанам, получая за то от кого полтинник и кусок пирога, от кого рюмку водки и гривенник, и при этом дополняли, что каждый раз после поднесения акростиха из передней именинника вместе с Петром Никитичем исчезала какая-нибудь шаль, дамская муфта или ценная бобровая шапка. Но о прошлом его заговорили уже тогда, когда богатство Петра Никитича породило во многих зависть к нему; во время же службы его писарем об этом знали немногие.

Жизнь Пётр Никитич вёл трезвую, уединённую. Он не только избегал общения с людьми, но как будто боялся их. Отчуждение его не казалось, однако ж, странным, ввиду той массы занятий, какая лежала исключительно на нём. С начальством, приезжавшим иногда в волость для ревизии, он вёл себя почтительно, но без низкопоклонства и угодничества, не выписывал к приезду его дорогих вин и закусок, не устраивал для него обедов, завтраков и таинственных rendez-vous* с деревенскими кокетками, как это делают обыкновенно волостные писари. Всматриваясь в такую примерно-нравственную жизнь Петра Никитича, крестьяне одного только не могли понять: что связывало его самой искренней, по-видимому, дружбой с т...м мещанином Харитоном Игнатьевичем Плаксиным, который нередко посещал его и гостил у него по несколько дней. Харитона Игнатьевича знала вся волость, и хотя открыто сказать про него что-нибудь дурное никто бы не решился, но все почему-то остерегались его, как остерегаются обыкновенно людей сомнительных профессий. Уловить что-нибудь определённое в деятельности Харитона Игнатьевича было так же трудно, как и подметить какое-нибудь выражение в широком, мясистом лице его, постоянно маслившемся от жирного пота. Занимался он и комиссионерством по приисканию денег под векселя с надёжными ручательствами, перепродавал дома, брал на себя подряды для лиц,

* Любовных свиданий (*франц.*)

признанных несостоятельными, блуждал по праздничным дням на рынке около крестьянских возов с хлебом и овощами. Его замечали в присутственных местах во время торгов на всевозможные подряды. Он был непрременной принадлежностью всех аукционов, ко всему приглядывался, прислушивался, приторговывался и, незаметно исчезая из одного места, так же незаметно появлялся в другом. В городе, как и в деревнях, Харитона Игнатъевича все знали, начиная от высших губернских сановников и кончая тёмными личностями, таившимися на окраинах городских предместий. Сановники относились к нему с покровительственной иронией, тёмные личности носили в дом к нему по ночам узлы под полами рваных халатов и шубёнок. Узлы эти исчезали в таинственных кладовых Харитона Игнатъевича, недоступных даже для взора его домашних, и увозились не иначе, как запрятанные в навоз или солому.

— О-о-о! В этой бестии много блох сидит! Уж доберусь я до его шкуры и всех их выколочу! — говорил полицеймейстер, имевший сильное подозрение, что периодически совершавшиеся в городе подломы лавок и магазинов не обходились без его содействия. Но, несмотря на бдительный надзор градоначальника, шкура Харитона Игнатъевича оставалась цела и блохи безнаказанно кишели в ней. Правда, раза два он попадал в острог, но выходил из него с торжеством невинности и возбуждал преследования за свою попорченную репутацию.

Постоянно ведя исковые дела по поводу различных неустоек, нарушенных условий, неоплаченных векселей и тому подобного, Харитон Игнатъевич случайно познакомился с Петром Никитичем, не имевшим в то время определённых занятий, и опытный глаз его сразу оценил в нём человека, по уму и качествам подходящего для себя. Он поместил Петра Никитича у себя в доме, чтобы всегда, под рукой, пользоваться его юридическими познаниями, и до того любил его, что не отказывал ему даже в деньгах, конечно, в мелочных, и хотя был убеждён, что никогда не получит их обратно, но всё-таки на всякий случай брал от него расписки. Дружба между ними не прервалась и по вступлении Петра Никитича на должность волостного писаря, благодаря услугам, какие оказывал Пётр Никитич, извещая заблаговременно Харитона Игнатъевича о продаже с аукциона имущества, описанного у крестьян за долги. Но услуги эти совершались так таинственно, что о них никто не догадывался.

Однажды в числе пакетов, доставленных в волость с почты, Пётр Никитич получил циркулярное предписание т...ой казённой палаты. Распечатав пакет и прочитав содержание бумаги, он взял в руки перо, чтоб записать её в настольный

реестр, но вдруг остановился, прочитал снова бумагу, задумался над ней, затем, не записывая её в реестр, вложил обратно в конверт и опустил в боковой карман своего нанкового сюртука. Весь день после того он был необыкновенно рассеян: перепутал на отправляемых бумагах номера и адреса на конвертах и даже отправил какой-то рапорт, не скрепив его подписью. Возвратившись домой ранее обыкновенного, он торопливо пообедал; затем, запершись в комнате, вынул из кармана пакет и несколько раз перечитал циркуляр, как бы вдумываясь в каждое слово. Весь вечер проходил он по комнате из угла в угол, нахмутив брови, проводил по временам рукою по обнажённой голове, как бы приводя в порядок путающиеся в ней мысли, иногда улыбался, потирая руки, как человек, обделавший аппетитное дельце. В последующие после того дни, посещая волость, он пересмотрел все дела, хранившиеся в волостном архиве, перечитал все старинные документы, как бы ища в них чего-то, и спустя неделю отправился в город Т...в к окружному начальнику под предлогом весьма важного дела.

На третий день вечером, после утомительного пути по просёлочным дорогам, Пётр Никитич подъехал на усталых, взмыленных лошадях к дому Харитона Игнатьевича, стоявшему при въезде в город в пустынной улице, усеянной лачугами и кузницами. Выйдя из телеги и отпустив ямщика, он вошёл в тёмный двор, выкрытый драньём. На лай собаки, неистово рвавшейся с цепи, вышел на крыльцо со свечою в руке сам хозяин. Увидев Петра Никитича, он радушно встретил его, несколько раз с шуточной фамильярностью похлопал гостя по плечу и, ласково заглядывая ему в глаза, произнёс:

— Ну, ну, вот и тебя дождались! Аль попутным ветерком занесло, а? Ну, иди, иди, обогрейся, гость будешь!

Введя его в небольшую комнату, уставленную вместо мебели коваными сундуками, Харитон Игнатьевич приотворил дверь в смежную комнату и вместе кухню и крикнул:

— Даша-а, а Даша! Выдь-ко сюда, глянь, кого нам к ночи-то бог дал!

— Кого ж бы? — спросил из кухни мягкий женский голос.

— А ты своими глазами глянь, недокуда чужими-то на всё смотреть! — насмешливо ответил он.

В дверях показалась жена его, пожилая красивая женщина с объёмистыми грудями и талией, проворно обтирая белые, засученные выше локтя руки о грязный ситцевый передник. Увидев гостя, она всплеснула руками, вскрикнув:

— Батюшки! Пётр Никитич! В кои-то веки заехал к нам, да не чудо ли это? А-а-ах ты, напасть, а у меня, как на грех,

ничего не стряпано! — И скрылась ещё проворнее, чем показалась.

Пока Пётр Никитич раздевался, на столе уже появились тарелки с огурцами, груздями, пирог с рыбой, пирог с маком и ещё какие-то печенья.

— Ну, ну, чего вылезли? Неуж людей-то не видывали? — крикнул Харитон Игнатьевич на своё потомство, высыпавшее из кухни в количестве шести душ. — Подите отсюда, вот я вас ужо! — пригрозил он, топнув ногой. Дети робко вышли из комнаты, и засученная рука хозяйки захлопнула за ними из кухни дверь.

— Ну, как живёшь? Чего долго не заглядывал к нам? — спросил Харитон Игнатьевич гостя, запивавшего горячим чаем съеденный ломоть пирога с рыбой. — Я нынче, признаться, собирался съездить к тебе, — продолжал он, — хочу, слышь, лавку соорудить да посадить в неё Васютку. Уж парню четырнадцатый год пошёл, а он без пути в доме мотается. Благословишь ли?

— Чем торговать-то намерен? — спросил Пётр Никитич, ковыряя в зубах спичкой.

— А так, братец мой, разной разностью, а главнее всего деревянной посудой. Временами здесь на неё большой спрос, а взять негде. Оно дело-то не ахти какое, а всё, при сноровке, копейка набегать будет!

— Будет, это и говорить нечего! — согласился с ним Пётр Никитич.

— Копейка набегать будет! — задумчиво, барабаня пальцами по столу, повторил Харитон Игнатьевич. — В околотке-то моём живут всё более мастеровые, с фаянсов-то хлебать не привычные, к дереву навык имеют. Оно хошь и по малости товару потребуется: кому ложка, другому чашка, третьему жбанчик, а всё в год-то, гляди, и на круглую сумму набегит. Да и парню-то дело будет; пора и ему сноровку набивать. А без обученья-то этого, без сноровки-то как ты его в свет-то пустишь. Ведь тёмный человек выйдет, коли талану-то ему не привьёшь! Да что ж ты маковничка-то не прикусишь, — спохватившись, пригласил Харитон Игнатьевич, — хозяйка-то хошь и похвалилась, что ничего не стряпала, а ровно чуяла, что ты приедешь, мёду-то в пирог подмесила не жалеючи!

— Сыт уж... благодарю!

— Ешь крепче! Дорогой-то, поди, всю кладь в брюхе уколотило, порожнее-то место найдётся. По нынешнему пути ухабинами-то всю душу, поди, выколачивает, а?

— Отшибает, хвалить нечего!

— Надолго к нам в гости-то?

— Завтра к вечеру надо бы домой собраться! — ответил Пётр Никитич, накрывая блюдце опрокинутой вверх дном чашкой, и, вынув ситцевый клетчатый платок, отёр пот, выступивший на лбу.

— Пей ещё, что ты мне дно-то у чашки показываешь? Погрейся, ну, ну!

— Уволь, не могу более!

— Ну, ну! Не могу! Эко, в кои-то веки заглянет, да от еды и питья в отрек! Пей, полно! Дарья, прими-то чашку-то да плесни в неё свеженького! — крикнул Харитон Игнатъевич, и, несмотря на все усилия Петра Никитича освободиться от угощения, в руках его снова оказалась чашка с свеженалитым чаем. — Водки ты не употребляешь, ешь, что девка перед венцом, по зёрнышкам, — чем и угощать тебя, не знаю! — говорил Харитон Игнатъевич. — Дело какое есть, что в город-то заглянул к нам? — спросил он после минутного молчания.

— У нас без дела, Харитон Игнатъевич, часу не пройдёт, такое уж ведомство! — ответил Пётр Никитич, прихлёбывая с блюдца чай.

— Где люди, там и дела, чего говорить; всякому жить надо, пить, есть хочется! Где на честный манер, где обманом, а всё снискивай кусок... Как пробудешь без хлеба-то? — задумчиво произнёс Харитон Игнатъевич. — А какое дело-то встретилось? — как бы вскользь, к слову, спросил он.

Опрокинув на блюдце допитуемую чашку, Пётр Никитич отёр платком лицо и окинул исподлобья пристальным взглядом своего собеседника.

— Дело-то у меня встретилось, Харитон Игнатъевич, такого сорта, что сказать-то его можно только за большие тысячи! — ответил он.

— Хе-хе-хе... Какие ноне у тебя дела завелись, а? Ну, ну, я и пытаться не буду, подожду, пока поболее тысяч накопится!

— А много ли скоплено их, скажи-ко? — шутливо спросил Пётр Никитич.

— Не успел приехать, да уж и сказывай тебе, сколько тысяч накоплено. А ты посиди, обогрейся! Что до время чашку-то накрыл, аль узор-то на дне её приглянулся? — спросил он. — Пей-ко ещё чаю-то, ну, ну...

— И рад бы потешить тебя, да не могу...

— Ну, не можешь, так не насилую; всякий своему животу меру знает! Так какое же это дело-то у тебя встретилось, что за тысячи сказывать собираешься, а? — снова спросил он, снимая пальцами нагар с сальной свечи и отирая их о голенище своих высоких смазных сапогов.

— Компаньона ишу!

— На какую же забаву он понадобился тебе, а?

— Забава-то, на мой бы ум, не скучная, Харитон Игнатьевич... — с иронией ответил Пётр Никитич. — Помогать мне лопатами деньги загребать...

— А-а-ах, окрести тебя воротом! — произнёс Харитон Игнатьевич, и живот его заколыхался от тихого, беззвучного смеха. Спустив синий поясок на рубахе пониже живота, он с усмешкой продолжал: — Ну, на этакую забаву, по нынешнему времени, охотников много найдётся, только клич кликни!

— Найдётся-то много, да не всякий к моей-то мерке подойдёт! В компаньоны-то мне, Харитон Игнатьевич, требуется человек с особыми приметам!

— О-ох! Ну, так я, стало быть, не гожусь; у меня и в пачпорте сказано, что особых примет нету, хе-хе-хе... А я уж было и уши развесил. Экое горе-то!

— Не горюй до время, приметы-то эти в пачпорт не вписываются; кто не брезглив, склёвывает червячка, не боясь крючка, да не сучает о совести, тот мне и на руку!

— А-а! Ну, по этим-то приметам я, пожалуй, и гожусь!

— И на мой-то глаз мерка-то по росту бы тебе!

— Гожу-у-усь, хе-хе! Одного разве побоюсь, что заботы с деньгами не оберёшься, куда их девать, не придумаешь, хе-хе-хе! — смеясь, заключил он.

— Ну, этакая забота всякому была бы по душе; скучать об ней нечего. Деньги — товар ёмкий, кладовых не требуют, — во всякую щель влезут и вылезут. А ты вот послушай-ко лучше, чего я прочту тебе, да и смекай, — произнёс Пётр Никитич, доставая из кармана циркуляр.

— Ну, ну, читай, читай! — смеясь, ответил Харитон Игнатьевич, опираясь локтем о стол и, нагнув ладонью шляпку правого уха, приготовился внимательно слушать.

Придвинув к себе свечу, Пётр Никитич откашлялся и начал читать:

«Вследствие часто возникавших в последнее время между крестьянскими обществами различных сёл и деревень, а также инородцами споров за право пользования рыболовными песками на реках, озёрами и сенокосными лугами, нередко обнаруживалось, при расследовании возникавших по сему поводу дел, что спорные угодья, не входя в земельный надел спорящих сторон, составляют собственность казны, и что, по зачислении таковых в оброчные статьи, от сдачи их с торгов в аренду в значительной мере могла бы увеличиться степень государственного дохода. Ввиду вышеизложенного предписывается X-му волостному правлению немедленно доставить сведения: 1) имеются ли в пределах волости рыболовные пески на реках, озёра или сенокосные луга, кои не отданы в

надел крестьян, а составляют собственность казны; 2) буде имеется какое-либо из означенных угодий, то в донесении необходимо точно обозначить местонахождение рыболовного песка или озера, а относительно лугов количество десятин занимаемой ими земли, а равно и расстояние таковых от населённых мест; и 3) исчислить с возможной подробностью, чрез спрос знающих людей, доход, какой могут приносить означенные угодья, дабы, соображаясь с сими сведениями, при сдаче оных угодий в арендное пользование могла быть назначена им совершенно правильная оценка».

— Смекнул? — спросил Пётр Никитич, окончив чтение и пристально посмотрев на Харитона Игнатъевича.

Вместо ответа Харитон Игнатъевич молча взял из рук его циркуляр и, вертя его между пальцами, внимательно осмотрел печатный заголовок, подписи членов, номер и число, каким бумага была помечена.

— Что ж? — спросил он, возвращая циркуляр. — Стало быть, ноне все луга и рыбные пески в казну отойдут, что ли? Мне, признаться, невдомёк что-то, на что ты мне эту бумагу читал. Уж не это ли и есть то дело, с которого ты собираешься деньги лопатами загребать? — насмешливо спросил он.

— А ты не раскусил разве? — спросил Пётр Никитич.

— От старости, что ли, друг, а уж ноне мне энти орехи ровно не по зубам, я и готовое-то с трудом жую! — с иронией ответил ему Харитон Игнатъевич.

— Э-эх, Харитон Игнатъевич, а ещё коммерцией занимаешься! — укоризненно произнёс Пётр Никитич. — Да ведь в этом-то орешке, друг мой, золотое ядрышко лежит, для умелого человека целое состояние!

— А-а-а? Ну, ну! — отозвался Харитон Игнатъевич, заёрзав на сундуке с несвойственной летам его живостью. — Ну-ко, ну, раскуси мне орешек-то! Ишь, ведь учёные-то люди из каждой строки золото добывают, а мы по темноте-то своей и бисер, поди, ногами попираем, да невдомёк! Тут, ровно, пишут, чтобы ты донёс в палату, какие есть в волости угодья, чтобы зачислить их в оброк да сдавать в аренду? — прищурившись, спросил он. — Так разве у вас есть экие-то угодья?

— Про Святое-то озеро слышал когда?

— Как не слышать! Так уж не оно ли золотое-то ядрышко, что в скорлупке-то энтной спрятано, а?

— Оно, не ошибся! Ведь озеро-то не отдано в надел крестьянам, хотя они и пользуются им!

— Ну... ну, раскусывай, раскусывай... авось разжую, хе-хе-хе... — прервал его Харитон Игнатъевич.

— Я должен донести теперь, что в волости есть озеро, улов рыбы из которого даёт крестьянам дохода самое меньшее от

трёх до четырёх тысяч в год, и, как не отданное в надел им, оно подлежит зачислению в казённую оброчную статью.

— Вот оно что-о-о! Ну, ну!

— На основании этого ответа палата зачислит его в оброк и будет сдавать с торгов в аренду!

— Э, э! Тэ, тэ! Теперь понимаю. Теперь, стало быть, всякий, кто пожелает, может взять его в аренду за себя?

— Нет, не всякий, не торопись.

— О-о-о! Аль и тут особые приметы понадобятся? — насмешливо спросил он.

— Понадобятся! — сухо ответил Пётр Никитич. — Озеро должно сдавать в аренду только крестьянам.

— А нешто человеку в сапогах к нему пути заказаны, а только для тех дорога-то на торги широка, кто бродни носит? а? — снова прервал его Харитон Игнатьевич.

— Не отдадут тебе озера не потому, что ты сапоги носишь, а потому, чтоб отдачей его в аренду постороннему лицу не нарушить интересов и благосостояния крестьян. Палата, по зачислении озера в оброчную статью, должна назначить торги на него и предписать нам произвести публикацию по волости о вызове крестьян на торги. По закону и самые торги должны состояться не иначе, как в волостном правлении!

— Ну, не отдадут, так и носу совать не будем!

— Тебе отдадут его только в таком случае, если крестьяне отказались бы взять озеро. Ну, а наши крестьяне пожалеют дать за это озеро и четыре, и пять тысяч арендной платы в год...

— Тэ-эк! Это, чего говорить, озеро бога-атое! Ну, так чем же ты хвалился в таком разе, а? — с иронией спросил Харитон Игнатьевич. — Я было смекнул с твоих слов, что ты дельце-то это обсоюзил, а оно, выходит, по поговорке: скусен пирожок, да ротик обожжёт...

— Обсоюзил, ты не ошибся!

— Какой же ты это дратвой союзы-то пристегнул?

— Умственной!

— Э, э! Дивлюсь я на тебя, Пётр Никитич: с твоим умом да талантом тебе давно бы надоть в атласе да бархате щеголять, а ты всё, грешным делом, из нанковой шкурки не вылезашь! — насмешливо заметил Харитон Игнатьевич, окинув взглядом полинявший нанковый сюртук своего собеседника. — Ну, как же ты, к примеру, оборудуешь это дело; скажи, буде не секрет?

— Затем и приехал к тебе, чтобы вместе его на колодку-то натянуть! Старые мы знакомые, Харитон Игнатьевич, всего с тобой видывали на веку, и худого, и доброго. Скажи по душе мне теперь: друг ли ты мне, а?

Окинув его пристальным взглядом, Харитон Игнатьевич отёр правую рукою свою чёрную с проседью бороду и усы.

— Кажись бы, меня и допытывать об этом не следовало, — сухо ответил он, глядя куда-то в сторону. — Припомни, сколько раз я выручал тебя из беды; ровно и теперь бы счёты-то меж нас не кончены, да я уж рукой на них махнул, не тревожу! Денег-то хвалишься лопатами нагрести, и без поминок отдашь, поди?

— Про долг мой не сомневайся, возвращу! — ответил Пётр Никитич, слегка покраснев.

— Давай Господи, пора бы! — снова погладив ладонью усы и бороду и не смотря на Петра Никитича, ответил он. — А только, если ты теперича касательно денег разговор-то о дружбе подводишь под меня, так лучше помолчи, не утруждайся. Денег у меня и в заводе нет. Сам нуждаюсь! — закончил он, усиленно отхаркивая слюну и сплёвывая её на пол.

— А если мне не нужно денег? — с усмешкой ответил Пётр Никитич. — Если я спрашиваю тебя, друг ли ты мне, по другой причине?

— На что ж это тебе занудобилось, на какие причины? Сколько помнится, мы не одна с тобой дела вершили, да о дружбе друг друга не допытывали! Разве ты был когда в моём доме постылым гостем? Разве уходил от меня не напоенный и не накормленный? Когда тебе перекусить-то было нечего, когда рыло-то все на сторону воротили от тебя, кто тебя и поил, и кормил, и в тепле-то тебе не отказывал, а-а? Ну-ко!

— За твоё добро я и хочу отплатить тебе со сторицей. Понял ли — со сторицей! — повторил Пётр Никитич с особенным ударением на последнем слове.

— Спасибо, что добро помнишь; ноне и за это людей благодарить надо! Да грех бы, говорю, и забыть-то меня, — добавил он. — А чем же ты заплатить-то мне хочешь? — мягким и несколько меланхолическим тоном спросил Харитон Игнатьевич, взглянув на него.

— Для того я и спрашиваю тебя, друг ли ты мне.

— Друг, друг! Вот те Христос! Всем сердцем расположен к тебе! — торопливо ответил он. — Чего хошь, проси — не постою, если б вот деньги были, сам бы дал, верное слово сказываю! Не гляди на меня этак-то с сумлением, — произнёс он, заметив устремлённый на него пытливо-насмешливый взгляд Петра Никитича. — А может, не выпьешь ли рюмочку; всё бы обогрело с дороги-то. Одна-то рюмочка — не беда, сказывают, другая-то лиха!

— Не пью, спасибо, да мне и не холодно!

— Ну, твоя воля! Мадерцы бы надоть, да вишь — горе, в запасе-то не держу! Э-эх! Как бы все-то, говорю, добро моё

помнили, не валились бы теперь заборы у дома, не ходил бы я в поддѣвке, не перебивался бы с денежки на денежку, — внезапно переменив тон и грустно качая головой, продолжал Харитон Игнатьевич. — Вот детки теперь подрастают, занятия надо им дать, а на что поднимешься, где капиталы-то? — певучим голосом закончил он.

— Не скучай, помогу и деток устроить, и заборы новые поставить...

— Пошли тебе Господи за твоё раденье! Ты не в других, помнишь добро. Разве только на словах, может, помочь-то сулишь мне, а до дела коснётся, так стороной друга-то обойдёшь? Чем же ты, к примеру, помочь-то мне собираешься? — нежно заглядывая ему в глаза, спросил он.

— На поправу хочу тебе Святое озеро в аренду отдать за сто рублей в год... Хочешь, а-а?

— За сто рублей в го-о-од?! — удивлённо спросил Харитон Игнатьевич.

— Может быть, и дешевле ещё, может быть, и за пятьдесят рублей его купишь...

— Ты... ты... ты... в уме ли, Пётр Никитич? — заикаясь и пристально глядя на него, спросил он. — Ты пощупай кудри-то на макушке. Да разве может это стать, чтоб угодье, которое даёт на пять, на шесть тысяч товару в год, отдали за сто рублёв, а?

— Говорю, так, значит, можно!

— О-о-ох ты, Господи! Да нет, это ты смеёшься надо мной... — произнёс он, махнув рукой и быстро отвернувшись от него. — Грех бы, говорю, этак-то!

— Хочешь или нет, скажи мне одно... — как бы наслаждаясь его сомнением, спросил Пётр Никитич.

— А-а-ах ты, Боже мой! Да неуж это можно, а-а? Да ведь после этого... что ж? Ведь это ты навек счастье даёшь! — отрывисто говорил он, захлёбываясь от волнения. — Да неуж это, слышь, можно? Ты, ты... Уверь меня, ты того, а? Мне сдаётся всё, что ты это ради смеха говоришь. Да ведь коли это правда, так чего же тогда будет-то с нами?

— Ничего... Вот тогда вместо нанки-то и принакроемся атласом да бархатом, хе-хе-е... А особенного ничего не произойдёт!

— Ну, Пётр Никитич, если ты теперича всё это в сущую правду говоришь, — с особенною торжественностью в голосе начал Харитон Игнатьевич, вставши с сундука, — то вот тебе угодник божий Никола в свидетели, по гроб жизни буду тебе первый слуга и друг. Проси, чего ты от меня хочешь, без слова отдам. Проси, чего тебе только надоть, заикнись!

— Мне ничего пока не нужно.

— Денег тебе надо?

— Не нужно.

— Ты заикнись, заикнись, говорю тебе, попроси. Есть ведь у меня деньги-то, слава тебе Господи, не оскудел я... Я ведь это даве только попытать тебя хотел, говорил, что ни гроша нет. Я ведь простой человек, сам ты знаешь, последнее отдам! Да что ж это мы всухомятку речь-то ведём, прости Господи. Дарья! — подойдя к двери, крикнул он. — Запеки-ко нам селяночку с груздочками, авось до утра-то и не замрём, — притворив дверь и снова присаживаясь к столу, произнёс он. — Одного я только в толк не возьму, друг ты мой сердечный, — снова тоскливо и нараспев начал он, — сам же ты сказал, что озеро если и обратят в оброчную статью, то всё-таки сдадут его в аренду крестьянам, а постороннего человека и коснуться к нему не допустят. Так как же ты наградишь-то меня им хочешь, а-а?

— Уж это моё дело; будь в покое...

— Разве, может, у тебя на примете закон этакой есть, а? — любопытствовал Харитон Игнатъевич, будто не расслышав его ответа.

— Нет!

— В толк не возьму, как ты это соорудишь?

— Прежде время тебе и знать не нужно; или сомнение-то мучит тебя, а?

— Томит! Чудно как-то кажется! И верный ты человек, знаю, что зря слова не вымолвишь, а всё — нет-нет, и засосёт под сердцем-то, словно червь какой! Вот я было обрадовался словам-то твоим, а теперь сызнова тоскливо стало. Не верится! — грустным, разбитым голосом говорил он.

— Верь не верь, а сказал тебе — сделаю, так сделаю! Чем сомнением-то мучиться, поговорим-ко лучше об условиях, на каких я намерен отдать тебе озеро, чтоб после греха между нами не вышло, оглядки бы не было.

— Избави господи от греха да оглядки; да нешто я плут какой, а? — обидчиво ответил Харитон Игнатъич.

— Плут не плут, а случай неровен, Харитон Игнатъевич. В таких делах аккуратность первое дело!

— Ну... ну, будь по-твоему, — согласился он, — пощиплем пуху у непойманной птицы! Хе-хе!.. говори.

— Прежде всего скажу тебе, что озеро ты возьмёшь с торгов в аренду на одного себя. Сами ли мы будем хозяйничать на озере или сдадим его от себя в аренду крестьянам, об этом поговорим после, когда увидим, что будет выгоднее!

— Известное дело, обувь-то примеряют, когда она сшита, — заметил Харитон Игнатъевич, — а она, вишь, пока ещё умственной дратвой стачена, хе-хе-е!.. Ну?..

— Главная причина тут в том, Харитон Игнатъевич, — продолжал Пётр Никитич, не обратив внимания на колкое замечание его, — что имя моё в этом деле не должно упоминаться, как будто бы всё это помимо меня будет делаться, а я ничего не знаю и не ведаю, арендуешь ты озеро или нет, понял?

— А-а-а! — протянул Харитон Игнатъевич, вопросительно приподняв брови. — Стало быть, ты совсем как бы втуне будешь; к примеру теперича взять, как бы никакого касательства к озеру не имеешь?

— Да, да, пока, до время, а там, что далее будет, увидим!

— Понял... понял! — ответил он, кивнув головой и погладил ладонью усы и бороду, желая скрыть радость, сверкнувшую в маленьких карих глазах его. — Стало быть, дратва-то, какой ты обсоюзишь это дельце-то, будет с изъянцем... хе-хе-е... ну что ж! Я уже сказал тебе, что не брезглив, мне всё на руку... всякая обувь по ноге...

— Знаю, знаю! Поэтому на всякий случай, — продолжал Пётр Никитич, — мы сделаем между собою документик, к примеру, — вексель, что будто ты занял у меня пятнадцать тысяч рублей серебром наличными деньгами, с обязательством уплатить их по востребованию мне или кому прикажу я!

Харитон Игнатъевич с минуту сидел совершенно неподвижно, пристально посматривая на своего собеседника.

— То есть как это — вексель? — спросил, наконец, он. — С какой это радости, для какой бы, к примеру, потребности?

— Единственно в ограждение меня от всякой случайности!

— От какой же, к слову?

— От обмана, например!

— Чтоб я бы это да покусился на обман? — крикнул Харитон Игнатъевич.

— Не сердись, Харитон Игнатъевич, — прервал Пётр Никитич, — грех-то неровен; в жизни-то случается, что и сын отцу ножку подставит, когда до наживы дело коснётся! Тут тебе и обижаться не на что, — с расстановкой говорил он, — ты только выслушай внимательнее, что я тебе скажу. Я берусь обделать дело, что озеро, которое на худой конец принесёт в год четыре-пять тысяч чистого дохода, ты получишь в аренду на двенадцать лет за сто или за пятьдесят рублей в год! Это я предлагаю тебе на тех условиях, что мы должны владеть озером вместе, делить с тобой и доходы, и расходы поровну, но участие моё в этом деле должно оставаться в тайне, по крайней мере на два, на три года, пока утихнет эта история! Следовательно, я с тобой никакого формального условия по этому делу заключить не могу.

— И не надоть, ну их к богу, все эти формальности! Мы так с тобой, по-душевному будем владеть; делить каждый грош сообщка!

— Э...э! Нет, Харитон Игнатьевич, так-то на словах только говорится, а на деле-то частенько иное случается! Слово-то, что птица, на лету следа не оставляет! А кто мне поручится, что, когда ты получишь в аренду озеро, то вместо того, чтобы делить со мной поровну весь доход, и на порог своего дома меня непустишь, а? Скажешь, что ты меня и знать не знаешь и ведать не ведаешь! Ну, что я тогда возьму с тебя за то, что рискую и место потерять, а может быть, под суд попасть, а?

— Я те поруку-то на этот случай предоставлю почище векселя, коли уж на то между нами дело пошло!

— Какую?

— Святителя Николу многомилостивого в свидетели призову, что между нами всё по-душевному будет!

— О-о-о! Нет, Харитон Игнатьевич, таких-то свидетелей в эти дела не вмешивают! И зачем угодников божьих тревожить, когда вексельная бумага есть, и стоит-то недорого. Оно и проще, и душе-то спокойнее! А вот если ты мне дашь вексель, мы его засвидетельствуем формальным порядком у маклера, и тогда уж мне нечего опасаться за будущее, потому что на случай уклонения с твоей стороны и у меня камешек за пазухой будет; и будем мы с тобой состоять тогда в истинной и неразрывной дружбе... Понял?

— Ка-ак не понять, — не малолеток, во всяких хомутах на своём-то веку объезжен, разбираем, где чем шею-то трёт, хе-хе-е! Это я и будь бы прост и дай тебе вексель, а ты завтра пойдёшь да представишь его ко взысканию, и я должен буду нищую суму надевать на себя? А дашь ты мне озеро в аренду или нет, это ещё на воде пальцем писано...

— Теперь я и сам не возьму от тебя векселя, пойми! Возьму его тогда, когда дело обделаю!

— Не дам я тебе векселя! — решительно ответил Харитон Игнатьевич, отвернувшись от него.

— Не дашь и не нужно, короче речь! Найдутся и без тебя охотники, что за обладание озером не на такие условия согласятся и внесут мне наличные деньги в обеспечение.

— Кто ж это наличными-то тебе отсыплет, скажи-ко?

— Любой купец!

— Поди же к этакому купцу, поищи его. Не надоть ли, фонарь засвечу, чтоб светлее было искать-то? Только уходи из моего дома, слышь, сейчас же уходи, — вспыхнув и задрожав весь, крикнул Харитон Игнатьевич, поднимаясь с сундука.

— Подожди гнать-то, не покаяйся! — спокойно заметил ему Пётр Никитич.

— Дай ему вексель! — продолжал между тем Харитон Игнатьевич, не глядя на него и как бы обращаясь к третьему лицу. — Хе-хе-е!.. дурака нашёл! Это опосля супротив его не смей и слова сказать, а? Хошь не хошь, а пляши по его дудке. Да ты в памяти ли, спрошу я тебя? — обратился он к нему.

— В памяти!

— Вне оной, забылся; забылся, говорю! Ты бы знашь как должен чтить-то меня, если памятуешь добро-то моё. Ты бы должен прийти и сказать мне: вот, Харитон, за то, что ты меня нищего призревал, хочу я взыскать тебя своей помощью: на тебе озеро, владей им! А ты вместо того обманной вексель требуешь с меня... по совести ли это, а?

— Объясни, почему ты опасешься дать мне вексель? — лукаво усмехнувшись, спросил Пётр Никитич. — Ведь ты хорошо знаешь, что я возьму его только тогда, когда дело будет наверное обделано мной, что обмануть я тебя не обману по той простой причине, что в этом деле заключается обоюдная наша выгода. Чего ж ты опасешься, а?

— Скажи ты мне наперво, кто ты таков? — гордо глядя на него, спросил Харитон Игнатьевич. — Каким ты званием почтён: дворянин ли ты, купец ли, крестьянин ли?

— Ссылнопоселенец! — спокойно ответил Пётр Никитич.

— А-а-а! Стало быть, человек въяве ошельмованный, хе-хе! Так могу ль я к тебе какое доверие питать, а?

— Не доверяешь, и не нужно! Одинаково ведь и я, милый друг, не могу доверять человеку, который два раза в остроге сидел по подозрению в грабеже и прикосновенен к десятку дел о подлоге.

— А всё-таки я не посельщик, всё-таки моя честь при мне!

— Ну, честь-то у нас с тобой, Харитон Игнатьевич, тоньше паутины, постороннему-то глазу едва ли приметна! Будем-ко правду говорить, а не вилять хвостами. Дело всё в том, что мы очень подробно знаем друг друга: выходит, что я ко-са, а ты камень. Смекнул ты сразу, что озеро взять в аренду выгодно. Знаешь, что дело с моей стороны о передаче его будет тёмное, рискованное, а тебе это и на руку. Вот ты теперь и измышляешь, какими бы тебе путями обойти меня и завладеть озером одному, потому что судиться с тобой я не посмею, так как сам на себя никто петли не накинёт. Верно или нет? Ну-ко, скажи напрямки, стыдиться-то нам друг друга нечего...

— Ну, въяве вижу теперь, что недаром тебе на приисках кудри-то расчёсывали! — ответил покрасневший до ушей Харитон Игнатьевич.

— Уму учили!

— И выучили, умё-ё-ён! Впрок пошла тебе эта грамота. Не умру, поколь не увижу тебя в атласе да бархате. Так что ж, селяночкой, что ли, заедим душевное-то расположение друг к другу... а?.. Хе-хе-е? — шутливо спросил Харитон Игнатьевич.

— От селянки я не прочь, кушанье хорошее...

— Люблю я её, особливо когда это с пылу-то она, да шипит, это, шипит, хе-хе, а грузочки в ней так и прискакивают, словно заманивают тебя, хе-хе... как ты теперь меня, к слову сказать. Откровенный ты человек, Пётр Никитич, люблю я таких-то, что начисто узоры выводят, право! Теперь и я тебе скажу своё душевное слово: не сердись ты на меня, что я тебя по колочёным-то рёбрам щупал, это я тебя нарочно пытал, что можно ли ещё с тобой тёмные-то дела вести, не возьмёт ли опаска...

— Ну, можно ли? — с иронией спросил Пётр Никитич.

— Дока, брат, ты, до-о-ка! Вот уж про тебя можно сказать твоё же слово: что со всякого крючка сорвёшь червячка! Откровение это тебе Бог дал!

— Не пожалуюсь, умом не обижен! — самодовольно ответил Пётр Никитич.

— О-о-ох... великое дело, коли ум в человеке есть, — качая головой, глубокомысленно продолжал Харитон Игнатьевич. — С умом человеку и родительского наследья не надоть. Спросите меня, с чем я жить пошёл на белом свете, а-а? С двумя гривнами. А, слава тебе Господи, и домик соорудовал, и в домике теперь пустого места не найдёшь. До тридцати лет у всех на языке был Харитошкой, а теперь всякий ко мне с почётом да уважением относится, всякий чтит меня Харитоном Игнатьевичем. А всё ум, ум! Не будь у тебя ума, разве ты бы додумался до этакой фортуны, а? А векселя, друг, я всё-таки не дам тебе! — лукаво, но пристально посмотрев на него, заключил он.

— Не дашь, так к другому пойду!

— Хе-е, хе-хе-е-е! Знаю, знаю, милый ты человек, что на этакую рыбу, как Святое озеро, самоловов много найдётся; да не бойся! Это я так, шучу. Страсть моя, друг, шутки шутить. Другой, кто не знает меня, подумает, что я невесть какой плут, а я, по душе тебе скажу, — простой человек, что твой младенец, ей-богу. А поломаться люблю... люблю...

— Со мной бы нечего шутки шутить, Харитон Игнатьевич, насквозь друг друга видим!

— А всё ж как-то вот легче стало, любовней ровно, как супротивным-то словом перекинулись. По крайности, увидели, что друг друга стоим, хе-хе-е!.. Дарья, неси-ка селяночку-то, коли готова! — благодушным тоном крикнул Харитон Игнатьевич, подойдя к двери. — Вот, друг ты мой, — снова

начал он, когда в комнату вошла жена его, неся в руках тарелки и чистую скатерть на стол, — разведи меня с бабой, озолочу! Ну что, как в купечество выйдешь, как ты в люди-то с таким перестарком покажешься, а?

— О-ох, уж молчал бы, купец! Кто тебя ещё в купцы-то пустит, спросил бы наперво! — ответила жена, обведя его насмешливым взглядом и, быстро отодвинув стол от стены, накрыла его скатертью.

— Хе-хе-хе-е!.. Заживо тронуло! Ну, ну, не сердись, Дарья Артамоновна, я ведь шучу! На нас и в мещанстве Господь оглядывается! — произнёс Харитон Игнатъевич, хлопнув её ладонью по широкой спине. — Двоих укомплектует, а-а? Вот нам какую под старость Господь супругу послал, хе-хе-е! — обратился он к Петру Никитичу.

— Тьфу ты! — сплюнув, произнесла Дарья Артамоновна и поспешно вышла из комнаты, сопровождаемая весёлым смехом друзей.

* * *

На следующий день, часу в десятом утра, Харитон Игнатъевич подвёз Петра Никитича к одноэтажному деревянному дому, стоявшему внутри обширного двора, обнесённого с улицы резною деревянною решёткой. Дом стоял в центре города, на одной из лучших улиц, и принадлежал уездному исправнику Ивану Степановичу Кашкадамову. Пройдя чисто выметенный и усыпанный песком двор, Пётр Никитич вошёл в людскую, помещавшуюся во флигеле, позади дома. У конюшен суетились кучера, чистившие лошадей: два конюха обмывали щёгольскую полуколяску, недалеко от них на завалине сидело четверо крестьян, пришедших ещё на рассвете и терпеливо ожидавших, когда их примут и выслушают. Просители были старики. Осеннее солнце обливало ярким светом загорелые морщинистые лица и их серые, из домашнего сукна, зипуны. Что-то грустное проглядывало в этой молчаливо сидевшей группе, пришедшей, может быть, за сотню вёрст, оторвавшись от неотложных работ по хозяйству. По двору суетливо перебегали из флигеля в дом горничные, то с чайной посудой на подносе, то с самоваром и кофейником, утюгом или выглаженной юбкой. Каждый раз, как только отворялась дверь во флигеле или в доме, просители, точно по сигналу, поднимались с завалины и обнажали свои лысые головы, обрамлённые прядями седых волос; но, видя, что на них никто не обращает внимания, медленно садились один за другим, перекидываясь изредка каким-нибудь словом.

Иван Степанович Кашкадамов, сидя в это время в кабинете у письменного стола, отдавал приказания повару и эко-

ному о необходимых приготовлениях к предстоящей охоте, к участию в которой приглашены были влиятельные лица местной администрации. Красивое лицо его было крайне озабочено. Он постоянно хмурил брови, тёр лоб, стараясь припомнить, не упустил ли чего-нибудь из виду; несколько раз повторял одни и те же слова, перечислял одни и те же сорта вин, закусок и паштетов. Поглощённый этой заботой, он несколько дней не посещал даже управления, не подписывал накопившихся бумаг, журналов и постановлений. Многие из этих бумаг заключали в себе судьбу какого-нибудь крестьянского семейства, решение давнишнего спора о чресполосном куске земли, освобождение из-под ареста какого-нибудь бедняка, но Ивану Степановичу было не до того... Он принадлежал к тому многочисленному типу людей, которые, доживши иногда до глубокой старости, не выходят из младенческого возраста, и был известен в губернии более под именем «Ванечки», и уменьшительное имя это, несмотря на солидный возраст и служебное положение, как нельзя более шло к нему. Бывши некогда адъютантом при какой-то особе, Иван Степанович считался в высшем кругу города О-а «горячей и опасной головой» и, вследствие свободомыслия, вынужден был променять военную карьеру на более скромную гражданскую деятельность. Рассказывали, что, принимая предложенную ему должность исправника, он открыто заявлял, что «каждый развитой и просвещённый человек обязан посвящать свои силы на служение интересам народа!». Как посвящал Иван Степанович свои силы на подобное служение до женитьбы своей на дочери винокурного заводчика и золотопромышленника Пегова, о том биографы его умалчивали, иронически улыбаясь, но после женитьбы ни для кого не составляло секрета, что тесть его, в компании с ним, оцепил половину губернии кабаками и винными складами. Сделавшись одним из крупных капиталистов и душою высшего губернского общества, Иван Степанович тяготился службою, редко заглядывал в округ и поговаривал даже о выходе в отставку, если б его не задерживало благосклонное внимание к нему начальства, ценившего в нём не ум, но честность.

Окончив распоряжение, Иван Степанович отпустил повара и приказал лакею подавать одеться. В это время горничная доложила ему, что его желают видеть по весьма нужному делу писарь X-ой волости и мужики с просьбой, «пришедшие ещё до света», — добавила она.

— Что там такое? Что им нужно? — с неудовольствием спросил он и приказал ввести просителей в переднюю, предупредив горничную наобусти, чтобы они вытерли ноги и не натоптали на ковре. Тщательно вымытый и причёсан-

ный, с дорогими перстнями на пальцах и запонками на груди белоснежной сорочки, в безукоризненно сшитом фраке, вышел Иван Степанович в переднюю, где в ожидании его стояли у порога крестьяне, а поодаль от них Пётр Никитич.

— А-а, Болдырев! Ну, что такое? Какое такое дело? — спросил он, кивнув головой на низкие поклоны крестьян и пристально рассматривая порыжевший нанковый сюртук Петра Никитича и шаровары его с побелевшими коленями.

— Извините, ваше высокородие, что осмелился беспокоить вас, но встретилось не терпящее отлагательства дело, — отчётливо ответил Пётр Никитич, слегка склонив голову на правую сторону и стоя перед ним с полузакрытыми глазами, как бы не вынося блеска, каким обливал его Иван Степанович.

— Хорошо, после объяснишь, — прервал его Иван Степанович. — Ну, а вам чего нужно? — спросил он, обратившись к крестьянам.

— Окажи нам защиту, милостивец; за тем и пришли к тебе! — в голос заговорили они, сопровождая слова поклонами.

— В чём защиту, от кого? Вы какой волости? — спросил он.

— Белоярской, и села-то Белоярского! Мир нас выбрал ходатайствовать пред тобой! — начал низенький, коренастый старик с нависшими на глаза бровями, из-под которых искрились чёрные пронизательные глаза. — Обидит нас, батюшка, голова наш, Семён Алпатыч, с зятеньком своим, Антон Прокофьевичем! Силы нет владать с ними, заступись! — И старик низко поклонился ему.

— Чем же обидят, ну?

— Много делов-то за ними, о-ох! Коли всё-то посказать, и до вечера время не хватит... Мы, то есть, из села-то крадучись ушли: опаска брала, чтоб не проведал голова-то, что к тебе идём, да не запер бы нас в волость...

— Разве случалось, что он запирает в волость, кто шёл на него жаловаться... а?

— Всячины у нас деется, батюшка! И не на такие дела востёр Семён Алпатыч, — продолжал старик. — Запереть-то в волость не мудрое дело! Судись там с ним из-под замка-то.

— Осмелюсь доложить, ваше высокородие, я не раз слышал, что у них в волости действительно случаются продолжительные аресты без суда и следствия, — почтительно заметил Пётр Никитич, прервав старика, с удивлением посмотревшего на неожиданного заступника.

— Не верится что-то. Я знаю, голова у них степенный и рассудительный мужик.

— Это точно, ваше высокородие, он очень рассудительный человек, — с улыбкой, откашлявшись в руку, продолжал Пётр Никитич, — но я слышал недавно, что он сельского старосту деревни Черемши, превысив власть, продержал две недели под арестом и до того застращал его, что он будто бы представил в податъ фальшивый кредитный билет, утаив настоящие деньги у себя, что тот и заикнуться не смеет теперь о жалобе на него.

— Давно это случилось? — спросил Иван Степанович, нахмутив брови.

— Недавно, как слышал я.

— И это правда?

— Так точно-с!

— Странно! — задумчиво произнёс Иван Степанович. — Отчего же до сих пор никто не довёл об этом до моего сведения, а?

— Не могу знать, — ответил Пётр Никитич.

— Удивляюсь... — произнёс Иван Степанович, с изумлением пожав плечами. — Что это за народ! С них хоть с живых кожу сдирай, они всё будут молчать!

— И сдирают, батюшка! И кожу-то сдирают, и что под кожей-то есть, и то поскоблят! — подхватил старик. — И плачешь, да молчишь: он властный человек, богатый, а мы-то что супротив него? Вон теперь зятёк-то его как мир-то обидел, один Бог только видит. Лужок у нас есть. Мы сообча и косили на нём. Только в прошлом году зять-то головы, Антон Прокофьич, и пристань к нам: отдай ему этот лужок на лето в аренду! Скот он скупает по деревням-то, сена на прокорм-то его в зиму много требуется, покупать-то надсадно, вишь, карману-то... всё как подешевле норовит. Ну, и вздумал лужок у нас в аренду взять для сенокосу. Мы-то и не хотели, признаться, отдавать, так голова-то пристал к нам — отдайте да отдайте; плату дали хорошую, нечего сказать: сто двадцать рублёв за лето мы взяли с него. Ладно! Условие сделали в волости как следует. Мы-то, признаться, и не хотели условия-то делать: в отпор, мол, не пойдём, коли слово дали; так голова же тогда и настоял, что без условия не можно. Сделали. Только нонче, как пришёл сенокосто, мы по порядку поделили, как, значит, промеж себя луг, скосили, сметали стоги, всё ничего, всё молчал наш Антон Прокофьич. Только, когда уж управились делом, он и вступись: по какому-де праву мы на чужом лугу хозяйствуем? «Как на чужом? — говорим ему. — Луг наш, мы тебе отдали его только на одно лето». — «Нет, говорит, луг мой, а вашим он будет по скончании трёх годов, как в условии сказано!» А в условию-то они, ваша милость, заместо одного-то лета

на четыре годочка вписали! Вот какие дела у нас делаются! Совсем теперь без сена остались, скотина хошь пропадай! Кое-где по болотцам покосили, и всё тут. То ись за работу-то нам не заплатил: вольно, говорит, вам было очертя голову косить-то!

— А точно ли вы на одно лето отдавали луг? Верно ли это? — спросил Иван Степанович, прерывая старика. — Смотрите, говорите да обдумывайте. Ведь вы обвиняете волость в подлоге, в фальшивом составлении условия! Когда условие-то заключили, пили вино?

— Пили! Был этот грех, батюшка!

— Допьяна пили?

— Пошатывало, не потаимся! Голова-то на угощение не поскупился, все были довольны.

— Ещё бы довольны не были! Вы за ведро-то душу продадите, знаю!

— Полно, милостивец! — тоскливо глядя на него, ответил старик.

— Сами же, верно, спьяна отдали луг на четыре года, — разгорячась, говорил Иван Степанович, обратившись к Петру Никитичу, — а теперь спохватились и пошли с жалобой. Знаю я, как всё вас обижают да обируют! Не остаётся и вы в долгу, гуси-то лапчатые!

— На лето, родной, мы отдали луг ему, на лето! Коли нам веры не даёшь, Богу поверь! — ответил старик.

— В этом и вся ваша жалоба?

— О-о-ох! Много делов-то, мно-ого! Вдову, теперича, жену покойного Мирона Силича, детную сироту, обобрали дочиста...

— Кто?

— Всё тот же Антон Прокофьич с головой, Семёном Алпатычем. Покойник-то, вишь, должен был Антону-то. Сколько должен-то был, бог их знает. Тёмное дело-то. Акулина, вдова-то, говорила на миру, что и двадцати рублёв не будет, а Антон-то сказывает, что и от сотни хвостики останутся. Да теперича и отобрали, с головой-то, у неё лошадь, корову да нетель годовалую, да ещё грозят жаловаться. Разорили бабу-то в корень...

— Ну, и всё тут?

— Дивья, кабы всё-то. Кабак теперь Антон-то завёл...

— Ну хорошо, довольно! — остановил его Иван Степанович. — Подите теперь в полицейское управление и скажите, что я прислал вас и приказал снять с вас письменное заявление о вашей претензии на голову. А ты, Болдырев, пройди ко мне в кабинет, — сказал Иван Степанович, выходя из передней в залу.

С минуту постояв в нерешительности у порога, крестьяне один за другим вышли из передней и, почёсывая в затылках, медленно пошли со двора, держа шапки в руках; а Пётр Никитич, пройдя осторожно на носках через залу в кабинет, остановился у порога, почтительно откашливаясь в руку.

— Какое же дело встретилось у тебя? — спросил Иван Степанович, опускаясь в кресло. — Надеюсь, по волости ничего особенного не случилось?

— Всё благополучно-с! Подати, по обыкновению, собрали сполна и сдали в казначейство!

— Хорошо! Говори же скорее, какое дело. Я тороплюсь, мне некогда, нужно ехать! — предупредил он, любуясь носком своего лакированного сапога.

Осторожно переступая по мягкому дорогому ковру, Пётр Никитич подошёл к Ивану Степановичу и, подав ему пакет с циркуляром, снова отошёл к порогу. Молча вынув циркуляр, Иван Степанович прочитал его и с недоумением посмотрел на Петра Никитича.

— В этом и заключается затруднившее тебя дело? — спросил он.

— Так точно-с...

— Что ж тут особенного ты нашёл? Палата требует, чтоб ей доставили сведения, какие есть в волости сенокосные луга, рыбные озёра или пески, которые принадлежат казне и могли бы быть обращены в оброчные статьи...

— Так точно-с...

— Есть в волости такие угодья, которые принадлежат казне?

— Есть.

— И донеси палате, что есть. Об этихких пустяках не следовало и ехать спрашивать меня! — с неудовольствием произнёс Иван Степанович, доставая из коробки свежие лайковые перчатки и растягивая их на пальцах левой руки.

— Позвольте, ваше высокородие, обстоятельнее изложить пред вами настоящее дело? — спросил Пётр Никитич, откашлявшись в руку.

— Говори, — ответил Иван Степанович, не оглядываясь.

— На основании этого циркуляра, ваше высокородие, мы должны донести, что в пределах волости есть рыбное озеро, называемое Святым, которое принадлежит казне и приносит крестьянам в год от трёх до четырёх тысяч рублей дохода. Палата зачислит озеро в оброчную статью, и тогда крестьяне, чтоб пользоваться им, должны будут арендовать его у казны.

— Весьма естественно. Палата и имеет это в виду...

— Так точно-с. Но тут встречается, ваше высокородие, обстоятельство, для изложения коего я и осмелился беспокоить вас.

— Какое же ещё обстоятельство?

— Вашему высокородию небезызвестно, что немногие из крестьян нашей волости занимаются хлебопашеством, вследствие дурной, болотистой почвы земли?

— Знаю!

— Единственным источником для безбедного существования их и безнедоимочной уплаты податей и повинностей служат вырубка на продажу строевого леса, выделка деревянной посуды, а главное, улов рыбы из озера. Если озеро отберут у них, тогда они неминуемо обнищают, так как исключительно только вырубкой леса и поделкой посуды они не могут существовать.

— Они будут арендовать озеро и пользоваться им, — заметил Иван Степанович,

— Совершенно справедливо, ваше высокородие; но так как арендная плата ввиду того дохода, какой приносит озеро, по всем вероятностям, будет значительная, — не менее полутора или двух тысяч в год, — то уплачивать такую значительную сумму, не нарушая своего благосостояния, крестьяне могли бы, ваше высокородие, только в таком случае, если б, сообразно с новым расходом, увеличился и их доход; но нести подобный непредвиденный расход из той же суммы дохода, какой они имеют теперь, они не в состоянии. А посему они будут постепенно беднеть, на них будет накапливаться недоимка, и кончится тем, что богатая теперь волость придёт со временем в состояние крайнего упадка.

— Ну, так что ж нам делать в таком случае? — вопросительно взглянув на него, сказал Иван Степанович. — Ведь мы не виноваты в этом, распоряжение это идёт не от нас.

— Так точно-с... Посему я и осмелился беспокоить вас; не благоугодно ли вам будет изыскать меры к предотвращению сего зла?

— Ну, ну, ну... Какие же меры? Ну, что бы ты сделал, бывши на моём месте? — спросил Иван Степанович, вскочив с кресла, и остановился посреди комнаты, заложив руки за фалды фрака.

— Я бы донёс, ваше высокородие, что в пределах волости есть озеро, не вошедшее в надел крестьян и составляющее собственность казны, но озеро совершенно безрыбное, дохода никакого не приносит, и зачислять его в оброчную статью не встречается надобности.

— То есть как же это? — широко раскрыв глаза, с недоумением спросил Иван Степанович. — Совершил бы наглый об-

ман, клонящийся к намеренному подрыву интересов казны, а-а?

— Подобным донесением, ваше высокородие, я не подорвал бы интересов казны, а сохранил бы их, — спокойно ответил Пётр Никитич.

— Не понимаю, как это, объясни.

— Как я уже имел честь доложить вашему высокородию, — начал Пётр Никитич, — если озеро зачислят в казну и крестьяне будут арендовать его, то это немедленно повлечёт за собою постепенное обеднение их, что прежде всего выразится в неаккуратной уплате податей и в накоплении недоимки. Казна будет получать ежегодно полторы или две тысячи рублей за озеро и в то же время будет более терять от недобора податей с волости. Для казны, ваше высокородие, более интереса, если волость в количестве тысячи трёхсот душ живёт безбедно, аккуратно уплачивает подати и повинности в размере девяти или десяти тысяч в год, нежели, погнавшись за тысячью пятьюстами или двумя тысячами рублей дохода от аренды озера, она приведёт со временем волость в крайнюю нищету и допустит накопление недоимки, которую должна будет прощать им по безнадёжности взыскания.

Молча выслушав доводы Петра Никитича, Иван Степанович, понутив голову, задумчиво прошёлся несколько раз по кабинету и затем, остановившись у окна, забарабанил пальцами по стеклу. Пётр Никитич искоса наблюдал за ним, покашливая время от времени в руку.

— Хорошо! — произнёс вдруг Иван Степанович, круто повернувшись к нему на каблуке. — Донесём мы, что озеро безрыбное, доходу не даёт; а вдруг откроется, что мы донесли ложно, а? Тогда что? Тогда ведь, брат, не похвалят! Тогда ведь достанется всем сестрам по серьгам!

— Не достанется, ваше высокородие!

— Да ведь это ты говоришь! А я тебе говорю, что достанется. Ведь озеро-то это здесь все знают.

— Знают... так точно-с!

— А ты донесёшь, что оно безрыбное? Отличишься! Положим, ты сделаешь это с похвальной целью оградить интересы казны и крестьян! Да такими ли глазами посмотрят на твой поступок вверху, а-а? Ты подумал ли об этом, а?..

— Думал, ваше высокородие!

— Ну, что ж?

— Если даже и догадаются, то посмотрят на это донесение сквозь пальцы... а чтоб догадались — сомнительно!

— Ну, не-ет, брат, это ты шалишь! — сделав пируэт перед ним на каблуке и закусив губу, фамильярно произнёс Иван Степанович. — Шали-и-ишь! — повторил он.

— Неужели вы, ваше высококородие, изволите полагать, что палата будет справляться, верно мы донесли или нет. Да ведь в таком случае ей бы по каждому донесению волостных правлений следовало производить удостоверения. А если бы даже и догадались, что сведения, доставленные нами, неверны, то палата также хорошо знает, что в большинстве случаев доставляемые волостными правлениями сведения страдают отсутствием истины. Вот если бы волости, ваше высококородие, стали всегда доносить одну истину, так это бы скорее не понравилось, — с иронией произнёс Пётр Никитич.

— Что ты за вздор городишь, — прервал его Иван Степанович.

— Истину докладываю вам! Позвольте мне, в подтверждение моих слов, рассказать случай, бывший со мной ещё при покойном предместнике вашем, Олимпане Гавриловиче Нурядове.

— Ну.. что такое? — произнёс Иван Степанович, взглянув на часы и снова спуская их в карман.

— Это было ещё в первый год моей службы писарем, ваше высококородие. Нужно было представить обычный годовой отчёт о состоянии волости. Я и представил, составив его по сущей совести и правде. Проходит недели две; вдруг требуют доставить меня с нарочным в губернское правление. Я испугался, думаю, что такое случилось. Приезжаю, являюсь. Выходит ко мне советник с моим отчётом в руках. «Ты, говорит, писарь X-ой волости?» — «Я!» — «Ты составлял отчёт?» — «Я!» — «Что, говорит, в волости действительно нет ни одной школы, завода... и не существует между крестьянами никаких ремёсел, кроме выделки деревянной посуды?» — «Так точно, говорю, ваше высокоблагородие!» — «Что же, говорит, подумает высшее начальство, когда мы представим такие статистические данные? Значит, мы небрежём о народном образовании, о народном благосостоянии и развитии мануфактур и промышленности?» — «Не могу, говорю, знать, ваше высокоблагородие: я составлял по сущей совести!» Взглянул он на меня так сурово и говорит: «Садись и перебели эту страницу; пиши: школ — одна; посещают её от пятидесяти до шестидесяти учеников обоего пола». Я так и обомлел; но делать нечего, сел и пишу. «Пиши, что в волости имеется один канатный завод, производящий оборот капитала от трёх до пяти тысяч в год, и завод для выделки лыка на кули и рогожи, и, кроме того, в населении распространены мелкие заводы для выделки посуды и других деревянных изделий. Промышленность среди крестьян ежегодно увеличивается, а вместе с оной возрастает их благосостояние, с развитием же среди них грамотности заметно улучшается нравственность».

— И ты написал всё это?

— Смел ли ослушаться, ваше высококородие, если приказали...

— Ну, это того, однако ж, курьёз, ха-ха-ха... И с тех пор ты так и составляешь отчёты?

— Сами изволите читать, ваше высококородие!

— Да, да, — ответил, покраснев, Иван Степанович, который никогда не читал отчётов, доставляемых волостными правлениями, хотя и скреплял их подписью. — Да, да, у нас всё так, на бумаге всё есть, всё процветает: и промышленность, и образование, и благосостояние народа, — с какой-то грустью в голосе произнёс он.

— Так и в этом случае, ваше высококородие: неужели палата знает, какие где озёра, и рыбные они или нет, и будет поверять все донесения волостных правлений? Если б она знала о существовании Святого озера, то давно бы уж зачислила его в оброчную статью. Получат наш ответ, прочтут и пришьют к делу. Тем всё и ограничится!

— Рискованно, брат, рискованно! А вдруг, а?

— Как угодно-с.

— А вдруг, говорю, откроется, а? Тогда что? — остановившись против него, спросил Иван Степанович. — Тогда ведь, того, потянут...

— И не такие дела, ваше высококородие, делают, да не притягивают! — заметил Пётр Никитич.

— Ну представь себе, что ты донёс, как говоришь, и вдруг получаешь запрос, что, так как по имеющимся сведениям озеро, называемое Святым, оказывается рыбным и весьма доходным, то какими данными руководилось волостное правление, сообщая о совершенней бездоходности такового, а?

— Отпишем-с!

— Говори, что же ты отпишешь?

— Сообщим, что озеро это действительно когда-то считалось чрезвычайно богатым рыбой, но с течением времени улов таковой становился всё менее и менее, а за последние года, по отзывам крестьян, спрошенных по сему поводу, окончательно иссяк, вследствие чего, дабы не ввести палату в заблуждение неосновательным сообщением о доходности озера, волостное правление донесло в отрицательном смысле.

— И ты полагаешь, этим удовлетворятся?

— Удовлетворятся, ваше высококородие, на том основании, что кто же может поручиться, что завтра же в этом озере не может исчезнуть вся рыба и завтра же снова появиться? Ведь всё это дело в руках Божьих.

— Гм! Так-то оно так! — пройдя по комнате, с раздумьем произнёс видимо колебавшийся Иван Степанович.

— Если донести, ваше высокородие, не скрывая истины, — снова начал Пётр Никитич, — и выяснить при этом палате, что зачисление озера в оброчную статью будет угрожать разорением волости, и ходатайствовать о том, чтобы озеро отдали в надел крестьянам, то решение этого вопроса будет зависеть от министерства, и пока он выяснится, озеро всё-таки зачислят в оброчную статью; а будет уважено ходатайство или нет, это ещё неизвестно. Тогда как, донеся теперь о непригодности озера, мы можем, ваше высокородие, чрез полгода войти с ходатайством об отдаче его в надел крестьянам, в том внимании, что они пользуются озером для сплава вырубаемого за тундру леса. Ввиду непригодности озера решение вопроса об отдаче его в надел будет зависеть от палаты, и она уважит наше ходатайство!

— А-а! Вот этак-то разве! Ну, так оно того... Однако ж заболтался я с тобой, — неожиданно произнёс Иван Степанович, взглянув на часы, — мне ведь давно уже нужно бы ехать! О-ох, дела, дела! — вздохнув, сказал он с усталым видом. — Да! Так что я хотел сказать тебе? Да! Хоть мне, признаться сказать, и не хотелось бы прибегать к какой бы то ни было лжи, потому что ложь противна моей натуре, но как я вникнул теперь в положение крестьян, которое действительно будет безотраднo, если у них отберут озеро... а я желаю всякому добра, и желаю его искренно, а в особенности мужику, то... донеси, как ты говорил. Попробуй, посмотрим, что выйдет. Может быть, и удастся оградить их от нужды! Ну, а если загорится дело, так я постараюсь уладить его своими мерами. Понял?

— Слушаю-с!

— Более у тебя ничего нет сказать мне?

— Никак нет-с, ваше высокородие!

— Ну так прощай, или, скорее, до свиданья! Я, может быть, в начале будущего месяца улучу денёк-другой и заверну в волость. Да пойдёшь когда, так зайди в людскую, скажи, чтоб мне подали лошадей.

В тот же день, после сытного обеда, Пётр Никитич собрался в обратный путь. Харитон Игнатьевич, тщетно старавшийся проникнуть в тайну совещаний его с Иваном Степановичем и ничего не добившийся, только вздыхал, трепал Петра Никитича по плечу да приговаривал время от времени: «Ну, ну, смотри тачай дело крепче, кабы умственная-то дратва не подпоролась где, хе-хе-е!» — и любовно заглядывал ему при этом в глаза, потирая руки. Прощаясь с ним, Дарья Артамоновна вручила ему небольшой кулёк на память, в котором было завёрнуто фунт чаю, два фунта сахара и банка домашнего варенья. Гостинцы эти были вручены ею Петру

Никитичу по особому приказанию Харитона Игнатьевича, не любившего без нужды баловать своих друзей угощением и подачками,

* * *

В глухой пустынной местности была заброшена Х-ская волость. Пробраться в неё была возможность только в одноколке или на лошади верхом, чрез первобытные леса и болота, усеянные мелкими озёрами. Изредка среди унылой, однообразной равнины выдавалась узкая полоса удобной хлебопахотной земли или небольшая холмистая поляна, и эти ласкавшие взгляд оазисы природа, казалось, рассыпала только для того, чтобы резче оттенить бесплодную тундру. Немногие из крестьян этой волости занимались хлебопашеством, да и те часто не возвращали зерна, потраченного на посев, и, несмотря на такие условия, крестьяне всё-таки славились крупною зажиточностью. «Гиблые у нас места, не род на них хлебу; не будь у нас леску да благодатного озера, так давно бы ходили по миру!» — обыкновенно отвечали они на вопросы любопытных, интересовавшихся знать, на чём основывается их благосостояние. Густые обширные леса, или «божья нива», как говорит народ, тянулись от востока к северу по всей волости и терялись в глубине тундр, куда не заходила ещё нога человека. В лесах таились обширные озёра, окаймлявшие волость, как ожерелье. Весь ряд этих озёр крестьяне соединили искусственными протоками для сплава водою вырубаемого леса, дров, лыка, угля и выгоняемых из дерева смолы и дёгтя. Деревянная посуда, какую выделывали они, а также колёса, телеги и дуги славились своею прочностью далеко за пределами Т...ой губернии. Не на один десяток рублей сбывала трудолюбивая крестьянская семья этих изделий на сельских ярмарках и заезжим скупщикам. Но одна торговля лесом и изделиями из дерева не доставила бы крестьянам того благосостояния, каким они пользовались. Они черпали его главным образом в Святом озере. Богатое рыбой, озеро занимало площадь в двенадцать, а местами в шестнадцать вёрст ширины и тянулось на протяжении двадцати вёрст. Плоские берега его скрывались в зелёной осоке, девственные леса окаймляли его со всех сторон, как бы охраняя своею густой непроницаемою сетью от завистливого глаза. Узенькими тропинками, опасными даже для опытного пешехода, проложенными среди топких болот, пробирались к нему промышленники, неся на себе провизию, невода и рыболовные снаряды. Лепившиеся кое-где по берегам озера устроенные на сваях избушки, в которых промышленники находили приют от осенних ветров и зимних вьюг, придавали несколько

оживлённый вид этой пустынной местности. Добываемая в озере рыба, особенно караси, по своему крупному объёму составляла редкость даже в Сибири и дорого ценилась на рынках. В годы, богатые уловом, бедная по числу работников семья сбывала рыбы с одного летнего промысла на шестьдесят, на семьдесят рублей. Лет за шестьдесят до описываемого мною времени крестьяне пользовались озером вместе с инородцами Чубур-ой волости, небольшие селения которых, или юрты, были разбросаны в пограничных лесах. Отчасти по природной беспечности, а вернее всего, во избежание столкновений с крестьянами, робкие и уступчивые инородцы постепенно отстранились от озера и в последнее время не смели даже и появляться около него. Отчуждение их от озера крестьяне объясняли тем, что какой-то старец, необычайно светлый ликом, пугал будто бы каждого инородца, желавшего забросить в озеро свою сеть или невод, или скрывал пути к озеру, заставляя бесцельно блуждать по лесам и болотам. Благодаря этим легендам, переходившим из рода в род, озеро нарекли «Святым» и построили около него часовню, в которой ежегодно перед началом весеннего улова служили молебны. Крестьяне домогались даже устроить крестный ход к озеру и ярмарку в ближнем к нему селе, но епархиальное начальство почему-то не уважило ходатайство, и вопрос об этом замолк.

Волость считалась богатейшею в Т...ой губернии и единственной, на которой никогда не числились недоимки. Но эта завидная для других зажиточность нелегко доставалась крестьянам. Круглый год они проводили в упорном труде, не зная отдыха и праздников. Летом и осенью сѣла и деревни совершенно пустели; мужчины, чередуясь между собою погодно, уходили артелями, — одна половина в леса, сплавлять дрова и строевой лес, вырубленный зимою, другая на озеро, на рыбный промысел. Многолетние старики, и те жили летом в лесах, выкуривали дѣготь, выгоняли смолу, жгли уголь и драли лыко. Зимою, до января, большинство крестьян занималось выделкой посуды и других изделий, а с января снова уходило в леса для рубки дров и строевого и поделочного дерева. Вязанье сетей, мерѣжи для неводов и окраска посуды лежали исключительно на обязанности женщин и детей. Жители смежных волостей частенько подсмеивались над неутомимым трудолюбием своих соседей, называя их «болотными скаредами», но втайне завидовали им, и в нужде не иначе как к ним обращались за помощью, уступая им за бесценнок лён, коноплю, хлеб, овощи и сено. Благодаря своей заброшенности в глуши волость эта представляла особенный мирок, с особым складом жизни и обычаяв. Случались ли между

крестьянами споры из-за промыслов или при дележе добычи, все эти дела кончали по решению стариков, выбираемых обществом из своей среды. Ни одно дело не доходило даже до волостного суда, не только далее. Власти редко заглядывали в этот уголок, по отсутствию хороших дорог, и появление чиновника каждый раз возбуждало в крестьянах любопытство, смешанное с боязнью. В волости не было ни одной школы, но не было также и ни одного кабака, и хотя крестьяне отзывались, «что им некогда пить, что до баловства этого они не охочи», но существовали сильные подозрения, что, защищённые неудобством путей сообщения от надзора полиции и чиновников акцизного ведомства, они свободно выкуривали вино для своего удовольствия.

Возвратившись из города, Пётр Никитич застал в селе Х-во волостного голову Мирона Кузьмича Бочарова, пригласил его к себе, прочитал ему циркуляр и объяснил, что, по приказанию исправника, для того чтобы оставить озеро во владении крестьян, нужно составить общественный приговор и довести, что озеро безрыбное, не приносит никакого дохода и крестьяне не имеют в нём надобности. Мирон Кузьмич был человек пожилой, тихого, нерешительного характера, не отличался умом, хотя и любил с глубокомысленным видом резонёрствовать по всякому поводу. Он не нашёлся что отвечать и с полчаса сидел молча, усердно отирая пот, крупными каплями выступавший на лбу и щеках. Он не мог понять ничего из всех разъяснений Петра Никитича. В ушах его только и звенели грозные слова: «Озеро отберут в казну и зачислят в оброчную статью!». Он так и ушёл, не уяснив, в чём дело, и немедленно поехал в деревню Подъельную, к крестьянину Никифору Гавриловичу Бахлыкову, считавшемуся в народе умным и опытным человеком. Выслушав бессвязный рассказ Мирона Кузьмича, старик Бахлыков сказал ему: «Дело это, Мирон Кузьмич, общественное, вековое; от озера питались и деды, и отцы наши, от озера и мы сыты и благополучны. Хоша мы от Петра Никитича и не видали ничего худого, но полагаться на одни его слова в эфтом деле не можно. А ты, на мой ум, поезжай-ко завтра сам к исправнику и спроси его доподлинно, как и что, а опосля того собери всё общество, и мы сообча подумаем, как и что делать нам!». Пока, по совету Бахлыкова, Мирон Кузьмич ездил в город, весть, что озеро зачисляют в оброчную статью, пробралась в народ, вызывая в нём шумное волнение, и когда волостные сотники объезжали сёла и деревни, сзывая крестьян на сход, каждый знал уже причины схода.

Никогда ещё не замечалось в крестьянах такого оживления, как в эту памятную для них пору. Вышедшие из подушно-

го оклада старики и молодёжь, не имевшая ещё права голоса, одинаково ехали в волость послушать, чем решит мир вопрос об озере, от которого зависело всё их благосостояние. В день схода небольшое здание волости не вместило в своих стенах массы народа. Крестьяне теснились на крыльце и на улице у раскрытых окон. Мирон Кузьмич, облечённый в жалованный кафтан, с трудом пробрался через толпу. Несколько минут по приходе его длилось молчание. Вынув из кармана платок и отерев им потное лицо, он спросил, обратившись к народу:

— Слыхали, поди, господа občественники, про горе-то наше?

— Как не слышать, Мирон Кузьмич, слышали! — заговорили в толпе в ответ ему.

— Добрая-то весть не скоро доходит, а худую-то на полслове ветер подхватывает да в уши несёт!

— Учи, чего теперь делать-то нам! Неуж поступимся озером-то? — наперерыв говорили в толпе.

— За озеро нам, občественники, надо грудью стоять, дело это вековое! — ответил Мирон Кузьмич, глубоко вздохнув. — Не дай Господи сплошать нам! Перед Богом ответ за наших деток дадим, ежели пустим их идти по миру за наши грехи... По этому самому был я у исправника, občественники, утрусил его милость разговором, и теперича по разговорам этим касательно озера так обсудили, чтобы нам при всяком случае...

— Мирон Кузьмич, — прервал его Пётр Никитич, вставая со стула, — обществу бы нужно прочитать прежде циркулярное предписание палаты, и потом уже выяснить соображения, как предполагаем мы ответить на него.

— Известное дело, надоть гумагу прежде читать, что написано в ней про озеро! — раздались голоса. — А то мы эк-то до ночи будем слова-то, что зерно, без толку из мешка в мешок пересыпать.

— Читай гумагу, послушаем, чего пишут! — решил сход.

Громко и отчётливо произнося каждое слово, прочитал Пётр Никитич циркуляр. Слушая его, народ, казалось, затаил дыхание, и несколько минут по окончании чтения все молчали.

— Что-то я в толк не возьму! — произнёс наконец высокий худой старик в халате из чёрного смурого сукна, стоящий в переднем ряду. — В гумаге о Святом озере ровно и помину нет! — спросил он, пристально глядя на Петра Никитича.

— Не упоминается! — ответил Пётр Никитич. — В этой бумаге требуют, чтобы волостное правление донесло, нет ли в волости озёр или рыбных песков на реках, не отданных в надел крестьянам, а принадлежащих казне, которые по зачис-

лении их в оброчные статьи могли бы сдаваться в аренду, — пояснил Пётр Никитич.

— А разве наше-то озеро казённое? — прервали его.

— Казённое.

— С коих это пор казна-то хозяином ему стала? — заговорили в толпе. — Мы все думали в простоте-то, что оно Божье да наше.

— Все земли, леса и другие уголья, — начал пояснять Пётр Никитич, — хотя бы даже и отданные в надел крестьянам, всё-таки принадлежат казне, как её собственность, и казна сдаёт эти земли вам в оброк, почему вы и платите за пользование ими оброчную подать! Святое же озеро не отдано вам в надел, и, следовательно, хозяин ему во всяком случае казна, а не вы.

— С чего ты взял, что хозяин ему казна, а не мы? — прервали его. — Что не отдано нам, а? Почто же это деды и отцы наши владели озером? Казна не вступалась в него, а теперь вдруг спохватилась!

— Постой... постой! — прервали их десятки голосов из толпы, в которой сыпался крупный говор. — Ты говоришь, что озеро казённое!

— Казённое! — ответил Пётр Никитич.

— А мы-то какие такие люди, казённые аль вольные, а-а?

— Государственные крестьяне!

— Стало быть, и мы казённые, и озеро казённое, как бы одной матки дети, так, что ли?

— Так...

— Пошто же это казна-то у своих деток добро отнимает, а? Статочное ли дело, чтобы мать у своего ребёнка грудь отнимала, оставила его голодом да подпустила бы к ней чужого, а?

— Бог ведь озерко-то рыбкой населил на обчую потребу!

— Не то вы все говорите, братцы... Тут надо всякое слово по форме выпускать! — крикнул старик в смуром халате, обращаясь к толпе. — Постой, дайте вымолвить-то! — кричал он. — Ты говоришь, Пётр Никитич, что озеро не отдано нам?

— Нет!

— Втолкуй же, пошто отцы и деды владели озером, казна не вступалась, а теперь отбирает его у нас? Стало быть, оно наше было?

— Оно никогда не было вашим, а не отобрано до сих пор у вас озеро потому, что не знали о существовании его.

— А теперича знают?

— И теперь не знают, почему и требуют, чтоб донесли, нет ли в волости озёр, которые принадлежат казне...

— А-а! Не знают! Так и ты молчи, притаись!

— И то, Пётр Никитич! Прямое дело, слышь, язык-то за зубами держать!

— Пиши, что нет озера...

— Было, мол, озеро, да пристращали в оброк отдать, так спряталось... ходи там по лесам-то да по болотам, аукай его, откликнется ль!

В толпе прокатился громкий взрыв хохота, поощривший выходку остряка.

— Нет, господа, умолчать об озере, донести, что нет его, — нельзя! — произнёс Пётр Никитич, возвышая голос, чтобы заглушить не умолкавший говор и смех. — А вдруг откроется, что в волости есть озеро, принадлежит оно казне, что вы испокон веку хозяйничаете на нём, а мы умышленно умолчим, с целью подорвать интерес казны. Тогда ведь, господа, не поздоровится ни мне, ни волостному, ни земскому начальству. Тогда ведь и под суд отдадут.

— Правду, братцы, Пётр Никитич говорит, правду! — вступился старик Бахлыков. — В целое-то бревно никто клина не вколачивает, а всё прежде надколет его; так и в этом деле надоть прежде обсудить, да потом вершить. Вот ты скажи-ко нам, Пётр Никитич, а вы, občественники, послушайте, — обратился он к толпе, — зря-то слова не мечите, не сбивайте с речи... Коли ты напишешь, что у нас есть озеро, казённым считается, то чего же опосля того будет, чего казна-то с ним делать станет?

— Зачислит в оброчную статью и будет отдавать с торгов в аренду желающим взять его.

— За плату?

— Конечно, не даром!

— А много ли она этой платы положит? — заговорили в толпе, прервав Бахлыкова.

— Вы слышали, что в бумаге требуют подробно донести, какой доход даёт озеро или рыбный песок. Следовательно, мы должны донести, что вы вылавливаете в озере рыбы, ну, скажем, хоть на четыре тысячи в год. Имея в виду такой доход от озера, казна положит арендной платы за него тысячу рублей в год и на торгах оставит озеро за тем, кто больше даст.

— Кому же она отдавать его будет?

— Если вы пожелаете оставить его за собой, она вам и отдаст его.

— За тысячу рублив?

— Ну не-е-ет, подороже, может быть, и за две, и за три тысячи, а то и все четыре заплатите. Охотников-то пользоваться озером и кроме вас много найдётся. Значит, на торгах-то наколотят на него цену.

— О-о-о! Три аль четыре тысячи! Ну, это деньги!

— Погни-ко горб добыть их!

— И в мороз потом обольёшься!

— Обольёшься, брат, а нуждой, что солнышком, обсушишься!

— Пётр Никитич, послушай-ко! — кричал в толпе молодой крестьянин, усиливаясь пробраться вперёд. — Скажи-ка нам, если мы тепереча всем обществом, сколько есть нас, сколотимся с казной-то на трёх тысячах за озеро, тогда уж, стало быть, мы не будем платить ни подушной, ни оброчной подати и уж никакой крестьянской тяготы не будем нести на горбах-то, а-а?

— За что же такая милость настанет для вас, а? — с иронией спросил Пётр Никитич.

— Эва, а как же иначе, сердешный ты человек! — отвечал тот, продравшись, наконец, после многих усилий к решётке. Лицо его было облито потом, и включенная борода торчала почти стоймя. — Мы ведь деньги-то, что выручаем за рыбку, в казну же отдаём, мимо кармана-то её они не минуют, а то бы где же нам денег-то на подать взять, кабы не озеро? На мой ум, оно и выходит, коли палата озеро возьмёт у нас и мы его купим у ней за три тысячи арендательских денег, то уж, стало быть, податей с нас брать не будут, арендательские деньги заместо податей и пойдут в казну.

— Нет, это не всё равно. Вы и тогда будете платить и подушную, и оброчную подать, и аренду само по себе. Ведь уж я толковал вам, что озеро казённое. Если вы не возьмёте его в аренду, то возьмёт другой и отдаст казне деньги за него. Если возьмёте вы, то аренду будете платить за то, что будете пользоваться озером, а подушную и оброчную подать — по закону, как платите и теперь!

— Ой-ой-ой! Это и за озеро плати, из которого мы добываем теперь подать, да и подати своим чередом вноси. Да где ж мы, братец, наберёмся денег-то? А то, может, если озеро отберут у нас, так тогда не станут и податей с нас брать, а?

— Почему?

— Да ведь палата-то знает, поди, что, кроме как из озера, нам неоткуда денег добывать!

— Если б и знала, то всё-таки она не может освободить вас от уплаты податей и повинностей.

— Так где ж мы будем денег доставать, скажи ты нам, научи! — спросили уже десятки голосов.

— Где знаете, это уж ваше дело.

После ответа Петра Никитича на мгновение всё смолкло. Но вдруг, точно от какого толчка, все заговорили разом. Как всегда бывает в многолюдной толпе, голоса слились в общий нестройный хор, в котором и чуткое ухо, при всём напряже-

нии, уловило бы только отдельные, ничего не объясняющие слова.

— Я и говорю, что нам не надо плошать, общественники. Не попусти нас, Господь, нищими остаться! — говорил с тоскою в голосе Мирон Кузьмич небольшой кучке крестьян, преимущественно стариков, сгруппировавшихся у решётки. — Ведь это что ж, — рассуждал он, разводя руками, — коли мы озера решимся, так заживо в гроб ложись! Вот мы и думали думу, — я да Пётр Никитич, пошли ему Бог здоровья за то, что радеет об нас. Оно бы и лучше не надо, чего мы надумали, да ты того, Пётр Никитич... я-то, признаться... ты бы сам обсказал, — обратился он к нему, замаявшись.

— Ти-и-ше! Помолчите, братцы, прислушайтесь! — закричали в передних рядах, обращаясь к толпе, где взволнованные страсти вызывали горячий говор. У всех были раскрасневшиеся и потные от духоты лица, все говорили, и трудно сказать, слушал ли кто-нибудь, что говорил ему другой. — Тише... ти-и-ше! — понеслось и в толпе. — Молчите уж! Слушайте! Э-э-эх, вороньё! Да помолчите, не каркайте! Чтоб вас! — раздалась уже более энергические восклицания, сопровождаемые бранью.

— Отстоять озеро, общественники, дело не трудное, — начал Пётр Никитич. — Обсудите только всё основательнее. Нам нужно теперь сделать так, чтоб озеро по-прежнему осталось за вами.

— Любо бы это, дай бы Господь! — слышались в ответ ему восклицания.

— И мы отстоим его.

— Похвались-ко, как ты отстоишь-то его? — спросил Бахлыков.

— Дело не мудрое! Палата не знает, что в волости есть озеро, а то бы давно отобрала его у нас и зачислила в оброчную статью. Поняли?

— Зевка бы не дала, как не понять, поняли!

— Вы составите общественный приговор, что озеро лежит среди болот и лесов, вдали от жилых мест, что оно совершенно безрыбное, так сказать, бросовое, поняли?

— Это как же так! Мы всей волостью от озера кормимся, а ты из него единым словом всю рыбу выловил?

— Слушайте далее, не прерывайте!

— Ну, ну, послушаем, будь оно по-твоему, без рыбы!

— Мы скажем в общественном приговоре, — продолжал он, — что обращать озеро в оброчную статью, ввиду его непригодности, палате не предстоит надобности, так как едва ли найдутся желающие взять его в аренду. Поняли?

— Как не понять, хошь и мудрено что-то.

— Мудрёного ничего нет, вы только подумайте хорошенько. Приговор мы представим в палату, и палата, убедившись из него, что озеро бездоходное, махнёт на него рукой, забудет об нём, поняли?

— Оно и то... как будто дело-то подходящее...

— Сдаётся, будто хорошее слово-то! — заговорили в толпе.

— А ежели палата спохватится пощупать, надумает: правду ли написали, что в озере рыбы нет? — спросили из толпы.

— Что ж, вы думаете, она чиновников пошлёт неводить на нём, а? — спросил Пётр Никитич.

— А-а-ах-хаха-ха! — разразилась толпа. — Ну, это точно: наневодят! Ах, как ты любо утрафил словцом-то: наневодя-я-ят! Иной и сам заместо рыбы в невод угодит.

— Неладно чего-то надумал ты, Пётр Никитич, — угрюмо отозвался старик Бахлыков среди хохота и сыпавшихся в толпе острот, вызванных последним замечанием. — Как бы греха какого не вышло, смотри! Ты даве сказал, что написать, что у нас нет озера, — боязно, неровен час, откроется фальшь — под суд отдадут! А этак-то написать, как ты говоришь, ещё опаснее; на мой ум, тут уж въяве обман.

— Обман, не скрываю! — сказал Пётр Никитич.

— То и говорю! А ты подумал ли: ведь про наше-то озеро молва-то далеко идёт. Все знают, что мы им живём, а ты напишешь, что рыбы в нём нет; ладно ли это будет?

— И напишем, а если усомнятся, пошлют удостовериться, так разве у вас язык-то не повернется, ради своей пользы, сказать, что прежде, мол, оно было рыбное, а ныне хоть и невода не мечи, оскудело! Ведь не полезет же чиновник-то неводить, правду вы говорите или нет?

— Где уж полезет, это точно! — согласился с ним Бахлыков, с раздумьем почесав затылок. — А если бы без обману обойтись, по-душевному бы, напрямки бы сказать, что нет у нас ни хлебопахотной земли, ни сенокосов, и никаких промыслов, окромя лесного, что мы этим озерком только и кормимся, и подушную в нём добываем, и бездоимки вносим, а коли это озеро отнимут, так и подать нам негде будет добывать, да и кормиться-то Христовым именем придётся... Так пушай начальство-то снизойдёт к нашей слезнице и подарит нам озерко-то.

— Не имеет оно права сделать этого! — резко ответил ему Пётр Никитич.

— Почто?

— Озеро казённое, а начальство не имеет права дарить казённые уголья кому захочет, по своему произволу!

— По бедности-то нашей?

— Мало ли бедных-то на свете, не вы одни, так всем и раздаривай казённое добро?

— И то точка.

— Как ни повернись, всё о что-нибудь запнёшься; ну и статья-я! — со вздохом произнёс низенький старичок с живыми искрившимися глазами, придававшими лицу его добродушный вид. — А ежели теперича мы, по твоему слову, отопрёмся от озера, скажем, что нам его не надо, а палата проведает про него, да и запишет его в оброк. Как же мы тогда будем, подумай-ко!

— Не беда, если б его и в оброк зачислили! Оно всё-таки не минует ваших рук.

— Не минует? — пронеслось в толпе.

— Ни под каким видом. Если озеро и обратят в оброчную статью, то прежде торгов предпишут нам произвести публикацию по волости для вызова желающих взять его в аренду и явиться на торги. По закону-то и самые торги произведутся в нашем волостном правлении; следовательно, помимо вас, никто не возьмёт его в аренду.

— Это ты верно знаешь, что всё так будет?

— Закон так гласит, а кто же осмелится обходить его?

— А-а! Ну — это особь статья!

— Я одно скажу вам, общественники, — продолжал Пётр Никитич, возвышая голос, — решайте как знаете, я человек посторонний, и если даю вам совет, как лучше поступить, так единственно желая добра вам, потому что я уж больше вас знаю и законы, и порядки.

— Известное дело! Ты всякий закон жуёшь, дай тебе Господь за твоё раденье об нас! Мы верим, что ты нам худа не скажешь. Слава тебе Господи, одиннадцать годочков вместе хлеб-соль едим, пригляделись! — говорили наперерыв в толпе.

— Если сделаете так, как я вам говорю, то худа вам не будет, — продолжал он, — озеро не зачислят в оброк, а оставят его без внимания, и тогда пользуйтесь им по-старому, а для того, чтоб его отдали в надел вам, спустя несколько месяцев мы войдём о том с ходатайством по начальству, и озеро отдадут вам на веки вечные. Поняли? Одобряете ли?

Сход длился три дня... Много различных предложений составлялось крестьянами и отвергалось вследствие каких-нибудь неудобств. Общество разбилось, на несколько партий. Одни настаивали на том, чтобы положиться на милость начальства и, ввиду крайнего разорения, если отберут озеро, немедленно хлопотать об отдаче его в надел. Вожаком этой партии был старик Бахлыков, но немногие держались его мнения. Иные говорили, что лучше совсем молчать, что

если ранее не знали о существовании озера, то не узнают и теперь. Большинство крестьян, в том числе голова, волостные чины и другие влиятельные в волости лица, отстаивали предложение Петра Никитича и под конец склонили в пользу его всё общество. На третий день, около часу ночи, Пётр Никитич прочитал наконец обществу составленный им приговор следующего содержания: «Мы, нижепоименованные государственные крестьяне разных сёл и деревень X-ой волости, T...ого округа и губернии, полноправные домохозяева, быв в общем собрании, обсуждали содержание предъявленного нам циркулярного предписания T...ой казённой палаты, от 12 октября сего 185... года за № 13746, и постановили: составить сей общественный наш приговор в том, что на земле, приписанной к нашей волости, в 65 верстах от населённых нами мест, среди болот и лесов, имеется не вошедшее в земельный надел наше озеро, называемое Святым. Так как вышеречённое озеро безрыбно, то, по единогласному нашему мнению, по зачислении такового в казённую оброчную статью, по непригодности оно не к какому пользованию, не найдётся желающих взять его в аренду. В том, что приговор сей учинён нами по добровольному и совокупному нашему соглашению, подписуемся...».

Не успел ещё крестьянин, подписывавший за общество приговор, окончить работу, как общество постановило прибавить Петру Никитичу сто рублей жалованья и купить ему на общественный счёт корову и лошадь. «Ты и умирай у нас писарем! — кричали ему крестьяне. — Буде и женишься когда, и детками бог благословит тебя, мы и их за твоё добро не покинем, и их обстроим, не пойдут ужо по миру! Дай Бог тебе веку за твоё раденье об нас!» — кричали ему сотни голосов.

* * *

Харитон Игнатьевич, со дня на день с нетерпением ожидавший приезда Петра Никитича, встретил его небывалым угощением. На столе, покрытом чистою скатертью, стояла бутылка мадеры, тарелка с пряниками, на другой тарелке были нарезаны тоненькими ломтиками балык, походивший скорее на кирпич, и паюсная икра с подозрительными зелёными жилками по краям. Пирог из свежепросоленного муксуна завершал закуску. Даже как будто и комната в ожидании его была прибрана почище. Широкая перина, покрытая одеялом, сшитым из ситцевых лоскутков, гордо высилась на двуспальной кровати. Сундуки были покрыты ковриками, чистые холщовые половики скрывали косою расщелившийся пол. Беседа давно уже длилась между ними, не касаясь интересующего их дела. Казалось, ни тому, ни другому не хотелось

поднять щекотливого вопроса, хотя наблюдательный Харитон Игнатъевич по первому взгляду на весёлую наружность гостя понял, что дело кончилось успешно.

— Испей мадерцы-то, что ж ты! — поминутно приглашал он. — Я ждал тебя, готовил угощение, а ты и не касаешься ни к чему!

— А очень поджидал ты меня? — с иронией спросил Пётр Никитич.

— Не то чтобы очень, ну а всё же поглядывал в окна-то, не едешь ли... Не потаю правды: за тебя-то я шибко радуюсь, уж хоть бы Бог-то оглянулся на тебя да пригрел бы... Облупил ли скорлупку-то с ядрышка, как похвалялся? — спросил, наконец, он.

— Облупил.

— Хе-хе-хе... Ну и давай тебе Господь! Такой характер те-перича у меня, Пётр Никитич, что я за всякого рад! Вижу я, что человеку Бог счастья даёт, фортунит ему — я и рад! Нет у меня этой зависти, как у других, жадности этой, чтобы всё только мне одному в карман плыло, а другому бы ничего... Нет! И всякому я готов помочь, ей-богу! Да кому говорить, и ты это знаешь... Помнишь, как нищую-то долю ты нёс?

— Ну, что было, то прошло, Харитон Игнатъевич. Чего старое перетряхивать... оно уж не вернётся более! — с неудовольствием прервал его Пётр Никитич.

— Не в укор это я говорю тебе, не в укор. Избави Господи... Бедность не порок, и тыкать ей в глаза человеку грех. Я к тому это говорю, что много горя ты потерпел, и перекусить-то тебе было нечего, и головы-то было негде приклонить, и на плечи-то нечего было вздёрнуть! — с грустью качая головой, перечислял Харитон Игнатъевич претерпенные Петром Никитичем невзгоды. — Видал ли ты тогда от людей, чтоб они по-братски-то были с тобой, участием да лаской обогрели бы тебя, а-а?

— Не видал!

— Не видал — верно! — повторил Харитон Игнатъевич. — Все сторонились от тебя, как от чумного. А погляди, ежели усчастливит тебя Бог, богат-то будешь, так отколе и наберётся друзей и приятелей: отбою не будет.

— Уж это как водится, старая истина.

— И завсегда будет новая по вся дни на свете! А я вот не таков, я не в других. Сердце-то, говорю, у меня, Пётр Никитич, доброжелательное. Да выпей ты мадерцы-то, ведь для тебя я расходовался, балычка-то отведай аль икорочки, вкусные! — При последних словах он налил ему в рюмку вина и задумался. — В старину не такие люди были, Пётр Никитич! — грустно качая головой, произнёс он.

— Хуже или лучше? — спросил тот, слегка прихлёбывая из рюмки.

— Лучше, не в пример лучше! Хуже-то нынешних едва ли, брат, и народятся когда, ноне ровно и не люди, а звери будто хищные!

— За что ты вдруг людей-то невзлюбил... с чего это? — с иронией спросил Пётр Никитич.

— Не стоят они любви и радения об них, не стоят! Поживи с моё на свете и узнаешь. О-о-ох, наболит на душе-то, насаднеет! — произнёс Харитон Игнатъевич, приложив руку к груди, как бы для облегчения саднеющей боли в ней:

— Люди как люди, Харитон Игнатъевич, всё одно: какие они прежде были, такие и теперь. Нынче только поумнее будто стали, — ответил Пётр Никитич.

— Плутоватее, а не умнее, — поправил его Харитон Игнатъевич, — ныне всякий только и норовит, как бы круглее обвести самого первого друга и приятеля, да запутать бы его, да кусок бы у него из горла урвать! Нонешнего человека ты, как зверя лютого, стерегись. А прежде всё было проще, любовней... Дружба меж людьми была, друг за друга душу клали; ну, это люди были стоящие звания!

— Правда ли это, Харитон Игнатъевич, не преувеличиваешь ли ты? — улыбаясь спросил Пётр Никитич.

— С чего мне врать... Сущую правду говорю тебе, а ноне... — и Харитон Игнатъевич, не докончив, махнул рукой и, грустно склонив голову на правую ладонь, задумался.

С минуту в комнате царила невозмутимая тишина, прерываемая время от времени треском сальных оплывающих свеч да доносившимся из кухни плачем и вознёй детей, которых Дарья Артамоновна укладывала спать.

— Стало быть, уж ты совсем покончил дело-то с озером? — томным, как будто болезненным голосом спросил Харитон Игнатъевич, по-видимому, вовсе не интересуясь этим делом, а только желая поддержать прерванный разговор.

— Окончил.

— Как же ты это обломал-то его?

— Читай и увидишь, — ответил Пётр Никитич, вынув из портфеля, не менее ветхого, как и бывший на нём нанковый сюртук, общественный приговор.

Харитон Игнатъевич внимательно, но тоже, по-видимому, безучастно осмотрел приложенные к приговору печати волостных начальников, номер, каким был помечен приговор, прочитал про себя и самый приговор, и рапорт, при котором он представлялся в казённую палату, и молча подал его Петру Никитичу.

— Чего ж теперь далее-то будет? — спросил он.

— Завтра сдам его в палату, и если кто хочет взять озеро, то нужно только подать в палату прошение, и ему беспрекословно отдадут его в пользование, — ответил Пётр Никитич.

— Ну, давай Бог... Шибко я рад за тебя... всё ж хоть кусок ты будешь иметь по гроб жизни. Не докуда тебе мыкаться без приюта на свете, пора и своим домком пожить, по-людски, отдохнуть от нужды да горести, — произнёс Харитон Игнатьевич, снимая пальцами нагар со свеч.

— А за себя-то что ж ты не радуешься: ведь, кажется, озеро-то общий наш кусок, а? Что ж ты себя-то выделяешь? — спросил Пётр Никитич, прищурившись и пристально глядя на него.

— Не-е-ет... меня уволь, — расслабленным голосом ответил он. — Я передумал и касательства не хочу к озеру иметь.

— А-а... неужели? — каким-то неопределённым тоном спросил Пётр Никитич.

— Лета, друг, ушли, — тем же голосом ответил Харитон Игнатьевич. — Где уж мне такими делами орудовать... Да и то опять скажу тебе: у меня, слава тебе Господи, есть хлеб, не голодую; за что я буду у тебя половину дохода отнимать, в два-то горла хватать? Владей уж ты им один... поправляйся!

— Спасибо тебе, Харитон Игнатьевич, что ты облегчил мою совесть! — громким, радостным голосом прервал его Пётр Никитич, вскочив с сундука. — А я, признаться, ехал к тебе... и не знал, как приступить... как сказать тебе...

— Про что это? — спросил он, не глядя на него, хотя по движению головы было заметно, что его как будто что-то кольнуло.

— Совесть мучила меня, — продолжал Пётр Никитич, быстро ходя по комнате, — ну, думал, выгонит меня Харитон Игнатьевич и наругается досыта. И стоило бы, стоило, не похвалю себя.

— За что мне тебя бранить? Живём любовно, пакостей друг другу не делали, одолжались ещё.

— Я ведь порешил с озером-то, продал его Калмыкову, знаешь ли ты это? — спросил Пётр Никитич, остановившись против него.

— Ка-а-ак? — протянул Харитон Игнатьевич, меняясь в лице.

— Ныне приехал он в волость к нам, — продолжал Пётр Никитич, будто не замечая перемены в лице и голосе своего собеседника, — затем, чтобы скупать, по обыкновению, у крестьян рыбу и посуду, зазвал меня к себе... подпоил меня, братец, бутылки две мадеры мы высидели с ним в вечер-то, разговорились о том да о сём... Чёрт меня и дёрни разболтать

ему про озеро-то... А парень ведь он, сам знаешь, разбитной, на все руки, и пристал ко мне: отдай да отдай ему озеро... а то, говорит, открою мужикам весь твой умысел... На пятнадцати тысячах и сладились.

— Сла-а-адились? — повторил глухим голосом Харитон Игнатьевич.

— Задаток уж взял! На другой день я только опомнился... а-а-ах да о-о-о-ох... да уж чего... сделано — не воротишь! Просто не знал, как к тебе глаза показать... И так ты теперь облегчил мне душу своим отказом от озера, что не знаю, какое и спасибо тебе говорить... Ехал-то я к тебе...

— Напрасно ехал-то, заодно бы уж и воротил мимо... — весь бледный, дрожащим голосом прервал его Харитон Игнатьевич.

— Всё же сказать нужно было тебе.

— Какими же мне теперича глазами глядеть на тебя, скажи ты мне, а-а? — сжимая кулаки, спросил он.

— Ругай, ругай, как знаешь, кругом виноват пред тобой!

— Ругай! Да разве слово-то прильнёт к тебе?

— Ну, плюнь мне в глаза, всё же мне легче будет глядеть на тебя.

— Оботрёшься... да такой же станешь, — дрожащим голосом сквозь зубы процедил Харитон Игнатьевич. — Вишь, какая совесть-то у тебя, а-а? — захлёбываясь, заговорил он, не скрывая более своего волнения. — Меня-я, человека, что тебя нищего призревал, поил... кормил... ты сменял на первого попавшегося тебе на глаза, а-а-а?

— Спьяна поддел он меня, Харитон Игнатьевич, каюсь, спьяна! — жалобным голосом и с сокрушённым видом оправдывался Пётр Никитич.

— Что ты теперича сделал со мной, а? Ведь я, в надежде на озеро-то, подряда лишился, что тыщи бы дал мне... — вскочив в свою очередь с сундука, говорил он. — Ведь я залоги, что внёс, обратно взял... подлая душа твоя... знаешь ли ты это?

— Неужели! А-ах, боже мой, боже мой! — по-видимому с ужасом произнёс Пётр Никитич. — Прости ты меня, Бога ради. Вот что я наделал с тобой за твою-то хлеб-соль... А всё вино... всё это оно, проклятое!

— Ну, что я теперь делать буду?! — всхлопнув руками, произнёс Харитон Игнатьевич. — И ты, подлый, ещё в дом ко мне глаза казать приехал... — со слезами в голосе уже говорил он, — и тут ещё, уж зазнамо обокравши меня... хлеб мой ел, вино моё пил!

— Отплачу, Бог даст!

— Отплатишь! Знаю теперь твою-то расплату! Ну, помни же, Пётр Никитич, — продолжал он, с азартом стуча кулаком

по столу, — буду и я тебе друг... помни ты это... Я тебе это озеро поперёк горла поставлю... уж коли не мне... так и никому оно не достанется! Помни!

— Но ведь тебе же не нужно озера, ты сам сказал!

— Когда я говорил тебе это? Разве уж не решено было меж нами, что озеро будет общее наше, а?

— Сейчас говорил ты мне! Припомни свои слова, не волнуйся! Минуты не прошло ещё, как ты сказал мне, что и лета тебе не позволяют этим делом орудовать... и что тебе не хочется меня обижать — брать половину дохода себе!.. чтоб я владел озером один, а тебя уволил... что ты и касаться к нему не хочешь!

— А... а... если... я, может быть... того, пытал твою душу, говоря эти слова, — заикаясь ответил он.

— Милый друг, ты и не сердись на меня, — переменяя тон на суровые ноты, заговорил Пётр Никитич, — я когда продавал озеро Калмыкову, то так и думал, что ты согласишься взять озеро за себя ради шутки, просто только испытывая меня. Вишь ведь ты какое чадо: у тебя на дню семь пятниц, ты сейчас скажешь слово, да тут же и отопрёшься. Мог ли я надеяться, посуди, что, когда уж всё дело будет обделано, ты снова не откажешься от озера? Оно так и вышло! Вот почему, когда подвернулся подходящий покупатель, я и согрешил пред тобой — продал его... прости!

— Разорил ты меня... разорил... Помни ты это! — опустившись в изнеможении на сундук, хриплым голосом ответил Харитон Игнатьевич.

— Чем я тебя разорил? Разве деньги ты дал мне, а?! Ты и векселя не хотел давать, вспомни-ко хорошенько!

— Я б те наличными выдал.

— Так бы и говорил тогда, когда я предлагал тебе озеро, а ты тогда только без пути ломался надо мной. Шутки шутил да ругал меня... а?

— Ладно, коли ты со мной так поступил, так и я тебе друг буду, услужу... не увидит твой Калмыков озера! — снова вскочив с сундука, крикнул Харитон Игнатьевич.

— Почему не увидит? Ведь ты читал приговор... Теперь уж всё кончено, теперь уж озеро в моих руках.

— Завтра же в волость поеду... и все твои умыслы мужикам раскрою, — горячился Харитон Игнатьевич, то садясь на сундук, то снова вскакивая с него и поминутно поправляя пояс на рубахе, который, казалось, стеснял его.

— О-о-о! Поезжай, голубчик, и говори, что хочешь... Тебя ведь знают там! Спроси-ко прежде, кто ещё твоим словам веру даст, а?

— Мы и повыше пойдём... уши-то и у начальства есть.

— Иди! Я не больно боюсь, не из трусливых! Только кто про кого более поведает начальству, посмотрим! А я тебе вот что скажу, Харитон Игнатьевич, — отрывисто и бледнея продолжал Пётр Никитич, — ты со мной так не разговаривай, я не люблю... Ты, брат, помни, что коли дело на ссору пойдёт, то мне стоит только сказать кой-кому два-три словца, и ты затанцуешь на аркане. Слышал?

— Ты... ты... ты... что ж это взъелся-то на меня? Разве... я... я... обидел тебя чем? — заикаясь и бледнея, произнёс Харитон Игнатьевич. — Я... я... кажись, любовно с тобой...

— Если любовно жить хочешь со мной, так и делай любовно, а обидных намёков да шуток не выкидывай! Я ведь уж не ребёнок... школ-то много прошёл, а ты ещё не учён, помни это! Если ты мне когда-то кусок хлеба бросал, как собаке, так уж я тебе втрое за него заплатил, и мы квиты... Слышал?

— Я... я... я... вот те Христос! Да ты выпей мадерцы-то, полно... полно тебе. С чего ты взъелся? Да я... первый друг... Неуж ты не знаешь меня?

— Знаю!

— Слава тебе господи, какие дела-то обоюдно вершили с тобой, вспомни! Нам ли ссориться, да выпей ты, ну... ну... Экой какой ведь ты кипяток: я с тобой в шутку, а ты всё в щеть да в щеть.

— Пиши сейчас вексель на пятнадцать тысяч!

— Писать? А Калмыков-то как же?

— Пиши, если говорят тебе! Если ты со мной шутил, так и я с тобой пошутил! — сердито ответил Пётр Никитич, подавая ему заранее приготовленный им вексельный лист.

— Хе-хе-хе-е! Так вот оно что, ты пошутил! А я-то было испугался. Ах ты боже мой, даже ровно душу-то захолонуло! Ну... ну давай напишем! А не то, может, завтра бы утречком написали, а? Теперь бы поговорили на мировой-то, а? Да выпей ты. Ну, поцелуемся не то.

— Для чего же целоваться-то?

— Ну... ну, уважь, я вот хочу закрепиться с тобой!

— Умойся поди прежде, а то посмотри на лицо-то, точно его кто в масле поджаривал, — насмешливо ответил Пётр Никитич.

— Вот уж ты и грубишь! Позволь тебе только на ноготь наступить, так уж ты всю ступню отдавишь, сейчас зазнаешься! — обидчиво отозвался Харитон Игнатьевич, отирая лицо полотенцем. — На себя-то бы прежде оглянулся, хорош ли! Дай-ко вот тебе капитал-то, хе-хе-е... нос задерёшь превыше Ивана Великого.

— Оба хороши будем, нечего сказать! Пиши же вексель, — настойчиво повторил Пётр Никитич.

— Что так приспело тебе? Не убежит! Я вот ещё подумаю, писать ли, кабы ещё какого обману не вышло.

— Харитон Игнатъевич, я не шутя говорю тебе: брось ломаться! Слышишь? — крикнул, выходя из себя и поднимаясь с сундука, Пётр Никитич. — Не доводи меня до греха.

— Оо-о! Ну, а что ты сделаешь мне, что ты стращаешь-то меня?

— Даёшь вексель или нет?

— Хе-хе... а ты вот испей мадерцы-то, побалууй меня, старика. Ведь я тебе в отцы гожусь по летам-то, — ты бы это вспомнил, Пётр Никитич. Мне уж, коли чего я не по здраву сделаю, и простить бы можно. Ну, ну, уж коли ты неотвязный такой — изволь, напишу. Где у нас чернильница-то? Перо-то ещё есть ли? — говорил он, вставая и намереваясь выйти из комнаты.

— Сиди, не хлопочи, у меня всё есть, — ответил Пётр Никитич, вынимая из портфеля глухую дорожную чернильницу и гусиное перо, вложенное в пакет, в котором лежал приговор.

— Запасливый же ты, хе-хе... — ответил Харитон Игнатъевич, надевая круглые очки в толстой серебряной оправе.

Писание векселя под диктовку Петра Никитича шло очень долго. Харитон Игнатъевич поминутно облизывал перо губами; выводя буквы, поводил и языком по направлению пера, кряхтел и вздыхал, точно нёс на плечах тяжесть, превышавшую его силы. Лоб и щёки его лоснились от пота. Наконец, окончив писать, он вздохнул и, поплевав на пальцы, потёр руку об руку.

— Теперь всё по форме? — спросил он, когда Пётр Никитич, прочитав вексель, бережно сложил его и опустил в карман.

— Всё по форме, — ответил Пётр Никитич. — Только завтра утром сходим засвидетельствовать его к маклеру.

— Ну и слава Богу, что он управил нас! Теперь уж, стало быть, мы неразрывны с тобой? — спросил он.

— Не отцепишься, если б и захотел! — с иронией ответил Пётр Никитич.

— И отцепляться надобности не вижу... Ну, выпьем же для почину дела... Давай нам Бог жить без греха... любовно... да добра наживать... — торжественно произнёс Харитон Игнатъевич. Они крепко обнялись и поцеловались, завершая дело. Харитон Игнатъевич позвал и Дарью Артамоновну, одетую ради приезда гостя в шёлковый шугай, и заставил её тоже поцеловаться с Петром Никитичем. Заздравная рюмка обошла их поочерёдно. За ужином развеселившийся Пётр Никитич рассказал собеседникам о проделке своей с крестьянами. Харитон Игнатъевич хохотал, слушая его, и время от времени острил, но под конец задумался.

— Проворный же ты, ай-ай! — произнёс он, покачав головою. — Неуж в Расее-то у вас все такие?

— Есть и почище, — самодовольно улыбаясь, ответил Пётр Никитич. — Есть такие тузы, что миллионы мимоходом проглатывают и не даются.

— И сходит с рук?

— Сходит! Мелюзга-то попадаетея подчас, а кто покрупней, так не бывало ещё примера.

— Ну и кра-а-й! — удивлённо произнёс Харитон Игнатьевич. — Вот бы где пожить, ума-то бы понабраться! А впрочем, нечего скучать, — с раздумьем продолжал он, — теперь и сибирскую-то пашенку так уназмили привозным-то из Расеи добром, что урожай-то со сторицей пошёл! Скоро, поди, отборную-то фрухту уж из Сибири в Расею повезут... А всё, брат, скажу, хошь бы одним глазком посмотреть, как это у вас там миллионы-то глотают!

* * *

На другой день часов в десять утра по узенькой лестнице двухэтажного деревянного здания, стоявшего около базарной площади, в верхнем этаже которого помещалась контора маклера, поднимались Пётр Никитич и Харитон Игнатьевич, надевший на себя на этот раз лисью шубу и высокую бобровую шапку, отчего вся наружность его представляла сплошной мех, разнообразный только по цвету и густоте шерсти. Раздевшись в смрадной передней, они вошли в контору. Помолившись на икону, висевшую в переднем углу, Харитон Игнатьевич подошёл к маклеру, сидевшему у стола за грудой бумаг и книг и не обратившему даже внимания на вошедших.

— Вексёлек бы мне требовалось, Матвей Степанович, за свидетельствовать; за большое бы это одолжение счёл, — обратился к маклеру Харитон Игнатьевич, подавая вексель.

Маклер молча взял из рук его вексель и, внимательно прочитав его, осмотрел к свету.

— Ого-го-о! Пятнадцать тысяч! — с удивлением произнёс он, посмотрев на Харитона Игнатьевича. — Ты на что же этакую страсть денег занимаешь? — более мягким и даже радушным голосом спросил он, окинув в то же время своим насупленным взглядом Петра Никитича, стоявшего у порога, в стороне от них.

— По делу понадобилось: новое дело завожу, Матвей Степанович! — ответил Харитон Игнатьевич,

— Какое?

— Ругаться будете, коли сказать-то вам... Да оно, пожалуй, и следует обругать меня... Ну, да уж коли фундамент заложил,

так волей-неволей, а дом выводи, — говорил он, разводя руками. — Кожевенный завод сооружаю, слышали ли?

— А-а... что ж, это дело хорошее, выгодное, только смотри, пойдёт ли? — предупредил маклер.

— В этом-то и задача вся! Про себя-то полагаю, что надо бы пойти ему, — задумчиво говорил Харитон Игнатьевич, — а за всё прочее никто, как Бог!

— Хорошее дело... похвально... Пора тебе за ум взяться, не куда хламьём торговать. Человек вы оборотистый... наперёд скажу: маху не дадите... Поздравляю... рад... рад... — и маклер, протянув ему руку, дружески пожал широкую с коротенькими сучковатыми пальцами длань Харитона Игнатьевича. — В мешанах уж не останетесь... гильдию внесёте? — спросил он.

— Уж как ни пойдёт дело, а гильдии не минуешь!

— Видней... видней будет... почёту будет более, — убедительно говорил маклер, то хмуря, то приподнимая свои густые брови. — Очень рад за вас, давай вам Бог... может быть, ещё и послужим вместе, кто знает, — заключил он. — Только... только... — произнёс он, искоса осмотрев Петра Никитича. — Ведь это, кажется, тот самый Болдырев, что писарем в Х-ой волости? — вполголоса спросил он. — Поселенец, что несколько лет тому назад шлялся по городу в опорках и рвани... с поздравительными стихами по купцам ходил, а-а?..

— Он самый, — улыбаясь и так же тихо ответил ему Харитон Игнатьевич.

— Неужели он за несколько лет службы в писарях нажил такое состояние? — удивлённо спросил маклер. — Пятнадцать тысяч под вексель дать... это ведь... ой-ой!

— Хе-хе-хе! Полноте-с! Где ему до таких денег дожить; у него, чай, и пятиалтынного-то в кармане нет! — успокоил его Харитон Игнатьевич. — Он ведь подставное лицо, — шепнул он на ухо. — Только вексель-то на его имя, во избежание огласки.

— Подставное-е-е... от кого? — удивлённо спросил маклер.

— Отца Пимена знаете? Б-го благочинного...

— Знаю, как не знать!

— Я у него деньги-то занял! Вексель-то он на своё имя боится делать: опасается, чтобы по духовенству не разнеслось, до архиерея бы не дошло... А этот-то гусь кум ему будет. Счёты меж ними какие-то да дела ведутся... Бог их разберёт! В большой они приязни живут. Ну, для отвода он и велел сделать вексель-то на его имя.

— А-а, вот что-о! Ну, теперь понятно, — ответил маклер. — Пимен-то богатый человек, знаю.

— Богатый, первеющий по округе.

— Богатый, богатый человек, — подтвердил маклер... Так вот оно что-о... Архиерея боится... ха-ха-ха! Да, строгонек он у них, поблажки не даёт! Ну, теперь понятно, а то уж я подумал — откуда у Болдырева такие деньги взялись? Как так вдруг разбогател, что по пятнадцати тысяч под вексель даёт... Оно точно, волость богатейшая... но всё же... Ну, а Пимен-то и тридцать отсыплет да не почешется, бога-а-ат!

Процедура засвидетельствования векселя и внесения его в маклерскую книгу продолжалась не более часу. Маклер, холодно встретивший Харитона Игнатьевича, теперь не только проводил его до дверей, но даже сам отворил ему дверь и, почтительно пожимая руку его, пригласил его к себе в гости в ближайший праздник. От маклера приятели отправились в казённую палату, и Пётр Никитич в присутствии Харитона Игнатьевича, зорко следившего за ним, сдал пакет с рапортом и общественным приговором дежурному чиновнику, под расписку его в разносной книге волости. Когда они вышли из палаты, Харитон Игнатьевич, сняв шапку, набожно перекрестился.

— Надоть бы, Пётр Никитич, для почину дела молебен отслужить, — сказал он.

— Служи... я не прочь, — ответил Болдырев.

— Пойдём-ко! Мы Бога не забудем, так и он выщёт нас своею милостью, — произнёс с умилением Харитон Игнатьевич.

Обедня окончилась, и священник вышел из собора, стоявшего против здания присутственных мест, когда на паперть вошли Харитон Игнатьевич и Пётр Никитич. Остановив священника, Харитон Игнатьевич попросил его отслужить молебен.

— С божьей бы помощью надоть дельце соорудить... ваше благочиние, — ответил он на вопрос священника, по какому поводу он служит молебен. Всё время молебна Харитон Игнатьевич стоял на коленях, осеняя голову и грудь широкими крестами и кладя земные поклоны.

— Ровно оно легче на душе-то, свободней стало! — сказал он Петру Никитичу, выходя из собора и оделяя нищих грошами и копейками из длинного кожаного кошелька.

Через несколько дней, ранним утром, Харитон Игнатьевич подошёл к воротам нищенского деревянного дома, стоявшего в пустынной улице одного из предместий города, называвшегося Солдатской слободкой. Рядом с домом, на обширном пустыре, обнесённом плетнём, высился недостроенный деревянный дом на каменном фундаменте. Широкие окна дома, ещё без рам, были завешены рогожами, на крыше

высились одни стропила. Груды накатанных брёвен и квадратами сложенный кирпич загромождали почти всю улицу. Низенький покосившийся домик и строившийся дом-щёголь принадлежали начальнику хозяйственного отделения казённой палаты, Андрею Аристарховичу Второву. Войдя во двор, Харитон Игнатьевич прошёл сначала в людскую, и через несколько минут чистенько одетая горничная ввела его в кабинет Андрея Аристарховича. Присев на плетёный стул, Харитон Игнатьевич с любопытством осмотрел письменный стол, заваленный бумагами и уставленный различными дорогими безделушками и серебряными и бронзовыми пресс-папье в форме легавых собак, бегущих лошадей, изящных женских ножек и т. п. Стены кабинета были увешаны картинами, выражавшими вкус и наклонности Андрея Аристарховича. Широкое маслившееся лицо Харитона Игнатьевича сложилось в сладострастную улыбку при взгляде на обнажённую нимфу, готовившуюся спуститься в прозрачные струи ручья. Он до того увлёкся созерцанием роскошных девственных форм нимфы, что не слышал, как из соседней комнаты, дверь в которую была завешена шёлковой портьерой, вошёл в кабинет Андрей Аристархович, низенький толстый человек, казавшийся ещё толще от широкого халата, свободно охватывавшего его выхоленное тело.

— Харитон Игнатьевич, добро пожаловать! — приветливо встретил его Андрей Аристархович, протянув ему два пальца. — Вот, как нельзя кстати подошёл ты ко мне... Правду пословица-то говорит, что на ловца и зверь бежит! А я только что на днях собирался ехать к тебе, — говорил он, опустившись в кресло и предложив ему стул напротив себя.

— Нешто дельце какое встретилось для меня? — спросил Харитон Игнатьевич, заворачивая полы своего суконного длиннополого сюртука и осторожно присаживаясь на кончик стула.

— С постройкой замучился, только что одно закупишь — другое требуется. Не рад, что и затеял: деньги так и тают! — пожаловался ему Андрей Аристархович.

— Эфто точно-с, на мелочи эфти невидимо деньги идут. А я, признаться, шедши к вам, осмотреть обновку-то вашу любопытствовал.

— Что ж, как находишь?

— Отлично, хорошо... краса!

— Дом будет хороший, правда твоя... Средств не жалею. Всё по возможности делаю в современном вкусе: и ванна у меня будет, и звонки электрические... И самый наружный вид...

— Патрет касательно наружи, если взять, — прервал Харитон Игнатьевич.

— То есть как это портрет? Чей? — с удивлением спросил Андрей Аристархович.

— Картина, говорю-с, — поправился сконфузившийся Харитон Игнатъевич, откашливаясь в руку, — первеющее, можно сказать, сооружение в городе...

— Да, да... мне и то завидуют многие.

— А что бы вам от меня потребовалось, что изволили собираться пожаловать ко мне? — спросил Харитон Игнатъевич, когда разговор пресёкся.

— У тебя, я слышал, всё можно достать, — ответил Андрей Аристархович. — Остряки говорят даже, что и птичье молоко есть... а-а? Правда это? — усмехнувшись, спросил он.

— Хе-хе-хе-е... Придумают же чего сказать: птичье молоко...

— Что ж, нет его, а-а?

— Не-е-ет-с... Эфтаких мануфактур ещё не пытались закупать, — смеясь, ответил он. — А остальное прочее, кому чего требуется, милости просим, по силе возможности завсегда можем снабдить.

— Кровельное железо есть у тебя, а?

— Как не быть, целые сараи навалены. Года два тому назад, когда здания упразднённых этапов с аукциону продавали, так мы запаслись им. И хорошее железо, плотное и нисколько не мягое, потому мы бережно с эфтами вещами обращаемся,

— О-отлично! Ну, а болты к ставням, гвозди, скобы для дверей, конечно, не комнатных, — те я из Екатеринбурга выписываю, — а так, для людских пристроек, тоже найдутся, а?

— Сколько требуется, предоставить можем!

— Хорошо, право, хорошо, что ты зашёл ко мне. Я тебе, Харитон Игнатъевич, списочек дам нужных мне вещей, и ты уж одолжи меня ими; да, кстати, скажи мне: дорого ты возьмёшь с меня за весь этот хлам, а?

— Сочтёмся, хе-хе-хе... что вы это утруждаетесь!

— Однако ж?..

— Полноте-с! Совсем это пустой разговор вы затеяли! Свои люди-то, все друг о друге, а Бог за всех!

— Нет, ты скажи. Не даром же, наконец, ты дашь мне, да я и не возьму!

— Сколь положите, всем будем довольны... Признаться, ведь и мне до вас, Андрей Аристархович, просьбица есть: помогите и вы мне соорудиться!

— Тоже строишься, что ли? — спросил Второв.

— Строюсь, да на другой манер! — ответил Харитон Игнатъевич, бесцельно передвигаясь с одного стула на другой. — Затаял, признаться, теперича дело, да уж не знаю, как и быть с ним, ровно и не рад. Хлопот, беготни, езды не оберёшься...

Всю душу вымотал, — с тоской в голосе говорил он. — Завод ведь я кожевенный сооружаю, Андрей Аристархович, выругайте вы меня на склоне лет моих!

— За что же ругать? Дело хорошее! У нас во всей губернии нет такого завода. Смешно сказать, из Сибири везут сырые шкуры в Россию, и потом уж мы получаем оттуда выделанные кожи, готовые сапоги, и платим за всё это тридцать!

— И я вот тоже смекаю, что надоть бы ему пойти, что на мель не сяду. А в ину пору, как пораздумаешься, такая тоска изнимет, что руки бы на себя наложил! — жаловался Харитон Игнатьевич каким-то особенным певучим голосом.

— Пустяки! Дело затеял ты хорошее, не сомневайся! Завод пойдёт у тебя, и бойко пойдёт, только энергии нужно поболее, энергии! — ободрил его Андрей Аристархович.

— Не покладаю ровно рук, во всём свой глаз.

— Где же строить его хочешь?

— За эфтим к вам и пришёл: пособи́те вы мне, обладте дельце! Сунулся было с первоначатия на Т...е строить его, так крестьяне не допустили. «Ты, говорят, у нас своими кожами всю воду отравишь».

— Это правда, согласи́сь, ведь шкуры снимают с больного и здорового скота, — заметил Второв.

— Как неправда, правда, — согласился Харитон Игнатьевич. — Вот я и наметил теперь местечко, доложу вам, в X-ой волости здешнего округа. Волость эта всего верстах в шестидесяти от города, в лесах и в болотах, в такой это трущобе, что не доведи господи. Есть озеро там, большое озеро, да бросовое, по пословице: велика Федора, да дура! Святым зовётся. Лежит оно в удалении от жилых мест. От города будет, пожалуй, вёрст сто, может, и более.

— Я что-то слышал про это озеро или читал где об нём, что ли... дай бог память! — приложив палец ко лбу и почёсывая его, прервал Андрей Аристархович. — Ну, ну, продолжай! — произнёс наконец он.

— Статься может, что в бумаге читали, — подхватил Харитон Игнатьевич, — потому ныне я был в этой волости, так мужики сказывали мне, что их собирали в волость на сходбище и спрашивали, не надо ли им это озеро в аренду, что бумага получена из палаты и что озеро отбирают в казну. Ну, так мужики-то от него, скажу вам, руками и ногами открещивались. Бог, говорят, с ним, кому надо это пустопесье? Кабы рыба была в нём какая-нибудь, так можно бы ещё, а то в нём, говорят, кроме червя да пиявки, ничего нет... Разве, говорят, кому леших топить потребуется.

— Ха-ха-ха! Это в Святом-то озере леших топить?

— Да ведь у них, сударь вы мой, что ни лужа, то и святое место. Старца, сказывают, на нём какого-то, светлого ликом, видели, ну так со страху и озеро-то назвали Святым!

— Удивительно! Сколько ещё суеверия в нашем народе, — с сожалением в голосе произнёс Андрей Аристархович.

— Суеверства этого у мужиков — избави господи сколько, Андрей Аристархович! — качая головой, подтвердил Харитон Игнатьевич. — Насмотрелся я досыта на ихнее невежество! Так вот, говорю, услыхавши это от мужиков, — продолжал он, — я кинулся к писарю, — знакомый он мне: точно ли, спрашиваю, есть бумага из палаты, что озеро берут в казну? «Есть, говорит; у нас уж, говорит, и общественный приговор постановлен крестьянами, что они не хотят озера брать за себя!»

— Вспомнил теперь, верно, верно! Этот приговор на днях вступил в палату, и я читал его, — прервал его Андрей Аристархович. — Только одно мне кажется странным; кажется, ведь это богатое, рыбное озеро. Я сам не знаю местности Т...го округа, никогда не бывал в нём, но слышал, и слышал от многих об этом озере, и самому иногда доводилось покупать рыбу на рынке, особенно карасей, — такой крупный карась, так и называется святозёрским.

— Это вы смешали, Андрей Аристархович, — ответил, несколько не смутившись, Харитон Игнатьевич. — Точно, есть такое озеро, Святым же называется, так оно лежит совсем в другой стороне, вниз по Оби, бога-а-атое озеро, первеещее, можно сказать, по Сибири! Это озеро вы и за тысячу рублёв не купите: клад — и мужики стерегут его как зеницу ока!

— А-а, ну это дело другого рода... Я и не знал, что их два в одном округе!

— Их и не два по округе-то!

— Как, и ещё есть Святое озеро?

— Есть! Это ежели теперича от Т...а по дороге к Т...ре ехать, так, почать на полпути, лежит озеро, и тоже большое озеро, рыбное, тоже крестьяне-то Святым зовут!

— Однако ж сколько Святых-то озёр! — с удивлением произнёс Второв.

— Говорю вам, сударь, что у мужиков что ни лужа, то и святое место... страсть суеверства сколько между ними!

— Так ты на этом озере и хочешь завод строить?

— На эфтом самом! Крестьяне же и надоумили меня... Бери, говорят, за себя наше-то озеро. Мы, говорят, тебе за зиму завод-то вымахаем, ты и не услышишь... Всё же, говорят, хлеб нам дашь этим заработком... Поехал я по ихним словам, осмотрелся... вижу: место самое подходящее к моему плану. Первое дело — удалённое, никому ни в чём препятствия нет.

Кругом леса, лубу мужики сулятся надрать мне — хошь за пруды пруди, потому — им заработок дорог. Правда, что дороги к озеру нет, кругом болото, ну да со временем, Бог даст, и дорожку сладим. Подумал я... подумал... перекрестился и порешил взять его за себя. Благословите теперича меня эфтим озерком, ваша милость, Андрей Аристархович, — произнёс Харитон Игнатъевич, вставая и кланяясь ему, — отдайте мне его в аренду!

— С готовностью! Это такие пустяки, что даже и просить не о чем! Тебе прошение нужно подать в палату.

— Я, признаться, надеялся на ваше снисхождение ко мне... и сготовил его, получите-с, — произнёс он, вынув из кармана вчетверо сложенное прошение на гербовой бумаге. — Только лета, на сколько можно взять его в аренду, я не проставил без вашего наставления.

— Пиши на двенадцать лет.

— Благословите уж на тринадцать.

— Нельзя! Отдать казённую оброчную статью в арендное пользование свыше двенадцати лет может только министерство... Ты возьми теперь озеро на двенадцать лет, а потом войди с ходатайством об отдаче его на более продолжительный срок... Мы даже рады будем этому случаю... Тут, собственно говоря, с моей стороны и услуги нет... Озеро совершенно бездоходное, всё равно: если б ты не изъявил желанья взять его, так оно лежало бы даром, а теперь всё-таки хоть какой-нибудь доход принесёт казне.

— Это справедливо-с... Уж много я вам благодарен буду!

— Пустяки-и, не за что! Действительно, мы нынче собираем сведения, где есть озёра и рыбные пески, которые бы можно было обратить в оброчные статьи и отдавать в аренду. Всё хлопочем об увеличении государственных доходов, — с иронией произнёс Андрей Аристархович. — Только тебе ведь скоро этого дела нельзя будет обделать, предваряю, — заметил он.

— Желательно бы поспешить, Андрей Аристархович, потому мне много ещё хлопот, время-то дорого, а к весне бы уж соорудить хотелось заводец-то.

— Ну, недели две-три всё-таки пройдёт, но не более! Мы зачислим озеро в оброчную статью, пропечатаем в губернских ведомостях объявление о вызове желающих на торги; желающих, конечно, не явится, — можешь быть уверен в этом, потому что ведомости, кроме редактора их, никто не читает; а одновременно с тем, единственно для того, чтоб соблюсти узаконенные формы, мы пошлём предписание X-му волостному правлению о вызове крестьян на торги... Оно бы, собственно говоря, по закону-то следовало бы и самые тор-

ги произвести в волостном правлении, ну, да раз крестьяне представили приговор, что озеро им не нужно, то греха не будет, если для выигрыша времени мы избежим излишней формальности и обделаем это дело по-домашнему, в палате...

— Не требовалось бы и публикации-то слать в волость, Андрей Аристархович; потому ведь опчественный приговор у всех в видимости, — заметил Харитон Игнатьевич.

— Закон, братец, велит, обойти его нельзя... у нас ведь на всё закон есть, каждый шаг предписан.

— Хе-хе-е... это точно-с, что шагать-то велят по мерке.

— Формальность тормозит дело во всём, а избежать её нельзя: у нас за преступления по должности так не судят, как судят за несоблюдение форм!

— Справедливо-с... Так уж мы, значит, в полной надежде будем на вашу милость...

— Будь спокоен — озеро твоё... Ты только попроси волостного писаря, чтоб он поскорее прислал ответ на наше предписание о вызове крестьян на торги, тогда мы назначим день для торгов... положим за озеро арендной платы рублей тридцать в год.

— Многонько-с! Обидно как будто, Андрей Аристархович! — прервал его Харитон Игнатьевич.

— Ну, двадцать пять, что ли...

— И это бы... того-с... ведь озеро-то совсем бросовое...

— Ну... ну, двадцать... уж двадцать-то не обидно... Ты прибавишь на торгах рубль или два, и озеро останется за тобой; потом в день переторжки внесёшь вперёд за всё время арендных лет плату. Мы постановим журнал, предпишем земской полиции о вводе тебя в арендное владение озером... и делу конец... владей!

— Дай вам Господи за ваше благодетельство! — дрогнувшим от радости голосом произнёс Харитон Игнатьевич. — Чем только служить вам! Стало быть, уж я теперича в покое буду?

— Совершенно! Да, вот ещё что... хорошо, что вспомнил, — суетливо прервал его Второв. — Ты знаешь секретаря палаты, Максима Ивановича Неряхина?

— Знаем-с... По малости тоже знакомы...

— Сходи к нему, попроси и его... на всякий случай оно не помешает, чтобы ускорить это дело.

— С большим даже одолжением... заявимся...

— У него же, кстати, недавно корова пала, человек он небогатый, детей полон дом, один-то ребёнок грудной даже... ты весьма будешь полезен ему...

— Касательно пользы понимаем-с... Завсегда, можно сказать, с готовностью... Так списочек-то о вещах обещали вы-

дать мне, пожалуйста-с... Заодно уж насчёт пользы-то, — сказал Харитон Игнатъевич.

— А-а, да... да, из головы вон! Спасибо, что надоумил! — произнёс Второв, суетливо перебирая бумаги на столе, разыскивая заранее приготовленный список. — Ну, так что же ты с меня возьмёшь за этот хлам, а? — спросил он, подавая ему список.

— Полноте-с! О чём разговор... — ответил Харитон Игнатъевич, бережно складывая его и опуская в карман.

— Ни... ни... говори, говори! Служба службой, а дружба дружбой!

— Хе-хе!.. Да что же с вас взять-то? Гривенничек с листа не обидно покажется? — спросил он, пытливо посмотрев на Второва.

— Гривенн-и-ик?.. Что ты... что ты, дорогой друг мой! — с изумлением произнёс Второв, отступая от него и расставив ладони рук, как бы защищаясь от нападения Харитона Игнатъевича. — С меня в лавках девяносто копеек за лист просили. Ведь это будет с моей стороны взятка с тебя... Я этого не люблю! — строго произнёс он. — Не-е-т... ты бери, что стоит тебе, а так я... ни-и-ни... Избави бог... Это не в моих правилах!

— В таком случае... положьте для круглого счёту пятиалтынничек, хе... хе...

— И... это дешёво... но-о... уж если ты желаешь, изволь.

— Доставим-с!

— Пришлю лошадей!

— Предоставим-с! Не утруждайтесь! А затем прощенья просим-с! Позвольте пожелать вам наипаче всего хорошего! — произнёс, развязно раскланиваясь, Харитон Игнатъевич.

— Спасибо, спасибо, Харитон Игнатъевич! — произнёс Второв, запахивая халат и провожая гостя из кабинета в переднюю.

— Уж первого опоёчка с завода... на сапожки в ваше одолжение доставим! — сказал Харитон Игнатъевич, надевая шубу, и засмеялся. Второв тоже засмеялся и, крепко пожав его руку, запер за ним дверь.

* * *

Не прошло месяца, как в Т...е уездное полицейское управление вступило предписание казённой палаты о вводе т...го мещанина Харитона Игнатъевича Плаксина во владение Святым озером, отданным ему с торгов в арендное пользование на двенадцать лет. Сильное впечатление произвело это предписание на членов. О впечатлении, какое произвело оно на Ивана Степановича Кашкадамова, я не буду говорить. Пётр

Никитич, привезённый из волости особо посланным нарочным, имел с ним по этому поводу продолжительное объяснение, кончившееся удалением его от должности писаря. Взрыв горя и негодования, какой охватил крестьян при известии об отдаче озера в аренду, вероятно, дорого обошёлся бы Петру Никитичу, но он уже более не показывался в волость. Выбранные народом ходатаи, в том числе и Никифор Гаврилович Бахлыков, отправились с просьбой о возврате озера, но безуспешно. Представленный ими приговор служил уликою против них в намеренном обмане властей. «Вперёд будьте умнее!» — говорили им повсюду, куда ни толкались они. Но всё-таки об этом происшествии предписано было произвести дознание. Пётр Никитич на предложенные ему вопросы отвечал, что «он действовал так исключительно в видах интереса казны, и главное, с разрешения своего начальства, и если бы в волость было прислано предписание палаты о зачислении озера в оброчную статью и о вызове крестьян на торги, которые по закону следовало произвести в волостном правлении, то этого несчастья не случилось бы!». В настольном реестре вступающих в волость бумаг действительно не оказалось, чтоб в волость вступало предписание палаты о вызове крестьян на торги, точно так же и по исходящему реестру не значилось ответа волости. По сличении подлинной бумаги от волостного правления, извещавшей палату, что крестьян, желавших явиться на торги, не оказалось, — с почерком Петра Никитича, выяснилось, что она была писана и подписана не его рукою, печать волостного головы была бледна, не ясна, номер фальшивый. Подлог был несомненный, но кто совершил его и с какою целью — осталось недознанным, хотя подозрение и тяготело над Петром Никитичем.

Судьба улыбнулась, наконец, Петру Никитичу. Он до настоящей минуты живёт в неразрывной дружбе с Харитоном Игнатьевичем, хотя каждый год при дележе доходов между ними происходят крупные ссоры. Пётр Никитич пополнел, даже бакенбарды его стали гуще, пушистее и приблизились к типу первобытных. В словах и манере его, полной достоинства, проглядывает сановитость, свойственная капиталистам. Кроме озера, он, в компании с Харитоном Игнатьевичем, арендует несколько рыбных песков на Оби, имеет свои суда и ведёт обороты на десятки тысяч. По праздничным дням супруга его, взятая им из богатого купеческого дома, катается по улицам города в коляске, а зимою кутается в соболей, порождающих зависть у многих сановитых дам. На купеческих вечерах и обедах Пётр Никитич и супруга его пользуются большим вниманием. Никто из купцов как будто и не узнаёт в нём того Болдырева, который некогда подносил им

поздравительные акrostихи и, стоя в передней, получал от них полтинники и куски пирогов... и подозревался к тому же в краже легко уносимых вещей.

Харитон Игнатъевич отслужил уже трёхлетие кандидатом городского головы. Он по-прежнему ведёт деятельную жизнь, хотя давно прервал знакомство с тёмными личностями. Старый градоначальник, добравшийся до его шкуры, помер, а с новым Харитон Игнатъевич живёт в тесных дружественных отношениях. В дружественных отношениях живёт с ним и Второв, хотя частенько в приятельской беседе напоминает ему об обещании прислать опоек на сапоги с своего завода. Но вместо опойка Харитон Игнатъевич к каждому посту посылает ему в гостинцы отборных святозёрских карасей. Харитон Игнатъевич сам хозяйничает на озере, нанимая для работ крестьян за баснословно дешёвые цены. В первое время ему было много хлопот и неприятностей. Крестьяне по злобе к нему рвали и портили его невода и сети, топили лодки, крали рыбу, поджигали устроенные им по берегам озера избы, пакгаузы и амбары, но теперь всё утихло. Только Пётр Никитич ни разу не заглянул на озеро, он и до настоящей минуты опасается возмездия.

А как же поживают крестьяне X-ой волости, спросит, может быть, читатель. В ответ на это я скажу одно, что со времени отдачи озера в аренду недоимка на волости накопилась в количестве 37 876 рублей и считалась безнадежной ко взиманию; пополнена ли она в настоящее время, не знаю.

Зажора*

Рассказ

Живя в деревне во время службы моей в Сибири, я обыкновенно раз в неделю получал с почты иногда более сотни пакетов: с донесениями волостных правлений и предписаниями и подтверждениями различных начальств и ведомств о скорейшем окончании находившихся в производстве у меня следственных дел. В числе этих пакетов каждый раз находилось два-три с надписью: «о происшествии», и эти пакеты, конечно, прежде всех распечатывались и прочитывались мною. Невесёлые думы навевало на меня чтение донесений о найденных мёртвых телах, о повесившихся, об убийствах, совершённых в моём участке. Я смотрел на эти донесения как на скорбные листы, вырванные из обширной книги народной жизни; и это действительно были скорбные листы, которые помимо желания у самых чёрствых людей будили что-то вроде сострадания и раздумья. Нашли, например, мёртвое тело, по-видимому, бежавшего арестанта, так как на спине смурого зипуна казённого образца вшит был чёрный четырёхугольник; нашлось оно в погребу, за кадками с солёными огурцами и капустой, куда забился несчастный беглец, гонимый морозом, голодом и страхом. «Уши, нос, губы повреждены, по-видимому, крысами; в кулаке сжат огурец, часть которого откушена», — гласит полицейский осмотр, заменяющий некролог для этих людей, бесследно гибнущих иногда в самом расцвете сил и жизни. Наверно, каждый прочёл бы меж строк сухого формального донесения тяжёлую повесть пережитых страданий во время жизни этого человека на воле, в бытность в остроге и во время бесприютного скитальчества. В другой деревне повесился крестьянин из ссыльнопоселенцев, занимавшийся столярным мастерством. По показанию однодеревенцев, «в последнее время он тосковал по жене, оставшейся на родине и вышедшей замуж». Немного, кажется, сказано в этих строках донесения волостного правления, а

* Зажорой народ называет глубокую рытвину, образующуюся по санной дороге весной, во время таяния снега. Подобные зажоры были крайне опасны на пути, пролегающем по льду, так как имеют свойство вследствие рыхлости льда или снега засасывать в себя и лошадей, и экипаж. Нередко бывают случаи, что засосанная зажорою лошадь гибнет. — *Прим. автора.*

вникните в них, и перед вами развернётся потрясающая драма, надломившая силы человека и сделавшая жизнь для него невыносимым страданием.

После получения подобных пакетов мне всякий раз приходилось скакать в ту или другую сторону моего обширного участка, скакать безостановочно, несмотря ни на какую погоду, чтоб производить судебные дознания и осмотры. Зато во время скучного пути по узким просёлочным дорогам было много досуга раздумывать, под однообразный звон колокольчика и топот лошадей, об участи всех этих Иванов, Трофимов, Агафонов, которых печальная жизнь, начавшаяся, может быть, с пелёнок, привела к не менее печальному концу где-нибудь в погребу или под навесом...

Часто среди пакетов встречались пакеты с надписью: «секретное»; в них обыкновенно доставлялись мне фальшивые кредитные билеты с подробною повестью о странствовании их из рук в руки до минуты открытия незаконного происхождения. Получив в ноябре 186... года подобный пакет, я был вполне уверен, что, распечатав его, найду какую-нибудь пятирублёвую кредитку; но каково же было моё удивление, когда вместо кредитки в руках моих оказалось предписание произвести строжайшее расследование: «не заключается ли в пророчествах крестьянина деревни Клушиной, Анисима Матвеева Королькова, чего-либо возмутительного противу властей и существующего порядка». В подробном донесении волостного правления, приложенном к этому предписанию, говорилось, что «Анисим Корольков во время бывшей в июле месяце сего года сильной грозы слышал глас с неба, обращённый к нему, и глас сей был столь зычен, что Корольков оглох от оногo и доныне чувствует шум в правом ухе, и при сём он видел якобы ангела, держащего в руках огненную метлу, кою он мёл по воздуху». Подобный случай, в то время ещё первый в моей практике, сильно заинтересовал меня, и я в тот же день отправился в путь. В глухую полночь, прозябший и усталый, въехал я в деревню Клушино, заброшенную далеко в глушь Т. округа. Ямщик мой, пожилой человек, одетый в шубу мехом вверх, с половины дороги начал усердно похлопывать рукавицей о рукавицу и несколько раз, желая отогреть оковеневшие члены, соскакивал с облучка и бежал рысью рядом с лошадьми. «О-ой, мо-оро-оз завернул!» — произносил он, вскакивая на облучок после подобного моциона и, оборачивая ко мне своё красное лицо с густо заиндевевшей бородой и усами, улыбался самой добродушной улыбкой, по всей вероятности, вызываемой приятным ощущением теплоты, разливавшейся по телу его.

— Завёз бы тебя к Максиму Арефьичу: изба-то у него большая, просторная, чистая изба, — произнёс он, обратившись ко мне, когда мы въехали в околицу деревни; — да не знаю, покажется ли тебе: таракан одолел его, совсем, слышь, из избы выживает; поедешь ли? — спросил он.

— Вези; чего же таракана бояться? — ответил я.

— И я-то говорю, что чего бы таракана бояться, не съест; да вишь, ноне писарь у него останавливался, так таракан-то, слышь, в ухо заполз ему, слышал?..

— Случается..

— Так писарь-то это, с сердцов-то, слышь, оплеушин с десяток никак Максиму-то накидал. Вот оно!.. Суди, и не велик бы гнус таракан, а сколь неприятностей за него стерпишь в ино время..

— Да какое же право имел писарь бить его?

— Уж где тут право разбирать, когда бьют-то тебя, суди! Ты, говорит, должен по закону жить, в избе-то блюсти чистоту, а не плодить гнуса; я, говорит, с тебя ещё за таракана-то убытки возьму.

— Убытки-то какие же? — прервал я, заинтересованный рассказом его о похождениях писаря.

— По службе убытки-то! Я, говорит, на то, может, и приставлен теперича, чтобы мне всё слышать, чего где говорят и деют, а ты меня тараканом отравил. Могу ль я, говорит, опосля того быть верным слугой начальству, а-а? Вот и толкуй, какие убытки-то! Пять рублёв ему на мировую Максим-то пожертвовал, знаешь ли вот это?

— Ну и глупо сделал, что пожертвовал.

— Глупо, известно, испужался! С испугу-то и десять отдашь, да не скоро образумишься. А может, оно и заболеть в законе-то писано, шток таракана-то не плодить в избах, почём знать!

— Законов про это не пишут.

— А-а... ну, вишь вот, темнота-то наша, хе!.. И за таракана бьют, да деньги берут! — произнёс он, покачав головой. — Так Максим-то, слышь, только спровадил, это, писаря-то, так сейчас это, с сердцов-то, распахнул окна и двери в избе и ну их морозить, тараканов-то... Извёл!.. Да не боле, слышь, месяца по закону-то прожил. Сызнова, говорит, набилось их никак боле прежнего; вот и способись поди с ними, Я на то и спрашиваю тебя: поедешь ли?

— Вези!..

— Писаря-то я же, слышь, к Максиму-то привёз, так Максим-то на меня, никак, с месяц серчал. Вот я и боюсь, милый, кабы сызнова не подвести его под грех, и спросил тебя, поедешь ли. Ну, да никто, как Бог! — заключил он и, хлопнув рукавицами, крикнул: «Эй, вы, соколики!».

Соколики пустились крупною рысью, и не более как через четверть часа я сидел в просторной и тёплой избе Максима Арефьича, освещённой двумя сальными свечами, при тусклом свете которых всё-таки можно было рассмотреть полчища тараканов, копошившихся в пазах стен, в углах и по потолку. На другой день утром, вслед за поданным самоваром, ко мне вошёл и хозяин дома, Максим Арефьич. Войдя в комнату, он, по обычаю, помолился в передний угол и затем, пожелав мне доброго здоровья, остановился у порога. Это был широкоплечий, низенького роста человек с лёгкою проседью, пробивавшеюся в тёмно-русых волосах на голове, подстриженных в скобку, и с окладистой бородой, придававшей лицу его шарообразный вид. В крупных и даже грубых чертах его лица было разлито наивное добродушие. Глядя на него, так и казалось, что любой проходимец мог обогнуть его не только за таракана, но даже за блоху, и ни малейшего протеста не оказал бы на требования его этот приземистый человек, обладавший мускульною силой и цветущим здоровьем.

— Садись-ко, Максим Арефьич, гость будешь! — пригласил я.

— Постоим, ваша милость; благодарим покорно на слове; нам што; мы и постоим! — ответил он, кланяясь.

— Садись! — повторил я.

— Не привышны будто, — снова ответил он; — ну, уж коли твоей милости угодно, так што же, пожалуй, и сядем, только оно... того, — говорил он, заноса руку к затылку, — зазорно, слышь, сидеть-то...

— Отчего зазорно?

— Дело-то наше подначальное... Ну, да што ж, посидим, всё будто компания, — ответил он, слегка присаживаясь на скамью и точно опасаясь, что при малейшем неосторожном движении его она рассыплется. — Знать, по делу к нам заглянул, сударь? — спросил он. — Уж не Анисим ли Матвеич мучит тебя, а?

— Какой Анисим Матвеич?

— Корольков, што ль, пишется-то он... мы-то его, признаться, Зажорой кличем боле... Зажорой все зовём.

— За что же вы его Зажорой прозвали? — любопытствовал я.

— А бог его знает! Как тебе скажешь, за што какую кличку на мужика мир повесит? Теперича меня вот взять; сызмальства, почесть, стали Корчагой кликать... Корчага да Корчага, ну, и подь вот — доспрашивай, за што и про што в Корчаги произвели!.. — с добродушной иронией пояснил он. — Так уж исстари повелось; вот и Анисима Матвеича окрестили Зажорой и зовём теперь: Зажора да Зажора!.. Оно, коли вправду-то

сказать, так, пожалуй, што кличка-то эта и по шерсти ему: заедливый человек.

— Неуживчивый? — прервал я.

— Не-ет! Пошто грех на душу брать, худое-то говорить про него: уживчивый, из миру его клином не вышибешь; а так это, кормилец, обсказать бы тебе, ненатуральной, ровно, человек-то...

— Помешанный, што ль, по-твоему?

— И этого не говори: в уме мужик, как есть в полном разуме.

— Так чем же он, по-твоему, не натурален?

— А так бы тебе, батюшка, обсказать надо, — начал он, заикаясь, — што не за своё, ровно, дело берётся. Теперича возьми ты мужика, к примеру, меня возьми, — ну, мало ли что где деется, а? Ну, и видишь в ино время, чего таить, што оно и не так бы следовало, не по порядку будто клин в ино место вбит, да ведь чего ты доспешь! Не с тебя повелось, не тобой и кончится. Ведь и тесницу теперь возьми, к слову скажу: гладкую-то в редкость ты найдёшь, всё нет-нет да сучок и выглянет... Так и жизнь-то наша! Верно ль я говорю?.. А он, сказать тебе, Зажора-то, сейчас это в думу вдарится: почему да отчего всё это, да где закон экой? Ну, мужичье ли это дело — думать-то, суди!

— А разве мужику, по-твоему, не следует думать, а?

— Как ты, милый, без думы-то проживёшь? И хотел бы, может, в ину пору жить без думы, да, вишь, дума-то не спрашивает, надоть её или нет, а сама тебе без спросу в голову лезет. Без думы жить тоже нельзя, а дума-то думе розная! По моему, теперича, разуму, одну ты думу свободно в себе допускай, а другую, блажную-то, и придави. Теперича я так скажу тебе, возьми ты вино: чего говорить, вредительности от него много человеку бывает и на миру идёт, да след ли мне добираться, отколь оно повелось на свете, по какому закону допускают его истребление? А Анисим сейчас тебе в думу вдастся. «Почему, говорит, коли от Бога закона нет вино пить, а ты пьёшь, вредительность себе приносишь?» Да рази оно так можно, а?..

— Отчего же не можно, объясни ты мне?!

— Не стать, не мужичье дело в экие думы входить, — горячо ответил он. — Мужичье дело, батюшка, одно знать: паши, сей, блюда хозяйство, соблюдай, чего с тебя начальство требует и не вникайся, ни боже мой!..

— Ни во что не вникайся, чего бы ни делалось кругом тебя а?..

— Ни в малую соринку!

— А Зажора вникал?

— Про то и говорю, что заедался! Дума-то, батюшка, што калач на голодные зубы, приманчива; вдайся только в неё, и не услышишь, как облопаешься.

— Думой-то?

— Ну, помыслом-то про то да про сё, чего тебе вовсе не след знать и ведать. Вот ты посуди, скажу тебе хоша бы про того ж Анисима Матвейча: человек он — окромя хорошего ничего не скажешь; беден — чего таить, не богато его дело, а всё колотился, чего с него след отбывал, помочи ни у кого не просил; и жил бы да жил, тихо, смирно, в степенном образе, а вот как вдарился в думу — и пошло оно, кружение-то! Пошто, вишь, девки да бабы ситцевые платья носят, да платы шёлковые на голове, а не самодельную пряжу?.. Надо, говорит, не тело рядить-то, а душу, а стал, говорит, ты о теле радеть — и будешь только думать о телесном; от энтого, говорит, и девки, и бабы в блуд идут.

— Это он проповедывал, Зажора?

— Ну.. ну.. он! Вино, говорит, теперича тоже последнее дело, звериная услада, потому, говорит, человеку оно звериный облик даёт.. шатание.. Отколь, говорит, весь грех по миру идёт?.. От вина! Вино-то, говорит, слюна дьявольская, а мы её пьё-ё-ём! Кабы не вино, говорит, так рази Иван Афанасьич оправдался бы, говорит, перед миром? Разве мы бы, говорит, заплатили другие денежки, а?

— Какие это денежки? — прервал я.

— Мирские, што Иван Афанасьич съел да и спасибо не сказал.

— А кто же это Иван Афанасьич?

— Иван-то Афанасьич? — повторил он. — Аль ты не знаешь его? — удивлённо спросил он, как бы предполагая, что Ивана Афанасьевича все должны знать.

— Нет, не знаю...

— А-а-а!.. Вишь, оно, а я полагал, ты знаешь его, прежде-то начальство все его знали, да и всегда к нему приворачивали. Мужик он, батюшка, наш же брат, да с кабака, вишь, жить-то пошёл. Кабак держал, греха-то этого за ним — и-и-и! — протянул Максим Арефьич, махнув рукой, и отвернулся. — Иван-то Афанасьич и струну-то эту под Анисима подвёл, што его в волость-то заперли. Писарь-то наш на дочке его женат, ну, вместе и мухлюют. А Зажора-то, Анисим Матвейч, возьми да и распиши его.

— Кого, писаря-то?

— Не-ет, Ивана-то Афанасьича, козыря-то нашего!

— Как же он его расписывал?

— Хе!.. Письма-то тут, батюшка, не шибко много; пожалуй, и письмо-то писать не устанешь. Одну ему песенку Зажора-

то в уши дул: что ты, говорит, с зятем-то своим, писарем, мирские деньги съел... Иван-то Афанасьич, скажу тебе, годов пять тому время, заседателем по хозяйской части в волости ходил; ну и сбирал это деньги по волости на земскую гоньбу, и многонько што-то насобирали, а фитки-то кому выдавал, всё сулил сегодня да завтра выдать, — так и шло время. А как пришлось, слышь, ему деньги-то сдавать, он и отопрись, што не брал и в глаза-то не видывал, какие они, деньги-то. Мало ли судьбища-то тогда было... Начальство-то, слышь, приказало описать Ивана-то Афанасьича, а он будь не промах, да весь свой скот, — и коров, и лошадей, — и сгони от описи-то к писарю на двор, будто бы весь этот скот он в приданое за дочерью выдал ему... И фиток такой подстроили с писарем-то.

— Какой же это фиток?

— Фитанцию, сказать бы тебе, што весь скот он дал писарю в приданое за дочкой, а у него на дворе он стоял будто бы для кормёжки одной; а народ-то смутил показать, слышь, под присягой, што он точно скот-то этот в приданое за дочкой отдал.

— И те присягнули?

— Целовали крест... Вина-то этого выпоил им, никак, без счёту!.. Вот какие дела-то!..

— Так его и не описали?

— И посеячас цел!.. Ну, чего ж тут делать будешь, а? Подумали мужики-то, видят, што взять тут нечего, махнули рукой да и внесли вторительные деньги, а его будто бы простили.

— А много внесли?

— Рублёв семьсот, если не боле. Ну, Зажора-то вот при всём обществе и окрести его мошенником, введи в сердце, — потому правда-то глаза ведь колет, — а Иван-то Афанасьич не стерпи беды, да и научи писаря: донеси-де на него! Вот и пошёл сыр-бор гореть, туши-то теперь... Что ему будет теперь, батюшка, Анисиму Матвейчу, знашь иль нет? — неожиданно спросил он, пристально посмотрев на меня.

— За что?

— За тревогу-то, што начальство-то потревожил.

— Да чем же он начальство-то потревожил? — спросил я.

— Ну, что народ-то мутить будто стал... Мы-то, признаться, полагаем, што за экое дело каторги-то, поди, не минуешь. Мало ль разговору-то было меж нас... Он ведь, Анисим-то Матвейч, признаться тебе, свойственник мне доводится; и не близка родня, а всё как бы обидно. Мужики-то теперь, со слов-то Ивана Афанасьича, на меня, слышь, налегают. Ваш род, говорит, такой: смутьян на смутьяне; тревоги-то, говорит, и нам, и начальству от вас не обобраться. Да я-то, говорю, мир чест-

ной, при чём же тут? Ты, говорят, коли видишь, што в мужике кружение пошло, должен бы унимать его, не допускать до всякой-то думы. Оно точно, чего говорить, я и видел, что с ним ровно чего-то неладно деется, да полагал, што дума-то эта у него с горя пошла.

— С какого же горя?

— Обида будто маненькая встрелась ему: две девки у него дочери и, не потаясь скажу, загульные. Одна-то, Авдотья-то, меньшая-то, родила, слышь, в ланском году. С целовальником снюхалась и, так бы сказать, от дому отбилась. Целовальник-то, вишь, женатый, с женой-то живёт несовместно, жена-то в городе у него при доме, а Авдотья-то здесь, кабы заместо супружницы — хозяйство у него при кабаке-то блюдёт. Ему бы, Анисиму-то Матвеичу, где бы поучить дочь-то, порядку наставить, а у него, вишь, рука не вздымается, а поперёк-то, вишь, на сердце ложится. С этого боле, полагаю, и кружение-то у него пошло, а мужики-то вот на меня несут, пошто я не блюл. А я, прости ты меня, Господи, хоша бы знал и видал, чего у него на уме! — произнёс он, разведя руками. — Диво! Вижу, што скучает человек, людей сторонится, особливо как Авдотья-то родила, да пошёл это говор да толк на деревне. Ну, чего же, думаю: известно — отец, сердце-то болит, поди! Ну, так это и шло время... Только одна это, летом ноне, и поднялась гроза — страх божий, какая: по небу-то словно сполох от молоньи-то шёл. Только вдруг это, слышим, кричат на деревне: «Анисима громом убило!». Почесть, старый и малый сбежались к избе-то его: видим, как стоял он на дворе, обтёсывал, это, бревно, так тут и лежит у бревна-то замертво... Храни его Бог, как он топором-то исхо не повредился. Спужались, было, сначала-то, думали — убило его, только нет, глядим — дышит ровно. Ну, тут кто говорит, што парным молоком отпаивать надо его, баб-то посылают коров доить, а то и невдомёк, што скот-то в поскотине ходит. Другие велят парным коровьим помётом обложить его, — молонью-то будто помётом из человека вытягивает, а кто твердит, штобы в землю Анисима-то по шею закопать, — скорей-де отойдёт он... Ну, и староста Мирон Антоныч на том же стоять стал, штоб закопать его в землю. Принесли это заступы, начали яму рыть, а он и стал очунять будто. Притихли, ждём, чего будет. Дочки-то его тут же стоят, воют над ним, ну, уняли их: не пужай, мол. Ну, видим — это, глаза открыл, озирается... «Слава тебе, Господи!» — думаем... Водицы ему из ковшичка дали холодненькой, попил и словно будто в память вошёл, — приподнялся это, сел на бревно-то... Мы и говорим ему: «Пошёл бы ты, Анисим Матвеич, да прилёт, скорее бы, может, отдох!..».

— Посижу, говорит, не нудьте.

— Ну, сиди, мол, што ж; слава Богу и то, што отдох, отпустил Бог душу на покаяние.

— О-ох, говорит, други, отпустил Господь мою душеньку, да никак не к добру; лучше бы, говорит, помереть мне.

— Окрестись, говорим, Анисим Матвеич, в уме ль ты? Сейчас только замертво лежал, да сызнова смерть накликаешь на себя! Аль, говорим, разум-то у тебя отшибло? Што ты, одумайся, говори слава Богу, што Господь у тебя веку не отнял!

— Лучче бы, говорит, глазоньки-то мои закрылись, а не глядели бы боле на свет-то божий, лучче бы!.. — твердит он. — Быть, говорит, большой беде над нами, многогрешными; быть, говорит, други, такой беде, што мёртвём-то позавидуешь! И начал это креститься да вздыхать. Народ-то тут, братец мой, и поиспужался, особливо бабы-то, и в плач было ударились... Ну, уняли их, допытываем его, с чего бы над нами беде быть, с чего он непутные слова говорит, только на думу народ наводит... И староста это, Мирон Антоныч, мужик толковый, в полном качестве, и говорит ему: «Подь, говорит, Анисим, сосни; никак, говорит, тебя, сердешного, стряхнуло небесным-то сполохом».

«Встряхнуло, говорит, точно», — Зажора-то отвечает ему.

«То и есть, говорит, што встряхнуло; а ты подь-ка, приляг, отдохни; сон-то, говорит, в разум человека вводит, коли его и встряхнёт в ину пору! Иди-ко», — говорит.

— «Не пойду, — Зажора-то твердит. — Потому, говорит, на меня ангел божий заповедь наложил — сказать крещёному люду, што много слёз прольёте вы, што горем, что горой, придавит вас».

«Где ты его видел-то?» — спросил староста.

— На небе!

— Мы так это, батюшка, как сказал он это слово, ровно ужаснулись, и не того, штобы неподобное чего говорил он, а чудно всем стало, што Анисим-то, мужик умный, степенный, ни в чём не замеченный и на слово-то не шибко бы бойкой, вдруг экую беду заговорил! А што, мол, как и взаболь тряхнуло его божьей-то милостью? Ну, и опаска взяла. С одной стороны, и жаль его стало, а с другой — опасно: как-никак, а уж коли не в здравом уме человек, стерегись!.. А староста всё его допытывает: при каком он, стало быть, случае ангела-то божьего видел?

— А тесал, говорит, я, други, бревно, как гроза-то настигла, — Анисим-то отвечает, — мне бы идти, говорит, надоть в ту пору в избу, — а я думаю, что ж, ведь не глиняный я, дождём не размочит... Штоб время-то не терять, взял это

бревно-то, подтащил под навес и тешу... Только вдруг как гром-то ударит, говорит, плехнула молонья-то, я и лба окрестить не успел, так и замер, так и замер, говорит, вижу только искры-то, словно вот от пожарища, так и ходят, так это и крутят около меня, а ангел-то божий, весь кабы в огне, говорит, метёт это по небу и приговаривает: «Смету, говорит, с земли-то всякую неправду, и судей неправедных, и кабашников!». И пошёл это Зажора припевать в ту пору, кабы со слов-то ангела, неизбывное, и пошёл: «И горе будет вам, говорит, и мор, и глад, и всякие болести»... плёл, плё-ё-ёл он тогда, што и не перескажешь! С диву мы только дались, слушая его: кто это охает да крестится, а другие, што потолковей, только головами покачивают...

— Встряхнуло, братцы, мужика-то! — говорит староста.

— И видать, говорим, што встряхнуло!.. Ну, нет-нет, его в те поры спать уложили, думали — отдохнёт, придёт в себя, успокоится. Староста-то хотел было в волость бежать с объявкой, да мы-таки, признаться, уняли его; обожди, мол, обойдётся мужик-то! И обошлось бы оно, кабы не наткнулся на Ивана-то Афанасьича.

— Он тогда же и поспорил с ним?

— Не-е-ет! В долго уж время-то после этого. Иван-то Афанасьич, сказать тебе к слову, шибко блудлив на язык-то: всё это норовит, кабы его словцом-то щипнуть, ну и подними Зажору-то на смешки. Смеялся, смеялся, да и досмеялся. Тот это подбери случай, да и вывори все его нутро: как он и с волостными мошенничает... да много он напел ему в те поры, помянул-таки и начальство-то лёгким словцом.

— А чем же он начальство-то помянул? — прервал я.

— Одни, батюшка, на мужичьем-то языке поминки про начальство живут; не суди уж, не мне энтому словцу вторить, ослобони! — уклончиво ответил он.

— Отчего же ты не хочешь сказать мне? — спросил я. — Чего же боишься?

— Уволь, сделай милость! Уж лучше Зажору спроси, мужик-то он откровенный, его был грех, его и ответ будет, а наше дело, батюшка, сторона; вникаться-то во што не след — не доводится, — отвечал мне Максим Арефьич, несмотря на все мои уверения, что слова его останутся между нами.

Немного нового сообщили о Загоре однообщественники его, спрошенные мною в тот же день. На мои вопросы они отвечали одно: «...говорил он, что вино худо пить, что вино — дьявольская слюна, худо, что бабы и девки любят рядиться... Ну, чего таить, и начальство не одобрял!». Но за что не одобрял Зажора начальство и в каких выражениях выска-

зывает это неодобрение, — они или умалчивали, или давали уклончивые ответы, вроде того, что «балагур мужик, — где всё упомнишь, чего когда сблаговестил!». Для меня не оставалось более сомнения, что Зажора принадлежал к разряду тех людей, какие часто встречаются среди сибирского населения и, может быть, только исключительно среди сибирского. Говорю «исключительно», потому что только в этой печальной «стране изгнания» до сих пор ещё самая ничтожная полицейская власть, если ей напомнить о законе, гордо ответит вам: «Здесь я закон!». Под гнётом этого произвола Сибирь и вырабатывает в народе особенные типы страстных, энергичных людей, смело протестующих среди всеобщего безмолвия и апатии, против зол, разъедающих народную жизнь. Формы протеста, избираемые подобными личностями, бывают разнообразны. В Сибири несколько раз проявлялись, например, оригинальные разбойники, грабившие только богатых чиновников, разжившихся взятками, и купцов, прославившихся беспощадной эксплуатацией рабочего народа. Всё отнятое у этих купцов и чиновников разбойники раздавали неимущим крестьянам. Я знал многих крестьян, отданных под надзор общества и волостных правлений в качестве неисправимых «ябедников», которые, отрешившись от хозяйства, толклись с утра и до ночи в передних различных начальников и присутственных мест, держа в руках просьбы, которых от них никто уже не принимал. Они жаловались не за себя, не за свои личные обиды и нарушенные интересы, нет, они являлись ходатаями за общество, задавленное насилиями. Я нередко удивлялся самоотвержению, с каким выносили эти люди обрушивающиеся на них гонения. Подобных «ябедников» обыкновенно секут в полициях и отправляют из городов под конвоем на место жительства, где волостные начальники, писаря, кулаки, священники, чины земской полиции, всегда бичуемые их обличениями, мстят им при всяком удобном случае. Будь другой человек на месте их, он давно бы пал в неравной борьбе, но эти люди неспособны падать. Заслышат они, что едет какой-нибудь «генерал», какой-нибудь новый начальник края, видят они, что земские и другие власти суетятся, ожидая приезда этого лица и стараясь замести следы всевозможных злоупотреблений, — «ябедники» тайно ликуют в ожидании приезда новой власти, ликуют от мысли, что власть услышит их мольбы, раскроет злоупотребления и воздаст каждому по делам его. Но, увы, земские власти тоже не дремлют, за «ябедниками», как нарочно, усиливают в это время надзор, и ко дню приезда начальствующего лица их запирают, нередко без всякой вины, в волостные тюрь-

мы. Проехало лицо, с трепетом ожидаемая буря промчалась благополучно, не вырвав ни одного подгнившего в корне дерева и не колыхнув молодых побегов, высасывающих из почвы все жизненные соки, — «ябедников» безопасно выпускают на свободу и ослабляют за ними надзор. Стойкий в достижении своих целей, хотя наивный, как дитя, «ябедник» снова начинает поднимать прикинувшую голову: улучив удобное время, он тайно скрывается из места своего жительства, достигает до того города, где живёт «благодетельный генерал»; какой-нибудь досужий приказный сочиняет ему обличительную просьбу, но сила не в просьбе! «Ябедник» упорно убеждён, что «генерал» внимательно выслушает бессвязную речь его и его горькие сетования, вникнет в суть их и, разгромив лиходеёв народа, водворит повсюду добро и справедливость. Нередко «ябеднику» удаётся добраться до приёмной «генерала», но... дело всё-таки кончается тем, что его вновь высекут и снова под конвоем или по этапу препроводят в волость, под надзор её и общества, а там он уж знает, что ждёт его. «Нет, это не тот генерал! — с сокрушением сетует протестант-ябедник. — Настоящий генерал выслушал бы меня, а этого уж успели опутать и обвести наши-то лиходеи!» И томится подобный протестант-ябедник, томится иногда долгие, долгие годы, в ожидании приезда такого генерала, который бы вникнул в положение крестьян, смёл бы опутавшее их зло и водворил справедливость...

Людям, бывшим в Сибири, доводилось, я думаю, встречать в городах, и в сёлах, особенно стоящих на большой трактовой дороге, крайне своеобразных людей, на которых обыкновенно никто не обращает внимания: это «дурачки», или, как называет их народ, «божьи люди». Чаще всего это — бездомные, перебивающиеся милостыней старики. Припрыгивая на одной ноге или выкидывая какие-нибудь дурачества, «божий человек» вертится около повозки проезжающих, забавляя их и получая за подобную забаву иногда щедрое подавание. Дурачков этих всегда отгоняют от людей, имущих власть; если же они не идут, то их бьют и, несмотря на их крик и сопротивление, уводят и запирают в какой-нибудь избе. На вопросы начальствующих, что это за человек, — волостной старшина, писарь или земский заседатель категорически объявляют, что это «дурачок», «божий человек»! Но если бы хоть одно имущее власть лицо заинтересовалось этим «божьем человеком» и поговорило бы с ним, то оно изумилось бы, как много ума и наблюдательности скрывается в этих людях, которые, напуская на себя глупость ради невменяемости, сплошь и рядом высказывают горькую, режущую глаза правду. Эти люди — воплощение гласности, за-

душенной в народе бюрократическим произволом. Однажды подобный дурачок, которого удостоило беседой важное лицо, пересыпая свою речь шутками да прибаутками, раскрыл перед ним крупное убийство, скрытое лихоимцем-следователем, и вывел массу злоупотреблений местной администрации, которые без этого случая наверное остались бы нераскрытыми.

Дня через два после моего приезда в Клушино я вытребовал Зажору из волости, где содержался он всё время до моего приезда под строгим арестом, в камере, почти лишённой света и воздуха. К нему не допускали даже дочь, несколько раз приезжавшую для свидания с ним. Зажору доставили ко мне под конвоем двух сотских, — мера, принимаемая только относительно важных уголовных преступников, обнаруживавших попытку к побегу. Злоба к этому старику доходила до того, что его лишали даже питья и подавали ему затхлую тёплую воду, от которой, как выражался он, его «нутрило».

Когда его ввели ко мне, он молча перекрестился и, поклонившись мне, остановился у порога, пристально глядя на меня. Наружность его была оригинальна. Исхудалое, бледное лицо было покрыто морщинами, точно мелко сплетённую сеть; тёмно-русовая борода с густою проседью прядями падала на грудь; широкий, низкий лоб был покрыт, точно шапкой, густыми всклокоченными волосами, к которым гребёнка прикасалась, по-видимому, весьма редко. Глубокая, прямая морщина, лёгшая между бровей, придавала лицу его сурово-серьёзное выражение, которое, вероятно, не сглаживалось и улыбкой, если улыбка когда-нибудь озаряла лицо этого старика; выражение это смягчалось отчасти голубыми, спокойными и ясными глазами старика. Невозмутимо спокойная фигура его инстинктивно подсказала бы каждому, что этот человек сознаёт свою глубокую правоту и далёк всякого страха какой бы ни было ответственности.

— Здравствуй, старинушка! — сказал я.

— Здравствуй, батюшка, — ответил он, снова поклонившись мне, — будь-ко здоров!..

— Садись-ко, побеседуем, — пригласил я.

— Уволь уж, батюшка, от этой милости, не сяду! — решительно ответил он.

— Отчего же не сядешь?

— Насиделся уж в клетушке-то; постоять-то, пожалуй, и рад теперь. Подрасту исшо, может, коли годы-то не ушли, — с насмешливым оттенком в голосе добавил он.

— А давно уж ты сидишь в волости-то?

— Утеха ведь, батюшка, старым-то костям, коли до места доберутся: сколь ни сидел бы — не ропчу. «За чем пошёл, то и

нашёль», на миру-то говорят. Кабы путные речи говорил, так не посадили бы; ну, а коли задумал под старость околёсную нести, так уж, сколь бы терпка ни была путинка-то, оглядываться не след!

— Какую же ты околёсную-то нёс, а?

— Ведь тебе уж, чай, описали, батюшка; недаром же, поди, приехал; в бумаге-то сказано, поди, так чего ж ты пытаешь меня? — спросил он.

— В бумаге не сказано, что ты околёсицу нёс.

— А-а! Не домолвились, верно!.. — с иронией произнёс он. Чего же тебе писали-то обо мне? Скажи, коли милость будет...

— Писали, что ты народ смущаешь пророчествами.

— Вишь какое дело затеял старый греховодник, а! — насмешливо произнёс он, точно будто относясь к какому-нибудь постороннему лицу. — А чем же сомущаю я народ-то, — писали аль нет? — спросил он после непродолжительного молчания.

— Говоришь, например, что скоро миру конец...

— Наткось, поди! — тем же тоном произнёс он. — А пишут, аль нет, за што Господь-то у них ответа спросит при сокрушеньи-то мира, а?

— Нет.

— Забыли вишь, а-а? Ну, коли они запомнили, то я потружусь — доложу твоей милости, за што их рано или поздно найдёт Господь.

— За что же?

— За то, што утопи в грехе выше волоса на голове, што ни правды, ни совести ни в ком нет, — вот за што, батюшка, найдёт их Господь своим гневом! — серьёзным, слегка даже дрогнувшим голосом ответил он.

— Уж будто ни в ком? — прервал я.

— Ни в ком!.. Мужик её пропил, чиновник-то продал, — батюшка, не гневись за это слово моё, — а у купца и сыскони её не водилось!.. Бога-то все забыли, а святое имя его только в лживую речь без пути суют. Глянь ты теперь на собаку: тварь, а и та, коли корку хлеба стащит у тебя, то совесть у ней зазрит, — и хвостом-то она виляет перед тобой, и глаза-то отводит от тебя, словно вот стыдно ей в глаза-то тебе глядеть... А человек-то, батюшка, последний кусок у тебя урвёт, да тебе же в глаза смеётся, тебя же дураком обзовёт, што в обман дался. Так где же она, совесть-то? Укажи!

— Ты это только и говорил крестьянам?

— Говорил, уличал их, ну, и не понравилось, — правда-то ведь глаза колет... Вот и отписали, што бунтовщик!

— А в чём же уличал ты их?

— В непорядках, — в чём более-то уличишь нашего брата?.. Оглядишься только кругом, во тьме-то нашей, так и забудешь и про божий свет, и возлюбишь тьму-то паче дня и солнца...

— Ты грамотный? — спросил я, удивлённый складом его речи.

— Нет, не умудрил Господь, батюшка, а любил вот, сыз-мальства любил, родимый, о божьем слове речь вести. Не празднo оно, это слово-то!.. Скажи ты мне, коли ты добрый человек, не погнушайся; есть Бог у нас, аль нет?.. — неожиданно спросил он.

— Конечно, есть! — ответил я.

— Есть? Стало быть, если Господь чего заповедал нам, должны мы исполнять его слово, аль нет? — пытливо посмотрев на меня, спросил он.

— Должны.

— Пошто ж мы не исполняем этого, а? Пошто мы втуне-то слово его покидаем, а? Вот Бог-то заповедал нам: не воруй, не блуди, не желай другу худа, а чего мы только не делаем? Неуж это порядок, а?

— Ну, конечно, непорядок.

— И все, кого ты ни возьми, презрели его заповедь! Ну, по-божьи ли мы живём, скажи?.. Коли ты видишь, к примеру, што слеп человек, заблудился, по-божьи ли ты сделаешь, коли можешь ему на путину выйти, а?

— По-божьи всякий обязан помочь ближнему.

— По-божьи, стало быть, сделает он, коли правый путь ему укажет, а? — продолжал старик, всё так же пытливо глядя на меня.

— По-божьи.

— Так пошто же, батюшка, этого-то человека, што путь слепому указывает, в смутьяны-то производят, в узы-то за-точают? Скажи ты мне, коли ты праведный человек! Ну, вот я повинен в этом грехе, — суди же меня! — и глаза старика засветились при этом таким тёплым, мягким светом, что мне невольно пришло на мысль в ту минуту, что, по всей вероятности, глаза апостолов и первых мучеников имели именно подобное выражение, когда они отстаивали перед своими гонителями высокие догматы правды и любви к ближнему. — Пошто ты, батюшка, крестьян-то наших допытывал, чего я говорил им, скажи ты мне? — неожиданно спросил он. — Неуж ты думал — я запираюсь буду да таиться, а? Нет, родимый, не отопрусь! Мужики-то наши не скажут тебе правды, а я скажу.

— Отчего же ты думаешь, что мужики не скажут? — спросил я.

— Опасливы!.. Всякий свою шкуру бережёт, а мне уж беречь её, батюшка, не приводится, — изношена! — на-

смешливо произнёс он. — Не долог мой век; коли и приведёт бог постраждить-то, не возропщу!

— Да за что же ты постраждить-то собираешься, а?

— За правду, батюшка; за божью-то правду ведь более, чем за зло, люди-то терпят, — тихо ответил он. — Ну, я и положил в уме: коли доведёт Бог крест нести, не убоюсь и всякому скажу её, каким хоть судом суди, не убоюсь! Не смущаю я народ, родимый, а про божье слово говорил ему; завяз он в грехе, што в тине, божье слово и крест в вине утопил! Ну, как ты его не попрекнёшь в этом?

— Как в вине утопил?

— Утопил!.. Пагуба вино это крещёному миру, пагуба, родимый! за вино он тебе всякую присягу примет, виноватого оправит и невинного загубит! Седой уж я человек, не к летам мне, батюшка, лукавить, не к летам и правду таить! Опиши-ка вот в бумаге-то своей, пошто им попустили за быка-то фальшивую присягу принять...

— Кто же попустил?

— Начальство!

— Как так, Расскажи...

— Изволь, пошто не сказать!.. Вишь, родимый, людская-то правда какова: я вот бунтовщик, народ смущаю, а пошто они не написали, чем я смущаю народ-то, какими делами? Не они ли больше смущают его своими неправдами, а?

— Кто же это они, старик? — растолкуй мне.

— Кто они-то? — переспросил он. — Долго, батюшка, скзывать. Послушай лучше, какую я те притчу скажу! — уклончиво ответил он. — Жизнь-то мужичья што плетнём огорожена, — потревожь ты одно только звёнышко, качни его, так и весь плетень повалится; так и это дело. С мужика, родимый, не велик бы спрос, тёмен он. А большой, батюшка, грех — кто блюдёт его, да неправду из выгоды попускает, бо-о-ольшой тому ответ перед Богом! А што правду ль я говорю, — суди; живёт у нас здесь крестьянин Посылин, Фёдор Иваныч; голова-то наш племянником ему по матери приводится; так, сынок, слышь, у него, у Фёдора-то Иваныча, есть, — Севастьян Фёдорыч, такой-то непутёвый человек, што суди его Бог, а не я! Ну, вот одна в город на базар Севастьян-то Фёдорыч этот, поехал-то пустым порожьем, а вернулся-то с прибылью, ни мало не менее, как быка в поводу привёл. Ну, а в деревне, чего говорить, и сам поди знашь, што не только что живность, а сколь и волос-то у каждого на голове, наперечёт знают. Ну, мужики-то и спрашивают его, Севастьяна-то, где бог экую животину послал. Купил, говорит, на племя, за семь рублёв!.. Ну, купил, так что ж, давай бог боле. Ладно! Живёт бычок у нового хозяина да корм жуёт. Только деньков через пять, те-

бе, время и наедь к нам следствие: мещанин из городу, у которого Севастьян-то, стало быть на поверку-то вышло, быка угнал, со свидетелями, што бык этот точно его, и с явкой от полиции, што бык этот взаболь у него угнан. Заседатель-то наш наехал, и пошёл спрос да допрос. Видит Фёдор-то Иваныч, што сынку-то неминуче дело подошло, и давай из беды его выкручивать! Сколь, слышь, вина-то обществу выпоил, чтобы доказали под крестным целованием, што бык-то эн-тот его будто, Фёдора, што он велел сыну в городе его продать, а тот-де не продал, да назад привёл... И заседателю-то двадцать рублёв пожертвовал, штоб сынка-то его отстаивал. Ну, общество и показало под присягой, что бык этот Фёдора, что родился и вырос на его дворе, и крест целовали, и Евангелие.

— И ты целовал? — спросил я.

— Ослобонил Бог, не мешался я в энто дело, батюшка, сторонился от них, не кори меня этим словом, — обидчиво ответил он.

— Отчего же ты, видя, что крестьяне поступают несправедливо, не остановил их тогда же, а?

— Останови-ка пьяного-то, испробуй; аль бит не был?

— Ну, чиновнику бы заявил.

— Заявлял, батюшка, насунулся было, да и не рад стал.

— Отчего?

— Искровянил он меня, думал, и скулу-то мне своротит. Вот запиши-ко в бумаге-то своей, чего за правду-то с нашим братом деют! Я ж хотел от греха людей ослобонить, да я же и в доказатели попал, — со вздохом произнёс он. — О-ох, кормилец, душой и телом уж мы за правду-то стаивали, не навывкать... видали гоненья-то этого, ви-да-ли!

— От кого же гоненье ты видел?

— От кого? — повторил он, усмехнувшись. — Лихо замараться человеку-то, родимый, а уж раз на нём есть пятнышко, так уж кому бы про чего ты не говорил, ему всё кажется, что ты в его пятно метишь. Ну, и не люб... Молчи, потакай всякому, и всем ты мил на свете будешь; а скажи только правду, то хуже тебя не будет лиходея и ворога! За што меня теперь утеснили, за какие провины в тюрьме-то хуже разбойника держали, — хошь ли ты знать это, а?

— Мне даже следует это знать, говори...

— За то, вишь, батюшка, што не в добрый час спросил у Ивана Афанасьича, куда он девал деньги, што собирал с мужиков на царскую одёжу! Есть ли у тебя это, в бумаге-то, прописано ль?

— Нет.

— А-а, чего не хвати, верно, всё нет да нет, всё не вписано!

— А какие же деньги он на царскую одежду собирал? — прервал я, заинтересованный подобным открытием, в то время составлявшим для меня ещё новость.

— А вот и слушай, батюшка, как войлоки-то с нашего брата валяют! Делу этому уж годов шесть теперь время будет. Объявили нам одна, што пришёл будто в волость указ из царской конторы: собрать по двадцати копеек с души на царскую одежду, што царю-де одежду-то через сто годов шьют, ну, так, вишь, будто время пришло новую шить из самоценного золота... Ну, и платили...

— И никто из вас не спросил, законно ли это, а?

— Мужик бы тебе спросил! Э-эх, батюшка, видать далеко исшо то времячко, когда мужик тебя пытать начнёт, чего у него по закону просят, а чего сверх закона! Ты погляди теперь, сколь с нас этих поборов идёт — и не сочтёшь: подушной-то с оброком с тебя по раскладке-то семь аль восемь рублёв на душу придётся, а ты пятнадцать аль двадцать рублёв с души тяготы-то несёшь, и всё, чай, более на чужие карманы... А про плакаты упомянуто, што я плакатами его попрекнул? — спросил он.

— Нет.

— Ну, вот и на плакаты тоже сколь мир денег передавал, стра-ась.

— А что это такое — плакаты?

— Бог его ведает, батюшка; мы так и не видывали, какие они! Говорили тогда, што плакаты выходят, што законы экие пишут — плакатом зовут; што у кого-де будет плакат в руках, так уж того без причины не моги шевелить... Ну, и платили! Лестно было всякому закон-то экой иметь. Вишь ведь, сторонушка-то у нас дикая, до закону-то не скоро доберёшься в ней; ну, мужики-то и полагали, што уж коли закон-то будет в руке у тебя, так уж житьё-то особое пойдёт, не в пример. Опосля только спохватились, што подвох это был один! Ну, да чего ж... помотали головой, да и плюнули: сколь, мол, собаку ни корми — всё голодна! Чего ж это, стало быть, писали-то тебе про меня, родимый, скажи мне, коли того ты не знаешь да другого не ведаешь? — спросил он.

— Писали, что будто бы ты ангела видел...

— А-а, написали же! Я думал, што и этого уж нет у тебя. Видел, родимый, видел; было мне энто видение, удостоился, и глас был! — утвердительно качая головой, произнёс он.

— Какой же глас-то был тебе?

— Ужаси подобный, родимый, не человеческий глас! Вижу, летит это по небу сила-то небесная, гляжу я на неё и не верю глазам-то... и вся-то она в полыме была, вся-то блестом

блестит. «Горе, говорит, будет живущим на земле, кто Бога и правду забыл!.. Смету, говорит, с лица земного и судей неправедных, и лиходеев, и блуд творящих!»... А сама-то, это... так и метёт, так и метё-ёт, кормилец.

— А чем же мела-то?

— Метлой огневой, метлой, словно как бы снопом!

— Какой же из себя-то был ангел-то, расскажи мне толком...

— Огневой, говорю тебе; ужась была глядеть-то!

— А не померещилось ли тебе, старик?

— Не грехи, родимый; стар уж я экие шутки шутить, стар! — укоризненно произнёс он, качая головой. — Я вина-то и отроду почесть в рот не брал, — с чего бы мне мерещиться-то стало? Шестьдесят семь годов уж мне, родной, — стать ли грешить-то на склоне лет, и себя-то, и людей морочить? Видел, батюшка; видение это было мне, грешному, удостоился! — произнёс он глубоко убеждённым тоном, и в серых серьёзных глазах его отражалось столько искренности и прямоты, что нечего было и думать разубеждать его.

Он верил, верил искренно в свою галлюцинацию, так могли кто поколебать в нём эту веру, составлявшую для него в скорбной страдальческой жизни, может быть, единственную отраду и единственный источник, в котором он черпал нравственную опору для себя.

— Не шёл я пророчить, родимый, — снова начал он после минутного молчания, — я свою только душу да совесть блюл; а коли стали вынуждать меня — не смолчал, и накликал, вишь, беду на себя! — произнёс он.

— Кто же вынуждал тебя, старик?

— Миряне на смешки всё поднимали, батюшка. Всё говорили, вишь, что ум у меня пошатывало. Ну, я и стал им говорить, што от ваших делов непотребных хошь какой ум пошатнётся! А как заговорил про дела-то их, так и нелюбо стало, — к попу повели.

— К попу-то зачем же водили тебя?

— Увещать... в обмане уличить хотели! Тот на меня накинулся... Да мало ль греха-то, родимый, было со мной, э-э-э! — протянул он, махнув рукой — Ну, тут и порешили меня в волость посадить.

— Кто же порешил-то?

— Писарь, голова — Иван Афанасьич... ведь цело следствие, сердешный, о ту пору надо мной-то было, судили!

— Как судили?.. Какое же имели право судить тебя?

— Миром судили! Сначала-то присудили было постегать, да вишь — из лет-то вышел... Голова заступился, ну и решили в волость запереть да отписать начальству, пушай-де за бунт судят, потому он начальство корил.

— А ты точно корил начальство?

— Корил, не таюсь!

— Чем же?

— Неправдами ихними, непотребством, чего таить-то, батюшка! Ну, снимай с меня голову, суди! Похвалишь разве, што ль, коли вышнего чина люди, заместо того, чтоб мужика научить по закону жить да правду блюсти, въяве-то торгуют ей! Какой ты ни будь мошенник, какой ты ни будь вор, да коли ты денежный человек, то завсе сух из вод выйдешь... Чего же, милый, ведь глаз-то не завяжешь у людей; все это видят да только молчат... а ведь молчат, молчат, да придёт пора — и взвorchат. А от кого теперь на мир блуд идёт, скажи-ка? — спросил он, заметно всё более и более воодушевляясь.

— Ты больше меня знаешь, старик, — ты и скажи мне, от кого...

— От них, батюшка, от вышнего чина людей, знай! Ты гляди, чего у нас деется: сколь этих девок, честных отцов дочерей, на блудную-то дорожку вели... Разве не болит сердце-то, а? Мужик-мужик, батюшка, и тёмный человек, да ведь душа-то в нём есть, как и у всякого другого человека; тоже о детище-то своём болит, поди. Где подарочком да улещениями, а где и силком берут... Ну, стать ли это, ты вот чего скажи мне, батюшка, осуди — путно аль нет говорю я. Вот в деревне Куземиной крестьянин есть, Пуд Власыч Жабин; дочка у него была неповинная греху, ну, сманили её к исправнику, сманили! Ну, известно, дитё исшо было, — какой у девки разум? На перстенёк, может, позарилась, а грех-то и не пройди ей даром: увидела как она, што живот-то пучить стало, спужалась да и сунула голову-то в петлю.

— Удавилась?

— Захлестнулась сразу!.. Ну чего ж? Отец-то поплакал, поплакал, хотел было с жалобой кинуться, да умяли его: одно дело постращали, а вторительная причина — пятьдесят рублёв ему исправник-то выдал... Ну, и взял он, — чего доспешь? Судом-то разве возьмёшь чего? Самого же мужика-то и обвинили бы поди. Што ж, по пути это деют, батюшка, аль нет? По пути это деяли, што ль: как наедет, бывало, исправник-то, а притон-то он завсе имел у Ивана Афанасьича, так, первым это делом было, нагонят ему баб да девок, — утешай его милость плясом да песнями, да хороводами... Вином это хошь захлеснись, перепоят всех и поведут хоровод-то в натуральном виде. Вот и гляди-поглядывай, честной мир. Учись у высшего чина людей уму да разуму, как на свете жить! А разинул коли ты рот, заикнулся только, и — бунтовщик вышел, цепей-то да каторги насулят, што и жизни не рад станешь. Так где же, родимый, отколь просвету-то ждять нам?.. Научи! — произ-

нёс он, и, глубоко вздохнув, сложил на груди руки как бы в ожидании моего ответа.

Но что же я мог сказать старику в ответ на подобный вопрос его?

Освободив Зажору из-под ареста, я вытребовал в Клушино волостного голову, писаря и обязал не отлучаться из деревни Ивана Афанасьевича Степного, обвиняемого Зажорой в незаконных поборах во время служения его хозяйственным заседателем в волости. В сущности, мне поручено было произвести только дознание — не заключается ли в пророчествах Зажоры чего-либо противозаконного. И так как ничего противозаконного, по отзыву спрошенных мною крестьян, в словах и действиях его не находилось, и если он дозволил себе укоризненно относиться к некоторым действиям земских властей, то укоризны эти, никоим родом не нарушая чувства справедливости, не могли быть поставлены ему в вину, потому что были только слабой иллюстрацией той действительности, какая существует в Сибири в невероятно грандиозных размерах, то я мог бы ограничиться только произведённым мною дознанием и тем покончить это дело. Но в то время я был ещё молод и смотрел на службу как вообще смотрели на неё многие идеалисты шестидесятых годов. Эти люди не ограничивались одним только формальным исполнением предписаний. Они смотрели на службы не как на средство существования. Приняв на себя служебную миссию, они стремились приносить народу осязательную пользу, изучать его нужды, защищать его интересы, преследовать всеми зависящими от них средствами зло, разъедающее жизнь народа, и по возможности указывать на те средства, которые вернее всего бы могли уврачевать язвы, скопившиеся веками на его организме. Большинство этих людей, столкнувшись с неодолимыми препятствиями, потерпели полное разочарование, и многие из них, обвинённые в политической неблагонадёжности единственно потому, что не брали взяток и мешали брать их другим, покинули навсегда служебное поприще.

Существование тёмных поборов, производимых с народа различными способами, теперь уже ни для кого не составляет секрета. С первого же дня моего служебного поприща меня поразило это зло, тяготеющее над народом, зло, во многом неуловимое и с трудом поддающееся самому зоркому контролю. Воспользовавшись показанием Зажоры, я снова спросил крестьян деревни Клушиной, действительно ли собирали с них деньги на шитьё царской одежды и на плакаты. И снова мне пришлось убедиться в той горькой истине, что лицо, облечённое властью, никогда не узна-

ет от народа правды. Я не раз задавал себе вопрос: почему это? Почему крестьянин, обладающий замечательной наблюдательностью, способный сразу увидеть, что человек, задающий ему подобные вопросы, руководится добрым желанием принести ему же пользу, оградить на будущее время его интересы, — никогда не откроет истины? Один на один, в приятельской беседе за чайком, он расскажет вам такие факты, от которых буквально волос становится дыбом, но попробуйте придать этим заявлениям его не голословный характер, и он тут же, в ваших глазах, беззастенчиво отпрётся от своих слов. Почему?.. В ответ на этот вопрос я приведу слова старика Якова Сысолова из деревни Кокуй, Тарсминской волости, Кузнецкого округа, Томской губернии, который, во время производства мною следствия по убийству, видя все мои старания открыть убийцу тщетными, шепнул мне на ухо, когда сидел со мной один на один: «Не ищи лучше, батюшка: ничего ты не найдёшь! У нас все знают, кто убил, да никто не скажет!».

— Да почему же не скажут, объясни ты мне ради бога! — спросил я, поражённый его словами.

— Э-эх! словно ты малое дитя, родимый, погляжу я! — улыбнувшись, отвечал старик Сысолов и покачал головой. — Ну, посуди сам: сегодня ты здесь, а завтра уехал да и был таков, а ведь нам-то здесь жить доводится. Кому же любо грех-то на себя накликасть? Ведь те-то, кого грех-то в этом деле попутал, — богатые, властные люди, чиновники-то с ними запанибрата живут, а мы-то што? Любой из них дунет только — и нет тебя. Ведь кабы, батюшка, ваш-то брат, чиновник-то, все бы на один покрой были, так оно што бы правду-то таить, для чего? Резону нет! А то, вишь, ведь на тыщу-то чинов разве один только добродетельный выищется, да и тот, родимый, недолговечен в наших местах. Приехал сегодня, повернулся, а там, гляди, уж и нет его...

Неужели найдутся скептики, что не увидят в этих словах старика Сысолова выстраданной народом мудрости?

Как и следовало ожидать, на заданные мною вопросы и волостной голова, дослуживавший третье трёхлетие, и писарь, чуть ли не выросший в этой волости, и Иван Афанасьевич, почтенный, представительный старичок, в манере обращения которого и в способе выражения проглядывала большая опытность в сношениях с «образованными людьми», — отвечали, что ничего подобного с искони не бывало у них, что Зажора совсем негодный человек, который и сам-то запутался, да и других только зря путает. При этом, как водится у подобных людей, Иван Афанасьевич тотчас же сумел к слову предуведомить меня, что «его всякое начальство знает даже

оченно хорошо и завсегда к нему было расположено в самом лучшем виде»...

Более из любопытства, чем для достижения своей цели, я потребовал Зажору, для дачи ему очной ставки с Иваном Афанасьевичем, головой и писарем, призвав при этом в свидетели несколько человек крестьян. Войдя в избу, старик Зажора нисколько не смутился, увидя людей, от которых, по выражению его, он терпел гонения. Помолившись на икону и поклонившись мне, он с самым незлобивым видом поклонился и Ивану Афанасьевичу, и голове, и писарю.

— Ну, вот, старик, — начал я, обратившись к нему, — я спрашивал и крестьян вашей деревни, и голову, и писаря, и Степнова, правда ли, что они собирали деньги на шитьё царской одежды и на плакаты, но они говорят, что ты лжёшь, что ничего подобного никогда не было, что если бы были подобные поборы, то были бы и мирские приговоры, так как ни одна копейка не может быть взята с крестьян без мирского их приговора!

— А-а-а! — протянул он, и на губах его, чуть ли не в первый раз с тех пор, как я увидел его, мелькнула улыбка. — Неуж все отпёрлись? — спросил он.

— Все... Я затем тебя и позвал, чтоб ты уличил их, доказал им, что всё, что ты ни говорил про них — правда; докажи им!

— Это им-то доказать? — спросил он, ткнув пальцем по направлению к голове, писарю и Степнову.

— Ну да, им...

— Не докажешь, батюшка! — и он махнул рукой.

— Почему же?

— Кабы совесть у людей была, так куда бы исшо ни шло, можно бы потрудиться побудить её, а уж у них про совесть-то, родимый, давно слыху не слыхать; чай, и место-то, где лежала она, мохом заросло. Правду аль нет говорю я, Иван Афанасьевич? — спросил он, впившись в него своими серыми, ясными глазами.

— Говори, говори, слушаем!.. Порочь! — ответил тот, не глядя на него.

— Ну, брат, Иван Афанасьевич! Одно я тебе скажу, сердешный старичок, што заплаточки-то из пороку тебе уж ишивать некуда: весь ты ими увешан с головы до ног, не гневись!.. Глянь-ко ты мне в глаза-то...

— Нешто не видывали тебя?

— Да гля-я-янь, не укушу ведь!

— У тебя и зубов-то нет, да кусаешь-то больно, нечего доброго говорить про тебя, спасённый человек! — ответил Иван Афанасьевич, искоса, с презрением посмотрев на него. — Ишь ведь, ты сам людей во всём укоряешь, о божьем

слове да заповеди язык-то чешешь, а путное ли ты дело затеял теперь: взводишь напраслины и на мир, и на людей, что в трижды чище тебя?

— Не ты ль это чище-то меня?

— Не возьму я внимания урекаться-то с тобой, знай!

— О-о!.. Ну, чего же поделаешь... известно, ты вышнего звания человек, где ж нам с тобой равняться! Ты вон в суконном халате ходишь, да чиновникам баб и девок подводишь, — ищоб не почётный человек!..

— А ты помолчи лучше, Анисим Матвейч, ой помолчи!.. Неровен час — худое-то слово про начальство сказать.

— Аль, думаешь, ответа боюсь?

— Неопасливый, чего говорить, знаем!

— Ох, Господи, Господи! Што этого уреканья-то меж людьми, и не слушал бы! — вздохнув, произнёс голова и провёл ладонью правой руки по усам и бороде.

Писарь стоял молча, относясь, по-видимому, совершенно безучастно к происходящему. Крестьяне-свидетели молча сидели на лавках, понутив головы и избегая, по-видимому, глядеть и на Ивана Афанасьевича, и на Зажору.

— Што ж вы, občественники, — обратился вдруг Зажора к крестьянам-свидетелям, — сидите, словно вас морозом пришибло? В избе-то ведь тепло; промолвите словечко, скажите его милости: аль неправду я говорю, што с нас сбирали деньги на царскую одёжу да на плакаты! Аль Иван Афанасьич не спустил в карман мирских денежек; а как опись вышла, не перевёл всю скотинку к писарю? Не грех ли вам, други, глазами-то половицы считать, а-а? Очнитесь, живые вы люди, аль нет?

— Говори, вишь, всё, чего ему хочется... не... криви совестью, а? — произнёс, усмехнувшись, Иван Афанасьевич, посмотрев и на голову, и на писаря, который улыбнулся при этом; а голова покачал головой и глубоко вздохнул.

— Што ж, ответьте ему, братцы, чего ни на есть! — произнёс Иван Афанасьевич, обратившись к крестьянам-свидетелям. — Я тут стою, — обвиняйте!

— Чего уж теперь прошлое переворачивать, Иван Афанасьич! Было время, трясли его, да ничего не вытрясли! — со вздохом ответил один из свидетелей, пожилой уже крестьянин. — А только надо бы сказать, что совсем занапрасно Анисима-то Матвейча под следствие подвели, да в волости-то содержали: ничего худого-то не было от него... Што болтал будто, да мало ли кто чего болтает на миру, и пиши про всех?

— Значит, по-твоему, на него напрасно донесли? — спросил я.

— Занапрасно, батюшка, чего уж таить теперь...

— Отчего же вы не вступились за него, если знали, что его напрасно обвиняют, а?

— Тёмные мы люди, кормилец; может, и закон так велит... как ты впутаешься-то? — отвечал уже другой свидетель. — Наше ли это дело.

— Ты писал донесение? — спросил я писаря.

— Я-с!

— Ты сам производил дознание?

— Никак нет... Голова приказал, — бойко ответил он.

— Скажи-ко лучше — тestyшка! — вмешался вдруг Зажора, обратившись к писарю. — Все-то вы грибки из одного кузова. «Голова»!.. Вот он голова-то стоит... только место топчет да печать коптит. Скажи на свою голову приложить печать, — сейчас приложит. Ты всё с тestyшком дело-то вертишь, знаем, а как ответ спросят — и за спину головы прячешься. Он всё, твоя милость, писал это!.. Доносами-то застрашивал всех тут, штоб глаза и обчеству, и начальству отводить, что, вишь-де, порядок блюду. А вот разнял бы ты их с тестем-то, так гляди бы как кафтаны не только по швам, а и по целому месту пороться пошли бы у них. Сознайся, што фиток-то задним числом подделал, как опишь-то тesty пришла! Ну-ка, говори, сколько ведер вина-то обчеству выпоили, чтоб крестным-то целованьем закрепили рукоблудство, ваше, а-а?

Писарь стоял красный, как рак, но мужественно глядел на меня, стараясь даже не мигнуть.

— Слышишь, чего говорят про тебя? — спросил я.

— Слышу-с! — ответил он. — Я войду с особым прошением и потребую формального следствия, ваше благородие, и проверки всех этих выводов, как касающихся моей чести.

— Не пода-а-ашь! — ответил Зажора. — Только спихнёт тебя с писарей-то, так хвост-то длинней версты за тобой потянется, не думай!.. Теперь-то все молчат, потому говорить-то опасаются, а тогда ведь, брат, ртов-то не завяжешь! И прыток козёл, да не на всякую горку вскочит... Не пода-а-ашь! Не больно храбёр; на пакости-то только мастер! Но што же, тestyшка, зяченька-то не выручишь? Промолви словечко!.. Ишь он, сердешный, подрумянился-то, словно в баньке побывал! — насмешливо произнёс Зажора, обратившись к Ивану Афанасьевичу.

— Наговоримся исхо с тобой, не ушло время-то!..

— А-а! С духом соберёшься... Ну, что ж, подавай тебе Господи подспорья! Теперя колышков-то понадёргал с мира, есть чем правду-то свою подпереть!

— Это ты чего же касательно говоришь?

— Аль не смекнул, разжевать надо?

— Не смекнул...

— Изволь, коль сухого не жуёшь, размочим! Не думай, Иван Афанасьевич, не всегда правду-то деньгами замажешь! Может, и на нас, за наши слёзы, Господь оглянется, и над нашим краем солнышко взойдёт да иссушит всю плесень, што в потёмочках-то выросла! — пророческим тоном произнёс старик Зажора среди всеобщего безмолвия окружающих.

Представив по принадлежности произведённое мною дознание, я обнаружил все выводы Зажоры, но так как они не были удостоверены опрошенными мною крестьянами, то, конечно, им не дали и надлежащего движения. Когда я уезжал из Клушина, то в избу ко мне неожиданно вошёл Зажора и, помолившись по обычаю в передний угол, упал мне в ноги.

— Заступись, заступись за меня, родимый! — тихо заговорил он, когда я поднял его, и на глазах его сверкнули слёзы. — Не ответа я боюсь: в остроге-то мне, может, лучше бы было, спокойней, остаться-то я здесь боюсь!

— Чего же ты боишься, старик?

— Боюсь!.. Люди разве энто, батюшка, сам видел их... О-ох, Господи, не суди ты их! — произнёс он, перекрестившись. — Не увечья я боюсь от них, долог ли век-то мой!.. Всё равно уж, батюшка, впереди-то могилка одна, — днём ли позже аль ране, — не минуешь её! За душу, родимый, боюсь, душу утоплю среди энтого содома! Отпусти ты меня, не держи!

— Куда же тебя отпустить?

— Уйду, батюшка, уйду, куда глаза глядят; схороню свою душеньку от греха и соблазна, в пустынь уйду!

— В какую же пустынь?

— Обрету где ни на есть божье слово, излечуся им и укреплюся!

— А хозяйство, дом-то на кого же оставишь?

— Што мне дом и хозяйство! Неуж они дороже души-то, милостивец? Пусть детки владеют всем. Не участливил меня господь детками, батюшка, — есть у меня две дочки, да непутёвые! Слова-то мои презрили, и Господь с ними! Не сужу я их; одумаются и сами, слова-то отца попомнят. Отпусти! — и он снова упал в ноги мне. — Одно у меня сокровище теперь, батюшка, осталось: душа; не попусти растратить его... Сберегу я душу, укреплю её божьим словом, и Господь не оттолкнётся от меня, сирого! — и старик зарыдал, зарыдал, как дитя. Я приказал выдать Зажоре увольнительный от общества вид, в случае требования его. Общество беспрепятственно уволило Зажору, и он ушёл из Клушина, как после услышал я, но куда — этого никто не знал.

Горная идиллия

Очерк

Красивее местности, окружающей О.ий улус, мне редко доводилось встречать, несмотря на мои частые разъезды в предгорьях Алтая. Улус, имеющий до семидесяти дворов, раскинулся в живописном беспорядке на высокой горе, заросшей лесом, и по уступам её. Со всех сторон его окружают гряды гор, постепенно возвышающихся одна над другой, поросших густым чёрным лесом, и самые дальние из этих гряд, или, вернее, волн застывшего каменного моря, всегда почти покрыты синеватою дымкой. За последнею синееющею чертою этих гор в лазурном безоблачном небе уже резко вычерчиваются снеговые вершины Алтая. На первый взгляд они кажутся скорее цепью прихотливо клубящихся на горизонте облаков. Я и принял их за облака, когда, не доезжая двух вёрст до улуса, мы поднялись на гору, называемую Архиерейскою, и перед моими глазами раскинулась эта поразительная картина, чарующие красоты которой можно передать только кистью, а не словом. Я слез с телеги и долго не мог оторваться от этого зрелища. Впереди тянулись гряды гор с прихотливыми очертаниями, а сзади раскинулась широкая долина, и разбросанные по ней сёла и деревни казались какими-то крошечными муравейниками. Долина замыкалась широкою серебристою лентою реки Томи, за которою снова начинались горы, и тянулись... уже Бог весть куда.

Ямщик, пожилой крестьянин, тоже слез с облучка телеги, поправил сбившуюся сбрую на лошадях, прикрепил ремешком гайку у одного из колёс, на задней оси, и остановился рядом со мной.

— Сколь мне ни доводилось возить господ, — произнёс он, — все, слышь, подолгу останавливаются на этой горе да любятся. А раз это архирей проезжал, так уж так-то ему понравилось тут, што приказал, слышь, ковёр разложить на земле-то, сел на него да и говорит: «Ставь самовар»...

— Кому же сказал он это? Тебе? — спросил я.

— Пошто мне. Своим прислужникам. Мало ль с ним тогда народу-то ехало: почитай, на пяти повозках; разгон-то лошадям не малый был в те поры, — пояснил он. — Ну, меня сейчас же это на вершной отправили в улус за самоваром, посудой и водой. Часа три он потел тут за чаем-то. Так с той поры

мы энту гору и зовём Архерейской. И чудаке же, слышь, был! Подозвал это меня к себе и говорит: «Понимаешь ли, говорит, ты, сколь вы счастливые люди, а!».

— Чем, говорю, энто, ваше степенство, усчастливились-то?

— А што в эвтаких местах, говорит, живёте, где, говорит, куды, значит, теперича ни взглянь, завсе перед тобою Бог.. И долго, слышь, энто поучал.

— Кого же, тебя?

— Оно уж должно так полагать, што всех сообщча!

— Чему же поучал-то?

— Мудрено оно, если рассказать-то тебе, братец, — а только о Боге всё это поучал: и как оно, стало быть... значит, должно... и почему; а опосля, слышь, того... заплакал.

— Отчего?

— Бог его знает, пошто... Должно, сторона своя вспомнилась ему, што ль. Слёзно всплакал!.. Ну, сколь, значит, народу тут ни было, все стоят, энто... молчат да поглядывают на него. Поплакал он энто, поплакал, встал с ковра, помолился, слышь, на все четыре стороны, и в путь... Рубь, слышь, в те поры мне сверж прогону пожертвовал за то, што самоваром-то его удовольствовал.

За полверсты до улуса слышится шум горной речки Кандалеп, текущей водопадами по наклонному руслу; но только с горы, при самом въезде в улус, виднеются пенящиеся волны его... Они точно мечутся в своих гранитных оковах, как бы силась прорвать их. Высокие, скалистые берега Кандалепа то спускаются отвесною стеною вниз, то висят своими выдавшимися вершинами над бездной. При взгляде на эти серые, поросшие мхом скалы становится страшно за них... Достаточно, кажется, лёгкого толчка, чтоб нависшая масса пошатнулась и с грохотом ринулась вниз, увлекая в своём падении гигантские ели, глубоко пустившие в расщелины их свои корни. Довольно крутая дорога в гору, на которой стоит улус, вилась зигзагами. Пенистый наносный грунт её был глубоко изрыт весенними дождевыми потоками, обнажившими толстые серые корни елей, росших по уступам горы.

Иногда среди дороги выдавался громадный гранитный камень, преграждая путь, и его нужно было объезжать на крайне узком пространстве, причём малейший неосторожный поворот колеса грозил падением телеги, а может быть, и лошадей, с этой страшной крутизны вниз, в пенящиеся волны Кандалепа. Поднявшись в гору, я пошёл пешком узкой просекой среди сосен, елей и пихт. Усталые, взмыленные кони тащились сзади, плохо повинаясь и понуканиям ямщика, и хлопанью бича его. Через полчаса ходьбы просека постепенно стала редеть,

и предо мною раскинулась широкая поляна, тянувшаяся по всему протяжению горы, застроенная чистенькими одноэтажными домиками в два и три окна, обнесёнными досчатыми заборами и хозяйственными пристройками. Это и был О...ский улус, носивший только нерусское название, но не отличавшийся своим наружным видом от русской деревни.

Хозяин квартиры, в которой я остановился, — красивый, высокого роста мужчина средних лет, одетый в казакин толстого чёрного сукна, — приветливо встретил меня и ввёл в чистую просторную комнату, бедно обставленную деревянными некрашеными стульями, по-видимому, домашней работы. Более всего поразило меня в убранстве комнаты то, что деревянный поставец, стоявший в левом углу комнаты, вместо посуды наполнен был книгами. Между романами Дюма, Поля Феваля и других, тут было несколько номеров, значительно уже потрёпанных, журнала «Современник», несколько разрозненных томов сочинений Белинского, «Мёртвые души» Гоголя и полное собрание сочинений Островского. Я не верил своим глазам, чтобы в инородческом улусе, затерянном в горах Алтая, можно было встретить «Современник», сочинения Белинского, Гоголя и Островского.

Вслед за ямщиком, внёсшим в комнату мои вещи, вошла молодая женщина, весьма некрасивая собою, с выдававшими скулами и узенькими враскос глазами, обличавшими её татарское происхождение. Накрыв стол чистой скатертью, она поставила на него поднос с чайной посудой. Вслед за нею вошёл и сам хозяин, неся самовар.

— Эти книги вам принадлежат? — спросил я его, указав на поставец.

— Все мои, сударь... за малым разве исключением, — ответил он.

— Вы, вероятно, любите читать? — спросил я, пригласив его сесть и выпить со мною чаю.

— Скука в иную пору одолевает, сударь, особливо по осени, — ответил он, приставив стул к столу и развязно присаживаясь на нём. — Ну, и считаешь... для времяпровождения, оно всё же заместо развлечения служит... Иная книга даже очень забавная...

— Вы что же, крестьянин?... или...

— Мещанин-с, — прервал он меня. — Я-то, собственно, сударь, происхожу, доложить вам, из воспитанников военно-ойротского отделения... из кантонистов. По упразднении этих рот я, как не пожелавший остаться в военном ведомстве, приписался в К-е мещанином. Человек-то грамотный-с... с почерком пера, я сразу нашёл себе занятие. Спервоначалу-то в писаря пошёл к бывшему исправнику, потом несколько лет у

господ заседателей в писарях служил... да вот лет десять назад женился. Тесть-то мой инородец, но уж сыздавна обрусевший, принял меня в дом, а теперича хозяйство предоставил в моё распоряжение и, благодаря бога, живу-с!..

— Чем же вы занимаетесь здесь, хлебопашеством?..

— Не-ет-с! Несвычное для нас дело, — ответил он, принимая налитый стакан чая. — Пасеку имею, более десяти колодок... Торгую мёдом, воском, скотина водится... Окромья того-с, в трёх инородческих волостях письмоводство заместо писаря веду, двести рублёв в год за это получаю; оно и ладно. Да окромья сего здесь живёт бо-о-огатый инородец, Назар Степаныч Куртегешов, может, изволили слышать когда...

— Да, слышал.

— Так я вот у него теперича все счёты веду, заместо как бы бугалтера; тоже рублёв сто перепадает в год, и колочусь... Назар-то Степаныч всё справлялся, когда вы прибудете, и просил непременно дать знать ему...

— Зачем?

— Представиться желает вам!.. Он со всеми, почесть, господами чиновниками в очень даже коротких отношениях живёт; очень они его уважают!..

— За что же уважают так его?..

— Оно, если доложить вам, сударь, по правде, то первой всего, известно... за капитал, — с иронией произнёс он, откашливаясь в ладонь левой руки. — Церковь теперича Назар Степаныч построил здесь... своим иждивением... медаль золотую на шею получил. Человек с властью...

— С какою же властью?

— А так доложу вам, что малозначущему субъекту и добро может сделать, и зло сотворить... Крупный человек-с, при всём своём натуральном невежестве, потому он и в Господа Бога верует, и одновременно шайтану жертвы приносит...

— Как же это? Ведь он христианин?..

— Так точно-с. Но ежели теперича он захворает, — а хворает он вчастую по приверженности своей к запою, — то первым делом сейчас это исповедается и причастится у русского священника, а ежели это не поможет, то пошлёт гонца в тайгу за шаманом: «Камлай, говорит, какую шайтану жертву надоть, чтоб передохнуть мне дал?». Тот и камлает над ним. Они ведь, все эти крещёные инородцы, сударь, сколь их ни есть, только по званью христиане, а по естеству как были язычники, так и остались ими. Иные из них ведь по два раза крестятся, да и в третий не прочь...

— Не может быть!.. — сказал я, удивлённый подобным открытием, так как был вполне убеждён, читая отчёты о миссионерской деятельности, что насаждение христианства между

алтайскими инородцами зиждется на твёрдом упрочении в среде их основных догматов православия.

— Извольте, верьте или нет, власть-воля ваша, а это так точно: я даже самолично знаю некоторых инородцев, что по первому крещению он наречён Иваном, а по второму Фёдором.

— И это открывается впоследствии?

— Вчастью-с...

— И не влечёт за собой никаких последствий двоекрещенцам?..

— Младенцы ведь они... неповинные в понимании-то своём, сударь... чего ж с них взять?.. Судите их за это, что же толку-то будет, коли он одно и понимает, что новая вера в том только и заключается, что его в воде покупают... да вместо имя его Анахалия или Едзина назовут Иваном или Фёдором. Износит, например, инородец рубаху, зипун, сапоги или шуба ему понадобится — и идёт к миссионеру или какому-нибудь священнику: «Крести меня, бачка, да давай рубаху, шубу; зима, говорит, подходит... холодно... стужа». Ну, и крестят его... и получается христианин.

— Отчего же в таком случае священники не наводят предварительно справок друг у друга, во избежание вторичного крещения?

Хозяин, вместо ответа, слегка махнул рукой и, отвернувшись в сторону, улыбнулся.

— Вы, должно быть, хорошо изучили здешний край и порядки? — спросил я, поняв, что он, вероятно, не без причины умолчал на последний мой вопрос; — позвольте узнать ваше имя и отчество?..

— Никита Васильев Ерёмин, сударь, — произнёс он, встав со стула и слегка откашлявшись в ладонь левой руки. — Понагляделся, сударь... многое прозрел, разъезжая по тайге с господами чиновниками, — ответил он после непродолжительного молчания. — Да и за это время, как поселился здесь, тоже не без наблюдения был. Любопытного довольно-с... Жаль, даже очень жаль инородцев! Свояки ведь теперь мне доводятся по жене-то, — с иронией добавил он. — Хороший они народ, сударь, если разобрать их по качествам ихним, особливо черневые татары, или теленгуты, как зовут они себя... С ними ежели дело какое вести, сударь, то записей не надо иметь: ежели он взял у вас копейку, так он в десять лет не позабудет своего долга, и поминать ему не надо, сам привезёт. Только разорённый уж народ... нищие!..

— Кем же разорены?

— Мало ли около них, сударь, капиталов нажилось и по сию пору наживаются...

— Купцами?

— Все по малости около них руки-то греют, — уклончиво ответил он. — Иной раз, сударь, доводится мне в городе бывать. Есть там мне знакомый учитель уездного училища, Михайло Микитич, может, не изволите ли знать. Газеты он мне даёт читать, «Голос» и «Северную почту», ну и книжками снабжает, что поновей... читаю их. Многое иногда пишут в них, что деется на белом свете, и не смеха ради доложу вам: так и хочется в ину пору все энти здешние порядки в газетах прописать, да потом опосля того пораздумаешься, так даже стыдно станет от энтакой затеи...

— Почему же стыдно?..

— Кто я?.. — весь вспыхнув, спросил он. — Мещанин, кантонист бывший, и теперича вдруг насмелюсь... в газетах писать. Статочное ли дело... посмеянье одно будет.

— От кого же посмеяния-то вы ждёте?..

— От тех же господ писателей... на смех, поди, и подымут... Да подумаешь, так и то сказать надоть: не приберёшь, с чего начать... А уж очень бы эти порядки следовало пропечатать... Совсем теперь гиблый край, сударь, становится... Ведь, как мухи, с голоду инородцы эти мрут, и всё потому, что их обирают и ни от кого защиты им нет... Ведь теперича иной раз, — сказать вам по совести нужно, — весь звериный улов инородца... рублёв, может быть, на сто, на полтора ста, коли не более... за долг отбирают... который он уже в десять раз, может, выплатил. Не обида ли!..

— Это купцы так упражняются?..

— И купцы, сударь... и зажиточные крестьяне пользуются, и господа чиновники маху не дают.

— И те обирают даже?..

— Дочиста, случается...

— Расскажите, пожалуйста, под какими же предложениями они обирают их...

— Я бы, сударь... того-с... с полным бы удовольствием... только-с... — начал он, спохватившись о своей неосторожности, и, весь покраснев, замялся... — Я... я... немножко того-с... стесняюсь... — забормотал он; потому, сами изволите знать... человек я маленький, ничтожество... Если теперича донесётся до кого, что я такую хулу, поношение, можно сказать, кладу... долго ль смять меня, раздавить, как червя-с... — говорил он, поминутно кашляя в руку и стыдливо потупив глаза.

— Вы боитесь, что я буду нескромен? — прервал я, желая вывести его из неприятного положения.

— Не то чтоб-с... а более для ограждения.

— Будьте спокойны: всё, что вы скажете мне, останется между нами... Я вам должен быть благодарен ещё, что вы де-

литесь со мной своими наблюдениями над этой мало кому известной жизнью...

— Точно-с... совсем глухая сторонушка, — прервал он, робко взглянув на меня, как бы желая проверить, насколько искренно моё уверение о сохранении в тайне его рассказа. — Совсем глухая-с!.. — повторил он, оживляясь. — Кого понесёт в наши горы, где и дорог-то нет, и поесть-то порою нечего, глядеть, чего деется в них, как живут эти дикари теленгуты... А живут они жалости подобно!.. А кто и заедет если к ним, так боле для того, чтоб обобратить их... Все ведь инородцы имеют большую приверженность к вину, сударь. За рюмку вина он готов отдать всё, чего у него есть, и скотину, и жену, коли хочешь!.. Вином-то торговать у нас в Алтае законом не допускается; даже в деревнях-то поблизости к улусам запрещено кабаки открывать, чтоб оградить тем инородцев от пьянства и вместе разорения, а господа чиновники, где бы строго следить за этим и преследовать других, сами вино провозят да торгуют им...

— Неужели исключительно для торговли вином они и ездят в горы? — прервал я.

— Не-ет-с, как это можно!.. Это делается благородным образом, сударь, на высший манер! Определится, например, господин чиновник на службу... участковым заседателем или исправником и приедет сюда. Первым делом для того, чтобы поправиться, он едет в Чернь к инородцам, будто бы вырешать накопившиеся дела. Подберёт себе толмача из инородцев... переводчика, как бы сказать... из опытных в этом деле... Есть тут таких инородцев человека три-четыре, бога-а-ты теперь уж. Толмачеством и нажились... И первый Назар Степаныч начал с того, что был толмачом; с этого ремесла и жить пошёл... Купит себе господин чиновник вёдер пять спирту, и едет! Приедет он в улус — разошлёт оттуда нарочных по всем ближним улусам с вестью, что, дескать, чиновник приехал, так пускай башлыки явятся. А башлыками в улусах называются люди, выбранные обществом, как и в русских волостях старшины или головы; в башлыки уж всегда выбираются самые зажиточные инородцы. Известное дело, башлык приедет не один: он захватит с собой и других зажиточных одноулусников, и все они приедут на поклон к чиновнику не с пустыми руками: кто двух-трёх собольков привезёт, лисичку, иногда и чернобуренькую, белочек, хорьков по пяти, по десяти шкурок. Приедут, поклонятся, поднесут гостинцы, вот чиновник-то им, будто в благодарность за гостинцы, и даст по рюмочке спирта... А рюмочка-то эта их разлакомит... Выпьют они и запросят по другой... И он им по другой. Как по другой-то они выпьют,

их и разберё-ё-от... Они и полезут: дай им по третьей... Он их, известно, прогонит... В эфту-то пору толмач и шепнёт им, что «у барина вина мно-о-ого, но только для себя бережёт... Пожалуй, говорит, если подарите меня, то я попрошу его... поторгую у него вина-то... авось он по бутылочке и продаст вам!». Ну и поторгует... Бутылочка-то в три-четыре рюмочки и обойдётся инородцу рублей в двадцать, а может, и более... Таким-то образом, как объедет господин чиновник Чернь, дел-то вырешить не вырешит... а шкурок-то на тысчонку, на две... вывезет... и поправится...

— И все так делали?..

— С испокон веку, сударь, так деялось и делается... Здесь был исправником, сударь, Иван Мироныч Конаев... так такие ведь капиталы нажил: во многие десятки тысяч!..

— От инородцев?

— По большей части от них... Он и Назара Степаныча Куртегешова в люди вывел; и тот имеет теперь капиталу, пожалуй, тысяч... сто, коли не более... Кто был Назар Степаныч лет тридцать тому назад, если посказать?.. Бедный инородец... в работниках жил, и не раз был бит за воровство. Ну, сказать правду нужно, сударь, парень он вёрткой, не дурак... Вся его фортуна началась с того, что попал в толмачи к Ивану Миронычу, ну, Иван Мироныч... оценил его и участливил...

— Чем же?..

— Много, сударь, было дел меж ними, если перетряхнуть старину... Бывало и так: навезут крестьяне Ивану Миронычу хлеба, да пошлёт он ещё закупить его от своего имени по уезду, ну и накупят. А ведь у инородцев хлебопашества нет, обруселые только занимаются им, да и то спустя рукава, а черневые инородцы в редкость, которые сеют ячмень, да и то в недавнее время только стали заниматься этим. Зима для них всегда голодное время. Вот, бывало, Иван Мироныч и сделает распоряжение, чтобы крестьяне не смели инородцам задавать хлеба в долг, потому-де, пользуясь их нуждой, они только разоряют их этим путём. Кто же посмеет пойти против его воли!.. Ну, крестьяне и не дают инородцам хлеба. Пользуясь этим, Иван Мироныч скупленный-то хлеб через Назара Степаныча и раздаёт инородцам в долги, да впятеро дороже, чем бы крестьяне роздали... а потом и выбирает с них долг шкурками да скотом. Шкурки-то как накопятся, он и отправит с Назаром Степанычем в Ирбит на ярмарку или в Нижний. Затратит он на покупку хлеба много тысячу, две, а вернёт пять... да десять... Оно и оборот!.. И вином торговал он таким же порядком; да не буду греха таить: на много тысяч, сударь, и фальшивых ассигнаций переведено им через руки Назара Степаныча в тайгу к инородцам. А скот-то, скуп-

ленный у инородцев за фальшивые деньги, перепродавали на десятки тысяч крестьянам да купцам...

— Неужели всё это правда, Никита Васильевич?

— О-ох, сударь... много похоронено тёмных дел в наших горах! — с грустью в голосе ответил он. — На вид-то только они красивы: любоваться да любоваться ими надо, а как поживёшь в них, присмотришься к тому, чего творится в них... так бежал бы из них за тридевять земель... Поневоле махнёшь только на всё рукой да и скажешь: на то здесь и Сибирь, на то и глухая она сторона, чтобы всякая правда в ней за сказку другим казалась... Далеко в старину не буду, сударь, заглядывать, — вздохнув, начал он. — Уж в ближнее время, в бытность мою здесь, в 186... году, у инородцев был голод, какого и старики не запомнят... Перемерло их от голода страсть сколько... По тропам в горах находили целые семьи мёртвыми; как, значит, тащился муж с женой да детьми из гор, силясь добраться до какой-нибудь деревни, так и падали на дороге... в одной версте, глядишь, один ребёнок брошен, а там другой, а подальше и мать на корточки присела да Богу душу отдала, а где-нибудь в горе и отец свалился... уж, значит, не было сил подняться в гору, так и застыл. Многие трупы детей изглоданными находили — это уж, стало быть, мясом своих детищ питались. В иной юрте в лоск всю семью мёртвой находили с изглоданными руками и ногами... У другого инородца ещё хватало силы добраться до улуса обруселых инородцев или до деревни... да тут, у околицы её, он и Богу душу отдавал... Ужас, ужас только рассказывать, чего творилось!.. Одни мрут, а другие, пользуясь этим, наживаются около них. Разбой стоял несосветимый; за пудовку ячменя с них, несчастных, брали, чего только глаз видел. Купцы эти и торговые крестьяне христианами пишутся, а в эту пору хуже зверей уподобились, сотнями бежали инородцы, всяким богом умаливали выдать им в ссуду хлеба. Начальство вникло в бедственное положение их, да заместо того, чтоб сейчас же, не теряя часу, оказать помощь, возбудило вопрос: можно ли инородцам выдать в ссуду хлеб из запасных крестьянских магазинов, так как хлеб этот составляет неприкосновенный крестьянский капитал? И пошёл этот вопрос гулять да погуливать: иная бумажка эта где-нибудь неделю-две под сукном полежит, а народ-то мрёт да мрёт!... Ну, к весне и вопрос разрешился: «можно выдать». Только уж многие из ходатаев-то не нуждались больше ни в какой ссуде, кроме поминанья за упокой!.. Хорошо-с! Во избежание каких-либо корыстных притеснений со стороны русских волостных начальников, при выдаче инородцам хлеба в ссуду из магазинов, командировали чиновника производить эту выдачу, господина О-на. Вот этот-то господин чиновник,

сударь, и натворил чудес... Инородцы издыхают от голода, вопят: давай хлеба!.. А он говорит: коли поднесёте мне вот столько-то, так сейчас выдам, а не поднесёте, так я ещё буду производить удостоверение: настолько ли вы благонадёжные люди, что, взявши хлебную ссуду, будете в состоянии возратить её. Что было делать им, сударь? И полезли они в кабалу к крестьянам, штоб дали им денег — подарить чиновнику, штоб не дал им помереть бы с голоду и выдал хлеб. Да ведь в какую кабалу залезли!.. Иные вот уж несколько лет работают на крестьян за этот долг... и всё-таки не могут отработать!.. И нажился таким путём господин О-н... Вернулся в город да домик купил... лошадками обзавёлся... Теперь, сказывают, и пасека есть... и жёнушка щеголяет в шелках; а прежде, сказывали, и ситцевое платъице было в редкость...

— Неужели эти подвиги его остались в секрете?..

— Здесь, сударь, ничего в секрете не остаётся! Все это знают, да ещё его же похваляют: молодец, говорят, нашёлся около хлебного дельца... и сам с кормом стал!.. — с иронией закончил Никита Васильевич. — Такими-то путями, сударь, и обнищали здешние инородцы. Теперь уж в редкость где встретишь зажиточного инородца, да и тот, кто теперь считается богатым, в прежнюю пору казался бы бедняком. Вот как времена-то переменялись... Што, сударь, сказать вам: уж коли чиновники обирают, так суди их Бог... Иного оберёт, иному и поможет в чём... Куда ни шло... А ведь мелюзга-то, глядя на них, чего проделывает... смех и горе!..

— Какая же мелюзга?..

— К примеру скажу вам: есть здесь окружной фельдшер Т...в. Давно уж он тут служит... почитай, лет двадцать теперь; тоже человек с состояньицем...

— И тоже около инородцев нажил?

— Одна здесь коровушка-то, сударь, которую всё только никто не кормит, — с иронией ответил он.

— Этот-то каким путём наживается от них?..

— Распотешным. Посказать, так смех разберёт! Он обязан, сударь, через год объезжать всю тайгу, все айлы и прививать там оспу детям, потому от оспы этой инородцы тоже сотнями вымирают! Вот он и ездит... да ведь какие фокусы-то выкидывает! Приедет, к примеру, в аил и велит башлык собрать всех матерей с ребятами. Ну, в аиле, конечно, сейчас поднимется суета, бегодня... Соберёт башлык баб с малолетними детьми... и приведёт к нему. Вот он и начнёт вынимать при них из ящика все свои инструменты нарочно для того, чтобы напугать: нож, которым трупы разрезывает... пилу, которой черепа спиливает... долото, ножницы, шилья, иглы... да при них же ещё и начнёт на брусе нож натачивать... Посудите, сударь, сами: ви-

дя эти приготовления для привития оспы, инородки, какие бы они ни были дикарки, но ведь всё-таки матери, любят своих детей так же, как всякая другая мать; поневоле обольётся у всякой из них сердце кровью от ужаса за детей своих... Ну, и поднимается плач... стоны... в ноги к нему повалятся... Батюшка, возьми чего хошь, только не режь ребят. А ему этого только и нужно; ну и начинает торг... «Не резать, говорит, нельзя... Лекарь узнает, что я не резал, — сам приедет, так и не таким ещё ножом, говорит, зарежет... А коли, говорит, каждая из вас даст мне по два, по три соболя, так я ножичком тихонько порежу ваших ребят, они и не услышат!» — и покажет при этом на ланцет. «А коли, говорит, не дадите, так я вот... за настоящий нож возьмусь... каким начальство велит резать!» И нанесут, сударь, ему подарков; ведь матери отдадут всё, что только есть у них, только не губи детей!.. Недаром же привитие оспы инородцы и называют «чёртовой тамгой*». Ну, а как только он привьёт оспу, они украдкой и смоят её холодной водой... застудят... а дети и мрут от этого. Вот, сударь, как действуют на них, при наших-то порядках, предохранительные меры, клонящиеся к спасению их... Теперь уже инородки стали умней... Как только заслышат они, что урус Т...в едет к ним с оспой, сейчас заберут детей да и бегут с ними в горы, да там и скрываются в ущельях да лощинах, покамест он не уедет, чтоб избегнуть... чёртовой тамги на детях, а главное, поборов...

— А что же окружной врач смотрит?.. Неужели он не знает ничего об этом?

— Не могу, сударь, судить... Да что ж... не Т...в, так другой кто, не другой, так третий... не одним манером, так другим, каким поновей, а всё будут обирать, порядок-то всё один ведь...

— А сами инородцы разве не жалуются на подобные действия?

— И-и избави господи!.. Они от чиновников-то, как от огня бегают, сударь! Они и уголовные-то преступления, какие совершаются между ними в горах, скрывают от правосудия... Чиновник, говорит, наедет, бе-е-еда будет: и виноватых, и правых оберёт!.. Да вот, сударь, для примера... расскажу вам недавний случай... До заседателя С-го в Б-м округе дошло известие, что один купец купил у инородца на несколько тысяч скота... и расплатился за него фальшивыми ассигнациями... С-й, чтоб раскрыть это преступление по горячим следам, тотчас же поскакал в аил... застал там обманутого инородца

* Тамгой называется у инородцев печать, какую прикладывают к бумагам вместо подписи. (Прим. автора).

и говорит ему: так и так-де, купец этот обманул тебя, отдал фальшивые деньги, разорил тебя... Давай эти деньги мне: мы, говорит, дело заведём, будем судить его, а тебе, говорит, возвратим весь твой скот или прикажем отдать настоящие деньги за него. «Не дам, — говорит инородец, — худая ли деньга, хорошая ли деньга, а всё-таки она при мне будет, у сердца, а отдай коли тебе, так ты и хорошую деньгу худой назовёшь, да в свой карман положишь и разоришь меня!» Так и не отдал. Побился, побился около него заседатель, да с тем и уехал... Обруселые инородцы, которые живут в крестьянских деревнях или, как наш улус, поблизости около деревень, ну те уж иной статьи люди, — с иронией произнёс он, — обнатурились... во многом уж и крестьян перегнали.

— В чём же, например?

— К слову сказать, в разорении тех же черневых татар, своих родичей! Далеко за примером и ходить нечего, сударь... Первый теперича Назар Степаныч: ведь это истинная пагуба инородцев, сударь. У него все черневые инородцы в неоплатном долгу. Он им задаёт хлеб, порох, свинец для охоты на зверя, денег для оплаты ясака, и инородцы ни у кого другого не смеют брать хлеба, как только у него. Боже сохрани, если Назар Степаныч узнает, что какой-нибудь черневой инородец взял у крестьян хлеб по более дешёвой цене, чем он ставит им в счёт. Назар Степаныч сейчас же поедет в тайгу, сударь, и отберёт всё, что только есть у инородца, за долги, а там он хоть умирай с семьёй с голода, — ему и дела нет. Боятся его инородцы, как огня: только заслышат они, что Назар Степаныч в тайгу едет, так дорогу для него правят, как для владыки какого... в землю кланяются ему при встрече! Чего только Назар увидит у инородца в юрте, чего ему понравилось, сейчас тот и дарит ему вещь, а то беда, если не почтишь его... Ведь все инородцы, от малого и до большого, убеждены, что Назар Степаныч — всемогущий человек, что Назара Степаныча сам белый царь знает. Потеха, сударь, если посказать, какая комедия тут была, когда Назару Степановичу золотую медаль на шею за построенную им церковь прислали. Он сейчас дал знать по всем аилам в Чернь, чтобы инородцы ехали к нему глядеть на царский облик... и целовать его.

— Что же, и съехались? — прервал я.

— Съехались, и ради этой оказии не с пустыми руками, а с подарками. И устроил Назар такую церемонию: взял из церкви аналой и перенёс к себе в дом, и положил на него медаль, и каждый инородец, прежде чем посмотреть царский облик и приложиться к нему, подходил к аналою и кланялся в землю, а Назар в шёлковом халате стоит у аналая, важный такой, и спрашивает: «Видите теперь, как царь чтит меня, а-а?».

— Видим, говорят, бачка ты наш, Назар Степаныч, видим.

— То-то же, — говорит, — знайте!.. Там царь, а здесь я за-место его. Читите и вы меня, а то ху-у-удо будет вам... Меня и чиновники, говорит, все чтят и боятся... Я всё могу сделать... Мне только, говорит, письмо царю отписать, и всё будет помоему... И чтят его, сударь, инородцы... А пользуясь этим, он и обирает их. И никто ничем инородцев не убедит, что всё это враньё Назарки, что он их обманывает; а особенно теперь, когда они увидели, что царь прислал ему портрет свой весь из золота... Поверите ли, сударь, Назар плетями сечёт провинившихся перед ним инородцев, и те молчат... Ведь если какая тяжба случится между инородцами, они идут с просьбой разобрать их не к чиновникам, а к Назару Степанычу; он и судит их... и чего уже скажет им, так то и делается. Случится какое-нибудь уголовное преступление в тайге, которое нельзя скрыть, то виновники сейчас идут к Назару Степанычу просить защиты его, и, конечно, дарят ему за заступничество, чего он только запросит с них. А он уже едет к чиновникам ходатайствовать за них. О чём бы ни попросил Назар чиновников, особенно, бывало, при прежнем исправнике Конаеве, так уж для него всё сделают, а это ещё более поддерживало и поддерживает в инородцах убеждение о могуществе Назара Степаныча. Ведь он, сударь, если раскрыть теперича перед вами всю правду, и церковь-то построил на деньги, собранные с инородцев, а перед начальством выдал, что построил её на своё иждивение.

— Как же это так?.. — спросил я, заинтересованный этим неожиданным открытием, так как ранее, бывши в городе К...е, слышал похвальные отзывы об усердном желании Назара Степаныча распространять среди инородцев православие.

— Очень просто!.. — с иронией ответил Никита Васильевич. — На инородцах с давних ещё времён накопилась недоимка ясака, что-то на весьма значительную сумму, и они давно хлопочут о прощении им этой недоимки. Назар Степанович не будь промах — смекни это дело, да и подведи им штуку: давай собирать с них деньги на постройку православного храма (это с язычников-то!) для того-де, что как царь узнает, что они хоть и другой веры, а чтят его бога, он и простит им эту недоимку. А ведь инородцы, как я и доложил вам, настоящие дети, простодушные, доверчивые, и поверили ему. Да и как не поверить Назару Степанычу? Собрали они деньги; другой из них, может быть, занял да последний грош отдал ему. Построил Назар храм, получил за него медаль, и теперь всё уверяет инородцев, что уж начальство обещало ему просить царя о прощении им недоимки, ввиду их почтения к

русскому богу! Дождётся, конечно, какого-нибудь всемилостивейшего манифеста, коим сложат с инородцев эту недоимку, и скажет им, что всё это сделано по его ходатайству!

В это время дверь скрипнула, и в комнату вошёл крестьянин, одетый в тонкий суконный халат, опоясанный пёстрым кушаком. Волосы на голове и бороде его были с густой проседью, хотя, судя по наружности, дышавшей силой и здоровьем, ему можно было дать не более сорока лет. Заслышав скрип двери, Никита Васильевич умолк, поднялся со стула и, взглянув на вошедшего, слегка откашлялся в ладонь левой руки и отошёл в угол. Помолвившись на икону, вошедший поклонился нам, затем протянул руку Никите Васильевичу и пожал её.

— Не обессудь уж, батюшка, што беспокою тебя! — обратился он ко мне, кланяясь. — Заслышал, что твоя милость приехала сюда, сел на вершнюю, чтоб не терять время, захватить тебя здесь да надокучить с просьбицей!

— Ты крестьянин? — спросил я.

— Крестьяне будем, недалечко здесь живём, в Атамановой... Атамановой деревня-то наша пишется, — пояснил он, погладив свою бороду и усы. — Разоряют нас, кормилец, вот и приехал докучать тебе! — с горечью в голосе произнёс он. — А-а-ах, говорю, а? Выручишь собаку из нужи, да за ней же и гоняйся потом с палкой! Не грех ли, а? Опутал меня ведь Абышка-то, обнатурил, как есть, и глаз теперича не кажет, — сказал он, обратившись к Никите Васильевичу. — Ну, не собака ли, а? — спросил он, снова обратившись ко мне.

— Кто же это? — спросил я.

— Абышка! — ответил он, предполагая, вероятно, что нанесшего обиду Абышку должен знать весь свет. — Как, бишь, он пишется-то, Микита Васильич?

— Абыш Санасаров! — ответил тот, не глядя на него.

— Ну, ну эта самая! точно! Вишь память-то у меня. Да как ты, говорю, и не спутаешься с этими анафемами... А-ах, ты, боже мой! Н-ну... — заключил он, качая головой. — И тот непутный человек, кто и веру даёт экой собаке! Выручи, кормилец, дай суда! — снова произнёс он, кланяясь мне. — Што ты теперича будешь делать, коли не твоя в том воля, а?

— Из какой же беды тебя выручить? — спросил я.

— А перво-наперво, милостивец, возьми ты меня за энти самые космы да выволочи! — говорил он, указав на свою седеющую голову. — До измо-о-ору выволоки и приговаривай: «Вот, мол, тебе, Митрофан Сысоев, за то, што седой волос у тебя растёт, а ума не несёт». И хорошо это будет!

Никита Васильевич при этом оригинальном предложении просителя, Митрофана Сысоева, улыбнулся и, откашлявшись, стоял, понурился глаза в землю.

— Чем же это хорошо будет?

— Надко! Будет память! Уж вдругорядь, коли опосля этого какая собака ко мне придёт да будет в ногах ползать: «Дай-де хлеба, спаси меня от голода», так уж знать будем, чем и угостить.

— Чем же?

— А взашей надавать! Вот, мол, возьми-ка, перекуси и слезьми запей! Вот на какой пример надоть нашему брату выволочку давать! Спроси теперича у меня, сколько моего добра пропало за энтими собаками?

— Растолкуй мне прежде, за какими собаками? — прервал я его.

— За черневыми татарами! Собаки, так собаки и есть, одно им и званьё! Вот хоть Абышку возьми: прибёг ко мне ноне зимой: «Митрофан, говорит, такой-сякой, — бе-е-еда! Дохнуть, говорит, только с голоду надоть, вот какая беда! Дай мне хлеба четыре пудовки!». В ногах ползал, сулил, братец ты мой, всю душу отдать, только не дай ему умереть! А на вот поди: подошло к расплате, и глаз не кажет, а?

— Что же, ты дал ему хлеба?

— Своими руками мерял! Как ты не дашь ему, коли оно вот, того и гляди, на твоих глазах сдохнет!

— Чем же он обещал тебе заплатить долг: деньгами или хлебом?

— Захотел деньгами взять с него или хлебом! Где он денег-то возьмёт или хлеба-то? Под одно мы даём ихнему брату: приди, отробь долг в рабочую пору, отожни!..

— Он обещал отжать?

— Плакал... икону то ись потом целовал.

— Он крещёный?

— Пёс его знает, какой он веры-то! Однако, говорит, коли худо сделал, то твой ли шайтан, мой ли шайтан, а уж башку снесёт! Ну, и верил ему! Крещён он, Микита Васильевич, аль нет? Ты ведь всех их знаешь! — спросил он, обратившись к Ерёмину.

— Нет, — улыбаясь, ответил он.

— Собака, так оно и есть! — заключил Сысоев.

— Как же он икону-то целовал, если не крещёный?

— Что ж? Святителя-то, поди, не убыло от энтото! Лезет коли целовать его, так не драться же с ним! — ответил Сысоев, как-то оторопело посмотрев на меня своими маленькими серыми глазками. — А вот теперь, как подошло время жнитвы, и ищи его... Побежал ноне в аил к ним — нету его! Спрашиваю, где Абышка. — «Убёг, говорят». — «Куда?» — спрашиваю. — В Чернь; дело, говорят, такое неминуемое подошло! Вот ищи их, собак, и верь им, а-а? Ну разве не надоть выволочь

нашего брата, чтоб напередки умней быть, а-а? — спросил он, взглянув на меня с каким-то строго-комичным выражением в лице.

— Чего же ты теперь от меня хочешь? — спросил я.

— Рассуди меня с Абышкой, сделай милость, кормилец! Понудь его отробить долг! Ведь это што ж, раз-зор опосля этого! Кормишь, кормишь их, собак, за зиму, обещаются отробить тебе, а жнитва подойдёт — и в бег! А-а-ах, ты, собака этакая, а-а? Ну, придёт он только ко мне ноне зимой за хлебом! Я те накормлю, за-а-а-кусишь ты у меня! — с дрожью в голосе протянул он. — За-а-а-кусишь! Будь милостивец, пошли ты за ним, да приструни его, — тебя-то он побоится! Ты — чиновник, а чиновников-то они, собаки... э-э-э... только дух их слышат, так што от волка — хвосты подожмут! Стра-а-асть им чиновник-то! Чиновников-то они более своего шайтана боятся, ей-богу! Обрадуй меня, сделай милость, рассуди...

Я заказал Ерёмину вытребовать к следующему утру для разбирательства дела Абыша Санасарова и Митрофана. Сысоев, довольный этим распоряжением, низко поклонился мне и вышел. По уходе его Никита Васильевич откашлялся в руку и, обведя меня своими смеющимися глазами, произнёс:

— Много вам, сударь, будет завтра занятия.

— Какого?

— За ночь-то, посмотрите, сколько наедет сюда крестьян и инородцев для разбирательства у вас по разным ихним делам! Теперь уж по всем деревням и аилам несётся весть, что вы пожаловали сюда. И теперь уж, поди, едут разные просители докучать вам.

— А как вы думаете, Никита Васильевич, — вы хорошо знакомы с здешними нравами, — кто прав: крестьянин ли Сысоев, или инородец Санасаров? — спросил я, желая вывести, какими экономическими расчётами руководятся крестьяне, давая инородцам хлеб с обязательством отработать свой долг.

— Трудно, сударь, сказать! — ответил он, немного подумав. — Оно известно, если по правде теперича судить, то крестьянин прав, потому хлеб он давал Абышу за то, чтоб Абыш отработал у него за четыре пудовки четыре дня, и тот согласился. А если теперича в совести взять, так не Абыш Сысоева разоряет этим, а Сысоев Абыша.

— Объясните мне, почему это?

— Да так, сударь, доложить вам надоть: по нашим местам в самую неурожайную пору пудовка-то ржаного хлеба пятнадцать копеек стоит, и уж небывалая цена ей двадцать копеек. Стало быть, четыре-то пудовки всего-навсе, если по двадцати копеек положить пудовку, — восемь гривен стоят! Самые плё-

вые деньги, а ведь он заставил за них работать Абышку четыре дня в самую дорогую рабочую пору, в жнитво, когда здесь рабочего-то за пять, за шесть рублей в сутки не найдёшь! Вот и посчитайте: если по пяти рублей в сутки положить, так он работнику-то должен двадцать рублей выложить, а тут он за восемь гривен заставляет его работать. Оно и расчёт для них задавать голодным-то инородцам хлеба.

— Отчего же здесь так дорога заработная плата в это время?

— Очень просто, сударь. Ведь здесь земли-то — бери не хочу. Зажиточные-то мужики здесь по сколько запахивают! Глазом не окинешь! Всякий из них норовит, как бы побольше нахватать! Жнитво-то подойдёт, так им со своими-то семьями и в две, в три недели не управиться с жнитвом. А хлеб-то рдеет, осыпается! Всякому время дорого, всякому до своего дела забота; другой из них рад-радехонек за день-то десять рублёв дать, да и за эту плату никого не найдёшь в иное время. А вот он задаст как хлеба инородцам и тянет их — иди отработывай! Инородцы-то им в ино время деньги, сударь, за хлеб привозят, по рублику, по два за пудовку отдают! Так мужики-то не берут с них денег-то, не-е-ет! Иди работай, говорят! А тем тоже свой расчёт: они лучше рубль или два отдадут им за пудовку, что стоит пятнадцать копеек, да пойдут наймутся в дорогое-то время в работу, так по пяти рублей за сутки возьмут! Вот и судите, кто кого разоряет! — заключил он, вздохнув.

В комнате совершенно стемнело, когда Никита Васильевич, отговорившись необходимостью присмотреть ещё за скотиной, вышел от меня, пожелав мне спокойной ночи. Я раскрыл по уходе его окно. В воздухе было тихо, знойный летний день сменила резкая ночная свежесть, какая чувствуется только в горах. На горизонте медленно выплывала луна, и бледные лучи её тонули в синеве, окутавшей окрестные горы своей прозрачной пеленой. Я с жадностью вдыхал в себя свежий живительный воздух, напоённый ароматами смолистых деревьев и душистых альпийских трав.

В ночной тиши до меня отчётливо доносилось бурливое клокотанье Кандалепа, рывшегося в своих высоких, неприступных берегах. Я прислушивался к гулу волн его, и мне чудились в нём стон и подавленные рыдания. Под влиянием всего слышанного мною в уме невольно пробежала мысль — не плачет ли это Кандалеп о жалкой участи этих чудных, поражающих своим величием гор, превратившихся теперь в арену всевозможных эксплуатаций. И мне стало больно за это добродушное, безжалостно разоряемое и постепенно вымирающее племя.

* * *

Вершины Алтая, покрытые вечным снегом и льдами, изда- лека поражающие путника своею дико-величавою красотою, местные жители называют «чернью». Слово «чернь» означает дремучий, непроходимый лес, состоящий из пихт и кедров, по- крывающий горы. Потому и племена инородцев, населяющие чернь, называются у местных жителей черневыми татарами. Сами черневые татары также называют себя «Ииш-кижи», что значит черневые люди, жители чернолесья. Отсутствие у этого племени тюркских родов и употребление особого обще- го имени Ииш-кижи послужило поводом при исследовании происхождения этого племени считать его за финское племя, которое, будучи окружено со всех сторон теленгутами, насе- ляющими плоскогорья южной части русского Алтая, усвоило себе их язык, религию, нравы и обычаи. В официальных русских бумагах кочевые пастушеские племена, называющие себя теленгутами, именовались «калмыками». До половины прошлого столетия теленгуты находились в зависимости от джунгарского хана, как и черневые татары, и платили одно- временно «ялман», т. е. ясак, и русскому правительству, и джунгарскому хану, почему и назывались ещё «двоеданца- ми», и в простонародьи за ними сохранилось это название до настоящего времени. Но в половине прошлого столетия, во время междоусобий в джунгарском ханстве, кончившихся покорением Джунгарии китайцами, когда китайские войска появились в Алтае, в кочевьях теленгутов, последние стали искать защиты России, обратившись с письмом за подписью двенадцати зайсанов к Бийскому коменданту, и в 1756 году, с разрешения русского начальства, спустились с жёнами, деть- ми и скотом на колыванскую линию*.

В это смутное время Алтай долго был опустошаем набе- гами монголов и киргиз, разорявших кочевавшие племена. Не мало страдали эти племена и от междоусобной вражды, нередко превращавшейся в личный разбой, и от оспы, губи- тельно опустошавшей их кочевья. Всего лучше характеризу- ет это скорбное для теленгутов время сложенная ими песня, которую и теперь ещё поют они:

«С высоты если смотреть, треуголен ты, царь Алтай! Как посмотреть сбоку, девятиуголен ты, царь Алтай! По скату

* Исторические сведения и многие бытовые черты, приведённые в на- стоящем очерке, извлечены из прекрасного по своей полноте труда г. Григ. Ник. Потанина «Материалы для истории Сибири», а также из составлен- ного им вместе с г. П. П. Семёновым «Землеведения Азии», служащего про- должением труда Карла Риттера, составленного на основании уже мате- риалов, обнаруженных с 1832 года. — *Прим. автора.*

гор если смотреть, как плеть, хребет твой, царь Алтай! По осеннему жилищу своему, как бурое сукно, разостлался ты, царь Алтай! Жалко тебя, сердечный ты мой Алтай! Много крови пролилось в тебе! Пропадай ты, сосна с мёрзлыми сучьями, не доживай до такого разорения!.. Величия полный мой Алтай, горе тебе от такого опустошения!.. Пропадай ты, сосна с сухими ветвями, если будут тебя ещё обламывать!.. Хорошо ты был устроен, мой Алтай!.. Горе тебе от такого опустошения!»*.

Много лет прошло с тех пор, как дикий бард сложил эту песню, выражающую такую жгучую тоску об опустошении и разорении хорошо устроенной жизни в горах Алтая, полных царственного величия, а между тем эта песня и теперь применима к нему. История этих племён, их жизнь, нравы и обычаи до сих пор остаются мало исследованными. Только в недавнее время, благодаря настоянию людей, живо интересующихся этим предметом, и особенно Н. М. Ядринцева, труды которого по исследованию Сибири составляют такое веское явление в литературе, к сожалению, до настоящего времени не оценённое по достоинству, сибирское отделение Императорского географического общества пришло к заключению о необходимости всестороннего изучения жизни инородцев, которое, по всей вероятности, в непродолжительном будущем вызовет меры к ограждению интересов этих племён и к устройству их плачевного быта на более рациональных началах.

Теленгуты, находящиеся в русском подданстве, разделяются на дючины, которых считается 75, и кроме того ещё делятся на 24 поколения. Теленгуты, принадлежащие к одному поколению, считаются родственниками и называют себя братьями, и люди одного племени не могут жениться на женщинах своего племени. Все поколения их говорят одним и тем же татарским языком, исповедуют одну и ту же шаманскую веру и управляются зайсанами. Каждая дючина имеет своего зайсана, достоинство которого наследственно, хотя каждый зайсан должен быть утверждён в своём звании народом и русским начальством. Зайсаны обязаны собирать с своих дючин ясак, по рублю с мужчины, и сверх того по три рубля с каждого семейства, хотя женщины и дети считаются свободными от податей. Ясак собирается с них шкурами лисиц, соболей, белок и куниц. Только тяжкие преступления — убийство, грабёж — судятся у теленгутов по русским зако-

* Огромную заслугу по изучению быта алтайских инородцев составляют исследования миссионера о. Вербицкого. Приведённая песня переведена им и помещена в «Правосл. обозр.» 1868 г., в ст. «Записки миссионера. — Прим. автора.

нам, остальные дела и тяжбы решаются или зайсанами, или народным собранием, ежегодно составляющимся для этой цели. Всё богатство этих племён заключается в скоте, почему и кочевья их расположены большею частью по долинам рек, представляющих обильные пастбища. В былое время в среде теленгутов можно было встретить владельцев шести и более тысяч голов этого скота. Люди, имевшие пятьдесят или сто лошадей, считались у них бедняками; но это богатство лугов перешло теперь в руки местных русских купцов, эксплуатация которых беспримерна по своим примерам. Обеднение теленгутов, по словам путешественника Радлова, идёт так быстро, что он в последнее путешествие не узнавал местностей, которые посетил в 1860 г. Скота нигде не было видно. Даже прекрасная Урускульская долина, славящаяся своими пастбищами и богатством её обитателей, была пуста; если попадался скот, то на вопрос его: «Чей скот?» — звучало в ответ: «Жоймным-малы», т. е. купеческий. Купцы покупают у теленгутов молодой скот, оставляют его у инородцев и берут тогда, когда он подрастёт, т. е. по истечении 3—4 лет. Все выгоды подобной торговли, конечно, на стороне купцов, потому ущерб в скоте, который случится за это время, возмещается ими на хранителе скота, бывшем его хозяине, обязанном безвозмездно пасти его и охранять от всяких случайностей. Как быстро составляются купцами капиталы в Алтае, мы приведём, со слов того же путешественника Радлова, следующий пример: за 50 кирпичей чаю купец покупает в Алтае пару маральных рогов; на деньги они обойдутся ему в 75 р. с. Затем эти рога он продаёт на реке Чуе уже за 100 кирпичей чаю, что равняется 150 руб. с. На эти деньги он снова покупает в Алтае 80 годовалых телят, которых оставляет у продавца для безвозмездной пастьбы, и по истечении трёх лет получает от него 80 штук взрослых скотин, которые, считая средним числом по 10 руб. за голову, составляют капитал в 800 руб. с. Все злоупотребления купцов в торговле с теленгутами оставались и остаются без преследования. Задавая им вперёд гнилой, грошовый товар, купцы берут за него невероятные проценты; проценты эти удваиваются и утраиваются, если долг не выплачивается в срок; можно сказать без преувеличения: если на подобный порядок вещей не будет обращено должного внимания, зло не будет пресечено в корне, то простодушный, доверчивый народ этот, постепенно беднея, будет вымирать, вымирать буквально от голода. Теленгуты в настоящее время обременены такими неоплатными долгами, погасить которые мало десятков лет; а между тем, за долги эти давно уже уплачены ими суммы в десять, если не в двадцать раз больше.

Для обращения теленгутов в православие в 1828 году основана духовная алтайская миссия, трудами которой приведено в христианство до 4000 человек, воздвигнуто 11 церквей, устроено 10 школ, переведено на теленгутский Евангелие, несколько богослужебных книг, много молитв и церковных песен. Успехи миссии нельзя назвать значительными. Теленгуты смотрят на миссию, как на вредное учреждение, и удаляются от неё в глубь гор, потому что считают принятие православия равносильным потере национальности. Теленгуты, бегущие от миссии в горы, беднеют день ото дня; одинаково беднеют и те из них, которые, приняв православие, поселяются на жительство около миссии. Отчего происходит это явление и где, и в чём искать целебного средства против него, — ответы на это дадут только добросовестные и всесторонние исследования быта теленгутов и искоренение эксплуатации, тяготеющей над ними во всех видах.

Теленгуты, как и черневые татары, исповедуют шаманскую веру. Они признают два начала: доброе «Ульген» и злое «Ерлик», или «Шайтан». Кроме того, они поклоняются горам, солнцу, луне, небу, и часть от каждой жертвы посвящают огню. Их вероучители шаманы, или «камы», так объясняют свою религию: камлания их есть только молитва перед богом, всё создавшим, а жертва — знак смирения и преданности ему. Призываемые же ими духи есть только посредники перед богом, сообщающие людям волю верховного божества. Как теленгуты, так и черневые татары глубоко веруют в чудодейственную силу камлания своих камов. Всякое несчастье, разразившееся над семьёй: падёж скота, голод, болезнь или смерть члена семьи и т. п., побуждает теленгута обращаться к каму, чтобы он узнал волю этого духа, шайтана, от которого происходят всякое горе и беда на земле, и какую жертвою можно смягчить гнев его. По описаниям путешественников и рассказам очевидцев, людей уже свободных от всяких предрассудков, камлание шамана, особенно при той обстановке, при какой совершается, наводит невольный ужас. Какое же потрясающее действие должно производить оно на впечатлительный ум суеверного дикаря! В глубокую ночь, в каком-нибудь узком ущельи среди скал, вершины которых теряются далеко в небе, а по уступам и расселинам их лепятся вековые пихты, сосны и кедры, разводится огромный костёр, озаряющий багровым отблеском скалы и корни деревьев и рисующий на них чудовищные образы. В глубоко благоговейном молчании вокруг него верующие, с трепетом глядя на кама, который с бубном в руках, одетый в фантастический костюм, скачет и кружится с невероятною быстротою около костра, призывая своими дикими завываниями

под аккомпанемент бубна злого духа. Расширившиеся глаза его сверкают лихорадочным блеском, бледное лицо искажается судорогами, и он, не владея собою, скачет и кружится с пеною у рта до тех пор, пока, обессилев, не впадает в бессознательное состояние... Вылетающие в это время из уст его слова считаются выражением воли вселившегося в него духа. Шаманы, или камы, передают своё искусство по наследству старшему сыну или старшей дочери. Теленгуты и черневые татары тщательно скрывают своих камов, охраняя их от преследования православного духовенства и властей; нужно возбудить в них большое доверие, чтоб они открыли, кто у них кам, и особенно — допустили быть зрителем его камлания. По указанию кама, для умилоствления божества приносятся в жертву домашние животные, мясо и внутренности которых съедаются, а шкуры развешиваются и служат как бы указанием совершившегося тут религиозного действия. Кроме того, у теленгутов, у каждого племени и даже семьи, есть свои особо чтимые фетиши. Иногда эти фетиши изображает заячья шкурка, перевитая какою-нибудь тряпочкой. Фетиши эти всегда занимают передний угол в их жилищах.

Свадебные обряды теленгутов и обряды погребения крайне просты. Отец жениха и отец невесты условливаются о количестве «калыма», уплачиваемого женихом, и молодые считаются с этого дня обручёнными.

По уплате калыма устраивается свадьба. Отец жениха строит сыну юрту и отдаёт часть имущества; затем жених отправляется к юрте отца невесты, встречается с её родителями и родственниками, причём его угощают водкой. Отец произносит благословение молодой чете, которое дышит, — как говорят люди, знакомые с их языком, — иногда высоко-поэтической прелестью, и подносит молодым чашу вина, чем и оканчивается обряд венчания, после чего следует продолжительное пиршество. Споры о наследствах редки между теленгутами: члены семьи никогда не делят между собою скота и имущества, а владеют им сообща. Если старший сын получил отдельную юрту и часть имущества, то остальное имущество по смерти отца получает младший сын, обязанный кормить за то свою мать и сестёр; при выдаче замуж последних он получает и калым за них.

Мёртвых теленгуты хоронят в могилах богато одетыми, причём закалывают иногда лошадей и погребают с ними. Заупокойные пиршества бывают также весьма продолжительны; по окончании их кам очищает юрту покойного, после чего семейство умершего перекочёвывает на другое место. У некрещёных татар, кочующих по реке Кондоме, тела умерших не закапывают в землю, а завёртывают в бересту

и вешают на дерево в самом глухом лесу, или кладут на деревянные срубы и иногда сжигают. Мёртвые при этом снабжаются трубкою и обильным запасом табаку, а также ячменной мукою в мешочке.

Однообразно и печально проходит жизнь теленгута в юрте, покрытой войлоком и берестой или выстроенной из брёвен, о восьми и четырёх углах, сходящейся пирамидально кверху, к дымовому отверстию. Посредине юрты обыкновенно разводится огонь, над которым стоит треногий железный таган, к коему привешивается котёл для приготовления пищи. Несколько войлоков и подушек, набитых шерстью, заменяют матрацы. Иногда эти матрацы прикрываются звериными шкурами. Котёл, берестяная посуда, кожаные мешки, — вот вся домашняя утварь теленгута. Костюм мужчин и женщин почти одинаков: дабовая рубаха на теле, которая не снимается до тех пор, пока не истлеет. У мужчин короткие шаровары и высокие сапоги из дублёной кожи. Дети обоего пола до десяти и двенадцати лет ходят нагие. Летом сверх рубах мужчины носят куртки — «чеймек», и длинные кафтаны; зимою — нагольные шубы из конских, овечьих или хорьковых шкур. Женщины также носят сверх рубашки кафтан, с лёгкой накидкой с прорезами вместо рукавов, называемой «чадек». Чадеки носят только замужние женщины, девицы носят шубы, на боку которых навешиваются ключи, бубенчики, раковины и т. п. украшения. Мужчины и женщины носят на голове одинаковую треугольную, заострённую кверху мерлушчатую шапку, покрываемую жёлтой материей с красным лоскутом посредине. У мужчин и даже у детей бреют на голове волосы, оставляя расти на темени длинную косу, которую заплетают. Женщины волос на голове не бреют, а заплетают их во множество косичек. У девушек до 12 лет бреют только переднюю часть головы, заплетая сзади волосы в косички. Старые девушки отпускают волосы спереди, оставляя их не заплетёнными. Тип теленгутов совершенно монгольский: сдавленный лоб, узкие враскос глаза, выдавшиеся скулы, широкий сплюснутый нос, вздутые губы и редкая борода. Среди женщин трудно встретить красивое лицо, и они быстро стареют, может быть, вследствие труда, который исключительно лежит на них. Теленгуты — крайне нечистоплотный народ; они никогда не только не моются, но даже не умываются в том убеждении, что это вредно и приносит несчастье. Пища теленгутов состоит исключительно из молока во всех его видах. Ячменная молочная жидкая каша — их ежедневное любимое блюдо. Конина — любимое мясо, употребляемое ими в пищу. Все они курят, как мужчины, так и женщины. Некоторые из них сами сеют табак, другие покупают от русских,

так как жители Бийского и Кузнецкого округов занимаются производством табака; многие покупают его от китайцев. От последних они исключительно приобретают и трубки. Женщины у теленгутов исполняют все домашние работы: доят коров и коз, варят обед, шьют бельё и платье. Мужчины же только едят, пьют, курят и спят. Надзор за скотом у них не требует особенного труда: конокрадства не существует между ними, и скот, благодаря мелким снегам, всегда находится на подножном корме. Единственное ремесло, знакомое теленгутам, — это кузнечное, да и тем занимаются немногие из них. Все теленгуты, как мужчины, так и женщины, превосходные наездники; их привычные лошади смело скачут по таким узким и скользким тропинкам на скалах, висящих над пропастями, что при взгляде на них европейские путешественники приходят в ужас и решаются ехать по ним не иначе как привязанными к лошадям, во избежание головокружения и падения в пропасть; теленгуты же не только не правят лошадьми и не держатся за повод, а даже, сидя на них, дремлют или спят. Они также отличные стрелки, не теряющие ни одного выстрела даром. Свои меткие ружья они обдeldывают сами, покупая старые солдатские, отбивая от них казённую часть и приделывая к ним фитили. Зимой мужчины отправляются обыкновенно на звериный промысел, и каждый охотник убивает в день не менее сорока белок. Соболей и сурков они выслеживают с собаками на их норах. Опутав поверхность норы сетью, они выкуривают этих животных из нор, и потом, когда те запутываются в сеть при выходе из норы, бьют их палками. Кроме того, они бьют зимою медведя и козуль, а весной маралов, рога которых особенно дорого ценятся в торговле.

Мало различия сравнительно с жизнью теленгутов встречается и в жизни черневых татар. В тех же юртах, покрытых берестой или войлоком или выстроенных из брёвен, они укрываются от осенних непогод и зимних вьюг. Одежда их также в большинстве случаев ничем не отличается от одежды теленгутов; только в последнее время черневые татары, имеющие частые сношения с русскими, стали одеваться так же, как и русские крестьяне, а некоторые в сюртуки, пальто и пиджаки. Пищу черневых татар составляет также молоко, поджаренный ячмень, каша и пшеничные лепёшки, выпекаемые в золе. Черневые татары готовят ещё из кобыльего молока кумыс, но не пьют его, а гонят из него водку, «сайрак». Пьянство — самый злейший порок, разъедающий последнее благосостояние черневых татар. Многие из них занимаются уже земледелием и сеют главным образом ячмень; но земледелие их слабо: в расщелинах утёсов и в ложбинах, где только есть земля, они вскапывают её мо-

тыгой и бросают во вскопанные места зерно. Скотоводство их также бедно. Главное занятие их — звероловство, и для того, чтобы не стеснять при охоте друг друга и иметь более пространства для этого промысла, они не скучиваются в большие селения. Две-три юрты, принадлежащие членам одного семейства, составляют «аил». Если же несколько таких аилов стоят вблизи друг друга, то подобное селение называется «улус». Одно из прибыльных занятий черневых татар составляет отыскивание в лесу мёда и воска одичавших пчёл, которых они называют «чел». У крестьян Бийского и Кузнецкого округов Томской губернии пчеловодство составляет один из благодарных промыслов, и часто случается, что пчёлы весною, во время роения, улетают в леса, покрывающие горы Алтая, дичают там и накапливают в дуплах деревьев нередко по несколько десятков пудов мёду и воску. Найдя мёд и воск диких пчёл, татары продают их за баснословно дешёвые цены купцам и крестьянам. Ниже мы увидим, к каким иногда хитростям прибегают крестьяне для того, чтобы обмануть этих добродушных детей лесов и гор и бесплатно отобрать у них найденную ими добычу. Вследствие недостаточно развитого хлебопашества черневые татары, как и теленгуты, постоянно нуждаются в хлебе, и случаи голодной смерти среди них встречаются постоянно даже в самые урожайные на хлеб годы; поэтому вопиющая нужда их в хлебе и служит постоянным источником эксплуатации. За неимением хлеба татары заготавливают и употребляют в пищу корни растения, называемого «кандык» (*Egytronium dens conis*); корень этот они сушат и нанизывают на нитку. Корень кандыка белого цвета, не более вершка длины, и сваренный в молоке имеет весьма приятный, сладкий вкус. Из этого же корня татары готовят и опьяняющий напиток «абыртку». Некоторые из черневых татар и сами занимаются пчеловодством, и оно могло бы спасти их от вопиющей нужды при выгодном сбыте продуктов, но купцы и богатые крестьяне, пользуясь их страстью к вину, спаивают их и покупают за бутылку кабачной водки не только ульи пчёл, но и лошадь. До чего велика страсть черневых татар к вину, может характеризовать следующее явление: услышав, что у кого-нибудь из татар есть водка или даже абыртка из кандыка, татары семьями, с жёнами и детьми, едут верхами по самым дурным дорогам за 80, за 100 вёрст к жилью подобного счастливица; нередко везут с собою муку для приготовления артельной водки, и пьянствуют до тех пор, пока остаётся хоть капля вина.

Не менее средств к жизни могли бы давать черневым татарам богатые кедровые леса, где одно дерево даёт иногда до

тридцати фунтов ореха. Но промысел этот служит одной из причин не обогащения их, как бы следовало ожидать, а обеднения. Купцы, захватив его в свои руки, задают татарам в кредит товар, с условием на каждый рубль ассигнациями доставить пуд ореха; в случае же неурожая ореха за каждый не доставленный по условию пуд ореха татары обязаны платить деньгами или ценными шкурками 2 рубля серебром.

Черневые татары, так же как и теленгуты, разделяются на племена или роды, находящиеся под управлением башлыков, звание которых, как и зайсанов, наследственно, но должно быть утверждено избранием народа и начальством. Официально черневые татары делятся на волости, и при башлыках находятся волостные писаря, которые ведут делопроизводство. Башлыки собирают со своих волостей ясак и сдают его в казну; они исполняют все административные требования начальства и разбирают дела и тяжбы своих родов. Собственно оседлых татар, обитающих частью в Кузнецкой степи, частью в долинах Алтая, считается 14 893 души обоюбого пола. Оседлые инородцы большею частью крещены. Живут они иногда большими деревнями, в домах, устройство которых такое же, как и у русских крестьян, занимаются хлебопашеством. И хозяйство, и хлебопашество у многих из них чрезвычайно обширно, что может служить несомненным доказательством способности этих племён и к культуре, и к развитию между ними прочного благосостояния. Если бы были употреблены зависящие меры к ограждению их от эксплуатации со всеми её развращающими влияниями, к каким бессовестно прибегают купцы для извлечения своих выгод, то можно было бы спасти эти племена от вымирания, которое замечается теперь среди них в страшных размерах. Благоразумные меры повлекли бы за собой даже умножение этих племён в будущем. В русских деревнях и сёлах Кузнецкого округа часто встречается половина населения из инородцев. В ведении хлебопашества и хозяйства они ничем не разнятся от русских; дома их, особенно у зажиточных инородцев, обставлены хорошою мебелью, встречаются даже зеркала, и они отличаются чистотой и опрятностью. С крестьянами инородцы живут не только дружно, но большинство их через браки вошло с русскими в тесные родственные отношения. Платя ясак, инородцы в то же время отбывают наравне с крестьянами все их общественные повинности. Некоторые из инородцев до того обрусели, что давно забыли свой язык и обычаи, и нередко встречаются среди них экземпляры с русыми волосами, русой окладистой бородой и голубыми добродушными глазами. Крестьяне, на мнение которых в этом случае можно вполне положиться, отзываются о нравственных качествах

инородцев в крайне лестных чертах. Среди этих племён не замечается свойственной азиатским народам хитрости и коварства. Напротив, отличительное качество их, по общим отзывам, — крайнее добродушие и доверчивость. Они необыкновенно честны. Инородец десятки лет твёрдо помнит какой-нибудь копеечный долг и при первой возможности возвращает его кредитору, который нередко давно забыл о нём. Умирая с голоду, они и тут не прибегают к воровству. Жители улуса, уходя на поля, оставляют двери домов незапертыми, и не бывает примера, чтобы из дома пропало что-нибудь, хотя на стенах в домах висят шкурки ценных животных, иногда на десятки рублей, поставцы наполнены медной посудой, а чуланы платьем. Я сам был очевидцем подобного явления, приехав однажды в полдень, в рабочую пору, в довольно обширный улус, где единственным представителем населения его оказалась большая десятилетняя девочка, совсем почти не говорившая по-русски. С ямщиком-инородцем я обошёл все дома и, остановившись в одном из них, вместе с ним согрел самовар и напился чаю. Вечером хозяин дома, возвратившись с поля, встретил меня крайне радушно, и всё твердил: «...уж не сердись, батюшка, что никого не было в избе; спасибо, что сам похозяйничал... право, спасибо тебе... молодец!».

Полового разврата не существует между ними. Если мужчина соблазнил девушку и почему-либо отказывается жениться ней, то жители всего улуса, собравшись толпой, начинают бить соблазнителя, и бьют его до тех пор, пока он не повинится и не даст слова загладить свой поступок. Племена эти отличаются ещё одною крайне замечательною нравственною чертою, подмеченной как среди кочевых, так и оседлых инородцев. У них бедняки всегда живут на счёт своих богатых собратий. Нередко весь улус в годину бедствия безвозмездно прокармливается зажиточным сочленом, и это несколько не ставится ему в заслугу и ничем не обязывает в отношении к нему других. «Тебе дал бог, и ты должен разделить божий дар со всеми!» — вот мотив, из которого вытекает это явление.

Конечно, и среди инородцев, особенно обруселых, встречаются печальные исключения; но эти исключения пока ещё весьма незначительны и при других, более благоприятных условиях быстро исчезнут. Появление их можно объяснить дурным примером, какой подают купцы и зажиточные крестьяне. Многие из обруселых инородцев наживают теперь крупные капиталы, эксплуатируя не хуже купцов племена теленгутов и черневых татар. Ябедничество также играет у инородцев важную роль, и, смело можно сказать, оно привито

к ним русским чиновничеством, поощрявшим в них этот порок из корыстных видов. В пример того, как чиновничество извращало и эксплуатировало самые прекрасные бытовые черты инородцев — радушие и гостеприимство, — я приведу следующий случай, бывший со мной. Приехав однажды по делам службы, в первый раз, в Туштулепский улус, я остановился у инородца, судя по обстановке комнаты, весьма зажиточного. Едва внесли мои вещи в комнаты, ко мне вошёл хозяин с подносом в руках. На подносе лежала десятирублёвая ассигнация, и на ней стояла рюмка с каким-то красным вином. Я спросил у него, для чего рюмка поставлена на ассигнацию.

— А это тебе, батюшка. Прими её от меня в подарок за честь!.. — ответил он, кланяясь.

— За какую же честь?..

— За то, что ты пристал ко мне, посетил меня, не обошёл меня своей честью, — ответил он.

Когда я отказался принять подарок «за честь», он с удивлением, робко посмотрел на меня и спросил, за что я сержусь на него. По всей вероятности, в уме его промелькнула мысль, что он мало предложил и тем оскорбил меня. Я ответил ему, что мне сердиться на него не за что, так как я первый раз ещё вижу его; подарка же не принимаю потому, что считаю позорным делом брать какие бы ни было подарки, и посещение моё вовсе не приносит для него такой чести, за которую бы следовало так дорого расплачиваться.

— Ой... ой... ой... — качая головой, произнёс он, выслушав меня. — Не хорошо ты делаешь, не хорошо!..

— Почему не хорошо? — спросил я, заинтересованный его укоризненным тоном.

— От чести моей отказываешься!.. Честь мою обходишь! Чести моей никто не обходил, — серьёзно-обиженным тоном произнёс он и перечислил мне при этом поимённо длинный ряд моих предшественников и других чиновников, иереев и даже протоиереев, которые не обходили его чести. — Они бы осердились, брат, шибко бы осердились, если б я им чести не поднёс! — заключил он, задумчиво покачивая головой.

Из разговоров с ним я узнал следующий обычай, с незапамятных времен введённый среди них чиновниками. Едва приедет чиновник в улус и остановится на квартире, как хозяин обязан поднести ему рюмку с приложением к ней кредитной «чести». Выпив рюмку и положив поднесённую «честь» в карман, чиновник шёл в соседний дом, где снова выпивал поднесённую ему рюмку и опускал в карман «честь». Таким родом он обходил весь улус, и даже нищий инородец занимал на этот случай два-три рубля и подносил приходившему к нему чиновнику.

Только честные и разумные отношения к инородцам администрации, внимание к их нуждам, беспристрастное ограждение их интересов от развращающих влияний эксплуататоров, а главное — развитие среди них грамотности и доступ в Алтай свободной крестьянской колонизации, трудолюбивая жизнь которой будет служить для них благотворным примером, как это мы видим на оседлых инородцах, живущих в среде крестьян, могут улучшить их быт и положение. В противном случае, повторю ещё раз, они будут постепенно вымирать и вымирать от голода, как неизбежного последствия наглых обманов и грабежа, скрывающихся под именем «торговли».

* * *

Предсказание Никиты Васильевича сбылось. На другой день, едва я проснулся и открыл окно, выходящее на площадку, заросшую травой, на которой мирно паслось стадо, до слуха моего донеслись крики и громкий говор. Выглянув в окно, чтобы узнать причину их, я увидел несколько человек крестьян и инородцев, сидевших на толстом бревне, которое лежало у плетня, обносившего огород. Последних нетрудно было отличить по их смуглым лицам, чёрным, как смоль, волосам и узеньким глазам, а главное — по жиденьким усам и бородам; десяток-два коротеньких чёрных волосков на подбородке теленгута или татарина из племени Ииш-кижи скорее служат только намёком на украшение, которым природа, щедро оделив людей других рас, почему-то признала нужным лишить теленгута и черного татарина.

Подав чайный прибор и самовар, Никита Васильевич тотчас же сообщил, что меня давно ожидают просители, съехавшиеся чуть не до рассвета из различных деревень и улусов. Не желая терять времени, я велел позвать к себе Митрофана Сысоева и Абыша, который, как оказалось, явился в улус ранее посланного за ним гонца. Развязно войдя в комнату, Митрофан Сысоев усердно помолился на икону, висевшую в переднем углу, и поклонился мне, проговорив: «Ночевали здорово!.. С дорожки-то, поди, батюшко, сладко поспалось, а? — улыбаясь, спросил он. — По нашим-то горкам как поездишь, так так-то ли сладко укачает тебя, што рад до места!.. Обидчик-то мой сам, слышь, пришёл и гонца не ждал!» — объявил он, указав на Абыша, низенького, тщедушного человека, который только что переступил порог, как молча, униженно, начал кланяться мне, силясь изобразить при этом на лице своём приветливую улыбку. Но улыбка эта никак не выходила на его толстых, почти тёмно-вишнёвых губах. Смуглое лицо его было изрезано морщина-

ми; узенькие карие глаза слезились; чёрные, густые волосы, подстриженные в скобку, совершенно закрывали лоб и почти сливались с чёрными, густыми бровями. На нём был надет серого сукна зипун, весь в прорехах; холщовые грязные штаны были запущены за голенища сапогов, подошвы у которых подпоролось и хлябали. Опоясан он был тонким чёрным ремешком, симметрично усаженным оловянными пуговками; такими же оловянными пуговками был усеян и кожаный полукруглый мешок, прикреплённый к ремню с правой стороны. Из мешка выглядывал тоненький медный чубук от трубки.

— Как тебя зовут? — спросил я, когда Абыш, продолжая кланяться, подошёл ближе и стал рядом с Митрофаном Сысоевым, презрительно поглядывавшим на него.

— Абыш Салмакыч! — ответил он, кланяясь почти всем корпусом.

— Это отца твоего звали Салмаком, или это твоё родовое прозвище? — спросил я.

— Ну.. ну.. Салмак, Салмак звался отец, Салмак был!.. Я из-под Миколы башлыка... может, знаешь... Миколай Кульчуганыч башлык... Я из-под него!.. — объяснил он.

— Он хочет объяснить вам, сударь, — вмешался Никита Васильевич, стоящий у дверного косяка, — что он состоит под ведением башлыка Кондомо-Елейской волости Николая Кульчуганова.

— Ну.. ну.. ну.. так, так! — пояснил Абыш. — Николая Кульчуганова!..

— Ты знаешь этого крестьянина? — спросил я Абыша, указав ему на Митрофана Сысоева.

— Знаю... знаю... дружбу ведём! — ответил он.

— Ну, так этот друг-то твой, Абыш Салмакыч, жалуется на тебя, что ты взял у него 4 пудовки хлеба, обещал ему за это в жнитво четыре дня отработать и не являешься к нему на работу...

— Пошто жаловаться... пошто? — начал Абыш, обратившись к Сысоеву и укоризненно качая головой. — У тебя Бог и у меня Бог, Бог всё видит.. пошто напрасно жаловаться? — снова спросил он.

— Не по головке ли вашего брата гладить велишь, а? — насмешливо глядя на него, спросил Сысоев.

— Пошто, Митрофан, по головке гладить?.. Коли ты хорошо сделаешь... по головке Бог будет гладить; и бить по головке Бог будет, коли худо сделаешь!.. Ты как меня обидел-то, а? Э...э... Митрофан, Митрофан... худо это, Митрофан... — говорил он, укоризненно качая головой. — Пошто я не шёл жаловаться, что ты меня обидел, а?.. Пошто?.. А ты меня обидел, што

я плакал, как баба, плакал, сарынь* вся плакал... все плакал!.. Вот как ты обидел меня... — горячо говорил Абыш.

— Эх... и лопотню-то твою не слушал бы, — произнёс Сысоев, презрительно отвернувшись от него и сплюнув на сторону.

— Чем же он обидел тебя? — спросил я Абыша.

— Коня у меня увёл, своими руками увёл... нешто не обида!..

— Зачем же он коня у тебя увёл, а?..

— Спроси его... живой стоит!.. — ответил Абыш, указав на Сысоева.

— Увёл! — произнес неожиданно Сысоев, весь вспыхнув. — Увёл!.. И дурак вот, што отдал тебе обратно его... право, дурак. Бить вот, говорю, надо нашего брата за сердоболье-то к вам! Не слушай ты его, ваша милость... мало ли чего он тебе с глупого-то разума наплетёт, только время волочит, а мне бы вот бежать надоть по дому теперь, дела-то не оберёшься...

Никита Васильевич при последних словах его усмехнулся и откашлялся в руку.

— Ты уводил у него лошадь? — спросил я Сысоева.

— Брал, брал... уводил... Да вот, говорю... сдуру-то...

— С его позволения уводил? — прервал я.

— Пошто... с моего позволения... слушай... — загорячился Абыш. — В Чернь я бегал... Ну... прибёг домой, гляжу: баба плачет... голосом плачет... сарынь вся плачет... Пошто, говорю, ты, баба, плачешь?.. Обхватила баба руками голову, говорит: «Абыш Салмакыч, Митрофан, говорит, был... ругал, ругал... меня ругал... тебя ругал... да пошёл, говорит, отвязал нашего коня и увёл!» — «Пошто, говорю, он коня увёл?..» — «Не знаю!..» Бе-е-да... Схватил я свою голову руками... ну плакать!.. Всего один конь у меня, и того увёл... Плакал, плакал... Побежал к нему в деревню... бегом бежал... Прибежал... Пошто, говорю, ты, Митрофан, коня увёл? Отдай коня!.. Не дам, говорит... Пошто не дашь?.. Когда, говорит, отробишь муку мне, тогда, говорит, отдам тебе коня... Вот ведь как он разорил меня... Скажи, Митрофан, разорил ты меня? — спросил он, обратившись к Сысоеву.

— О-ох, господи... за грехи только с нечистью... путать меня!.. — произнёс Сысоев, глубоко вздохнув и набожно взглянув на икону.

— Правда это, что он говорит? — спросил я Сысоева.

— Уводил... не потаюсь!.. — ответил он.

* Крестьяне в Кузнецком и Бийском округах Томской губернии называют детей до десятилетнего возраста «сарынь». Иностранцы также переняли от них это название. — *Прим. автора.*

— Зачем же ты уводил?..

— Хе... зачем? — усмехнувшись, повторил Сысоев, проведя рукою по бороде и усам. — Да вот и говорю, милостивец, што бить бы нашего брата надоть, выволочку-то такую бы задать, штоб до могилки памятна была; вот и были бы умней, и сами-то в спокое бы жили... и начальство-то не утруждали бы просьбами... в грехи-то наши не путали!..

— Ты объясни мне: для чего ты без его позволения коня у него увёл? — снова спросил я, прерывая поток его красноречия.

— Хе... нешто разбой какой сделал я?.. — спросил он.

— Да! Для чего ты увёл?

— Коня я увёл у него, братец ты мой, вот для какой причины, — ответил он, немного подумав, — ведь взять теперича у него в случае неустойки, окромя коня, нечего. В избе-то у него, окромя бабы да сарыни... пустёхонько... то ись берёзового голика не найдёшь... Из одной чашки, как собаки, прости господи, лакают!.. Ну, и увёл у него коня... Чего с него взять?! Вот он весь тут: чего на нём, то и при нём...

— Ты всё-таки не объяснил мне: для чего ты увёл у него лошадь? — настойчиво спросил я.

— А так полагая, милостивец, в своём-то уме-разуме: возьму, мол, у него коня да и придержу у себя, тогда уж он беспременно придёт и отработает долг, а когда отработает сполна долг, тогда и коня ему отдам!.. Да вишь вот, сердоболье-то заело... не надоть бы и отдавать.

— Нешто ты коня мне отдал? — спросил его Абыш.

— А кто ж?.. — не глядя на него, спросил Сысоев.

— Пошто, Митрофан, ты врёшь?!.. А?.. Пошто ты врёшь?.. Погляди ты на своего бога, а!.. Вон он, старичок-то Микола ваш! — говорил Абыш, указывая пальцем на икону Николая чудотворца, висевшую в переднем углу. — Он добрый старичок... добрый... кабы он не добрый был, давно бы тебя пришиб... Ваш бог не наш шайтан... Наш бы шайтан э... э... давно бы кончал тебя...

Никита Васильевич засмеялся и, по обыкновению, закашлял в руку, глядя на комичную фигуру Абыша, с жаром объяснявшего неправду.

— Уйми его, пушай не врёт! — с поклоном обратился ко мне Абыш. — Плакал я, в ноги кланялся: «Отдай мне, Митрофан, коня... я тебе и так отработаю хлеб. Пушай, говорю, и твой бог Микола, и мой Шайтан... кончают меня, и бабу кончают, и сарынь всю кончают, коли не отработаю тебе хлеб. Бедный я... у меня всего один конь, куда я без коня, бе-е-да!». Не отдал!.. Пошёл к его старосте Василью, тому в ноги поклонился: «Вели Митрофану коня мне отдать». Пошёл староста Василий к

нему, мужик ихний пошёл... много их мужика пошло... «Отдай, говорят, Митрофан, коня Абышке... грешно, говорят, зорить его». Шибко его корил их мужик... Не отдавал!.. Василья-то, старосту, за ворот брал... Грех такой был, бе-е-еда!..

— За ворот брал... хе... возьми-ко! — смеясь, произнёс, не глядя на него, Митрофан. — Зады... нешто не писаны...

— Брал! — крикнул Абыш. — Пошто ты врёшь, Митрофан? Староста Василий живой человек... сам скажет: брал!.. Староста Василий и коня у тебя отобрал и отдал мне... Пошто ты врёшь!.. Ой... ой... худо энто, Митрофан, — закончил Абыш, качая головой.

— Скоро начнётся у тебя жнитво? — спросил я Сысоева.

— Гляди... за недельку-то и приниматься надоть...

— А что стоит у вас пудовка ржаного хлеба? — спросил я его.

— Глядя по хлебу и цена, милостивец, — ответил Митрофан. — Каков хлеб... Хороший хлеб продаём и тридцать пять, и сорок копеек пудовку...

— Митрофан Артемьич... когда же у нас хлеб-то был в этой цене? — прервал его Никита Васильевич.

— Случалось, милый... што ты...

— Я девять лет живу здесь, не слышал о такой цене!

— Оно чего говорить... точно... за последни-то года Господь взыскал урожаем... Оглянулся, говорю, на нас творец-то небесный. Послал хлебец в цене-то, — говорил он каким-то особенно мягким голосом, избегая взглядов Никиты Васильевича.

— Почём же ты ценишь пудовку того хлеба, что дал Абышу? — снова спросил я Сысоева.

— Как ты его, милостивец, на цену-то будешь класть?.. Мы все под работу даём, — ответил он.

— Ну, если б ты продал его, то сколько бы взял за пудовку?

— Да што, сударь... пустой это разговор!.. Цену мы кладём... глядя то же, кто покупает! — снова уклончиво ответил он.

Я распорядился, чтобы все крестьяне и инородцы, имевшие до меня дело, вошли в комнату. Минуту спустя они один за другим входили в дверь. Крестьяне и крещёные инородцы, войдя в комнату, прежде всего крестились, и потом уже кланялись мне, приветствуя: «Доброе здоровье твоей милости!» или «Ночевал здорово, батюшка!» и т. п. Некрещёные же инородцы, входя, только кланялись и старались стать в стороне, поодаль от других.

— Скажите-ка вы мне по правде, — обратился я к крестьянам, — почём продавали вы в прошлую зиму пудовку ржаной муки?..

При этом вопросе крестьяне и инородцы молча переглянулись между собою.

— Ржаной-то муки пудовку почём продавали? — повторил один из крестьян, седой уже старик, в больших серых глазах которого отражались и добродушие, и искренность, внушавшие к нему невольное почтение и доверие. — Да почём продавали-то? — повторил он, поглядев вокруг себя: — десять-то копеек красная цена была.

— Де-е-есять, — повторил Сысоев, искоса посмотрев на него.

— Ай дороже, скажешь, а? — спросил у него старик. — Да я первой двадцать три пудовки по десяти копеек продал тому... вон... как он ужо... дай бог память... ну-у... вытряхнуло из ума-то, — говорил он, почёсывая затылок, — Филоху... Моркелычу... вспомнил... Приказчик он из Бийска...

— И путную цену взял... А то и по девяти сбывали! — пронеслось в толпе.

— Путную... И я-то говорю... дороже десяти цены не слыхивали... — ответил старик.

— У нас на хлебце-то, сударь, не расторгнешься, — бойко произнёс молодой парень, — дё-ё-ёшев... ешь на здоровье... В урожай-то когда... не хошь ли, по шести копеек пудовку.

— И отдашь!..

— Гноить не будешь... особливо, как подушна-то подкатит.

— А много ли вы платили в жнитво подёнщику? — спросил я, прерывая поднявшийся между ними говор.

— Не случилось нам, кормилец, нанимать-то, — ответил старик. — Сами мы этим делом орудуем... Это вот богатый кто... што сеет-то помногу... ну, тот о работнике-то плачется... в ину пору...

— Уж мене-то семи рублёв за денёк не наймёшь... Да и всё удовольствие ещё предоставишь! — ответил тот же парень.

— Глядя по году плата-то, сударь... В ино время, как хлебо-то поспеет... да начнёт осыпаться... так и восемь дашь, и восемь с полтинкой, и то не всякий-то бросится...

— Семь рублёв без обиды давай, — ответил парень.

— Семь рублёв... на полном твоём удовольствии... штобы, значит... и горячее, и угощение... пожалуй, што обиды не будет... — ответил старик. — Уж путный хозяин, известно... обиды не положит работнику... удовольствует его... Ему ж веселей глядеть, как богоданные-то снопики... расти почнут...

Всё время, пока шёл разговор между мною и крестьянами, Сысоев улыбался, поглаживая усы и бороду, и искоса, пытли-во поглядывал на меня. Абыш же стоял неподвижно и совершенно безучастно слушал, о чём около него говорят.

— Слушай, Абыш, — начал я, обратившись к нему, — ты брал у Митрофана Сысоева четыре пудовки с обязательством отработать ему этот хлеб, придёт жнитво, четыре дня...

— Отроблю, батюшка... И... и пошто он только жаловался... бог его... Микола... знает...

— Для того же, чтоб это дело было вернее, я дам башлыку твоему предписание... чтоб он выслал тебя в Атаманову, когда подойдёт рабочая пора...

— Не пиши... сам приду!..

— Спасибо тебе, милостивец! — произнёс обрадованный Сысоев, кланяясь. — Дай тебе господи... за твою правду... Я уже сам гумашку-то свезу... Миколаю Кульчуганычу... Оно верней будет дело-то.

— Хорошо, отвези! — ответил я.

— Сегодня же сбегая... по твоей-то гумаге... Миколай-то его повернё-ёт...

— Ну, затем ты, Сысоев, слушай! — прервал я.

— Говори, милостивец... Слышу... слышу... Дай тебе господи...

— Пудовка муки стоит десять копеек...

— Десять?.. Да пошто же десять-то? — удивлённо прервал он.

— Сколько же, по твоему, стоит она?

— Уж бёдко-бёдко двадцать-то копеек положить за неё надоть... Я... на обчество сошлюсь... Пусть обчество под присягой покажет, каков у меня хлеб-то: ядрёный, крупный, зерно к зерну... не чета, как у других! — говорил он, не обращая внимания на смех и шёпот окружающих.

— Ну... хорошо... пусть будет двадцать копеек, — ответил я. — Так слушай же: за те четыре дня, которые Абыш отработает у тебя, ты должен заплатить ему по семи рублей в сутки...

— Заплати-и-ить!? — удивлённо протянул он.

— Да, заплатить двадцать восемь рублей; а за вычетом восьмидесяти копеек, что стоят четыре пудовки хлеба, ты отдашь ему на руки двадцать семь рублей двадцать копеек... Понял?

— Как не понять, понял, — произнёс он.

— Для того же, чтоб ты не обманул его, а рассчитал как следует, я предпишу волостному старшине наблюсти за тобой и, в случае твоего упорства, взыскать с тебя эти деньги узаконенным порядком...

— Это ты по-каковски же меня рассудил? — спросил Сысоев, отставив левую ногу и заткнув пальцы обеих рук за кушак. — Это ты за што же зоришь-то меня, а?.. Не-е-ет... ваше благородие, у нас этак-то не судят, не погневи... Мы за энту обиду и до превысшей власти дойдём!.. Я же ему, теперича,

хлеб давал, может, от смертного часу его спас... за то, штоб он отробил мне энтот хлеб... да я же и плати ему за работу? Не-е-ет, этак-то милосердствовать, ваше благородье, не доводится... Уж денег ему от меня не выдать... не погневи!..

— Что же, ты не заплатишь ему?..

— И ни в жизнь... Это штоб лиходеем себе быть... да избави господи!..

— Есть у тебя, Абыш, 80 копеек, штоб отдать ему?

— Нет... Весь вот тут, бачка! — тоскливо ответил он, разведя руками.

— Это можно из волостных сумм, сударь, выдать, а потом, при взимании ясака, получить с него! — вмешался Никита Васильевич.

— Ну, Сысоев, ты получишь 80 копеек, и более не имеешь права требовать, штоб Абыш работал на тебя. А ты, Абыш, не являйся к нему на работу, твой долг уплатят!..

Абыш вышел из комнаты, продолжая кланяться даже и за порогом. На исхудалом лице его выражалась радость, в глазах искрились слёзы... И долго ещё со двора мне слышался голос Сысоева: «Не-ет... с этаким судом долго не проживё-ё-ёшь!.. Пуцать тоже по миру нашего брата не доводится... Мы и до губернатора дорогу найдём... мы, коли што, и самолично...».

— И ндравный же мужик!.. — пронеслось среди усмехнувшихся крестьян.

— Обсуди, батюшка, теперича моё дело, коли время-то терпит тебе... Уж очень бы в обиде-то нам не хотелось оставаться, — заговорил, выдвигаясь из толпы, пожилой крестьянин, одетый весьма бедно: в смурый зипун с холщовыми заплатами на рукавах и груди. Широкое лицо его, обрамлённое окладистою бородой, в которой пробивалась уже густая седина, имело весьма степенный вид: серые глаза смотрели наблюдательно из-под густых русых бровей, и когда он говорил, то исподлобья оглядывал слушателя, как бы поверяя впечатление, производимое его словами. — Пасеку я держу, пчёлками кормлюсь, — продолжал он. — И редкий год, батюшка, выдастся, чтобы пчёлы у меня в Чернь не слетали... Уж как начнут роиться по весне... так караулю их... во все-то глаза гляжу... нет, всё роя два-три, а то, пособи Бог, и боле... улетят в Чернь... В ину пору выследишь их, где они оснуются, а в ино время и следа ихнего не найдёшь... В прошлую весну два роя слетели... ну, нашёл их в валежне, никак, пудов до семи медку-то в дупло... в дерево наносили. И ныне роёк слетел, также я выследил его и местечко заприметил, где он основался. Крутень... горка этакая есть; в Крутени в дупло также натаскали мёду. Всё караулил: придёт, мол, пора, выну мёд и воск. А прихожу ноне вырезывать, гляжу: уж всё пусто, всё

вычищено. Сначала-то, было, в ум мне впало, что медведь позорил. Ну, опосля того всё-таки начал татар спрашивать. Татары-то и сказали мне, что в Крутени-то Кимык, говорит, нашёл мед... никак, пудов пять будет. Я к Кимыку кинулся... спрашиваю его: нашёл мёд в Крутени? Нашёл, говорит!.. Это, говорю, мой мёд... потому, говорю, моя пчела отлетела, я всё лето сторожил его — отдай мне этот мёд... У тебя, говорит, везде твои пчёлы летают; кто бы где ни нашёл, всё твой мёд... Так и не отдаёт. Принудь его, батюшка, отдать мне моё добро! — закончил он, поклонившись.

— А где же этот Кимык? — спросил я.

— Здесь!.. Где? Он вышел, никак? — спросил он, оглянувшись.

— Кимык... подь сюда! — крикнул Никита Васильевич, отворив дверь.

В комнату вошёл высокий, худощавый, но сильного сложения инородец. Смуглое лицо его не носило того отпечатка униженности и покорности, какое выражалось в лице Абыша; оно было смело и энергично. Поклонившись мне, он расставил ноги и, заткнув пальцы рук за ремённый пояс, так же усаженный оловянными пуговицами, как у Абыша, спросил:

— Чего изволишь от меня? Я Кимык!

— Ты нашёл мёд? — спросил я.

— Нашёл...

— Вот этот крестьянин, — начал я, указав ему на просителя, — говорит, что этот мёд наношен его пчёлами, отлетевшими весною в Чернь, и просит, чтоб ты возвратил ему этот мёд.

— Уж ты, Максим Назарыч, моего мёду не отведашь! — с иронией произнёс Кимык, обратившись к просителю... — Охоч ты до дарового-то медку... да вишь... я-то не прост, не Намжилка... меня не одурачишь... Не отдам я ему мёд, ваше благородье, — произнёс он, обратившись ко мне. — У него и своего много... Мой мёд не его пчела носила...

— А чья же? Ты знаешь разве? — спросил я.

— Божья...

— Хе... божья! — повторил, усмехнувшись, Максим Назарыч. — Ты вникни, Кимык Балтаныч, в дело, а зря-то не говори. Это мои... пчёлы... носили, мой роёк!..

— Твои!.. Ты метил их, а? — спросил Кимык.

— Чудак!.. Как же ты на божью тварь метку положишь... а-а? В уме ли ты?..

— Почём же ты знашь, коли так, что это твои пчёлы?

— Ведь... я, поди, бежал за ройком-то... видел, где он основался...

— Бежа-а-ал! — протянул Кимык. — А что-ж ты не поймал его, а?.. Пошто другие-то пасечники, коли следят за роем да

наметят, куда присядет матка... так сейчас сгребают её в сеть? А ты, вишь, какой простенькой, и шевелить её не стал... пустил в Чернь гулять... ой... ой!.. Нет, если б ты свою-то пчелу увидел... так полсотни вёрст пробежал бы за ней, да дни и ночи над ней бы сиднем сидел, а не пустил бы без призору по Черни гулять... Знаю я тебя!.. Его пчела, вишь, носила в Крутени мёд! — произнёс он, обратившись к окружающим. — Пошто ты, коли знал, что это твоя пчела, — не сидел над ней, не караулил её?

— Не разорваться же мне ради одного ройка... У меня, Кимык Балтаных, пятьсот колодок пчёл-то, есть за чем присмотреть... знай!

— Чем же ты докажешь, что найденный Кимыком мёд действительно наношен твоими пчёлами? — спросил я.

— Чем тут докажешь! — ответил он. — Энти дела у нас по совести делаются... Одно и скажу, что окромя моей пчелы какой же другой наносить, коли я доподлинно знаю, что мой роёк в Крутень слетел да основался...

— Скажи мне, пожалуйста, зачем ты, если выследил, что твой рой пчёл слетел в Крутень и, как говоришь, основался там, не предупредил об этом в то же время живущих поблизости к этой местности татар... не заявил башлыку их и своему старосте, что твои пчёлы в Крутени? Тогда бы у тебя были доказательства, что найденный в этой местности мёд действительно наношен твоими пчёлами и принадлежит тебе. Отчего ты не сделал этого?..

— Вишь вот грех-то!.. И в ум не впало... объявить-то! — смешавшись, ответил он.

— Не впало бы тебе в ум?! — насмешливо произнёс Кимык. — Ох, Максим... не лукавь... не вводи в сердце...

— О-о... какой строгий!.. Не вводи его в сердце! — жёлчно ответил Максим. — А ты не забывайся... перед ликом-то начальника, его высокоблагородия, — строго произнёс он. — Глупый... опамятуйся!..

— У Намжилки в прошлом году ты свой мёд отобрал? — спросил его Кимык.

— Свой.

— Сво-о-ой!.. Хошь, я тебя обнаружу, а?..

— Обнаружу!.. — повторил, усмехнувшись, Максим. — Чего ты обнаружишь-то... а?.. Чего ты стращаешь... а?.. Обнаружу, говорит, — повторил он, обведя окружающих смеющимся взглядом. — А чего обнаружишь, и сам не знаешь... Чудак, право... Глупый, говорю, человек!.. О-обнаружу!..

— Я... Максим, смирно жил: не лез на тебя, — произнёс Кимык.

— Кто б исшо допустил тебя... на себя-то залезти... Хе... ты бы... хоть... поприличней слова-то выпускал пред начальни-

ком, — снова строго-внушительным тоном заговорил он. — А то ещё стращашь... Обнару-жу!.. Ну, что ж замолчал? Обнаруживай!..

— Ваше благородье... Ты Максиму не верь: он плут! — горячо заговорил Кимык, на лице которого выступила краска. — Он уж который год обират по Черни мёд у татар... Верь... это вот какой плут!.. Слушай... Как придёт, слышь, время... што наши татары пойдут на промысел в Чернь... мёд... искать... он и почнёт по сёлам ездить, водкой татар поить да выведывать: не нашёл ли кто из наших мёду... А те с простоты-то да спяна и сболтнут ему... што... вот хоть бы я, к примеру, Кимык, нашёл мёд. Он и приступит: где нашёл? В Крутени, скажут ему... Вот он и привяжется, што... это его пчела слетела туда да наносила мёду. Кричит: подай!.. Не правда, скажешь... а?.. — спросил он Максима.

— Болтай... болтай... послушам, чего дале-то сболтнёшь...

— Сболтну... я-то по правде сболтну...

— Ну... ну... послушам... болтало-то ведь... не привязано, хе... — насмешливо ответил Максим.

— А кто упрётся... слышь, ваше благородье, не станет ему мёд отдавать, — продолжал, всё более и более воодушевляясь, Кимык, — так он чиновниками почнёт стращать... Просьбой отдай, говорит, а то тебя в город выпишут... на следствие... в острог посадят... Глупый-то кто испугается... да и отдаст ему... только бы греха не нажить... Не правда, скажешь, Максим, а-а... Намжилку ты в прошлом году не стращал этак-то, а?

— За своё кровное если стоять, так устраивать разве, а-а?..

— Кро-о-вное!.. У тебя всё кровное... А как ты мне грозил чиновником-то... ну-ко... скажи... а?..

— А хоша б и грозил... што ж из эстого, ну? И грозил!.. Вот мы пред ликом его высокоблагородия стоим. Нешто худое чего сделал я, а-а?.. Где ж на вас, собак, суда-то искать... окромя начальства, а?.. Глупый ты человек, право, хошь бы говорил-то резон... а то мелет... мелет... О-обнаружу! А чего обнаружил-то: што чиновником вашего брата припугивал, штоб правды от вас добиться... Обнаружил... хе... — смеясь, заключил он. — Прикажете ему, ваше высокоблагородие... отдать... мне мой мёд... окажи милость...

— Нет, не прикажу, — ответил я.

— О-о... пошто же так? — удивлённо спросил он.

— Признаю твою претензию неосновательной. Представь доказательства или свидетелей, что найденный Кимыком мёд действительно наношен твоими пчёлами, и тогда я прикажу возвратить этот мёд тебе...

— Моими, батюшка, верь совести, на Бога сошлюсь, моими...

— А кто поручится, скажи мне, что через час не придёт ещё кто-нибудь... и так же скажет, что мёд в Крутени был nanoшен его пчёлами... и так же на Бога сошлётся и на совесть, кому же из вас тогда я должен буду поверить, а?..

— Ишь вот промашку-то какую дал! И то бы надоть в то время старосте объявить да башлыку... Ишь... ум-то, говорю, у нас... завсегда задней заклёпкой крепок, — говорил Максим, всхлопывая себя руками по бёдрам. — А-ах ты, горе какое, а!.. Так... уж не будет, батюшка, твоей милости ко мне? — снова спросил он.

— Нет, не будет, голубчик.

— А-ах ты, горе-то, а?.. Ну, не погневи, что потрудил тебя своей докукой... Дай тебе, Господи, за доброе слово... что надумил. Уж напредки, теперича, коли што, так уж мы свидетелей предоставим... Прости уж меня, Кимык Балтаных, што побеспокоил тебя, — говорил он, с христианским смирением кланяясь Кимыку. — Владей моим медком, кушай его на доброе здоровье.

— Съедим, Максим... съедим!..

— Кушай!.. Давай Бог... чтобы только впрок пошёл!.. А ты бы, ваше высокоблагородие... хоша бы на половинке помирил нас... Яви милость!.. — снова обратился он ко мне. — Бёдко ведь... мне... право, бёдко.

— Не могу и этого сделать... не проси!..

— Не можешь! Эко ты дело, а?.. Задаром только съездил, день потерял... Ну, прости, коли так... А на половинке-то помирить всё бы, слышь, безобидней было: по крайней мере, знал бы, што недаром съездил... Право... Яви-ко милость! — кланяясь, заключил он.

Получив отказ на своё ходатайство, Максим Назарых отошёл к дверям и долго топтался на одном месте, то почёсывая затылок, то выражая втихомолку окружающим свои сетования, что напрасно потерял время. Впоследствии я узнал, что он купил спорный мёд и воск у Кимыка за три пудовки ячменя и десять фунтов табаку. Одинаково помирились после моего разбирательства и Абыш с Митрофаном Сысоевым. Миртовая состоялась на том, что Абыш отработал Сысоеву пять дней, а Сысоев обещал снабдить его за то хлебом осенью и зимой.

Остальные крестьяне и инородцы были собраны для разбирательства дела, начавшегося по жалобе инородца Кучука Самкоева на крестьянина Ивана Степанова, который будто бы по ненависти к Самкоеву убил его лошадь. По разбирательству дела оказалось, что лошадь у Самкоева пала в поле, и он, в отмщение Степанову, бывшему однажды свидетелем по обвинению Самкоева в воровстве, нарочно ночью разрубил у мёртвой лошади топором живот, а на другой день за-

явил башлыку, что лошадь его зарублена, и башлык вошёл с рапортом по начальству о преступлении, совершённом, будто бы, Степановым.

Едва я окончил разбирательство этого дела, длившееся почти до часу и нуждавшееся ещё в оформлении его обычным следственным порядком, как к воротам подъехал на рессорных пролётках, заложённых парюю прекрасных гнедых лошадей в дышло, плотный мужчина в пуховой шляпе и в светло-коричневой, тонкого сукна, шинели. Только что послышался стук рессорного экипажа, как среди крестьян и инородцев пронёсся шёпот: «Назар Степаныч приехал!». Никита Васильевич, всё время стоявший у косяка двери, при этом известии скрылся из комнаты, а крестьяне и инородцы, толпившиеся у двери, расступились, очищая путь такой влиятельной особе. Признаюсь, я с любопытством ожидал появления этого замечательного в своём роде субъекта. После освящения построенной им церкви он задал богатый обед для приглашённых на церемонию уездных властей, напился пьян, разругал всех гостей, многих из них вытолкнул из своего дома, прибил протоиерея, святившего церковь, и выражал подозрение, что сановитые гости скрали у него серебряные ложки и другую ценную посуду... Нанесённые им оскорбления грозили принять серьёзный оборот, но дело замяли благодаря повинной, принесённой Назаром Степанычем.

Спустя минуту дверь распахнулась, и в комнату вошёл Назар Степаныч, гордо оглянув и не удостоив поклоном униженно кланявшихся ему крестьян и инородцев. Это был человек среднего роста, полный, с широким лицом, украшенным узенькими глазками, сплюснутым носом и толстыми губами. Подбородок и усы его были тщательно выбриты. Чёрные, как смоль, волосы разделены были пробором посредине головы и расчёсаны надвое. Одет он был в чёрный, длиннополый, тонкого сукна, сюртук и необыкновенно широкие брюки, закрывавшие носки лакированных, сильно скрипевших сапогов. На шее его красовалась золотая медаль на анненской ленте, по глухому жилету малинового бархата с золочёными пуговицами тянулась массивная золотая цепь от часов; коротенькие толстые пальцы были усажены золотыми перстнями и кольцами.

— Слышу, что новый начальник удостоил приехать к нам... Ну, милости просим... Дай, говорю, поеду, честь ему сделаю... Здравствовать желаю вашему благородию, — развязно-фамильярным тоном произнёс Назар Степаныч, подходя ко мне и подавая руку.

— Знаешь поди, кто я? — спросил он.

— Нет, не знаю...

— Купец второй гильдии Назар Степаныч Куртегешов! — с достоинством отрекомендовался он.

— Очень приятно. Садитесь! — пригласил я.

— Сядем, сядем! — ответил он, приподнимая сзади полы сюртука и усаживаясь на стул. — Зачем же ты, ваше благородие, ко мне не пристал, а?.. — спросил он. — У меня дом-то почище; у меня, брат, небель-то бархатом околочена... девять комнат в доме-то: было бы тебе где разгуляться... Назара, брат, все знают... все чтят, все к нему идут, а ты обошёл... Ты спроси-ко вот у кого хошь, что за человек Назар... а?

— Я уже слышал.

— Слышал... а-а-а? Ну, зачем же не пришёл ко мне, коли слышал, а? — спросил он, насупив свои густые чёрные брови.

— Мне и здесь хорошо...

— Хорошо... а-а?.. Ну... у меня бы лучше было, лучше... Ну, как поживаешь?.. Нравится ли тебе у нас?.. Чего в городе слышно? — спрашивал он. — Про губернатора не слыхал, приедет к нам или нет, а?

— Не слыхал...

— Приятели мы...

— С кем?..

— С губернатором-то!.. Бо-о-ольшие приятели, чтит он меня...

— За что же?

— Человека ценит, ум! — гордо ответил он... — Я, когда в Томске бываю... завсегда к нему лёгкой ногой иду... «Как, говорит, ты, Назарка, поживаешь?» Назаркой зовёт он меня... Хе... хе... До-о-обрый генерал... по плечу треплет... Живу, говорю, ваше превосходительство... «Ну, ну... живи, говорит, Назарка... Живи, живи». Бо-о-ольшие приятели... Я, брат, со всеми чиновниками приятель... И ты будь мне приятель...

— Благодарю за честь...

— Будь, будь... Со мной хорошо, брат, в дружбе жить...

— Чем же хорошо? — полюбопытствовал я.

— Коли ты друг мне, всё делаешь для меня, то чего тебе только надо... лёгкой ногой иди ко мне... всё дам тебе... отказу не будет... У Назара всё есть... и шкурки, какой только надо, дам... и денег... и мёду... Слышал?.. Всё дам...

— Слышу...

— Лёгкой поступью иди... Скажи только: Назар Степаныч, дай мне денег... снабди... Сейчас дам!

— Вы что же... всем, кто ни попросит, даёте денег?..

— Всем!.. Поедем ко мне.

— Благодарю, мне некогда!..

— Поедем!.. Угощу... Я тебе шкатулку покажу... такой погребчик у меня есть, где... вот какая... охалка векселей ле-

жит, — произнёс он, разведя руки на четверть аршина, — всё от чиновников... Вот я какой человек. Понимаешь теперь меня, а-а?

— Понимаю...

— Худой я человек... а-а?.. Как скажешь, а-а?

— Не знаю...

— Не знаешь?.. Ну, узнай... Поедем ко мне... Рому выпьем, в дружбу войдём... У меня в дому-то всё есть... и кофе... и конфета всякая... и закуска, и вино... всё есть... Поедем...

— Не могу...

— Я зову... поедем... Будешь доволен!.. Церковь погляди, что построил я... Бабу мою увидишь!

— Очень бы рад, но не могу, некогда.

— Не хочешь, Назаром брезгуешь, а? — обидчиво спросил он.

— Не еду просто потому, что мне некогда: у меня много дела и мне дорого время.

— Я тебе честь сделал... и ты мне честь отдай... Понимаешь? Так все господа делают, — заметил он.

— Понимаю!.. Я и отдам вам честь... только не теперь, а в другое, более свободное время... Теперь же не могу... мне некогда.

— На тебе... какой чин? — неожиданно спросил он, снова насупив брови.

Я сказал ему.

— Э... э... Ты ещё молодой парень, шибко молодой... Совсем ещё маленькой на тебе чин, — сказал он, покачав головой, — а ты уж ндравный... А ты бы посмирнее жил, чтил бы людей... и тебе бы хорошо было!.. Меня, брат, статские советники чтят, и генералы чтят, и полковники... К кому я только приеду в гости, сейчас вина подают... конфеты всякой... за-акуски... «Ешь, говорят, Назар Степаныч». В передний угол садят. А ты спесив, не по чину спесив!

— Это уж моё дело!.. Теперь я попрошу вас: избавьте меня от ваших нравочений...

— Спесив ты, ваше благородье, спесив... Ну... ну... ссориться на первый раз не буду с тобой... Суди... суди... народ... Суди!.. Мо-о-ошенник нынче стал наш инородец... Я ведь тоже инородец, да я хороший инородец... Я в Бога, как следует, верую... совсем как русский человек. Церковь я построил на свои деньги... Вишь, вот медаль от батюшки-царя имею... с портретом... Вот я какой инородец, знай!.. А те... все... худой народ... ху-у-удой... — протянул он, качая голову.

— Чем же худой?

— Врёт всё, в Бога худо верит!.. Я исхо в руках их держу, не надо им шибко-то баловать, а то бы совсем он Бога забыл...

Я и церковь им построил, штоб он настоящего Бога знал!.. Назар им много добра делает... Назар им отец... Назар один на всю Чернь... Вот каков Назар... Не будь Назара, всплачут... У тебя тут есть дельце, ваше благородье, — неожиданно начал он. — Девка девку ножом портила, глотку порола.

— Есть, — ответил я.

— Суди полегче девку-то, што ножом-то порола... Сродни она мне будет!.. Легче будешь судить, друг мне будешь; а не будешь легче судить, осержусь... Хе... хе... Ну, ты добрый, я ведь вижу, што ты добрый... Мы тоже людей мало-мало знаем... Спе-есив только маленько... Поедем, слышь, ко мне, а?.. Собольков на воротник к шубе подарю... А в милость войдёшь ко мне, всю шубу подарю... Езжай... Слушай Назара... а? — говорил он, вставая.

— Не могу...

— Спе-есив... Спе-есив!.. Ну, ну... не езд, принуждать не стану. Сам после спокаешься!.. Кто к Назару добр, и Назар к тому добр... Ты спроси-ко своих чиновников, довольны ли они Назаром Степанычем, все скажут — довольны... Баба у тебя есть?.. Женатый?..

— Холостой...

— Э... э... Ну, это худо дело... Как же ты живёшь без бабы, а?.. Без бабы жить нельзя... Женись!.. Вот как бы баба у тебя была, я б и бабе твоей чернобуренькую лисичку на воротник подарил. Ну... прощай, ваше благородье... Не обессудь Назара Степаныча, — говорил он, так же фамильярно протягивая мне руку на прощанье. — Одумаешься — приезжай, будешь доволен... Может, и шубу подарю, коли в добрый час приедешь...

Визит этого финансиста произвёл на меня тяжёлое впечатление... Мне было смешно от его глупой кичливости и хвастовства своими связями и богатством, и в то же время больно; больно от того, что в хвастовстве его было много правды. Его действительно, как говорил он, «чтили» ради тех подарков, какие делал он за оказываемую ему честь. Собираясь объехать все айлы и улусы, разбросанные в горах Алтая, я имел намерение, кроме ближайшего знакомства с бытом инородцев, проследить вместе с тем все подвиги Назара Степановича и подобных ему героев нашего времени. Но поручение, возложенное на меня по случаю проезда одной весьма важной особы, а затем выход мой в отставку лишили меня возможности осуществить это намерение.

В тот же вечер я покинул О-ий улус. Я долго, долго не мог оторвать глаз от окружающей его картины. Я как будто почувствовал, что вижу её в последний раз... Мне стало грустно, глядя на снеговые вершины Алтая, клубившиеся на горизонте. Объехать эти горы, поражающие своим диким величием,

изучить быт населяющих Алтай племён было заветной мечтой моей, к несчастью, не осуществившейся. На Архиерейской горе я простился с провожавшим меня Никитой Васильевичем и более уже не встречался с ним. Впоследствии я узнал, что он окончил свою карьеру весьма печально. Его заподозрили в составлении анонимного письма к какой-то особе, в котором обнаружены были все тёмные стороны местных порядков, и, как человека неблагонадёжного, имеющего будто бы дурное влияние на инородцев, выселили из улуса. Распоряжение это разорило его. Он продал пасеку, хозяйство, и помер в 1874 году, в крайней бедности. Услышав о разразившейся над ним катастрофе, я невольно вспомнил слова его: «Долго ль смять меня и раздавить, как червя!».

Художник-исследователь Сибири

(послесловие)

Это имя вы встретите в любой истории русской литературы, даже самой краткой. «Смелый голос правды» — так оценил манеру Наумова друживший с ним Г. Н. Потанин, наставник писателей-сибиряков: «Рассказами Наумова начинается сибирская беллетристика, и мы горячо приветствуем это начало». Спорить с этим и сейчас не приходится: да, это первый крупный прозаик-сибиряк. А ещё Николай Наумов — один из самых известных писателей-народников. Имя его прогремело в 70—80-е годы позапрошлого века, но слава вскоре пошла на убыль. Коренной сибиряк, он жил здесь в разных городах — Тобольске, Омске, Кузнецке, Мариинске, Барнауле; несколько раз селился в Томске, здесь и умер 63 лет отроду.

Родился Николай Иванович Наумов в Тобольске в 1838 году. Семи лет остался без матери (умерла она в Омске), а через два года отца перевели в Томск. По словам Н. М. Ядринцева, писать Наумов начал ещё в школьные годы. Понятен его бытописательский уклон: с малых лет он узнал, что такое бедность и унижение: «Судьбе угодно было, чтобы с самого раннего детства я видел одни только печальные картины человеческих страданий». Хотя Томская мужская гимназия славилась по Сибири, будущему писателю было в ней неуютно, и закончить её не удалось. Когда отец вышел в отставку, четырнадцатилетнему Николаю пришлось поступить юнкером в военную школу в Омске. Карьера военного его совсем не увлекала, вскоре он оставил службу и отправился в Петербург. Здесь он слушал лекции в университете, планировал экстерном закончить гимназию, но судьба-индейка решила по-своему. За участие в студенческих волнениях его арестовали, два месяца просидел он в тюрьме, а после, исключённый из университета, отправился домой. Служил секретарём суда в Тобольске и Омске и, главное, сразу отдался литературному труду.

В Сибирь он возвращался автором нескольких рассказов. Первая зарисовка — «Случай из солдатской жизни» — опубликована ещё в 1859 году в «Военном сборнике», а следом, в 1861-м, «Мирные сцены военной жизни» (в «Светоч»). Дальше — публикации в «Народной беседе», «Искре», «Деле», а вот и

отличие: в «Современнике» напечатан очерк «У перевоза». Это 1863 год, писателю 25 лет. Для демократической прессы это лучшая рекомендация, публикация в «Современнике» открыла двери второго по важности журнала эпохи — «Отечественные записки». Так к середине 60-х годов сформировался писатель-народник, хорошо знающий жизнь сибирского крестьянина. По сравнению с николаевской эпохой, это «оттепельные» годы, общественный подъём после отмены крепостного права. «Отдохли от барщины-то. Себя теперь сознали», — говорит один крестьянин. «Нешто так должен жить человек!» — возражает другой. Читатели оценили Наумова как мастера-очеркиста, а рассказ-очерк в народнической прозе — основная форма. Первый сборник Наумова издали народники вскладчину, а позднее и сам он участвовал как пайщик в организации главного народнического журнала — «Русское богатство».

Но причастность к народничеству не могла остаться безнаказанной. В следующий раз писатель был арестован в 1865-м году вместе с Потаниным и Ядринцевым по делу «Об отделении Сибири от России». Три года провёл в омской каторжной тюрьме (где недавно отбывал свой срок Достоевский) за принадлежность к «заговорщикам-сепаратистам». Областничество — отпочкование народничества, но основная его идея — об особом пути Сибири — у Наумова вызвала скептическое отторжение. Убеждённый народник, он считал, что вопросы областного самоуправления будут решены в ходе общинного самоопределения народа. Сами волости, уезды и губернии решат, как им жить. Следствием Наумов был оправдан, в отличие от Потанина, осуждённого на каторгу, и других «сепаратистов», высланных из Сибири в глухие места северной России.

В «Отечественных записках» и «Деле» напечатаны самые запоминающиеся его *картинки из крестьянской жизни*, вошедшие потом в сборники «Сила солому ломит» (1874), «В тихом омуте» (1881), «В забытом краю» (1882), «Паутина» (1888). В 80-е годы рассказы Наумова охотно печатали «Русское богатство», «Устой» и, конечно, «Восточное обозрение» (редактор Н. Ядринцев). В 1897 году в Петербурге изданы «Сочинения Н. И. Наумова» в двух томах. В пору творческого расцвета Наумова о нём похвально отозвались А. Скабичевский, редактор «Вестника Европы», Н. Михайловский, редактор «Русского богатства», Н. Ядринцев. Г. Потанин написал о нём в 1876 году в обзорной статье «Роман и рассказ в Сибири»: «Твёрдо надеемся, что пример Н. И. Наумова не останется без подражания, и в среде его земляков найдутся продолжатели дела, которому он положил начало».

Но честный наблюдатель увидел и расхождение народнической утопии с реальностью. Община, надежда русских

социалистов, начиная с Герцена и Бакунина, разлагалась; из крестьянского *мира* выходили «волки» и «овцы», и кулака уж нельзя было считать досадным отклонением. Областники также требовали от писателей этнографически точного изображения быта и психологии населения Сибири. А революционеры, включая эсеров, использовали сочинения Наумова в пропаганде социализма.

Большие писатели задавались здесь вопросом: каков же он, человек. Революция убедила позднее: идеализация крестьянства — интеллигентская беспочвенность. А ещё пролетарская революция в крестьянской стране показала, насколько человечной была народническая утопия по сравнению с большевизмом. Судьба России, почти на девять десятых крестьянской по населению, была решена радикально: кулачество уничтожено, остальных превратили в батраков. Этот эксперимент называется *раскрестьяниванием* России. И мир Наумова помогает понять, что произошло в стране через поколение после смерти писателя.

По Наумову, крестьянин-сибиряк отличается от своего собрата из центральной России, забитого и нищего, зажиточностью и независимостью. Пожалуй, жизнь больших притрактовых сёл и переселенческих деревень Наумов знал лучше старожильческих таёжных заимок. Своеобразие прозы Наумова в кругу писателей-народников бесспорно: сибирский быт бьёт в глаза. Но знаток Сибири не коснулся экзотических тем, считавшихся сибирской спецификой, — беглые каторжники, чаерезы, кутилы-воротилы, староверы... Эти «изюминки» областники считали уходом от насущных проблем времени. Писатель изобразил жизнь аборигенов Алтая вполне в областническом понимании «инородческого вопроса» («Горная идиллия», «Сарбыска»): кулаки и чиновники наживаются на темноте народа. Писал он и о жизни рабочих на золотых приисках («Ёж», «Паутина»). Здесь увидел он бесчеловечные крайности капитализации России...

Порой кажется, что писатель не разглядел народные таланты, поэзию деревенского быта. «Своевременность, жизненность и реализм», «правдиво и ярко...» — типичные, повторяющиеся отзывы современников. Вот с последней частью оценки нам теперь согласиться трудновато. Яркой беллетристики у народников не могло быть по определению: натурализм нацеливал на очерковую достоверность, на точное описание материала — минимум поэзии, никакой условности. Но это не столько недостаток таланта, сколько общая беда народнической литературы. Сравним любую книгу Наумова с тургеневскими «Записками охотника» — сразу станет видно, что народник исследует другие стороны

народного быта. Ему как будто не до песен и сказаний, надо решать краугольные вопросы жизни крестьян. Идеализируя крестьянскую общину, народник должен был изобразить её «всесторонне и точно». Тенденцизность и правдоподобие тут в неразрешимом конфликте. Не от того ли народничество не дало ни одного великого писателя?

Чем же привлекает нас в начале 21-го века мир Николая Наумова? Речью деревенских говорунов, мужицкой корявой мудростью, бытом и, конечно, знанием сословной психологии. «Юровая», «Крестьянские выборы», «Паутина» — источник знаний о сибирской глубинке конца позапрошлого века. В изображении облика своих героев Наумов повторяется, использует сюжеты очеркового («беспозвоночного») типа с рассказчиком-наблюдателем в центре. Нередко сам же рассказчик толкует смысл зарисовок, и тогда перед нами уже не герой, а сам писатель, и это — документальное повествование.

Социальные конфликты Наумов передавал главным образом через диалог и рассказы людей типа «пройдисвет». Жанровые указания: «сцены», «очерки» подчёркивали этнографическую и сословную достоверность описаний. Показать самое характерное — эта установка вела к художественному изъяну: схематичность заслоняла разнообразие портретов. Честность изображения деревенской реальности почиталась выше всякой «художественности», её народники числили по разряду не изжитой романтики. Сборник «Сила солому ломит» настраивал читателя на оптимистический лад, а после него Наумов смотрел на деревню всё мрачнее. Об этом говорят даже названия его книг: «В тихом омуте» и «В забытом краю». Тяжела, если не безнадежна, атмосфера в повести «Паутина».

Народническая критика заговорила о нём после публикаций в «Современнике» и «Искре» (ещё не ленинской). И перед нами действительно один из главных беллетристов-народников. Первым сейчас признают Глеба Успенского. Даже Плеханов, бывший народоволец и первый русский марксист, писал о Наумове как о лучшем прозаике-демократе. Ну не Толстого же, *барина* и *путаника*, ставить на это почётное место! Марксистская критика с сожалением отмечала, что талантливый прозаик, знающий жизнь не по книгам, примкнул к числу литераторов, идеализирующих крестьянство. А пьянство, губящее широкую натуру сибиряка, он будто бы находил только у приисковых рабочих. Нет, крестьянский мир у Наумова резко разделился на мироедов и бедняков. Кулаков, этих крестьянских кровососов, он изображает мрачными красками. Бессердечные, нагло подкупающие чиновников, запугивающие бесправных батраков, высасывающие из деревни жизненные силы, — вот она, *паутина*. Плетут её кулаки, друг

друга аттестующие ворами, и чиновники, лишённые даже налёта на человечность.

В чём же отличие Наумова от областников? Переселенцам уделил он больше внимания, чем чалдонам-старожилам. Уже известным писателем он служил чиновником по делам переселенцев в Мариинске и Томске, был членом совета по делам Алтайского округа (в Барнауле). С 1887 года поселился в Томске и вёл жизнь замкнутую. Изредка печатался в «Сибирской газете». Томск узнаётся в его последних рассказах своей тёмной, бытовой стороной. На исходе дней писал из Томска о «глубоком разочаровании во всём»: «Прав Щедрин: писать можно только в Петербурге». Как это далеко от потанинской программы: «талант будет крепнуть и становиться богаче силами, если он не будет порывать своих сношений со средой, в которой прошло его детство». Читателей-то рядом с собой Наумов почти не видел. «В Сибири народился писатель, но нет литературы», — считал Ядринцев. А Потанин советовал писателям-сибирякам начинать сибирскую литературу с этнографических описаний, поэзия сама, мол, придёт. И оговаривался, что «условия провинциальной жизни часто складываются так тяжело, что писатель принуждён бежать из провинции в столицу и оставаться вдали от тех мест, жизнь которых он изображает».

Да, писателя Наумова в Петербурге и Москве знали больше, чем в Сибири. Народническая утопия отходила за горизонт, влияние очерковой прозы резко пошло на убыль. Конец XIX века писатель воспринял в мрачном свете: «Вступив в жизнь в 60-е годы, тяжело, ох как тяжело переживать 90-е <...> Кругом всё изменилось. Пошли новые люди, а с ними и новые песни, и стремления». Идеализация общины не рассеивала опасения, что русская культура утрачивает крестьянские корни. Вопрос писатель задал куда больше, чем дал ответов: «И проглянет ли когда в этот тёмный исстрадавшийся мир тёплый луч разумной жизни, разумных человеческих отношений — бог весть». Начался новый литературный период — символизм, с его «любовью к дальнему», с мистическим двоемирием и потерей интереса к «маленькому человеку». Ко времени революции демократическая публицистика казалась далёким прошлым, и в неопределённое будущее отодвигалась существенная задача — формирование идентичности, национальной и региональной (сибирской). К этой тематике русская проза вернётся только через полвека с лишним, когда зазвучат голоса традиционалистов-«деревенщиков». Заслуга Николая Наумова в этой области значительна, исторически бесспорна.

А. Казаркин

Примечания

У перевоза. Впервые: «Современник», 1863, № 11.

Последнее прости. Очерки, 1863, № 75.

Деревенский торгаш. Впервые: «Дело», 1872, № 4.

Юровая. Впервые: «Дело», 1872, № № 7 и 11.

Ёж. Впервые: «Отечественные записки», 1873, № 7.

Мирской учёт. Впервые: «Отечественные записки», 1873, № № 6, 7.

Святое озеро. Впервые: «Русское богатство», 1881, № 4.

Паутина. Впервые: «Дело», 1880, № № 1, 2, 7, 8, 12. Отдельное издание: СПб., 1883.

Умалишённый. «Дело», 1879, № 11 (Психологический этюд). СПб., 1906.

Горная идиллия. Впервые: «Русское богатство», 1880, № № 5, 6, 7. Перепечатано в сб. «В забытом краю» (1882).

Зажора. Впервые: «Дело», 1881, № 4.

Основные книги Н. Наумова:

Сила солому ломит. Рассказы из быта сибирских крестьян. СПб., 1874.

В тихом омуте. Рассказы. СПб., 1881.

В забытом краю. Рассказы из быта сибирских крестьян. СПб., 1882.

Паутина. Рассказ из жизни приискового люда в Сибири. СПб., 1888.

Яшник. М., 1897.

Собрание сочинений в 2-х томах. СПб., 1897.

Нефёдовский починок. СПб., 1898.

Фургонщик. СПб., 1898.

Кающийся. Рассказ. М., 1901.

Содержание

Автобиография	5
Последнее прости.	12
У перевоза.	15
Деревенский торгаш.	28
Юровая.	46
Ёж	104
Мирской учёт	126
Умалишённый	147
Паутина	170
Святое озеро	300
Зажора	357
Горная идиллия	383

А. Казаркин.

Художник-исследователь Сибири	428
---	-----

«Томская классика»

Произведения, включённые в серию, соответствуют трём критериям: содержат местный материал; имеют художественную и общественную ценность; известны за пределами области.

1. И. А. Куцевский. «Николай Негорев, или Благополучный россиянин». (Куцевский Иван Афанасьевич (1847—1876) — автор первого «томского» романа «Николай Негорев...», объективно описавший идейный разброд молодёжи 1860-х годов).

2. Н. И. Наумов. Рассказы. (Наумов Николай Иванович (1838—1901) — крупнейший сибирский писатель-народник).

3. Г. Д. Гребенщиков. Рассказы. (Гребенщиков Георгий Дмитриевич (1883—1964) — крупнейший сибирский прозаик первой половины XX века; с 1920 г. эмигрант. Автор «крестьянской эпопеи» «Чураевы»).

4. В. Я. Шишков. Рассказы. «Тайга». «Ватага». (Шишков Вячеслав Яковлевич (1873—1945) — классик сибирской литературы. Автор романа «Угрюм-река», экранизированного в 1969 г.).

5. Г. М. Марков. «Строговы». (Марков Георгий Мокеевич (1911—1991) — автор романов, положивших начало традиции «романа поколений». Романы «Строговы» и «Сибирь» экранизированы в 1976 г., «Соль земли» — в 1978 г., повесть «Тростинка на ветру» — в 1980 г., роман «Грядущему веку» — в 1985 г.).

6. М. Л. Халфина. Рассказы. «Мачеха». (Халфина Мария Леонтьевна (1908—1988) — автор произведений о проблемах семьи (повесть «Мачеха» экранизирована в 1973 г., рассказ «Безотцовщина» — в 1976 г.).

7. В. В. Липатов. Рассказы и повести. (Липатов Виль Владимирович (1927—1979) — писатель социальной проблематики (экранизированы повести «Деревенский детектив» — в 1969 г., «Инженер Прончатов» — в 1972 г., «Анискин и Фантомас» — в 1974 г., роман «И это всё о нём» и повесть «И снова Анискин» — в 1978 г., повесть «Ещё до войны» — в 1984 г., роман «Игорь Саввович» — в 1987 г., повесть «Серая мышь» — в 1988 г.).

8. Вл. А. Колыхалов. «Дикие побеги». (Колыхалов Владимир Анисимович (1933—2009) — автор романа «Дикие побеги», показавший объективную картину жизни в послевоенной Сибири.

9. В. Д. Колупаев. Рассказы и повести. (Колупаев Виктор Дмитриевич (1936—2001) — выдающийся писатель-фантаст, «русский Брэдбери»).

Литературно-художественное издание
Николай Иванович Наумов

Избранное

Редактор книжной серии *Г. К. Скарлыгин*
Редактор-составитель тома *А. П. Казаркин*
Технический редактор *А. Р. Рубан*
Корректор *И. А. Сердюк*

Издание Томской писательской организации.
Отпечатано в ООО «Томская полиграфическая компания».
Подписано в печать 27.05.2014 г. Печать офсетная.
Формат 140×240 мм. Шрифт Cambria.
Усл. печ. л 27,13. Уч.-изд. л. 24,12. Тираж 1 000 экз.

